

Борис Кузин

ВОСПОМИНАНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПЕРЕПИСКА

Надежда
Мандельштам

192 ПИСЬМА К Б. КУЗИНУ

ИНАПРЕСС

Б. С. КУЗИН
Воспоминания. Произведения. Переписка

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ
192 письма к Б. С. Кузину

Борис
Кузин

ВОСПОМИНАНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПЕРЕПИСКА

Надежда
Мандельштам

192 ПИСЬМА К Б. С. КУЗИНУ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНАПРЕСС
1999

ББК 84 Р7

К 89

СОСТАВЛЕНИЕ, ПРЕДИСЛОВИЕ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТОВ, ПРИМЕЧАНИЯ
И КОММЕНТАРИИ *Н. И. КРАЙНЕВОЙ И Е. А. ПЕРЕЖОГИНОЙ.*

ПРЕДИСЛОВИЕ К РАЗДЕЛУ «ПЕРЕПИСКА» И ЗАМЕТКИ К БИОГРАФИИ Б. С. КУЗИНА
НАПИСАНЫ М. А. ДАВЫДОВЫМ; ИМ ЖЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ
Б. С. КУЗИНА К А. В. АПОСТОЛОВОЙ И О. С. КУЗИНОЙ

РЕДАКТОР *Н. КОНОНОВ*
ХУДОЖНИК *М. ПОКШИШЕВСКАЯ*

ISBN 5-871-35079-8



- © ИНАПРЕСС, 1999
- © Составление, предисловие, подг. текстов, примечания и комментарии,
Н. И. Крайнева и Е. А. Пережогина, М. А. Давыдов, 1999
- © Б. С. Кузин, наследники, 1999
- © Н. Я. Мандельштам, наследники, 1999

Борис Кузин

ВОСПОМИНАНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПЕРЕПИСКА

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В сборнике произведений О. Мандельштама, вышедшем в серии «Библиотека поэта» в 1973 году, Н. И. Харджиев, комментируя стихотворение «К немецкой речи», указал, что оно было впервые напечатано в 1932 году с посвящением Б. С. Кузину (в издании 1973 г. посвящение по неизвестным причинам опущено). Комментарий сообщал, что Борис Сергеевич Кузин (1903—1973) — биолог, друг О. Э. Мандельштама. Приводились строки из письма поэта к М. С. Шагинян от 5 апреля 1933 г., где он пишет о Кузине: «Личностью его пропитана и моя новенькая проза, и весь последний период моей работы. Ему и только ему я обязан тем, что внес в литературу период т. н. „зрелого Мандельштама“».

В 1978 году сотрудница отдела рукописей Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде по инициативе читателя-мандельштамоведа попыталась узнать что-либо о судьбе Б. С. Кузина. Хотя его уже нет в живых, но, возможно, живы его родственники. Может быть, у них сохранились какие-нибудь его рукописи, письма, которые помогут воссоздать облик человека, сыгравшего такую важную роль в творческой биографии Мандельштама.

По сведениям справочника Академии Наук, в последние 20 лет жизни Кузин был заместителем директора Института биологии внутренних вод в Борке Ярославской области. Тогдашний ученый секретарь института сообщил номер телефона вдовы Бориса Сергеевича, Ариадны Валериановны Апостоловой. И вот, сговорившись с ней о встрече, сотрудница ОР ГПБ Н. И. Крайнева морозной зимой 1979 года приехала в Борок. Нашла дом, постучала. На порог вышла удивительно красивая, статная старая женщина с ясными молодыми глазами («у нее девчонские глаза», — писала о ней Н. Я. Мандельштам).

Да, у Ариадны Валериановны остался архив мужа. Но она не придавала особого значения этим бумагам, считая их ценностью не более чем семейного масштаба. К передаче архива в государственное хранилище она поначалу отнеслась с большим сомнением.

Между тем уже первое знакомство с рукописями Б. С. Кузина показало со всей определенностью: перед нами не просто один из друзей Мандельштама, имя которого извлечено из примечания. Это автор великолепной прозы, человек оригинально мыслящий, обладающий безукоризненным слогом и незаурядным чувством юмора.

Это настоящий поэт. В его стихах очень явно проступает влияние Мандельштама — да и могло ли быть иначе? — Но Кузину удалось найти свой собственный поэтический голос. И этот голос не должен быть потерян для ценителей русской поэзии.

Было ясно: архив Б. С. Кузина, несомненно, представляет самостоятельный интерес для исследователей истории отечественной культуры.

В конце концов, после пяти незабываемых поездок в Борок и долгих переговоров, состоялась передача основной части архива в отдел рукописей Публичной библиотеки. Здесь были (в авторизованной машинописи и в автографах) воспоминания, проза и стихи Кузина, а также письма к нему Н. Я. Мандельштам. Архив прошел закупочную комиссию, был обработан, принят на хранение Е. А. Пережогой, опись поступила в читальный зал... И здесь произошло то, что предвидел сам Кузин во включенном в эту книгу «Предисловии к моим неопубликованным сочинениям»*. По условиям тогдашней политической жизни архив был закрыт. Никакие материалы не выдавались читателям. О публикации большинства рукописей не могло быть и речи. Действовала та самая «фильтрация информации», о которой пишет Борис Сергеевич в одной из своих сатирических миниатюр. Не было никакой возможности представить творчество Кузина в полном объеме и во всем его жанровом разнообразии. А этот человек достоин того, чтобы дать его портрет в полный рост. Кузин интересен сам по себе, во всем богатстве своих творческих и жизненных проявлений, которые нельзя свести к почетной роли «друга Мандельштама». Ведь потому он и стал другом Мандельштама, что сам был яркой, незаурядной личностью.

Что касается писем Н. Я. Мандельштам к Б. С. Кузину — сенсационной находки для мандельштамоведов! — то, по нашему глубокому убеждению, они могут быть опубликованы только под одним переплетом с другими материалами архива. Ведь они адресованы Б. С. Кузину и неотделимы от его жизни, его интересов и занятий, его духовного мира.

Так вышло, что этой книге пришлось долго дожидаться своего часа. Тем временем некоторые произведения Кузина все же увидели свет в разных периодических изданиях. Были опубликованы (по другим спискам) воспоминания о Мандельштаме** и о Московском университете*** (то и другое с сокращениями и неточностями); фрагмент научного труда «Принципы систематики»****; письма Б. С. Кузина к А. А. Любищеву***** и А. А. Гурвич*****; статья «О принципе поля в биологии»*****.

* Список опубликованных научных трудов Б. С. Кузина напечатан в издании Института биологии внутренних вод АН СССР: Биология внутренних вод. Информ. биол. № 23. Л., 1974. С. 5—7. Здесь же некролог (с. 3—5).

** Вестник РХД. 1983. № 140; Вопр. истории естествознания и техники. 1987. № 3. С. 133—144.

*** Дружба народов. 1995. № 11. С. 92—132.

**** Вопр. истории естествознания и техники. 1987. № 4. С. 134—143.

***** Природа. 1983. № 6. С. 77—87.

***** Вопр. философии. 1992. № 5. С. 164—190.

***** Вопр. философии. 1992. № 5. С. 148—164.

Затем стала возможной и публикация художественных произведений Кузина. Были напечатаны некоторые его стихотворения, а также мелкие прозаические вещи*. И вот теперь мы можем предложить читателю практически полный свод сочинений Б. С. Кузина.

В процессе работы над книгой выяснилось, что часть кузинского архива сохранил друг семьи Кузиных М. А. Давыдов, живущий в Москве. Он любезно согласился передать эти материалы нашей библиотеке. Это существенно пополнило архив, обогатило наше представление о Кузине и... затянуло подготовку книги. Необходимо было изучить вновь поступившие рукописи и найти им место в готовящемся издании. В первую очередь имеется в виду обширное эпистолярное наследие Кузина. Появился в архиве и дневник, который вел Борис Сергеевич в последние два года своей жизни. Кроме того, нам переданы письма Л. Н. Гумилева и А. П. Семенова-Тян-Шанского к Б. С. Кузину.

Считалось, что ни одного письма Бориса Сергеевича к Н. Я. Мандельштам не сохранилось. Но в США, в библиотеке Принстонского университета, в архиве О. Э. Мандельштама нашлось полностью уцелевшее письмо Б. С. Кузина к Надежде Яковлевне с откликом на сообщение о смерти О. Э. Мандельштама, а также фрагмент еще одного письма. Таким образом, хоть отчасти нам удастся избежать однобокости в подаче переписки этих людей, большой кусок жизни которых спаян общей судьбой.

Борис Сергеевич Кузин не раз говорил и писал, что на протяжении своей жизни каждый из нас, в сущности, занимается тем, что создает свой автопортрет. Вот такой автопортрет и предлагает читателю наша книга. Его составляют воспоминания, прозаические и поэтические сочинения самых различных жанров — от этико-философских эссе и лирических стихотворений до сатирических памфлетов и «смешных и неприличных» стихов, письма и дневниковые записи.

Написание полной научной биографии Б. С. Кузина — дело будущего**. Мы включили в эту книгу заметки Михаила Алексеевича Давыдова, который был близок к семье Кузиных в последние годы жизни Бориса Сергеевича. Пусть в этих набросках немного точных дат и нет полноты жизнеописания, но зато в них присутствует нечто не менее ценное: живые впечатления от встреч и разговоров с Кузиным.

В мощном поле кузинского притяжения находились многие современники Бориса Сергеевича. Теперь каждый, кто откроет эту книгу, имеет возможность выйти на «орбиту Кузина», стать его собеседником и испытать на себе силу обаяния этого удивительного человека.

* Даугава. 1988. № 11. С. 112—118.

** Издания, перечисленные в сносках на с. 8 и 9, содержат сведения биографического характера. См. также: Папанин И. Д. Лед и пламень. М.: 1977. С. 391, 399-401; Кузина Г. С. Материалы к биографии Б. С. Кузина. В сб. Сохрани мою речь... М.: 1991. С. 65—68.

* * *

В основу настоящего издания положены материалы архива Б. С. Кузина, хранящегося в отделе рукописей Российской Национальной библиотеки (фонд 1252). Используются также тексты писем Б. С. Кузина к Н. Я. Мандельштам, находящихся в США (Osip Mandelshtam Papers, Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library).

Приобретая архив для Публичной библиотеки, мы понимали, что главной прианкой для издателей будут письма Н. Я. Мандельштам и что опубликовать их отдельно от всего остального будет несложно. А Кузин остался бы опять всего лишь «другом Мандельштама». И мы дали его вдове Ариадне Валериановне невыполнимое по тем временам обещание: напечатать письма только вместе с творческими рукописями Бориса Сергеевича.

Мы счастливы, что смогли выполнить это обещание.

Выражаем благодарность А. Г. Мецу — инициатору розысков архива; И. Н. Курбатовой, заведовавшей в то время отделом рукописей ГПБ — за всестороннюю поддержку в приобретении архива; Л. И. Бучиной, возглавляющей отдел в настоящее время — за помощь в подготовке издания; бывшему заместителю директора Института биологии внутренних вод А. В. Монакову — за содействие в поиске материалов.

Сердечно благодарим Э. Г. Герштейн за помощь в составлении комментариев.

Особую благодарность приносим М. А. Давыдову за передачу рукописей Б. С. Кузина в РНБ и за участие в работе над книгой.

Благодарим Ю. Л. Фрейдина за разрешение опубликовать письма Н. Я. Мандельштам.

Глубоко признательны Е. Ц. Чуковской и Е. В. Алексеевой за информацию о письмах Б. С. Кузина к Н. Я. Мандельштам и заинтересованную помощь в нашей работе.

Благодарим хранителя рукописей Библиотеки Принстонского университета (США) Дона С. Скемера за предоставление копий писем Б. С. Кузина и любезное разрешение на их публикацию.

Спасибо коллегам — сотрудникам РНБ А. Я. Липидус и А. Я. Разумову — за высококвалифицированную помощь; всем друзьям — за ценнейшую моральную поддержку на разных этапах работы.

Н. И. КРАЙНЕВА, Е. А. ПЕРЕЖОГИНА.

DE PRINCIPIIS SYSTEMATICAE DISSERTATIO*

Desocupado lector: Sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse; pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mio...?

CERVANTES**

Я решил написать то, что здесь написано, вот по каким причинам. — Если я вообще могу считать себя ученым, то единственная область, в которой я сколько-то работал, — это систематика. И только она одна. Я считаю себя биологом, потому что мне кажется, что я понимаю животных (растения гораздо меньше). Я понимаю прежде всего, как они устроены, как они хотят есть, как они боятся, как любят и ненавидят, как их влечет к размножению и вообще к утверждению своей индивидуальности. Еще важнее, что я люблю их (кроме, впрочем, крыс) и нахожу их прекрасными (именно, прекрасно созданными, а собак, кроме того, прекрасными и в моральном отношении). Наконец, с самого раннего детства я был совершенно уверен, что самое интересное, что есть на свете, это животные. Их разнообразие, строение, повадки. И мне казалось, что так интересно не только мне, но вообще всем людям. Довольно поздно в жизни я узнал, что животные интересны не всем. А относительно совсем недавно, — что знания, касающиеся животных, интересуют людей меньше всяких других предметов.

Каждый не-зоолог имеет все же какие-то, пусть минимальные, познания в области химии, физики, геологии, астрономии, в различных отраслях техники, в истории, политике и т. п., и он не удивляется, что всеми этими вещами можно заниматься. О животных же он знает только то, что их бывает много разных, по большей части вредных и опасных, что они жрут и как-то плодятся. В общем, животные, за

* О принципах систематики. Диссертация (лат.).

** Досужий читатель! Ты и без клятвы можешь поверить, как хотелось бы мне, чтобы эта книга, плод моего разума, являла собою верх красоты, изящества и глубокомыслия. Но отменить закон природы, согласно которому всякое живое существо порождает себе подобное, не в моей власти. А когда так, то что же иное мог породить бесплодный мой и неразвитый ум...? Сервантес (исп.). — Сервантес, «Дон Кихот», т. I, пролог (пер. Н. Любимова).

исключением коровы, да свиньи, да барана, да еще немногих, пожираемых или мучимых им, внушают ему некоторый страх и большую брезгливость. А на человека, любящего их и интересующегося ими, он смотрит приблизительно так же, как на педераста, т. е. с некоторым удивлением и тоже с брезгливостью. — Всякие, мол, бывают извращения.

С детства же я любил коллекционировать. Всякие вещи: жуков, стальные перья, конфетные бумажки, стихотворения (в памяти), открытки, картинки с формами полков и т. п.

Совершенно понятно, что такие две страсти как любовь к животным и к собиранию коллекций имели своим следствием, что, избрав себе специальностью биологию, я стал систематиком.

С горечью должен сказать, что конкретно в систематике я за свою жизнь сделал очень мало. — Всего-навсего привел в порядок систему одной небольшой группы жуков. Да и эта-то работа до сих пор еще не опубликована. Но группа, которой я занимался, была трудная. Поэтому возиться с ней пришлось много. Кроме того, я изучал и некоторых других животных. Так что в общей сложности я провел довольно много времени с коллекциями, с биноклем и с микроскопом, довольно много определял, анатомировал и рисовал. Поэтому все же я осмеливаюсь называть себя систематиком. Кроме того, я повторяю, что я только систематик. Другие биологи, избравшие себе эту специальность, имеют в области биологии еще какие-то интересы. Чаще всего эти интересы устремляются в сторону истории изучаемой группы. — От кого она произошла, да в каком родстве с кем состоит, да где она зародилась, да как и куда оттуда расселилась, да как при этом соединялись и разъединялись моря, океаны, материки и острова. А не то интересуются тем, что получило название экологии, т. е. в каких местах зверь живет и что он ест и какова его численность, и что ему мешает сильнее размножаться, и кому он, в свою очередь, мешает жить. Реже работа в области систематики сочетается с наблюдением над образом жизни изучаемых видов и их повадок. Еще реже — с изучением их физиологии.

Я ничем таким почти не занимался. Образ жизни и поведение животных меня интересуют чрезвычайно. Но, по-видимому, нет у меня способности как следует наблюдать их и раскрывать секреты их жизни. И я только с восхищением читаю чудесные истории об этом, написанные другими.

К физиологии я глух на оба уха. Даже удивительно, до чего мало может интересоваться человека, любящего животных и восхищающегося их строением, течение в них всяких процессов. Из всех функций мое внимание еще привлекает как-то функция движения. Мне нравится смотреть, как какой-нибудь сложно устроенный орган, например, ротовой аппарат насекомого или многочисленные ножки рачка, работают. Но настоящей физиологии, физиологии обмена я не понимаю. Может быть, потому, что плохо знаю химию. Но, пожалуй, и ее я знаю плохо не случайно.

Эволюция меня когда-то очень интересовала. Она казалась мне простой штукой. Примерно такой, как ее представлял Дарвин или Ламарк. И именно Ламарково объяснение ее меня особенно удовлетворяло. И я даже защищал его с таким пылом и усердием, точно мне довелось воочию наблюдать эволюцию какой-нибудь группы и ясно видеть, что она происходила именно по Ламарковым принципам. Несколько повзрослев, я понял, что движущие силы эволюции не так просты. И с тех пор я почему-то не могу представить себе Дарвина иначе как мальчиком в коротких штанишках, но, впрочем, с бородой и с великолепными нависшими бровями. В этом же роде мне представляется и Ламарк. Это очень нехорошо. Я прекрасно понимаю, что оба они выдающиеся ученые. И почему передо мной не предстают в таком виде Линней или Бюффон? Я составил себе собственное представление об эволюционном процессе. Этого представления я и придерживаюсь. Вероятно, если бы у меня сохранился интерес к вопросам эволюции, я стал бы, как это делают все, подыскивать факты в пользу своих домыслов, а подыскавши, придумал бы какой-нибудь орто-, пара-, поли-, мета-, номо- или псевдогенез, который и обосновал бы в малохудожественной форме.

Но в том-то и беда, что уже довольно давно я потерял вкус к истории органического мира. Мне стало казаться, что он слишком интересен таков, как он есть, чтобы стоило особенно ломать голову над вопросом, как он стал таким. Слов нет, любопытно было бы узнать, как Бах написал h-moll-ную мессу. — Во сколько приемов, на какой бумаге, какими чернилами, откуда у него брались отдельные музыкальные идеи и как они развертывались, как компоновались и т. д. Но сама h-moll-ная месса в миллионы раз интереснее и значительнее всех этих вопросов. И я не считаю, что эволюцию не следует изучать. Только я думаю, зачем же я буду есть картошку, когда за ту же цену я могу нажраться шашлыка. Но есть люди, которым непременно подавай эту самую картошку. — Тем лучше. — Мне больше достанется вкусных харчей. Но все-таки, когда я говорю о картошке, я имею в виду продукт, хоть и не очень лакомый, однако доброкачественный. А если этот самый овощ заморозить, а потом сгноить, то его и с большой голодухи не съешь. И в эволюции есть вещи, которые стоят и можно изучать, о которых можно говорить серьезно. Но именно о них-то говорят почему-то совсем мало. А почти все, о чем рассуждают любители эволюционных вопросов, это какая-то безответственная чушь, какое-то дикое фантазирование. И при этом фантазирование бескрылое, плоское, не парящее, пусть в пустых, все же заоблачных высях, но ползущее как пеша вошь по мокрому пузу. И это-то, по-видимому, особенно отбило у меня вкус к вопросам эволюции.

Разговоры об экологии я слышу уже давно. И я никак не могу понять, что это такое за наука. Что она изучает? Кто такие экологи, я знаю. — Это биологи, не знающие толком ни зоологии, ни ботаники. Насколько мне известно, они пока не открыли никакой интересной закономерности. Но они направляют свои силы главным образом на то, чтобы освободить зоологию и ботанику от всякого биологического

содержания. Качественное и индивидуальное — самое существенное в живом организме. Экологи же интересуются количественным и массовым. Читая в современных биологических журналах статьи о продуктивности водоемов, о биомассе, о биотическом потенциале и т. п., я удивляюсь, почему их авторы кандидаты и доктора биологических наук, а, например, не экономических, и почему в названиях этих журналов стоят слова, обозначающие их прямое касательство к зоологии.

Таким образом получилось, что я систематик без всякой примеси. Между тем всякие мозги требуют пищи. И я, ковыряясь только в систематических вопросах, естественно должен был кормиться только тем, что они могли дать. Сначала меня это очень смущало. — Как это так, — достаточно ли быть только систематиком? Можно ли этим оправдать полученное высшее образование? Особенно меня это стало тревожить после того, как ослабел мой интерес к эволюции, за счет которой я когда-то надеялся украсить свои будущие систематические монографии. Но потом я понял, что мои страхи напрасны. Мне стало ясно, что систематика вполне контингентна, т. е. что у нее имеется свой предмет, свои задачи и свои методы, что в нее не нужно во что бы то ни стало совать какие-то рассуждения из других, совсем чуждых ей дисциплин. А несколько позднее я увидел, что систематика не только тоже самостоятельная наука, но что она больше всякой другой отрасли биологии созрела для больших обобщений. В то же время нетрудно было заметить, что и в систематике существует много путаницы и что понятия ее нужно довольно основательно расчистить.

Я не ставил себе задачу разработать сколько-нибудь полно теорию систематики. Просто в своей практической работе я встречался с некоторыми вопросами, которые требовалось так или иначе разрешать. Это я и делал в меру своего слабого разумения. То, о чем я пишу в этом сочинении, и есть такие упражнения в решении некоторых задач, поставленных передо мной практической работой по систематике насекомых, а также возникших при наблюдении их чудесного многообразия.

Частично некоторые из развитых здесь мыслей были изложены в разных вариантах моей докторской диссертации. Я заметил, что кое-что из сказанного мной понравилось именно тем систематикам, которые, не мудрствуя лукаво, описывают и классифицируют животных, т. е. занимаются полезным и чисто научным делом. И эти систематики смущаются тем, что их определители и сводки не украшены никаким пустозвонством об эволюции или экологии. Им, вероятно, пришлось по душе мое высокое мнение о значении, задачах и целях систематики, и они осознали с моей помощью достаточную почтенность своего занятия. Это дало мне основание заключить, что поговорить о тех вещах, над которыми я столько времени думал, все же стоит, и что найдутся люди, которым это будет интересно.

Однако для сообщения своей диссертации требуемой проходимости мне пришлось выбросить из нее почти всякие рассуждения. (Dissertatio без рассуждений звучит примерно так же, как H₂O без воды). Старые бумажки я храню плохо. Поэтому

первые варианты работы куда-то бесследно исчезли. И все, что я написал по поводу систематики, оказалось опять существующим только в моей голове.

Для того, чтобы сделать в науке нечто крупное, необходимо обладать одним важным качеством: уверенностью в важности выполняемой тобой миссии. Это качество далеко не редко встречается у ученых. Даже скорее редко наблюдается его отсутствие. И чаще всего такое мнение о высоком значении научной работы вообще сочетается у ученого с сознанием, что как раз он особо успешно продвигает свою науку. Именно поэтому научная литература разрослась до необъятных размеров и продолжает угрожающе распухать дальше. Я же всегда смотрел на науку как на очень приятное и, в сравнении со многими другими, все же довольно безобидное занятие. Я не думал, что продвигаю ее много хуже, чем это делают большинство моих коллег. Но у меня всегда не хватало энергии на то, чтобы преодолеть трудности, стоящие на пути к опубликованию результатов своей работы. Вероятно, потому, что у меня отсутствовал важнейший стимул — социальный. Ведь мало же одного тщеславия (которого я не лишен полностью). — Необходимо также сознание, что плод твоих наблюдений и размышлений благодетельствует страждущее человечество.

И вот, поскольку последний вариант моей диссертации благополучно прошел и я получил, как выражаются, искомую степень, то я вполне примирился с пропажей первых вариантов. Конечно, наука нечто потеряла от того, что в ее сокровищницу не вошли мои соображения о типе и о виде. Но ведь она испытывала и горшие утраты. Ведь сгорела когда-то Александрийская библиотека. Утешаясь этим, я приступил к очередным делам.

Но тут один мой приятель приступил ко мне с такими разговорами, что я-де не имею права не высказаться более или менее публично по вопросам, которые я обдумал лучше других систематиков, что это-де мой непрременный долг и т. д. Я возразил, что мои соображения все равно не будут напечатаны, так как печатается у нас то, что именно сегодня необходимо нашему государству в видах скорейшего осуществления его высших предначертаний. А мои идеи еще когда-то когда кому пригодятся. А вдруг и совсем никогда в них не возникнет неотложной необходимости? Но приятель настаивал. — Пусть, говорит, не печатают. Не обязательно, говорит, печатать. Никакого, говорит, не будет вреда, если прочтут два-три человека. Но зато прочтут те, кому это действительно нужно. А много ли народу читает толком то, что напечатано? — Подсчитать, так тоже окажется два-три человека. А ведь остальной тираж лежит себе на библиотечных полках без всякого воздействия. А бывает и так, что кроме этих двух-трех, которые прочитают и поймут, с твоим печатным произведением ознакомятся еще несколько граждан, которым и вовсе читать его не следовало бы. И они, не поняв, в чем дело, подымут совсем ненужный крик и шум. Так что получается, что пользы от напечатанного и от ненапечатанного примерно одинаково, а вреда от второго явно меньше.

Ну, словом, этот приятель уговорил меня написать то, что я думаю про систематику. И все-таки я не знаю, зачем я за это дело принялся. — Денег я за это сочинение не получу

никаких. Даже, быть может, сам израсходуюсь, если вздумаю перепечатывать на машинке. Славы тоже не приобрету. Для славы нужна арена, аудитория. А где она у меня? Значит, не тщеславие же руководит мною. Как сказать? — А что руководит мухой, когда она откладывает яйца на какой-нибудь вонючий субстрат? Ей, конечно, необходимо избавиться от созревших яиц. Но не из тщеславия ли муха хочет заполнить возможно больше места своим потомством? Пожалуй, что да. Тогда, читатель, ты можешь с полным правом думать, что и у меня не обошлось без тщеславия. Тем более, что я все же не могу сказать, что мои соображения в систематике томят меня так же сильно, как неснесенные яйца. Я бы все же мог удержать их в себе без особого вреда для своего здоровья.

Однако было бы несправедливо не признать, что, принявшись за писание этого своего сочинения, я проявил все же меньше честолюбия, чем те авторы, которые немедленно же бросаются на разработку наиболее актуальных вопросов и в самый нужный момент описывают, как из ржи вырастает чертополох или как из простых соплей в пробирке образуются клеточные ткани.

Но если уж не деньги и не слава заставили меня взяться за перо, то не вправе ли я был сделать себе некоторые поблажки? Поэтому я разрешил себе отступить кое от каких стеснительных правил писания научных сочинений. Эти сочинения, как известно, должны быть скучные. Это условие я в меру сил старался все же выдержать, но боюсь, что не во всех местах преуспел. Пишутся ученые произведения особым стилем и на особом диалекте, который имеет специальное назначение возможно меньше походить не только на разговорную речь, но даже и на литературный русский язык. Говорят, что таким способом удобнее выражать научные истины. — Не знаю. Не думаю. Во всяком случае, это правило я решил не считать для себя обязательным. Решил выражаться так, как это делают люди, не обремененные высшим полубразованием. Но оказалось, что это решение не так-то легко выполнить. Ученая речь оказалась настолько въедливой, что я то и дело сбиваюсь на нее. Напишешь несколько строк по-человечески, — а дальше, глядишь, опять пошел тот самый жаргон, от которого меня же самого тошнит, когда я слышу, как на нем изъясняются научные работники.

Наконец еще одна вольность. — Я не привожу точных цитат при ссылках на разных авторов, которых, кстати, упоминаю лишь в очень умеренном количестве. Ставить после каждого имени цифру, обозначающую номер работы по списку литературы или год ее издания, — скучно и утомительно. Если моя работа не пойдет в печать и если она не диссертация, то зачем же мне напрасно утруждаться? И кроме того, я не могу похвастаться блестящим знанием литературы предмета, о котором пишу. Хорошего в этом мало. Но и худого, пожалуй, тоже не так уж много. — Литературы по каждому научному вопросу имеется масса. Из нее с пользой можно прочитать одно-два сочинения. А на чтение всех остальных только напрасно трратишь время, чтобы не получить упрека в незнании литературы. Да если бы и все решительно работы были дельные, то от чтения их в таком количестве неизвестно, чего произошло бы больше,

пользы или вреда. В изучении литературы своего предмета все же нужно знать какую-то меру. Иногда бывает полезно кое-чего и не знать. Но может статься, что я злоупотребил несколько этим мудрым правилом. Однако, помня о нем постоянно, я при писании этого своего сочинения не мог не сознавать, что ведь и оно (мое сочинение) тоже не абсолютное благо, что и оно отнимет у кого-то время на прочтение и задурит чьи-то мозги. И, чувствуя по этому поводу угрызения совести, я старался насколько возможно уменьшить приносимый мною вред. Для этого в моем распоряжении было только одно средство: быть возможно менее навязчивым. — Написать свое сочинение так, чтобы ни одно выставленное мною положение не оказывало давления на читателя, не вынуждало его насильно соглашаться со мной. Одним словом, я хочу, чтобы мой труд оказал на читателя действие, не подобное английской соли, которая, если она уж принята, может иметь только один эффект, а подобное хорошо приготовленному, обильному и разнообразному обеду, от которого всякий организм может взять то, что ему особенно по вкусу и по желудку, а ту часть, которая для него неудобоварима, спокойно извергнуть при легком и своевременно пришедшем стуле <...>

ЭПИЛОГ

Просто голова закружится, как подумаешь, в каком ужасном плену у самых нелепых представлений мы живем всю свою жизнь. Даже самые мудрые люди, после огромной мозговой работы, ко времени достижения полной зрелости ума освобождаются лишь от немногих ложных идей, внушенных им с детства и ранней юности, и остаются во власти десятков и сотен других, совершенно абсурдных максим и постулатов. Кто из нас, например, не верит свято в то, что *du choc des opinions se naît la vérité*?* Что может быть, казалось бы, самоочевидней? Но подумай, читатель, что было бы, если бы это положение было справедливо. — Ведь мы жили бы уже тысячи лет в царстве чистейшей и прекраснейшей истины. Ибо эти самые *chocs des opinions*** в которых люди любят упражняться даже больше, чем делать друг другу гадости, происходят каждодневно в таком потрясающем количестве, что от рожденной ими истины просто некуда было бы деваться. Но увы, этого нет. Истины нарождается самые пустяки. А заблуждения, если кое-какие и исчезают, то на их месте появляются десятки новых, и обычно худших. Разве над этим не стоило уже давным-давно задуматься? — А что, мол, действительно ли споры порождают истину? А не наоборот ли происходит? И я, обмозговавши это, с прискорбием и, увы, только очень поздно понял, что и в самом деле — как раз наоборот.

* из столкновения мнений рождается истина (фр.)

** столкновения мнений (фр.)

Я, конечно, знал, что не со всеми людьми можно спорить, и не со всяким встречным и поперечным вступал в дискуссии по всем занимающим меня вопросам. Но все же я думал, что есть отдельные товарищи, с которыми схватиться в споре полезно для дела. И я полагал, что в благородном ристании с ними мы каждый для себя что-то выясняем и уточняем. Пусть мы даже и не приходим к согласию, но, споря и вежливо матерясь между собой, мы все же выковываем истину, т. е. выполняем в конце концов какую-то высокую миссию.

И думая и действуя так, я потерпел ужасные, как бы сказать, моральные убытки. Именно, я потерял дружбу со многими хорошими людьми. Это были мои близкие друзья. И притом как раз такие, которые были пригодны не только для того, чтобы с ними в компании хорошенько выпить и закусить, а так же, как и я сам, размышлявшие над всякими научными, художественными и прочими тому подобными пустяками, о которых интересно побеседовать даже и без всякого выпивона. И вот мы спорили с ними, думая каждый, что выявляем в этих спорах истину. И никогда не могли ни в чем убедить друг друга. И всегда на каком-то этапе спора у нас взаимно возникала такая идея. — Да, мол, хороший человек Иван Иванович (resp.* Борис Сергеич), но немножко неумен. — А дальше эта идея развивалась и приводила к следующей. — А ведь Иван Иванович-то (resp. Борис Сергеич) не только неумен, но еще и не совсем тово, ну мягко сказать, что ли слегка прохвост. А уж вслед за этим шло взаимное охлаждение. И мы прекращали не только обсуждать мировые проблемы, но даже и пропускать совместно рюмку водки.

И так было с Иван Ивановичем, и с Крокодил Петровичем, и с Сидор Потапычем. И страшно интересно, что такой многократно повторенный опыт ничему меня не научал. Каждое очередное расхождение с закадычным другом в результате затянувшейся дискуссии я считал только еще одним частным случаем. И думал: — Да, Сидор Потапыч он действительно тово. А вот Ферапонт Барабаныч — совсем другой коленкор. — И переключался на споры с Ферапонт Барабанычем. Но и в том через некоторое время обнаруживалась та же дурковатость и несимпатичные черточки характера. И я его тоже браковал, утешаясь тем, что могу еще плодотворно поспорить с Ренегат Антонычем.

И в итоге таких последовательных вычитаний я так сильно порастратился, что оказался в конце концов один, как тополевыи хлыст на нашем дворе, почему-то уцелевший после очередного озеленения. И все-таки при этом я ничему не научился. И причину своего одиночества видел в несовершенстве ума и в моральных изъянах Иван Ивановичей и Ренегат Антонычей.

Нет, я решительно враг эмпиризма. — Это ли не опыт? Самый маленький мальчик, не испорченный даже и начатками низшего недообразования, сделал бы из него естественный вывод. — Не нужно спорить ни с каким дядей. Но я твердо заучил с младых ногтей: *du choc des opinions se naît la vérité*. И шел в этих шорах всю жизнь,

* соответственно (от лат. respective).

даже и не подумав ни разу, что взгляд мой устремлен в определенном направлении только при помощи пары жестких ремешков, которые я когда-то сам нашел на уздечку единственно из тех соображений, что видел такие же ремешки на уздечках всех своих уважаемых знакомых.

И вот, *nel mezzo del cammin di nostra vita**... Нет, какое там *nel mezzo*, — уже, увы, как далеко за это *mezzo* — я понял — совсем не из опыта, а по какому-то вдохновению свыше, — что никакая истина ни из каких споров не рождается. Наоборот, слабые ростки зарождающейся истины погибают в легких и невинных спорах, а в ожесточенных и длительных дискуссиях усыхают чудесные раскидистые древеса самых прекрасных и благодатных истин.

Всякий спор, какой бы он ни был, возникает из духа состязания, из глубоко заложенного в каждом человеке, в каждом звере стремления к безграничной экспансии, к утверждению своей индивидуальности, к навязыванию своей воли всем окружающим. И у зверей дело обстоит честнее и проще, чем у нас. Два петуха дерутся с единственной целью: — в случае победы забраться на забор и с торжеством возвестить с него триумфальное «кукареку». И я понимаю этих петухов. И думаю (и даже знаю отчасти), что это очень приятно, так победоносно кукарекать. И может быть, оно даже и следует таким образом время от времени развлекаться. Но не нужно думать, что от этих полирующих кровь развлечений может произойти что-нибудь кроме финального «кукареку». Никакой истины, никакого высшего блага ни из какой драки не проистечет.

И поэтому мне кажется, что дух соревнования лучше проявлять на футбольном поле или на боксерском ринге или, если кому это слабó, — за шахматной доской, а то — на что уж милей — за преферансом. Но не в науке.

Нет ничего труднее как двум людям понять друг друга. Казалось бы, что мозг устроен у всех одинаково. Говорят Иван Иванович с Сидор Карпычем на одном языке. И в то же время каждый из двух этих персонажей живет в своем особом мире идей и понятий, имеющем мало общего с миром другого. Что для одного белое, для другого черное. Что одному ясно, другому туманно. Что один воспринимает как удовольствие, то для другого мýка.

*Тебе и горький хрен малина,
А мне и бланманже польнь**.*

Великие писатели знали это прекрасно. Сервантес построил на этом все диалоги Дон Кихота с Санчо. В них все слова одного формально понятны другому, но у каждого из них нет рецептора для понятий собеседника. У Гете то же происходит

* В середине жизненного пути (итал.) — Выражение принадлежит Данте («Божественная комедия», Ад, 1, 1): Земную жизнь пройдя до половины, /Я очутился в сумрачном лесу... (пер. М. Лозинского).

** Строки из басни Козьмы Прутоква «Разница вкусов».

между Фаустом и Вагнером. Высокий строй идей первого, вылитый в предельно прекрасный (даже для Гете!) монолог

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche....*

сдергивается с небес на горизонт лягушки ответом Вагнера:

*Mit Euch, Herr Doktor, zu spazieren
Ist ehrenvoll und ist Gewinn; ***

Но лучше всех такую ситуацию описал Манцони («I promessi sposi» ***) в разговоре кардинала, князя по происхождению, ученого и святого, с захолустным приходским попиком, доном Аббондио. Этот несчастный слушает кардинала, понимает смысл его слов и упреков, но, живя на другой планете, не может постичь, чего ему от него нужно. Он считает себя правым. И он действительно прав со своей мышинной точки зрения. Слова кардинала звучат убедительно. Но ведь они не от этого мира и не для этого мира. А святой прелат, в свою очередь, не может допустить, чтобы кто-то мог поступать не в соответствии с высшими принципами долга и религии. И разговор не приводит этих двух антиподов ни к какому взаимному пониманию.

Но не понимают друг друга не только собеседники, стоящие на очень разных уровнях развития. Дело здесь не в различной способности понимания. — Каждые два человека — два разных мира, два по-разному настроенных инструмента. Любое наше высказывание рассчитывается нами на согласный резонанс. Но при другом строе собеседника в нем резонируют совсем не те струны, которые мы хотим привести в звучание. Наша мысль воспринимается искаженной. И ответ мы получаем уже не на эту мысль, а на другую, какой мы и не высказывали. Но ответ этот мы, по тому же закону, воспринимаем не в настоящем его виде, а также в искаженном, на этот раз уже нашими собственными рецепторами. Так начинается диалог, который по существу, весь — какая-то игра кривых зеркал.

Дело обстоит бы совсем печально, если бы каждый человек был полностью и во всем несозвучен каждому другому. Все же в действительности это не так. Какая-то доля понимания обычно есть между каждой человеческой парой. При этом один индивид на определенные свои взгляды и вкусы находит резонанс у Иванова, на другие — у Петрова, на третьи у Сидорова. На этих резонирующих струнах и <строится> дружба и общение с каждым из них.

Если бы все люди это отчетливо сознавали, то они старались бы найти в каждом себе подобном те стороны, по которым между ними есть понимание. И они избегали бы таких разговоров со своими знакомыми, которые заведомо могут вестись только на разных языках. Но у большинства людей наблюдается довольно странная реакция на

* Растаял лед, шумят потоки (нем.) — Гете, «Фауст», ч. I (пер. Б. Пастернака).

** Люблю прогулку, доктор, с вами./В ней честь и выгода моя (нем.) — Гете, «Фауст», ч. I (пер. Н. Холодковского).

*** «Обрученные» — роман итальянского писателя А. Манцони (Манцони).

непонимание. — Часто непонятая мысль просто повторяется в тех же выражениях, но более громким голосом и в более быстром темпе. Иногда такое повторение бывает не двух-, а трех- и более кратным. Это я особенно часто наблюдал на базарах в Средней Азии и в Закавказье. — Какой-нибудь русский гражданин спрашивает у местного жителя, не говорящего по-русски: «Где здесь торгуют сапогами?» Тот выражает непонимание. Тогда русский начинает громко и быстро выкрикивать: «Где здесь торгуют сапогами? Сапогами где здесь торгуют? Где, говорю, торгуют сапогами?» И очень сердится, что и на это он не получает удовлетворительного ответа. Такие диалоги в чистом виде происходят чаще между людьми не очень высокого развития и образования. Но в несколько модифицированной форме мне приходилось слышать подобное в самых различных слоях общества, не исключая и ученого.

Огромному же большинству людей просто и в голову не приходит, что понятность или непонятность его хода и образа мыслей для других зависит не только от ясности изложения. А многие к тому же еще и вполне убеждены, что стоит только немного поспорить с непонимающим человеком, как тот сразу и поймет все как следует. К такому убеждению добавляется еще и дух соревнования. Начинается спор на разных языках, игра кривых зеркал. На второй же минуте спора его первоначальная высокая задача — выяснение истины — обеими сторонами забывается. Каждая стремится только к конечному победоносному «кукареку».

И особенно ученые бывают горазды поспорить.

Ученые вообще народ своеобразный и, как никакой другой, чудаковатый. Сильное углубление в свой предмет мешает им, наподобие других людей, что ли, поглядывать по сторонам. Отсюда у них возникает мнение, что они занимаются каким-то особо важным делом, несравненно более почтенным и нужным для общества, чем занятия всех остальных граждан, а сами-де они составляют особо ценную категорию людей, отправляющую в обществе какие-то высшие функции. И это ведет к тому, что они отгораживаются от остального разнообразного населения. Свое время, когда они не сидят по роду профессии в своих храмах науки, они проводят в обществе себе подобных, что им у нас очень облегчено тем, что для них созданы дома ученых, специальные дома отдыха, санатории и тому подобные заведения. Сами они считают все эти резервации Олимпом, на который они вознесены в соответствии со своим несомненным превосходством над всеми смертными. Но в действительности все эти храмы науки, дома ученых и просто профессорские квартиры — самая настоящая провинция, которую эти чудаки умудряются организовать даже в самом центре столичного центра.

И все, что обыкновенный человек делает на широком просторе всей общественной жизни, они отправляют в этой своей провинции. Здесь они работают, едят, пьют, веселятся, болеют и умирают. Здесь разыгрываются все их человеческие страсти. Все они тащат в науку. Влюбляются они обычно в своих лаборанток или ассистенток.

А влюбившись, выражают свою любовь тем, что поощряют ее предмет в продвижении по лестнице ученых чинов и званий. Подсиживают только своих же ученых коллег и, конечно, только на ученом поприще. И своему духу соревнования они дают выход все в той же науке. — Нет того, чтобы сбежать сыграть в футбол или провести в забега-ловке дискуссию с обыкновенным гражданином о сравнительных достоинствах воблы и моченого гороха в качестве закуски под пиво. — Нет, ему интересно прокукарекать над своим же братом ученым с высоты кафедры после спора с ним на научную тему, узаконенного и освященного лозунгом о рождении истины в столкновениях мнений.

И я думаю, что от всего этого прогресс науки сильно замедляется.

Одним словом, дорогой читатель, я хочу сказать, что не в спорах рождается истина, а наоборот — только в согласном и наперед благожелательно настроенном обсуждении тех твоих положений, которые находят полный отклик и сочувствие у твоего собеседника. Если ты в самом деле ищешь истину, то не вступай в спор с тем, кто несогласен с тобой в тех или других твоих мнениях. Этот спор убьет зачатки истины, если они в них содержатся, а тебя поссорит с этим товарищем. Но если ему пришлось по душе какие-то другие высказанные тобой взгляды, то разрабатывай с ним именно их. И вот тут-то слабые ростки истины просто на глазах ползут, ползут, ну прямо как дубки при гнездовом посеве по методу академика Т. Д. Лысенко. И глядишь, — вырастут из них мощные деревья такой красоты и великолепия, какого ты и не ждал, когда высказывал свое робкое предположение, нашедшее отклик у твоего приятеля. А сам этот приятель вырастет в твоих глазах, а ты обратно, — в его. И вам обоим будет больше охота не только совместно выращивать истину, но также при случае и выпить на пару по кружке пива.

А если у тебя есть зуд соревнования, то что ж, — это дело житейское, дело человеческое. — Удовлетвори его законным способом в специально для того отведенном месте. Но не тащи его в науку.

Итак, *desocupado lector**, прочитавши это мое несколько разросшееся против моего (и твоего) желания сочинение, найди в нем то, что встретило в тебе отзвук, и заходи ко мне покалякать об этом. А что тебе не понравилось, над тем можешь ругаться и плевать. — Хочешь, наедине, а хочешь, — с каким-нибудь своим знакомым. Но только спорить с тобой об этом я не стану. Я ведь сказал, что написал все это даже без уверенности, что оно будет кем-либо вообще прочитано. И с полным правом прилагаю к себе стихи польского поэта:

*Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi
Iść?.. taką obojętność, jak ja, mieć dla świata? ***

МЕМОУАРНАЯ И АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

* досужий читатель (исп.)

** Кто б еще согласился избрать такой трудный / Путь... и к славе быть, как я, равнодушным? (польск.) — Ю. Словацкий. «Мое завещание» (пер. Н. Асеева).

ПРЕДИСЛОВИЕ

КО ВСЕМ МОИМ НЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ СОЧИНЕНИЯМ

Из всех наук больше всего я уважаю бухгалтерию. Она вся основана на двух величайших законах природы: — сохранения вещества и сохранения энергии. А они, как никакие другие, важны в жизни. Только в житейском обиходе они формулируются немного попроще, чем в науке. А именно: за всякое удовольствие нужно платить. Но интересно, — каждый как будто это знает, а как доходит дело до расплаты за полученное удовольствие, так очень расстраивается и даже обижается: за что же, мол, такая несправедливость? И я, когда был помоложе, тоже расстраивался и обижался в таких случаях на судьбу.

А происходит это вот почему. — Ужасно мы все хотим и любим получать удовольствия. И до того любим, что нам как-то само собой представляется, что все люди или Бог, или там, если хотите, судьба обязаны нам их доставлять. А вот это-то как раз и не так. То есть, доставлять-то они могут, но делать это бесплатно у них нет никакого основания. А нам эту неприятную вещь нипочем не хочется принимать. То есть, получать нам очень хочется, а платить — наоборот, не хочется.

Можно прямо сказать, что главная причина порчи настроения у людей как раз и есть необходимость платить за все полученное. И много легче им было бы жить, если бы они получше знали бухгалтерию. И пишу я сейчас это «Предисловие» специально для того, чтобы на собственном примере показать, какую пользу эта наука может нам принести.

Я с самого детства очень ко всему любопытен. Ну, не ко всему, конечно. Кое-что мне совсем безразлично. Например, сколько у кого денег и всякого добра. Кто за кем ухаживает или вообще с кем путается. Кто и как по службе продвигается и кому при этом ножку подставляет. И еще кое на что мне совсем наплевать. А все-таки многое еще за вычетом всего этого меня занимает. И не только когда дело касается людей, но также и животных. И когда я что-нибудь замечаю, то не просто как бы в инвентарь это занову и куда-то складываю, а всегда начинаю думать о замеченном. А когда всякие факты, которые сам заметил или про которые прочитал, обдумываешь, то непременно из них или что-то совсем новое вытечет, или они подтвердят, что ты

правильно на что-то смотрел, или наоборот — что дело в чем-то обстоит не так, как ты до сих пор это себе представлял, или, наконец, что ты не первый додумался до того, что сам считал своей догадкой и другим ее за свою выдавал. И все это одинаково интересно. По крайней мере — мне самому. Но начинает тогда казаться, что и кому-нибудь это тоже должно быть интересно. И отсюда происходит желание рассказать про то, что тебе пришло в голову. Словесно или написавши свои мысли на бумаге, чтобы с ними могли ознакомиться и те, кто с тобой не встречается или даже вовсе тебя не знает.

А писать я тоже очень люблю. Но если я пишу для того, чтобы изложить, какие мне мысли пришли в голову, то хочется это сделать так, чтобы они были переданы точно, то есть чтобы понять их можно было только в одном смысле, и ясно, чтобы не заставляя читателя ломать голову над тем, что же я, собственно, хотел выразить написанным. Тем более, что ничего особенно сложного или мудреного я никогда и не придумывал. Наконец, даже и само писание мне приятно. Вот все смеются над гоголевским Акакием Акакиевичем, что ему нравилось переписывать бумаги и что одни буквы он любил выписывать, а другие были ему несимпатичны. А я его очень в этом понимаю и тоже к разным буквам отношусь по-разному. Если кто уж любит писать, то ему в этом занятии все нравится, и сами даже предметы, какие для него употребляются. Например, Козьма Прутков, собираясь помирать, писал:

*Прощай, гусиное перо
И ты, о писчая бумага,
На кой сеял я добро.*

И я не стыжусь своего родства ни с Прутковым, ни с Акакием Акакиевичем. И думаю почему-то, что Гоголь тоже отчасти понимал склонность своего героя.

И часто случается, что кому нравится писать, тот пишет не одни только рассуждения. А его и письма не очень тяготят. Он и стихи нередко придумывает или что-то вроде художественной прозы. Или переводит всякие такие мелочи с иностранных языков, если, конечно, их немного знает.

Вы, нужно думать, догадываетесь, что я все это говорю на основании своего собственного опыта. Одним словом, я хочу сказать, что получаю удовольствие от своих наблюдений, от размышлений над ними и от изложения их сути, и вообще от всякого сочинительства. Но как только речь заходит о получении удовольствия, то, в силу неумолимых законов бухгалтерии, встает вопрос о его оплате.

Наблюдать общество и природу любят многие люди. Чаще всего это научные работники. И немало их делает это очень хорошо, другие — и таких больше — производят эту работу тоже недурно, но похуже, чем первые, а третьи — и совсем плохо. В зависимости от этого совершаются разной ценности открытия: величайшие

или, как их называют, мировые, большие, поменьше, совсем крохотные, а то и вовсе человек ничего не открывает, хотя он прилежно собирает материал, обрабатывает его (иногда даже очень сложными способами), изучает литературу предмета и т. п. Но никто из ученых, по крайней мере из тех, что мне встречались, не считает свою работу законченной, пока ему не удастся опубликовать ее результаты. Отчасти это происходит по необходимости. В наше время, а в нашей стране особенно, почти никто не занимается наукой за свой собственный счет. Эта работа оплачивается государством или какой-нибудь организацией. А раз на что-то даются деньги, то в их расходовании нужно отчитаться. Но дело не только в этой необходимости. — Ученый и сам хочет заявить о достигнутых им результатах. Почему? — Сейчас объясню.

Я неоднократно писал (но нигде не публиковал), что почти все ученые думают, будто их занятие выше всех остальных видов человеческой деятельности. Они-де служители разума, а он, по их мнению, превьше всего сущего, и только с его помощью можно спасти человечество от всех зол. Поэтому большинство их искренне верит, что обнародование результатов их работы общественно полезно. Но ученые — все же люди. И люди по натуре — как бы это сказать? — не очень сложные. Даже... Ну уж не скажу, что именно «даже». Поэтому ничто человеческое им не чуждо, а многое даже очень и очень свойственно. Например, честолюбие и близкое к нему тщеславие. И эти чувства всегда, то больше, то меньше, примешиваются к сознанию выполненного долга перед человечеством. А иногда даже совсем отодвигают это сознание на второй план. Но любую вещь можно называть по-разному, и каждое ее название, хоть смысл его в точности тот же самый, может звучать то совсем нехорошо, то сносно, а то даже и вполне прилично. И ученый, публикуя свою статью или книгу, может сказать: я похвастался результатами своих исследований, а заодно увеличил список своих работ (последнее очень важно!), или же — я закрепил свой приоритет (или приоритет отечественной науки), или — я поставил на службу обществу свои знания. А все-таки главное, чего добивается ученый, публикуя свои работы, это — удовлетворение своего честолюбия, хотя бы и самого минимального. А для этого всегда нужна какая-то аудитория. И точно так же всякому писателю, музыканту, художнику необходим читатель, слушатель, зритель.

Но как раз эта потребность и заключает в себе опасность. Ведь аудитория приятна не любая, а расположенная к тебе, одобряющая тебя, разделяющая твою точку зрения, твой вкус. Такую аудиторию без особого труда находит не особенно оригинальный автор, средних способностей артист. Она и сама-то состоит почти сплошь из людей посредственного образования, ума и вкуса. А что делать, если выступающий перед ней заведомо знает, что его уровень выше того, какой придется ей по вкусу? Тогда возникает соблазн снизить уровень своего выступления. А насколько? — Это целиком зависит от силы стремления к успеху. А в некоторых странах достижение

успеха осложняется еще и тем, что оно зависит не только от аудитории, но также и от точки зрения на данный предмет высшего начальства, которое только одно и может компетентно решать, что хорошо, а что плохо. Тогда прежде всего приходится думать об угождении начальству.

Как ни посредственен тот или другой автор, он все же хочет, выступая публично, предложить аудитории что-то свое, показать ей какой-то кусочек горячо им любимого самого себя. Поэтому он в меру возможности старается сохранить свою, какую ни на есть, сущность. Но чем сильнее у него это желание, тем меньше он может рассчитывать на успех у публики и на соизволение начальства. И тут каждый выбирает для себя пропорцию по своему вкусу. Одни соглашаются оставить от себя минимум, обеспечив себе таким образом максимальные шансы на хороший прием со стороны аудитории или на благосклонность начальства. Другие — наоборот: кость стараются выбросить поменьше, а свою физиономию сохранить насколько только возможно в целости. У этих задача потяжелей и успех, конечно, менее верный. Само собой понятно, что плата за успех колеблется в широчайших пределах.

Успех принято считать такой же абсолютной ценностью, как, скажем, золото. По нему оценивается результат всей жизни. Кто прожил хорошую жизнь? — Тот, кто добился в чем-то или во многом успеха. Кем следует считать человека, не добившегося никакого успеха в жизни? — Неудачником. Конечно, успех при этом имеется в виду только публичный. Да другим он и быть не может. *Τὰς ἀρετὰς τοὺς ἀνθρώπους οὐ τὰ πράγματα, ἀλλὰ τὰ περὶ τῶν πραγμάτων δόγματα**. Я не знаю никого, кто не хотел бы иметь успеха. И было бы ханжеством говорить, что сам я к нему равнодушен. Нельзя с полной уверенностью в своей правоте быть самому своим единственным судьей. Меня радует, когда мои мысли встречают понимание, а что-либо сделанное нравится и другим. Это ободряет, усиливает охоту работать. И все же по успеху не следует судить об удачности или неудачности прожитой жизни. Тем более — по одному только успеху. Важны все же именно *дела* (*πράγματα*), а не то, что *о делах думают или говорят* (*περὶ τῶν πραγμάτων δόγματα*).

И вот получилось, что теперь, когда моя, не такая уж короткая, жизнь приходит к концу, если на нее посмотреть со стороны, оказалась прожитой без того, что принято называть успехом. Я ничем не знаменит и не отмечен никакими отличиями. Ни одному моему тщеславному знакомому и в голову не придет похвастаться в обществе, что-де он со мной на короткой ноге. А между тем жизнь моя была очень деятельная. При самом скромном мнении о своей особе я все же не могу считать себя лентяем. Но ведь не лентяев, а людей, много работавших, но не добившихся никакой славы, как раз и называют неудачниками. И я уверен, что почти все мои друзья и знакомые (а уж не говорю о тех, кто меня за что-либо недолюбливает) таковым меня и считают. Правы ли они?

* Людей волнуют не дела, но мнения об этих делах (греч.).

Ответ на этот вопрос зависит от того, какое значение успеху придает сам «неудачник». И такой ответ я уже дал несколькими строками выше. — Да, успех в общепринятом его понимании был бы мне приятен. Но мало ли что еще могло быть мне приятно? Я, быть может, хотел бы быть владельцем помещичьей усадьбы. Но мечтать об этом в наших условиях нелепо. Может быть, я хотел бы иметь московскую прописку. — Это тоже совершенно невозможно. Или, представьте, я желал бы приобрести автомобиль и содержать при нем шофера. — На это у меня нет денег. Одним словом, нужно по одежке протягивать ножки. — Приобретать то, что возможно приобрести и что доступно по цене.

Тогда спрашивается: за какую же цену я согласился бы купить себе если и не славу, то хотя бы известность, иными словами, — купить себе успех? — Совершенно ясно, что нужно было бы предавать большей гласности результаты своих наблюдений, размышлений и вдохновений, изложенные на бумаге. Одни из этих результатов относятся к науке. Другие к ней не относятся. Но так разделяются только результаты моей деятельности, а не я сам. Многие люди совсем чужды науке. Другие живут только в ней. Тем и другим жить довольно просто. — Знай дуди в свою единственную дудку. Есть и еще один сорт людей. — Это те, кто как бы разделен внутри некоей перегородкой. По одну ее сторону помещаются науки, а по другую — житейские принципы, художественные вкусы и способности, мораль. И никакого обмена между той и другой половиной нет. И я знавал таких людей среди ученых. Научная их половина вызывала во мне восхищение. А другая была просто посредственная или совсем жалкая. Бывало и наоборот: — что у этого человека не относилось к науке, — было прекрасно, а научные способности и представления были до крайности слабые. А главное, повторяю, то и другое не было между собой связано. Я никогда не мог понять, как можно жить такой двойной жизнью. С меня хватало уже того, что, будучи гражданином страны, провозгласившей лозунг «Не трудящийся да не ест», я должен был всю жизнь трудиться, чтобы есть. Оно было бы совсем недурно, если бы пища выдавалась за работу, которая доставляет мне удовольствие. Но так здорово устроиться мне что-то не удавалось. За деятельность, которая мне нравилась, или платили такие пустяки, на которые не проживешь, или совсем ничего не платили. Значит, для прокормления своей грешной и, скажу, не совсем нетребовательной сомы* приходилось заниматься предметами, не вызывавшими у меня особого интереса. Стиснув зубы, я и занимался этими делами. И занимался много. И занимаюсь по сей день. Что же было бы, если бы и в своей подлинной (не для заработка проводимой) жизни я тоже был раздвоен? Впрочем, это вопрос праздный, так как тут я просто не могу раздваиваться. Так уж устроен от природы.

Я не представляю себе, чтобы при свойственном мне отношении к искусству и к поведению людей у меня могли быть научные взгляды, отличные от тех, какие у меня

* От греч. *σῶμα* — тело — т.н. «смертная» часть тела, противопоставляемая наследственному, бессмертному веществу организма.

имеются. И не могу сказать, что тут из чего вытекает. Нужно думать, что ничто ни из чего. Просто все так сложилось потому, что при моих умственных и душевных данных ничего другого сложиться не могло. Но, конечно, я не родился со своими теперешними взглядами и вкусами. Они во мне вырабатывались в течение всей моей жизни. И продолжают вырабатываться. И эта выработка и есть моя настоящая работа. Нужна она, собственно, только мне. Но она — то единственное, что меня по-настоящему занимает и что делает мою жизнь интересной, а меня — мною. Допускаю, что мои представления и мысли, вообще результаты моей деятельности, могут быть интересны и кому-нибудь другому. Но они могут быть преподнесены только как нечто единое, цельное. Между тем, сделать это нет никакой возможности. У нас печатается только то, что вполне соответствует официально принятой и преподаваемой идеологии. Но я думаю о многих вещах совсем по-другому, чем это требуется.

Некоторые из моих друзей, ознакомившись с каким-либо моим написанным, но не опубликованным сочинением, говорят мне, что в нем не содержится никаких не поощряемых начальством мыслей или эти мысли играют во всем сочинении такую второстепенную роль, что оно не исказится существенно, если их из него убрать. Эти друзья считают, что если основное содержание работы важно, то ради его опубликования кое о чем можно умолчать, а кое-что немного изменить.

Я только что говорил, что для получения необходимых материальных благ я выполнял работы, которые очень мало или совсем меня не занимали. К числу таких работ я отношу и обе свои диссертации. Их написание преследовало чисто прикладную цель. В них, особенно в докторской, я охотно соглашался убрать любую мысль, способную уменьшить проходимость диссертации, или наоборот — высказать мнение, которое не совсем разделяю, если это было в тех же видах полезно. В конце концов это шло на чужой суд, а не на мой собственный, перед которым я не соглашался ни на какие уступки. Пойти на них означало бы обесценить все самое мне дорогое, единственное дорогое. Какое удовлетворение получил бы шахматист от выигрыша у трудного противника партии, если бы для победы ему пришлось незаметно убрать с доски его пешку?

Занятие наукой включает в себя, во-первых, добычу новых фактов, во-вторых, — их освещение и толкование, в-третьих, выработку на основе этих знаний, а также ознакомления с литературой предмета, общих представлений о природе. По очень разным причинам новых научных фактов я добыл за свою жизнь довольно мало. Но истолкованы они были, по моему убеждению, правильно и хорошо. Больше же всего я ценю то, до чего я додумался в общих вопросах биологии, и через это привел в единство свои научные взгляды с жизнью и со своим отношением к искусству.

Публикация новых конкретных данных из области биологии, а тем более систематики, ограничивается у нас главным образом недостатком бумаги и малым количеством научных изданий, а не соображениями политической или научно-политической цензуры. Поэтому с опубликованием большинства установленных мною зоологических

фактов, повторяю, — не очень обильных — особых затруднений у меня не было. Да и те, что были, нельзя, собственно, считать затруднениями. Просто не было напечатано то, что я сдал в печать незадолго до своей посадки.

Добытые мною конкретные материалы сами по себе не были несколько сенсационными. Но мне они послужили отправной точкой для решения некоторых вопросов теории системы и формы. Эти вопросы теперь совсем не модны. Связанные с ними представления с начала нашего века не только не прогрессировали, но даже опустились на несколько ступеней ниже уровня, на каком они были когда-то. По моему убеждению, отход современной биологии от вопросов формы (и связанной с ними системы организмов) и устремление главных усилий биологов в область физиологии (в самом широком ее понимании) и есть причина снижения общенаучного значения биологии. Додумавшись до чего-то именно в этих немодных областях, я, естественно, хотел бы высказать это публично. Из опыта я знаю, что большая часть сказанного мною не была бы понята не только физиологами и генетиками, но даже морфологами и систематиками. Но ни тем, ни другим это не помешало бы поднять страшный крик. Те, кто попорядочнее, подняли бы этот крик в более или менее пристойной форме. Но таких нашлось бы не очень много. Большинство захотело бы что-то на мне заработать. Они выступили бы со статьями типа доносов, а то и просто написали бы доносы куда следует. В таких-то случаях злополучные авторы, говорившие что-то не вполне общепринятое, и прибегают к маскировке. Они декларируют свою полнейшую солидарность с незыблемыми основами, втискивают в эти основы все, что с грехом пополам в них удастся втиснуть, и умалчивают о том, что уж никакому втискиванию не поддается. После всех этих операций они радуются, что все-таки какой-то кусочек своих соображений они обнародовали. А что-то все лучше, чем ничего.

Вот эта истина и была для меня всегда сомнительна. По формуле судебной присяги свидетель обязуется говорить правду, только правду и всю правду. *Не только правда* — неправда, *не вся правда* — тоже неправда. А мне интересно говорить только полную правду. Но, как я говорил, мои зоологические занятия и размышления живут не в каком-то обособленном углу моего существа. Они неотделимы от того, что я думаю о музыке, о литературе, о людях, от того, что я сочиняю кроме научных статей. А об этом всем уж никак нельзя заявить во всеуслышание. А протаскивать кусочки этого контрабандой и совсем противно. А говорить об этих вещах ужасно хочется. Тем более, что и для устных разговоров обо всем этом взятом вместе я не находил ни разу в жизни, да и не мог найти, собеседника. Если в виде редчайшего исключения мне попадались люди, которые понимали мою точку зрения на естественную систему организмов или на форму живых существ, то Бах или Пушкин были для них тридевятым царством. Если случается мне за последнее время встретиться с кем-то, кто любит стихи, то говорить с ним можно только о русской поэзии. А понять все ее величие можно только при знании самых прекрасных стихов, написанных на других языках. То,

что мне кажется в вопросах морали простейшей аксиомой, другому не вдолбишь никаким способом.

Коротко говоря, мне хочется выдать наружу то, что составляет мою внутреннюю жизнь, а сделать это трудно. Однако все-таки не невозможно. Нужно только помнить великий закон бухгалтерии. — За всякое удовольствие следует платить. И я нашел способ оплаты удовольствия, которое мне так хотелось получить. Этот способ заключается в том, что все пишется только для себя и нигде не публикуется. Одним словом, за право совсем правдивого писания я плачу отказом от того, что называется успехом в жизни. Чтобы не преувеличивать размеры своей жертвы, я еще раз повторяю, что успех — совсем не критерий удачно или неудачно прожитой жизни. Важно только, была ли она наполнена и чем была наполнена. Важно также, стыдно ли тебе за совершенные в жизни поступки или нет. Я доволен тем, чем заполнил свою жизнь, и мне кажется, что заполнял я ее прилежно. Не могу сказать, что мне не стыдно ни за одно мое деяние. Очень и очень много я дал бы за то, чтобы облегчить свою совесть от некоторых тяжелых укоров. Но никто не судья своего жизненного поведения. А как раз теперь я приближаюсь к самому важному экзамену — к последнему. И весь итог жизни зависит от того, как мне его удастся сдать.

И еще для полной честности следует сказать о некоторых удобствах и преимуществах избранного мною образа действий.

Во-первых, мой отказ от аудитории не полный. Почти всякое мое сочинение находит читателей. Верно, очень немногих. Самый большой тираж моих произведений — 3 экземпляра. Это если они перепечатаны на машинке. И пускаю я их не в широкий свет, а даю прочитать то или другое немногим моим друзьям, которым оно может быть интересно. Может даже случиться, что какие-то мои рукописи уцелеют после моей смерти. Но шансы этого невелики.

Во-вторых, поскольку я пишу не для печати, это избавляет меня от необходимости соблюдать принятые при публикации правила. Это особенно относится к сочинениям научным, подготовка которых к печати требует точной цитации упоминаемых авторов. А это занятие скучное и часто трудное. Это же позволяет мне писать так, как мне нравится, т. е. пользоваться всеми возможностями нашего языка, а не придерживаться убогого научного жаргона.

Наконец, время для писания, не рассчитанного на публикацию, теперь не наилучшее. Когда-то не очень давно это было опасно. К любому гражданину нашей страны в любой момент могли явиться люди из «органов», произвести у него обыск, забрать все написанное и, покопавшись в нем, установить, что деятельность этого гражданина вредна для государства. Теперь они для этой цели приходят только к тем, кто их уж очень интересуется. Вряд ли на их визит могу рассчитывать я.

1970

ВОСПОМИНАНИЯ

Я побаиваюсь предаваться воспоминаниям о своих молодых годах. Уж слишком хорошим представляется всем старикам время их молодости. И очень велика опасность впасть в его идеализацию. Действительно, много хорошего ушло безвозвратно. Но много ушло и плохого. Об этом мы как-то не очень склонны думать. А ушедшего хорошего жаль ужасно. Жаль и мне, конечно. Но это чувство неотделимо от сожаления об ушедшей молодости, от которого ни один старик не может уйти, если только он не дурачок и не старается уверить себя, а главным образом — других, что душой он совсем молод.

Оставшиеся в живых мои сверстники обычно, встречаясь и вспоминая студенческие годы, ведут эти разговоры как бы под девизом: «Какое было время! Какие люди!»

Время первых лет после революции было, действительно, во многих отношениях занятное. Оно было, главным образом, очень пестрое. Происходило смешение разных общественных слоев, до той поры довольно обособленных. И тогда еще каждый из этих слоев был достаточно полно представлен. Позднее некоторые из них почти совсем исчезли. Частью были уничтожены, частью просочились за пределы нашего отечества, а частью как-то рассосались внутри него. Смешение было не только социальное, но и географическое. После войны и революции много народу переселилось. В столицах, Москве и Ленинграде (уж не буду называть его по-тогдашнему Петроградом), появились жители отдаленных провинций и наоборот — много москвичей и ленинградцев, спасаясь от голода, или по другим причинам, выехало в провинцию и на окраины. Приток новых элементов сильно освежил общество. Новые идеи вызывали брожение, и это тоже действовало освежающе. Террор и давление со стороны власти в те годы были еще относительно умеренные. Поэтому брожение идей могло приносить плоды. В искусстве был несомненный подъем и расцвет. Общее настроение молодежи было романтическое. Много романтики, наивной и не очень хорошего вкуса, было даже в жизни государственных учреждений. Думаю, что это время можно во всяком случае считать интересным и во многом героическим.

Что же касается людей, то, конечно, они были и тогда такие же, как и во все другие времена, т. е. хорошие и дурные, умные и глупые, живые и вялые, талантливые и бездарные, красивые и некрасивые. И все эти категории — все в той же извечной пропорции.

Говоря об интеллигенции, академической и всякой другой, я могу, пожалуй, сказать, что в ее среде много чаще, чем теперь, встречались люди более или менее широко образованные. Понятие образованного человека как-то стало совсем неупотребительным. Это не человек, имеющий хорошие познания в своей области или даже в нескольких специальных областях, такой, каких теперь чаще называют эрудированными. Это, конечно, не очень знающий специалист. И не тот, кто набрался разнообразнейших знаний из популярной литературы, отечественной и переводной. Пожалуй, образованность определяется больше всего мерой гуманитарного образования, знанием литературы и иностранных языков, хотя бы и немногих, но обязательно хоть одного классического. Образованный человек прежде всего грамотен в речи и в письме. Он не употребляет неверно иностранных слов, не коверкает их и не делает неправильных ударений (инцидент и претендент, пёртер, фоз, афёра, атлёт, лаборатория). Более или менее знает историю, имеет представление об исторических лицах, а также о литературных и мифологических персонажах, что позволяет ему читать с пониманием классическую литературу, знать, что значить умыть руки, что такое Прокрустово ложе, Иудины серебреники, Ахиллесова пята (служащий одного учреждения, жалуюсь мне на слабое место в его работе, сказал: — Это наше ахиллесово пятно). В таком смысле образованных людей, а к тому же еще и воспитанных (тоже понятие ныне исчезнувшее и тоже не очень легко определяемое) прежде встречалось значительно больше, чем теперь, несмотря на неизмеримо меньшее распространение среднего и высшего образования. И такими были решительно все университетские профессора и преподаватели. Если можно говорить об образованности применительно к очень молодым людям, то она встречалась и среди студентов.

Однако я никак не могу сказать, что все эти люди были действительно такими гигантами мысли и такими большими фигурами, какими они представляются большинству моих однокашников. Мне кажется, что вообще интеллигент того времени как бы не дорос до способности по-настоящему оценивать события, людей и всякие явления в жизни, в науке и в искусстве. Чтобы узнать истинную цену этим вещам, нужно было пережить все, что последовало за первой мировой войной и за революцией. Хотя я сам лишь случайно уцелел в ходе этих событий, я считаю, что они научили меня такому, чего я без них никак не смог бы постигнуть. И, пожалуй, для себя я могу без иронии называть Сталина великим учителем. Наши же университетские учителя этого опыта не имели и потому, за редчайшими исключениями, были житейски несколько наивны. Также и научные их идеи были не очень высоки. Почти все они исповедовали доволь-

но упрощенный позитивизм и, хотя сами этого не признавали, все же они стояли на платформе наивного материализма. Как биологи они свято верили в Дарвина, вполне правверно или с уклоном одни в ламаркизм, другие — в выросший на основе тогда еще молодой генетики неодарвинизм. Конечно, я говорю это только о большинстве. Были и исключения. Однако, вспоминая свои университетские годы (студенческие и десять последующих лет), я не могу тешить себя иллюзией, что находился в обществе мудрецов и людей великого духа.

И все же, при всей трезвости оценки университетской жизни двадцатых годов, нужно признать, что это был период исключительный. — На какой-то десяток лет, начиная с 1919 года, университет (я, конечно, говорю о Московском; нечто сходное было, вероятно, и в других наших университетах) словно бы вернулся к своему средневековому прототипу. — Он стал коллегией, в которой профессора и студенты составляли нечто единое. Таким он не был до революции. И таким перестал быть через 12—13 лет после нее.

Пополнение университетов из самых низов, т. е. молодежью непосредственно от сохи и от станка, началось не сразу. В первые годы после революции туда шли все же в основной массе те, кто, если и не полностью окончили гимназию или другое старое среднее учебное заведение, то доучивались в советской школе лишь два-три года. У этого контингента и общая подготовка к высшей школе была достаточная, да и по происхождению он относился все же по большей части к интеллигенции, в то время еще очень далекой от идей Октябрьской революции. Профессора же и преподаватели были полностью старые, дореволюционные. Стремление сделать высшую школу пролетарской и подчинить ее целям, провозглашенным большевистской партией, существовало, конечно, с самых первых дней установления новой власти. Но сделать это сразу не было никакой возможности, так как высшая школа и вся наука в стране были целиком в руках старой профессуры. Однако нажим в этом направлении производился непрерывно. Как всякий нажим, он вызывал противодействие. Для этого противодействия была необходима какая-то опора. Ее профессура находила в значительной части студенчества. И именно в части наиболее интеллигентной, имевшей примерно такое же представление о науке и относившейся к новым порядкам почти так же, как профессора. Вряд ли те и другие вполне сознательно и с ясным представлением о цели искали поддержки друг у друга. Но несомненно, общность интересов как-то ощущалась теми и другими. Если уж непременно держаться принятой у нас терминологии, то эти интересы можно назвать классовыми. Но я не знаю, действительно ли снижение уровня преподавания и научной работы отвечало жизненным интересам пролетариата, а сохранение этого уровня было жизненно необходимо для феодалов и буржуазии. На мою долю выпало попасть в университет в этот период. И это я считаю удачей.

Университеты в то время были главным средоточием науки. Специально исследовательских учреждений тогда было еще очень мало. Это были институты Академии

наук, тогда еще очень немногочисленные, и буквально единичные научные учреждения, организованные незадолго до революции или в самые первые ее годы некоторыми энергичными и предприимчивыми учеными. Но основная наука жила в университетах. Университетское преподавание тогда сильно отличалось от теперешнего. Оно было тесно связано с научной работой. В нем было гораздо меньше всего обязательного, принудительного, всякого ученичества. Студент при желании и при наличии у него необходимой предварительной подготовки (и обязательно при знании хотя бы одного-двух иностранных языков!) мог хоть с самого первого дня входить в науку. Выполнение минимальной учебной программы тогда было проще, и оно оставляло время для других занятий. Да и сама эта программа была не так далека от современного уровня науки, как теперь. Уже при прохождении так называемого большого зоологического практикума студент не мог ограничиваться в качестве пособий одними учебниками, а был принужден знакомиться с большими русскими и иностранными руководствами и со специальной литературой. А это подводило его вплотную к современным вопросам науки. Общественно-политические предметы сначала вообще не входили в учебную программу. Потом они были введены в очень скромном объеме. Не преподавались военные предметы. Беспартийные студенты (а коммунистов и комсомольцев на всем нашем факультете было буквально несколько человек) могли не заниматься общественной работой, если не имели к ней интереса и способностей. Хотя курсы основных дисциплин были очень обширны, но зато не было такой массы обязательных специальных предметов, какими перегружены учебные программы теперь. Все это давало студентам возможность не только учиться, но и делать первые шаги в науке.

Но особенно этому содействовало тесное общение студентов с университетскими преподавателями. Конечно, таким общением пользовались далеко не все студенты. Их было слишком много. И не все они готовили себя к научной деятельности. Но серьезно интересовавшиеся наукой не встречали никаких препятствий к вхождению в студенческо-преподавательские коллегии, сгруппировавшиеся вокруг университетских кафедр. Члены этих коллегий были связаны между собой не одними научными интересами. Общение их было гораздо более полным. Все они составляли как бы расширенную семью профессора, возглавлявшего кафедру. И настоящая семья профессора в большей или меньшей мере входила в нее. Все внутри такой коллегии имели и чисто личные отношения между собой, особенно углублявшиеся и укреплявшиеся в различных экспедициях, научных поездках, при работе летом на биологических станциях и т. п., а также в совместных пирушках, достаточно частых, очень вольных, но при всем этом не носивших черт распущенности, хотя они и не обходились без алкоголя. И если, хотя бы по возрасту, между профессорами и студентами должна была сохраняться какая-то дистанция, то более молодые преподаватели — ассистенты и доценты — находились со студентами в самых свободных отношениях. При этом отсутствие внешних признаков чинопочитания никак не вызывало меньшего уважения старших младшими.

Коллегии отдельных кафедр не были замкнутыми. Они достаточно широко общались между собой, особенно в младших своих звеньях. Например, зоологи разных специальностей распределялись по кафедрам профессоров Кожевникова, Северцова, Мензбира, Богоявленского и Кольцова. Конечно, связи внутри каждой из этих групп были более тесными, чем за их пределами. Однако все зоологи составляли достаточно единую семью, особенно, повторяю, студенты и преподаватели чином пониже профессорского. Но и с ботаниками у нас была связь довольно тесная, и даже с геологами и химиками. От физиков и математиков мы были несколько более обособлены.

Было еще нечто, что сильно сближало разные звенья университетской коллегии. — Все тогда были бедны, раздеты, все мерзли и все были голодны. Особенно в период до начала НЭПа. Конечно, профессора и преподаватели были лучше обеспечены, чем студенты. Но все же разница между материальным положением тех и других была несравненно меньше той, какая установилась позднее и существует теперь.

И вот, в этой обстановке нищеты и всеобщего товарищества мы очень нерадиво выполняли обязательную учебную программу, рьяно вгрызались в науку и много веселились. И если я говорю о своих университетских годах как о времени своеобразном и в каком-то отношении замечательном, то больше всего имею в виду царивший тогда в университете дух коллегиальности. Тот самый, который объединял профессоров и школяров в средневековых университетах в борьбе за их автономию и против посягательств феодалов, духовных властей и магистратов.

Автономия университетов и у нас всегда была мечтой их профессуры и студенчества, которую они отстаивали перед государственной властью, не желавшей ее предоставлять. После революции (кажется, февральской) она осуществилась. — Ректор стал избираться профессорской коллегией, а не назначаться правительственной инстанцией. Избранные ректор и деканы руководили всей жизнью университета, были его полными хозяевами во всем, что касалось преподавания и научной деятельности. Однако уже очень скоро после Октябрьской революции стало очевидно, что эта коллегия совсем не намерена осуществлять принципы, провозглашенные новой властью в отношении высшей школы. После неудачных попыток сломить это сопротивление более или менее мирными способами советское правительство отменило автономию, которой наши университеты пользовались в течение неполных четырех лет своей истории. В 1922 г. выбранный ректор Московского университета М. М. Новиков был заменен назначенным на эту должность В. П. Волгиным, известным академической публике более всего по своим публицистическим статьям в либеральной кадетской газете «Русские ведомости». Но тогдашние времена были еще очень мягкими, и после назначения нового ректора академические вольности были упразднены далеко не полностью. Один человек не мог изменить весь ход и характер преподавания и научной

работы, находившихся целиком в руках старой профессуры. А эта профессура, как только могла, старалась не вводить новшеств, шедших вразрез со всеми ее представлениями о науке, о высшей школе и об общественном строе. И если это ей в течение довольно длительного времени удавалось, то, несомненно, она была этим больше всего обязана поддержке со стороны значительной, и при этом наиболее интеллигентной, части студенчества.

Эта поддержка была вполне взаимной. Наиболее ярко это проявилось во время страшной студенческой чистки, проведенной в 1924 г. Она была задумана с целью освободить вузы от студентов, общественно-политическая физиономия которых была так или иначе несимпатична или хотя бы вызывала сомнение. Это было одним из первых решительных мероприятий по приведению вузов в христианский вид. Но еще не пришло время, когда такие мероприятия можно было проводить откровенно. Поэтому чистка была названа «академической» и была якобы основана на принципе академической успеваемости. Конечно, оценка успеваемости была очень различной в зависимости от большей или меньшей необходимости выгнать данного студента. Но все же какое-то минимальное приличие нужно было соблюдать. В частности, нельзя было «вычищать» студентов, почти полностью выполнивших учебную программу. Поэтому было объявлено, что студенты, которым для окончания курса осталось сдать не больше трех экзаменов, чистке не подлежат.

Чистка приняла характер настоящего избиения младенцев. В разных вузах и даже на разных факультетах одного вуза она протекала очень по-разному, в зависимости от рвения и садизма специально образованных комиссий, состоявших преимущественно из студентов же, членов партии или комсомольцев. Говорили, что были случаи самоубийства вычищенных студентов. Очевидно, организаторы чистки и сами поняли, что сильно перехватили. Через некоторое время после ее окончания начался пересмотр ее результатов и большинство выгнанных студентов или, по крайней мере, многие из них были приняты обратно.

И вот наши профессора (вероятно, не только наши) пришли на помощь избиваемым оканчивающим студентам. — Они стали зачитывать экзамены авансом, без сдачи их. Конечно, студенты и сами пустились во все тяжкие по части сдачи экзаменов. Чистка и ее официальные условия были объявлены заранее. Ко времени ее начала каждый студент постарался сдать как можно больше предметов. Но, как я уже говорил, большинство студентов, интересовавшихся наукой, было не очень усердно в выполнении учебной программы. Поэтому лишь очень немногие из них могли, сдав несколько экзаменов, довести их общее количество до требуемого для освобождения от чистки минимума. Профессора ставили экзамены вперед без колебания и без всяких предварительных условий. Ставили не только тем студентам, которых знали лично, но также и совсем незнакомым, по записке от какого-либо другого профессора или преподавателя. В результате от чистки было освобождено

гораздо больше студентов, чем это можно было бы сделать на законном основании. Все это было основано только на полном взаимном доверии. Хотя те времена были и очень далеки по суровости от начавшихся со второй трети тридцатых годов, все же профессора, конечно, рисковали.

И нужно сказать, что студенты, получившие экзамен авансом, никогда не заматывали его потом. По крайней мере, я таких случаев не помню. Мало того, — зачтенные вперед предметы сдавались особенно добросовестно. Считалось неудобным идти к выручившему тебя профессору, зная его предмет на «утку». Я сам получил довольно много экзаменов вперед. И никогда я не готовился к их сдаче так тщательно, как при погашении этих авансов. Но, как нарочно, а может быть именно намеренно, профессора в этих случаях экзаменовали крайне снисходительно.

Легко понять, что в этой обстановке коллегиальности студенты сближались со своими учителями очень тесно. Думаю, что ни один теперешний студент не узнает так близко своих профессоров и преподавателей, как узнавали их мы.

У меня остались воспоминания об университете не только студенческие, так как после окончания курса я был связан с Московским университетом еще более десяти лет. И не одним кругом этого университета замыкались мои связи с зоологами и не только зоологами того времени. Хотя я и сказал, что только очень немногих из них я могу считать людьми действительно замечательными и выдающимися по своему уму, таланту и по человеческим качествам, все же почти каждый что-то сделал в науке или для науки и очень многие были людьми с какой-то стороны интересными (а какой человек вообще не интересен?). И, конечно, о многих из них хотелось бы рассказать то, что мне о них известно. Ведь о большинстве их никто ничего не узнает кроме того, что ими оставлено в их специальных работах. А о немногих, которые так или иначе вошли в историю, люди получают самое неверное представление.

А кто вошел в историю? — Шопенгауэр в своих «Афоризмах» приводит слова Лессинга: «Одни люди знамениты, а другие заслуживают быть таковыми». Но этот закон приобретает особую силу, когда историю, как у нас говорится, не пускают на самотек, а тщательно ее формируют. Результаты же такого формирования применительно к биологии таковы, что даже в широких кругах наших ученых мало кто знает о Тихомирове, Гурвиче, Беклемишеве, Мартынове, Навашине, но несравненно больше о Тимирязеве, Мензбуре, Вавилове, Павловском, Опарине.

Приступая к писанию этих воспоминаний в уже довольно плохом состоянии здоровья, я знал, что они не могут быть сколько-нибудь полными и систематичными. Поэтому заранее отказался от какого-либо твердого их плана. Начавши вспоминать университетские годы, я решил написать о людях, с которыми был связан именно по университету. Но с кого начинать? — Может быть, это покажется странным, но я почему-то чаще всего вспоминаю не кого-либо из профессоров или других ученых, а работавшего в Зоологическом музее столяра Илью Сергеевича Сергеева.

И. С. Сергеев

Его биография известна мне по собственным его рассказам. Мальчиком он отдан был в обучение столярному ремеслу к какому-то мастеру-немцу. Чуть ли не весь первый год пребывания в мастерской ему доверялось только подгребание стружек да принос чайников с кипятком. Потом стали понемногу приучать к самым простым столярным работам. А затем, постепенно, — к более сложным. Не помню, сколько времени продолжалась наука. Но, во всяком случае, не два и не три года. Когда Илья все произошло, хозяин устроил ему экзамен. — На ободке большого, диаметром в сажень, вращающегося деревянного колеса были наклеены дощечки разных пород дерева, наших и иноземных. Сколько было таких дощечек, — сказать трудно. Но, вероятно, все же много. Хозяин поворачивал колесо и заставлял называть каждую породу. По-видимому, экзамен этот был достаточно труден. Предполагалось, конечно, что ученик к нему допускался лишь после того, как он мог выполнять решительно все столярные работы. Выдержавший экзамен считался уже мастером, хотя, надо думать, никакого диплома ему не выдавалось.

В 25 лет Илья женился. До этого в том, что касалось женского пола, было абсолютное воздержание. Также табаком и вином он не баловался. В церковь ходил всегда и в Бога веровал. Но, насколько я мог понимать, просто и истово, без исступления и фанатизма.

Не знаю, до женитьбы или после нее, Илья распрощался со своим хозяином-немцем и завел собственную мастерскую. Дело у него шло. Перед революцией у него постоянно работало около двух десятков мастеров. Предприятие его было достаточно солидное и считалось в Москве чуть ли не самым лучшим. Он брал большие подряды. Отделял многие известные особняки, строившиеся в предвоенный период. Он же изготовил всю мебель, включая и аудиторную, в зданиях зоологического, физического и ботанического корпусов Московского университета, построенных в первые десять лет нашего столетия. Она цела и до сих пор, по крайней мере, в Зоологическом музее. И какая это мебель! Крышки больших лабораторных столов, склеенные из отдельных досок разных древесных пород, до сих пор идеально ровны и лишены малейших трещин. Покрывающий их черный лак удивительно противостоит действию проливаемых реактивов. Стенные и всякие другие шкафы закрываются и теперь так же плотно, как в день их изготовления. В Зоологическом музее Сергеевым сделана не только мебель, но также сундуки для хранения шкурки птиц и млекопитающих и энтомологические ящики. Эти ящики абсолютно герметичны. Ни моль, ни другие коллекционные вредители не имеют никакой возможности проникнуть под их крышку. Такие же ящики Сергеев делал и моему отцу для его коллекции бабочек. Это было в моем очень раннем детстве, и я только смутно помню, что к нам кто-то приходил с ящиками. Но Сергеев, как только я появился в университете в 1920 г., узнавши мою фамилию,

тотчас же осведомился, не сын ли я того «господина Кузина». И это послужило началом нашей последующей с ним дружбы.

Я точно не знаю, что произошло с Сергеевым после революции. Но нетрудно догадаться, что его процветающее предприятие было так или иначе ликвидировано или национализировано. И хорошо еще, если сам он не имел в связи со своим буржуазным никакими особыми неприятностей. Я застал его на должности столяра в Зоологическом музее. Его мастерская, в которой он работал один, помещалась в подвальном этаже. Жил он тогда, кажется, где-то на Пресне, т. е. относительно недалеко от университета.

Имея дело с энтомологическими коллекциями музея, то есть постоянно возясь с ящиками для насекомых и с многочисленными шкапами, у которых то и дело портились замки или терялись ключи (а с ключами и замками Сергеев управлялся не хуже, чем с деревом), я часто обращался к нему. Каждое такое деловое обращение сопровождалось небольшим балагурством. Из него постепенно возникали более долгие разговоры, углублявшие наше знакомство. Мне этот старик все больше нравился, а он приобретал все большее доверие ко мне. Когда через некоторое время после окончания университета я стал заведовать энтомологическим отделом Зоологического музея, то при распределении хозяйственных обязанностей между тремя его хранителями мне был поручен присмотр за столярной мастерской, и я, таким образом, стал непосредственным начальством Сергеева. В это время общий процесс приведения университета в нормальное советское состояние уже сильно прогрессировал. Профессора и все мы становились все меньше и меньше хозяевами университетских учреждений. Режим работы всякого подсобного персонала становился все жестче и все больше подчинялся вышестоящему начальству. Вводились всякие стеснительные формальности учета времени, контроля работы и т. п. Приходилось то и дело принимать какие-то меры, чтобы все это поменьше стесняло старика, привыкшего работать по-своему, не понимавшего никаких казенных методов управления и боявшегося их. А у него в самом конце двадцатых годов померла жена, и это его просто убило. И по каким-то причинам он переехал с Пресни в Хохловку, т. е., по-тогдашнему, на очень далекую окраину Москвы, и жил там с дочерью и зятем. Оттуда он еще довольно долгое время ездил на работу. Но наконец ему это, видно, стало невозможным. У него была грыжа. Он стал часто хворать. И, исхлопотавши крошечную пенсию, бросил работу. В курсе всех его этих невзгод я находился постоянно. Делал для него, что мог. Но понимал, что ничего не поделаешь со старостью и с наступлением порядков, к которым этот человек никак не был приспособлен.

Я помню И. С. Сергеева только стариком. Роста он был среднего. Сутуловатый. Довольно плотный и кривоногий. Ходил быстро, но походка у него была шмыгающая и немного переваливающаяся. Волосы стриг коротко, но обычно обрастал. Носил усы и небольшую бородку, немного клинышком. Черты его лица были неправильные. Нос

красноватый, формы неопределенной и довольно мясистый. Брови густые. А глаза были светлые, умные и веселые. Его лицо при разговоре было подвижно и легко принимало лукавое выражение. Улыбка же часто бывала просто неотразима. На работе он был одет в ситцевую рубаху-косоворотку с жилеткой поверх нее и всегда носил фартук, матерчатый или клеенчатый. Но как-то Илья Сергеевич показал мне свой портрет, относящийся к лучшим годам его жизни. Он сказал мне, что у него есть книга, в которой помещены все московские «производители». Этой книгой оказался справочник «Вся Москва», изданный, кажется, в самом начале столетия. Там были сведения и о столярной мастерской Сергеева и была помещена фотография ее владельца. Судя по этой фотографии, И. С. в молодости был брюнетом или темным шатеном. Усы и борода были подстрижены. Снят же он был в пиджаке или в сюртуке, с высоким крахмальным воротничком и с широким, как тогда носили, черным галстуком. Узнать его можно было только по запечатлевшейся на снимке усмешке. Этой книгой-реликвией И. С. очень дорожил. Она осталась единственным свидетельством его давнего благополучия и славы.

Когда я думаю, чем, собственно, меня так располагал к себе этот человек, то приписываю это трем его качествам: его профессиональному мастерству, всегдашнему юмору, связанному, конечно, с природной живостью и ясностью ума, и чудному, по-настоящему народному языку, тому московскому говору, каким в моем детстве говорили вокруг меня все люди, не испорченные низшим, средним или высшим полубразованием.

Мастерство, вероятно, в скором времени останется только в искусстве, где без него никак нельзя обойтись. Качество же вещей всякого обихода все больше и больше определяется совершенством машин и орудий, служащих для их изготовления, и внимательностью людей, управляющих этими машинами. Еще совсем недавно решительно каждая такая вещь в большей или меньшей мере была штучной. Сергеев сделал за свою жизнь огромное количество очень хороших столов, стульев, шкафов и ящиков. Большинство этих вещей делалось по относительно немногим образцам. Но изготовление каждой требовало мастерства. Все они были сделаны очень добротнo, чисто и изящно. Глядя на них, можно понять, почему Илье пришлось столько лет проходить свое обучение. И было ясно, что кроме ремесленных знаний тут требуется хороший глаз и прекрасные руки. А руки И. С. не только умели орудовать инструментом, но они чувствовали дерево. Когда он являлся ко мне по какому-нибудь делу, он никогда не садился, но подходил к одному из столов или становился за свободным стулом и в течение всего разговора ощупывал этот деревянный предмет — крышку стола или спинку стула — пальцами. У меня было впечатление, что трогать дерево ему необходимо, чтобы чувствовать себя нормально, как необходимо форели ощущать течение воды, в которой она находится, или термиту — прикосновение к его телу стенок камер гнезда или хода.

Слушать всякие рассказы И. С., да и вообще вести с ним любой разговор, было настоящее наслаждение. Язык его был прост, но очень богат. Я уже не говорю о профессиональной столярной терминологии, для меня, конечно, экзотичной, о всяких там шпунтах, фасках и флянцах, о снычах и сувалдах ключей и т. п. Мне кажется, что, если бы застенографировать его повествования об обучении у мастера-немца, о своей мастерской, о порядках, царивших в ней, о харчении его рабочих, о его женитьбе, то это можно было бы без всякой правки включить в хрестоматию родного языка. И соседства с этими рассказами не постыдился бы и сам Аксаков. Великолепные у него были словечки лесковского типа. К сожалению, они у меня не удержались в памяти. Но один образец остался. —

Однажды, когда я после обеда пришел в Музей, И. С. сообщил мне с беспокойством, что тут приходили какие-то двое и спрашивали меня. Я спросил, кто они. — «Да не знаю. Оба с портфелями. Кажется, из Главпроформы». Портфель был тогда необходимой принадлежностью всякого начальства. Сергееву он представлялся каким-то символом власти, как, несомненно, в прежние времена портупея у какого-нибудь околоточного. Главпроформой же он называл Главпрофобр — отдел Наркомпроса, в ведении которого находились вузы, в том числе и наш университет. Я не уверен, что Сергеев не понимал двойного смысла портфеля и Главпроформы и что он попросту ошибся. Объяснять свои шутки было не в его манере.

А шутки из него так и сыпались. И это всегда были чистейшие экспромты, появлявшиеся по возникшему внезапно поводу. Вот некоторые их примеры.

В течение довольно многих лет возникший в недрах Зоологического музея «Пловморнин» (Плавучий морской научный институт, ставший позднее «Гоином», а затем «Вниро») не имел своего помещения, а ютился у нас, сначала в нескольких комнатах подвального этажа, а потом в нижнем выставочном зале Музея. Комнаты подвала шли цепью одна за другой. Первая из них была занята столярной мастерской. Поэтому все сотрудники Пловморнина проходили мимо Сергеева. В те времена в научных учреждениях часы работы соблюдались совсем не строго. Работали когда кому было удобно. И очень часто по вечерам. И это вечернее время было также удобно для больших и маленьких романов между сотрудниками и сотрудницами. Хитрый Сергеев был наблюдателен. Он и сам нередко задерживался на вечер в своей мастерской. Да и днем мог кое-что видеть и слышать. Одна сотрудница Пловморнина, ставшая потом очень строгой и почтенной дамой, в молодости была достаточно темпераментна и имела порядочную клиентуру поклонников. Однажды я зашел к Сергееву по какому-то делу. Кончив его, собиравшись уйти. Тогда старик с самым серьезным видом показал мне на дверь соседнего помещения и спросил: — «Борис Сергеевич, а туда-то что ж?» Я ответил, что туда мне идти не к кому. «А к Верочке-то?» — «Зачем же мне к ней?» — «Вот тебе раз! — А зачем же все-то ходят?» Засмеявшись при этом, он имел вид старого сатира.

Сергеев несочувственно относился к инвентаризации мебели, которую университетское начальство предложило провести только к концу двадцатых годов. Он не мог, конечно, примириться с прибавлением к столам, шкафам и стульям безобразных жестяных блюшек с номерками. Поэтому решил выбивать номера имевшимися у него стальными трафаретами с цифрами, наподобие больших типографских буквенных столбиков. Войдя с этими принадлежностями в комнату большого практикума, где сидела моя сестра, бывшая тогда студенткой, он сказал ей: «Вот скоро барышнев клеймить будем». И фыркнул.

Летом какого-то года я никуда не выезжал из Москвы. А все постепенно разъезжались в экспедиции, на биологические станции и т. п. Одним из последних отправился, уж не помню, куда, С. И. Огнев со своими учениками, кажется, с В. Г. Гептнером, А. Н. Формозовым и Н. В. Шибановым. Их снаряжение было погружено на подводу, подъехавшую к черному входу в Музей со двора. Я вышел проститься. Подвода тронулась и направилась к воротам, выходящим на Никитскую (ул. Герцена). Рядом с ней по тротуару чинно шествовали в экспедиционных костюмах (в тропических пробковых шлемах!) Сергей Иванович и его спутники. Я глядел им вслед. В это время рядом со мной появился Сергеев. Увидав удаляющуюся группу, он заглянул мне снизу в лицо и сказал: — «Уезжают все порядочные-то». И после паузы: «Одна шушера остается. Ха-ха-ха!»

Однажды я рассердился на Сергеева. Он не выполнил какую-то работу, которую должен был сделать по моему указанию. Когда его спросили, почему же он так поступил, он ответил, что есть начальство и повыше Бориса Сергеевича, что он что-то делал по распоряжению самой деканши (Быховской). Когда он вскоре после этого пришел по делу ко мне, я решил прочитать ему мораль. Сказал ему что-то вроде того, что со всеми своими нуждами он идет ко мне и что из всяких неприятностей я его вытаскиваю, а он на меня плюет. И что пусть он тогда и поступает в распоряжение деканши. Сергеев слушал все это, подняв брови и поколупывая свой нос. И вдруг он с робкой улыбкой поднял на меня глаза, сияющие невинностью, и, совершенно как провинившийся ребенок, сказал: «Ну, милочка, простите. Ну, не буду больше». Я понял, что шельмец хитрит. Но не было никаких сил не разоружиться.

Не помню, в каком году Сергеев перестал работать. Вероятно, это было году в 1932 или в 1933. Я узнал, что он чувствует себя плохо, болеет. Решил навестить его в одно из воскресений. День был осенний и непогожий. На разных трамваях, а потом пешком по грязным окраинным улицам добрался до него. Я даже не очень представляю себе теперь, где, примерно, находилась Хохловка. В небольшом деревянном домике я застал Сергеева одного. Дочери и зятя не было дома. Илья Сергеевич очень осунулся и сильно изменился. Глаза его потускнели. Зная, что живет он очень небогато, я собрал среди музейских зоологов сколько-то денег. Кроме того, купил ему каких-то харчей, так как время было довольно голодное. Он растрогался. Посидел я с ним

недолго. Он теперь уже не шутил. Говорил обо всем серьезно. Ни на что не жаловался, но был полон всяких беспокойств. Уходя, я знал, что больше его уже не увижу живым. Умер он довольно скоро после этого свидания. Но на похоронах его я почему-то не был. Кажется, я тогда сидел в тюрьме.

Г. А. Кожевников

Моим учителем в университете был Григорий Александрович Кожевников. Говоря так, я несколько колеблюсь. Ведь, собственно говоря, он меня ничему не учил. Его основной курс — зоологию беспозвоночных — я не слушал. Я вообще не слушал почти никаких лекций, так как плохо воспринимаю с голоса, а посещение лекций в мои времена для студентов не было обязательным. Читал же Г. А. очень скучно. Еще он читал специальный курс по членистоногим. Этот курс не был обязательным. Поэтому его вообще слушало очень немного студентов. Но чтобы не допустить полного провала курса, студенты, специализировавшиеся при Зоологическом музее, установили между собой повинность ходить на эти лекции по очереди, чтобы в аудитории каждый раз было хоть несколько человек. И на мою долю выпало несколько таких отсидок. Но я и не пытался слушать, а изрисовывал страницы своей тетрадки всякими рожами. В специализации по разным группам животных студентам непосредственно помогали те или другие из ассистентов или доцентов Г. А. Сам он руководил только теми, кто изучал медоносную пчелу. А таких студентов было очень мало, а годами не бывало и совсем. Целая ватага студентов-энтомологов, поступивших в университет более или менее одновременно со мной, сгруппировалась около только что окончившего курс Е. С. Смирнова. Я был в их числе и, следовательно, никогда ни в чем не пользовался прямыми наставлениями Г. А. И все-таки, говоря о нем как о своем учителе, я это делаю не по одному только формальному основанию, что он заведовал Зоологическим музеем.

Дело, во-первых, в том, что вся обстановка работы в Музее отличалась от той, какая господствовала в других зоологических учреждениях, например, в университетском же Институте сравнительной анатомии, в лаборатории Кольцова и в любой другой. Пусть эта обстановка Зоологического музея в значительной мере выработалась еще при предшественниках Г. А., но он ее сохранял и поддерживал. Во-вторых, не обучая нас ничему в прямом смысле, он все же считал всех нас своими учениками, интересовался работой каждого, был более или менее о ней осведомлен, беседовал с нами, делился своими мыслями, научными и житейскими идеями, рассказывал многое из недавней истории зоологии вообще, отечественной зоологии, университета и т. п.

Но ведь я вообще никогда не работал ни под чьим систематическим руководством. Это не значит, что я до всего доходил только сам. — Нет, очень и очень многие (не только зоологи и не только ученые) оказывали на меня сильное влияние, передавали мне свои мысли и знания. Нельзя же каждого из этих людей считать своим учителем. И я, раз я начал знакомиться с наукой и делать свои первые шаги в ней в Зоологическом музее, руководимом Г. А., единственно только его и могу с каким-то правом назвать своим учителем. Наконец, за годы общения с ним я его полюбил, считаю, что он относился ко мне так хорошо, как это только возможно, и потому мне просто для самого себя приятно говорить, что я ученик Г. А. Кожевникова.

Что же это был за дух Зоологического музея (иначе трудно назвать то, что составляло его особенность и что неотделимо от фигуры Г. А.)? Прежде всего, почему я, говоря, собственно, об университетской кафедре, называю ее музеем? — В старом университете подразделения, соответствующие современным кафедрам, нередко назывались отлично от наименования самих кафедр. Так, на медицинском факультете учреждение, в котором преподавалась и изучалась анатомия человека, называлось анатомическим театром, хотя им заведовал ординарный профессор, возглавлявший кафедру нормальной анатомии. Другие учреждения назывались институтами, кабинетами и т. п. Зоологические кафедры в разных университетах именовались кабинетами зоологии, иногда зоологии и зоотомии. В Московском университете исстари кафедра зоологии называлась Зоологическим музеем. Нужно думать, что причина такого именованья университетских учреждений не по кафедрам заключалась в том, что они были одновременно учреждениями и учебными, и научными. С течением времени эти две стороны их деятельности все более обособлялись. Уже в середине двадцатых годов нашего столетия при вузах стали создаваться исследовательские институты. В них и перешла наука (еще в большей мере перешла она из вузов в академические и ведомственные институты), а на кафедрах осталось исключительно или почти исключительно преподавание.

Я никогда не был особенно склонен к истории и потому не удосужился дополнить узнать старые судьбы учреждения, в котором вырос. Знаю, что в очень далеком прошлом оно было связано с именами Фишера фон Вальдгейма и его преемников. Позднее большой след в его истории оставил К. Ф. Рулье. Но не знаю точно, с какого времени кафедра зоологии и Зоологический музей перешли в ведение учителя Кожевникова, — А. П. Богданова. Кажется, с конца семидесятых годов прошлого столетия.

Богданов гораздо более известен как научный деятель большого размаха, чем как специалист-зоолог. Кажется, его единственным крупным специальным трудом было исследование природы цветности пера птиц. Но исследование это, говорят, было очень талантливым. Он был организатором обществ «Любителей естествознания,

антропологии и этнографии» и «Акклиматизации животных». Первое из них состояло из нескольких отделений, каждое из которых работало очень плодотворно. Это общество выпустило большую серию трудов, и оно было как бы московским аналогом Академии наук. Общество прекратило свое существование в 1930 году, что я запомнил хорошо, так как в этом году я был избран секретарем его Зоологического отделения, каковую функцию и выполнил единственный раз на последнем заседании Отделения. Также и Общество акклиматизации делилось на несколько секций: пчеловодства, аквариума и террариума и др. В ведении Общества был и Московский зоологический сад. Политехнический музей был также основан А. П. Богдановым, и в нем находилась штаб-квартира ОЛЕАЭ.

Будучи вполне академическим и очень разносторонним ученым, Богданов широко интересовался и прикладной наукой. Об этом достаточно свидетельствует уже хотя бы то, что ему обязан своим существованием Политехнический музей. А на своей университетской кафедре он поощрял изучение медоносной пчелы, шелковичного червя и вообще разработку вопросов, имеющих практическое значение. Лекции читать он не очень любил, но следует думать, что организатором и руководителем научных работ он был прекрасным. Достаточно привести хотя бы одни имена его учеников: Н. В. Насонова, В. М. Шимкевича, А. А. Тихомирова, Г. А. Кожевникова, кажется, Н. Ю. Зографа, Н. М. Кулагина. Не знаю, можно ли всю эту плеяду зоологов назвать школой Богданова. — Ни один из них не был продолжателем его специальных исследований. Но все они были его питомцами, все начинали свою научную деятельность со студенческих лет в Зоологическом музее.

Вероятно, есть разные способы научного руководства. Одни из них более тверды, жестки и направлены. — Руководитель предлагает своим ученикам или подчиненным сорудникам разработку вопросов, интересующих его самого, составляющих какие-то разделы его собственной работы. Он дает ученикам готовую методику или прямые методические советы, указывает им точно литературу вопроса, следит за их работой на всех ее стадиях, помогает делать выводы из произведенных наблюдений и т. п. Но бывают руководители и другого типа. — Они предоставляют ученикам большую свободу в выборе предмета изучения и полную инициативу в поисках средств выполнения работы. Такие руководители главное внимание обращают на основные качества своего ученика: его интерес к науке, познания и способности. Их руководство носит более общий характер. Они не столько помогают выполнять исследования, сколько знакомят учеников с проблемами науки, с самой ее сущностью.

У меня создалось впечатление, что руководители первого типа обычно бывают сами более активными исследователями. В учениках они видят в значительной мере помощников. Вряд ли всегда сознательно, но так или иначе они проявляют известный деспотизм. И уж почти как правило не терпят у своих учеников инакомыслия. Работа

под руководством такого ученого имеет свои серьезные преимущества. Ученик с самого начала становится на верную дорогу. Он не тратит времени на поиски темы, разработку методики, подбор литературы, не делает элементарных ошибок, нередко сводящих к нулю результаты долгой работы. Его самые первые исследования бывают выполнены на достаточно высоком и современном уровне. Наконец, его первые шаги в науке защищены от придирчивой критики авторитетом учителя. Но за эти блага, как и за всякие другие, приходится платить. Плата же заключается не столько в том, что такой ученик, грубо говоря, в какой-то мере батрачит на учителя, сколько в замедлении развития, а порой и в полном подавлении его собственной научной инициативы. Известны случаи, когда способные и инициативные молодые ученые, попавшие в лабораторию сильного и вместе деспотичного руководителя, вступают в конфликт с ним и бывают принуждены от него уйти. Так было, например, у Белоголового с Северцовым, у Добжанского с Филиппченко. Но такие случаи не так часты по той причине, что обычно при поступлении студентов или молодых ученых в ту или иную лабораторию сама собой происходит как бы сортировка их по характерам. Более инициативные, более уверенные в собственных силах и менее преклоняющиеся перед авторитетами выбирают, быть может, не вполне сознательно, ту лабораторию, в которой им будет предоставлена большая самостоятельность. Менее же инициативные охотно поступают под твердое руководство, пользуются его благами и особенно не страдают от деспотизма учителя. Очень характерно, что женщины идут почти исключительно к таким «твердым» руководителям и остаются верными им в течение всего времени совместной с ними работы.

Нужно думать, что А. П. Богданов относился к категории руководителей «либеральных». Так о нем отзывались из известных мне лично его учеников Г. А. Кожевников, Н. М. Кулагин и Б. М. Житков. Да и довольно того, что столь разные по характерам люди, как Насонов, Шимкевич, Тихомиров и Кожевников, благополучно прошли начало своей научной карьеры под руководством Богданова и до конца жизни вспоминали о нем с глубочайшим уважением. И эта-то традиция широкого научного либерализма сохранилась в Зоологическом музее вплоть до моих времен, и Г. А. Кожевников поддерживал ее в полной мере.

Непосредственным преемником Богданова был А. А. Тихомиров. Но, кажется, он возглавлял кафедру зоологии и Зоологический музей не очень долго. Этот очень способный ученый много времени уделял также общественной деятельности с достаточно яркой политической окраской. Его взгляды были вполне монархическими, а в научной области он был резким противником теории Дарвина и выступал против нее с публичными лекциями, привлекавшими также и представителей духовенства, в том числе и высшего. По этой причине лекции Тихомирова обычно начинались обращением: «Ваши преосвященства, милостивые государыни и милостивые государи!» Это он сказал о Тимирязеве, ревностно пропагандировавшем дарвинизм,

что он (будучи профессором университета) за казенный счет изгоняет Бога из науки. Другого популяризатора учения Дарвина, умеренного либерала М. А. Мензбира, Тихомиров называл в разговорах «Этот жидишка Мензбир». Политические взгляды и соответственная деятельность Тихомирова обеспечили ему продвижение по лестнице чинов и орденов. Он был назначен попечителем Московского учебного округа и оставил службу в университете. Его место занял Г. А. Кожевников.

Говорили, что этим назначением Г. А. был полностью обязан Тихомирову, который, однако, поставил ему одно условие: — не обижать его любимого ученика Б. М. Житкова. Это условие Г. А. и выполнял со всей своей добросовестностью. Впрочем, я думаю, что это не потребовало с его стороны никаких усилий, так как он вообще не был склонен обижать кого бы то ни было, а с Б. М. у него были отношения вполне дружеские. Благодарность же по отношению к Тихомирову Г. А. сохранил до конца своих дней. Как царский сановник, да еще и активный монархист, Тихомиров после революции оказался выброшенным из жизни. Не знаю, был ли он как-либо специально репрессирован, но, во всяком случае, работать он ни в каком советском учреждении не мог, а состояние, если оно у него было, конечно, пропало. Он поселился в Сергиевом Посаде (ныне Загорск), куда после революции перебрались и многие другие бывшие крупные чиновники и аристократы, и жил там, нужно думать, в бедности. Я знаю, что его постоянно навещал Б. М. Житков, а иногда и Г. А. Оба они каждый месяц посылали ему сколько-то денег.

Г. А. Кожевников происходил из купеческой семьи. Вряд ли из очень богатой. Но, во всяком случае, получить образование он мог без особых трудностей. По крайней мере, от него самого я никогда не слышал, чтобы он нуждался, учась в гимназии, или в студенческие годы. Не видно этого и из его дневников, попавших в мои руки после его смерти. Не знаю точной последовательности его научной карьеры после окончания курса. Вероятно, он был оставлен Богдановым при университете. Как в то время было в обычае, он поехал за границу. Опять-таки не знаю, побывал ли он в разных странах или только в Германии. Там он знакомился с морской фауной на Немецком море, побывал в нескольких университетах и познакомился с некоторыми известными в то время зоологами. Магистерскую диссертацию написал на тему «Естественная история пчелы». Так же называлась и докторская его диссертация («Естественная история пчелы», ч. 2). Эти работы были вполне на уровне тогдашней зоологии. Написаны они были хорошо, так как Г. А., как и многие тогдашние ученые, обладал достаточными литературными способностями. Защита обеих диссертаций прошла благополучно. Я, конечно, как верный ученик Г. А., прочитал их в свое время обе. Они показались мне довольно скучными. Может быть, теперь я оценил бы их несколько по-другому. Но во всяком случае, особой эпохи они в науке не создали.

Активная деятельность Г. А. в науке закончилась, собственно, с выполнением докторской диссертации. После занятия должности ординарного профессора он стал

уделять большую часть своего времени чтению курса, а главное — организации Зоологического музея. Для Музея, размещавшегося до того в новом (т. е. находившемся на левой стороне Никитской) здании университета на хорах, выходящих в университетскую церковь, было выстроено специальное новое здание, в котором кроме того были размещены лабораторные и учебные помещения всех зоологических кафедр.

Обстоятельства постройки этого здания произвели глубокое впечатление на Г. А. Он рассказывал, что однажды Московский университет посетил Витте, бывший тогда министром финансов и находившийся в зените своей карьеры. Показали ему и Зоологический музей, ютившийся на церковных хорах. Витте заметил тесноту и убожество помещения и спросил кого-то из сопровождавших, почему университет не ходатайствует о постройке нового здания. Ему ответили, что с этой просьбой обращались в Министерство просвещения, но оно отказало в средствах. Оказалось, что Витте был в контрах с министром просвещения и, желая уколоть его, спросил, почему же не обратились прямо в Министерство финансов. Никто, конечно, и думать не мог, что средства можно было получить таким способом. Но предложение было почти прямое. Им, разумеется, воспользовались, и вопрос о постройке нового зоологического корпуса был решен. Вывод, который сделал из этой истории Г. А., был тот, что никогда не нужно ничего активно добиваться. Следует во всех случаях жизни лишь ожидать благоприятных возможностей, и уж когда они появляются, — не упускать их. Эту житейскую философию он и развивал перед всеми нами. Удивительно только, что при этом он забывал своего столь уважаемого учителя, Богданова, который был большим мастером очень деятельно добиваться получения средств на научные предприятия из самых разнообразных источников.

Организация заново Зоологического музея поглотила у Г. А. много времени и сил. Он ознакомился с несколькими заграничными музеями, со способами экспозиции выставочных и хранения основных коллекций и т. п. Широкою публику, посещающую зоологические музеи, интересуют преимущественно птицы и млекопитающие. Поэтому первым в новом музее был открыт верхний зал, в котором были выставлены чучела этих животных. А Г. А. счел себя обязанным более обстоятельно ознакомиться с их систематикой, которую, как большинство специалистов по беспозвоночным, знал недостаточно. Это ознакомление пробудило в нем интерес к охоте, которой он до тех пор не занимался. Музей после постройки его здания и открытия выставочного зала для публики был предметом главных забот Г. А.

Но он занимался не только Музеем и чтением лекций. Интерес к пчеле, послужившей ему объектом диссертационных работ, остался у Г. А. на всю жизнь. При этом не только к этому насекомому самому по себе, но также и к пчеловодству. Г. А. возглавлял секцию пчеловодства Общества акклиматизации и он же заведовал состоящей при этом обществе опытной пасекой в Измайлове. Общение Г. А.

с пчеловодами, особенно с теми, кто в этом деле занимался опытничеством, было очень широким в течение всей его жизни. Также детищем Г. А. была Комиссия по изучению фауны Московской губернии или, как ее обычно называли, Фаунистическая комиссия, созданная в самые первые годы нового столетия.

Организация вроде Фаунистической комиссии, как и вообще научные общества и кружки, с середины прошлого столетия вплоть до первой мировой войны играли у нас довольно значительную и полезную роль. В то время различие между профессиональной наукой и любительством не было так колоссально велико, каким оно стало позднее. Многие любители, например, занимались систематикой, особенно насекомых и птиц, на уровне ничуть не низшем, чем специалисты-зоологи. Возможно было любительство и в других областях науки. Уже хотя бы потому, что научная литература тогда еще не разрослась до таких необъятных размеров. Кроме того, условия жизни позволяли многим, даже не очень богатым людям иметь дома довольно большие коллекции, библиотеки и даже лаборатории. Теперь непрофессиональная наука, во всяком случае у нас, стала просто невозможной и если она все же существует, то лишь как одно из проявлений чудачества.

В экскурсиях, которые устраивала Фаунистическая комиссия, и во всей ее деятельности принимали участие, кроме зоологов, люди самых разных профессий и общественного положения: врачи, учителя средних школ, юристы, коммерсанты, чиновники и служащие частных фирм. И нужно сказать, что изучение подмосковной фауны, хотя это дело и достаточно скромно, в результате деятельности Комиссии было заметно продвинуто. Рулье в одном из своих сочинений писал, что, прежде чем приниматься за изучение природы далеких краев, нужно как следует изучить один квадратный аршин территории собственной родины. Г. А. часто припоминал эти слова Рулье. На стекле одного из книжных шкафов его домашнего кабинета в числе других была приклеена бумажка с чьим-то изречением: «Primo nosce patriam, postea viator eris»*. Создание Комиссии по изучению фауны Московской губернии было прямо направлено на эту цель. Она успешно действовала до революции. Г. А. пытался оживить ее работу и в послереволюционные годы. Официально Комиссия никогда не была ликвидирована. Она потихоньку скончалась сама, поскольку потеряла свой первоначальный смысл широкого объединения любителей вокруг скромного научного предприятия.

Как видно из сказанного, деятельность Г. А. была довольно разнообразна и обширна. Но она не настолько значительна, чтобы ее стоило подробно описывать. Однако сама фигура Г. А. чрезвычайно интересна и характерна для своего времени, для старого Московского университета и, наконец, для самой Москвы. Было бы просто дико вообразить себе деятеля такого типа в обстановке теперешнего университета на Ленинских Горах, в атмосфере его «учебы», бюрократизма, таинственной

* Сперва познай родину, затем становишься путешественником (лат.).

деятельности «общественных» организаций, законопослушности, узаконенного стандарта во всем и разветвленной сети мелких интриг.

Я не хочу сказать, что интриг не было в старом университете. Они там были. Они всегда были и всегда будут там, где собралось достаточно людей во имя науки. Ученым в высшей степени свойственны провинциализм и мещанство, которые и порождают пиквикизм, — явление, по своей сущности совершенно чуждое науке, но, по-видимому, практически от нее не отделимое. Вера в абсолютную силу и всемогущество разума, которому они будто бы служат, сообщает ученым сознание, что они выполняют какую-то особо высокую функцию в обществе. Вместе с тем, по характеру своей работы, требующей сосредоточенности, ученые всегда несколько отгорожены от широкой жизни и плоховато знают ее узлы и пучности. А ограниченность, соединенная с сознанием своего превосходства, и составляет сущность мещанства. Поэтому ученые, даже если они живут в мировой столице, умудряются в самом ее центре создать какой-нибудь самый захолустный Шацк или Чухлому. Но им самим эта Чухлома представляется Олимпом, на котором они чувствуют себя небожителями.

Пиквикский клуб — бессмертный прототип наших домов ученых. Трудно удержаться от улыбки, наблюдая, с каким достоинством их члены входят в свое святилище и потребляют в нем причитающиеся им блага. Служебный персонал этих домов хорошо выдрессирован для оказания их клиентам всевозможного почтения. Причем это почтение строго дозируется сообразно с чином. Один почет просто профессору (не знаю, допускаются ли туда меньшие чины), другой — члену-корреспонденту, третий — обыкновенному академику, четвертый — члену Президиума Академии, а уж и представить не могу, какие почести полагаются вице-президентам и самому президенту. Вся эта знать важно ест в столовой Дома и после принятия пищи долго роется в портмонетах, ища копейки для точной расплаты с официантом, читает газеты и журналы, просто дремлет, развалившись в глубоких креслах, расставленных в гостиных, холлах и коридорах, играет в шахматы или беседует. Но особенно трогательна деятельность всяких кружков. В них профессора и академики, каждый из которых посмеялся бы над любителем-самоучкой, вторгнувшись со своими соображениями в его специальную область, занимающую самым примитивным любительством в других областях. Они рисуют картинки, делают скульптурки, музицируют, упражняются в литературе и обсуждают литературные произведения — все это на уровне, бесконечно далеком не только от настоящего художественного творчества, но даже и от грамотного ремесленничества. И все это не где-нибудь в Петропавловске-Камчатском, но в Москве и в Ленинграде, рядом с собранием рублевских икон, с Эрмитажем, с консерваториями, в городах, где живут настоящие писатели.

Конечно, не был свободен от пиквикизма и старый университет. Одним из проявлений его была война мышей и лягушек между Зоологическим музеем и Институтом

(кафедрой) сравнительной анатомии. Она велась, когда Музеем ведал еще Богданов, а сравнительную анатомию читал Борзенков. Продолжалась при Тихомирове и Г. А. с одной стороны, Мензбире и Северцове — с другой. Верно, война эта выражалась преимущественно в пускании мелких шпилек и никогда не доходила до больших драк, а уж тем более до писания доносов, политической и научной компрометации и тому подобных форм, получивших в научных учреждениях права гражданства при Сталине и не утративших их и до наших дней. Самое большее, до чего могла дойти вражда между двумя феодалами, это до придирок на экзаменах к студентам (и магистрантам), специализирующимся при враждебной кафедре, и даже до провала их. Еще при мне кожевниковские ученики очень боялись сдавать экзамен по сравнительной анатомии. В. В. Алпатов, например, в самом начале двадцатых годов сильно затянул окончание университета, выжидая, когда надолго выедет из Москвы Северцов, чтобы сдать сравнительную анатомию кому-нибудь из его ассистентов. Но уже немного позднее такие проявления вражды прекратились под действием развившегося духа коллегиальности между студентами и профессорами. Пускание же шпилек сохранялось долго. И в этом проявлялась традиция взаимоотношений между Зоологическим музеем и кафедрой сравнительной анатомии.

О характере этих шпилек может дать представление следующий анекдот. — Г. А. на лестничной площадке нижнего этажа громко кличет служителя (об этой должности я расскажу позднее): «Фрол! Фрол!» Тогда со второго этажа, из кабинета Мензбира слышится его голос: «Феликс! (служитель Мензбира) Закрой дверь! Там внизу кто-то безобразно кричит!»

Нужно сказать, что Г. А. был очень удобной мишенью для таких и подобных выпадов. Он во многом был сильно чудачковат. Начиная с внешности. — Роста он был среднего, сложения плотного, а порядочное брюшко отрастил уже довольно рано. С лица он был довольно благообразен, и в его чертах не было ничего заметно неправильного. Только глаза у него были какие-то белесоватые. По тогдашнему обыкновению, он носил небольшую бороду и усы. Г. А. сильно картавил: не произносил «р» и твердого «л», а голос имел гнусавый. Так что имя служителя Фрола, например, у него звучало как «Фг'оу», да еще в нос.

В чудачестве Г. А. не было ничего наигранного, показного. Вообще во всем он был прост и естествен. Поступки, выглядевшие со стороны странноватыми и комичными, он совершал с полным сознанием правильности своего поведения и был готов отвечать за них перед кем угодно.

От своего отца, соприкасавшегося с Г. А. на экскурсиях и на заседаниях Фаунистической комиссии, я слышал всякие забавные истории о Г. А. еще задолго до поступления в университет и личного знакомства с ним.

Г. А. был по натуре настоящим демократом. Он не разыгрывал из себя жреца науки. В этом я мог убедиться, наблюдая, хотя бы, его общение с пчеловодами,

постоянно приезжавшими к нему из самых отдаленных уголков. В большинстве это были простые крестьяне, сельские учителя и священники, мелкие железнодорожники и тому подобный скромный люд. Г. А. держался с ними совершенно просто, выслушивал их рассказы с неподдельным интересом и, хотя в их глазах он был великим ученым и пчеловодным богом, сам никак этого не сознавал.

Имея интерес к зоопсихологии, Г. А. довольно давно близко познакомился с известным дрессировщиком В. Г. Дуровым, бывал в его зверинце и участвовал в его опытах по дрессировке животных. Однажды он объявил публичные лекции, на которых с демонстрациями выступал также и Дуров. Конечно, в те времена совместное появление на афише имен профессора университета и клоуна — а именно так и назывался тогда Дуров и клоунские номера всегда сопровождали его выступления с животными в цирке — было достаточно сенсационным, чтобы не сказать скандальным. В то же, примерно, время много на шумели статьи и выступления немецких дрессировщиков с «думающими» животными. Впоследствии выяснилось, что они были лишь ловкими шарлатанами. Но простодушный Г. А. попался на их удочку и то ли что-то написал о них положительное, то ли выступил в таком духе на публичной лекции. Это и дало повод для появления в одной из газет статьи «О глупых лошадях и умном профессоре». Кажется, эта статья была подписана псевдонимом, но автором ее был Н. А. Иванцов, зоолог, сам в науке особенно много не сделавший, человек грубый и желчный. Статья была обидная и колкая, как говорили, довольно остроумная. Заодно с высмеиванием высказываний Г. А. о думающих животных автор ее потешался и над совместными его выступлениями с Дуровым. Не знаю, как реагировал Г. А. на появление статьи. Но он нисколько не устыдился своего сотрудничества с Дуровым, дружбу и общение с ним сохранил. В рассказах же своих о нем никогда не упоминал о всей этой истории как о чем-то для него зазорном. Иванцов же был настолько бестактен, что не постыдился на 60-летнем юбилее Г. А., т. е. уже через много лет, выступая с приветствием от Наркомпроса, в котором он тогда работал, сказать, якобы в похвалу демократичности юбиляра, что он публично выступал вместе с клоуном.

Также еще в довоенное время Г. А. прославился еще одним делом. — В Москве была широко известна хлеботорговая фирма Чуева, имевшая магазины во всех районах города. Однажды Г. А. показалось, что французские булочки, принесенные из булочной, маловаты размером. Он взвесил их на лабораторных весах и обнаружил, что то ли все они, то ли некоторые не достигали положенного веса на какие-то граммы или доли грамма. Это его возмутило. Выяснилось, что булочки были куплены в ближайшей булочной Чуева. Г. А. разразился статьей, кажется, в «Раннем утре», довольно легковесной газетке, в которой написал, как Чуев обкрадывает покупателей, сколько он недодает хлеба в итоге мелких недочетов и т. п. Нужно знать, какую роль играла добрая репутация для любой фирмы, особенно же для торгующей товаром такого всеобщего

потребления как хлеб, чтобы понять, как всполошился несчастный Чуев, имевший очень мощных конкурентов и тративший много денег на рекламу своих изделий. Кажется, он попросил составить комиссию, которая, конечно, установила, что вес его булочки колебался в очень малых пределах и притом в обе стороны. Но скандал все же был произведен, и Чуев в результате его, несомненно, пострадал. А Г. А. остался при своем мнении и даже выпустил за свой счет какую-то тоненькую брошюрку, в которой его отстаивал. И над статьей его, и над брошюрой, продававшейся по цене в 1 копейку, сильно потешались. Была пущена реклама-прибаутка: «А вот по копейке книжки профессора Гришки!» Но и об этой истории через много лет Г. А. рассказывал мне со всей серьезностью и сохранял уверенность, что он правильно действовал в интересах общества. Мысль же, что профессору Московского университета не к лицу вымеривать граммы в булочках и публично выступать со своими обличениями, очевидно, не приходила ему в голову ни в свое время, ни позднее.

При своем вполне искреннем демократизме Г. А. никак не придерживался левых политических взглядов. И в этом он также продолжал традиционную линию Зоологического музея. Левизной не грешили ни Богданов, ни, тем менее, Тихомиров. Хотя прямо он мне этого никогда не говорил, но, насколько я могу судить сам, Г. А. по своим политическим убеждениям был где-то справа от кадетов, но не очень далеко справа и, конечно, уж никак не симпатизировал Союзу русского народа. Мензбир, возглавлявший кафедру сравнительной анатомии, был либералом кадетского толка. Также, по-видимому, и его преемник Северцов. Кольцов, обосновавшийся на Высших женских курсах, присоединенных после революции к университету, был то ли социалистом, то ли заигрывал с социалистами. А уж вполне социалистический дух царил среди зоологов, связанных с возникшим незадолго до войны Народным университетом имени Шанявского (бр. Завадовские, Серебровский, Роскин, Кан и др.). Университетские профессора-кадеты после введения министром просвещения Кассо так называемого «полицейского режима» (в 1911 г.) демонстративно ушли из университета. Г. А. этого шага не сделал, что повредило его репутации среди либерально настроенной интеллигенции. Не очень поднимали его в общем мнении и лекция о думающих животных, и сотрудничество с Дуровым, и скандальная история с Чуевым. Верно, все это не возбуждало сильно неприязненных чувств к нему, а больше вызывало отношение ироническое. Если же учесть, что и внешние данные Г. А. — его толстота, голос, — а также его бонвиванство, истории с дамами (по-видимому, все же довольно невинные) и т. п. давали повод для всяких анекдотов, то легко понять, что он сделался достаточно заметной фигурой в Москве, а подсмеиваться над ним и всячески его вышучивать стало модным занятием для любителей увеселять публику. Шутки же над ним откидывались иногда и довольно злые.

На таких шутках специализировался один известный московский адвокат, фамилию которого я не запомнил. О нем мне рассказывал большой любитель академичес-

ких анекдотов и тоже очень типичный для Московского университета профессор А. А. Борзов. Одна из шуток этого адвоката заключалась в следующем. — Г. А. был большой любитель покушать. Несмотря на вполне хорошую постановку пищевого дела у него дома, он довольно часто отправлялся в «Большую Московскую», чтобы съесть какое-нибудь особо им любимое блюдо в полное свое удовольствие. Там его и излавливал этот адвокат. Он бурно приветствовал Г. А. и подсаживался к его столу. Себе он никакой еды не заказывал, объясняя, что он, собственно, сыт, а в ресторан пришел для деловой встречи с кем-то. Г. А. приносили заказанное блюдо, и он принимался за него. Адвокат, продолжая свою болтовню, что уже само по себе не доставляет удовольствия человеку, принимающему пищу в одиночку, вскоре восклицал: — «Ах, Григорий Александрович, вы так аппетитно кушаете, что и мне захотелось». Тут же он подзывал лакея и распорядился принести для себя прибор. На вопрос Г. А., что же он намеревается себе заказать, он развязно отвечал, что он ведь не хочет есть по-настоящему, а только возьмет небольшой кусочек от порции Г. А. — «Вы позволите?» Г. А. с большим неудовольствием мычал: «Пожауста». Но тот, словно не замечая досады Г. А., преспокойно отрезал себе кусок жаркого и принимался его есть, запивая вином, также заказанным Г. А. За этим куском следовал второй, и в результате Г. А. оставалось не больше половины заказанного блюда, а главное — у него пропадало все удовольствие от запланированной одинокой пищевой оргии. Нахал же, обижая его таким способом, после еще разванивал о своих проделках по московским гостиным.

Как я сказал, еще до поступления в университет я много наслышался о Г. А. от отца, а также и от разных знакомых, имевших то или другое отношение к университету. При этом все рассказы о нем были иронические и комические. Перед самым же моим поступлением, летом 1920 года с ним произошел один случай, едва не стоивший ему жизни, но, как и все, что было с ним связано, отчасти окрасившийся в комические тона.

Н. Н. Плавильщиков, бывший тогда ассистентом Г. А., получил в банке какие-то суммы для Музея. Принесенные миллионы Плавильщиков доставил Г. А. на квартиру, которая помещалась в здании Музея и имела непосредственный выход через лестничную площадку в верхний выставочный зал. Г. А., сидя за столом, стал считать полученные деньги, склонившись над ними. В это время Плавильщиков выхватил револьвер и произвел два выстрела ему в голову, почти в упор, после чего направился к выходу. На выстрелы в комнату вбежала Ирина, прислуга Г. А. Плавильщиков выстрелил и в нее. Ранил в шею. Ирина упала. Лежал оглушенный и Г. А. Однако оказалось, что маленький «Смит и Вессон» Плавильщикова был слишком слабым оружием, чтобы пробить черепную крышку Г. А. Одна пуля просто расплющилась об нее, а другая, попав под каким-то счастливым углом, рикошетирила. Плавильщиков вышел из квартиры ходом, ведшим в музей, спустился в нижний этаж и пришел в

гистологическую лабораторию, где работал А. В. Румянцев. С ним он стал, как ни в чем не бывало, разговаривать о всяких вещах. Из окон лаборатории, выходящих на двор, они вскоре увидели, как перед подъездом, ведущим в квартиры, собирается толпа. «Что там произошло?» — спросил Румянцев. «Не знаю, — ответил Плавильщиков, — пойду посмотрю». И пошел на квартиру Г. А. Когда он туда входил, санитары скорой помощи как раз пронесли мимо него раненую Ирину, которая тут же и закричала: «Вот он, вот он!» Плавильщикова немедленно схватили и доставили в ВЧК.

Как выяснилось позднее, Г. А. довольно скоро очнулся от контузии. Окровавленный, он стал кричать в открытое окно о помощи. Говорили, что будто он вопил: «Караул! Убивают профессора Кожевникова!» Не знаю, насколько это правдиво. Во всяком случае, народ сбежался, и обоим раненым была оказана помощь.

Все поведение Плавильщикова было настолько странно и настолько его поступок не был ничем обусловлен (его отношения с Г. А. до этого случая были самые нормальные), что в Чека очень скоро догадались прибегнуть к медицинской экспертизе. Таковую произвел врач-психиатр Н. С. Молоденков, который спустя около 14 лет, когда я с ним познакомился, рассказал мне об этом случае в своей практике. Был констатирован типичный острый припадок шизофрении. Плавильщикова препроводили в психиатрическую лечебницу, из которой он через какое-то время вышел. Но, конечно, продолжать работу в Музее он уже не мог. Г. А. был уверен, что он намеревался убить его по каким-то низким мотивам, боялся его и строжайше запрещал своим ученикам иметь какое бы то ни было общение с ним. Я этот запрет потихоньку нарушал, так как соприкасался с Плавильщиковым по своей специальной работе. Да и сомнения быть не могло, что во всем том случае не было ничего кроме припадка безумия.

Трагическая сторона описанного происшествия как-то быстро забылась. Но анекдоты о необычайной крепости черепа Г. А. и о том, как он кричал, что его убивают, остались для потехи тех, кто может над такими вещами смеяться.

Я поступил в университет в 1920 г. осенью. В том же году весной его окончил Е. С. Смирнов, которого я знал, примерно, с 1915—1916 года. Он был знаком с моим отцом и приезжал к нам в Удельную, где совершал совместно с ним энтомологические экскурсии, в которых принимал участие и я. Будучи оставлен при университете и ставши ассистентом Г. А., он сразу же принялся очень энергично группировать вокруг себя студентов, интересующихся энтомологией, главным образом, систематикой насекомых. Хотя я еще с гимназических лет собирал насекомых и уже разбирался в систематике жуков, все же, намереваясь стать зоологом, я не был уверен, что обоснуюсь в Зоологическом музее. — Слишком уж много я наслышался о Кожевникове как о чуде и ученом сомнительного достоинства. В то же время все мои тогдашние знакомые и приятели превозносили Северцова, Мензбира, Кольцова. Вполне могло

бы случиться, что к кому-нибудь из них я и поступил бы в лабораторию. Но при первом же своем появлении в университете я встретился с Е. С. Смирновым, который даже и не спросил меня, в какой лаборатории я намерен специализироваться, а считал само собой разумеющимся, что единственное подходящее для меня место — Зоологический музей. Я тоже, конечно, был доволен, что сразу же встретил хорошего знакомого, при содействии которого немедленно мог приступить к занятиям, вполне для меня интересным.

Г. А. я увидел впервые еще в прошлом году, когда вместе с С. С. Четвериковым пришел на заседание Фаунистической комиссии, на котором тот делал доклад. Теперь же я встретился с ним в первый раз на его лекции по зоологии беспозвоночных, основному для меня курсу, который при поступлении я добросовестно намеревался слушать. Он тогда, т. е. в конце сентября, все еще ходил с перевязанной головой, так как его рана еще не совсем зажила. Хотя университет в 1920 году уже начали отапливать, но еще недостаточно. В некоторых помещениях, особенно же в большой зоологической аудитории, было холодно. По-видимому, по этой причине, а может быть и для того, чтобы лучше держалась повязка, Г. А. надевал еще вязаную лыжную шапку. Сверху он был одет в рыжую охотничью куртку, а обут в белые бурки, какие также чаще всего носили охотники. На скуле под левым глазом и по щеке у него были рассыпаны синеватые пятнышки от порошин, попавших при выстреле. Они сохранились у него на всю жизнь.

Я не помню, чтобы Е. С. когда-либо официально представил меня Г. А. Вероятно, видя меня постоянно в числе других смирновских студентов, занимающихся насекомыми, Г. А. сам догадался, что я — один из вновь поступивших энтомологов. Кроме того, он видел меня на своем зоологическом семинарии (теперь сказали бы семинаре), на заседаниях Фаунистической комиссии, разных обществ, возможно, что-нибудь слышал обо мне от того же Е. С. или от В. В. Алпатова. Одним словом, он постепенно привык к моему присутствию в Музее. И этого при его простоте и свободе от формализма было для него достаточно. Живя в квартире, примыкающей к Музею, Г. А. появлялся в разных его помещениях в самое различное время. Я тоже проводил в Музее почти целые сутки. Поэтому возможностей встреч с ним у меня было очень много, особенно если принять во внимание, что мое рабочее место находилось в библиотеке Музея, которой заведовал Е. С. Смирнов и в которой работал он сам. В библиотеку же Г. А., конечно, приходил часто. Так мало-помалу у меня завязалось более близкое знакомство с ним уже с самого первого года моего пребывания в университете.

Сказав, что я проводил в Музее почти целые сутки, я не прибегаю к гиперболе. — Я действительно поселился в нем. А произошло это следующим образом. — С. И. Огнев, хотя он и имел квартиру или, может быть, только комнату в новом здании университета, предпочитал жить не в ней, а в своем музейском кабинете,

помещавшемся на третьем этаже. Нужно думать, что ему было удобно всегда иметь под рукой свои коллекции, которые дома хранить было негде. Да и жил он холостяком после того, как, женившись еще довольно давно, при каких-то таинственных обстоятельствах развелся с женой очень скоро после свадьбы. Первые годы после революции были довольно беспокойные. Нередко происходили грабежи. В Музее же всегда хранился спирт, служивший для консервации зоологических коллекций. А спирт в то время полного запрета продажи всяких алкогольных напитков представлял исключительную ценность и был большим соблазном. Из-за него Музей мог ожидать нежелательных посещений. Поэтому С. И. время от времени совершал по ночам сторожевые обходы Музея, вооружаясь в этих случаях охотничьим ружьем. И вот поздней осенью 1920 г. во время одного из таких обходов он действительно натолкнулся на грабителей, проникших в Музей через окно подвального этажа. Встреча окончилась благополучно. — Воры убежали. С. И. говорил, что воры стреляли в него, а он в них. Не знаю, было ли это правдой. Но событие это всех обеспокоило, и тогда, с благословения Г. А., было решено, что кто-нибудь из сотрудников Музея должен оставаться в нем на ночь. На это дело вызвался Е. С. Смирнов, подговорив ночевать с ним вместе в Музее также Б. Б. Родендорфа, поступившего в университет одновременно со мной, и меня. Нас, как, впрочем, и самого Е. С., это очень устраивало. — У всех дома была теснота, было не очень тепло, трамваи еще не ходили и путешествовать в университет приходилось пешком. А в Музее был простор, он отапливался, в нем был газ, на котором можно было кипятить чай, а главное — живя в нем, можно было заниматься тотчас с утра и до самой поздней ночи. Обедать, конечно, приходилось ходить домой, но это нужно было делать и живя дома, а после опять идти в университет. Здесь я должен напомнить, что в то время никому из нас и в голову не могло придти, что для работы достаточно одной лишь первой половины дня. У меня дома было особенно сильное перенаселение, и заниматься там не было никакой возможности. Поэтому переход на ночевку в Музей был мне очень кстати.

Библиотека Зоологического музея помещалась в продолговатой комнате первого этажа, выходившей окнами в Долгоруковский переулок. Вдоль трех ее стен шли высокие книжные шкафы. У оконной стены по всей ее длине стоял большой лабораторный стол, над которым справа и слева было укреплено по стенному шкафику. Середина комнаты была занята большим простым столом, на котором стоял каталожный ящик с библиотечными карточками, оставлявший свободной значительную часть стола. Из прочей мебели в библиотеке был диванчик, обыкновенный шкаф, в равной мере пригодный для хранения как лабораторных, так и хозяйственных предметов, и конторка, игравшая важную роль в нашем хозяйстве. — В ящике под ее крышкой мы хранили свою немудрую посуду и харчи, пространство же между ее ножками было забрано снаружи фанерными щитами и служило для помещения

постельных принадлежностей. У одной из стен была раковина водопровода, а над ней стенное зеркало. Таким образом, эта комната была вполне приспособлена как для работы, так и для житья. Библиотека — помещение публичное. Поэтому с самого утра она должна была приводиться в порядок. Мы вставали с таким расчетом, чтобы к девяти часам успеть закончить свой туалет, убрать постели и выпить чаю. Е. С. спал на диване, Родендорф на библиотечном столе, а я стелил свой тюфяк на полу в углу против входной двери.

Конечно, такое существование было возможно только при холостом образе жизни. Первым его прекратил Б. Б. Родендорф, относительно рано начавший вить свое гнездо. Затем, по этой же причине, а отчасти и потому, что имел более приличные условия жизни на квартире родителей, оставил библиотеку Е. С. Смирнов. Я же выселился из нее только в 1930 г., когда университетская вольница уже кончилась и хозяевами университета стали не профессора, а официальные власти вроде проректоров по хозяйственной части, комендантов, ну и, конечно, — «общественные организации». Из 10 с лишним лет проживания в библиотеке Музея пять я жил в ней один.

Эта жизнь и до сих пор представляется мне просто сказочной. При тогдашней жилищной тесноте редко кто имел в своем распоряжении квартиру, да и то этот счастливец занимал ее не один, а с семьей. В моем же полном единоличном пользовании была даже не квартира, а целое большое здание. В 9 часов вечера Музей, если только в нем не шло никакое заседание, запирался, и ключ от его двери, выходящей во двор, дежурный служитель передавал мне. Бывало, что кто-нибудь из музейских или из лаборатории Н. В. Богоявленского (эмбриологии и гистологии) имел надобность задержаться позже. В этом случае они договаривались со мной, чтобы я их выпустил. Чаще же с уходом служителя я оставался в Музее, как в крепости. Войти в него можно было только с моей помощью. Для этого нужно было очень сильно стучать во входную дверь или бросить чем-либо в окно, против которого я занимался. Но то и другое делалось по предварительной договоренности. Иногда же, обычно если моим гостем была особа женского пола, я в назначенное время выходил встретить ее к одной из ближайших трамвайных остановок.

Впрочем, сказав, что я оставался один во всем здании, я был не совсем точен. — В своем кабинете на третьем этаже до новой своей женитьбы, т. е., кажется, до 1928 г., продолжал жить С. И. Огнев. А в нижнем этаже, в том же коридоре, где была библиотека, находился кабинет Б. М. Житкова, в котором он тоже довольно часто ночевал. С ними обоими у нас как бы был заключен тайный пакт максимального невмешательства. Ни один из них не заходил в библиотеку вечером, если дверь в нее не была открыта. Огнев, если и приходил иногда, то особенно не задерживался, так как отношения между нами никогда не были особенно близкими, хотя и всегда вполне хорошими. С Б. М. Житковым я очень дружил, и он нередко заходил ко мне вечером или утром,

чтобы вместе пить чай. О нем я непременно хочу написать в этих записках, так как вспоминаю его всегда с самой большой любовью.

В одном здании с Музеем, как сказано, помещался также Институт сравнительной анатомии. Он тоже был обитаем ночью. В одном из его кабинетов очень долго жил С. Г. Крыжановский, некоторое время обитал там А. А. Машковцев и порой М. П. Розанов. С этим институтом общались квартиры А. Н. Северцова и Б. С. Матвеева. Поэтому вся северцовская компания (его сын со своей женой, другие ассистенты, часто и студенты) нередко устраивала свои шумные вечерние собрания в лабораториях. В этих веселых предприятиях иногда участвовал и я. Но все же северцовский институт был уже другим царством, и обычно по вечерам дверь, которой он сообщался с Зоологическим музеем, была заперта.

Г. А. Кожевников после обеда, который бывал у него в 5 часов, обычно ложился спать и спал довольно долго, часов до 8. После сна он читал, писал, готовился к лекциям или же шел на какое-нибудь научное заседание, которых тогда в университете было очень много. Перед ночным же сном он имел обыкновение совершать обход Музея. Во время этих обходов, происходивших очень поздно — не раньше часов одиннадцати, а то и в 12, в час, порой даже во втором часу ночи, — он заходил обычно к одному из обитателей Музея: к Огневу, Житкову или ко мне. Эти-то ночные посещения и сопровождавшие их беседы дали мне возможность узнать Г. А. ближе.

Я уже говорил, что Г. А. в обращении был очень прост. Добавлю к этому, что был он даже с нами немного грубоват. Если кто-нибудь из нас (я имею в виду молодежь) его сердил, то он мог не только нас отчитать, но и накричать, впрочем, никогда не употребляя сколько-нибудь грубых или оскорбительных слов. Называл он нас очень долгое время просто по фамилии: — «Кузин, подите сюда». Только уже году на третьем знакомства стал называть по имени и отчеству. Но при всем этом он был очень деликатен. По вечерам в библиотеке мы далеко не всегда занимались наукой и не всегда пили только чай со скромной закуской. Нередко мы там и веселились, причем довольно шумно. Такое провождение времени с алкоголем и часто с совсем не известными Г. А. людьми ни разу не вызвало с его стороны никакого замечания. Если застигнутое Г. А. общество состояло только из одних своих, т. е. из музейских, то он нередко соглашался принять участие в веселом собрании и выпить стакан вина, если оно было хорошее. Компанию он никогда не тяготил. Рассказывал всякие веселые истории из времен своей молодости, о шумных «Bierreisen»^{*} немецких студентов и профессоров, в которых он принимал участие, когда был в Германии, о прошедших университетских событиях, о своих учителях и товарищах. Никогда особенно долго не засиживался. Если же в компании был кто-нибудь чужой, то Г. А. не шел дальше дверей и, произнеся: «А, вы заняты», — удалялся.

* Шатаниях по пивным (нем.).

Кипятить чайник на лабораторной газовой горелке было занятием довольно долгим. Чтобы ускорить его, мы зажигали газ прямо у крана подводящей трубы. Пламя при этом получалось огромное, и чайник, подвешенный над ним на штативе, вскипал очень быстро. Г. А. с полным основанием запрещал такое пользование газом. Оно могло привести к взрыву или к пожару. Однажды он вошел в лабораторию, когда я кипятил чайник таким запрещенным способом. Он с возмущением начал на меня кричать: «Это черт знает что такое. Ведь я сколько раз вам говорил...» и т. д. Я поспешил закрыть кран, тем более, что как раз в этот момент чайник закипел. Г. А., не видя этого, почувствовал угрызения совести, что он лишил меня возможности выпить чаю. — «Ну зачем же вы закрываете? Вы уж сейчас докипятите. Только больше так не делайте». — «Григорий Александрович, чайник уже вскипел». Г. А. поворчал еще немного и ушел.

Нужно думать, что Г. А. так избаловал нас простотой обращения, что мы (во всяком случае я) просто не замечали ее, принимали как нечто само собой разумеющееся и не думали даже, что у профессора могут быть другие отношения со своими учениками, что они могут его побаиваться. Глаза мои на этот предмет раскрылись довольно поздно и вот при каких обстоятельствах. — На участке университетского сада, примыкавшем к зоологическому и химическому корпусам, в последние годы моего студенчества и еще год-два позднее мы (зоологи) играли в городки с химиками-органиками, учениками Н. Д. Зелинского. Они были несколько старше нас, т. е. все к тому времени были уже ассистентами, частью еще совсем молодыми, например, К. А. Кочешков, А. Н. Несмеянов, Б. А. Казанский, М. И. Ушаков, а частью и постарше: А. П. Терентьев, Н. И. Гаврилов. Играли, конечно, не в середине дня, а перед самым вечером. Однажды во время игры набежала туча и хлынул дождь, настоящий летний ливень, который должен был скоро пройти. Мы побросали городки и убежали в лабораторию органической химии, до двери которой путь с городковой площадки был немного короче, чем до музейской. Дождь затянулся несколько дольше, чем мы ожидали. Тогда А. Н. Несмеянов предложил мне сыграть с ним быструю партию в шахматы. Это занятие я очень любил и охотно согласился. Мы уселись на высоких лабораторных табуретах за одним из химических столов и принялись играть. В какой-то момент игры в лабораторию вошел Зелинский. Я встал и приветствовал его самым веселым образом: «Здравствуйте, Николай Дмитриевич!» Он едва кивнул мне и прошел дальше по лаборатории. Тут я заметил, что Несмеянов и присутствовавшие при нашей игре Ушаков и Терентьев стоят навзбешку и, глядя вслед профессору, в явном смущении переглядываются между собой. Зелинский больше мимо нас не проходил. Но наша игра уже не возобновилась. Чувствовалась какая-то неловкость. Я обратился к химикам: «Что же вы не сказали, что у вас играть неудобно? Ведь мы могли бы пойти переждать дождь ко мне». Они успокоительно бормотали: «Ничего, ничего...» Но я только тут понял, до чего наши отношения с Г. А. проще,

чем у более взрослых наших коллег-химиков с их патроном. Верно, зато этот патрон был их учителем в полном смысле слова. Всех их он поставил на верную дорогу, всех продвинул еще при своей жизни. Но никакие блага не даются даром...

Писать о Г. А. — значит почти непрерывно сообщать какие-нибудь анекдоты о нем. Я не вижу в этом особого греха. Но мне не хочется оставить впечатление, точно я воспринимал этого человека только с комической стороны и в таком духе вспоминаю его и теперь. Это было бы большой несправедливостью, а для меня, кроме того, и неблагодарностью. Мне очень хотелось бы, чтобы читатель этих записок почувствовал к нему такое же искреннее уважение, какое чувствую я сам.

Г. А., несомненно, не был выдающимся ученым, с именем которого связаны крупные открытия в зоологии. Но так ли уж сильно превосходили его в этом отношении другие тогдашние профессора-зоологи? Из московских наибольшие научные заслуги имели А. Н. Северцов и Н. К. Кольцов. Но первый из них, собственно, завершал плеяду ученых, создавших последарвинскую сравнительную анатомию, и пока разрабатывал конкретные ее вопросы, был лишь их хорошим продолжателем. Переход же Северцова к так называемым «общим вопросам» и его теоретические рассуждения о способах эволюции я считаю несомненным его регрессом как ученого. Второй также дебютировал классическим сравнительно-анатомическим исследованием, а затем дал лишь немного работ, достаточно хороших, но тоже не составивших эпохи в зоологии. Во всяком случае, оба этих имени не стоят в одном ряду с именами Мечникова, Ковалевского, Гертвигов, Вейсмана, Коршельта, Делажя, Гольдшмидта и других зоологов второй половины прошлого и начала нашего столетия. Весьма уважаемый всеми М. А. Мензбир был, в сущности, хорошим профессором и популяризатором. Его «Птицы России», книга, создавшая ему широкую известность, — не более как обстоятельная критическая сводка. Но за ним нет ничего, что могло бы в какой-то мере считаться открытием. Его специальные работы были вполне заурядны. А как эволюционист он до конца своих дней так и не перешагнул уровня восьмидесятых годов прошлого столетия. О М. М. Новикове я судить не могу, поскольку расцвет его научной деятельности относится ко времени пребывания его в эмиграции и с его работами этого периода я как-то не успел ознакомиться. Н. В. Богоявленский — еще один профессор-зоолог старшего поколения — в научном отношении был величиной значительно меньшей, чем Г. А.

Но здесь я и не пытаюсь оценить Г. А. как ученого, а говорю о нем как о руководителе лаборатории, в которой я вырос. И тут я рассматриваю как большую удачу для себя, что он не относился к тому типу учителей, которые делают из учеников своих помощников и требуют от них работы в интересующем их самих направлении и полного разделения своих взглядов. Г. А. отличался исключительной терпимостью. Это не значит, что он не имел никаких собственных взглядов в науке. Они у него были. Но он их никому не навязывал. Мне в молодые годы, как и большинству

биологов, начиная со времени Дарвина и вплоть до наших дней, казалось, что вопросы эволюции составляют самую суть всей биологии. Г. А. же очень редко и мало говорил о них. Как можно было понять, он разделял дарвинскую концепцию в ее более или менее общепринятой форме, т. е. со значительной долей ламаркизма и без крайностей неодарвинизма. Но мы, ставившие перед каждым зоологом вопрос «как поверуши?»³, имея при этом в виду только его отношение к эволюционным воззрениям, принимали нейтральность Г. А. в этом пункте за его ограниченность. Я тогда еще не дорос до того, чтобы оценить должным образом, что он прекрасно знал конкретную зоологию, чтобы понять, что такое знание — большая ценность само по себе и что достигнуть его очень нелегко. И в самом деле, зоологов в полном смысле этого слова очень немного. Обычно мы имеем дело с энтомологами, протистологами, малакологами, орнитологами и т. п. Г. А. знал хорошо все группы животных, не исключая и позвоночных, хотя он читал только курс беспозвоночных. Но дело не только в знании. — Оно может быть хорошим, но при этом только профессионально-научным. Такое знание вполне достаточно для физика, химика или геолога. Но его мало для биолога и особенно для зоолога. Я глубоко убежден, что настоящий интерес к зоологии и полное понимание ее предмета немыслимо без любви к животным, без восхищения их красотой и без удивления перед их организацией и поведением. Г. А. относился к животным именно так. Мы же не только не ценили этого, но даже вышучивали «наивность» Г. А. Нам казалось смешным, когда он, демонстрируя на лекции геккелевские рисунки радиоларий, говорил по поводу бесконечного разнообразия их строения: — «И вот мы видим это удивительное богатство форм и не можем понять его значения. Откуда оно? Зачем?» Нам и в голову не приходило, что Г. А. ставит перед нами самый главный вопрос биологии, — вопрос формы, этого самого удивительного, самого чудесного проявления жизни, которое, вероятно, дольше всего другого будет оставаться ее загадкой.

Эволюционное учение на долгое время привлекло главное внимание биологов к вопросам генезиса органического мира. История полностью возобладала над онтологией. Это оправданно. Но только с точки зрения моды. Сам по себе генезис несколько не более важен, чем бытие. Но мы выросли в духе и в понятиях своего века. И этот век преобладания исторического аспекта в биологии не миновал и до настоящей поры. Г. А. не был склонен углубляться в натурфилософию. И он тоже был полностью сыном своего века. Но, очевидно, где-то в глубине он сохранял гетеанский подход к природе, исчезнувший (я уверен, временно) под влиянием историзма. До понимания этого в студенческие годы я попросту не созрел. А созреть можно было не путем чтения спекулятивных и в методологическом отношении крайне слабых сочинений эволюционистов, а через изучение фактов конкретной зоологии при неприменном условии, что такое изучение не будет только литературным, но что животные — все равно, какие — будут перед твоими глазами и в твоих руках. Этот путь, конечно,

нелегко, а разглагольствование на «общебиологические» темы гораздо больше импонирует бойким юнцам, чем скрупулезное собирание и осмысление конкретных данных о жизни и строении животных. Но я и мои сверстники в те годы находились лишь в начале знакомства с наукой. А рассуждениями на тему об эволюции были напичканы вполне достаточно. .

Я уже говорил, что при Зоологическом музее существовал так называемый семинарий, организованный и руководимый Г. А. На этом семинарии сотрудники Музея и студенты докладывали результаты своих работ, а чаще реферировали какие-нибудь новые зоологические статьи и книги. Последнее нередко делал сам Г. А. На одном из заседаний семинария зашла речь о работах А. О. Ковалевского. Я в то время только что прочитал несколько работ палеонтолога Владимира Ковалевского, брата Александра. Их ламаркистский дух пришелся мне очень по вкусу. Не могу теперь без улыбки подумать, сколько нужно было иметь невежества и глупой самоуверенности, чтобы заявить, примерно, такую чушь. — Ну, конечно, Александр Ковалевский много насобирал всяких фактов о строении и развитии животных. Но нужна ли для этого особая гениальность? — Другое дело его брат Владимир. Как остроумно он объяснил эволюцию конечностей копытных в связи с их функцией. Одно такое объяснение стоит сотен анатомических и эмбриологических описаний. — Нужно при этом сказать, что ни одной работы Александра Ковалевского я сам не протудировал, а был знаком с ними главным образом по ссылкам на них в учебниках, руководствах и статьях разных авторов. Г. А. ужасно возмутился моим выступлением. Он довольно прямо заявил, что я говорю глупости. К его простоте и прямоте все мы привыкли, и проборки, которые он иногда нам устраивал, не производили на нас особого впечатления. Так я отнесся и к этой нахлобучке, будучи про себя уверен в своей правоте. Кажется, даже что-то возражал ему. Но Г. А. оценил мою вылазку более серьезно. Она его сильно огорчила. Об этом он сказал Е. С. Смирнову, как старшему над студентами-энтомологами и распространителю среди них заразы ламаркизма. Но, что было хуже одного только огорчения, — Г. А. заколебался в своих планах относительно моего будущего. Он сказал Е. С., что намеревался оставить меня после окончания курса при университете (теперь сказали бы — в аспирантуре), а теперь сомневается, стоит ли это делать. Е. С., конечно, рассказал об этом мне. Должен сказать, что это сообщение меня гораздо больше обрадовало, чем испугало. До окончания университета мне тогда еще оставалось года полтора. За это время я вполне мог загладить свою вину перед Ковалевским. Но, учась без особого усердия и занимаясь систематикой и морфологией жуков, а также принимая деятельное участие в спорах о высоких материях и не менее деятельное в разных веселых предприятиях, я никак не предполагал, что проявил себя каким-либо образом так, что может стоять вопрос о моем оставлении при университете. До введения института аспирантуры такое оставление было делом нешуточным, и выпадало оно на долю

наиболее проявивших себя в науке оканчивающих студентов. Мне и в голову не приходило, что это может случиться и со мной. Во всяком случае, я никак не ставил себе задачей добиться этого. Выслушав сказанное мне Е. С., я просто обалдел от радости и почувствовал сильный прилив крови к голове. Вероятно, Е. С. истолковал мое густое покраснение как признак стыда за свое недостойное поведение. Но во мне все ликovalo. — Черт с ним, в конце концов, оставит ли меня Г. А. в Музее. Довольно того, что он собирался это сделать. Значит, все-таки, другие как-то оценивают мои способности. Сам я во все поры своей жизни, а особенно в детстве и в молодости, сильно в них сомневался. (Кстати, думаю, что такое сомнение в итоге приносило мне больше радостей, чем огорчений.) Как и следовало ожидать, Г. А. простил мне через некоторое время мое прегрешение.

Но из сообщенного случая никак нельзя делать вывод о научной нетерпимости Г. А. Совсем напротив, — он позволял своим ученикам, и младшим, и старшим, исповедовать какие угодно научные верования, как допускал также выбор ими любой тематики. Если он и мог возмутиться явно глупым высказыванием, то просто даже удивительно, как рано он начинал трактовать еще очень зеленых молодых людей как ученых и как серьезно относился к их часто совсем незрелым мнениям. Прямым следствием этого было, что в Зоологическом музее скопилось наибольшее против всех других зоологических кафедр количество молодежи, входящей в науку. При этом почти исключительно мужской. — Студентки предпочитали специализироваться в лабораториях, где было обеспечено более твердое руководство, но не было необходимости самостоятельно выбирать себе предмет занятий. Нам же эта самостоятельность была предоставлена в полной мере, а вместе с ней и полная возможность ошибаться и заблуждаться. Мне трудно говорить о всех своих коллегах, но про себя самого я могу сказать, что использовал эту возможность очень полно. И трудно даже представить, какую массу всякой ненужной работы я проделал, выбираясь на свою научную дорогу. Но теперь вполне чистосердечно могу сказать, что несколько об этом не жалею. Зоологический музей не был питомником, в котором выращиваются только строго определенные виды кустов и деревьев, тщательно подстригаемых с целью придания им заранее намеченной формы. Это был скорее не очень упорядоченный сад, в котором позволялось расти самым разным растениям, и им давалась возможность принимать ту форму, которая сама получалась как следствие заложенных в них возможностей и условий произрастания. И садовником в этом саду был Г. А., который главное такое условие видел в предоставлении свободы роста и в проявлении интереса к каждому из своих питомцев. При этом он был избавлен от неприятной необходимости выпалывать плевелы в своем саду. Они, конечно, заводились, но исчезали сами, не будучи в состоянии расти самостоятельно. И кто знает, — не была ли такая система именно той, которая и должна быть в университетах. Должен ли вообще университет быть училищем? Может быть, в отличие от других высших

учебных заведений, задачей университетов должно быть воспитание только ученых? Тогда все элементы ученичества должны быть в них сведены к минимуму. А при этих условиях в них поступали бы только те, кто имеет настоящий интерес и способности к занятию наукой.

Если Г. А. и не вышколивал нас, то, во всяком случае, он нас определенным образом воспитывал. Например — на семинарии и в беседах, которые вел с нами по поводу наших работ. И о каждом из нас он создавал себе представление, как я мог убедиться, — достаточно верное. Он хорошо и правильно оценивал способности своих учеников, их общую одаренность, широту интересов. Последнее особенно относилось к зоологии. Г. А. требовал, чтобы каждый из нас знал ее достаточно широко. Ко времени, когда я приближался к окончанию университета, у меня были с Г. А. уже достаточно близкие отношения и он нередко разговаривал со мной о моих коллегах. Очень тихий и скромный А. Н. Желоховцев, специализировавшийся по одной группе насекомых и никогда не выступавший на научных заседаниях со своими мнениями или замечаниями, казался Г. А. слишком узким специалистом. Мне было обидно, что о других, несколько не более способных и знающих, но более бойких, самонадеянных, а иногда и просто нахальных, он был более высокого мнения. Я несколько раз, когда заходила речь о Желоховцеве, пытался изменить оценку, которую ему давал Г. А. Мои доводы наконец поколебали его. Как-то он сказал мне: «Хорошо, я посмотрю, на что способен Желоховцев. Сейчас только что получен выпуск „Tardigrada“* Кюккенталевской серии „Handbuch der Zoologie“**. Группа эта трудная, мало изученная и далекая от насекомых. Я предложу Желоховцеву прореферировать эту монографию. Если он с этим справится, то я соглашусь оставить его при университете». Я, конечно, растолковал Анатолию, какое значение для него может иметь это предложение Г. А. Он уселся за изучение Кюккенталевских тардиград, разобрался в материале, увеличил для демонстрации необходимые рисунки из книги и вполне успешно доложил на семинарии о строении, развитии и систематическом положении этих животных. Успех был полный, и Г. А. решил, что Желоховцев заслуживает оставления в Музее. Я знаю, что далеко не каждый научный руководитель может изменить сложившееся у него мнение о своем ученике и сделать из этого должные практические выводы.

Экзамен по зоологии беспозвоночных, несмотря на обширность этого предмета, не считался особенно трудным для студентов, не специализировавшихся у Г. А. Для его сдачи достаточно было хорошо проштудировать известный учебник Холодковского. Студент мог не опасаться придинок со стороны Г. А. А ведь всякий экзамен только в той мере и страшен, в какой экзаменатор хочет провалить студента. Совсем другое значение сдача этого предмета имела для учеников Г. А. Для нас

* Медленно двигающиеся, тихоходные (лат.).

** Руководство по зоологии (нем.).

экзамен по зоологии беспозвоночных был самым ответственным и трудным из всего курса. Предмет этот студенты-биологи слушали обычно на первом курсе и сдавали экзамен по нему в конце второго семестра. Но от своих учеников Г. А. принимал его не раньше окончания ими большого практикума и специального курса по членистоногим, т. е. не раньше конца третьего года пребывания в университете, а чаще всего — перед самым его окончанием. И идти на этот экзамен, имея за душой только Холодковского, им и думать было нечего. О своем намерении сдавать зоологию беспозвоночных они должны были уведомить Г. А. заранее. Тогда он, в зависимости от специализации студента, указывал пособия, по которым надлежало готовиться. В число их входили также специальные зоологические работы, нередко журнальные статьи. При этом Г. А. не интересовался вопросом, какие языки знакомы экзаменуемому, а рекомендовал наряду с русскими источниками также немецкие, французские и английские, энтомологам же иногда советовал по некоторым разделам просмотреть капитальное итальянское руководство Берлезе «Gli Insetti»*. Такой экзамен вполне приближался по объему требований к так называемым магистрантским, сдававшимся до революции перед защитой магистерской диссертации. Принимал его Г. А. обычно не в музейском кабинете, а у себя на квартире, нередко за чайным столом и в присутствии своей жены, Марьи Александровны. Длилась эта процедура не меньше часа, а то и полтора-два часа. Вопросы и ответы на них постепенно переходили в беседу, сначала чисто зоологическую, а затем и на другие, самые разнообразные темы. Помню, как однажды отправился сдавать этот экзамен перед окончанием университетского курса А. Д. Старостин. После экзамена, длившегося полтора часа, он вбежал ко мне красный, как после бани. — «Ну как?» — «Все благополучно. Только не мог ответить, какой клещ передает тexasскую лихорадку. Ну да ничего.» — Конечно, меньшей отметки, чем «в.у.» после такого экзамена не ставилось. Получил ее и Старостин. Но вечером этого дня Г. А., зайдя ко мне, сказал: — «Мне нынче сдавал экзамен Старостин и очень меня огорчил. Он не знал, какой клещ разносит тexasскую лихорадку.»

Сам я получил экзамен по зоологии беспозвоночных перед чисткой 1924 года авансом. Вскоре после этого заявил Г. А. о своем намерении сдавать предмет и спросил, что мне следует для этого прочитать. Г. А. предложил, чтобы я припомнил наиболее крупные сочинения по зоологии, которые я прочитал за время прохождения курса, и представил их список ему. Я это сделал. Через некоторое время он сообщил мне, что вместо одного формального экзамена, который уже и так проставлен в моей зачетной книжке, он предлагает мне несколько собеседований по группам животных, которые, как это было видно из представленного мною списка, я знал хуже других. Например, в этом списке почти отсутствовала литература по моллюскам. Г. А. предложил мне прочитать посвященный им том Ланга из серии «Vergleichende Anatomie

* Насекомые (итал.)

der wirbellosen Tiere»* и после этого придти к нему. Разговор о моллюсках состоялся, кажется, за месяц до формального окончания мною университета. После этого Г. А. рекомендовал мне проштудировать по «Traité de zoologie concrète»** Делажа оболочников, которых, как он сказал, знают плохо все зоологи, не исключая и его самого, потому что они и не позвоночные, и не беспозвоночные, а потому мимо них проходят и те специалисты, и другие. Это собеседование произошло уже после того, как свидетельство об окончании университета (дипломов тогда не выдавали) лежало у меня в кармане. Затем по тому же Делажу мне было предложено углубить свои познания о кишечнополостных. На них мой рассроченный экзамен и закончился.

Если Г. А. заслуживает далеко не только иронического отношения, то все же остается фактом, что был он большим чудачком. И умалчивать мне об этом значило бы отказать от обрисовки важных черт его фигуры, очень своеобразной и, как я сказал, характерной для старого Московского университета. О некоторых его чудачковых поступках я уже рассказал. Даже в мрачную историю покушения на его жизнь не мог не вкратце рассказать какой-то привкус комизма. И этот комизм проникал в каждое событие, происходившее с Г. А. А события и всякие странные случаи, редко выпадающие на долю других людей, на него так и сыпались. Я не буду приводить анекдотов, относящихся ко времени до моего знакомства с ним. Довольно и того, что случилось при мне.

Например, на каком-то заседании в Наркомпросе, в котором участвовал Г. А., на него упала висевшая на стене большая картина в довольно тяжелой раме. Она сильно стукнула и поранила Г. А. Он тут же позвонил по телефону домой и сообщил жене: «Маша, на меня упала картина. Я ранен, но я жив. Не беспокойся».

Однажды Г. А. появился в Музее забинтованный. У него были сильно ссажены нос и лицо. Он сказал, что упал в какой-то люк в неосвещенном подъезде. (В то время почти во всех домах парадные подъезды были закрыты и функционировали только черные лестницы.) О подробностях этого происшествия Г. А. ничего не сообщил. Но как-то стало известно, что произошло оно по пути в гости к одной интересной даме. Г. А. бережно нес в обеих руках большую коробку конфет для нее, и забота об этой ноше отвлекла его внимание от люка, вероятно, дровяного, ведшего в котельную.

При возвращении с одной зимней охоты у Г. А. лопнул погон ружья, висевшего через плечо. Трудно даже представить, каким способом пряжка погона могла угодить ему с силой в глаз.

Сойдя с трамвая на Моховой и ожидая, когда он пройдет, чтобы перейти на другую сторону улицы, Г. А. заметил, что на заднюю площадку навесилась большая гроздь пассажиров. Чтобы эта гроздь его не задела, он, спеша убрать с ее пути свой большой живот, резко повернулся. Вероятно, при этом живот развил большую

* Сравнительная анатомия беспозвоночных животных (нем.).

** Трактату по конкретной зоологии (фр.).

инерцию, а так как ступни оставались на месте, то связки голеностопного сочленения то ли растянулись, то ли лопнули. Г. А. почувствовал сильную боль, упал и был доставлен домой в карете скорой помощи.

В квартире Г. А. стала появляться крыса. Она выходила из кухни, где в полу, у трубы отопления или водопровода, была дыра, бродила по квартире и удалялась через ту же дыру. Г. А. проследил ее маршрут и составил план уничтожения крысы. Кухонная дверь открывалась в довольно просторный коридор, находившийся в середине квартиры. Было решено дождаться выхода крысы из кухни, после чего, закрывши кухонную дверь, отрезать ей путь к бегству, а на обратном пути, когда она окажется в коридоре, закрыть все другие двери, выходящие в него, и попавшую в безвыходное положение крысу застрелить. Для этой цели ружье было заранее заряжено двумя полужарядами мелкой дроби. В обычный час крыса вышла из кухни. Военные действия развертывались строго по плану. Дверь в кухню закрыли, крысу выпугнули в коридор, куда одновременно вошел Г. А. с ружьем, закрыв за собой последний выход. Крыса бешено заметалась по пустому коридору. Г. А. водил за ней стволами ружья, чтобы выбрать удобный момент для выстрела. Ища убежища, крыса наконец нашла его. — Она забралась в широкую штанину Г. А. Он неистово закричал. На этот крик из кухни выбежала Ирина. Г. А. отчаянно мотнул ногой. Крыса выскочила из штанины и бросилась в открытую кухонную дверь и дальше — в свою дыру. Но инцидент на этом не закончился. Неодобрительно относившаяся к плану уничтожения крысы Марья Александровна с самого начала описанной операции удалась в свою комнату и заперлась в ней. Когда она услышала возню в коридоре, а затем вопль Г. А., она взобралась на стол и принялась визжать. После благополучного для крысы и для Г. А. исхода охоты она продолжала кричать и не соглашалась ни отпереть комнату, ни даже слезть со стола. Об этом и сообщила мне по телефону Ирина, прося меня от имени Г. А. придти и помочь домашним уговорить М. А. выйти из своего заключения. Я, конечно, поспешил на место происшествия, но М. А. на столе уже не застал. Она вышла из своей комнаты и вела ожесточенную полемику с супругом. «Гриша, ты дурак, дурак, дурак! Вот я и при твоём ученике прямо скажу — ты дурак.» Г. А. робко представлял ей какие-то резоны, причем пытался прибегнуть к моему авторитету. Но М. А. твердила только свое: «Ты дурак!»

Все эти истории, поскольку они не оканчивались особенно трагично, давали повод для веселого зубоскальства. Но оно кормилось не одними экстраординарными случаями, подобными описанным. Г. А. сам доставлял ему достаточную пищу своим повседневным поведением, как бы соперничая в этом деле с немилостивым к нему роком.

Начиналось с его утреннего появления в Музее. Оно обычно возвещалось громким званием. Г. А. звал дежурного служителя: «Фг'оу! Фг'оу!» (Фрол) или: «Маг'фа!»

Маг'фа!» (Марфа). Иногда вслед за этими призывами слышалась перебранка, состоявшая из укоров Г. А. по адресу запропастившегося служителя и из оправданий последнего, выражавшихся не в безукоризненно почтительной форме, особенно если собеседницей Г. А. была Марфа.

Нередко после своего утреннего посещения Музея Г. А. оставлял на доске объявлений или на какой-нибудь двери свой след в виде извещения о заседании семинария, Фаунистической комиссии или же в виде, как мы их называли, декрета, направленного на устранение тех или иных непорядков. Например, неэкономного расходования электричества, пользования газом без горелок и т. п. Неоднократно появлялись извещения о хищении электрических лампочек, особенно из уборных. Это явление подвергалось порицанию, а работавшие в Музее призывались всеми средствами бороться с ним. Такие же декреты появлялись и по поводу других пропаж. Литературная их форма была на большой высоте. Помню, одно из объявлений заканчивалось призывом к нам: «Будьте внимательны, наблюдательны и осторожны!»

Утренняя суматоха, сопровождавшая появление Г. А., была особенно велика в дни его лекций. Он демонстрировал на них много учебных таблиц и препаратов животных. Выбором их руководил Г. А. сам непосредственно, а служитель нагружался ворохами таблиц и стеклянными цилиндрами с заспиртованными червями, моллюсками, актиниями и т. п. и таскал все это в аудиторию. Эти предметы хранились в разных шкафах, ключи от которых постоянно терялись, или же в этих шкафах портились замки. Вот тут и начинался аврал. Г. А. громко отдавал распоряжения. — То пойди принести другую связку ключей, лежащую у него дома на таком-то столе, то как следует поискать пропавший ключ, то попробовать отпереть шкаф другим ключом. По всему Музею слышались слова этих команд и реплики сбитых с панталыку Фрола и Марфы. Чаще всего дело кончалось приказанием вызвать Сергеева (столяра). Тогда дует Г. А. и Марфы переходил в трио. Затем наступала некоторая пауза, во время которой Сергеев работал отмычкой. Непокорный замок отпирался, и оснащение лекции наглядными пособиями возобновлялось. При этом иногда слышались коррективы, вносимые Г. А. в деятельность Марфы. — «Я же тебе сказал, что мне нужны таблицы Coelenterata, а ты принесла Arthropoda». Для меня всегда оставалось загадкой, каким способом совсем малограмотная Марфа отличала целентерат от артропод. Но Г. А. не очень заботился о придании большей доступности своей речи, обращаемой к служителям. Когда Марфа пыталась силой отпереть не поддающийся замок, Г. А., боясь, что она сломает ключ, кричал: «Марфа, не форсируй замок!»

Он и не только в разговорах со служителями употреблял излишне научные слова. Например, вместо того, чтобы сказать, что чай уже спитой, он говорил, что в нем больше не осталось эссенции. Почему-то очень упорно, хотя слово «мотор» вошло в самое широкое употребление, он произносил его на латинский лад — мóтор.

Все эти воспоминания о Г. А. относятся ко времени, когда он был еще в своей полной силе и власти как профессор, возглавлявший одну из основных университетских кафедр, и как директор Зоологического музея, т. е. к той поре, когда профессора еще были достаточно полными хозяевами университета. Но времена менялись. Университет все больше терял свою автономию. Изменялся состав студентов. Среди них все больше появлялось воспитанников рабфаков. Росла партийная и комсомольская прослойка. В курс вводилось все больше общественно-политических предметов. Наконец, с 1927 года начались так называемые классовые приемы студентов. А еще немного позднее среди аспирантов появились приехавшие откуда-то дяди, окончившие провинциальные вузы, а то и вовсе ничего не кончавшие, но имевшие какие-то данные, на основании которых считалось желательным ввести их в науку. Эти парни полагали, что профессора и их приспешники (т. е. мы) знают какой-то секрет, имеют некий таинственный ключ от науки, который, блюдя свои классовые интересы, никак не хотят передать им. И они буквально так и заявляли начальству, жалуясь на саботирование профессурой пролетаризации науки, на сознательное предложение им плохих диссертационных тем и т. п. Замечу вскользь, что до 1927 г. мужская уборная в Музее была достаточно опрятна. С этого же года она приобрела все признаки скверного общественного сортира с его грязью, вонью и стеной живописью.

Но полное водворение новых порядков в университете произошло все-таки только году в 1930 или 1931. Не помню, когда достаточно либеральный и вполне приличный ректор В. П. Волгин был заменен Удальцовым. В этом не было ничего привычно академического. Просто какой-то тип с вострой бородкой и бегающими глазками. Читал он, кажется, историю социализма. Впрочем, он не столько читал, сколько управлял. Сталкиваться с ним мне не приходилось. Но скоро поползли слухи о всяких его художествах с секретаршами и машинистками. Пользуясь ректорской властью, он оттяпал себе какие-то апартаменты в одной из университетских квартир, оборудовал их казенными коврами и прочей мебелью и устроил себе уютный уголок для отдыха от трудов праведных. Университет же находился в явном запустении. Фасад старого здания на Моховой, как я его только помнил, стоял в вечных лесах. Но ремонт никак не подвигался. Суммы на все потребности, как хозяйственные, так и все другие, отпускались нищенские. Опять-таки не помню точно, когда в верхах было решено поднять университет и поправить его дела. Удальцов так же незаметно вылетел из ректоров, как стал им. Его место заступил столь прославившийся впоследствии А. Я. Вышинский, не оставивший при этом, кажется, своей должности начальника Главпрофобра, а возможно, что и какого-то высокого юридического поста. Фасад университета был быстро отремонтирован и покрашен. Двинулись в ход и кое-какие стройки. И во многом другом почувствовалось улучшение и порядок. Но порядок этот стал уже совершенно новым, чуждым духу науки, бюрократическим и казарменным.

Изменения в университетской жизни проводились не только в приказном порядке сверху. Шла обработка ученых и изнутри. Для профессоров и преподавателей были организованы занятия по марксистской философии. Сначала строго добровольные, а потом постепенно становившиеся все более и более обязательными. В начале 30-х годов была создана организация, полное название которой звучало, кажется, «Всесоюзная ассоциация работников науки и техники в помощь построению социализма». Сокращенно же она называлась ВАРНИТСО. Кроме коммунистов, в нее вошли наиболее «передовые» работники высшей школы и научных учреждений, более или менее примыкавшие к партии. В то время шли полным ходом чистки учреждений, начались вредительские процессы. Все более распространялись слухи о замене старых профессоров на их постах новыми. Да и не только профессоров. Честолюбивые молодые ученые вступали в ВАРНИТСО, надеясь на расширение возможностей своего дальнейшего продвижения. Многие же из тех, кого беспокоило их не совсем пролетарское происхождение, думали, что вступление в эту организацию поможет им сохранить свои места при очередной чистке. Широко вовлекать ученых в партию в то время было еще невозможно. Но подтолкнуть их на первый шаг к этому было легче. И этот расчет был правильным. — Почти все известные мне члены ВАРНИТСО, по крайней мере биологи, через какое-то время перекочевали в партию.

Если не ошибаюсь, решительные шаги по перестройке университета были произведены в 1930 году. Г. А. не утвердили заново в должности заведующего кафедрой и директора Музея. Ее занял Л. А. Зенкевич. Старшие ученики Г. А. не очень-то беспокоились о том, чтобы как-то его устроить. Об этом позаботился бывший тогда деканом геолого-географического факультета А. Ф. Мирчинк. Он предложил Г. А. читать курс зоологии для геологов, и это дало ему возможность удержаться в университете.

Ценность записок, подобных тем, какие я сейчас пишу, была бы полнее, если бы даты описываемых событий приводились с полной точностью. Но здесь, в Борке, я не имею возможности проверять их, а память сильно обманывает. Да я ведь и не задавался целью написать какой-то исторический очерк. Больше всего я хочу передать дух того университета, с которым я был связан. Потому что потом в нем не то что изменился этот дух, но сам теперешний университет не имеет ничего общего с тем. И хочу по возможности верно воссоздать портреты действовавших тогда людей. И в этой моей задаче, я думаю, мне не очень вредит, что я, называя те или иные даты, добавляю то и дело «кажется», «приблизительно», «насколько я помню» и т. п. И теперь, подходя к описанию последнего периода жизни Г. А., я не совсем точно помню чередование следовавших событий. Не помню, например, что произошло раньше — уход Г. А. с должности директора Музея или смерть его жены. Но и то, и другое — большие ступени его нисхождения.

Марья Александровна Кожевникова была человеком очень мало заметным. Не знаю, какова она была собой в молодости, но в то время, когда я ее знал, по внешности она была совсем невзрачна и нечего было даже искать в ее чертах «следов былой красоты». Происходила она из дворянской военной семьи. Окончила Высшие женские курсы и когда-то занималась зоологией. Даже что-то опубликовала (почему и не желала после брака расстаться со своей девичьей фамилией и именовалась Кожевникова-Российская). Разбирая после смерти Г. А. его архив, я нашел в нем также ее письма и кое-какие документы. Из них ясно выступал вполне типичный портрет курсистки конца прошлого столетия, горячей традиционными высокими идеалами своего времени и исповедующей культ Надсона. Как видно из писем того же архива, Г. А. был увлечен ею достаточно сильно и любовь их протекала со всем необходимым романтизмом. Также и из позднейшей их переписки можно было видеть, что они составляли вполне хорошую супружескую пару.

Чаще всего я видал М. А. по воскресеньям, когда Зоологический музей бывал открыт для публики. М. А. выполняла в нем роль, как бы теперь сказали, — экскурсовода, а больше, пожалуй, дежурного, так как посетителей бывало обычно немного и все больше одиночных. Экскурсии были редки и чаще имели своих руководителей. М. А. сидела за столиком у входной двери верхнего зала Музея и продавала билеты. Большую часть времени читала что-то. Но всегда бывала довольна, когда к ней кто-нибудь из посетителей обращался с просьбой что-либо объяснить, показать, где выставлено чучело интересующего его зверя или птицы и т. п. К посещавшим музей детям часто подходила и сама. Не знаю, получала ли она какую-нибудь плату за свои дежурства, но относилась к ним она с чрезвычайной добросовестностью.

Общей в характере с Г. А. у нее была редкая непосредственность. Неоднократно при посещении их дома я заставал супругов за каким-нибудь горячим спором. Оба они обращались ко мне (совершенному мальчишке) с просьбой рассудить их, не прекращая при этом спора, в ходе которого сыпались взаимные обвинения и фразы, как: «Маша, ты говоришь страшные глупости» или «Гриша, ты совсем сошел с ума», а в особо патетических ситуациях, вроде приведенной в инциденте с крысой, даже и такие слова, как дура или дурак.

У Кожевниковых было две дочери. Обе были замужем и жили со своими семьями. Был сын, Александр Григорьевич. Он жил на одной квартире с родителями. По образованию был юристом. Служил в каком-то учреждении юрисконсультом. Внешне напоминал Г. А., только не был толстый. Он казался мне человеком довольно мало интересным и, не знаю, прав я или нет, — как-то очень мало близким с родителями.

С большим основанием членом семьи Г. А. можно было считать прислугу Ирину. Она была уже немолодая, некрасивая, сухоощавая. На шее ее был шрам от пули Плавильщикова. При ней состоял в качестве мужа один из музейских служителей —

Владимир Никулочкин. Он был значительно моложе Ирины. Эта личность заслуживает особого описания, и о нем я скажу позднее.

Так вот, насколько я помню, еще до увольнения Г. А. с должности заведующего Музеем или, быть может, вскоре после этого Марья Александровна умерла. Г. А. и прежде был связан с пчеловодными учреждениями. Как и все прикладное, эти учреждения сильно развивались. Пчеловодам-опытникам нужны были, я думаю, больше для солидности, консультанты с достаточно известным именем. Работников опытных пчеловодных учреждений все чаще можно было видеть в Музее, где, кроме Г. А., с ними имел дело также и В. В. Алпатов. Г. А. и сам работал в каком-то из этих учреждений по совместительству. Он принялся за изучение дикой индийской пчелы. Для помощи в этих работах он взял лаборантку, работавшую до того, кажется, на Тульской опытной пасеке. Звали ее Полина Яковлевна. Фамилию ее я забыл, а может быть, даже и не знал. На вид ей было лет около 30. Ходила она на высоких каблуках и какой-то такой странной походкой, что казалось, будто вот-вот она упадет. С лица была белая, впрочем, сильно пудрилась, и с розовым румянцем, тоже, возможно, искусственным. Прическу носила довольно мудреную, с локончиками и с замысловатым пучком, умещенным на макушке. Улыбалась как-то криво и при этом косила глазками, отчего ее улыбка принимала хитрое и недоверчивое выражение. Пахло от нее дешевыми духами и пудрой с примесью некоторого собственного духа, что в комбинации создавало запах, казавшийся мне настолько неприятным, что, почуяв его в телефонной будке, я, прежде чем начать разговор, раз с десяток сильными движениями отворял и затворял ее дверь для смены в ней воздуха. Голосок у Полины был тоненький, а так как, говоря, она кривила и поджимала губы, то речь ее звучала немного шепеляво и жеманно. Так как никакого сколько-нибудь длительного разговора с ней я не имел, то не могу ничего сказать о ее общем развитии и интеллигентности. Но, судя по всему, были они не очень высокие. С первого своего появления в Музее она всем сильно не понравилась. За ней установились прозвища «дура с коком» и другое, совсем непристойное.

По поводу ее взаимоотношений с Г. А., конечно, появились всякие сплетни. В нашем рукописном юмористическом журнале «Orbis Musei pictus»^{*} была даже помещена на этот счет какая-то шутка. Г. А. узнал о ней и как-то жаловался мне, что мы сами подрываем престиж Музея, допуская такие шутки над его директором. «Что же вы думаете, что я с Полиной Яковлевной в своем кабинете...» (тут он употребил термин, принятый в зоологии, но мало применяемый для характеристики интимных отношений между людьми). Может быть, и правда, что в этом подозревать его не следовало. Но довольно скоро после смерти Марьи Александровны Г. А. женился на

^{*} Мир Музея в картинках (лат.). Orbis pictus — обычное название книг для детского чтения, впервые употребленное в заглавии книги Я. А. Коменского «Видимый мир в картинках».

Полине. Сделал он это не потихоньку и не конфузясь, но напротив, — заявив о своей женитьбе громогласно.

Г. А. неоднократно говорил с некоторым порицанием, что его молодые ученики женятся как-то незаметно. Вдруг случайно и не из первых рук он узнает, что тот или другой женился. — «Все вы какие-то криптогамы». Не желая подражать своим ученикам, Г. А. сообщил окружающим, что он женился на Полине. И прежде всего — начальству, т. е. деканше А. М. Быховской. Она приветствовала такое его поведение и поздравила его.

Менее благожелательно отнеслись к повторной женитьбе Г. А. его дети. Особенно дочери, объявившие Г. А., что они не желают иметь дело с его новой супругой и не станут посещать отца на его квартире. Сам же Г. А., по крайней мере, по видимости, был доволен. Я уже говорил о его непосредственности. Принимая по-прежнему нас по всяким делам у себя на квартире, он не заботился о том, чтобы прибрать куда-нибудь с видного места коробки или склянки с препаратами, предназначенными для усиления его мужской доблести.

Начались тридцатые годы. Коллективизация, вредительские и другие политические процессы, аресты, вывозы в ГПУ, продовольственные трудности, распределители, карточки. Пришло время решительных реформ в университете. Вместе с распадом после смерти М. А. установившегося семейного быта, а возможно, что и с непосильными трудностями выполнения супружеских обязанностей в отношении молодой жены, все это мощно тащило Г. А. к упадку. Это отразилось прежде всего на его внешности. Он сильно похудел. Своему туалету он никогда не уделял особого внимания. Но теперь в нем появились явные признаки неряшества. На разных частях одежды то и дело отсутствовали пуговицы. Башмаки почти всегда были не чищены и сильно стоптаны. Полина, очевидно, никак не присматривала за мужем. Не помню точно, осталась ли верная Ирина при исполнении своих обязанностей. Скорей всего — нет. Не думаю, чтобы она могла ужиться с новой хозяйкой дома. Кроме того, ее самое постиг удар. Тишайший ее Владимир, поднявшись по общественной лестнице, вступивший в партию и занявший большой пост в месткоме, перестал быть тишайшим. Он завел себе молоденькую бабенку, а у Ирины оттягал комнату. Г. А. сам ходил по распределителям за харчами, носил из лавки для примуса керосин, от которого на его пальто появились большие пятна. Обедал в скверной университетской столовке, выстаивая в ней очереди. В то время еще строго соблюдалась демократия. Никаких привилегий перед студентами и служащими профессора не имели. Да и к этой-то столовке нужно еще было не без хлопот «прикрепляться». У меня эти прикрепления к столовым и распределителям, а главное — царившее в них хамство, вызывали такое отвращение, что я полностью отказывался от предоставляемых ими благ, расплачиваясь за это выполнением всяких работ помимо службы в университете. Но Г. А. и, как это ни странно, также многие другие профессора и преподаватели

покорно стояли в очередях и поедали на грязных столах омерзительную снедь, которую им совали под нос охамелые подавальщицы.

Нужно сказать, что все эти невзгоды, и бытовые, и в университетских делах, Г. А. переносил удивительно стойко. Он ни на что не жаловался и ничем не возмущался. Если и подсмеивался над некоторыми творившимися нелепостями, то никогда не шипел. Вообще же в его натуре была глубоко заложена лояльность. В первые годы после революции он не спешил ее проявлять, считая, вероятно, как и большинство интеллигентов, что новый строй непрочен. К строю этому первоначально он отнесся резко отрицательно. Решил для себя просто не признавать советскую власть. Но время шло. И было очень трудно совмещать такое непризнание со службой в государственном учреждении и с получением от государства средств на существование. Г. А. не один был в таком положении. Интеллигенты, не признававшие советскую власть, но получавшие от нее свою зарплату, всякими способами пытались успокоить свою совесть. Профессора, например, внушали себе и другим, что они, мол, служат не большевикам, а науке. А наука-де, она, конечно, не большевистская. Пребыванию в таком успокоенном состоянии способствовало то, что наука и в самом деле довольно долгое время была относительно автономна и что настоящие советские порядки проникали в высшую школу очень постепенно. Таким образом, можно было найти некоторый компромисс между непризнанием советской власти и жизнью на советские деньги. На этом компромиссном пути можно было занимать позиции, очень различные в обе стороны, т. е. непризнание могло быть большим или меньшим. В крайних проявлениях оно принимало черты прямо-таки героические. Например, в Ленинграде бывший академик, бывший директор Зоологического музея Академии наук и бывший директор частного банка Ф. Д. Плеске отказался от пользования чем бы то ни было государственным. Он не получал карточек, не покупал ничего в «их» магазинах, не ездил на «их» трамваях. Сокрушался только тем, что не мог отказаться от покупки в «их» аптеках свечей от геморроя, которым он страдал. Г. А. до такого героизма не доходил. Он только после прекращения выхода старых газет заявил, что «их» газет он читать не будет. И не читал первые годы. Как-то году в 1922 или 23 он, увидавши у меня на столе «Известия», попросил разрешения взять эту газету, если я ее прочитал. При этом пояснил, что он ведь, собственно, дал зарок *не покупать* советских газет, а *читать*-де их ему можно. Не знаю, давно ли он придумал этот выход из своего затруднительного положения. Еще некоторое время после этого случая он забирал у меня по вечерам прочитанные газеты. А потом, конечно, стал и сам покупать их или выписывать.

В середине двадцатых годов университетские ученые были еще вполне невинны в отношении знакомства с так называемой марксистской философией. Но слышали о ней все чаще и чаще. Году, примерно, в 1924 или 25 Г. А. во время одного из своих ночных визитов спросил у меня, могу ли я коротко ему объяснить основную сущность

диалектики. Я попытался, насколько мог понятно и кратко, рассказать ему о примате материи, о взаимном проникновении противоположностей, об отрицании отрицания, о переходе количества в качество и т. п. Он слушал очень внимательно. Потом сказал: «Нет, вы говорите что-то очень странное. Я спрошу у Челпанова». И ушел. Профессор нашего университета Челпанов был автором широко известных руководств по философии, психологии и логике, изданных в дореволюционные годы. Не помню, долго ли он продержался в университете после революции, так как его фамилия в соответствующих кругах никогда не произносилась без характеристики «идеалист», «реакционный» или «буржуазный философ» и т. п. Можно представить, какие основы диалектического материализма он преподавал Г. А.

Но время шло вперед, и Г. А. поддавался его воздействию. Года через три или четыре после описанного разговора он изложил мне результаты своих новых серьезных размышлений. Они привели его к выводу, что государство вправе требовать от лиц, состоящих на государственной службе, чтобы они усвоили его идеологию. «Поэтому я решил изучить диалектический материализм и сдать по нему экзамен».

Эта задача была облегчена для Г. А. тем, что к тому времени для преподавателей университета были организованы кружки или семинары по изучению марксистской философии. Действовал такой семинар и на биологическом факультете. Вел его довольно типичный общественно-политический меламед по фамилии Закгейм, имевший достаточно хорошо подвешенный язык, но несравненно худшее русское произношение.

С марксистской премудростью я еще в студенческие годы ознакомился из собственного интереса и без всякого принуждения. Она, как и вообще всякая философия, очень мало интересовала естественников. Читая сочинения сначала Плеханова и Богданова, а затем Маркса (очень немного), Энгельса и Ленина, я и не подозревал, что это может мне потом принести какую-то пользу. А польза оказалась огромной. — На фоне полной неосведомленности всех моих коллег в этой довольно простой материи я прослыл ее знатком. Это не могло остаться неизвестным партийному начальству, кстати, и самому-то очень слабо знакомому со всякой теорией. Поэтому, когда принялись учить марксистскому уму-разуму научных недорослей, никому и в голову не приходило опекать меня с этой стороны. Интересно, что репутация человека, хорошо осведомленного в политических и философских вопросах, сохранилась за мной и после того, как я расстался с университетом. Так я никогда в жизни и не высиживал ни на каких философских или политических семинарах, кружках и т. п. и не сдавал соответствующих экзаменов. Не ходил и на семинар Закгейма. Он сам считал это само собой разумеющимся и держался со мной на вполне товарищеской ноге.

Влекомый духом лояльности, Г. А., включился в занятия Закгеймова семинара и сразу же пришел в полный восторг. Он вдруг точно прозрел. Как большинство ученых

его поколения, он имел самое слабое представление о философии. Вероятно, когда-то прочитал Конта, а скорее о Конте. Дарвинизм и все направление естествознания конца прошлого и начала нашего века способствовали укреплению примитивного позитивизма, который и выполнял благополучно функцию единственной философии ученых или, во всяком случае, биологов. По сравнению с этим крайним убожеством диалектический материализм представился им настоящим откровением. Непосредственный Г. А. после первого же занятия вбежал ко мне сильно взволнованный. Он восхищался Закгеймом. — Какой умный и образованный человек! Занятие было посвящено вопросу о партийности науки. Г. А. всю жизнь считал науку беспартийной или даже надпартийной. А теперь только он понял, что она партийна и не может быть другой. На мой вопрос, почему это так, он ответил, что в буржуазных странах наука служит капитализму, а у нас — социализму. Я его спросил тогда, как, по его мнению, партийна ли вода. — «Ну как вода может быть партийной?» — «Но ведь у нас она приводит в движение социалистические турбины, а там — капиталистические». Г. А. был низведен этим вопросом с облаков на землю. Он посмотрел на меня из-под лба и сказал: «Нет, вы говорите что-то странное. Я спрошу у Закгейма».

Он продолжал прилежно посещать кружок и просвещаться в диалектике. Не знаю точно, сдал ли он экзамен. Кажется, да.

Несмотря на то, что Г. А. не только сохранял бодрость духа, но точно даже все больше находил свое место в советской системе, заседаая в разных комиссиях, разработывавших всевозможные проекты реорганизации науки, педагогики, пчеловодства, охраны природы и т. п., к которым относился с полной серьезностью и добросовестностью, — он все больше производил впечатление человека, выбитого из колеи. Особенно это было заметно по его внешности, отражавшей отсутствие домашней заботы о нем. Все заметнее становился прогресс старения. Его ученики мало обращали внимания на него. Они сами искали способов приноровиться к быстро меняющимся порядкам. Некоторые даже на пути к достижению своих собственных целей не церемонились потеснить старика. Как-то никому не приходило в голову, что конец его может быть уже близок. Не думал об этом и я.

После мне стало понятно, что я тоже не проявил заботы о Г. А. в момент, когда она ему была явно нужна. Наши с ним отношения продолжали оставаться хорошими. Но как-то незаметно мы с ним точно поменялись ролями. Если прежде он иногда устраивал по некоторым поводам головомойки мне, то постепенно стал поучать его я. И при этом иногда в довольно резких выражениях. Верно, он меня бранил в свое время за кипячение чайников без горелки и за невежественные суждения. Я же выговаривал ему его законопослушность и податливость на официальную пропаганду. Когда он восторженно рассказывал мне о каком-нибудь новом мероприятии академических или других властей, или сообщал о своем намерении принять участие в явно дурно пахнущем начинании, то мои реплики обычно начина-

лись словами: «Г. А., как вам, почтенному и заслуженному человеку, не стыдно...» Г. А., выслушивая мои отповеди, не обижался на них. Иногда спорил, а чаще усмеялся, считая, что я просто щеголяю парадоксами. Нередко он передавал содержание своих разговоров со мной кому-нибудь из тех, с кем у него сохранились более близкие отношения, чаще всего Огневу, Житкову или Алпатову. Он преподносил им мои высказывания в виде анекдотов: «А вот Кузин говорит...» Очень вероятно, что он передавал мои мнения и не только этим лицам. Тогда он оказывал мне плохую услугу. Но я в то время был крайне легкомыслен, за что, вероятно, и поплатился потом.

Однажды я, как всегда, около 5 часов вечера, пришел в Музей на вечернюю работу (я тогда уже не ночевал в Музее). Меня встретила перепуганная Марфа и сказала, чтобы я шел к Г. А. на квартиру, что с ним плохо. Я бросился туда. Там меня встретил сын Г. А. В комнате был беспорядок, пахло лекарствами. Сновала Полина с припухшим носом. Какие-то медицинские люди. Из-за ширмы, где стояла кровать Г. А., доносился ужасный хрип. Алекс. Григ. сказал, что у Г. А. удар (вероятно, теперь сказали бы инсульт) и что он безнадежен. Делать было нечего. Я ушел к себе. Заниматься, конечно, не мог, но и домой идти было нельзя. Просидел за какой-то механической работой до глубокой ночи. Перед уходом домой зашел опять на квартиру Г. А. Агония продолжалась. Рано утром пришел в Музей и узнал, что ночью Г. А. помер.

Я никак не думал, что мое дальнейшее участие в этом событии выразится в чем-нибудь, кроме присутствия на посмертных церемониях и на похоронах. На деле оказалось иначе. — Г. А., относившийся достаточно хорошо к своим ученикам, ни с одним из них не входил в более близкие отношения. Поэтому и получилось, что никто не считал себя обязанным принимать деятельное участие в делах, возникших в связи с его смертью. Вероятно, каждый полагал, что это целиком дело его домашних. А там, дома, не было никакого согласия. Дочери, конечно, приехали, но Полину они по-прежнему не признавали. С братом же, кажется, они никогда особенно не ладили. Поэтому никто не мог ничем распорядиться. Заметивши это, я понял, что нужно во все эти печальные события как-то вмешаться. Все же, пожалуй, наиболее близкие отношения у Г. А. были со мной. По натуре своей я никак не организатор и не командир. Между тем, сколько раз в жизни (особенно позднее) обстановка складывалась так, что мне ничего не оставалось делать, кроме как впрягаться в организационные дела и распорядиться. (Кстати, ведь именно так я и принял на себя обязанности, которые выполняю на теперешней своей работе.) Перессорившиеся родственники, конечно, не возражали против того, чтобы кто-то действовал за них.

Помимо обычных хлопотливых похоронных дел было одно, особенно трудное и неприятное. — Анатом Б. К. Гиндце, с которым Г. А. дружил, изучал сеть кровенос-

ных сосудов головного мозга. Он изобрел способ извлекать всю эту сеть из мозга в целом виде, вплоть до мельчайших веточек. Ему удалось установить, что от развития сети и от кровоснабжения отдельных участков мозга зависит общее умственное развитие человека и сила тех или иных его способностей. Г. А. в свое время эти работы очень заинтересовали, и он договорился с Гиндце, что тот после его смерти исследует сосуды его мозга. Это он и записал в своем завещании. Теперь было нужно, чтобы Гиндце извлек его мозг. Но оказалось, что его не было в Москве. Следовало договориться, чтобы вскрытие черепа и извлечение мозга произвел кто-либо другой из анатомов. Согласился сделать это Дёшин. Но пока я об этом хлопотал, пришел день похорон. Гражданская панихида перед выносом тела была назначена на 12 часов. До этого нужно было произвести всю операцию.

Я совершенно не переносу зрелища ран и анатомических манипуляций. Несмотря на интерес к анатомии человека, я в свое время отказался от прохождения полного практического курса по этому предмету, воспользовавшись тем, что зоологам разрешалось (при условии получения по теоретическому курсу анатомии отметки не выше тройки) сдавать практический зачет только по скелету. Но присутствовать при вскрытии черепа Г. А. было некому. Как-то, точно случайно, никого из его учеников не оказалось в Музее. Мне ничего не оставалось, как пойти в большую аудиторию, где на кафедре лежало тело Г. А., и выстоять всю сцену этой операции. Раза два мне едва удавалось побороть чувство дурноты. Кости черепа Г. А. оказались удивительно толстыми. Поэтому на вскрытие ушло больше времени, чем уходит обычно. Стало понятно, почему выстрелы Плавильщикова не имели эффекта. Наконец мозг был извлечен и помещен в большую банку с фиксатором. Отпиленную крышку поставили на место и натянули на нее кожу. Пришли какие-то люди приводить труп в порядок и укладывать его в гробу.

Я почему-то совсем не помню ни гражданской панихиды, ни похорон. Не помню даже, на каком кладбище похоронили Г. А.

Здесь уместно упомянуть об одном обстоятельстве. Незадолго до смерти Г. А. ГПУ, последовательно перебиравшее специалистов разных областей, добралось до пчеловодов. Их стали усиленно сажать. Оказалось, накануне дня смерти Г. А. пригласили на Лубянку и там с ним беседовали. Кстати, в нашей литературе такие беседы еще не описаны. Поэтому читателю этих записок, не имевшему личного опыта общения с этой организацией в те годы, причинная связь между вызовом Г. А. в ГПУ и его смертью не будет сама собой понятна. Но я-то, узнавши об этой подробности, сразу понял, что к чему.

После смерти Г. А. остались большой его архив и библиотека. Наше начальство согласилось приобрести библиотеку для университета, но при условии, чтобы из архива было разрешено взять то, что может иметь научный или научно-исторический интерес. Родственники продолжали ссориться между собой из-за оставшегося имущества Г. А.

С общего их все же согласия А. Г. Кожевников обратился ко мне с просьбой взять на себя роль душеприказчика Г. А., а главное — помочь разобраться в его бумагах. Не помню, как удалось примирить их всех в отношении оставшихся вещей. К счастью, дочери и сын не претендовали на ценные вещи домашнего обихода. Их больше интересовало получение кое-каких семейных реликвий. Архив же весь полностью поступил ко мне.

Если бы родственники Г. А. не стремились как можно скорей разъехаться, они, конечно, изъяли бы из архива документы чисто личного или семейного характера и я не имел бы возможности с ними ознакомиться. Но от того, что я эту возможность получил, история и наука ничего не выиграли. В то время ни в какой архив эти документы сдать было нельзя. Они, хотя и разобранные, лежали у меня в лаборатории (в библиотеке Музея). После моего ареста их или забрало ГПУ, или же они просто были выброшены на свалку.

Между тем для меня ознакомление с этими материалами было чрезвычайно интересно. Ведь вообще не может не быть интересным изучение подлинных документов, относящихся к прошлому, хотя бы и совсем недалекому. Но переписка Г. А., а особенно дневники, которые он аккуратно вел со старших классов гимназии почти до своего профессорства, дали мне очень много для оценки человека, с которым был связан большой и важный период моей жизни. Даже из того, что удержалось в моей памяти, на основе этих документов можно было бы составить целую новую главу этих записок. Но я не хочу этого делать. В своих дневниках Г. А. был совершенно откровенен. И хотя в них сообщалось о разных его падениях и грехах, все же ничто из того, что я из них узнал, не омрачило в моих глазах его образ. Главной чертой Г. А. во все периоды его жизни было, по-видимому, очень развитое чувство долга. Но он любил жизнь и был снисходителен и к себе, и к другим.

Пояснение

Написавши начало этих записок и разделы о И. С. Сергееве и Г. А. Кожевникове, я заметил, что в написанном очень явно проглядывает моя симпатия к прошлому и, мягко говоря, менее теплое отношение к тому, что заменило и продолжает заменять это прошлое. А ведь в самом начале я заявил, что не хочу идеализировать «старые времена». И я вижу, что нужно на этот счет объясниться. Почему в середине записок? — Потому что конца им я не предвижу, оборваться они могут в любой момент, а написать это объяснение в их начале я не догадался.

Откуда берется сожаление о прошлом, и так ли уж оно необоснованно? Очень немногим дана способность объективной оценки людей и событий. Огромнейшая

часть людей судит обо всем только применительно к себе, да и к себе-то не вообще, а только в данный момент. Вспоминая прошлое, люди обычно думают не о том, каково оно было само по себе, а припоминают, как им самим тогда жилось. Многие при этом видят и положительные стороны произошедших изменений, особенно, если с течением времени улучшилось их материальное и всякое другое положение. Но если эти люди что-то и приобрели с возрастом, то это не стоит ни в какой пропорции с тем, что все они утратили. А утратили они молодость и все то, что дает человеку только она. И эта потеря страшно снижает балл оценки настоящего. Но ведь далеко не все живут к старости в большем достатке и почете, чем они жили в молодости. Этим-то уж настоящее время кажется во всех отношениях хуже минувшего.

Я все же думаю, что у меня хватает трезвости, чтобы при оценке времени моей молодости не подкрашивать его натуральные цвета колерами своего тогдашнего самочувствия. Поэтому мне кажется, что я могу более или менее справедливо сопоставить его плюсы и минусы против теперешнего. И окончательный баланс получается у меня не такой уж плохой. — Тогда был в городах чище воздух. Не была так истреблена природа. Не было шума от моторов и от радио. Религия и бытовые традиции сообщали большую надежность отношениям между людьми. Вся жизнь была более проникнута поэзией. Но одновременно в наследство от конца прошлого века началу настоящего досталась ужасная общая безвкусица: — в архитектуре, в мебели, в одежде. Очень жалки были всеобщие вкусы в литературе, в живописи и графике, в музыке. Бескрылый позитивизм царил в науке и крайняя наивность во всем, что касалось политики. Главные преимущества теперешней жизни проистекают от технического прогресса во всех областях. Жизненные удобства, полученные нами в результате этого прогресса, настолько велики, что вряд ли многие отказались бы от них взамен на возвращение им чистого воздуха и менее нервной жизни. Следовательно, можно считать, что ценой утраты одних благ мы приобрели другие. А точно вычислить стоимость потерь и приобретений едва ли возможно.

Из сравнения прошлого с настоящим, разумеется, нужно исключить то специфическое, что принесла с собой наша революция. Мир все-таки един, и надо говорить о нашем времени в целом, на всей планете. Нужно быть слепым, чтобы не видеть за особенностями жизни каждой страны того важнейшего общего, что составляет самую сущность нашей эпохи, а главное — единой общей тенденции развития культуры, быта, нравов, техники, науки, искусства, теперь уже общих — земных.

Может ли нас утешать этот ход истории (при допущении, конечно, что он не будет пресечен атомной или какой-либо иной общеземной катастрофой)? — Ответ на этот вопрос целиком зависит от индивидуальных вкусов того, к кому он обращен. Дело в том, что личная свобода не каждому представляется самым большим благом. Боязнь свободы чрезвычайно свойственна людям и коренится в них очень глубоко.

Чем посредственнее человек, тем страшнее ему свобода. Он никак не сознает этого. Даже напротив: — именно посредственный человек особенно склонен нарушать действующие законы и правила общежития, и эту свою склонность он принимает за любовь к свободе. Но неспособность к дисциплине не имеет с ней ничего общего. Предоставьте такому нарушителю личную свободу в настоящем ее смысле, т. е. сделайте его полностью ответственным за свою судьбу, — и он почувствует себя потерянным. Человек — животное стадное, и потребность быть управляемым у огромного большинства людей неискоренима, а бремя свободы им несомно. Но какой-то доли свободы хочет для себя каждый. Только одни большей, а другие меньшей. И чем больше человек способен сам за себя думать, решать и отвечать, тем большая у него потребность в личной свободе.

Между тем, совершенно очевидно, что по мере развития общества свобода отдельных его членов уменьшается. С неизбежностью повышается роль государства, а главное — его сила. Государство на всех стадиях его развития противопоставляется личности. И тем сильнее, чем оно более развито и мощно. При этом не играет особой роли форма государственного строя — феодальная, капиталистическая или социалистическая. Существенно лишь одно: — насколько сильно государство и мощен его аппарат принуждения. Можно даже, пожалуй, отметить обратную зависимость между степенью так называемой демократичности государственного устройства и личной свободой граждан. А люди не только мечтают о свободе, но также делают попытки обеспечить ее себе. В частности, свободу в отношении государства. Во все времена права граждан перед ним оговаривались законами. И они соблюдались обеими сторонами... До тех пор, пока стороны были вынуждены их соблюдать.

Не знаю, известна ли юристам настоящая цена права. Серьезно ли они говорят о правовых нормах или выдумали их только для успокоения народа? А народ свято верит в право и в законы. Кому из нас не приходилось слышать негодующий возглас: — «Но ведь я имею на это право!» Если так восклицает мой хороший знакомый, то я пытаюсь образумить его и объясняю, что права имеют только шоферы. Не будучи юристом, я не знаю, как определяется понятие права. Но мне кажется, что единственное правильное определение его следующее. — Право есть система договорных отношений между двумя равно сильными сторонами. Фактически на свете существует только одно право: — право сильного. Если этот сильный сталкивается с кем-то одинаково сильным, т. е. с тем, кому он не может перегрызть горло, но который, в свою очередь, не может перегрызть горло ему, то они договариваются о формах сосуществования, идя каждый на некоторые уступки. Связывающие их условия партнеры честно соблюдают. Честно потому, что нечестность была бы каждому из них невыгодна или опасна. Но оба ни на минуту не спускают друг с друга глаз и зорко смотрят, не появляются ли у партнера признаки уменьшения его силы. Если таковые обнаруживаются, то условия заключенного договора тотчас изменяются в пользу сильнеешего, а если это только

возможно, то договор этот просто летит к черту и мечта о перегрызании горла осуществляется. Таковы правовые отношения между отдельными людьми, между торговыми фирмами, между государствами и между отдельным государством и его гражданами.

Всякое насилие с чисто моральной точки зрения — зло. В моральном отношении человек, применяющий насилие, хуже того, который к нему не прибегает. Но всякое преобладание, всякая власть достигается, в конечном счете, путем насилия. Поэтому неизбежно получается, что в любом обществе власть оказывается в руках людей, далеко не лучших по своим моральным качествам. И эти люди используют свою власть в меру имеющихся у них возможностей. Возможности же эти возрастают по мере прогресса техники преимущественно перед всеми другими. Главарь пещерной орды осуществлял свое господство над ее членами лишь благодаря своей большей агрессивности и более развитым мускулам. Техническими средствами поддержания своего авторитета ему служили камень и палка, имевшиеся, впрочем, также в распоряжении всех его подопечных. Каждый из этих последних, в случае, если ему уж очень солоно приходилась власть главаря, имел возможность выйти из сферы ее действия, откочав за какие-нибудь двадцать-тридцать верст от родимой пещеры. Стоит только сравнить эти скромные средства осуществления власти пещерным вождем с полицейским аппаратом современного государства, оснащенным всеми последними достижениями новейшей техники, чтобы наглядно представить себе, насколько возросли возможности принуждения, а одновременно сократилась наша личная свобода против пещерных времен. При этом уйти от принуждения, даже ценой полного отказа от всех благ, компенсирующих в современном обществе лишение личной свободы, стало практически невозможно.

Нужно думать, что уже самый первый племенной вождь, разможивший голову своему более слабому товарищу из-за более жирного куска пищи или ради обладания приглянувшейся ему женщиной, мотивировал свой поступок соображениями общего (племенного) блага. И в какой-то мере он был в этом прав. — Он был организатором порядка, необходимого для коллективных действий при охотах на крупного зверя и при отражении нападений соседних орд, т. е. играл в своем обществе более ответственную роль, чем прочие мужчины. А раз так, то он должен был иметь и определенные преимущества перед ними. Но, конечно, свою организаторскую функцию он выполнял не из альтруистических соображений, а именно ради преимущественного пользования общественными благами и из свойственного ему стремления распоряжаться и главенствовать. Однако об этих мотивах он предпочитал молчать.

Сущность власти с тех давних времен несколько не изменилась. Она продолжает во всех случаях оставаться насилием. Она не без основания мотивируется соображениями общественного блага. И ее осуществляют люди сильные, корыстные и агрессивные. Но формы насилия стали не так прямолинейны, как удар дубиной по голове. Мотивировка его необходимости значительно подкреплена предписаниями

религии и социальными теориями, а применение стало регламентироваться законами. Эти законы время от времени изменяются в зависимости от соотношения сил между договаривающимися сторонами, т. е. между управляющими и управляемыми. Но в промежутках между этими изменениями их с полной серьезностью называют незыблемыми.

Но даже если законопослушные управляемые вполне убеждены в необходимости и святости проявляемого над ними насилия, все же мечта о свободе остается у них где-то в глубине. Слишком уж она свойственна всему живому. А чем беспочвеннее мечты, тем охотнее люди питаются иллюзиями.

Одна из таких иллюзий — возможность воцарения справедливой власти, которая, если и будет стеснять личную свободу граждан, то лишь в той мере, в какой это безусловно необходимо для блага общества, не добавляя в это дело никакого дополнительного своекорыстного старания. Мечта о такой власти отражена в эпосе всех народов мира, где мы находим повествования о добрых и справедливых царях и правителях. Не находя таких в современности, народ утешается хотя бы тем, что они были в прошлом. А это дает надежду, что они появятся и в будущем, может быть, даже завтра. И с этой надеждой жить становится легче.

Но о такой власти не только мечтают. — Ее пытаются и установить. Главная забота при этом проявляется о том, чтобы найти принципы, в соответствии с которыми она будет действовать. А в хороших принципах недостатка нет. Чем, например, плоха идея наследственной монархии? — Государь заботится о своих подданных, как добрый отец о детях. А отвечает он за свою деятельность перед наивысшей мыслимой инстанцией: перед Богом. А власть ему дается не людьми, которые, конечно, могут ошибиться и отдать ее в ненадлежащие руки, а также самим Богом. Идея буржуазной республики сама по себе тоже совсем неплохая. Принцип свободного предпринимательства и конкуренции обеспечивает продвижение на руководящие посты в государстве наиболее способных людей. В таком государстве власть не может оказаться в руках дегенерата, получившего ее только на том основании, что он произошел от коронованных родителей. Распределение благ в буржуазном государстве в принципе тоже вполне справедливо, ибо ведь ни в какой конституции не установлено право извлекать сверхприбыли от производства, не запрещено плохо одетым людям появляться в обществе хорошо одетых и не сказано, что бедняки обязаны помирать голодной смертью. Столь же или даже еще более очевидны и неоспоримы достоинства социалистического строя. И уж разве только малый ребенок не поймет, как прекрасен коммунизм. А чем, собственно, плоха анархия?

Таким образом, разработать принцип справедливого государственного устройства относительно нетрудно. Ввести его в действие взамен предшествовавшего уже немного труднее. Но все же это задача выполнимая. Революции, к почти всеобщему удовольствию, происходят и нередко завершаются успехом. Не достигнуто пока еще

ни в каком обществе лишь одно. — Нет земного рая, который, казалось бы, должен установиться в государстве, основанном на одном из приведенных принципов. Из этих принципов пока еще не осуществлены лишь коммунистический (но в соответствии с решениями XXII съезда КПСС, он уже теперь скоро будет осуществлен) и анархический. Мы можем терпеливо ждать результатов построения общества на их основе. Можем придумать еще какой-нибудь новый принцип на случай, если и эти два не принесут людям благоденствия и свободы. Но можем и посмотреть, нет ли чего-нибудь общего в государствах, основанных на уже осуществленных принципах, и, если найдем такое общее, то подумать, не заключается ли именно в нем корень зла. Одну такую общую черту я уже назвал. — При всех формах государственного устройства господствующее положение в обществе занимают люди сильные, корыстные и агрессивные. Но это не все. Нельзя всю ответственность за жизнь общества возлагать на тех, кто им руководит. Разве меньшее значение имеют те, кем руководят? А руководимые представляют вторую инварианту всех до сих пор существовавших общественных формаций.

Меня всегда удивляло, какое слабое представление имеют даже совсем неглупые люди о качествах среднего человека. Они в глазах почти всех чрезвычайно завышены. Это относится прежде всего к оценке средних умственных способностей. Великие умы, как и все великое, конечно, встречаются крайне редко. И если я говорю о низком среднем умственном уровне людей, то я имею в виду никак не то, что среди них низок процент великих умов. Но, казалось бы, можно ожидать, что подавляющая масса людей должна обладать самыми простыми способностями здравого суждения. Что же считать критерием такого суждения? — Здравое рассуждающий человек, несомненно, должен не грешить против правил силлогистического мышления, не совершать ошибок суждения, перечисленных в элементарных учебниках логики. И вот я на основании уже большого жизненного опыта могу утверждать, что даже в кругу, в котором я преимущественно вращаюсь, т. е. среди ученых, при обсуждении любого вопроса обычны бывают неправильные построения силлогизмов, выводы, не вытекающие из предпосылок, и все элементарные ошибки суждения, из которых, пожалуй, самые частые — прегрешения против закона достаточного основания. Не говорю уже об ужасающей неспособности точно определять понятия, о которых идет разговор. И это у людей, для которых логика по роду их профессии должна считаться необходимым рабочим орудием. И это в тех случаях, когда ни о каком аффекте не может быть и речи, а самое большее — если возбужден некоторый полемический задор. Таким образом, оказывается, что средние умственные способности лежат на оценочной шкале далеко не доходя отметки «правильное логическое мышление». По-настоящему средний человек, т. е. относящийся к категории, охватывающей 80, а то и больше процентов населения нашей планеты, мыслит очень и очень слабо. Если его нельзя назвать кретином, то только потому,

что обычно он обладает некоторой суммой твердо усвоенных навыков, относящихся к сфере его повседневной практической деятельности, и некоторыми столь же твердо усвоенными понятиями, пригодными для ориентировки в наиболее часто встречающихся жизненных ситуациях. Эти-то навыки и понятия составляют его «ум». А совсем не способность анализировать факты и делать правильные выводы из произведенных наблюдений.

Сильно неумный средний человек к тому же еще не очень высок и в моральном отношении. Он жесток и нечестен. Настоящие садисты, верно, встречаются нечасто. Но людей равнодушных к страданиям ближнего имеется очень много. По отношению же к животным жестоко подавляющее большинство людей. Чаще других видов любви к ближнему встречается любовь к детям. Но корни ее глубоко заложены в инстинкте продолжения рода.

В отношении честности и общего уровня морали люди вполне отчетливо разделяются на три категории. — Есть люди абсолютно не порядочные и недоброжелательные. Они вредят окружающим морально, физически и материально из глубокой внутренней потребности, иногда даже во вред себе. Но таких выродков очень немного. Это единицы. И столь же, вероятно, мало людей абсолютно порядочных, таких, которые не совершают нечестных поступков и не приносят ближним вреда по той единственной причине, что это противно их природе. Противно настолько, что веления совести они не могут переступить ни под каким страхом. Если абсолютных негодяев можно назвать гениями зла, то люди, со всей строгостью подчиняющиеся «категорическому императиву», это — гении добра. Как всякие другие гении, они появляются единицами на миллионы. Все же остальные люди в отношении морали входят в огромную категорию, промежуточную между этими двумя, — категорию относительной порядочности, т. е. такой, которая не допускает совершения аморальных поступков без надобности, так сказать, из принципа. Наиболее положительные представители этой категории способны совершить очень мелкую гадость ради очень большой выгоды. Наиболее отрицательные поступают наоборот: ради мельчайшей выгоды они могут сделать очень большую гадость. Между теми и другими имеются все мыслимые градации. Вероятно, как и все другие признаки человека, степень порядочности в пределах этой категории распределяется по нормальной кривой. Но совершенно несомненно, что медия этой кривой расположена много ближе к левому ее флангу, чем к правому. И опять-таки огромное большинство людей считает средний моральный уровень гораздо более высоким, чем он есть на самом деле. Очень часто я слышу по чьему-нибудь адресу восклицание: «Ах, какой негодяй!» Почти всегда мне приходится за этого человека заступаться и доказывать, что он совсем не негодяй, если его отнести к средней норме морали. Ведь нельзя же давать такую низкую характеристику среднему человеку... Но если говорить начистоту, то этот средний — самый настоящий негодяй.

И вот, если бы даже во главе общества стоял умный и высокоморальный человек, то, спрашивается, как мог бы он насаждать мудрые и справедливые порядки среди массы, состоящей в подавляющем большинстве из неумных, нечестных, корыстных и жестоких индивидов? Всякое доброе начинание, проводимое сверху, натывается на глупость бесчисленных глупцов, а еще больше — на нечестность и своекорыстие еще более бесчисленных негодяев.

Нужно думать, я далеко не первый заметил, что путь к земному раю преграждают человеческая глупость и невысокие моральные качества. Но люди нелегко мирятся с горькими истинами и ищут выходов из любого неприятного положения. Выходы же эти чаще всего бывают иллюзорными. Величайшей такой иллюзией, действующей с очень давних времен вплоть до наших дней, явилось представление об исключительной роли жизненных условий в формировании всех способностей человека. Средство борьбы с глупостью многие видели, да и теперь видят, в распространении просвещения и образования. Но глупость и невежество — совсем разные вещи. Образование увеличивает сумму знаний человека, но никак не силу его ума. Источник же людских пороков видят в недостатках воспитания и во вредном влиянии нездоровой общественной среды.

Если у Колумба оспаривают заслугу открытия Америки, то другая заслуга признается за ним бесспорно. Он пустил в ход басню об идеальном, не испорченном культурой дикаре. Этот дикарь послужил отправным пунктом для последующих призывов об обращении к матери-природе, о воспитании детей в соответствии с ее законами и для создания представления о детской душе как о *tabula rasa**, на которой рука мудрого воспитателя может выводить какие угодно узоры. Эти взгляды были особенно распространены в эпоху просвещения. Но они пришлись по вкусу и творцам «научного» социализма, а от них перешли и к их последователям, создавшим наше государство и благополучно управляющим им до наших дней. Теория первоначального равенства способностей всех нарождающихся детей и вера во всемогущество воспитания были совершенно необходимы для обоснования возможности создания земного рая. — В самом деле, как можно сделать рай, когда его население состоит в большей части из глупцов и эгоистов и в нем немало мошенников, лодырей и бандитов, а управляют этим обществом люди также невысоких моральных качеств? Ответ на это дается простой. — Все человеческие пороки возникают от порочности общественного строя. Сущность и причины этой порочности блестяще вскрывает анализ капиталистического строя. При социализме эти причины будут устранены и, следовательно... Родись я в середине прошлого века, я на такое рассуждение мог бы только ответить: «Ну, ну, попробуем». Но, проживши почти 50 лет в социалистическом государстве, я теперь могу сказать, что дураков, туеядцев, эгоистов, пьяниц, воров, хулиганов, насильников и убийц за это время несколько не убавилось против

* «Выскобленная восковая табличка» (лат.), т. е. чистая доска.

прежнего. Идея чистого эпигенеза или самого наивного ламаркизма, оказавшаяся несостоятельной в биологии, не оправдывается, по-видимому, и в приложении к эволюции человеческого общества. Наследственная основа, конечно, определяет облик человека во всем самом главном. Среда и воспитание могут лишь относительно немного развить наследственно обусловленные положительные качества и слегка сгладить отрицательные. Научиться человек может многому, но разрешающая сила ума также ограничена наследственными возможностями, перешагнуть которые нельзя с помощью даже самой усердной тренировки.

Таким образом, мы видим следующее. — Средний моральный и умственный уровень человечества очень невысок. С течением времени он несколько не повышается. Ум и моральные свойства каждого данного индивида почти полностью определены наследственно и лишь в небольшой мере улучшаются или ухудшаются воспитанием и условиями общественной среды. Единственное право, действующее в человеческом обществе, — право сильного. Поэтому руководящую роль в нем всегда играют люди наиболее агрессивные и корыстные, т. е. обладающие далеко не лучшими моральными качествами. Сила власти возрастает по мере развития техники, обеспечивающей совершенствование аппарата принуждения. Прогресс же техники безграничен. Следовательно, личная свобода отдельного человека по мере развития цивилизации все более сокращается. Сократилась она очень заметно уже и на моих глазах.

Поскольку я совсем лишен потребности властвовать физически или духовно над другими людьми и не ощущаю необходимости в том, чтобы кто-нибудь указывал мне, как должен жить и думать я сам, я не могу не ценить превыше всего личную свободу. Отсюда и понятно, что время, когда она подавлялась много меньше, чем теперь, кажется мне лучшим, чем настоящее. И потому я вспоминаю о том времени с понятной тоской.

Но ведь также с тоской я вспоминаю и об ушедшей молодости. И нет человека, которому в старости не было бы ее жаль. Но, написав все это, я никак не хочу представить тысячу первую вариацию на тему Экклезиаста. Сожаление об ушедшем или об упущенном — родной брат досаде и гневу. А эти последние, мало того, что не очень умны и симпатичны, но они к тому же и наиболее бесполезные из всех эмоций. Они никогда ничего не улучшали в делах людей, но бесконечно много портили. Нам может быть неприятно, что летнее тепло сменяется холодом зимы или что вечером наступает темнота, мешающая нам видеть. Но было бы глупо этим возмущаться или хотя бы сетовать на это, раз таков закон природы и его нельзя изменить.

Уменьшение личной свободы есть необходимое следствие развития общества, обусловленное прогрессом техники. Бесполезно рассуждать, нужен ли он человечеству или нет. Важно то, что остановить его нельзя. И трудно думать, что в конечном итоге он принесет людям счастье. Скорее наоборот. — Принимая во внимание, что достижения техники используются прежде всего людьми эгоистичными, следует ожидать,

что ее прогресс рано или поздно приведет к катастрофе. Однако это не дает основания впадать в малодушие и визжать. Ведь и индивидуальная жизнь неизбежно кончается смертью. Панический страх перед ней испытывают те, кто не знает высших ценностей жизни. Об этих ценностях я, может быть, напишу позднее. А покамест скажу только, что их нельзя обрести, если видеть цель жизни в достижении успеха, будь то в накоплении денег, в общественной деятельности, в науке или в искусстве. Совсем, совсем не в том она.

Б. М. Житков

Борис Михайлович Житков стоит как-то совсем особняком среди всех людей, с которыми мне приходилось встречаться, так сказать, по профессиональной линии. Он не похож ни на одного известного мне ученого. С первых дней более близкого знакомства с ним я пытался осмыслить, в чем же причина того, что этот умный, образованный, разнообразно одаренный и деятельный человек никак не относится к категории «больших ученых».

Быть может, лучше всего знакомит с Б. М. составленная им очень короткая автобиография. Она была написана в 1928 году, и мне Б. М. никогда о ней не говорил. Один из ее списков был передан мне уже после смерти Б. М. его учеником Д. М. Вяжлинским в благодарность за сообщение ему одного занятного стихотворения Б. М. (я его приведу ниже). Список этот, хотя и перепечатан довольно тщательно, но на плохой бумаге и с величайшей экономией ее. Принявшись писать о Б. М., я решил, что поступлю наилучшим образом, если приведу его автобиографию полностью, перепечатав ее сам и исправив при этом явные ошибки и опечатки списка.

Итак, пусть он сначала сам расскажет о себе.

* * *

Несмотря на то, что ночь ненастна, что руки у меня зябнут и я устал, я чувствую, что должен, наконец, исполнить Ваше настойчивое желание и написать свой формуляр (не решаюсь сказать — автобиографию).

По современным воззрениям происхождение мое довольно сомнительно. Я принадлежу к старому дворянскому роду и родился в усадьбе сельца Михайловки (Поляны тож) Ардатовского уезда Симбирской губ. 20 сентября 1872 года от довольно состоятельных, но честных родителей. «Мы ленивы и нелюбопытны», и я знаю свой род не дальше прадеда, екатерининская грамота которого пережила революцию в моем столе. Мой прадед Никита Иванович Житков был крупным землевладельцем Черниговской и

Киевской губерний. По семейным преданиям, он «не поладил» не с Петром, а с Павлом за связи с мятежными поляками, и земли его были конфискованы. Возможно, однако, что легенда прикрасила действительность и мой прадед наблудил менее возвышенно. Как бы то ни было, дед мой, Иван Никитич, не имел земельных владений, — имение перешло к моему отцу от бабушки. Дед служил в артиллерии, участвовал во всех войнах России против Наполеона, был ранен в бородинском бою, сражался под Дрезденом и Лейпцигом, входил в Париж и умер в чине генерал-майора в 1840 году. Как офицер, он образовался еще в екатерининское время и отличался независимым характером. Хотя в конце жизни он был начальником артиллерийских гарнизонов, сначала в Казани, потом в Москве, он не приобрел ни земель, ни домов, ни капиталов. С тех пор некоторая степень равнодушия к выгодам денежным и служебным сделалась наследственной в нашей семье. Отец мой, Михаил Иванович, военный инженер по образованию, служил в конно-пионерном дивизионе (конные саперы николаевского времени) и участвовал в защите Севастополя, где получил два ордена за храбрость.

Поселившись в деревне перед освобождением крестьян, он служил мировым посредником, после председателем мировых судей, и умер в 1891 году, 60-ти лет от роду. Он имел превосходное общее образование и владел в совершенстве не только новыми языками, но знал и латинский, которому выучился самоучкой. Мать моя по своему отцу принадлежала к роду дворян Тюбукиных, происхождения татарского. Она дожила до 1921 года и умерла 88 лет, сохранив до конца жизни бодрость тела и ясность ума. Татарский тип замечен был у двух моих родных теток и у младшей сестры — в детстве. Обе бабушки мои были из древнего дворянского рода Филатовых и также скончались в возрасте 82—84 лет. Но дед мой по матери, большой вивёр, умер еще молодым от туберкулеза. Среди моих близких и дальних родственников можно насчитать несколько человек, занимавшихся научной деятельностью. Таковы профессор Нил Федорович Филатов, профессор Влад. Петр. Филатов, профессор Дмит. Петр. Филатов, академик Ал-ей Ник. Крылов, академики Ал-р Мих. и Бор. Мих. Ляпуновы, проф. Сорбонны Виктор Анри, проф. Мих. Ник. Гернет и сестра (его) Над. Ник. Гернет, тоже профессор, да еще чистой математики. Но это частью покойники, частью люди моего возраста или старше меня. Многие же молодые представители обширного рода, потомки другого прадеда моего Мих. Фед. Филатова, подававшие надежды, погибли в последних войнах или в грозе революции.

Детство мое протекало счастливо — в деревенской усадьбе, в обществе 2 братьев (старше меня) и двух сестер (моложе). Мой старший единокровный брат был выдающимся математиком, но в силу различных обстоятельств пошел по дороге административной службы и только под старость вернулся к научной работе. Следующий — родной — брат получил военное образование. Я не помню, когда я выучился читать (самоучкой), и читал очень много, так как в нашем деревенском доме была довольно большая библиотека книг русских, французских и немецких. От отца я

унаследовал любовь к литературе и способность очень легко запоминать стихи. В детстве я был зато туп к математике; позже, в школе, она давалась мне вполне легко.

Имение, в котором жили мои родители, принадлежало некогда моей прабабке Е. Н. Ермоловой, по мужу Филатовой, и до 30-х годов прошлого века было пустошью. Усадьба наша (разоренная только в 1917 году революцией) лежала у самой долины реки Алатыря, в красивой, обильной лесами и луговыми угодьями местности. Во времена моего детства помещичьи усадьбы в нашем и соседних уездах были сравнительно еще многочисленны. Я желал бы когда-нибудь найти время (или, вернее, прилежание) и описать современную моему детству жизнь в этих усадьбах, фруктовых садах и парках — жизнь, теперь забытую и презираемую, но некогда родившую не одних злодеев, но и Пушкиных, Тургеневых, Аксаковых, Сеченовых, Ковалевских и Бутлеровых.

Из наших соседей-помещиков было немало людей вполне культурных. Но представители молодого поколения, мои сверстники, превращаясь в офицеров, юристов, инженеров или ученых, навсегда уходили из деревень. Оставались юноши поплотнее, а то и вовсе недоросли и неудачники, и из них набирались земские начальники, уездные предводители, состав уездных земских управ и прочие деятели глухой провинции. Так подготавливался окончательный разрыв поместного дворянства с народом. Но я не могу поручиться, что уездные власти и уездные суды того времени были много хуже теперешних. Дело не во внешних условиях, а в людях. Природа сделала важную ошибку, не выбрав в качестве основы для эволюционного развития человека собак, а обратившись для этой цели к обезьянам. Теперь эту ошибку уже не исправить...

Леса и лесные уремы вблизи нашего имения были еще в 80-х и 90-х годах богаты зверем и дичью. С детства (с 8-ми лет) я пристрастился к охоте и, хотя и остывши несколько с годами, все же остался верен этой страсти до конца жизни. Я помню еще остатки славных псовых охот Симбирской губернии, — нашего соседа, знаменитого в мире псовых охотников П. М. Мачеварианова, Н. П. Ермолова и других помещиков. Помню старых доезжачих и егерей из бывших крепостных.

Мне не было еще 10 лет, когда я поступил (в 1882 г.) в 1-й класс Алатырской прогимназии. Уездный город Алатырь, расположенный на высоком берегу Суры около устья реки Алатыря и тонувший в садах, находился в 50 верстах от нашего имения. Зеленые поймы тянутся там далеко за рекой до синеющих на горизонте лесов Засурья. Товарищами моими по прогимназии были преимущественно дети городских мещан и мелких торговцев окрестных сел. Все детство я играл, как равный, с крестьянскими детьми. Общество это положило на мой склад мышления и мой характер известный отпечаток. Иногда мне кажется, что я в большей мере демократ, т. е. более понятен народу, чем Керенский.

По окончании прогимназии в 1886 году я перешел в пятый класс Нижегородского дворянского института, откуда поступил (в 1890 г.) на естественное отделение

физико-математического факультета Московского университета. Я уже не имел случая, подобно моей матери, ездить из имения в Москву «на долгих» (на своих лошадях с кучером, лакеем и горничной): во времена моего детства уже существовали Московско-Нижегородская и Московско-Пензенская жел. дороги; а студентом IV-го курса я приехал из Москвы в Сыртяно — усадьбу моей бабушки по матери — по только что построенной Московско-Казанской. Но в школьные годы свои я ездил на перекладных в Нижний, Симбирск и Пензу через цепь почтовых станций, где «за стеной храпит зритель, сонно маятник стучит». В Университете я начал заниматься преимущественно зоологией, сначала по курсу проф. А. П. Богданова, после, со II-го курса, под руководством проф. А. А. Тихомирова, по кафедре которого (зоологии позвоночных) я был оставлен при Университете. А. А. Тихомиров, по моему мнению, был один из наиболее образованных и способных профессоров того времени, но рано (в 1904 году) покинул Университет, перейдя на службу в Министерство народного просвещения. Зная его очень хорошо, я привык уважать его и сохранил дружбу с ним до настоящего времени. Кроме Тихомирова, выдающимися профессорами естественного отделения в мое время (первая половина 90-х годов) были А. Г. Столетов (физика), Н. Н. Любавин (техническая химия), А. П. Павлов (геология), К. А. Тимирязев (анатомия и физиология растений) и И. Н. Горожанкин (морфология и систематика растений). Но последнему в его академических делах мешали лень и водка, а предпоследнему — своеобразная задорливость характера и хлесткая фельетонность полемических выступлений. На IV курсе я занимался физиологией в лаборатории И. М. Сеченова, который только что перешел из Петербурга на кафедру в Москву. Из перечисленных профессоров двое (А. А. Тихомиров и А. П. Павлов) еще живы, и последний недавно только кончил читать.

Оставление при кафедре (которое могло и не случиться) поставило меня на рельсы науки. Но наука далеко не наполняла моей жизни, и я остался навсегда дилетантом. Только недурные способности и некоторое общее образование позволяли мне держаться приблизительно на уровне тех требований, которые следует предъявлять преподавателю университета. Теперь, впрочем, дело подготовки ученых сильно упростилось. Признаваясь в малой учености своей, я должен сделать еще одно замечание: во времена моей юности большинство ученых, которых я знал, были также и образованы. Теперь такие встречаются много реже. И, наконец, еще вот что. Человеку, не знающему коротко жизни ученых, писателей, музыкантов и других сравнительно вольных людей, может показаться, что жизнь их — непрерывная цепь трудов, успехов и испытываемого от этих успехов удовольствия. Это, конечно, не верно. Кто в темный и сырой осенний вечер встанет на Каменном мосту, тот увидит уходящую вниз по Москва-реке длинную цепь огней. Вдали огни эти кажутся сближенными, образуя частый, блестящий ряд. Но это обман. Фонари с их слабым, почти не проникающим тумана светом стоят далеко один от другого. Между ними сырая тьма, и слякоть

набережной, и брань кухарок в воротах, и полутрупы пьяных в уличной грязи. Попросту говоря, всякое возвышенное ремесло не так уж сильно отличается от сапожного или слесарного. А в мире людей, ищущих славы, самолюбивых тупиц хоть отбавляй.

По истечении срока оставления при Университете я был ассистентом Зоологического музея; около 1900 года (я плохо помню даты моего послужного списка) окончил магистерский экзамен и сделался приват-доцентом, в 1916 году факультетом избран в штатные доценты по курсу зоологии позвоночных, в 1919-ом — при переизбрании преподавателей Университета — избран штатным преподавателем со званием профессора. В 1921 году советом Петровской академии избран штатным профессором на кафедру биологии лесных зверей и птиц и позже занимал ту же кафедру в Московском лесном институте до его закрытия (1925 год). С 1922 г. я заведываю мною же основанной Биологической промысловой станцией в Лосиноостровском опытном лесничестве (теперь это отдел Центральной лесной опытной станции). С 1926 года я читаю также во II-ом Университете. Со времени их основания состою действительным членом Колонизационного и Зоологического исследовательских институтов, в последнем недавно избран членом президиума. Состою в Полярной комиссии Академии наук. До революции я числился, отчасти числюсь и теперь, в президиумах и советах нескольких ученых обществ Москвы и Петербурга. Я работал также по некоторым специальным вопросам промышленности и путей сообщения в комиссиях Министерства земледелия и Министерства путей сообщения.

Кроме высших учебных заведений и высших курсов (напр., Курсов охотоведения при Петровской академии в 1912—16 гг.) я преподавал несколько лет в гимназии Поливанова, с собственником которой, И. Л. Поливановым, был связан родством и дружбой. С 1907 по 1909 год я заведывал учебной частью Александринского института, а с 1913 по 1918 — Института московского дворянства. Желая увеличить свой заработок (я терпеть не мог ездить в третьем классе) и не склонный к карьере педагога, я после окончания университета начал работать (никогда не подписывая статей своей фамилией) в газетах и журналах. Между 1896 и 1912 годами я написал множество фельетонов, литературных и научных, газетных заметок, журнальных статей и всяких иных построчных произведений (кроме только бульварных романов). Из газет я писал в «Русских Ведомостях», «Голосе Москвы», «Русском Слове» и «Утре России», также временами в некоторых провинциальных. Названия многих (охотничьих и общего содержания) журналов, в которых я сотрудничал, я давно забыл. В те времена я хорошо знал мелкую газетную и журнальную бегему, весьма невежественную, а нередко и наглую. Публика получает газеты так же, как она покупает дрянные конфеты и некоторые иные деликатесы: есть можно, даже сладко, но лучше не знать, как это готовится. В течение Европейской войны я много писал в экономических изданиях. Несколько лет я редактировал журнал «Естествознание и География» совместно с издателем его М. П. Вараввой. Редактировал также длинную серию изданий

Московского комитета шелководства, ученым секретарем которого пробыл с 1894 по 1918 год, т. е. до закрытия Комитета.

За время с 1893 по 1923 год я сделал ряд научных путешествий по поручению различных ученых обществ и правительственных учреждений. Еще студентом II курса я занимался исследованием фауны Среднего Поволжья, а будучи на IV курсе, был командирован Обществом любителей естествознания на Урал для зоологических работ. По поручению того же общества я вместе с С. А. Бутурлиным в 1900 году ездил для географических и фаунистических исследований в Архангельскую губернию, на Колгуев и Новую Землю. Позже, в 1902 и 1908 годах, я руководил двумя экспедициями Русского географического общества на Дальний Север — на Канин и Ямал. Последняя экспедиция дала наиболее интересный географический материал, связанный к тому же с вопросом об использовании Северного морского пути в Сибирь. Изучением последнего и содействием его развитию я занимался ряд лет и теперь нахожусь в курсе этого важного для будущности Сибири дела благодаря дружеской любезности руководителей Комитета северного морского пути. С Севером я познакомился впервые давно, в 1893 году, когда провел лето на биологической станции на Белом море. Позже станция эта была переведена на Мурманский берег, тогда она помещалась у стен Соловецкого монастыря. В различное время по командировкам Общества любителей естествознания, Комитета шелководства и Министерства земледелия я занимался исследованиями в устьях Волги, в Закаспийской области, в Туркестане, в Предкавказье и Закавказье и других местностях России. Несколько раз я посещал Западную Европу, а в начале европейской войны (январь-февраль 1915 года) ездил по поручению Московского университета и Московского археологического общества знакомиться с высшими учебными заведениями и научными учреждениями оккупированной Галиции. Я числился также членом нескольких заграничных ученых обществ, между прочим Международной полярной комиссии в Брюсселе. Но теперь сохранил связь только с Обществом научной маммалогии в Берлине. За географические работы я был награжден медалями нескольких ученых обществ и премией имени Н. М. Пржевальского от Географического общества.

Первые годы революции (1917—19) я провел в Москве и за это время служил «консультантом» в нескольких учреждениях, между прочим, в «Центротекстиле». Там мною совместно с Н. Н. Кукиным (инженер-механик, специалист по обработке шелка) была сделана только одна полезная работа, — составлен проект шелкового кондициона, который собиралось устраивать Управление Центротекстиля. Но проект, переписанный набело в одном экземпляре, был затребован «в виду его интереса» в Высший совет народного хозяйства и там при многократной передаче из отдела в отдел пропал. Черновики были у Н. Н. Кукина, который, вскоре после окончания нашей работы, умер от тифа. О потере этой работы я жалел больше, чем о 4-х моих

рукописях (от 3-х до 6-ти печатных листов каждая), потерянных Государственным издательством в период между 1918 и 1922 годами.

Летом 1919 года я, вместе с С. А. Бутурлиным и тремя студентами, отправился в Алатырь во главе экспедиции для зоологических исследований в бассейне Суры. Теперь уже почти забыты подробности жизни того времени. В Москве был голод, ничего нельзя было купить. В Арзамасе мы с удивлением и радостью увидели на станции баб, продававших картофельные, очень грязные лепешки. «Заградительные отряды» обыскивали поезда, отбирая у плачущих и проклинающих весь мир людей караваи хлеба, мешочки муки или соли и другие полезные вещи. Казалось, что все жители страны сумасшедшие и разделяются на две категории — грабящих и ограбляемых. Многие проходили последовательно по несколько раз через обе эти специальности. В Алатыре я пробыл с лишком два года (до октября 1921 года), занятый устройством (по желанию местных властей) высшего учебного заведения — Института природоведения, рудимент которого и ныне сохранился там в виде так называемого педтехникума. Теперь я часто жалею, что, имея к тому возможность, не сохранил картин жизни уездного города революционного периода ни в подробных дневниках, ни в фотографических снимках. За два года я видел там много интересного, между прочим и картины голода 1921—22 гг., о котором народ будет рассказывать и в далекие будущие времена.

К зиме 1921 года, когда Московский университет начал понемногу выходить из 3-летней летаргии, я вернулся к преподаванию в Университете и других высших учебных заведениях г. Москвы. Но теперь я уже начал чувствовать тяжесть возраста, связывающего не только мои мускулы, но и инициативу и бодрость духа. Особенно после тяжелой болезни, продолжавшейся с ноября по май текущего года, я почувствовал непривычные мне неуверенность движений, нерешительность действий и вялое равнодушие к событиям. Я могу легко пояснить сущность последнего чувства на примере малого значения. Пока я пишу эти строки в своей летней квартире при Биологической станции в Погоннолосином Острове, на столе передо мной медленно тухнет керосиновая лампа. Ни жены моей, ни кухарки нет дома, и я не знаю, когда они вернуться. Я смотрю на лампу и вспоминаю образы многих милых женщин различного общественного положения, которым я в свое время старался внушить недоступную им идею о том, что керосин в лампу нужно наливать заблаговременно, а не тогда, когда она, начав, погаснет. Дьявол, несомненно, умеет внушать гораздо лучше меня. Раздражался ли я прежде от таких педагогических неудач? Кажется, да. Но теперь я уже давно смотрю на потухание лампы во время моей работы, как на явление космическое. Да и разница между большим и малым как будто исчезла. Все, что происходит, было предопределено тогда, когда вот на этом самом месте ходили бронтозавры, и даже гораздо раньше. Все мое время и все идет к неведомой нам цели. Поэтому я и не роппу на судьбу, велением которой предугазано было, что я не мог сделаться ни

«нашим известным фельетонистом», ни «нашим маститым и известным ученым». Раз случилось, что составитель словаря писателей Венгеров, взор которого проникал псевдонимы, обратился ко мне с письмом, требуя от меня автобиографии. Я послушно написал таковую на почтовом листке, аккуратно заклеил в конверт и отдал университетскому служителю, чтобы он бросил письмо в ящик. Но служитель Ефим письмо потерял и, по несколько странной добросовестности, вместо того, чтобы свалить конечный результат на почту, пришел ко мне с повинной. Я принял это за указание свыше и другого письма не писал. С ученой же карьерой и известностью дело обстояло и обстоит еще более трансцендентально. Однажды одно человеческое существо, столь же любопытное, как и Вы, пожелало непременно знать, что я пишу и много ли написал. От ответа на первый вопрос я решительно уклонился. На второй ответить было легче. Я выложил на стол мои переплетенные статьи, положил сверху томы «Записок Географического общества», в которых находятся описания моих путешествий, и, взяв складной метр, определил, что я написал (считая поперек) двадцать восемь сантиметров. Вы спросите — разве этого мало для известности. Мало, — и на это есть причины, от меня не зависящие. Прежде всего Вам, может быть, неизвестно, что ученые статьи в большинстве случаев читают только три лица — сам автор, наборщик и корректор. Кроме того, путь к известности преградила мне моя фамилия. (Не удивляйтесь). Когда я, еще студентом, написал статью для немецкого ученого журнала, я подписал ее, по принятой тогда транскрипции, так: *Shitkov*. Позже я нашел во французском журнале краткие рефераты моих русских работ по географии. По понятным причинам французы изобразили мою фамилию так: *Jitkoff*. А еще позже какая-то заграничная комиссия решила передавать русскую букву Ж через Z, и я сделался — в указателях литературы — *Zitkov*. Вы понимаете, что это печальное обстоятельство распылило мои 28 сантиметров между тремя лицами и лишило меня надежды на посмертную славу; ибо и самый опытный библиограф теперь не соберет воедино моих творений, если бы ему и пришла странная мысль этим заняться. Еще труднее будет составить посмертную биографию этих трех лиц.

Слушайте дальше и теперь уже удивляйтесь, если хотите. В Ленинграде живет писатель Борис Степанович Житков. Он пишет детские рассказы, которые печатают московские издательства. Понятно, что отчества своего он, как и я, на книжках не ставит. Ему-то и обязан я неким дуновением славы, которое начал чувствовать в последние годы. По крайней мере мальчики и девочки, которые играют и здесь, и на дворе моей московской квартиры, часто спрашивают меня, я ли написал про подводную лодку и про медвежонка. Я честно отрицаю это, но вижу, что дети мне не верят и недовольны моей скромностью.

Но не могу же я радоваться известности, столь маргариновой. И потому, когда барышня в сберегательной кассе вписала в мою книжку безлический перевод в 46 руб., пришедшие (так! — Б. К.) в виде гонорара из источника, мне неизвестного,

и, по-видимому, принадлежащие моему тезке, я взял их себе в надежде, что означенный Борис Житков, поняв, что ему приходится терять не только частицы славы, но и вещи более существенные, перестанет путаться в мои дела.

Сообщу Вам еще один случай, который — думаю — убедит Вас окончательно, что по делу о моей славе происходит игра (вернее, борьба) потусторонних сил. Совсем недавно издательства двух краевых энциклопедий одно за другим обратились ко мне, требуя присылки моих научных автобиографий и портретов. Действуя под влиянием минуты, я послал то и другое. Но обе энциклопедии прогорели, не дойдя до буквы Ж. Теперь я твердо решил не поддаваться больше ни на какие провокации.

Но я не поддаюсь и разочарованиям и продолжаю преподавать в Университете и писать ученые статьи. Плохо только то, что за них гонорара не платят (что и определяет их действительное, а не кажущееся значение). Поэтому иногда я подумываю, не начать ли мне писать детские рассказы. Ведь благодаря Борису Житкову я имею уже некоторую известность в этой области деятельности.

Мне приходится также приобретать новые специальные познания, но это я делаю уже не с прежней охотой. Все глубже и яснее понимаю я теперь слова Писания, которые гласят: «Мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым» (кн. Екклесиаста, II, 16).

*Погоннолосиный Остров
15 июня 1928 года*

Если о Г. А. Кожевникове я много слышал еще до поступления в университет, то о Б. М. Житкове до знакомства с ним не знал ничего. И знакомство это, даже только внешнее, состоялось не с первых дней моего появления в университете. — Осенью 1920 года Б. М. был еще в Алатыре. Но в Музее имя его постоянно произносилось. Его возвращения в Москву ожидали. И вот, в начале 1921 г. он появился. Стал читать свои курсы. Основной и обязательный для студентов-зоологов и ботаников был курс зоологии позвоночных. Кроме того, он читал курс, называемый им «избранные главы из зоологии». Ни того, ни другого я не слушал, хотя говорили, что читал Б. М. хорошо и даже увлекательно. Доступно, но вполне серьезно. Если лекции Г. А. Кожевникова предварялись суетой и шумом на весь Музей, то Б. М. организовал свой как-то совсем незаметно. Аудитория его была немногочисленна, но состав ее был очень определенный и постоянный. Он был почти чисто мужской. Слушали Б. М. и специализировались у него преимущественно студенты, шедшие в зоологию от охоты, рыболовства и т. п. Но это уже позднее, когда Б. М. более обосновался не только в университете, но и во всяких лесных и пушно-промысловых

учреждениях. На первых же порах после возвращения в Москву он особой деятельностью в университете не развивал.

Переезд из Алатыря дался Б. М. тяжело. Поезда по всем дорогам ходили тогда очень медленно и нерегулярно. Путешествие до Москвы длилось не сутки и не двое, происходило со многими пересадками, на каждой из которых приходилось штурмовать вагоны, а вернее — теплушки. Значительная часть пути проходила по районам, охваченным ужасным поволжским голодом. Б. М., конечно, запаса на дорогу какой-то едой. Но всю ее он роздал на первых же станциях голодающим, вид которых потрясал его и лишал способности поесть свою пищу. Доставился в Москву он едва живой от истощения.

В Москве у Б. М. были дочери. С женой он был разведен, и я не знаю, была ли она жива. Мне он о ней никогда ничего не говорил. Где-то в районе Пречистенки или Остоженки у Б. М. была квартира или комната в квартире, общей с дочерьми или с одной из них. Летом он жил на даче при лесничестве в Погоннолосином Острове. Но основным его жильем был кабинет в Зоологическом музее с левой стороны коридора, ведущего в библиотеку, между кабинетом Э. Е. Беккера и лабораторией большого практикума.

Впрочем, трудно сказать, что следовало считать основным жилищем Б. М. — Он был очень подвижен. Помимо преподавания в университете, он был занят в очень многих и разнообразных учреждениях. Охрана природы, охотничье хозяйство, пушной промысел и пушномеховая промышленность, Дальний Север и его освоение, педагогика и методика преподавания в высшей и средней школе — все это были области, к которым он имел близкое отношение. До революции и в самые первые годы после нее он много занимался вопросами шелководства. Вероятно, продолжал что-то делать в этой области и позднее. Во всяком случае, связи с шелководством, по крайней мере, личные, у него сохранились, так как приезжавшие в Москву из Средней Азии и Закавказья специалисты-шелководы всегда посещали его. Кроме того, он постоянно имел дела с различными издательствами, в которых печатались его сочинения, по большей части научно-популярные. Круг знакомых Б. М. был очень широк и разнообразен. Он часто бывал в гостях, иногда и за пределами Москвы. Так, он довольно регулярно ездил в Сергиев Посад (Загорск) навещать своего учителя А. А. Тихомирова. Можно предполагать, что и кроме него среди сановных и чиновных некогда обитателей Посада у Б. М. были друзья и добрые знакомые. За всеми этими занятиями Б. М. мало проводил времени в своем музейском кабинете, если только не писал какое-нибудь более крупное сочинение. Чаще же всего он приходил в Музей довольно поздно вечером, ночевал, пил утром чай и пускался в бега по Москве.

Именно, пускался в бега. Потому что походка у Б. М. была быстрая и ее всегда хотелось назвать побегом. Шагал он большими шагами, далеко при этом выбрасывая трость, держась прямо и подняв высоко голову. Вообще в повадках Б. М. было что-то волчье. Роста он был довольно высокого, худощавый. В своей автобиографии

он упоминает о татарских предках в своей родне. Говорит, что татарские черты были довольно заметны у его сестер в детстве. Я улавливал эти черты в нем самом, не зная о его татарской крови. Мне казались характерными в этом смысле морщины близ улов его глаз и около ушей. Очень выразительно его отличало пенсне старого образца с дужкой. Мне всегда казалось, что оно вот-вот спадет с носа, что и заставляет его закидывать голову назад.

Говорили, что в молодые годы Б. М. был очень элегантен, почему его и называли «маркизом». Говорили также, что он имел большой успех у дам. И этому легко можно было поверить. Рассказывали, что в одном из дворянских женских институтов, в котором он преподавал и заведывал учебной частью, одна старшая воспитанница взялась на пари поцеловать Б. М. Выбрав время, когда он сидел один в своем кабинете, эта девица неслышно подошла к нему сзади, охватила за шею и поцеловала. Б. М. нисколько не растерялся. Он воскликнул: «Душечка!» и заключил ее в объятия. Стоявшие за дверью подруги со смехом ворвались в кабинет и зааплодировали. Но Б. М. не смутился и этим. Продолжая держать озорную девчонку за талию, он тоже принялся громко смеяться. Нужно полагать, что институтки любили его и устроили эту шалость без злого намерения. Иначе, конечно, эта история дошла бы до начальницы и до более высоких властей и вряд ли обошлась без неприятных для Б. М. последствий.

В годы, когда я его знал, Б. М. никак не блистал элегантностью. Не могу припомнить, чтобы я хоть раз видел его в приличном новом костюме. Казалось, точно он извлекал части своего гардероба из сундуков, где они хранились со времен его молодости, одни надевал такими, как они были сшиты лет 20—30 тому назад, другие предварительно перелицовывал. И казалось, что и перелицовку-то производили каким-то домашним способом. Штаны у Б. М. всегда были слишком длинные и узкие. Пиджаки или тужурки — какие-то окуржуженные, узкие в плечах, с коротковатыми рукавами, нередко обшитыми по краю тесьмой. Башмаки он носил дешевые, солдатского образца или самого ширпотребного «скороходовского» фасона. Летом Б. М. ходил в крылатке, весной и осенью в серой тужурке тяжелого драпа, зимой носил поддевку со сборками, иногда полупердень охотничьего типа. В сильные морозы шею повязывал толстым шарфом, по-мужицки, и обувался в валенки, в которых часто ходил и дома. На голове носил зимой лисий, позднее — пыжиковый треух, а летом широкополую черную шляпу, опять-таки всегда достаточно поношенную. Впрочем, при всей скромности и даже, можно сказать, бедности своей одежды Б. М. никогда не выглядел неряшливо. Все на нем было чисто и аккуратно, башмаки всегда были вычищены.

Вообще же не только в одежде, но и во всех других своих потребностях Б. М. был очень скромен. Он нельзя сказать, что курил, но очень умеренно покуривал. Но всегда только самые дешевые папиросы. Все это не вяжется со словами его автобиографии, свидетельствующими о некоторой любви его к комфорту («я терпеть не мог ездить в третьем классе»). Однако Б. М. никак не был скупцом. Довольно уже того, что он

помогал материально Тихомирову. Летом, когда его родственников не было в Москве, а сам он днем находился в городе и вынужден был обедать в ресторане, он обязательно искал себе партнера, чаще всего какую-нибудь студентку, которую и угощал обедом, так как очень не любил есть в одиночку. Мне известно, что он помогал деньгами своим ученикам, а вероятно, делал это не только в отношении их. Но во всяком случае он никак не был расточителем, а при отсутствии скупости — умерен и бережлив.

Б. М. не относился к категории людей с душой нараспашку. Он никогда не пускался в откровенности. Да и все поведение его было какое-то немного загадочное. Я, будучи с ним впоследствии в очень сердечных отношениях, никогда не слышал от него ни слова о его семейных делах. Не спрашивал он меня и о моих. Очень принято таких людей, не входящих близко в чужие дела и не подпускающих других к своим, считать эгоистами. Может быть, это так и есть. Но я замечал, что именно такие люди и бывают по-настоящему добры, а главное — общение с ними легко и приятно. Они не желают тебе счастья на свой вкус и не насилуют твою волю, как им кажется, в твоих интересах. Это люди, высоко ценящие свою свободу и именно потому уважающие свободу других. И почему-то как раз они находят удовольствие в том, чтобы делать людям добро. Не из высоких этических или социальных побуждений, а просто потому, что это им приятно, т. е. тоже из эгоизма. И Б. М. был большим любителем доставлять себе такие удовольствия. Чаще всего он проделывал это на детях. Стоило только ему войти в ворота университетского двора, как за ним увязывалась стайка игравших там ребятшек, детей дворников, служителей и другого низшего персонала. Они бежали за ним хвостом и проходили, предводительствуемые им, через черный ход Музея в коридор и дальше в его кабинет, где и устанавливались в очередь. Там Б. М. торжественно доставал мешочек с сахарным песком и чайную ложку. Дети один за другим подходили к нему с раскрытым ртом. Б. М. всыпал каждому в рот ложку песка, после чего все они немедленно выкатывались. Детей этих Б. М. называл «мои крысы».

Моя первая встреча с Б. М. состоялась при обстоятельствах, которые, хотя и не характеризуют его, все же сами по себе заслуживают того, чтобы их описать.

В первый год моего пребывания в университете мне было 17 лет. Такого же примерно возраста были и другие члены энтомологической компании, сгруппированной вокруг Е. С. Смирнова, которому самому было немного за 21. Но мы были уже не школьники, а студенты, называли друг друга по имени и отчеству и изо всех сил старались изображать из себя лихих буршей. При полном запрете в то время всяких алкогольных напитков нам остро недоставало важнейшего элемента студенческой вольницы доброго старого времени — пьяных пирушек.

В Музее не было недостатка в спирте-сырце, шедшем на консервирование различных животных, но настолько противном на вкус и вызывавшем такое тяжелое похмелье, что пить его могли только привычные пьяницы. Когда в начале 1921 г. в Музей поступило какое-то количество этилового ректификата для лабораторных

целей, все сильно оживились. На имя хозяйственного ассистента, каковую должность исправлял Э. Е. Беккер, от всех преподавателей и от студентов-специалистов стали поступать так называемые «мотивированные заявления» на ректификат. Фиксация инфузорий по Буэну требует для последующей отмывки наибольшее количество спирта. Поэтому в протистологов мгновенно превратились все, кто никогда не имел никакого дела с простейшими. Требования, во всяком случае — студентов, были очень скромны: просили по 100—150 кубиков. Эрнест Егорыч, принимая наши заявления, с самым серьезным видом отмеривал и наливал нам в баночки просимую порцию. Таким способом была создана наиболее необходимая основа намеченного увеселения.

Следующей проблемой, тоже тогда достаточно серьезной, была закуска. Она была решена следующим образом. — В то время И. И. Месяцев с несколькими своими друзьями развил усиленную деятельность по созданию «Пловморбина» — Пловучего (по прежней орфографии) морского биологического института (позднее «Пловморнина», затем «Гоина», ныне ВНИРО). При организации всякого нового учреждения тогда прежде всего исхлопывались продовольственные пайки. Вопрос о штатах, в отличие от теперешнего времени, не доставлял хлопот. Не знаю даже, существовало ли тогда вообще понятие штатного расписания. В состав «Пловморбина» включили не только тех, кто действительно намеревался изучать жизнь морей и океанов, но чуть ли не весь персонал Зоологического музея, включая и некоторых студентов. Поплывут они по морям или нет, — это дело будущего, но пока все получали еще один паек (дополнительно к университетскому и к пайку по Косинской станции) и еще какое-то количество миллионов. Е. С. Смирнов, конечно, тоже числился в «Пловморбине», и его причастность к этой организации помогла нам обставить запланированную оргию необходимым закусоном. — Для будущих полярных рейсов Месяцев раздобыл запас продовольствия. Происходило оно из трофеев, добытых при ликвидации англо-американской интервенции на Мурманском полуострове. Кабинет Месяцева по всем стенам до самого потолка был обложен мешками с белой мукой, сахаром, горохом, какао, большими металлическими банками с теплым свиным жиром. Еще там было сложено довольно много трофейных же винчестеров, вероятно, прихваченных заодно с харчами (ведь нужно же из чего-то стрелять белых медведей!). Всей этой роскоши (за исключением, конечно, винтовок) и раздобыл понемногу Е. С.

В 9 часов вечера, как только ушел дежурный служитель и Музей был заперт, мы принялись за работу. Замесили муку и в комнате большого практикума стали жарить на свином сале лепешки, варить горох и какао. Чаду, конечно, напустили на весь Музей. Приготовленная пища, казавшаяся нам, всегда в то время голодным, божественно вкусной, была принесена в библиотеку, и пиршество началось. Что до меня, то я в тот вечер имел дело с алкоголем впервые в жизни. Думаю, что и другие мои товарищи вряд ли имели больший опыт в этом деле, разве что Е. С. мог быть просвещен

немного больше. Разведенный спирт оказал свое действие мгновенно. Мы стали горланить песни, возиться друг с другом и очень скоро просто легли костями. События этого вечера мало сохранились в моей памяти. Но зато очень хорошо запомнилось ужасное пробуждение. — Адская головная боль, чувство стыда и раскаяния. Остатки пищи и грязная посуда на столе. Смертельно бледные товарищи со страдальческими физиономиями. Нижние стекла почти во всех шкафах были разбиты. В водопроводной раковине и кое-где на полу... Мерзость! Прибрав кое-как за собой, мы разбрелись по домам. Меня удивило, что, когда через день после этого я пришел в Музей, разбитые стекла в шкафах были уже заменены фанерой. По-видимому, Е. С. успел распорядиться на этот счет, а столяр срочно выполнил требуемую работу. Фанерки эти смотрели на меня неммым укором еще года три или четыре, пока наконец в шкафы не вставили стекла. Конечно, Г. А. Кожевников не мог не узнать о произведенном нами безобразии. Но он не сказал нам по этому поводу ни слова. Разве что с Е. С. у него был разговор на эту тему, но тот об этом нам ничего не говорил. А вполне могло быть, что и с ним Г. А. это событие не обсуждал. Ведь в университетах с самых древних времен студенческие проказы были терпимы!

Но еще до того, как мы упились окончательно, а пока нестройно вопили «Гаудеамус», дверь в библиотеку отворилась и на ее пороге появились С. И. Огнев и впервые увиденный мною тогда Б. М. Житков. Мы пришли по этому поводу в чрезвычайный восторг. Е. С., как старший, стал приглашать их принять участие в нашем увеселении. Они отказались. Огнев сказал, обращаясь к Б. М.: «Смотрите, как приятно, что студенты сохраняют старые традиции» (имелось в виду пение «Гаудеамус»). Б. М. ответил с улыбкой: «Да, да, это очень хорошо». И они ушли.

Присущая Б. М. сдержанность никак не мешала его большой общительности. Совершенно естественно поэтому, что при близком соседстве (через дверь по коридору) у нас очень скоро завязались отношения. Я уже говорил (см. о Г. А. Кожевникове), что Б. М. нередко заходил ко мне вечером или утром для совместного чаепития или просто побеседовать. Он был прежде всего, что называется, человек бывалый. Не могу сказать, чтобы я очень уж любил людей такого сорта вообще. Чаще всего они чувствуют за собой право на всеобщее внимание и любят повествовать, считая свои повествования поучительными. При этом они думают, что одолажат собеседника, обогащая своими рассказами его жизненный опыт. Но не испытывают благодарности к нему за то, что он, слушая, удовлетворяет их потребность выпрядать свою повествовательную нить, которая, в сущности, представляет собой экскрет, вызывающий необходимость освободиться от него. Но Б. М. совсем не был таким разговорщиком. То, что он рассказывал о виденном или пережитом, всегда укладывалось в рамки разгово-

ра на совместно обсуждаемую тему. Конечно же, он сообщал мне всего несравненно больше, чем я ему. Но я при всей своей болтливости не ждал с нетерпением перерыва в его речи, чтобы вставить что-то свое. А говорил Б. М. хорошо. И при этом в его разговоре (как и в писании) не замечалось старания выражаться правильно или красиво. Литературный вкус, правильное сказать, чувство языка и любовь к нему были у него вполне органичны. А так как, в дополнение к этому, он был наблюдателен и умен, то его оценки событий и людей были всегда очень метки, и они не забывались.

В своей автобиографии Б. М. пишет, что наука далеко не наполняла его жизнь и что он навсегда остался дилетантом. Это, конечно, верно. Поэтому я не раз слышал мнение о нем как о неудачнике. Но я с этим никак не мог согласиться. Можно ли считать неудачником человека, который не достиг в жизни того, что называется успехом, т. е. широкой известности, славы, власти или богатства? — Да, он неудачник, если хотел добиться этого. Но ведь можно такой цели перед собой и не ставить. Честолюбивы в той или иной мере почти все люди, при этом одаренные — не меньше, чем бездарные, а скорей, пожалуй, наоборот. Очень возможно, что честолюбие — важнейший двигатель всеобщего прогресса. Даже почти наверное это так и есть. Ведь это оно заставляет людей продвигать свои изобретения, оповещать о сделанных открытиях и настаивать на правильности высказанных мыслей. Но оно же лежит в основе навязывания людям своей воли и стремления к господству над окружающими, т. е. насилия над ними. А жажда одобрения другими своей деятельности или идей, жажда всяческого признания — не основана ли она на отсутствии убежденности в собственной правоте?

Я уже писал о пиквикизме, как о характернейшей черте ученых, вытекающей из свойственного им сознания, что они выполняют особо важную функцию в обществе, и свидетельствующей об их ограниченности, об их мещанстве. Так вот, Б. М. был совсем чужд всякого пиквикизма. Конечно, он не был гениальным ученым. Будучи человеком умным, он это понимал. Этим он и отличался от сотен и тысяч деятелей науки, одаренных средними способностями, но не видящих принципиальной разницы между собой и Эйнштейном. А мещанство было ему несвойственно, как мне кажется, в значительной мере по его происхождению.

В Б. М. было очень много от его дворянства. Трудно определить точно, что это было именно. Но это было то, без чего просто нет Бунина, что так сильно в Толстом, что сверх всей его гениальности лежит еще совсем особым налетом на Пушкине. Я никак не хочу считать это нечто чем-то безусловно высшим. Если взять все характерные особенности «дворянства», то среди них окажется немало и отрицательных. Но несомненно ценна в аристократизме его противоположность мещанству. А так как дух мещанства стал вскоре же после революции абсолютной доминантой в нашем обществе и становится ею все больше и больше, то это заставляет ценить то, что ему противно.

Если Б. М. и заявляет, что научная деятельность ничем не более почетна, чем всякая другая, то все же он относится к ней с достаточным уважением. И чисто по-дворянски, с заметной гордостью, перечисляет ученых, вышедших из его рода. Но ничуть не меньше он гордится тем, что его предки не обворовывали казну. И именно гордится, а не кичится добродетелями, украшающими его род. Это очень характерно. И в связи с этим мне припоминается еще один из моих тогдашних знакомых.

Одно время я нередко встречался с Николаем Ивановичем Тютчевым, внуком поэта Ф. И. Тютчева. Это родство, быть может, помогло ему не быть уничтоженным революцией (во всяком случае, до 1935 года; после своего заключения я навсегда потерял его из виду и не знаю, дали ли ему спокойно умереть). Подмосковное имение Тютчевых Мураново было превращено в музей, а Н. И. был назначен его хранителем и жил в нем вместе с сестрами — незамужней Софьей Ивановной, бывшей фрейлиной двора и воспитательницей дочерей Николая II, ушедшей в знак протеста против деятельности Распутина, и другой, имени которой я никак не могу припомнить, по мужу Пигаревой. Была у него квартира и в Москве, тоже, как и мурановский дом, полная всяких драгоценных реликвий и рукописей. Н. И. был старым холостяком. Кажется, он никогда не служил или, по крайней мере, не служил в годы перед революцией, а числился при дворе и имел звание камергера. Но жил в Москве и был заметной фигурой среди тамошней знати, одним из старшин аристократического Английского клуба. После революции, когда этот клуб был предназначен к национализации, ни один из прочих старшин не пожелал или не отважился явиться для сдачи его приемной комиссии. Один Н. И. пришел и выполнил эту свою последнюю обязанность. Возможно, что и этот его шаг был зачтен ему в плюс властями.

Никогда не занимавшийся прежде никакой серьезной деятельностью, ни государственной, ни научной, ни, конечно, практической, ни в области искусства, Н. И., тем не менее, не производил впечатления пустого человека. В обращении же был очень приятен и совершенно безукоризненно воспитан. Литературой он стал интересоваться лишь постольку, поскольку это оказалось необходимым по его должности заведующего Тютчевским музеем и хранителя писем и рукописей своего деда, Баратынского, Вяземского, Жуковского, Гоголя и др. Но все это наследие занимало его гораздо больше в плане семейной хроники, чем в литературном. Когда я познакомился с Н. И. более близко, я научился воспринимать его самого по себе. Но первоначально я к нему подходил как к человеку, осененному благодатью родства с поэтом, имевшим для меня совсем особое значение, с поэтом, стихи которого приводили меня и до сих пор приводят в трепет, ни с чем не сравнимый. И я был просто потрясен, что никаких подобных чувств к нему не питал его внук. — Да, род Тютчевых — род хороший. Надеюсь, что и я его не посрамляю. Федор Иванович был камергером? — Я тоже. А некоторые из Тютчевых были и более сановны. Поэт? — Да, у нас вообще в роду многие писали стихи. — Конечно, прямо так Н. И. не говорил (кроме только того,

что многие Тютчевы писали стихи), но такое отношение к деду явственно улавливалось при разговорах с ним.

Однако Н. И., несомненно дороживший своей родословной и честью своего рода, был не только чужд дворянской кичливости, но очень подсмеивался над теми, кто ее проявлял. Однажды где-то под Новым Иерусалимом, т. е. неподалеку от Муранова, на лето поселился А. Н. Северцов. Он свел знакомство с Тютчевыми, причем решил поставить свои отношения с ними на ногу соседей-помещиков, равных между собой и сознающих свое превосходство крови. Когда я в то лето посетил Мураново, Н. И. сказал мне с усмешкой: «Тут я познакомился с вашим Северцовым». Потом добавил, покачав головой: «Большой барин». Последние слова в устах родовитого аристократа означали: — ведь эти Северцовы из воронежских, мелкопоместных.

В числе предков Б. М. не было поэта Тютчева. Но это не мешало ему сознавать достоинство своего рода и стараться его поддерживать собственным поведением. Я то и дело совершаю отступления от своего прямого предмета. Может быть, то, что я рассказал сейчас о Н. И. Тютчеве, имеет слишком отдаленное отношение к портрету Б. М., который я пытаюсь дать. Но ведь все-таки имеет. А я с тем условием и принялся писать эти записки, что буду делать это вполне свободно, без всякой оглядки на чужой суд, а следуя только ходу своих мыслей и воспоминаний. Поэтому ради одного только жеста, уловленного мной у Б. М., я вновь отклоняюсь в сторону.

В двадцатых годах в Музее часто появлялся А. Г. Марконет. О нем мне было известно, что был он охотник, собачник и знаток охотничьего оружия. Так как ни в одном учреждении он не служил, то зарабатывал он или, по крайней мере, пополнял свой бюджет комиссионной деятельностью по продаже ружей. По образованию он был юристом. В прошлом — присяжный поверенный и достаточно богатый человек: владелец нескольких домов в Москве. И был он одним из виднейших московских деятелей Союза русского народа. Говорили, что его не один раз забирали в ЧК, но он там так откровенно излагал свои политические взгляды, которые и не думал изменять со времен расцвета деятельности д-ра Дубровина, что его выпускали как человека, явно не имеющего шансов привлечь на свою сторону кого бы то ни было. Большевиков он порицал за то, что они убили царя. Это он и говорил всегда, когда слышал от кого-нибудь жалобы на новые порядки. — «Да чего уж там, — царя убили». Впрочем, только это он и ставил им серьезно в вину. А за многое другое даже их одобрял. Особенно же за то, что они прижимали интеллигенцию. Ее, по мнению Марконета, нужно было вообще смести с лица земли. Он был уверен, что только она была виновницей революции, а народ в этом деле был совсем ни при чем. Да даже и большевики-то были не так уж виноваты. Смуту посеяли, конечно, жида, углубляла ее интеллигенция, тоже насквозь жидовская, но самое страшное злодеяние совершили самые высокопоставленные сановники, пытавшиеся

ограничить влияние Распутина. Об одном своем разговоре с Марконетом на эту тему Б. М. рассказывал мне. —

«Что там эти ваши кадеты, большевики, октябристы! Во всем виноваты Джунковский, Родзянко, эта дура фрейлина Тютчева. Это они бунтовали против старца».

«Позвольте, голубчик, Распутин делал совершенно безобразные вещи. Кто бы ему ни покровительствовал, но есть такие дворянские роды (в этом месте рассказа Б. М. совершенно произвольно указал рукой себе в грудь), которые никогда не переносили бесчестия».

«А что он такого делал?»

«Как что? — А вы считаете допустимым, что он входил в спальню великих княжен и под видом благословения щупал их во время сна?»

«Подумаешь, что им, за..., от этого сделалось! Ведь зато старец только один и мог останавливать кровь наследнику».

В этом невольном жесте Б. М. сказала со всей ясностью его дворянская гордость. Но она проявилась у него совсем не как у Северцова. И я уверен, что, если бы Н. И. Тютчев слышал эту тираду Б. М. в защиту своей сестры, то она не навела бы его на сопоставление своей генеалогии с житковской.

Не будучи фанатиком науки (т. е. не веря в ее всемогущество и не переоценивая своих возможностей продвигать ее по пути больших завоеваний), Б. М., кроме того, был до крайности равнодушен ко всяким почестям. Не будь этого, он, конечно, больше позаботился бы о том, чтобы оставить по себе монумент крепче меди. Быть может, его милая знакомая, по просьбе которой он измерил свою печатную продукцию, и поверила его хитрой басне о роковых обстоятельствах, ставших поперек его пути к славе. Но в действительности дело в том, что он вовсе и не стремился идти по этому пути, на котором всегда толкотня и давка. Для шествия по нему нужно, помимо необходимых деловых качеств, и даже больше, чем этими качествами, обладать способностью переносить толчки в бока, наступание на ноги и уметь самому хорошо работать локтями.

Нет двух людей, во всем одинаковых между собой. Но нет, по-видимому, и таких двух, у которых не было бы чего-то общего. Поэтому совсем безнадежное занятие искать себе друга, во всем согласного с тобой. По недомыслию каждый все же такого ищет, и всякая дружба начинается с того, что двум людям кажется, будто они взаимно нашли полных единомышленников. Но неизбежно в их взглядах и вкусах обнаруживается то или иное несходство. С обеих сторон возникает желание устранить его. Это дело кажется совсем простым. — Ведь человеку, с которым у тебя столько общего, легко можно объяснить его непонимание или заблуждение. Но на деле оказывается, что этого сделать нельзя. Каждый человек думает, чувствует и действует по-своему не потому, что его никто не научил думать, чувствовать и действовать иначе, а потому, что он так сделан, таким рожден. Не понимающие этого друзья

сначала спокойно представляют один другому аргументы в пользу своей точки зрения и спокойно выслушивают контраргументы. Но постепенно и незаметно для себя они впадают во власть беса полемики. Их рассуждения все больше сворачивают с пути законов логики и все больше подвергаются влиянию эмоций. Завершаются эти попытки полностью обратить друга в свою веру ссорой и горьким разочарованием. Эту истину я познал, к сожалению, далеко не в самые молодые годы, после того, как успел наговорить в ненужных спорах много всяких незаслуженных неприятностей многим своим приятелям и не меньше получить таковых от них по своему адресу. И тогда же я понял, что общение с друзьями должно быть основано только на том, что вас роднит, а не на том, что разделяет. Конечно, эти сферы родства могут быть более широкими и менее широкими, могут быть важными или пустяковыми. В зависимости от этого друзья имеют для тебя большую или меньшую ценность. Я почти ни в ком не нахожу понимания своей нелюбви к людской тесноте и давке, заставляющей меня избегать многолюдных зрелищ и путешествия в переполненных вагонах или автобусах. Вероятно, сродни этой нелюбви и отвращение ко всякого рода конкуренции. — Там и здесь нужно работать локтями.

И вот, у Б. М., как ни у кого другого, я встретил подобное же отношение к этим вещам. Я никак не хочу утверждать, что оно правильно и что эти свойства характера нужно пропагандировать и прививать их детям. Для меня важно только то, что это было мне у Б. М. понятно и до крайности близко, и это, быть может, было не последней причиной моей особой привязанности к нему.

Уже очень молодым человеком я заметил, какая борьба идет у нас в университете за всякие места, должности, лекционные часы и т. п. и как в соревновании за их получение мои добрые знакомые совершают поступки, которые, пока я к ним не привык и вообще не накопил немалого жизненного опыта, заставляли меня задумываться, можно ли сохранять с ними дальнейшие отношения. И на этом фоне Б. М. резко отличался ото всех. Он не только никогда активно не добивался для себя никаких благ, но отказывался от них при малейшем подозрении, что на них претендует кто-то другой. Он ни в какой мере не был аскетом. Устройству своих материальных дел он уделял достаточное внимание и вполне в этом преуспевал. Он только не лез в давку. В дни его молодости возможности получения платной должности в университете были очень ограничены. По своим способностям, а также по протекции своего патрона Тихомирова Б. М. вполне мог бы получить такую должность. Но на них были и другие претенденты. Поэтому Б. М., не порывая связи с университетом, стал искать заработков вне его. Какие это были заработки, — он рассказывает в своей автобиографии. И в мое время, когда он имел в университете достаточно твердое положение, университет все же не был единственным и главным источником его доходов.

В начале тридцатых годов, когда борьба за места и должности в университете была особенно остра, произошел один случай, который мне очень запомнился. Как-то

в верхнем коридоре Музея я встретил Б. М. Он улыбался и был в очень веселом настроении. Приобняв меня, как он это часто делал с собеседником на ходу, он меня повлек за собой по пути к своему кабинету.

«Что вы такой веселый, Борис Михайлович?»

«Да как же! Я только что сделал Борису Степановичу такую гадость».

Речь шла о Б. С. Матвееве. Я был крайне удивлен, что Б. М. мог вообще сделать кому-нибудь гадость. И не знал никаких причин, по которым он мог бы хотеть нагадить Матвееву.

«Что же вы ему сделали?»

«Да вот только что передал ему свою кафедру».

Любовь многих ученых к юбилеям и ко всяким торжественным случаям была чужда Б. М. «Не могу понять, — говорил он, — как человек может добровольно слушать в течение нескольких часов неумеренные похвалы по своему адресу. Ну уж если юбилей нужен, чтобы определить тебе большую пенсию, эту неприятность еще можно перенести».

В этом отношении полным антиподом Б. М. был А. П. Семенов-Тянь-Шанский. О нем следовало бы написать особо, но я пока сообщу лишь немного, что связано с Б. М.

Андрей Петрович Семенов-Тянь-Шанский кроме систематики насекомых интересовался и занимался очень разнообразными вещами, в том числе и латинской поэзией. Познакомившись с ним еще в свои ранние студенческие годы в Зоологическом музее Академии наук в Ленинграде (ныне ЗИН) как с самым большим знатоком жуков и автором одного теоретического сочинения по систематике, ценимого мной тогда очень высоко, я скоро сошелся с ним и на почве нашей общей любви к Горацию. Уже в то время любителей классической литературы было не так много, и собеседников о ней А. П., вероятно, не хватало. А он был жаден до всякой аудитории, особенно же до такой, со стороны которой мог рассчитывать только на полный успех и одобрение. Я же, познакомившись семнадцатилетним мальчишкой с автором «Таксономических границ вида», был на седьмом небе от счастья и гордости. А когда дело дошло до Горация, о котором мне было совсем не с кем поговорить (с Н. Д. Леоновым я тогда еще не был знаком), то я просто плавал в блаженстве. Я не мог не заметить, что А. П. необычайно падок на всякую похвалу. Но он был так обязателен по отношению ко мне (повторяю, — совершенному мальчишке), да и вообще по отношению ко всем, кто обращался к нему за советом или помощью по специальности, что я не считал особой подлостью кормить его конфетками лести, которые он съедал с таким видимым наслаждением. Ведь все-таки он был хороший человек, хотя и эгоист крайний.

Юбилей А. П. обожал. Притом не только свои, но и чужие, которые ведь так же давали ему возможность выступить и блеснуть красноречием. Но своих юбилеев

каких только он не выдумывал. — И просто более или менее круглые даты со дня рождения, и научной деятельности, и общественной, и литературной. А когда не предвиделось никакой собственной даты, то А. П. прибегал к биографии отца, также чрезвычайно богатой. Ведь папа, помимо того, что прожил почти сто лет, был и сенатором, и членом Государственного совета, и путешественником, и президентом (простым, а потом почетным) Географического и Энтомологического обществ, и деятелем оживления крестьян, и организатором первой всероссийской переписи населения, и прочая, и прочая. И каждая сторона его деятельности предоставляла возможность организовать и отпраздновать юбилей, на котором, ввиду отсутствия папаши, центральное место занимал сам А. П., хотя у него было еще два брата.

И вот однажды я получил от А. П. письмо, в котором он сообщал, что в скором времени «будет отмечаться» какой-то юбилей его деятельности на поприще изящной литературы. Литературу, особенно поэзию, он несомненно знал и любил, но не слишком новую. Сам писал стихи, пожалуй, не хуже Апухтина, а технически даже и более совершенные. Не останавливался даже перед сочинением дистихов, а сонеты были ему совсем нипочем. Писал даже венки сонетов. Из необходимой все же скромности лучшим из современных поэтов он называл Максимилиана Волошина. Но про себя был уверен, что это он сам.

Получив его письмо, я понял, что оно меня обязывает преподнести ему усиленную порцию сладенького. По поводу этого письма Б. М. и высказал свое отношение к юбилеям. Но одновременно просил меня написать в своем ответном письме, что он тоже высоко ценит литературную деятельность А. П., а кроме того вообще полон наилучших чувств к нему и глубочайшего уважения к заслугам и его самого, и его великого отца. Все это, помимо собственных подходящих комплиментов, я и изложил А. П. В ответ получил очень скоро другое письмо, в котором сообщалось, как будет протекать юбилей, а также выражались ответные чувства в отношении Б. М., которого-де А. П. очень помнит по встречам в доме папы, помогавшего ему в качестве президента Географического общества в снаряжении экспедиций на Ямал и на Канин.

Меня же осенило вдохновение. — В словах *Андрею Семенову* содержится 14 букв. Это навело меня на мысль написать сонет-акростих. Я это и сделал, изрядно помучившись. Получилось чудо версификации вполне в духе А. П. и вполне такая же дрянь, как и все подобные чудеса. Сочинив эти стихи, я все же сильно колебался посылать их по адресу. Уж слишком минимальны были их поэтические достоинства и слишком был восхвален юбилей. Решил посоветоваться с Б. М. Он очень смеялся, но, зная А. П., счел стихи вполне для него подходящими. И тут ему пришла в голову мысль самому подшутить над А. П. Он решил, что пошлет ему свое собственное стихотворение, которое выдаст за перевод с латинского. Так он и сделал. В поздравительном письме юбиляру он написал, что сам очень любит латинскую поэзию, но, в отличие от А. П., он занимался больше поэтами не золотого века, а периода упадка

Рима, в частности, творениями некоего Кая Салюстия Квинта или Секста или еще чего-то в этом роде (я не помню в точности, как звали этого вымышленного поэта). «Перевод» одного его стихотворения Б. М. и посылал при своем письме. Вот он.

*Проходя мостом над Тибром,
Нынче варвара я встретил.
Ухмыляясь на добычу,
Он тащил свиную ногу.
Я же нес домой под тогой
От писцов затибрских свитки
С переписанной искусно
«Апологией» Платона.
Молвил он: «Скажи, патриций,
Какова твоя удача?
Свежий корм какого сорта
Ты схватил в обжорной лавке?»
Я ответил: «Друг прохожий,
У меня под тогой пища
Та, что мудрого прокормит
Целый век до самой смерти».*

Странно, что я никогда и не пытался подойти к этим стихам с обычной литературной меркой. И теперь тоже не задумываюсь над их поэтическими достоинствами. Читая их, я только вижу в строчках ту самую улыбку, которую привык видеть на лице их автора во время бесед с ним.

Через некоторое время после отсылки своего стихотворения Б. М. пришел ко мне с видом напроказившего и понавшего мальчишки. — «Беда, голубчик. Андрей Петрович пишет, что перевод ему очень понравился, но он не может достаточно судить о нем, не зная оригинала. Пишет, что все же он немного знаком с латинской поэзией более позднего периода, но ничего не слышал ни о каком Кая Салюстии, и просит сообщить о нем подробнее. Что же теперь делать?» — Не знаю, как выпутался Б. М. из этой истории.

Мой же сонет привел А. П. в совершенное восхищение. Я тотчас же получил от него восторженный отзыв о своем произведении с аттестатом на полное владение канонами сонета. В стихотворном обращении ко мне в несколько строк гекзаметра А. П. уведомлял, что он передает мне «факел немеркнувший», т. е., по-видимому, завещает мне свое место первого поэта России. А через некоторое время от него пришло письмо с описанием юбилея, на котором мой сонет, прочитанный каким-то весьма славным ленинградским актером, вызвал бурные аплодисменты. Эти письма доставили Б. М. не меньшее удовольствие, чем мне самому.

Заканчивая воспоминания о Б. М. и возвращаясь опять к занимавшему его самого вопросу о славе и широкой известности, я замечу, что, если они и не доста-

лись ему на долю, то с другой стороны решительно во всех кругах, в каких ему приходилось вращаться, он пользовался самым искренним и прочным уважением. Я уже говорил, с каким почтением к нему относились, например, шелководы. Точно так же совершали паломничество к нему все старые специалисты охоты и пушного промысла. Его земляки симбирцы особенно чтити его. Я помню, как однажды к нему приехал один пожилой алатырский лесник и передал ему просьбу тамошних охотников принять участие в медвежьей охоте. Берлогу обложили, а самое почетное место среди стрелков решили предоставить Б. М. Кажется, он это предложение принял.

В начальный период организации морского рыболовного флота в Архангельске была построена промысловая шхуна. Ее решили назвать «Борис Житков». Капитан судна обратился в письме к Б. М. с просьбой прислать свой портрет для помещения его в кают-компанию. Тогда Б. М. попросил С. И. Огнева, который хорошо фотографировал и в то время особенно увлекался портретами, снять его так, чтобы он выглядел морским волком, но в то же время чтобы и женщинам мог нравиться. Портрет, действительно, очень удачный (тот, что висит у меня над письменным столом), был изготовлен и отправлен. Вскоре после этого Б. М. получил нечто вроде протокола производственного совещания или общего собрания экипажа шхуны, созванного по случаю водружения его портрета в кают-компанию. Команда торжественно заверяла Б. М., что будет верно «хранить его заветы».

В 1926 году Б. М., ко всеобщему удивлению, женился. Удивил этот его шаг и меня. Его новая жена, И. Ю. Бартенева, была совсем молодая особа. Она, по-видимому, в то время только что окончила какой-то вуз, кажется, пушно-меховой. С собой была очень недурна, живая, энергичная. Воспитание получила хорошее. Знала языки. Во всяком случае, по-немецки говорила вполне свободно, в чем я мог убедиться, навестив Б. М., на его даче в обществе одного австрийского зоолога. Мне казалось, что происхождение из «хорошей семьи» и соответствующее воспитание только в какой-то мере и могли роднить ее с Б. М.

Обзаведшись семьей, Б. М., конечно, перестал быть моим постоянным вечерним соседом в Музее, хотя все же иногда он и приходил переночевать в своем кабинете. Мой житейский опыт в то время был очень невелик, но все же женитьба Б. М. на женщине, бывшей много моложе него, внушала некоторые опасения и мне. Они оказались обоснованными. Году в 1927 или 28 Б. М. вдруг сильно заболел. До того здоровье его было хорошее. Он, нужно думать, был крепок по природе. Болезнь Б. М. была какая-то странная. Не знаю даже, лежал ли он сколько-нибудь долго. Он продолжал приходить в университет. Только весь вид его стал каким-то

стариковским, а взгляд потускневшим и грустным. На расспросы о здоровье он отвечал только: «Плохо мне, плохо». Когда-то Б. М. рассказывал мне об одной своей тетке, которая внушила себе, что должна умереть, и действительно умерла. Я припомнил ему этот рассказ, желая сказать, что болезнь он внушает себе сам. — «Вы вот так и придумаете себе сами смерть, как ваша тетка». — «Да, да, голубчик, придумую, непременно придумую», — отвечал он грустно, кивая головой. Но потом как-то очень медленно Б. М. стал приходить в норму. Я его ни о чем не расспрашивал, но узнал от кого-то, что с Ириной Юрьевной он разошелся. Вероятно, этот поздний брак дорого обошелся Б. М. Здравый рассудок, столь присущий Б. М., нужно думать, помог ему оценить свое положение и найти из него выход. В последние годы, что я его помню, он был вполне таким же, каким я привык видеть его прежде. Но в 1935 году я исчез из университета и до самой его смерти уже никакого общения с ним не имел.

Умер Б. М., кажется, в первый же год войны. Не знаю, где находились в то время его дочери. Но в Москве он был одинок. К счастью, один из его учеников, Д. М. Вяжлинский, взял на себя заботу о нем и не оставлял его до дня смерти.

Музейские служителя

Теперь в лабораториях и при кафедрах нет должности, вполне соответствующей той, которая прежде называлась лабораторный служитель. На обязанности служителя лежала уборка всех помещений, но кроме того он прислуживал на лекциях, производил всякие мелкие закупки, играл роль рассыльного и выполнял разнообразные другие поручения. Большая же часть его времени уходила на занятие, ближе всего напоминающее вахтерское, т. е. он дежурил, сидя где-нибудь в коридоре, обычно поблизости от телефонного аппарата. Во время различных заседаний служителя дежурили при вешалках, выполняя, таким образом, также и обязанности швейцара.

В дореволюционном университете служителя занимали свои должности обычно очень подолгу. Нередко за время их службы сменялись целые поколения профессоров, возглавлявших кафедры. Служитель был хорошо известной и заметной фигурой на кафедре. Студенты, во всяком случае, относились к служителям с достаточным почтением и даже порой заискивали перед ними, так как от них можно было выведать некоторые существенные сведения о профессоре: у себя ли он, и если нет, то когда намеревается быть, в каком он настроении (важно при сдаче экзамена) и многое другое.

Служителя были тогда народ степенный. Мальчишек на эту должность не брали. Да и вообще в такое солидное учреждение, как университет, не брали людей с улицы.

Нужны были рекомендации или протекция. Ее профессора иногда оказывали кому-нибудь из своей или своих знакомых мужской прислуги. Военная выправка и лексикон довольно многих служителей свидетельствовали о том, что за их плечами была солдатская служба.

Таких старых служителей я застал при поступлении в университет почти во всех лабораториях нашего факультета, в которых мне приходилось бывать. Потом они один за другим выбывали. У нас в Зоологическом музее таких было два.

Герасим Батушин был в Музее не исконным. Его к нам перевели, кажется, в 1920 году с бывшего историко-филологического факультета, где он служил много лет. Он был уже очень стар, но несмотря на свой возраст, держался прямо и сохранял следы солдатской выправки. И усы у него тоже были большие, солдатские, а бороду он брил. Был заметно глуховат. Служить ему было уже явно тяжело. С утра он еще двигался и, кряхтя, производил уборку. А потом усаживался на стуле в коридоре возле телефонной будки и дремал.

Герасим был не очень общителен, и потому я почти ничего не могу рассказать о нем. Но все же кое-какие отношения у меня с ним завязались. Заметив некоторое внимание к себе с моей стороны, он стал иногда кое-что рассказывать мне о профессорах-филологах, при которых он служил. Особенно охотно вспоминал профессора богословия протоиерея Боголюбского, отца и ныне живущего зоолога С. Н. Боголюбского. Впрочем, не лекции его, а великолепные проповеди в университетской церкви. А от более старых времен у него остались воспоминания о В. О. Ключевском. Герасим рассказывал мне, что на лекциях знаменитого историка перед ним на кафедре ставился полный графин, как все думали, с водой. Время от времени он наливал из графина и стакан за стаканом опорожнял его содержимое. Им, однако, была не вода, а водка. На чтении лекции это подкрепление, по словам Герасима, никак не отражалось. Но, выходя из аудитории, Ключевский придерживался за стену.

Герасим пробыл при мне в университете недолго: что-то год или два. А потом помер.

Другим старым служителем был Фрол. Сейчас не могу припомнить его фамилию. Да ее мало кто и знал. А имя было очень известно, уже хотя бы по анекдотам, рассказываемым о Г. А. Кожевникове. При мне Фрол появился после смерти Герасима. Где он находился до этого времени, я не знаю. Но его появление в Музее было вторичным. Он служил в нем еще до революции. Сам по себе Фрол был мало интересен и особой симпатии не возбуждал. Он был упрям, брюзглив и немного придурковат. Прибираясь, он обычно что-то ворчал себе под нос. Иногда в этом ворчании можно было разобрать недовольство, высказываемое по адресу начальства, в частности, Г. А. Отвечая на реприманды последнего, Фрол порой и огрызался.

История же первого появления Фрола в Музее была такова. — До того он служил лакеем у А. А. Тихомирова. Тот, как известно, поддерживал связи с духовенством,

и однажды его посетил архиерей. А на другой день к нему пришел в гости какой-то генерал или соответствующего звания гражданский чин. Раздевши его в передней, Фрол похлопал его по плечу и заявил: «А у нас вчерась архиерей был». Генерал пожаловался на это хозяину, и Тихомиров уволил Фрола, но устроил его на службу в Зоологический музей.

Карьера Владимира Никулочкина начиналась вполне типично для университетского служителя. Он, кажется, был контужен на войне и в первые годы революции устроился плотником, а также исполнителем разных других работ на Измайловской опытной пасеке, которой заведовал и на которой жил летом Г. А. Кожевников. Тихого и скромного, да к тому же контуженного парня пригрела прислуга Кожевниковых Ирина, уже немолодая, некрасивая и не имевшая никаких шансов устроить свою семейную жизнь. Свой фактический брак с Владимиром она, кажется, не оформила, но он утвердился у нее в мужьях вполне прочно. Хозяйева Ирины этот брак признали и не возражали против водворения на зиму Владимира в комнате Ирины при кухне. А затем Г. А. устроил его на должность служителя в Музее.

Роста Владимир был небольшого. По внешности мало приметен. Лицом очень бледен, с какой-то болезненной желтизной. Бороду брил, а носил небольшие усики. Поведения был самого тихого. Распоряжения, особенно Г. А., выслушивал, вытянувшись во фронт и держа руки по швам. Отвечал на все по-солдатски: «Слушаюсь», «Так точно», «Никак нет», «Не могу знать». На фоне распространявшихся повсюду и начавших проникать в университет новых обычаев и более свободных отношений между людьми разного общественного положения поведение Владимира, по его возрасту, составляло редкое исключение. Свою почтительность к начальству он распространял и на нас, студентов-специалистов. Мы, давая ему иногда поручения самого частного характера, оплачивали их традиционным старым способом, — давали ему на чай. И эти деньги он охотно принимал. Со мной, как с постоянным жильцом Музея, Владимир имел больше дела, чем с другими. Я чаще прочих давал ему всякие поручения, выполнение которых приносило ему некоторую выгоду. Поэтому и почтительность его ко мне была несколько повышенной, хотя и со всем вообще старшим и младшим персоналом Музея он был вежлив и для всех услужлив. На новый год и на Рождество Владимир являлся ко мне с поздравлениями. На Пасху, конечно, тоже приходил и христосовался. При всей своей тогдашней бедности я для этих случаев припасал некоторые суммы для вручения ему (и другим служителям), как это было принято в отношении прислуги и низшего служебного персонала во времена моего детства. Несоответствие такого поведения Владимира (и моего) с новыми порядками я хорошо понимал. Но я никогда не чувствовал призвания к воспитательной работе. А моральность или неморальность давания на чай и всякой другой подобной мзды, по-моему, целиком зависит от того, насколько оно приятно или неприятно получающему. Если в результате социалистического

воспитания решительно все мои сограждане приобретут отвращение к таким подачкам, я никогда не стану оскорблять их чаевыми. Но покамест они оскорбляются далеко не все. И я считаю важным для себя только определить для каждого данного случая, обижу ли я своим действием человека или, наоборот, — доставлю ему приятность. В зависимости от этого и поступаю. Даже и теперь, почти на пятидесятом году революции. А уж в те-то годы и тем более. Вообще же, если и не так рано, то все же и не на склоне лет, я убедился, что друзья, покупаемые за деньги, вряд ли многим уступают тем, которые приобретаются другими способами. Во всяком случае могу сказать, что такого благожелательства к себе и такой заботы о моих выгодах и удобствах, какую проявляли в свое время за относительно небольшое денежное вознаграждение носильщики на вокзале в Тифлисе, я, пожалуй, не встречал со стороны ближайших моих не купленных друзей.

Таким образом, поведение Владимира было вполне подобающим для университетского служителя доброго старого времени. Не только на службе, но и дома он был тих и скромен. Не пил, не курил, не шумел и был во всем послушен Ирине и ее хозяевам. И трудно было даже представить, чтобы этот скромный и ушибленный, даже и в прямом смысле (контузия), человек мог вести себя как-либо иначе.

Но души праведников всегда представляют соблазн для дьявола. Он изощряется в поисках путей погубить их. И самое трудное для него дело это — зацепиться за что-нибудь для начала. А у Владимира такую зацепку найти было очень трудно. И все-таки она нашлась. И с той стороны, с какой ее трудней всего было ожидать. А именно — со стороны его любви к церковному пению. Он не только любил его слушать, но и сам пел в хоре Георгиевской церкви, стоявшей на Моховой, на том месте, где теперь возвышается ложно-ренессансный дом, построенный Жолтовским. После приспособления под клуб церкви св. Татьяны, составлявшей часть так называемого нового здания университета, Георгиевская церковь стала играть роль университетской. Старостой ее был профессор Л. М. Кречетович. Ее усердными прихожанами из известных мне профессоров были И. Ф. Огнев, А. П. Павлов и А. А. Борзов. Последние двое, обладавшие хорошими голосами, постоянно подпевали во время богослужения. Где же и Владимиру было петь, как не в хоре у св. Георгия. Конечно, университетские общественные деятели не могли не знать об этом. И с этой-то стороны и была поведена атака. Притом осторожно и тактично. Владимира не отговаривали от участия в церковной службе. — Пусть он себе там продолжает петь. Но почему бы ему не петь и в другом месте? Почему бы не записаться в хоровой кружок при университетском клубе? Недостатка в досуге у Владимира не было, а потому не было резона и отказаться от этого предложения. Таким способом он впервые приобщился к «общественной работе». Остальное же было только делом времени.

И времени довольно долгого. Постепенно церковное пение отходило на второй план, а потом и совсем кончилось, так как и петь-то стало негде: церковь снесли.

А пение месткомовское, наоборот, усиливалось. Завязывались новые связи. Владимир постепенно входил в круг деятелей, занимавших хоть и не очень видные служебные посты, но приобретающих все большее значение в жизни университета. Эта хорошо нам всем известная и существующая во всех учреждениях прослойка состоит из сотрудников, образование, знания и способности которых достаточно скромны, но, в противоположность этому, желание играть роль и извлекать выгоды из своего положения сильно гипертрофировано. Прослойка эта зашифрована под кодовым обозначением «общественность». В ней имеется своя иерархия. Низшую ее ступень составляют рядовые члены всевозможных кружков, состоящих при месткоме или при клубе. С этой ступени и начал свою общественную карьеру Владимир. Первым его продвижением было вступление на пост профорга Зоологического музея. Когда Музей отделился от кафедры и стал самостоятельным учреждением, Владимир, само собой, стал членом его месткома. Затем председателем. Затем он вошел в состав общеуниверситетского месткома. А это было уже высокое положение в «общественной» иерархии. В какой-то момент продвижения по профсоюзной лестнице Владимир вступил в партию. Началась карьера партийная. И вот его выдвинули и, конечно, избрали в члены райсовета.

Года до 1930 или 31 отчество Владимира Никулочкина мне, например, не было известно. Но тут выяснилось, что он Александрович. Все чаще слышалось, что его называют по имени и отчеству полностью. Для нас, научного персонала, возникла проблема: как нам надлежит именовать его впредь? Сначала стали называть его Владимиром Александровичем только публично, сохраняя форму обращения к нему наедине по-старому — Владимир. Потом наступило время, когда называть его так стало невозможно уже ни при каких обстоятельствах. Не помню, как он продвинулся по служебной линии. Во всяком случае, он уже не был лабораторным служителем. Да и сама эта должность с какого-то времени была упразднена. — Появились вахтеры, швейцары, уборщицы, препараторы, завхозы, коменданты. Какую-то из последних должностей и занял товарищ Никулочкин. Впрочем, это значения уже не имело. — Работы в Музее он все равно не выполнял никакой. Он заседал, циркулировал между месткомом, райсоветом и всеми университетскими учреждениями, а когда бывал в Музее, то проводил какие-то таинственные беседы с глазу на глаз с различными личностями, частью смутно известными мне в лицо по встречам на университетском дворе, в канцеляриях, в вестибюлях и в коридорах институтов, а чаще и совсем неизвестными, но всегда замолкавшими при моем приближении и косившимся на меня.

Все люди устроены одинаково. Старые жены перестают отвечать возросшим духовным запросам не только генералов и академиков, но и других людей, поднявшихся на достаточную высоту. Так случилось и с Владимиром. Достигнув известных степеней в партийно-общественной иерархии и приобретя возможность оказывать протекцию, он водворил к нам на должность уборщицы довольно видную собой

розовощекую девку с широкими бедрами и могучим бюстом. Через некоторое время выяснилось, что она не больше и не меньше как новая мадам Никулочкина. Старую свою Ирину Владимир выгнал взащей.

О дальнейшей карьере и судьбе Владимира после моего исчезновения из университета я не знаю ничего. Не знаю, жив ли он или когда-то за это время помер.

Марфа Печкина никак не типична для категории старых и даже более новых университетских служащих, и я пишу о ней не для продолжения начатого ряда, а просто как об одной из фигур Зоологического музея.

В один прекрасный день начала 1921 года место у телефонной будки, на котором я привык видеть почтенного Герасима или почтительного и мало заметного Владимира, оказалось занятым небольшого роста бабой с острыми темными глазами, необычайно краснощекой и в ярком цветастом платке. Трудно было предположить, что это новый служащий. Тип служащего был уже достаточно мне известен не только по одному Музею, но и по другим университетским кафедрам. Я подумал, что это какая-то посыльная, ожидающая ответа на принесенное кому-то письмо, или жена одного из наших низших служащих, пришедшая к нему по какому-либо экстренному домашнему делу. Но цветастая особа никуда не уходила. Потом я увидел ее в обществе хозяйственного ассистента, Э. Е. Беккера, что-то показывавшего и объяснявшего ей. Я осведомился у него, кто эта женщина. Эрнест Егорыч, точно извиняясь и разводя руками, сказал, что вот, мол, прислали такую на должность служащего. В тоне его объяснения ясно слышалась горькая ирония и становящаяся в то время уже привычной покорность новым порядкам, заводимым большевиками. Порядкам, в результате которых университет, несомненно, в очень скором времени должен погибнуть. После такого объяснения можно было только почесать в затылке, произнеся при этом: да-а!

Новую служительницу Э. Е. называл Марфушей. Я тоже стал обращаться к ней так. Григ. Ал. звал ее Марфа и, конечно, говорил ей «ты».

Вступивши в должность, Марфа, как ей и полагалось, начала орудовать щеткой, тряпками и мусорным совком, но совсем не с той степенностью, какую при этом проявляли старые служащие. Она оказалась голосистой. Очень быстро освоилась с кругом своих собратий из низшего персонала, к которым не проявляла ни малейшего почтения и с которыми громко ругалась. Доверия к себе она не внушала никакого. Эрнест Егорыч предупредил, что она — элемент ненадежный и что теперь в лабораториях нельзя оставлять ценные вещи не запертыми, как это было принято до сих пор. Да я и сам почему-то нисколько не сомневался, что Марфа взялась с Хитрова рынка и что она не может не обокрасть Музей и не сбежать после этого. В довершение всего через некоторое время Беккер конфиденциально сообщил мне, что у Марфы сифилис. — Она предьявляла ему какие-то справки из венерологической лечебницы. Это уже было совсем ужасно. Хотя я и не собирался вступить с Марфой в интимные отношения и даже не предвидел возможности пить

из общей с ней чашки, все же весть, что она больна такой страшной болезнью, вызвала у меня, как, вероятно, у самого Э. Е. (хотя мне было только 18 лет, а ему около пятидесяти), — содрогание.

Но ко всяким ужасам в конце концов привыкаешь. Приходилось мириться с присутствием в Музее опасной воронки, да еще и носящей в себе страшную для всех окружающих заразу.

Между тем время шло, а никаких жалоб на исчезновение из лабораторий микроскопов не поступало. Не пропала ни у кого шуба и даже ничьи калоши не исчезли. Статистика венерических заболеваний по сравнению с домарфинским периодом существенно не изменилась. Я имел возможность убедиться, что Марфа совсем не так уж плохо прибирается в лаборатории, т. е. стирает пыль только там, где нет возможности перепутать готовящиеся препараты, берет для мытья только заведомо грязную посуду, не выбрасывает ничего нужного. Уже очень скоро после своего поступления она стала сообщать, что меня в мое отсутствие спрашивал такой-то и велел передать то-то. Какое-то пустяковое мое поручение она выполнила быстро и точно. Затем другое, третье. Когда приблизился очередной праздник, я не без удивления для себя мог констатировать, что Марфа имеет ничуть не меньшее право на «наградные», чем Владимир, и уж заведомо больше заслуживает их, чем Фрол.

Шокировало только шумное поведение Марфы. Устраиваемые ею перебранки с другими служителями и со столяром как-то не гармонировали с еще державшимся университетским декорумом. Но эти перебранки были еще туда-сюда. — Марфа безобразно кричала и на студентов. Не на нас, постоянно работавших в Музее — с нами она была вполне вежлива, — а на приходивших на лекции или на практические занятия и толпившихся в коридорах и перед аудиториями рядовых студентов, большую частью поступивших на наш факультет из-за недостатка мест на медицинском, живущих надеждой как-нибудь перейти туда и потому называвшихся у нас криптомедиками. Их было очень много и почти исключительно девиц. И действительно, галдели они иногда невыносимо. А бывало еще, что две-три криптомедики притаскивали с собой из анатомического театра руку или ногу трупа и устраивались где-нибудь в укромном уголке препарировать мышцы, нервы или сосуды. С ними Марфа и воевала. Она не пускала их в коридор, пока не освобождалась комната для практических занятий, на которые они пришли, и утихомиривала, когда они шумели перед аудиториями, в которых шли лекции. В сущности, она была права. Но форма!.. — «Девки, девки! Да куды же вы поперли!» или: «Девки, да что вам тут, толкучка что ли?» Я раз или два пытался ей объяснить, что так со студентами все же разговаривать не годится. Но Марфа уверяла, что с ними иначе нельзя. И должен сказать, что «девки», по-видимому, не очень обижались на Марфу, не вступали с ней в пререкания, а уходили, откуда она их гнала, или прекращали галдеж и никогда не обращались с жалобами на ее грубость.

Со временем стало даже как-то странно, как можно было подозревать Марфу в чем-то неблагоприятном и как могло казаться, что она не гармонирует с Музеем. Она стала необходимой частью музейского ландшафта. Если прежде ее громкие перепапки с тем и с другим из служителей или со студентами казались диссонировавшими со строгостью храма науки, то потом всем (во всяком случае, мне) они стали привычными, и без них Музей был не Музей. Про себя могу сказать, что мне без Марфы положительно чего-то не хватало. Первая улыбающаяся мне физиономия, встречаемая утром, была Марфина. Всякие новости, хорошие или дурные (но никогда не сплетни), сообщала мне также она. — «Борис Сергеич, в сравнительной (Институт сравнительной анатомии) ночью опять акварь протек. Всю практику (комнату практических занятий у нас в нижнем коридоре) затопило». Или: «А беглая колхозница (старушка-украинка, бежавшая от коллективизации и от голода и приютившаяся без всяких прав за вешалками в вестибюле Музея) у нас так и живет. Помогает прибираться. Если не выгонят, может, до весны и проживет».

Григ. Ал. при появлении Марфы в Музее был оскорблен ее неакадемическим видом и поведением, пожалуй, не меньше Беккера. Только он, по старой манере обращаться с низшим персоналом, с ней не церемонился. Распекал ее за всякие упущения и громко на нее кричал. Однако она довольно скоро начала вступать с ним в пререкания. Утром, например, слышатся многократные взывания Г. А.: «Марфа! Марфа!» Потом:

«Марфа, это черт знает что такое! Полчаса тебя зову. Куда ты задевалась?»

«Как куда? Тут я и есть. Небось не брошу заметить середь лестницы».

Подобные диалоги, обычные по утрам, так вошли в повседневный распорядок, что стало казаться, будто без них музейский день не имел бы нормального течения. А главное, оказалось, что Марфы как раз и не хватало для составления пары Г. А. Чем был бы Пат без Паташона или Дон Кихот без Санчо Пансы? Как Г. А. ни распекал Марфу и как она ни огрызалась, в их взаимоотношениях никогда не было ничего неприязненного. Марфа не только подметала полы в Музее, но научилась делать все, что полагалось делать служителю. Я уже писал, что она принимала участие в оснащении лекций демонстрационными материалами и каким-то непонятным мне способом наводрилась различать подразделения животного царства.

Что же до меня, то чем дольше длилось мое знакомство с Марфой, тем более необходимой она мне становилась. Я был убежден, что убирать у меня в комнате и на столе не может никто, кроме нее. Долгий опыт показал, что полагаться на нее я мог полностью во всем. Без боязни разглашения тайны я мог сказать ей: «Марфуша, в шкафу опять много бутылок. Нужно бы...» И я знал, что бутылки из-под всяких напитков будут без шума вынесены и определены куда следует. Что там бутылки! — Марфа была в курсе моих знакомств по дамской линии. И я не раз просил ее, на случай телефонных звонков с этой стороны, сообщать, глядя по обсто-

ятельствам, истинные или ложные сведения о моем местопребывании или распорядке дня.

Несоответствие габитуса Марфы старому стандарту университетского лабораторного служителя было для нас явным признаком, что она — красная. Она была воспринята как первая ласточка в кампании подрыва священных устоев. И мы ждали, когда она начнет свою подрывную деятельность. Но прошла неделя, месяц, год, а Марфа не приступала к формированию у нас штурмовых отрядов. Не навещали ее никакие таинственные личности. Не поступало от нее жалоб и доносов на нас в университетские общественные организации. Из ее очень громких и откровенных высказываний во время ругани со своими коллегами никак не вытекало, что ее идеологический и политический уровень находится на должной высоте. Скорее наоборот. А когда начались первые посадки, ссылки, вредительские процессы и коллективизация, то политическая ориентация Марфы выявилась достаточно ясно. И она оказалась совсем не той, какая от нее в свое время ожидалась.

Времена сильно ухудшались с каждым годом. Когда они стали уже вполне серьезно мерзки (кажется, что-то в конце 1934 года), Марфа, сильно взволнованная и бледная, пришла ко мне и сообщила, что ее увольняют. Пообещав ей заступиться за нее перед начальством, я сказал ей, что она сама немало виновата в навалившейся на нее беде. Нужно сдерживать свой язык, не ругаться со всеми, не возбуждать народ против себя. Она выслушала мои упреки и сказала: «Ох, нет, Борис Сергеевич. Это — политическое» (она выговорила «политическое»). Хотя это и звучало немного комично, я почувствовал, что Марфа права. И мне стало очень тоскливо.

Я пошел к деканше. Она меня немного успокоила, сказав, что Марфу не увольняют, а переводят на такую же должность в Географический институт. При этом многозначительно добавила:

«Вы знаете, иногда бывает нехорошо, когда человек слишком долго засиживается на одном месте. Понимаете, что может быть полезным перевести его на другое».

Я все понял. Дело, действительно, было «политическое». Марфу нужно было убрать из Музея, чтобы водворить на ее место лицо, сведущее не столько в уборке лабораторий, сколько в сборе и передаче информации об их сотрудниках. В частности, обо мне.

После весны 1935 года я появился в первый раз в Москве (незаконно) в 1947. В одно из посещений Зоологического музея я стоял в вестибюле и с кем-то разговаривал. Кругом было оченьлюдно и шумно. Студенты расходились с лекций и шли на них. Галдели какие-то школьные экскурсии. Вдруг я слышу возглас: «Борис Сергеевич!» — Ко мне сквозь давку протискивалась напролом Марфуша! Она заметно постарела, но я узнал ее сразу. Она услышала от кого-то, что я приехал в Москву. Пришла в Музей, чтобы узнать, где меня можно встретить. И вот, прямо на меня и натолкнулась. Не помню, с кем я тогда стоял в вестибюле. Кто бы он ни был, разговор с

Марфой был для меня важнее. Не каждый из моих старых друзей проявил такую радость при встрече после этой разлуки. После этого случая я еще два раза встречал Марфу в университете, пока он стоял на старом месте. Мы не беседовали с ней подолгу. Но удивительно, как и почему возникает взаимное понимание между совсем ни в чем не сходными людьми.

Н. Д. Леонов

Не знаю, со всеми ли так бывает, но про себя я могу сказать, что из встреченных мною в жизни людей наибольшее для меня значение имели не самые выдающиеся из них. От таких остались яркие воспоминания, восхищение их талантом. Но для себя я от них получил меньше, чем от некоторых менее заметно и громко прошедших по жизни. Вероятно, это закономерно. Люди большого и определенно выраженного таланта бывают целиком поглощены своей деятельностью. Все остальное существует для них лишь в той мере, в какой оно этой деятельности содействует или мешает. Также и всякий собеседник их интересует не сам по себе, а лишь, если употребить современную терминологию, как источник нужной им информации. Сильно утрируя, можно сказать, что для таких людей нет глубокого различия между человеком и вещью, хотя, конечно, многие из них способны проявлять к отдельным людям настоящую привязанность.

Я встречал в жизни очень одаренных людей и с некоторыми из них дружил. Но если я от них что-либо и получил, то немногим больше того, что заключалось в их произведениях (художественных или научных). Этого, конечно, не мало. Но это можно было бы получить и без непосредственного общения с ними. А следовательно, если бы я их не встретил, то моя жизнь сложилась бы приблизительно так же, как она складывалась с их личным участием.

Но есть несколько человек, общение с которыми так явно сказалось на мне, что я — справедливо это или нет — думаю, что, не встретив я их, я был бы во многом другой.

Один из таких людей — Николай Дмитриевич Леонов. Происходил он из Воронежа, где его отец был земским врачом. Незадолго до войны он поступил в Московский университет. Кажется, не окончил его. Специализировался по физиологии растений у Ф. Н. Крашенинникова. Но интересовался далеко не этим одним предметом, а разными разделами ботаники, зоологии, но также химии, физики, математики, геологии, палеонтологии, географии, истории, философии, лингвистики и всеми областями искусства, кроме музыки, которую не воспринимал. Проявлял большой интерес к политике, хотя активного участия в ней не принимал.

Организации Ташкентского (ныне Среднеазиатского) университета сильно способствовали разруха и голод первых лет революции, царившие в Москве. Спасаясь от них, многие университетские работники перекочевали в благополучный и сытый Ташкент. Вероятно, по этой причине, демобилизовавшись (а может быть, и дезертировавши) из армии, уехал туда и Леонов. Там он поступил ассистентом на кафедру физиологии растений, которую возглавлял также москвич А. В. Благовещенский.

До нэпа железные дороги работали крайне плохо. Любое путешествие по ним было трудным предприятием. Поэтому никто по своим личным делам без самой крайней необходимости никуда не ездил. А борьба с трудностями жизни — голодом, холодом и эпидемиями — поглощала всех настолько, что люди не поддерживали связей ни с кем, кроме ближайших родственников. Обосновавшись в Ташкенте, Леонов тем самым пропал без вести для своих московских товарищей.

Несмотря на уже довольно длительное существование Среднеазиатской железной дороги, до революции Средняя Азия или, как ее тогда называли, Туркестан был для жителя средней полосы России страной вполне экзотической. Поездка туда представлялась любопытной каждому. Особенно же интересен Туркестан был для натуралистов. В музеях хранились коллекции животных и гербарии, собранные Пржевальским, Федченко, Семеновым-Тянь-Шанским, Грумом-Гржимайло и другими, как их тогда называли, путешественниками. Их сборы представляли совершенно особый растительный и животный мир и возбуждали у всякого зоолога или ботаника-систематика желание посмотреть всю эту экзотику в натуре и, конечно, найти новые виды этой лишь предварительно обследованной флоры и фауны. К тому же, мир за пределами нашей страны после революции был закрыт для нас полностью. Никто не мог мечтать о путешествии в тропики и вообще на другие континенты. Поездка в Туркестан была пределом наших мечтаний. И нам не терпелось поехать туда. Уже в конце 1920 года наша энтомологическая компания, возглавляемая Е. С. Смирновым, начала проектировать путешествие в Туркестан.

Практическое осуществление какого-либо предприятия в те годы, как, впрочем, и теперь, было трудным. Но принципиально тогда не было ничего невозможного. Добиваться чего угодно мог каждый. Авторитеты тогда особенно не ценились. Даже, пожалуй, наоборот. Любой мальчишка мог явиться с самым смелым проектом в соответствующий наркомат, и там его предложение рассматривалось вполне серьезно. Успешное продвижение его больше всего зависело от настойчивости автора. На осуществление самых безумных затей в голодной и разоренной стране каким-то чудом находились средства. Организаторам их выдавались мандаты на получение всего необходимого со всяких складов и из всяких фондов. Прежде же всего улаживался вопрос о продовольственных пайках для участников нового предприятия.

Хорошо зная такое положение, мы особенно не ломали голову над тем, откуда и как добыть средства на нашу «Первую туркестанскую экспедицию Зоологического

музея Московского государственного университета». Гораздо более серьезной задачей нам представлялась разработка маршрута и планов работы, а также решение вопроса о средствах транспорта на месте. На основе ознакомления с довольно мелко-масштабной картой «Российских среднеазиатских владений» относительно скоро мы пришли к соглашению, что наибольший интерес для нас представило бы южное Семиречье (теперешний киргизский Тянь-Шань). Маршрут также был выбран без особо длительных пререканий. Карта была довольно старая. Линии железных дорог на ней были нанесены не все существовавшие к данному моменту. Населенные пункты обозначены немногие и не всегда наиболее важные. Поэтому, не будучи несколько знакомы с выбранным районом путешествия, мы вполне могли считать его почти не населенным, что, конечно, сообщало ему особую привлекательность. Нам было ясно, что передвигаться по нему можно было исключительно верхом (тоже прекрасно!), а багаж везти только на верблюдах. С 1920 года я забыл множество всяких важных событий и фактов. Но маршрут «1-ой туркестанской» помню очень твердо. — Вот он: Аулие-Ата (ныне Джамбул) — Пишпек (ныне Фрунзе) — Токмак — Кок-муинак (такое обозначение было на карте где-то на запад или на юго-запад от Иссык-куля, но относилось оно, вероятно, к какому-то аулу или урочищу, а не к сколько-нибудь крупному селению) — укрепление Нарынское (ныне Нарын). Звучание этих названий приводило нас в восторг.

Наше путешествие не состоялось по совершенно пустяковой причине. — Мы не смогли договориться относительно потребного количества верблюдов. Дебаты по этому вопросу были очень страстны. В ходе их участники экспедиции допускали взаимные колкости. Кретинизм или скверный характер некоторых из них стали столь очевидными для некоторых других, что дальнейшее совместное обсуждение проекта сделалось невозможным. И он был оставлен.

Но сама идея поездки в Среднюю Азию осталась. Уже через полтора года после бурных споров о плане грандиозной экспедиции стало возможным просто купить билет до Ташкента и добраться до него по железной дороге без всяких наркоматских мандатов. Это снизило романтику предприятия, но сильно увеличило его доступность. И вот в начале лета 1922 г. Е. С. Смирнов и Б. Б. Родендорф отправились в Ташкент. Там они нашли приют на Туркестанской энтомологической станции. Директор этой станции, В. И. Плотников, принял их очень радушно и помог им совершить поездку в Самарканд и в Закаспий (Туркмению). Они вернулись осенью в Москву, привезя с собой собранных насекомых, а главное — заручившись приглашением на будущий год. И не только для себя, но еще для 4—5 энтомологов, согласных работать в саранчевых экспедициях или собирать материалы для энтомологической станции. Рассказам об удивительных краях не было конца. И очень много Е. С. и Б. Б. рассказывали о встреченном ими в Ташкенте Леонове, которого Е. С. знал раньше по Московскому университету.

На следующий год в начале апреля в Ташкент отправилась уже большая компания, в которую вошел и я. Плотников предложил мне поехать для сбора интересовавших его саранчевых в Семиречье — в Верный (ныне Алмата), Пржевальск, Нарын, т. е. даже больше, чем намечалось когда-то нашим лопнувшим проектом. Только, конечно, без верблюдов. До отъезда в Семиречье я почти целый месяц провел в Ташкенте. Тогда и познакомился с Н. Д. Леоновым. Его в первый же день привел на Станцию, где мы все расположились, Е. С. Смирнов.

Н. Д. был среднего роста и сухощавый. Его лицо было правильно и даже красиво. Особенно был хорош его высокий лоб. Н. Д. был темный шатен, носил усы и бороду, которые не подстригал, а крупно выющиеся волосы никак не причесывал и стриг тоже редко. Руки его были небольшие, узкие, с тонкими пальцами. Одет он был... Но, пожалуй, правильней всего было бы сказать, что он никак не был одет. То, что на нем было, как-то его покрывало и защищало от непогоды, но это никак нельзя было назвать костюмом. Носил он какую-то блузу вроде толстовки, а иногда рубашку с сильно помятым и торчащим углами вверх воротом, порой перевязанным каким-то подобием галстука. Сверх рубашки надевал совершенно обвислый и помятый пиджак. Штаны были лишены всякой формы, иногда чрезмерно короткие, а иногда слишком длинные. На ногах — огромные, всегда больше нормального его размера, башмаки на босую ногу. На голове — бесформенная кепка, а иногда только собственная прекрасная шевелюра. Вся эта одежда была мягкая и грязная. Лицо, руки и, увы, ноги также свидетельствовали об отсутствии у Н. Д. особой любви к воде и мылу. Несмотря на все это неряшество, я находил внешность Н. Д. очень приятной. Мне хотелось только, чтобы его голос был несколько более низким.

Как я сказал, Н. Д. состоял ассистентом университетской кафедры физиологии растений. Свою официальную специальность он любил и служебные свои обязанности так или иначе выполнял. Но нельзя сказать, чтобы он был очень ими поглощен. Н. Д. был чрезвычайно деятелен. Но его деятельность никогда не заключалась в упорном достижении какой-либо определенной цели. Он занимался всегда тем, что ему в данный момент было интересно. А это нередко не имело никакого отношения ни к его специальности, ни к службе. Нужна была большая доброжелательность начальства и коллег Н. Д., чтобы мириться с этим. Но он не был плохим товарищем. Если это требовалось, он охотно вел занятия со студентами вместо других ассистентов Благовещенского и очень много возился со студентами-специалистами, оказывая им огромную помощь своими энциклопедическими познаниями в своей и смежных научных областях.

Каковы же были эти познания? — Прежде всего, они отличались крайней простотой. Н. Д. был по природе гурман. Он не знал ни одного предмета систематично и в полном объеме. Но всегда выбирал в каждом из них какую-то небольшую, особенно чем-то привлекающую его область. И ее он осваивал досконально. А во время освое-

ния уходил в свое занятие целиком, просиживая за ним дни и ночи. Впрочем, скорее именно ночи, так как дни, а особенно вечера уходили у Н. Д. на встречи и разговоры с самыми разнообразными людьми.

Имея специальностью физиологию растений, Н. Д. кроме самого этого предмета знал, конечно, очень прилично химию и был достаточно осведомлен в физике. Математикой интересовался, но не знаю, насколько хорошо был с ней знаком. В зоологии был вполне осведомлен, как всякий биолог того времени, так как прошел обязательный тогда для всех естественников большой ее курс, но имел специальный интерес к орнитологии и птиц знал много лучше, чем я. Очень много читал по палеонтологии и некоторые группы ископаемых млекопитающих и рептилий изучал специально. Очень интересовался географией, но в старом понимании этого предмета, т. е. с включением в него также антропологии и этнографии, и хорошо знал историю путешествий и географических открытий. Специальный же интерес имел к истории горных восхождений и помнил, кто, когда и по какому камину влез на какую знаменитую вершину. Знал и технику альпинизма. При очень посредственных своих физических данных сам принимал участие в нескольких горных экспедициях Корженевского, с которым дружил. Другим, но вполне платоническим спортивным увлечением Н. Д. было плаванье. И здесь он также мог со всеми подробностями изложить все случаи переплытия Ламанша. Был хорошо осведомлен в истории авиации, любил летать на самолетах и интересовался ими. Занимали его также парусные суда и их такелаж, история старых и новых морских сражений, состав военных флотов разных стран и т. п. Великолепно знал Н. Д. историю колонизации Туркестана, а также новейшую историю стран Среднего Востока, особенно Афганистана и северных княжеств Индии. Вообще современной историей и политикой Н. Д. интересовался чрезвычайно, как нашей, так и иностранной. Он помнил имена чуть не всех депутатов Государственной думы всех созывов и других наших деятелей предреволюционного периода, всех премьеров и главнейших министров английского и французского кабинетов. Следил за современными политическими событиями. Но, как я уже сказал, сам никогда политической деятельностью не занимался.

Леонову легко давалось изучение языков. В совершенстве кроме русского он не знал ни одного и ни на одном иностранном языке не говорил. Но читал свободно на многих и на некоторых мог сносно писать. Лучше других, пожалуй, он знал английский и французский, но вполне прилично также испанский, итальянский, не очень хорошо немецкий, а кроме того знал латинский, фарси, немного греческий, мог читать по-португальски, изучал шведский, но не знаю, освоил ли его, был знаком с разными славянскими языками, с санскритом и бенгальским, интересовался цыганским языком. Интересовался лингвистикой вообще. Но и здесь он следовал своему принципу гурманства. — Изучал только то, что ему по каким-то причинам нравилось, было чем-то близко. Так, его явно мало привлекало все немецкое и поэтому он и язык этот

знал хуже других главнейших, и литературой немецкой никогда не увлекался. Живя в Средней Азии, он почти совсем не знал тамошних тюркских языков. Кажется, даже и объясниться по-узбекски не мог. А таджикский любил и знал. Вообще некоторые народы были ему особенно интересны и симпатичны. Из европейских его специально интересовали потомки кельтов: ирландцы, бретонцы, валлийцы, баски, албанцы. Привлекала его Испания и все испанское.

Однако при изучении языков у Н. Д., как и у меня, главный интерес был не лингвистический, а литературный. Литературу он знал и любил, пожалуй, больше всего. И она же была главным стержнем моего общения с ним.

Мне самому не ясно мое отношение к литературе. Сочинительство, стихотворное и прозаическое, которым я в какой-то мере занимался и занимаюсь до сих пор, — это еще не литературная деятельность. В то же время литература больше всего другого (кроме, разве, музыки) наполняла мою жизнь с самого детства. В школьные годы (в старших классах) мне было с кем говорить о ней. Наши учителя словесности по-настоящему любили свой предмет, прекрасно его преподавали и учили нас не только на уроках, но и при постоянном общении вне класса. Были у меня собеседники на литературные темы и среди школьных товарищей. Но в университете меня окружали люди совсем других интересов. Верно, я познакомился с некоторыми молодыми людьми, сочинявшими стихи или специализировавшимися по литературе. Но первые были крайне бездарны, и ни из одного из них ничего не получилось, а вторые подходили к литературе с самой, на мой взгляд, неинтересной стороны — литературоведческой. Те и другие делали попытки ввести меня в литературные «салоны». В них царили профессора-литературоведы, а гвоздями вечеров были хотя и известные по именам писатели, но такие, что мне и в голову не могло бы прийти читать их произведения. Я в те годы еще не знал, что между настоящей литературой и тем, что служит для заполнения книжного рынка, существует качественное различие. Думал, что между тем и этим имеются незаметные переходы и что средних способностей автор в каких-то своих вещах может подняться до подлинных высот искусства. Слушая в серых собраниях серые стихи и прозу, я думал, что здесь же может выступить и кто-нибудь талантливый. Только много спустя я понял, каким счастьем для меня было, что я не закрепился в этих достаточно респектабельных и вполне тусклых кругах.

Я имею все основания считать, что Судьба неоднократно проявляла ко мне признаки своего особого благоволения. Одним из них было ее решительное вмешательство в мое вступление на литературное поприще. Это было действительно providenciально, и я расскажу об этом.

Прескверные стихи, которые я сочинял в студенческие годы, все же нравились некоторым из моих знакомых, толкшихся около литературы. Они считали, что я должен выходить с ними в широкий свет. И они-то и втащили меня в «салон», возглавлявшийся неким профессором Фатовым. У Фатова собирались по воскресеньям.

Он располагал великолепной квартирой на Большой Никитской в доме особнячного типа повыше Никитских ворот. В одно из воскресений я туда и отправился. Пришел не к началу. Огромный кабинет (или гостиная) был переполнен почти сплошь незнакомыми мне людьми. Приятель, оказавший мне протекцию (ведь воскресники Фатова не раз служили молодым авторам преддверием литературного поприща), подошел ко мне и сообщил, что сейчас читает свой новый рассказ знаменитый Новиков-Прибой, за ним выступит со стихами тоже уже известный поэт Морской, а после этого меня представят хозяину и, возможно, я буду дебютировать. Я сел на какой-то свободный стул и стал слушать. Всю жизнь для меня были мукой всякие публичные выступления. Нужно думать, что я совершенно лишен дара нравиться самому себе, составляющего необходимое условие всяческого эксгибиционизма. Но мучительней самого выступления для меня его ожидание. Прибой читал. Я слушал с тоской. Этого писателя я видел не на портрете в первый раз. Очень уж он был ничтожен по внешности. — Коротышка, с круглым лицом, пригодным для дворника, крючника, полотера, но никак не для человека интеллигентной профессии. Содержание рассказа было, конечно, какое надо, — жизнеутверждающее, бодрое. Но тоска была не от одного рассказа и его автора, а от всей атмосферы всеобщей посредственности, от важности хозяина, раскинувшегося в кресле, от умильного выражения лиц слушателей, а больше всего — от томительного ожидания. А ведь передо мной еще Морской. — Стихи у него тоже морские. Сам он то ли в морском кителе, то ли в черной гимнастерке — не помню сейчас, — с нарочито каменным лицом молодого морского волка сидел в ряду слушателей и перебирал какие-то листки. Я остро почувствовал, что в этом кабинете, среди этих людей мне совсем не место, что все мне здесь чужие, что все, что для меня белое, для всех здесь собравшихся — черное, все, что мне мерзко, — им прекрасно. Но уж, решившись прийти сюда, я считал, что должен испить свою чашу. Было стыдно перед приятелями, рекомендовавшими меня. А кроме того — кто знает, — может быть, так и в самом деле нужно?

Спасение пришло с совсем неожиданной стороны. Уже чувствовалось, что рассказ Прибоя подходит к концу. Уже Морской сложил свои листочки. И вдруг я почувствовал, что у меня болит живот. Боль появилась сразу сильная и требовала немедленного облегчения. Пробовал перетерпеть. Она не проходила. Стараясь производить как можно меньше шума, я вышел из кабинета и в слабо освещенной прихожей и ведшем из нее коридоре стал искать клозет. Вероятно, он был в другом конце квартиры или, быть может, я не осмелился открыть нужную дверь, думая, что она ведет в какую-нибудь жилую комнату. Ничего не оставалось делать, кроме как одеться и бежать. Но куда? — Только к себе в Музей. Больше было некуда. Мучимый дикой болью, я побежал вниз по Никитской. Даже и не помню, как я добрался до черного входа в Музей, отпер его и, не снимая пальто, бросился в тамошнее заветное заведение. Облегчение пришло немедленно. Но дрожь от перенесенного

мучения не проходила еще долго. Странно, что этот приступ не оказался началом дальнейшего расстройства живота. Ничего больше не было ни в этот вечер, ни на следующий день.

Сожаления по поводу этого несчастного случая я не испытывал. Знакомых, которых я подвел своим внезапным исчезновением, я каким-то странным образом больше никогда не встречал. Но провиденциальное значение произошедшего я постиг только значительно позднее. Неужели же могло случиться, что, не заботи у меня живот, я прочитал бы свои стихи, выслушал авторитетные замечания по их поводу, устранил имевшиеся в них «недостатки», что-нибудь опубликовал бы, а дальше, ступивши на этот скользкий путь, стал бы постоянно писать и печатать всякую дрянь, принаровляя ее к требованиям нашей официальной литературы? Но бесполезно рассуждать о том, что было бы, если было бы.

Н. Д. любил литературу. Знал он ее, как и все остальное, опять-таки по-гурмански. Одних авторов — прекрасно, других совсем мало. Но и самых своих любимых знал не полно, а выхватывал и у них только наиболее ему полюбившееся. И в этом выхватывании, в умении находить у самых разных поэтов действительно самые замечательные их стихи он был несравненным мастером. Однако вкус у него был не безукоризненный. Но в сторону только переоценки стихов, а никогда не недооценки. Лучшее свидетельство этому то, что он вполне принимал мое поэтическое творчество, которое в то время было просто ужасно скверно.

Узнавание новых прекрасных вещей дает самое большое наслаждение, если, конечно, не считать радости собственного творчества, какое бы оно ни было. Для меня каждое новое приобретение было таким праздником, что он крепко запомнился. Я теперь, конечно, забыл, в каком году я впервые прочитал то или другое дорогое мне стихотворение, роман, рассказ, услышал музыкальную вещь или увидел картину. Но хорошо припоминаю обстоятельства и весь ход своего романа с этим произведением. Помню не дату, а обстановку, свое состояние. И если это приобретение было сделано не мной самим, то я хорошо помню, кому я им обязан. Среди множества людей, встреченных мною в жизни, некоторые живут в моей памяти только потому, что они меня познакомили с каким-то неизвестным мне до того автором, впервые сообщили прекрасные стихи, сыграли или заставили прослушать музыкальную пьесу. Некоторые из этих людей были вовсе уж не так хороши или были заведомо дурные. Но за сделанный ими мне подарок я сохранил благодарность им навсегда.

А больше Н. Д. Леонова таких подарков мне, пожалуй, не сделал никто. Очень может быть, что я и сам нашел бы стихи Киплинга, но впервые я узнал их от Н. Д. Он же открыл для меня Рембо и Эредиа. Я тогда еще не знал Вийона, Шенье, Бодлера и Верлена. Пережив мучительную любовь к ним, я перестал так восхищаться великолепной бронзой Эредиа. Но в те годы она меня потрясала. Да и теперь я все же люблю

эти стихи. Н. Д. перевел некоторые из них, и эти переводы я приведу в конце воспоминаний о нем. Одной из высочайших вершин поэзии я считаю стихотворение Унамуну «En pie de tus sillares, Salamanca»*. Его на редкость прекрасно перевел Бенедикт Лившиц. Но узнал я его впервые и в оригинале от Н. Д. И от него я узнал чудесный перевод И. Анненского из Сюлли-Прюдодом:

*Прозрачна ночь. Своим доспехом медным...***

К сожалению, я не мог найти его оригинала. Прюдом написал множество всякой всячины. Я покупал какие только находил его сочинения, но ни в одном сборнике не нашел этого стихотворения. Н. Д. сообщил мне неожиданно прекрасное стихотворение Радищева, написанное малой Сапфиной строфой:

*Ночь была прохладная. Светло в небе
Звезды блещут. Тихо источник льется...*

Стихи Мандельштамова «Камня» я знал почти со времени появления этого сборника. Но тогда еще не мог оценить их, а позднее почему-то к Мандельштаму не возвращался. И вот году в 1926 или 1927 в одном из своих писем Н. Д. прислал мне несколько стихотворений из «Тристий». Среди них были «Соломинка», «Когда Психея-жизнь спускается к теням» и еще одно или два. Они потрясли меня. Довольно скоро после этого Н. Д. достал и подарил мне весь этот сборник. Я не могу сказать, что я полюбил Мандельштама или что увлекся им. — Я им тяжело заболел. От «Тристий» вернулся к «Камню» и удивлялся, как же я мог пройти мимо него. Уже в нем Мандельштам был Мандельштамом. Я не сомневаюсь, что рано или поздно я открыл бы Мандельштама сам. Не могло быть иначе. Но это могло бы случиться и много позднее. И тогда наша случайная встреча с ним в 1930 году в Эривани протекла бы совсем по-другому и, возможно, не закончилась бы дружбой, связавшей нас на последующее время. Но сейчас я говорю не об этом. — Когда я думаю о Мандельштаме, я не могу не вспомнить, что все, что у меня с ним связано, началось с письма Н. Д.

Леонов приносил мне иногда репродукции картин, рисунки. Мы ходили с ним в Щукинскую галерею и в Музей изящных искусств. Там и здесь он обращал мое внимание на некоторые картины и скульптуры, мимо которых я прежде проходил равнодушно.

Но Н. Д. не только открывал для меня новые вещи. — Он был моим собеседником. Собеседники нужны каждому. Но особенно в них нуждаются, вероятно, те, кто не любит выступать публично. Для таких беседа с кем-то резонирующим (в смысле резонанса, а не резонерства) — единственный способ проверки себя, и при встрече с

* Возможно, речь идет о стихотворении М. Унамуну «Саламанка», 6-я строфа которого начинается строкой: «Al pie de tus sillares, Salamanca...» (У подножия твоих камней, Саламанка). Перевод Б. Лившица не обнаружен.

** Перевод стихотворения Сюлли-Прюдодом «Идеал» из цикла «Стансы». Б. С. Кузин цитирует не совсем точно; у И. Анненского: «Прозрачна высь. Своим доспехом медным...»

ним происходит то, что я для себя называл сверкой хронометров. С Н. Д. я мог разговаривать обо всем, что для меня было важно. Начиная с науки и кончая персоналиями. Не говорил я с ним только о музыке, которую он, к огромному моему сожалению, не понимал.

Если среди моих друзей и были немногие, с которыми можно было разговаривать о стихах, то только о русских. Но, влекомый жадностью, я уже тогда переступил границы отечественной поэзии, собирал ее цветы на чужих полях и сильно страдал от невозможности делиться своими наслаждениями с теми, кто был около меня постоянно. Встречи с Н. Д. заполняли эту остро мною ощущавшуюся пустоту. При этом он не был пассивным слушателем. Я всегда находил у него ожидаемый отклик, а сверх того, в связи с тем, о чем говорил я, он сам припоминал чудные стихи из разных литератур, возбуждая во мне зависть к своим лингвистическим способностям и желание изучить хоть некоторые из известных ему языков. Позднее я это желание в небольшой части удовлетворил. И навсегда запомнил первые стихи на этих языках, сообщенные мне Леоновым.

Как это почти всегда бывает с людьми, любящими литературу, Н. Д. сочинял и сам. Некоторые из его стихотворений (их, вероятно, вообще было немного) у меня сохранились, и я приведу их. В них всегда чувствуется навеянность чьим-то чужим творчеством и уже по одному этому они могут представлять ценность только для ближайших друзей автора. Как я скажу более подробно позднее, Н. Д. был человеком гораздо более воспринимающим, чем творческим. Поэтому, вероятно, он мало и писал своего, но по той же причине любил переводить стихи с чужих языков.

Желание перевести прекрасное стихотворение на свой язык очень понятно. В основе его лежит с одной стороны благодарность к автору, доставившему тебе наслаждение, а с другой — стремление поделиться своей радостью с теми, кто не может прочитать стихи в оригинале. Но удастся это, по-видимому, очень немногим и крайне редко. Действительно прекрасных, и притом точных, переводов я знаю всего несколько. При этом чем выше оригинал, тем меньше можно ожидать, что он будет сколько-нибудь равноценно переведен. «Горные вершины» Лермонтова — прекрасное стихотворение. Но тональность его близка к колыбельной. Покой, о котором в нем говорится, совсем не тот, каким веет от стихов Гете. Пушкинский перевод «Трех Будрысов» безукоризнен. Он ничем не слабей оригинала. Но сам оригинал по силе не сравним с потрясающим началом «Пана Тадеуша». Задача Пушкина была неизмеримо трудней, когда он переводил такое «вершинное» стихотворение, как Катуллово «Minister vetuli, puer, Falerni»*. Само по себе стихотворение Пушкина прекрасно, но его Постумия, охарактеризованная только как «председательница оргий», это не катулловская *magistra ebriosae acinae ebriosior*** , а отсюда вся окраска стихотворения

* Пьяной горечью Фалерна / Чашу мне наполни, мальчик... (лат.) (пер. А. С. Пушкина).

** начальница, что пьянее пьяной виноградной ягоды (лат.).

другая. Желание полностью передать его дух когда-то толкнуло и меня перевести его. Я сохранил размер подлинника и эпитет Постумии. В нем игру сочетаний *brios — brios — iogis* попытался заменить соответственно пьяным эквивалентом *пья — я — пья*. Получилось гораздо точнее, чем у Пушкина. Но Катулл вышел примерно такой же, как Гораций в переводах Семенова-Тян-Шанского, т. е. очень похожий, но совсем не такой. Разница между мной и Пушкиным заключалась в том, что его стихотворение может жить самостоятельно и иметь полную поэтическую силу для читателя, и слыхом не слыхавшего ни о каком Катулле, а мое — подстрочник и без сравнения с оригиналом интереса не имеет. Всегда побуждением к переводу у меня был восторг от прочитанных стихов, пребывание под их очарованием. Так я переводил еще некоторые стихи Катулла, Горация, Гете, Шторма, Ницше, Рильке, Бодлера, Верлена, Тувима. Переводил с трудом и с мучением, работа захватывала и каждая находка радовала. Но конец был неизменно один. — Разочарование. Перед глазами стояли две вещи: сияющий оригинал и тусклое его подобие. После каждого перевода я давал себе зарок никогда больше за это дело не браться. И не мог не поддаться новому искушению.

Тувим («*Czterowiersz na warsztacie*»*) подробно описал каждый шаг своей работы над переводом на польский первого четверостишия пушкинского «Лукоморья». Нужно думать, он знал настоящую цену этих колдовских стихов, таких, с которыми человек в детстве пробуждается для поэзии, которые носит в себе всю жизнь и с которыми, если только может еще шевелить губами, помирает. Он хочет осчастливить поляков, подаривши им пушкинские стихи. Нет ничего драматичнее повествования Тувима. — Цель ускользала у него из рук. Пушкинские краски одна за другой блекли. — Нет, никак ничем не заменишь *лукоморья*. Значение этого слова передается в переводе более или менее близко по смыслу, но в новом стихотворении на месте алмаза — обыкновенный кирпич. Никак не всовывается в польский стих *дуб зеленый* и *цепь на дубе том*. Дуб заменяется явором. Кстати, явор более поэтичен, чем дуб, и переводчик робко надеется, что придание стиху большей яркости в этом месте, быть может, как-то компенсирует его потускнение в другом от замены *лукоморья*. Слова выискиваются, заменяются одно другим, всячески переставляются... Тувим так и не перевел этого четверостишия. Он приводит переводы других авторов, менее щепетильных. — Что ж, стихи как стихи. Если такими перевести всего Пушкина, то поляк с гордостью узнает, что лучший русский поэт все же слабей какого-нибудь Сырокомли или Асныка, а уж никак не сравнится ни с Мицкевичем, ни со Стаффом, ни с самим Тувимом.

В рассказе Сенкевича «*Latarnik*»**, известном в русских переводах под заглавием «На маяке», старый солдат-поляк, проскитавший всю жизнь по свету, израненный во всех войнах за свою страну и за всякие чужие и устроившийся наконец в какой-то

* «Работа над четверостишием», букв. «Четверостишие на верстаке» (польск.).

** «Смотритель маяка» (польск.).

южно-американской республике сторожем на маяке, получил в благодарность за свои взносы в организацию помощи польским эмигрантам посылку с книжками на родном языке. Он стал читать «Тадеуша», и его так взволновали приводимые в рассказе строки пролога, что он забыл зажечь фонарь на своем маяке. Вызванная этим катастрофа лишила его последнего пристанища. Тот, кто читал этот рассказ в переводе, подумает, что старик просто предался воспоминаниям о родине, и не поймет из убогого перевода стихов, что они могут и не только поляка заставить забыть все. — Нет во всей литературе более исступленного, из самой глубины идущего обожания отнятой родины и тоски по ней. Никаким переводом передать силу этих стихов нельзя. А значит, и лучший из всех рассказов Сенкевича не может быть понят при чтении не в подлиннике.

Б. Л. Пастернак в последние годы своей жизни много переводил. Он был лишен других способов заработка, и я рад, что переводы дали ему возможность жить. Но я думаю, что они ровным счетом ничего не прибавили к его фигуре великого поэта. Его переводы Шекспира и Гете много грамотнее и технически сильнее предыдущих. Но и по ним, как и по тем, нельзя составить представления о настоящих «Гамлете» и «Фаусте». И в то же время Пастернак — гениальный переводчик. Он способен проникаться сущностью чужих стихов и раскрывать ее для читателя, как бы переводя их на свой, пастернаковский, язык. Его стихотворение «Шекспир» («Извозчий двор и встающий из вод...») лучше раскрывает Шекспира, чем его же перевод «Гамлета». Настоящий гетевский Мефистофель дан Пастернаком не в переводе «Фауста», а в стихотворении «Из массы пыли за заставы...» Но такие переводы Пастернак делал не только с иностранных языков, но также и с русского (опять-таки на свой, пастернаковский). Так он «переводил» Пушкина («Тема с вариациями») и Лермонтова («Памяти Демона»). И эти переводы прекрасны.

Думаю, что стихи было бы лучше всего переводить на другие языки прозой. При этом происходило бы их обесцвечивание, передача многоцветной картины черным и белым, но не было бы искажения предметов и красок.

Однако мои рассуждения не приведут к исчезновению стихотворных переводов. Будут жить уже существующие и будут появляться новые. И они, даже принимая во внимание все, что я только что сказал, могут быть и более, и менее удачные. Я приведу в конце те стихотворные переводы Н. Д., что у меня сохранились. По-моему, большинство их вполне сносные.

Это в первую очередь относится к трем сонетам Эредиа: «Завоеватели», «Бегство кентавров» и «Пленник». Верно, автор очень строго соблюдает форму и не допускает ни малейшего отступления от канона сонета, а у Н. Д. многие рифмы неполны, а некоторые (воде — глядел) просто недопустимы для сонета. И все же он очень верно понял и передал парнасский дух поэзии Эредиа.

Очень хорош также его перевод знаменитого Горациева «Памятника». Размером подлинника его переводили, кроме Н. Д., также Брюсов и Семенов-Тянь-Шан-

ский*. Последний — наименее удачно. Переводы же Н. Д. и Брюсова очень сходны, и я не могу отдать предпочтения ни одному из них. Но у меня сейчас нет печатного брюсовского «Памятника» и нет леоновского, написанного его рукой. Сохранилась только бумажка, на которой один из них записан мною. Я не знаю, чей он. Но помню наизусть оба. Поэтому оба и приведу.

Привожу я также переводы «Полдня» Леконт де Лиля и «Buscas en Roma la Roma...»** Кеведо. Первый из этих авторов не относится к числу любимых мной. Вообще мои вкусы в литературе далеко не полно совпадали со вкусами Н. Д. В своих склонностях он обладал более широким диапазоном. Но с другой стороны, он никогда не испытывал такой одержимости особо любимыми авторами, как это было свойственно мне.

Я не знаю фарси и потому не могу судить, насколько четверостишие Хакани «Весть печали о тебе» хорошо как перевод, но само по себе оно прекрасно.

Н. Д. сочинял и пародии. Их, особенно маленьких, было много. Но у меня сохранилась только одна, написанная на стихи брюсовского «Мига». Шуточные стихи писал Н. Д. и сам, и сочиняли мы их с ним совместно, а иногда и еще с кем-нибудь, между прочим, и с О. Э. Мандельштамом. Сообщал он мне всякие смешные стишки и рассказы некоторых своих приятелей.

Я очень жалею, что у меня так мало осталось (и только в памяти) стихов Борсуцкого. Этого автора Н. Д. выдумал совместно с двумя своими братьями, старший из которых умер, кажется, во время войны или революции. Борсуцкий был священником. Немного он напоминал Козьму Пруtkова. Принадлежал к вымышленной же национальности черноруссов и писал на чернорусском языке. Для этого языка было характерно произношение некоторых «е» и «и» как «э», замена во многих случаях «а» на «о», дзеканье и тцеканье, твердое, как польского «cz», произношение «ч». Трудно изложить грамматику и фонетику чернорусского языка. Но на практике постигнуть его было просто. Я, по крайней мере, усвоил его от Н. Д. довольно быстро, разговаривал с ним на этом языке и участвовал в совместном с ним сочинении новых чернорусских стихов. Настоящие же стихи отца Иоанна Борсуцкого я приведу не в конце вместе с другими, а прямо тут же, так как они требуют некоторых пояснений. И некоторые напишу без чернорусских особенностей произношения.

Ночь в Лондоне

На часах Большого Бэна
Стукнуло полноч.
Нэ видать кругом нэ хрэна,
Ноступила ноч.

* Я не помню, как написан перевод Востокова (примеч. автора).

** Ты ищешь в Риме Рима (исп.).

В сочинениях, написанных до революции, царствующая фамилия Романовых называлась Косточкины. При этом сам Николай был Никита Иванович, императрица-мать, Мария Феодоровна, — Фекла, царица Александра — Прасковья, царевич-наследник — Фока. Скандальные истории при дворе, связанные с Распутиным и с его убийством, нашли отражение в следующем произведении.

А у Косточкены в доме
Поднялось все вверх дном.
Не поймешь в током содоме,
Гдзе Пофнуцей, гдзе Похом.

Сам Никитушка с дубиной,
Фекла старая с метлой,
Поросковья с хворосциной,
С стулом Фока молодой.

— Я да ты, да что токое, —
Кто хозяен тут у нас? —
Хлоп тут об пол все жоркое.
Ну и бура поднялась!

Порозбил он все грофины,
Чашке, румке, стоконы,
С всех торелочек сордзины
Посовал себе в штаны.

Даже Феклу избидзел:
Старой дурой обозвал,
Поросковье и похуже
Нрав свой дзикай показал.

Тут Никита вспоминает:
— Гдзе же наш сторик Щегол? (министр юстиции Щегловитов)
Стонового посылает,
Чтобы он его привел.

Тут Щегол приходзет вскоре,
С ним пьянчуга Протопоп (мин. внутр. дел Протопопов)
Прамо радосць, а не горе!
Только слышно — пробке хлоп!

— Жаль Ефимыча нет с наме — (Распутина)
Тут Никитушка сказал, —
Поглощен реки волнаме,
Не зо грош он жизнь скончал.

.....

— Ну и Косточкены тоже!
Всяк в дзеревне говорил, —
От токих избавь нас боже,
С нима жиць не стало сил.

Будучи священником, Борсуцкий, как и большинство их, недоброжелательно относился к черному духовенству. Он же, вероятно из живого интереса к путешествиям, очень почитал все относящееся к морскому делу. И именно с целью унижить архиерея он поместил его в морскую обстановку в своем написанном гекзаметром и при этом еще лишенном одного стиха сонете.

Раз негодяй архерей, неисходно шатавшийся в трюме,
Неаккуратно травил и, конечно, испачкал корабь.
К этому время надулась небесная хлябь
И, несомненно, завыл над снастями неистовый брюмер.

Обеспокоясь, владычный в опаске зарюмил.
Бодман на дудке безумно гудёт: — Марса-фалы ослабь!
Словно в битве избитый татарами отрок Ослябь,
Отче по шканцам ползет крокодила угрюмей.

Кинуть змеюку за борт! — хладнокровно кричит капитан.
Вот уж гандшпуг прицепляют матросы за рясу.
Бросились стаей акулы к архерейскому сладкому мясу.

Но неуспешно: — искусным маневром немедля, скорей
Был на борт извлечен невредимым верзила отец архерей.

У Борсуцкого были свои собственные представления о предметах высоких и низких. Они изложены в этом стихотворении.

Коммунист на прескверной бумаге
Бестолковейший пишет приказ,
Чтоб развесили красные флаги
В первомайского праздника час,
И жене говорит, чтоб к наваге
Заготовила с вечера квас.

Идиотам, естественно, чужды
Развлеченья высоких умов,
Что телесные важные нужды
Сочетают с работой мозгов
И готовят питательный ужин
Из на вид и сухих пирогов.

Астроном на заржавой «Брунсвиге» (одна из первых марок арифмометров)

Вычисляет орбиты комет,
Старший штурман на вверенном бриге
Инвентурует каждый предмет,
Я читаю серьезные книги,
Как скандалили тори и виги,
Робеспьер и безбожный Шомет,
Как из Мекки бежал Магомет,
Иль смотрю на сосуды Мальпиги*.

Я боюсь, что обрисовал свое общение с Н. Д. слишком односторонне: только на почве литературы. Оно на самом деле было более широким. Живя в разных городах, мы все же проводили вместе довольно много времени. С 1923 по 1930 год я четыре раза был в Средней Азии и каждый раз задерживался в Ташкенте по пути туда и обратно не меньше, чем на неделю, а обычно и дольше. А находясь там, почти все время проводил с Н. Д. Он же еще чаще бывал в Москве и иногда подолгу. Останавливался у меня в Музее, а когда это стало невозможно, — у своего дяди К. Н. Игумнова, известного пианиста и ректора Московской консерватории. В Ташкенте Н. Д. ввел меня в круг своих тамошних друзей, как и я его — в круг своих московских.

Отношение к городу определяется для нас больше всего тем, как мы в нем проводим время. Ташкент двадцатых годов был хорош и сам по себе. Я не говорю уже о Старом городе, полностью сохранившемся в своем первоначальном виде почти до 1925 года (по крайней мере, до этого года в нем еще был крытый базар). Но и европейская часть была хороша и своеобразна. — Одноэтажные домики из молочно-кофейного с чуть розоватым оттенком кирпича или белены, с тенистыми садами при каждом. Масса зелени на всех улицах. Весело бегущие арки. Великолепный Кауфманский сквер в центре, где мощные карагачи давали сплошную тень во все часы дня. Большая примесь узбеков в национальной одежде, которой они держались очень стойко, придавала уличной толпе даже и в Новом городе пестрый и словно бы карнавальный вид. Но всего этого было бы мало самого по себе, чтобы сделать для меня Ташкент прекраснейшим местом, о котором я и до сих пор вспоминаю, как о чем-то праздничном. Главное заключалось в том, что я всегда находился там как бы в состоянии невесомости. — Я был совсем свободен. — Все деловое, связанное с Москвой, там было для меня позади, а работа, выполнять которую я приехал, — покамест еще впереди. Здесь же я занимался только самыми приятными вещами. — Посещал всякие компании, где меня, как друга Н. Д., принимали очень хорошо и где велись веселые беседы. Кроме того, в Ташкенте жила моя тетка, сестра отца, со своими

* Мальпиги Марчелло (1628—1694) — итал. биолог и врач, один из основоположников микроскопической анатомии растений и животных. Сосуды Мальпиги — выделительные органы у большинства паукообразных, многоножек и насекомых.

тремя сыновьями, из которых младшие были примерно моего возраста. Тетя Маня очень любила моего отца и, находя во мне многие его черты, сильно меня баловала. Она находила, что особенно я унаследовал от отца манеру есть. Поэтому ей доставляло удовольствие кормить меня и поить чаем. А готовила она удивительно вкусно. Обедал у нее я почти каждый день. А после обеда, усевшись под тенистым деревом у пробежавшего через садик небольшого арки, играл с одним из двоюродных братьев в шахматы и до бесконечности отпаивался чаем. Вдвоем или втроем мы выпивали до десяти небольших керосиновых самоварчиков, какие были очень в ходу в Средней Азии, и за этим занятием пережидали, пока спадет самый тяжелый зной послеобеденного времени. После этого я отправлялся на условленное место встречи с Н. Д. и мы чаще всего шли в какую-нибудь компанию или проводили с ним время в разговорах вдвоем за бутылкой дешевого винца.

Среди знакомых Н. Д., по большей части связанных с университетом, были люди очень занятые. По профессии и по своим интересам они были крайне различны, что соответствовало, конечно, разнообразию интересов самого Н. Д. Из них я припоминаю юриста профессора М. А. Крямичева, директора Ташкентской публичной библиотеки (очень хорошей) Е. К. Бетгера, в более поздние годы — поселившегося в Ташкенте или высланного туда, уже очень старого С. А. Полякова, — богача и мецената, издателя роскошных символистических альманахов, связанного в свое время с Бальмонтом, Брюсовым и с другими символистами, с деятелями «Мира искусства». Но наиболее интересным человеком из всех, с кем я в те годы познакомился в Ташкенте, был Н. О. Гаврилов.

Я встретился с ним впервые у его тестя, профессора Крямичева. Николай Осипович был еще довольно молодой, большого роста и плотный человек, круглолицый, румяный и близорукий. Н. Д. многое мне о нем до этой встречи рассказывал, но, придя со мной к Крямичевым, не предупредил меня, что он там будет. Никто там нас не представил друг другу. Этот человек сразу мне понравился по внешности. Он хозяйничал за столом. Очень ловко разрезал большим ножом и раскладывал по тарелкам жаркое, с большой сноровкой обращался с бутылками, с аппетитом ел и исправно пил водку, что, впрочем, хорошо делали и другие члены компании. Разговор шел оживленный, остроумный и достаточно вольный. Чувствуя себя вполне свободно, и я тоже не очень держал язык за зубами. Понемногу я сообразил, кто этот человек, и подумал, что некоторые вещи я говорил при нем напрасно. В тот свой приезд я с Н. О. больше не встречался, но наше с ним знакомство не прекратилось. Мы встречались постоянно после и в Ташкенте, и в Москве.

История же его была такова. — Вскоре после утверждения в Туркестане советской власти он был прислан в Ташкент в качестве какого-то комиссара (я никогда не знал доподлинно, в чем заключалась его роль) с очень большими полномочиями. Поселился он во дворце, принадлежавшем не помню, какому именно, опальному и

сосланному в Ташкент великому князю*. Н. О. был человек очень определенный и деятельный. — Всякое дело, за которое он брался, он выполнял, а после этого сидеть на месте и просто служить не мог. Должен был браться за что-то новое, вполне конкретное, что требовалось довести до определенной цели. Наведя порядки, которые он должен был в чем-то навести, он оставил свое комиссарство, и его назначили ректором какого-то технического вуза, кажется, Ирригационного института. По образованию он был экономист, специалист по финансам. Став ректором и принявшись за чтение курса, он, как и всяким другим своим делом, увлекся преподаванием и все больше углублялся в науку. Специально же интересовался вопросами социологии и философией. С академической средой он тесней сблизился благодаря женитьбе на дочери Крямичева. Углубление в философию и в науку для него, как и для некоторых других известных мне думающих и интеллигентных молодых марксистов, оказалось роковым. — Он перестал быть марксистом. В 1930 г. во время чистки он был исключен из партии. Тогда многих исключали не с целью изгнания из партии, а для того, чтобы заставить исключенного в процедуре восстановления особо подтвердить свою верность священным принципам и генеральной линии. Но Н. О. не подал заявления о восстановлении. Это встревожило партийное начальство, так как такие заявления подавали решительно все, независимо от того, исключали ли их всерьез или только для острастки. Его вызвали и спросили, почему он не ходатайствует о восстановлении. Н. О. ответил, что находит мотивы, по которым он был исключен из партии, справедливыми. Мотивы же эти были: недостаточная политическая активность и вращание в профессорскую среду. — Действительно, сказал он, — занявшись усиленно наукой, я стал мало активен политически, и вряд ли смогу быть более активным. Также, будучи профессором и женившись на дочери профессора, я вошел в соответствующую среду. — За такой ответ он, конечно, немедленно был снят с должности ректора и отстранен от преподавания.

У Н. О. были большие связи в высоких кругах. Кажется, он был племянником Томского или как-то иначе находился с ним в родстве. После этой истории он поехал в Москву, и так как он был специалистом по финансам, то ему предложили довольно большой пост в Госбанке. С того времени начался новый период моего знакомства с ним — московский. Мы встречались нечасто. Но непременно виделись, когда в Москву приезжал Н. Д. Ритуал этих встреч был довольно постоянен. Они происходили за плотной трапезой с водкой. Н. О. был человек очень крепкий и прежде всего деловой. Он не любил долго задерживаться за едой и пить постепенно, маленькими порциями. Считал, что водки нужно сразу же выпить добрую порцию, употребляя для этого не рюмки, а чайные стаканы, и наливая их полными или уж по крайней мере, если кто хотел, — до половины. Водку следовало фундаментально заесть, а после этого уже переходить к беседе.

* Причиной опалы была, по одной версии, политическая неблагонадежность, а по другой — кража бриллиантов у царицы Марии Федоровны (примеч. автора).

В последний раз мы виделись с ним в одно достопамятное воскресенье 1933 года у него на даче в Краскове по Казанской дороге. Я хорошо помню этот день, потому что как раз в канун его Гитлер устроил свою знаменитую «ночь длинных ножей», когда он перерезал тех, кто больше всего помогли ему притти к власти. Дача Н. О. каким-то странным образом находилась в недавно выстроенном поселке высоких сотрудников ГПУ. Разыскивая ее, мы с Н. Д., приехавшим со мной из Москвы, то и дело встречали отлично выбритых и молодцеватых мужчин, явно не умеющих носить штатскую одежду. Каждый из них вел на поводке или на цепи немецкую овчарку или добермана. Очевидно, устраивалась собачья выставка или шло обучение собак.

Вся обстановка этой последней встречи с Н. О. была очень тревожная. Было ясно зловещее значение событий, произошедших в Германии. У нас тоже шло нарастание террора. О нем уже тогда редко удавалось не думать. Здесь же, в окружении обитателей этих тесно поставленных дачек, да еще в воскресный день, когда все их хозяева находились дома самолично и кругом царило заметное оживление, тяжесть сгушающейся атмосферы особенно ощущалась.

Н. О. был, как всегда, оживлен и рад возможности поговорить по-человечески. Такая возможность для каждого, кто не разучился видеть и думать, представлялась все более редко. На своем месте в банке Н. О. пока держался прочно. Но эта служба начинала его тяготить. Он довольно быстро наладил работу в своем отделе, бывшую до его прихода не на высоте, и чувствовал, что больше ему делать там нечего. Масштаб его работы был ему явно мал. А на больший он теперь рассчитывать не мог. Положение тех, на кого он опирался (Томский и Рыков), уже тогда было достаточно шаткое.

День был жаркий. От этого ли или от нервнующей обстановки водка, выпитая за обедом в обычном, достаточно большом, количестве, подействовала на меня сильнее, чем всегда. Н. Д. тоже как-то быстро наклюкался. И мы с ним довольно рано отправились на станцию. Н. О. проводил нас. Больше я его не видал и ничего о нем не слыхал. Вряд ли судьба его была благополучной.

С Н. Д. я очень дружил почти 12 лет. При этом я не задумывался о своем отношении к нему. Меня восхищало разнообразие его познаний. Я был благодарен ему за то, что он так щедро делился ими со мной. Его способности к изучению языков, как и способность ориентироваться во многих мало для меня доступных научных областях, вызывали во мне зависть. Я был совершенно уверен в его превосходстве передо мной во всех отношениях. Только в музыке он был несведущ, так как совсем не имел музыкального слуха. И я об этом очень жалел, потому что не мог разговаривать с ним о таком важном для меня предмете. Но мирился с этим, понимая, что даже и на

солнце бывают пятна. И только меня удивляло, каким образом мы могли так тесно дружить, когда по натуре мы были совсем разными людьми.

Во мне всю жизнь не было и тени какого бы то ни было чудачества. С самого детства я не сомневался в необходимости соблюдения приличий в обществе, ценил в людях умение хорошо себя вести и не тяготился тем, чтобы самому вести себя так. Нас в детстве не муштровали и не приучали специально к тому, что называется (вернее, называлось) хорошими манерами. Да и некому было сообщать нам особо светский лоск в нашей отнюдь не аристократической семье. Просто нам были внушены некоторые элементы приличного поведения. Возможно, что важно было не столько это внушение, сколько врожденная склонность к такому поведению. Вероятно, она у меня и была. Выражалась она также и в заботе о внешней пристойности. Еще когда я был совсем маленьким мальчишкой, меня беспокоили даже небольшие дефекты в моей одежде. Дырки на чулках у детей появляются с необычайной легкостью, особенно летом, когда при игре в прятки залазешь черт знает в какие закоулки всяких сараев и за поленницы дров, лазаешь по деревьям и перелезаешь через заборы. За эти дырки мама нас не только не наказывала, но даже и не бранила. Но меня они мучили одним своим видом, и я тотчас же зашивал их сам, то есть, конечно, затягивал самым примитивным способом. После поступления в гимназию, когда деревенский портной приносил мне шитую им форменную одежду, я тотчас же замечал в ней отступления от строгого канона. — Не так посажен хлястик на шинели, пришиты петлицы, нижние пуговицы не на уровне карманов и т. п. Но мама, которая принимала портного, ничего в таких вещах не понимала, а сам заявить ему об этом я не решался. Нося эту шинель, я называл ее про себя, припоминая Гоголя, капотом и терзался, идя в ней по улице или находясь среди своих товарищей-гимназистов. Я был уверен, что все только и смотрят на неправильно пришитый хлястик и презирают меня за такой чудовищный гардероб. Не меньше смущали меня и экстравагантности в туалете, на которые я, как и многие дети, бывал иногда обречен по воле родителей. Не только в детском возрасте, но и ставши взрослым, я болезненно ощущал всякие недостатки в своей одежде, а особенно в обуви. Я всегда не любил обращать на себя чем бы то ни было внимание в публичных местах. Считал возможным на улице, в трамвае, в фойе концертного зала или кино разговаривать со своим спутником только вполголоса. Развязавшийся шнурок у башмака или слетевшая от ветра шляпа причиняли мне большое огорчение и стыд. Но больше всего я избегал своим поведением как-либо шокировать окружающих, а в гостях — причинять неудобство хозяевам или нагонять на них скуку. Если я замечал у хозяев хоть тень неудовольствия от курения в их квартире или самые легкие признаки скуки от разговора со мной, то как можно скорей избавлял их от своего присутствия. И обычно уже навсегда. Такая нелюбовь к неприятным положениям заставляла меня быть внимательным к людям, с которыми я имел дело. — Присматриваться к их привычкам, вкусам и взглядам и, конечно, хорошо запоминать их имена и отчества.

Во всем этом, кроме, пожалуй, внимательности к людям, но без извлечения каких бы то ни было практических выводов из наблюдений над ними, — Н. Д. был полной моей противоположностью. Но не по хорошему мил, а по милу хорош. И все различие поведения Н. Д. от моего я воспринимал никак не с порицанием. А даже наоборот — видел и в этом его превосходство над собой.

Дело в том, что все только что описанные свои черты я никогда, а особенно в молодости, не считал добродетелями. Наоборот, приверженность к приличному поведению представлялась мне проявлением глубоко сидящей во мне мелкобуржуазности. Боязнь мелких faux pas*, а также способность замечать оттенки поведения окружающих я считал несомненным признаком своей мелочности, в которой видел твердую гарантию неспособности к большим делам и большим чувствам. Да я и до сих пор не понимаю, как эта мелочность (что ни говори, а это она) уживается во мне с некоторыми противоположными ей свойствами.

И вот от всей этой белиберды Н. Д. был совсем свободен. Своей внешностью он привлекал внимание прохожих на улицах. В любом обществе он мог появиться с всклокоченными волосами, заросший, плохо умытый, в грязной и измятой одежде, в нечищенных и стоптанных башмаках на босую ногу. Кстати, он почему-то любил большую обувь, хотя нога его была и невелика, и покупал башмаки номера на два выше того, какой ему требовался. От нелюбви к воде и мылу от него часто плохо пахло. Нельзя сказать, что ему совсем не нравился всякий порядок в его туалете. Иногда он посещал парикмахерскую и, возвращаясь из нее постриженный, явно сиял довольством. Приобретая какую-нибудь новую принадлежность костюма, Н. Д. демонстрировал ее на себе с гордым видом. Но новым нарядным галстуком он, не задумавшись, повязывал воротник измятой и грязной рубашки. Откуда-то он вычитал, что мерилom цивилизованности служит количество употребляемого одеколona, и очень гордился, что таковой у него в большом ходу. Он то и дело вытирал им руки.

Однажды один его товарищ по кафедре, М. И. Курбатов, решил все же сводить его в баню. Н. Д. долго от этого уваливал. Но так или иначе это предприятие все-таки состоялось. Учитывая непрактичность Н. Д., Курбатов запасся мочалкой и мылом также и на его долю. Они вместе разделись и прошли в моечную. Курбатов принялся мыться, а Н. Д., поместившись с ним рядом, завел разговор на какую-то отвлеченную тему. В руке он держал мочалку и размахивал ею в такт своей речи. На понуждения к мытью со стороны товарища он отвечал: «Да, да, сейчас». Курбатов вымылся. Тогда Н. Д. сказал: «Ах, вы уже кончили?» и пошел с ним в предбанник одеваться, так и не намылившись.

Н. Д. не просто не замечал странностей своего поведения. Он бравировал ими. Ему нравилось вызывать в людях удивление, и он очень весело рассказывал о своих

* «ложных шагов» (фр.) — опрометчивых, ошибочных поступков, оплошностей.

удачах в этом занятии. В 1930 году в Ташкенте было очень беспокойно. Там скопилось много всяких темных элементов, часто происходили кражи, уличные грабежи и убийства. По ночам по улицам ходили патрули милиции и уголовного розыска. Я в тот свой приезд поселился у одной приятельницы, жившей в довольно отдаленном и глухом районе города. Как всегда в Ташкенте, вечера проходили в увеселениях при непрременном участии Н. Д. Кончались эти забавы очень поздно. После них Н. Д. отправлялся в далекий путь домой. Грабителей он не боялся, так как никому не могло прийти в голову напасть на такого оборванца. Хуже было бы попасть для выяснения личности в милицию. Во время одного из таких возвращений он все же повстречался с патрулем. Вид у Н. Д. был обычный, то есть достаточно подозрительный. Как всегда, он нес книжку, держа ее в руках за спиной (без книги или нескольких книг его вообще нельзя встретить). Конечно, был здорово пьяноват. Заметив патруль, продолжал двигаться ему навстречу. Когда приблизился, раздался окрик: «Стой!» Он остановился, продолжая держать руки за спиной. «Что у тебя в руках?» — Н. Д. посмотрел на спрашивающего и спокойно, тихим голосом ответил: «Вестник Ирригации». После этого продемонстрировал свою книжку. Его отпустили без дальнейших расспросов.

Уже по одной своей внешности Н. Д. был заметной фигурой в городе, тогда еще не очень большом. Несомненно, что о его удивительных знаниях и о чудачествах шла самая широкая молва. Политические и всякие другие его взгляды, которые он высказывал без особой осторожности, были далеко не конформистские. Казалось бы, что все это должно было привлекать к нему внимание властей предрежащих. Вероятно, и привлекало. Но он не имел, насколько я знаю, никаких столкновений с «органами». Мне это даже казалось странным. Но со временем я понял, что именно по причине своей экстравагантности и слишком уж явного несоответствия желательным и обычным нормам поведения и образа мыслей он и избежал неприятностей, какие достались на долю почти каждого интеллигента в сталинские времена. Таких не трогали. Быть может, они были нужны в качестве приманки для вылова охотно группирующейся вокруг таких людей более свободомыслящей молодежи.

В компаниях Н. Д. бывал очень веселый и оживленный. Остроумия и юмора у него было достаточно. Это видно хотя бы из его борсудских стихов, пародий и тому подобных произведений. К сожалению, я не могу припомнить всех коллективных стихотворений типа буриме, которые писались по разным поводам. Состав их авторов был различный. Но во всех строки, придуманные Н. Д., были очень удачны. Не последним он был и во всевозможных веселых предприятиях. Но веселость была у него далеко не постоянным состоянием. Даже, пожалуй, нормой для него была меланхолия, особенно когда он оставался в одиночестве. На длительные полосы находившей на него тоски он иногда жаловался мне в письмах. Но самое наглядное свидетельство о них дают его рисунки. Умение рисовать также относилось к числу способностей

Н. Д. У меня сохранились три его рисунка. Это очень тонкие миниатюры, выполненные тушью с помощью чертежного пера и напоминающие экслибрисы. Они почти беспредметны (кроме одного с львиной мордой и лапами), но с причудливыми растительными и животными элементами. На меня они всегда производили странное и чем-то тяжелое впечатление. Я как-то показал их одному своему приятелю-художнику с очень тонким чутьем к людям. О Н. Д. он не слышал ничего. Но, бросивши только взгляд на рисунки, воскликнул: «Это же настоящая шизофрения!» Я припомнил, что Н. Д. говорил мне об изготовлении этих рисунков. — Они возникали именно в периоды тоски. Мелкая точечная техника поглощала часы, и кропотливая работа, видимо, как-то успокаивала его или притупляла нервы.

Были у Н. Д. и другие признаки душевного неблагополучия. — Он не был наркоманом. Но наркотиками очень интересовался и перепробовал все, какие только были ему доступны. Его также нельзя было считать алкоголиком. Но все же пил он значительно больше нормы. Вряд ли это не оказывало никакого действия на его нервную систему. Необычно было и его отношение к женщинам. Он никогда не был женат, и я ни от него самого, ни от кого из общих друзей ничего не слышал о каких-либо его сердечных привязанностях или хотя бы любовных похождениях. В то же время он охотно проводил время в женском обществе, не дичился женщин, заводил с некоторыми дружбу, которая, однако, никогда не перерастала в нечто большее.

Как я уже сказал, я был твердо уверен в полном во всех отношениях превосходстве Н. Д. над собой. Отсюда мне казалось, что всем тем, с кем я дружил, он должен быть гораздо более интересен и приятен, чем я. Поэтому я с гордостью знакомил его со своими друзьями. И велико было мое удивление, когда далеко не все оказывались в состоянии его оценить. Особенно в этом смысле меня огорчали мои приятельницы. В лучшем случае они находили его забавным. Иногда жалели за его неустроенность. И обычно их шокировала его неряшливость. Области же, в которых он проявлял свои удивительные познания, были им совершенно чужды.

Но не только женщины не разделяли моего отношения к Н. Д. Я заметил, что и мои друзья-мужчины обычно удивляются обилию его знаний, с интересом воспринимают исходящую от него «информацию», запоминают рассказываемые им смешные истории и шуточные стихи. Но они не повторяют его суждений. В разговорах с ними я не улавливал у них отголосков его мыслей. Меня это сильно удивляло и в глубине огорчало. Постепенно и не совсем самостоятельно я понял причину этого. Понять же ее сразу мне мешали сильное дружеское чувство к Н. Д. и благодарность за все, что я от него получил.

Страсть к накоплению знаний очень опасна. Знания необходимы для всякого творчества. Накопление их чрезвычайно увлекательно, и оно легко может стать самоцелью. Особенно у людей с не очень сильным творческим началом. Так, по-видимому, и произошло с Н. Д. Нельзя сказать, что он был человек совсем не творческий.

В нем было свое и оригинальное. Но оно с годами все больше уходило на задний план, уступая место приобретаемому, чужому. И это приобретательство постепенно все больше поглощало его. Оно все больше служило не для развития своих мыслей, а становилось коллекционерством. А всякое коллекционерство по самой своей сути глубоко бесплодно. Питается оно тщеславием. Коллекционера тешит, что у него имеется то, чего нет у других. Но одно это сознание его не насыщает. Ему необходимо показывать свои сокровища другим людям, зависть которых и награждает его за труд, затраченный на собирательство.

Что Н. Д. любит выкладывать свои знания, я знал с самого начала своего знакомства с ним. Это мне казалось вполне естественным. Я думал, что я и сам так поступал бы, если бы располагал такой массой сведений о всяких вещах. Но позднее я стал замечать, что Н. Д. не всегда выбирает себе подходящего слушателя. И с течением времени эта неразборчивость прогрессировала. В последний раз, что я находился с ним вместе в большой компании, он выкладывал какие-то санскриты своей соседке по столу, совсем пустой, редко глупой, уже не молодой и сильно накрашенной даме, которая, впрочем, была польщена его вниманием и слушала с понимающим видом.

Если Н. Д. стал человеком-копилкой, то это произошло с ним не сразу. Сначала я знал его не таким. Склонность к накоплению знаний ради накопления, конечно, была в нем всегда. Но она овладела им полностью и убила в нем все свое, творческое, лишь постепенно. Некоторые из моих друзей, с которыми я познакомил его в более позднее время, например, О. Э. и Н. Я. Мандельштамы, заметили это сразу же. Я же тогда все еще видел перед собой его прежнего и не желал замечать того, что становилось достаточно явным. В 1938 году, когда Н. Я. Мандельштам гостила у меня в Шортанде, мы разговаривали с ней о Н. Д., и о нашей дружбе с ним я говорил со своей всегдашней точки зрения. И тут Н. Я. мне сказала: «Но ведь все было как раз наоборот. — В этой дружбе опорой были вы. Он был лианой». Я был ошеломлен этим. Но потом, припомнив все, понял, что оно, вероятно, так и было.

В последний раз я видел Н. Д. в Ташкенте весной 1945 г., перед самым окончанием войны. Он еще с начала ее был призван на военную службу. Но на фронте не был, а служил в Ташкенте. На нем были узкие погоны, не помню, интендантского или юридического ведомства с капитанскими звездочками. Даже и в военной форме он имел довольно неряшливый вид. Мы встретились несколько раз. Н. Д. был весь сильно потускневший. Даже и во время разговора задумывался и смотрел в одну точку. Говорил монотонным голосом. На многое жаловался. О своей службе и занятиях не распространялся. Так я и не понял толком, в чем состояла его служба. Говорили, что пить он стал еще больше, чем прежде. Все годы после моего ареста и до этой встречи он мне ничего не писал. Не возобновилась наша переписка и после встречи. Несколько лет тому назад я узнал, что он умер в психиатрической лечебнице.

Стихи Н. Д. Леонова

«Отраднее быть псом живым, чем мертвым львом!»
Сказал Экклезиаст скорбящими устами.
«И все, как тень и дым. И мир, как ветхий дом.
И жизнь в небытии утонет вместе с нами».

В те ночи древние, один под небесами,
С дворцовой высоты, как с гребня мыса, он
В молчании блуждал усталыми глазами,
Склонившись сумрачно на свой узорный трон.

О, старый царь! О, друг великого светила!
Обманывает смерть и жжет покой могилы.
Стократ блажен, кто б мог вкусить бессменный сон!

Я в опьянении и ужасе бессмертья
Дрожащий слушаю сквозь тьму тысячелетий
Живущей вечности протяжный, скорбный стон.

* * *

Свет всех времен и пурпур всех порфир
Он видел ясными и твердыми глазами.
Как пристально он чувствовал наш мир,
Как он его раздвинул перед нами!

Звук бранных труб и звон дельфийских лир,
И кондор Анд над спящими горами,
Твой океан с встающими волнами,
Твой трепетный, живой и жадный пир.

Течет и жжет, и льется цепь страданий,
И бесконечен горький бред бываний,
Биенье вечных неустанных крыл.

Он поднял взор в небес пустые дали
И в сдержанно-торжественной печали
Прозрачной льдиной медленно остыл.

Пародия на В. Брюсова

Слушай, в шкиве пляшущих криков
Та ль былая ль трепещет дрожь.
Уруагина иль Рыков,
Эаннатум или Ллойд Джордж...

Что ж, глассер мировых безбрежий,
 Полный ход, 900 НР!
 Ресторан астероидной мережи
 Режет ритмами лет РКП.

Эй, соноры грозы, в симфонию,
 К спирантам ветров, в контрапункт.
 Главлит 40—0—7! Дробь иронии
 Вжать, вместить, вьединить, вмять в Weltpunkt.

Чтоб заношенных слов оссуарии
 Бражью свежих вин окропить
 И в истасканном итиерарии
 Бывший бег иовой визой крепить.

Но гарротой ли сдавлен, на дыбе ли
 Сгибнет мира былой несессер,
 Мы космическим вымпелом вздыбили
 На планет гафель СССР.

Страсть — ложка. Боль — бред. Жизнь — миг. И в прах лечь кости.
 Пусть. Дли стих. Мысль, меть воли лучи,
 И в баналь тоски тусклых тем вечности
 Вариации дней пробренчи!

Примечания. *Урукагина* — царь лагашской династии. *Эаннатум* — сумерский властитель. *Рыков* — предсовнаркома СССР. *Ллойд Джордж* — лидер английских национал-либералов. *Глассер* — скользющий по воде аппарат, приводимый в движение пропеллером. *НР* — принятое в технике обозначение лошадиной силы. *Соноры* (у фонетиков) или звучные согласные «р», «л». *Спиранты* или щелиные звуки, образующиеся одним сужением голосовой трубки при отсутствии смычки. *Weltpunkt* в учении Эйнштейна-Минковского — точка, определяемая координатами x , y , z и t или $t\sqrt{-1}$. *Гаррота* — орудие казни в Испании и некоторых романских странах, род ошейника, снабженного пружиной. *Гафель* — оконечность бом-брам-стенги или иного верхнего дерева.

ПЕРЕВОДЫ

Из Горация

Памятник

Вековечней воздвиг меди я памятник.
 Выше он пирамид царских строения.
 Ни снедающий дождь, как и бессильный ветер,
 Не сотрут его век, ни бесчисленных

Ряд идущих годов или бег времени.
 Нет, не весь я умру, — большая часть моя
 Либитины уйдет. Славой посмертною
 Возрастать мне, пока по Капитолию
 Жрец верховный ведет деву безмолвную.
 Буду назван, где мчит Авфид неистовый
 И где бедный водой Дави был над сельскими
 Племенами царем. Из ничего могуц,
 Первым я перевел песни Эолии
 На итальянский лад. Гордость заслуженно
 Утверди и мою голову дельфийским
 Благоклонно венчай лавром, Мельпомена*.

Крепче меди себе памятник я воздвиг.
 Царственных пирамид выше вознесся он.
 Едкий ливень его, бешеный Аквилон
 Смыть не в силах, ни ряд неисчислимых лет,
 И его не сотрет времени мерный бег.
 Нет, умру я не весь, большая часть моя
 Избежит похорон и вознесусь хвалой
 Я в грядущих веках, будет ходить пока
 С девой медленный жрец в Капитолийский храм.
 Буду я восхвален там, где бежит Авфид,
 Или где правит Дави в бедной водой стране
 Скромным царством своим. Родом не знатный я,
 Эолийский размер к римским свести ладам
 Первый смел. Похвалой ты возгордись теперь,
 Столь достойной тебя. Легкой рукой твоей,
 Муза, волосы мне лавра венком укрась.

Из Эредиа

Бегство кентавров

Бегут, пьяны убийством и вином,
 К ущельям гор в мечте найти ограду.
 Страх гонит. Смерть за ними. Сквозь прохладу
 Струится запах. Чуют — пахнет львом.

И мчат, и топчут гидр и стеллион,
 По рвам, бутрам, кустам: им нет преграды.
 И вот уже поднимаются громады:
 То Осса или черный Пеллион.

* Перевод В. Брюсова. Б. С. Кузин приводит его по памяти и не вполне точно. У Брюсова в 4-й строке: «Не разрушат его век» (Кузин зачеркнул слово «разрушат» и написал сверху «сотрут»).

Порой кентавр подпрыгнет, выгнет шею,
Оглянется, посмотрит и скорее
Спешит одним скачком нагнать друзей.

Он увидел: луна ярка над лесом
И грозным пугалом скользит под ней
Огромный ужас тени Геркулеса.

Завоеватели

Как стая кречетов вдаль от знакомых скал,
Покинув скучные родительские страны,
От Палоса неслись бойцы и капитаны,
Куда призыв мечты отважно зверской гнал.

Неслись завоевать тот сказочный металл,
Что скрыт в Сипанго, там за далями тумана,
И западный пассат, скользя по океану,
К таинственным брегам их мачты наклонял.

И каждый новый день неожиданней и властней
Светящаяся синь тропических морей
Их сон тревожила виденьем золотистым,

Иль с белых каравелл они, прильнув к бортам,
Следили, как из вод идут путем лучистым
Созвездья новые по новым небесам.

Пленник

И муэдзины кончили взыванья,
И запад зелень неба золотил,
Нырнул на дно тяжелый крокодил,
Волна взяла последнее роптанье.

Как в странном сне, под плавное качанье
Вождь, мутно грезя, медленно курил,
И два раба в тупом упорстве сил
Толкали барку в мерном колыханье.

Злой арнаут, в мечте насытить гнев,
Бренчал свирепо режущий напев,
И злые взвизги струн вечерний воздух били.

Он рад, что старый шейх, лицом к воде,
В крови, в веревках, тяжело глядел,
Как острый минарет, качаясь, тонет в Ниле.

Из Леконт де Лиля

Полдень

И полдень, знойный царь, простертый над равниной,
Серебряным холстом спадает на поля,
И воздух, не дыша, горит. Молчит долина
И спит под огненной одеждою земля.

Пространство без границ, а на полях ни тени,
И ключ, отрада стад, иссякший, не журчит,
И леса мрачная опушка в отдаленье,
Как глыба тяжелая, недвижимо лежит.

Лишь спелые хлеба, как море золотое,
Вздыхают вдали и презирают сон,
И в солнечных детей священного покоя
Напрасную стрелу метает небосклон.

А белые быки, улегшись меж цветами,
Ленивым языком слюнявят шерсть крестца
И длят надменными и томными глазами
Сон внутренней мечты, которой нет конца.

О, если ты, томим отчаяньем иль верой,
Придешь туда, где Юг властительно царит, —
Беги: — простор уныл, а солнце жжет без меры,
Ничто здесь не живет, не любит, не скорбит.

Но если уж ни слез, ни смеха не имея,
Ища забвения от мира суеты,
Прощать и проклинать бесплодно не умея,
Найти последнее блаженство хочешь ты,

Приди. Пусть солнце льет потоки огневые,
Дай сердце острию их жгущего копья
И медленно вернись в селения людские,
Вкусив божественной воды небытия.

Из Кеведо

О, пилигрим! Ты ищешь в Риме Рима,
Но Рима нет, и дни его упали.
Те стены — труп, что властно так стояли,
И никнет Авентин неисцелимо.

И в прахе Палатин непобедимый,
И временем изгрызены медали,
И шумы битв победных отзвучали,
Все в урагане лет умчалось мимо.

И только Тибр унылыми водами
У праха победителя струится,
Рыдая неумолчными слезами.

О, Рим! Ты был! Но как могло случиться? —
Все прочное разрушено веками,
И лишь текучее живет и длится.

Из Хакани

Весть печали о тебе сходит к сердцу моему,
Скорбь и горе и тоска сходят к сердцу моему.
Сердце в прахе врат твоих я покорно скороню.
Запах праха врат твоих — радость сердцу моему.

ОБ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМЕ

Н. Я. Мандельштам написала книгу о своем муже, поэте О. Э. Мандельштаме. Я вижу в этой работе часть огромной важности дела. Его совершают, часто с большим для себя риском, уже немногие теперь люди, пытающиеся сохранить образы тех, кому мы обязаны нашей самой большой национальной гордостью: русской литературой. Ни одна другая (впрочем, я не знаю восточных) не может сравниться с ней по количеству авторов и произведений самой первой величины. Абсолютная высота литературного мастерства и вдохновения достигнута художниками разных народов. Но где на протяжении полутора столетий творили столько и таких писателей? Я уж не считаю того, что было сделано до прошлого века. Наша литература не только богата. Она еще и совсем самобытна. Понятно, что свою литературу я знаю лучше, чем чужие. Но все же я имел возможность прочитать довольно многое из написанного на некоторых других живых европейских языках, а из древних — на латинском. Поэтому мое мнение о родной литературе, я думаю, — не следствие патриотизма.

Первые декады нашего столетия часто называют серебряным веком русской поэзии, подразумевая под золотым первую половину прошлого. Я считаю это несправедливым и думаю, что сравнительная оценка этих двух периодов была бы не так решительна, если бы в более раннем не сияло имя Пушкина. Но Пушкин вообще один. Гениев такой величины нельзя относить ни к какой народности и ни к какой эпохе. При всяком сравнении они должны оставаться как бы вне конкурса. Так, золотым веком музыки нельзя считать первую половину XVIII столетия на том основании, что в это время творил Бах. Он тоже один во всей музыке. Если же принять во внимание, что поэзию нельзя строго отграничить от прозы, то русскую литературу от начала XIX века до середины нашего вряд ли можно разделять на периоды. Можно только сказать, что за это время была создана великая русская литература. Но ее блеск и богатство обязывают нас сознавать свою ответственность, когда мы заявляем, что данный писатель занимает место в ее самых первых рядах. И я сознаю ее, когда считаю совершенно бесспорным помещением в эти ряды О. Э. Мандельштама.

Книга Н. Я. не напечатана. А копия ее рукописи находилась в моих руках всего полтора суток, и ее чтение я не закончил. Н. Я. одарена удивительной памятью. Но все же никакая память не безупречна, а некоторые сведения, приводимые автором с

чужих слов, неверны. То и другое я заметил в нескольких местах, где упоминается мое имя. Но облик самого О. Э., о котором написана книга, эти ошибки не искажают. А это — самое главное.

Н. Я. заметила, что о самом для него священном и высоком О. Э. избегал говорить. Я почему-то на это внимания не обратил. Но это действительно было так. Трудно допустить, что имя Пушкина никогда не упоминалось в наших разговорах. Однако я не помню, чтобы О. Э. высказал какое либо суждение о нем. Но однажды, в связи с каким-то упоминанием «Пира во время чумы», он произнес начало песни Мери, закончив стихами

*И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса.*

Ни сам он и никто из присутствовавших уже не мог продолжать разговор о Пушкине. Произнеся эти стихи, О. Э. сдернул какую-то пелену, затуманивавшую их полный блеск и силу. Нельзя словами передать, какими средствами это было достигнуто. Кто-то сказал, что, чтобы быть гениальным писателем, нужно иметь гениального читателя. О. Э. говорил, что чем сильнее стихи, тем труднее их читать. Но и не легче постигнуть их силу самому! И какая ответственность заявить гениальному автору, что ты и есть тот, для кого он писал! Певица-негритянка М. Андерсон, обожающая Баха, долго не могла решиться петь его арии. Она считала себя недостойной исполнять такую музыку. Зара Долуханова, конечно, не испытывала такого трепета. В этом и различие между ней и Андерсон, между известной певицей и музыкантом в самом большом понимании этого слова. Профанировать поэзию — дело актеров, вступающих с декламацией стихов, и литературоведов. О. Э. не был ни тем, ни другим. Он был поэт и потому не говорил о самом для него священном.

Нечто близкое, вероятно, лежит в основе того, что за 32 года, протекших с его смерти, я не мог заставить себя ничего написать о нем, а иногда совершаю поступки, которым сам не нахожу объяснения. Стихи Мандельштама — силы необычайной. Значит, о них говорить нельзя. Их можно только произносить. Но к этому у меня добавляется еще и то, что его самого я любил, как редко еще кого в своей жизни. Именно — не восхищался им, не преклонялся (для этого есть его творчество), а в самом простом значении — любил. Реже всяких других, вероятно, встречаются люди, способные тонко чувствовать, не имеющие в себе ничего фальшивого, не меряющие ничего и никого меркой корысти, рефлекторно отвечающие на любое событие благородным движением души, щадящие в каждом его человеческое достоинство, испытывающие боль от чужого страдания или унижения. А Мандельштам, кроме того

(а может быть, несмотря на то), что был он гениальный поэт, был целиком сделан из всего этого высшего благородства. Но ведь нельзя же дружить с божеством. Да и быть божеством скучно и трудно. Разве что Гете мог выдержать эту марку. А гениальный и благородный Мандельштам, кроме только манеры задирать кверху голову, не имел в себе ничего олимпийского. Я вижу, как уже из не одного появившегося воспоминания о нем создается портрет, который я не могу точно характеризовать, но с которым решительно не могу примириться. Кажется, человеческий облик О. Э., обрисованный его женой, не искажен. Но не могу сказать, насколько он полон (повторяю, что я не дочитал рукописи Н. Я. и, торопясь, не все прочитанное запомнил). Но против того, который начал складываться, неопровержимо говорит хотя бы одно только то, что, несмотря на ужасную судьбу О. Э. и на трагический пафос очень многого им написанного, сам он не только не был мрачен, но наоборот — был человек веселый, как никто понимавший шутку, комизм и восхитительно умевший шутить. За пять лет нашего постоянного общения более или менее безоблачным был только период нашей совместной поездки в Старый Крым и две или две с половиной недели, что я там прожил. Все остальное время было всегда трудным. Чаще всего просто у Мандельштамов не было денег. Не на что было есть, курить. Негде бывало жить. Но было постоянно и еще нечто, несравненно более тяжелое для поэта. — Обиды и неудачи в отчаянной борьбе за свое выявление, за аудиторию. Обо всем этом не мог не идти разговор при наших почти ежедневных тогда встречах. Но я не могу припомнить ни одного самого мрачного момента, в котором нельзя было бы ожидать от О. Э. остроумия, шутки, сопровождающейся взрывом смеха. Не помню, чтобы сам я когда-либо чувствовал, что собственное мое остроумие неуместно при обсуждении невеселых положений. Шутить и хохотать можно было всегда. Был у нас даже особый термин — «ржакт» (от глагола ржать) — для обозначения веселого и самого разнообразного по тематике зубоскальства, которому мы предавались при мало-мальски располагающей к этому обстановке. В этих ржактах порождались многие, часто коллективные, стихотворения и другие шуточные произведения. Большая часть их забыта, но некоторые уцелели в моей памяти.

Французская революция, как и все другие, конечно, была ужасна. Как и другие, она разнуздала силы зла. Но так уж происходит на свете. Быть может, так должно происходить. Хотя высшего оправдания это не имеет. Жестокость и насилие, хотя бы они были неизбежны и пусть даже с чьей-то точки зрения необходимы, — сами по себе все же зло. Но в революциях особо отвратительны не бесчисленные убийства в баррикадных и других боях, а казни. Что бы ни говорилось, символ французской революции — гильотина. Под ее нож пошел в числе стольких других спокойный, беззлобный отец своих детей и муж не по нему красивой и бойкой жены, в меру своих способностей исправлявший не им самим захваченную, но возложенную на него законом престолонаследования должность короля Франции. Но из всех преступлений той революции

самое страшное — убийство Шенье. Самая драгоценная пролитая тогда кровь — его. Кровь поэта, любимого Пушкиным и... мной. А убийство Мандельштама?!

После сказанного можно понять, почему я до сих пор ничего не писал о Мандельштаме. Я и о своем отце, о матери, о брате, о сестрах и о жене не могу написать потому, что есть ступень любви и близости к людям, достижение которой кладет запрет на разговор о них.

Еще по одной причине трудно писать о людях великого дара, с которыми тебя связывала близкая дружба. — Некуда спрятаться самому. Всегда будет бесконечно много всяких «он сказал мне», «я сказал ему», «мы решили», «нам хотелось» и т. п. Одним словом, неизбежно получается «Ну что, брат Пушкин?» Несносно быть кем бы то ни было, кроме как самим собой. Я понимаю, что можно боготворить Баха или Пушкина, сознавать несоизмеримость своих способностей с их гением. Но нельзя желать быть Пушкиным или Бахом. Всякая зависть основана на досаде, что ты чем-то обделен, что в чем-то судьба тебя обидела. Я не смог бы жить с таким сознанием. Но некоторые, и даже очень многие, живут. Шопенгауэр видит источник всякого патриотизма в том, что человек, лишенный собственных добродетелей, поднимает свою ценность в собственных и чужих глазах добродетелями или заслугами той группы (нации, слоя, общества, профессии и т. п.), к которой он принадлежит. По-видимому, нечто сходное лежит в основе стремления если не к дружбе, то хотя бы к знакомству со знаменитыми людьми. — За отсутствием собственного блеска посягать хоть отраженным. Свою дружбу с О. Э. я считаю одной из величайших милостей своей судьбы. Но я скорее согласился бы не быть с ним знакомым, чем быть глухим к поэзии, в том числе и к его.

И все же после прочтения хотя бы части рукописи Н. Я. я чувствую, что не могу не сказать об О. Э. или о том, что связано с ним, хотя бы немного. Основания для этого те же, по которым я вообще пишу без уверенности, что написанное мною будет кем-либо прочитано. Я их изложил в «Предисловии ко всем сочинениям, написанным мною, но не опубликованным в печати». То, что здесь следует далее, не образует ничего единого или цельного. Это лишь некоторые воспоминания или заметки.

Дворик эриванской мечети

Натуральный кармин добывается из мексиканской кошенили, в тканях которой он содержится в большом количестве. Родина этой кошенили, как и кактуса опунции, на которой она выкармливается, — Центральная Америка. Оттуда они были вывезены для добычи кармина в некоторые страны Старого Света, самые северные из которых — Испания и Южная Франция. Кармин, по крайней мере — до

начала 30-х годов, был единственным вполне безвредным красным красителем, допущенным для подмешивания к пище, и был особенно необходим для кондитерской промышленности. Его приходилось ввозить из-за границы. Стремясь сократить ввоз импортных продуктов, пищевое ведомство в 1929 г. обратилось в Московский университет с запросом о возможности замены мексиканской кошенили каким-либо отечественным источником кармина. Ответить на этот запрос поручили, как энтомологу, мне. Я знал, что в Армении водится так называемая араратская кошениль, далекая по систематическому положению и по образу жизни от мексиканской, но, как и та, содержащая кармин и бывшая когда-то предметом местного промысла. Из одной небольшой монографии начала прошлого столетия я узнал, что кармин, добывавшийся из этой кошенили, употреблялся в качестве краски для печати католикоса, а также для иллюстрации и украшения заставок рукописных книг. Но главное — в этой книжке было указано кормовое растение араратской кошенили и названы селения в долине Аракса, близ которых ее собирали. Я ответил, что могу попытаться найти эту кошениль, определить ее запасы и выяснить, возможно ли ее добывать в промысловом количестве. Финансировать возрождение древнего промысла из патриотических соображений согласился Совнарком Армении. В начале сентября 1929 г. я с Н. А. Емельяновой (энтомологом) и Н. Т. Кахидзе (ботаником) выехал в Эривань. Кошениль мы нашли, и два последующих года я занимался ею в Армении, а в 1930 г. нашел другого содержащего кармин червеца также и в Средней Азии.

Лето 1930 г. у меня по программе было очень заполнено работой. В начале его мне предстояло поехать с А. Н. Желоховцевым в Среднюю Азию, чтобы поискать там вместе с ним карминоносных червецов. В случае, если они там найдутся, Желоховцев должен был остаться где-либо там для их изучения и изыскания способов сбора, а мне надлежало для этих же целей направиться в Армению, где меня ожидала араратская кошениль. Но я в то время состоял в одном институте железнодорожного ведомства консультантом по вопросам борьбы с насекомыми, разрушающими древесину в станционных зданиях, деревянных мостах, шпалах и т. п., и мне было поручено выяснить размеры вреда, причиняемого термитами на Среднеазиатской железной дороге, особенно же в Туркмении. Поэтому в мой план входило, закончивши поиски кошенили в Узбекистане, обследовать деятельность термитов на участке дороги от Чарджуя до Красноводска, а оттуда на пароходе переправиться в Баку и ехать дальше — в Эривань.

По расчету все эти работы должны были занять месяцев 5—6. Мне предстояло постоянное передвижение. Поэтому багаж с собой таскать следовало возможно легкий. Рабочее оборудование и одежду я свел до минимума. Но как быть с книгами? Ведь на полгода их нужно много. В таких поездках всегда приходится чего-то долго ожидать, а это занятие без чтения непереносимо. Я нашел выход в том, чтобы

количество книг возместить их качеством. Решил, что возьму с собой только две небольшие книжечки.

Шел уже второй год как мне вполне раскрылась поэзия Мандельштама. Случилось как-то так, что его «Камень» прошел мимо меня. Может быть, это произошло по причине, что он попал мне в руки во время моего тяжелого заболевания Блоком и начала ослепления Пушкиным, Тютчевым, Гете и Горацием, не говоря уже об увлечении пестрой шумихой, поднятой ранними и поздними футуристами, имажинистами и другими «новыми» поэтами. Оценить при этих условиях драгоценности «Камня» мне было не по плечу, хотя бы только по моей незрелости. Но «Tristia» ударили меня всей своей силой в ту пору, когда я не мог ее не почувствовать. И вот уже больше года я завораживал себя бормотаньем волшебных стихов этого сборника. Небольшую книжечку в красной обложке я и решил взять с собой в долгое путешествие. Другая была — один из сборников Пастернака, кажется, «Поверх барьеров» или «Темы и вариации».

Мне следовало быть в Эривани ко времени массового выхода самок кошенили на поверхность земли для оплодотворения. Этот срок тогда еще не был мне известен. Я боялся опоздать к нему и поэтому старался как можно скорее выполнить всю среднеазиатскую часть своей программы. Но непредвиденные задержки возникали одна за другой. Позднее намеченного срока я расстался с Желоховцевым в Новой Бухаре и принялся за выполнение своего железнодорожного задания. Но вскоре почувствовал, что что-то не в порядке с животом. Кишечные болезни всегда сильно ослабляют. Но я не мог прекратить свою работу. Нужно было продвигаться на запад с остановками для обследований на каждой станции. Так, наконец, я добрался до Ашхабада. Там в гостинице в первую же ночь понял, что заболел по-настоящему. — Снились кошмарные сны, а утром едва хватило сил подняться с постели. Я все же оделся, с трудом вышел на крыльцо гостиницы и подозвал проезжавшего извозчика. Он перенес мой небольшой багаж в свой фаэтон и доставил меня сначала к директору тамошнего музея, моему единственному знакомому в этом городе, у которого оставил вещи, а затем — в больницу. Там смерили температуру. Она была выше сорока. Врач очень скоро определил один из паратифов. В больнице я был первый раз в жизни, а с тюрьмой еще не был знаком. Поэтому больничное лишение свободы показалось мне чем-то ужасным. Однако лечение, по-видимому, шло успешно. Приблизительно через неделю я почувствовал, что дело пошло на поправку. Только держалась повышенная температура. Тогда я стал потихоньку вынимать градусник, пока ртуть еще не дошла до красной черточки, и через три дня уговорил врача выписать меня. Слаб я был еще, конечно, ужасно, но все же принялся за свою работу на последнем участке от Ашхабада до Красноводска. До сих пор удивляюсь, как я тогда остался жив. Но в Красноводске я заметил явный признак выздоровления: появилась непреодолимая потребность в сладком, к которо-

му обычно бываю совсем равнодушен. На базаре купил с кило или полтора каких-то подозрительных, очень грязных развесных леденцов и пожирал их на пароходу, шедшем в Баку, несмотря на довольно сильную, как всегда в центре Каспия, качку.

Приехав в Эривань, я тотчас же устремился на расположенные неподалеку кошенильные солончаки и вздохнул с облегчением. Кошениль явно еще не собиралась заканчивать свое развитие под землей. Как я мог определить, до превращения ей оставался еще добрый месяц. Это мне было очень на руку. Все-таки я сильно ослабел от болезни, да и не отдохнул несколько от московских дел, кстати, очень неприятных по причине, о которой расскажу когда-нибудь, если успею. Предстоящий месяц безделья меня радовал.

Конечно, о номере в единственной тогда Эриванской гостинице нечего было и думать. Да и обиделись бы Тер-Оганяны, у которых я с обеими своими дамами останавливался в прошлом году. Самые нежные воспоминания у меня остались об этой семье. И очень хочется теперь же рассказать о них. Но и без попутных воспоминаний все тащит меня куда-то в сторону. Скажу только необходимое. — Их было четыре сестры и три брата. В домике, оставшемся после родителей, очень типичном для старой Эривани особнячке с внутренним небольшим двором, выходящей на него галереей и с огромным цоколем-полуподвалом, жили оставшиеся незамужними две сестры и холостой же средний брат. Для остальной родни этот домик был местом съездов или сходок. Достатки его постоянных обитателей были очень скромны. Но для меня было огромной трудностью найти способ оплачивать их гостеприимство, так как простое денежное участие в их хозяйственных расходах абсолютно исключалось. Принимались только подарки в виде сладостей или фруктов. Но нельзя же было свыше всякой потребности заваливать этих скромных людей кондитерскими изделиями, а фрукты в Армении были слишком дешевы. Мне удалось только выговорить себе разрешение обедать не у них.

В странах старой винной культуры чай бывает не в ходу. Жажду там утоляют вином или холодной водой, кстати, — в Эривани на редкость вкусной. В обычном эриванском ресторане, столовой, кофейне можно получить кофе, какао, сладкое горячее молоко, простоквашу (мадун), — только не чай. В среднеазиатских городах я проводил свободные от дел часы в чайханах. Там читал, писал и одну за другой заказывал порции чая, который пил непрерывно. В Эривани получить чай можно было только в тюркских харчевнях на базаре. Но это были не среднеазиатские чайханы, в которых питье чая было главным занятием посетителей. Здесь подавалась главным образом еда. Верно, после нее можно было затребовать чай или черный кофе по-турецки. Но расположиться в харчевне надолго только за чаем было неудобно. Да и не очень уютно было долго сидеть среди базарного шума и пыли.

Эриванский базар примыкал к большой площади, заваленной тогда массой обтесанного камня, предназначенного, по-видимому, для какого-то строительства. Эта каменная свалка вплотную подходила к стене, огораживающей двор главной мечети. Майоликовые купола и зелень деревьев возвышались над стеной. Но главные ворота мечети, выходящие на площадь, были заперты. Однажды, проходя вдоль другой стены мечетного двора, я увидел в ней небольшие ворота. Они были открыты. Я вошел во двор мечети и просто остолбенел. — По соседству с самой непривлекательной частью города находился рай. Двор, выложенный каменными плитами, со всех сторон был обсажен мощными вязами, создававшими защиту от пыли окружающих улиц и, как казалось, даже от шума. Из-за деревьев проглядывали стены мечети и относящихся к ней построек. Посреди дворика находился небольшой прямоугольной формы бассейн с двумя фонтанчиками. В нем плавали две белые утки. Бассейн тоже был обсажен с двух сторон развесистыми карагачами, между которыми стояли массивные, вытесанные из камня скамьи. Под одним из деревьев помещался стол, а над ним — огромный желтой меди самовар и арсенал чайной посуды. Несколько тюрков, большей частью пожилых, сидели на скамьях, одни молча, другие — негромко переговариваясь между собой. Чайчи, тоже немолодой, бесшумно и неторопливо разносил и убирал стаканы. Я присел на одной из скамей. Мое появление не привлекло никакого явного внимания присутствовавших. Подошел чайчи и спросил: «Чай?» — Да. — «Сладкий?» — Нет. Чай был, как всегда в чайханах, хорошо заварен и горячий.

От всякого национализма отдает чем-то глуповатым и смешным, а крайние его проявления отвратительны. Тем не менее я замечал за собой, что в путешествиях при возможности выбора я предпочитал находиться среди мусульман. Ведь и наблюдения над кошенилью можно было вести обосновавшись в каком-нибудь армянском селе, но я сознательно выбрал тюркский Улия Сарванляр. Вот и здесь, в столице Армении, я нашел себе прибежище во дворе мечети. Открыв его, я понял, что с этого дня мое, все же в какой-то степени томительное и стеснительное, ожидание выхода кошенили превращается в чудный отдых, так необходимый для полного восстановления сил.

Порядок дня у меня установился следующий. — После утреннего завтрака с Тер-Оганянами я, забрав две свои книжечки стихов, шел в направлении базара. По дороге покупал свежие центральные и выходящие на русском языке местные газеты. Они служили мне отчасти для чтения, но больше в качестве подкладки на каменную скамью, слишком жесткую для меня при сильном моем исхудании. Придя в мечеть, принимался за чтение, а иногда что-нибудь писал. Чайчи, уже не спрашивая, приносил мне чай. Круг постоянных заседателей под сенью карагачей у бассейна с белыми уточками был невелик. Скоро они привыкли ко мне и стали отвечать на мое общее приветствие вместе с чайчи. Тюркский язык я понимал очень плохо. Поэтому содер-

жание тихих бесед посетителей чайханы было мне мало понятно. В их речи решительно преобладали имена числительные. Это указывало, что обсуждались преимущественно вопросы базарные или вообще коммерческие. Иногда, впрочем, речь шла о политике или о религии. Об этих предметах чаще говорилось, когда к компании присоединялся главный мулла Эривани. Он, по-видимому, жил при мечети. Это был довольно высокий, красивый и, как большинство мусульманских духовных, важный старик. Говорили, что он необычайно учен и получил свое образование в очень известном шиитском медресе в Тебризе. Присутствовавшие встречали его очень почтительно. Я вместе со всеми привставал и кланялся ему. Скоро и он стал отвечать мне отдельным кивком с вежливой улыбкой. Русского он не знал или делал вид, что не знает. Однажды через одного говорившего по-русски тюрка он задал мне несколько очень общих вопросов, касающихся моего происхождения, образования и рода занятий. После этого он с похвалой отозвался о профессии ученого, которую, несомненно, считал и своей, и мы коротко обменялись необходимыми любезностями. Когда наступал час обеда, я отправлялся на базар в тюркскую же харчевню. Обед мой почти неизменно состоял из горшочка пити и порции шашлыка. Появлявшейся после этого жажды вполне хватало на то, чтобы, вернувшись в мечеть, утолить ее неспешно стакан за стаканом чая часов до 5—7 вечера. Возвращаясь домой снова через базар и по торговым улицам, я покупал то, что можно было презентовать Тер-Оганянам, и вечер проводил с ними и с заходившими к ним почти каждый день многочисленными их родственниками. При таком режиме восстановление моих сил шло гигантскими шагами.

Однажды, уже незадолго до выхода кошенили, я сидел после обеда на своем обычном месте в чайхане. После прочтения в сотый раз какого-то стихотворения в одной из своих книжечек я отложил их в сторону и был занят своими мыслями. В это время вошли во дворик и направлялись к бассейну два человека, по внешности не здешних. Один был заметно старше меня, немного ниже моего роста, в белой рубашке, заправленной в брюки, и в серой кепке. Он шел с легкой улыбкой, оглядываясь по сторонам, и можно было понять, что сюда он попал впервые. Его спутником был молодой человек, очень вертлявый, что-то говоривший и жестикулирующий. На нем была светло-красная спортивная рубашка с черными обшлагами рукавов и воротом и с белой шнуровкой на груди, очень жалкие брючонки и резиновые тапки. Старший из пришедших, продолжая оглядывать дворик, очень тихо и ни к кому не обращаясь, произнес: «Как здесь хорошо» — и присел на соседнюю с моей скамью. Молодой человек порыскал вокруг бассейна, вернулся и начал задавать немногочисленным в это время посетителям чайханы разные вопросы, касающиеся мечети. Те, что понимали по-русски, отвечали крайне скупое. Тогда он переключился на меня. Он (впрочем, как я узнал потом, также и его спутник) принял меня, сильно загоревшего и не типичной русской внешности человека, за тюрка, пришедшего сюда, как, по его мнению, и все,

кто здесь находился, для отправления религиозных действий. Убедившись, что в этом он ошибся, он принялся доискиваться, зачем же я здесь, кто я, чем занимаюсь и т. п. Меня эта настырность сильно раздражала, и мне хотелось послать этого надоеднего парня к черту. Но у меня всегда не хватало духу сказать грубость человеку, хотя мне и неприятному, но говорящему со мной вежливо. Поэтому Лева (так звали этого малого) удалось вытянуть из меня по капле все, что мучило его любопытство. Достигнув этого, он, обратившись к своему спутнику, молчаливо сидевшему со скрещенными руками и продолжавшему все с той же легкой улыбкой разглядывать все окружающее, воскликнул: — Осип Эмильевич! Вот товарищ занимается здесь очень интересным делом.

Молчаливый посетитель встал, улыбка его расширилась, он протянул мне руку и представился: — Мандельштам. — Я, также вставши, в свою очередь отрекомендовался по фамилии. Дело начинало мне сильно не нравиться. — Вот теперь они примутся приставать ко мне вдвоем. Но скоро выяснилось, что я ошибся в своих мрачных предположениях. Лева, сдав меня старшему товарищу, на время замолчал и стал прислушиваться к нашему разговору. В нем мой новый собеседник сразу же проявил ту особую вежливость, которая разделяет поколения интеллигентов «до» и «после», которая уже к началу 30-х годов встречалась не очень часто, а теперь о ней вообще не имеют понятия, и научиться ей уже больше нельзя. Это меня немного успокоило. На этой взаимной вежливости уже можно было поддерживать ставший неизбежным разговор, не заводя его слишком далеко и имея надежду на более или менее скорое его окончание. Мое впечатление, что оба незнакомца люди не местные, подтвердилось. Становилась все ясней какая-то причастность их к литературе. — Какие-нибудь газетчики, очеркисты или что-то в этом роде. Когда это стало уже несомненным, я, не очень в правилах установившейся в нашем разговоре вежливости, спросил: «Ну и что же вы должны здесь воспевать?» — Мой собеседник, премило улыбнувшись и высоко подняв брови, выпалил: «А ничего!» Было ясно, что он понял колкость моего вопроса, но, словно не замечая ее, продолжал вести нашу почти салонную беседу. Она вертелась около кошенили. Я заметил, что все же он спрашивал меня о ней с интересом, по крайней мере к ее национально-культурной истории. Вероятно, это и заставило меня сказать, что кошениль попала и в нашу поэзию. — «Кто же о ней писал?» — Я сказал, что о ней упоминает Пастернак и, как видно, грамотно. Я имел в виду

*И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня независим.
Нет, не я вам печаль причинил*.*

В ответ было: «Да, Борис Леонидович всегда грамотен в своих стихах».

* 2-я строфа стихотворения Б. Л. Пастернака «Послесловие» из книги «Сестра моя — жизнь».

Тут во мне как бы сработал спусковой механизм. Мгновенно пронеслась в голове цепь мыслей. — Разве этот человек похож на тех, кто ездит в творческие командировки и хватает без церемонии каждого, кто может дать что-то для расцветивания имеющего появиться в результате командировки слащаво-лживого репортажа, очерка, романа? Он называет Пастернака по имени и отчеству. И опять-таки он явно не из тех, кто хотел бы показать постороннему, что он с Пушкиным на короткой ноге. Вертлявый тип называет его Осипом Эмильевичем. Да ведь он и сам назвал мне свою фамилию!

После мне стало понятно, что досада от появления в «моей» мечети неподходящих людей затормозила меня и я сразу же не сделал всех этих сопоставлений. Даже явственно слышанная фамилия меня ни на что не натолкнула. Она не так уж редка. Я и мысли не допускал, что поэт, стихами которого я бредил наяву, вдруг в самый разгар этого бреда появился передо мной. А он, мало того что появился, но еще целых полчаса заставлял меня желать, чтобы он убрался со своим компаньоном восвояси. Все это, я говорю, пронеслось в моем мозгу в единое мгновение. Я ничего не анализировал, ни секунды не колебался. Вскочил, как ошпаренный, и закричал: «Да ведь я же вас знаю!» Не было ли это единственным во взрослой моей жизни случаем полной потери самообладания? Я не задумывался, как будет принят этот мой почти вопль. А принят он был наипростейшим образом. — О. Э. встал и, опять протянув мне руку, сказал все с той же улыбкой: «Ну, давайте теперь знакомиться заново».

Стихотворение Мандельштама «Батюшков», написанное два года спустя, всегда вызывает у меня воспоминание о нашей первой встрече. Но даже и на следующий день я не мог бы рассказать, о чем мы говорили после вторичного рукопожатия. Помню только, что вдруг понесся поток мыслей, словно вырвавшихся на свободу и куда-то спешащих. Я все же создавал, что завтра мне нужно ехать в Сарванляр, чтобы выяснить, не собирается ли кошениль выходить на поверхность. Поэтому спросил О. Э., застану ли его в Эривани по возвращении через два дня. Узнав, что застану, успокоился.

Но время шло к вечеру. Чайчи принялся убирать посуду. Нужно было уходить. О. Э. хотел непременно познакомить меня со своей женой и настаивал, чтобы я шел с ним в гостиницу, где они жили. Мы пошли, ни на минуту не прекращая вести свой горячий разговор. Я не заметил, как Лева по пути где-то потерялся. И вообще этот Лева больше никогда мне не встречался. Кажется, с О. Э. он был знаком по работе в редакции комсомольской газеты, где Мандельштам то ли заведовал стихотворным отделом, то ли был в нем консультантом («Присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей»^{*}). А может быть, и просто был одним из тех странноватых для меня молодых людей, которые появля-

* Строка из стихотворения О. Э. Мандельштама «Квартира тиха, как бумага...»

лись временами около него, имея, по большей части, некоторые специфичные задания.

Дойдя до своего номера в гостинице, О. Э. распахнул его дверь и с порога закричал: «Наденька, вот со мной пришел...» На кровати сидела отложившая в сторону книгу и натянувшая до подбородка одеяло Надежда Яковлевна. После она рассказывала мне, что лежала совсем раздетая, но услышавши, что по коридору, с кем-то разговаривая, идет О. Э., поспешила закрыться одеялом. О. Э. осведомил ее об обстоятельствах нашей встречи и собирался продолжать наш разговор с ее участием. Не помню, каким способом она дала ему понять неудобство своего положения. Я решил, что она просто нездорова. Мы условились встретиться завтра же утром у меня, т. е. в доме Тер-Оганянов, а потом пойти обедать в мою тюркскую харчевню, после чего я должен был отправиться на вокзал.

Я несся из гостиницы к себе на улицу Спандарян, не чувствуя земли под ногами. Объяснить свою радость моим хозяевам я не мог. Они не читали стихов Мандельштама, да и других не читали. И не думали, что такое занятие может интересовать меня. Однако исходившее от меня свечение радостью они заметили, и я им сказал, что встретил очень близких друзей.

Встреча с Мандельштамом обрадовала меня еще и по одной особой причине. — С того дня, как мне стали знакомы его «Tigistia», я пытался узнать, где он теперь и что делает. На это мне никто не отвечал толком. Причастные к литературе мои знакомые говорили на эту тему с явной неохотой. Упоминали что-то о плагиате, который он будто бы совершил при переводе (?!) «Тили Уленшпигеля», что он сошел с ума, что совсем перестал писать. Человек, с которым я нынче познакомился, не мог быть никем иным, кроме как автором тех стихов, что я знал. Он был прекрасен, как эти стихи.

Когда человек не идет, то он сидит или лежит. Сидячие и лежачие — люди двух принципиально различных категорий. Сам я, лежа, могу делать только одно: — спать. Лежачие же в этом положении часто ведут беседу, даже с гостями, пишут, а уж читают только лежа. Отказываюсь судить, какой образ жизни правильной или лучше. Поделюсь только одним наблюдением. — Лежачие обычно не бывают пунктуальны. Мандельштамы были лежачие. Пришли они на следующее утро, конечно, гораздо позднее назначенного времени. Пора было уже скоро идти на базар обедать. Когда я об этом сказал, они переглянулись, и О. Э. с отчаянной решимостью выпалил, что обедать они не пойдут: у них нет ни копейки денег. Они и не подозревали, какое удовольствие доставило мне это заявление. Начать знакомство с того, чтобы накормить их, видно, голодных, восхитительным обедом, было просто замечательно. Обед, конечно, состоялся. Я уехал в Сарванляр. Через два дня вернулся, выяснив, что через неделю мне будет нужно ехать туда уже фундаментально.

За эту неделю и еще за несколько дней, проведенных в Эривани перед отъездом в Москву, я имел возможность достаточно приглядеться к Мандельштамам. Они, особенно О. Э., были по образу жизни прямой противоположностью мне. Насколько мне всегда были необходимы режим, размеренность, ориентировка во времени, ощущение почвы под ногами, постоянство обстановки, определенность перспектив, хотя бы ближайших, настолько им все это было совсем чуждо. Казалось, они нигде никогда не жили (в смысле оседлого пребывания), а только словно бы присаживались там или здесь в непрерывном кочевании без всякого направления. Их дни протекали так или иначе в зависимости от того, какое у них самочувствие, как складывалась обстановка, кто зашел из знакомых и т. п. Если строились какие-то планы, то только затем, чтобы их сейчас же нарушить. При этом чем категоричнее высказывалось намерение поступить каким-либо образом, чем лучше это было мотивировано, тем вернее было, что так сделано не будет. И все это на фоне постоянного острого безденежья.

Отношения близкой дружбы у нас установились даже не быстро, а словно мгновенно. Я был тотчас же втянут во все их планы и злосчастья. И с первого до последнего дня нашего общения каждая наша встреча состояла из смеси разговоров на самые высокие темы, обсуждения способов выхода из безвыходных положений, принятия невыполнимых (а если выполнимых, то не выполняемых) решений и, как я уже говорил, — шуток и хохота даже при самых мрачных обстоятельствах. Конечно, при коренном различии наших характеров и привычек дружба с Мандельштамами порой меня просто нервно изматывала. Но ведь все наши несходства относились только к житейским делам. Все же остальное, т. е. именно то, что составляло настоящую сущность обоих Мандельштамов в их отношении к вещам, событиям и людям, никогда не вызывало у меня ни малейшей досады. Но их беды причиняли мне сильнейшую сердечную боль.

Последние дни в Эривани прошли в бесконечных разговорах о планах на будущее. — Ехать в Москву добиваться чего-то нового, какого-то устройства там или оставаться в Армении? Трудно сосчитать, сколько раз решение этого вопроса изменялось. Но ко дню моего отъезда было решено окончательно. — Возможно только одно: остаться здесь. Только в обстановке древнейшей армянской культуры, через вращение в жизнь, в историю и в искусство Армении (имелось, конечно, в виду и полное овладение армянским языком) может наступить конец творческой летаргии. Возвращение в Москву исключено абсолютно. Я простился с Мандельштамами — как мы были уверены, навсегда — накануне дня своего отъезда. Сам этот день был целиком предназначен для прощания со всеми друзьями-армянами. А я хорошо представлял себе, какая это будет серьезная операция, и молил Бога о ниспослании мне сил для перенесения предстоявших угощений лучшими образцами араратовских коньяков. Операцию эту я провел, но уж лучше не буду вспоминать о состоянии, в какое она меня привела к концу дня.

О дружбе

Вернувшись в Москву, я завертелся в своих обычных делах — университетских, кошенильных, термитных и во всяких других. Дома тяжело висели неудачи с поступлением брата в вуз. В те годы туда принимались только дети рабочих и крестьян, а также, понятно, — высокопоставленных родителей. У брата был обнаружен и развивался туберкулез, от которого он через немного лет и помер. Если раздумья о судьбе Мандельштамов поглощали меня в Эривани как почти единственные, то здесь они оказались разбавленными. Порой казалось странным и нелепым, что встреча в Эривани останется только кратковременным эпизодом моей жизни. Хотелось узнать что-нибудь о них. Над. Як. дала мне адрес и телефон своего брата Е. Я. Хазина. Но время бежало очень быстро, и я все откладывал установление связи с ним.

Не помню точно, в каком позднесеннем месяце меня позвали к телефону. Я был изумлен, услышав голос Н. Я. В то время я еще недостаточно привык к тому, что решения, принимаемые О. Э., почти наверное заменяются противоположными. Твердо решив остаться в Армении, Мандельштамы, конечно же, должны были вскоре приехать в Москву. Трубку вскоре взял О. Э. Его голос был бодрый и радостный. Он прежде всего сообщил мне главную новость. — «А я опять стал писать. Какие у меня есть новые стихи!» — Я немедленно отправился к ним. Мы встретились так, будто расстались только вчера. Когда я напомнил, что решение остаться в Армении было окончательным, О. Э. воскликнул: «Чушь! Бред собачий!» Словно бы речь шла действительно о чем-то, приснившемся в бредовом сне. Я и после замечал, что он, унесенный неизвестно откуда взявшимися и по всему духу чуждыми ему умственными построениями, вдруг точно просыпался и отряхивался от этой искусственной чуши, в которую ему, однако, еще накануне вполне искренне хотелось верить. Особенно, по-видимому, для него был силен соблазн уверовать в нашу официальную идеологию, принять все ужасы, каким она служила ширмой, и встать в ряды активных борцов за великие идеи и за прекрасное социалистическое будущее. Впрочем, фанатической убежденности в своей правоте при этих заскоках у него не было. Всякий, кто близко и дружески с ним соприкасался, знает, до чего он был бескомпромиссен во всем, что относилось к искусству или к морали. Я не сомневаюсь, что если бы я резко разошелся с ним в этих областях, то наша дружба стала бы невозможной. Но когда он начинал свое очередное правоправное чириканье, а я на это бурно негодовал, то он не входил в полемический пыл, не отстаивал с жаром свои позиции, а только упрощал согласиться с ним. — «Ну, Борис Сергеевич, ну ведь правда же это хорошо». А через день-два: «Неужели я это говорил? Чушь! Бред собачий!»

Сейчас я видел пробуждение О. Э. не после какого-то рядового заскока, но необычайно полное, всеобщее. Он был в сильной ажитации, в какой я его ни разу не видал в Эривани. Ни о чем, относящемся к повседневным нуждам, к быту, не говорилось, как словно бы эти вопросы были решены и теперь можно и нужно было говорить только о главном. Об этом и говорилось. Вперемежку, как всегда, с грохотом смеха. Главным были стихи. — Цикл стихов об Армении. И было начато или еще только задумано «Путешествие в Армению».

С этого дня все пошло так, как только и может идти с Мандельштамами. — Появление чудных стихов. Возникновение новых заскоков. Пробуждения после них. И непрерывное бедствие. Негде жить. Покамест приютились у Е. Я. Хазина. Но у него не квартира, а комната. И он не один. — Жена. И в той же квартире теща, дама, которую я не видал ни разу, но, как можно было судить, довольно страшная.

Я сейчас не помню годов последовательных кочевок Мандельштамов. На небольшое время они поселились в комнате уехавшего, кажется, в отпуск брата О. Э., Александра Эм., жившего в одном из переулков на Маросейке. Там-то их соседом и оказался «еврейский музыкант» Александр Герцевич, навечно живший Шуберта*. Потом отправились в Ленинград. «Видавшие виды манатки»** — старый расплывчатый чемодан, старая же корзина и еще какие-то связанные коробки были погружены в пролетку одного из последних в Москве извозчиков. Где-то среди вещей или на них уютились Н. Я. и О. Э. Когда пролетка тронулась, О. Э., махая на прощанье рукой, кричал мне: «Борис Сергеевич, не носите крахмальные воротнички. Их нельзя носить. Они вас погубят». Возможно, он был прав. Потом возвращение из Ленинграда. Появилось «Я вернулся в свой город»***. И как уже тогда были понятны эти «шевеля кандалами цепочек дверных». Появилась «полуспаленка-полутюрма»**** — комнатка сестры Н. Я. в Ленинграде. Потом довольно длительная оседлость в Доме Герцена на Тверском бульваре. Там все кишело всякой писательской шушерой и провокаторами. Тихий и серьезный Миша Рудерман приехал в Москву изучать высший пилотаж поэтического мастерства у Иосифа Уткина, жившего в том же доме, но не в комнатке, а в приличной квартире, так как был он в то время в почете. Миша сообразил, что и у Мандельштама можно кой-чему поучиться. Не раз я заставлял его у О. Э. Он выучился, чему хотел. Услышав через несколько лет его разудалую «Тачанку-ростовчанку», популярность которой побила произведения его учителей, я подивился казачьей лихости этого благонравного иудейского юноши.

Сейчас мне трудно припомнить, при каких обстоятельствах немного улучшились материальные дела Мандельштамов. Были опубликованы «Путешествие в

* См. стихотворение О. Э. Мандельштама «Жил Александр Герцевич...»

** Строка из стихотворения О. Э. Мандельштама «Квартира тиха, как бумага...»

*** Стихотворение О. Э. Мандельштама «Ленинград» («Я вернулся в мой город...»)

**** Строка из стихотворения О. Э. Мандельштама «Я с дымящей лучиной вхожу...»

Армению»* и цикл стихов об Армении**. Организовано выступление О. Э. со стихами в Ленинграде***. Дана квартира в Нащокинском переулке****. Но моя забывчивость имеет некоторое оправдание. — Ведь в это время жил и я сам. Было много своих трудных и поглощавших мое внимание дел. А мои профессиональные и служебные интересы были далеки от того, чем жили Мандельштамы. В то же время редкий день мы не встречались. И создавалась какая-то мозаика, которую мне теперь просто невозможно распутать.

Стихотворение «К немецкой речи» посвящено мне. Но обращено оно к обозначенному в заглавии адресату. Не ко мне прямо. Однако в нем есть слова, очень для меня значительные:

*Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.*

О. Э. дружба была необходима. Хорошие, даже близкие отношения у него были со многими. Начиная с родственников, своих и жениных. Вернейшим другом-спутником была, конечно, Н. Я. Но она была жена. А друг — нечто совсем иное. Из тех, кого я встречал у Мандельштамов, я не могу назвать ни одного близкого друга О. Э. Ближе других, пожалуй, был В. И. Нарбут. Приятельские отношения с прежних лет сохранились с М. А. Зенкевичем, меньше с Городецким. Но эти двое были уж очень много ниже калибром (общим, человеческим), чтобы быть его друзьями. С необычайным уважением, мало того, — с каким-то пиететом, относился О. Э. к А. А. Ахматовой. В нащокинской квартире одна из комнат была почти лишена мебели и обычно пустовала. Ее и отводили А. А., останавливавшейся в Москве у Мандельштамов, и О. Э. окрестил ее «капищем Анны Андреевны». Также и после его смерти А. А. всегда была связана с Н. Я. Но я все же не назвал бы этих отношений полного взаимного признания, восхищения и понимания дружбой. Мне кажется, что настоящим другом не может стать человек, так глубоко занятый самим собой.

Раз уж зашла речь об А. А., о которой я вряд ли успею написать отдельно, то, хоть и не очень кстати, скажу о ней нечто здесь. Это очень субъективно, и я не могу сам определить, почему в искусстве одно меня потрясает и заставляет смотреть, слушать или читать это по многу раз, а припоминать — постоянно, а другое такого действия на меня не оказывает, хотя бы я вполне понимал, что эти стихи, музыкальная пьеса, здание и т. п. хороши, даже очень хороши. Первого рода произведения я про себя называю хлебом. А вторые для меня не хлеб. И вот стихи Ахматовой никогда мною не воспринимались как хлеб. После того, как я познакомился с ней самой,

а особенно — поддаваясь воздействию О. Э., я почти убедил себя, что ее поэзией можно насытиться. Но в конце концов все-таки окончательно уверился, что она не для меня. Так же я не могу принять И. Анненского. Люблю по-настоящему только его перевод одного стихотворения Сюлли Прюдона*. Почему у меня не ладится с ним, — я не могу понять. А причину неприятия Ахматовой я раскрыл. — Ведь решительно каждое ее стихотворение как бы произносится перед зеркалом. — «Вот я грущу. Красиво грущу?» «Вот я села. Красиво села?» — Я был поражен, когда прочитал о ней у Блока почти то же самое**. Верно, это было им сказано еще в начале его знакомства с ней и, возможно, после он свое мнение изменил. А от моего оно отличается тем, что вместо «зеркала» в нем стоит «мужчина». Очень может быть, что прав Блок. На что же и зеркало в конце концов, как не для репетиции предстоящей сцены с мужчиной? Но все же очень многое заставляет меня хотеть думать об А. А. как только возможно хорошо (это не так уж просто!), а моя формулировка мягче блоковской. Однако, как бы там ни было, забота о позиции перед мужчиной или перед зеркалом, вообще забота о своем портрете не может быть основой творчества великого художника. Не позволяет она и полностью отдаваться дружбе. Кстати, эта забота совсем не просвечивает в стихах Цветаевой. И она умела быть другом.

С явной симпатией, может быть, правильнее было бы даже сказать — с любовью, относился О. Э. к своему соседу по квартире в доме Герцена С. А. Клычкову***. Но при несомненном своем таланте Клычков все же вряд ли мог быть полноценным партнером в большой дружбе с человеком такого отточенного интеллекта, тончайшей интуиции и гуманитарной образованности, каким был О. Э. Впрочем, это соображение может быть совсем неверным. Ведь казалось бы, что по тем же самым основаниям О. Э., перебравшись в Москву, должен был очень сблизиться с Б. Л. Пастернаком. Однако это не произошло. Я ни от кого не слышал, что Пастернак говорил или думал о Мандельштаме. О. Э. во всех разговорах со мной проявлял к Б. Л. полное уважение и отзывался о нем как-то подчеркнуто лестно. Но никогда не восторженно. А встречались они совсем не часто, и обычно во время приездов в Москву Ахматовой. Трудно мне также предположить, что для большого поэта могут просто как бы не существовать такие современники, как М. А. Кузин, по крайней мере — поздний, или Ходасевич. Никогда я ни слова не слышал от О. Э. о М. Цветаевой. Только после свидания с Андреем Белым летом 1933 года в Крыму О. Э. сблизился с ним. Да и то я узнал о их новой дружбе не столько из рассказов О. Э. об этой встрече, сколько из стихов, какими он откликнулся на смерть Белого****.

* Речь идет о стихотворении «Идеал» («Прозрачна высь. Своим доспехом медным...») — см. с. 131 наст. изд.

** Речь идет, по-видимому, о стихотворении А. Блока «Анне Ахматовой» (1913).

*** С. А. Клычков жил в другом флигеле Дома Герцена. Был также соседом по дому в Нащокинском пер. (Мандельштамы жили на 5 этаже, Клычковы — на 1-ом).

**** «Голубые глаза и горячая лобная кость...» (10 янв. 1934 г.).

* «Звезда». 1933. № 5. С. 103—125.

** «Новый мир». 1931. № 3. С. 62—63.

*** Весна 1933 г.

**** Осень 1933 г.; Нащокинский пер., д. 5, кв. 26.

Мне кажется, что на личных отношениях между писателями сказывается неизбежная, по-видимому, для них литературная партийность, а может быть, и какая-то скрытая ревность. О. Э. не был свободен от них. Как поэта я не могу поставить Бунина в один ряд с Тютчевым, Фетом или Блоком. Но некоторые стихотворения (и не так уж их мало), бесспорно, очень хороши.

Однажды я при Мандельштаме произнес начало последней строфы стихотворения Бунина «Имру-уль-Кайс»:

*Ночь тишиной и мраком истомила.
Когда конец?
Ночь, как верблюд, легла и отдалила
От головы крестец.*

О. Э. почти шепотом сказал: «Как хорошо. Чье это?» Я назвал автора. На лице О. Э. появилось выражение, точно он проглотил что-то невкусное. Затем наступила небольшая пауза, после которой он начал: — «Сразу можно определить слабого поэта. Вот у него...» и т. д.

По всему, что я слышал и от самого О. Э., и от ближайших к нему людей, у меня сложилось мнение, что по-настоящему близким его другом был только Н. С. Гумилев.

И вот, несмотря на все, что я говорил в начале этих записок, я все же позволю себе считать, что дружба связывала О. Э. и со мной. Думаю, он понимал, что в моем отношении к нему проявлялась не только оценка его как поэта, но в равной мере любовь к нему самому. Я говорил, что потребность в дружбе у него была огромная. Но и у меня тоже. А, видимо, чем сильнее эта потребность, тем труднее найти друга. Потому что дружить — дело нелегкое, и не всякий к нему способен. Будучи совершенно откровенен во всем, что здесь пишу, я признаюсь в своем допущении, что завязавшаяся между нами осенью 1930 г. дружба была для О. Э. выстрелом, разбудившим его и возвратившим к поэзии.

Моя миссия у Эренбурга

Очень открытый Мандельштам легко сходил с людьми при первой же встрече. Я к этому привык и знал, что его восторженным отзывам о каком-нибудь новом знакомом не всегда нужно придавать значение. Однажды он с восхищением рассказал мне о появившемся по соседству с ним в доме Герцена некоем Амирджанове*. Впрочем, говорил он не столько о самом этом человеке, сколько об имевшейся у него статуэтке какого-то японского или китайского божка. В скором времени застал

* Правильно: Амир Саргиджан.

Амирджанова у Мандельштамов я сам. Фигурировал и божок. Он был действительно очень хорош. Хозяин его мне не понравился.

В каком году это было — я не помню. Но летом или поздней весной 1934 г. произошел безобразный скандал. Н. Я. позвонила мне и просила прийти на квартиру ее брата для обсуждения очень неприятного дела. Там я узнал следующее. — Мандельштамы, как почти всегда, испытывали острое безденежье. Когда-то, по-видимому, довольно давно, Амирджанов взял у них взаймы какую-то сумму. Вряд ли особенно большую. Сильно нуждаясь в деньгах, О. Э. решил теперь их с него стребовать. Нельзя и мысли допустить, чтобы какой бы то ни было разговор он мог вести грубо. Как я говорил, особая вежливость была одной из самых отличительных его черт. В Амирджанове он к этому времени, конечно, успел разобраться, и разговоры о нем со мной кончились. Но от продолжавшихся неудач, а возможно, и от чего-то другого сверх них, О. Э. был в тот период как-то повышено нервозен. Я не допытывался, каким образом разговор с Амирджановым перешел в перепалку, а затем в драку, при которой какие-то удары или толчки достались и Н. Я. Не узнавал также, как этот скандал вышел за пределы квартиры и вокруг него началась возня в среде писателей, в которой, конечно, нашлось довольно охотников нагадить Мандельштаму. Хороший способ оплевания его был найден в виде постановки вопроса о его поведении на писательском общественном суде. Исход такого суда можно было предвидеть. Нужно было принять любые меры, чтобы он не состоялся. Но через кого? Конечно, решающим могло бы быть вмешательство Горького. Но Мандельштам был далек от него, да и вряд ли он согласился бы обратиться к такому вельможному заступнику. А возможно, что его и не было тогда в Москве. Кроме всего требовалось, чтобы за это дело взялся человек не только влиятельный — таких было еще несколько, — но и несомненный друг Мандельштама, понимающий, что он поэт самой первой величины. Это, безусловно, понимал Эренбург, а личные отношения у него и его жены с обоими Мандельштамами были, как я многократно слышал, достаточно близкие. И — точно Бог послал — они как раз находились в Москве. Но...

В Москву на этот раз Эренбург приехал не как прежде, т. е. чтобы кого-то повидать, где-то показаться, вероятно, в чем-то отчитаться, о чем-то договориться и опять упорхнуть в чуждый, конечно, по духу, но зато удобный для постоянного проживания Париж. Теперь наши высокие инстанции решили, что хватит с него такой жизни. И дома, мол, найдется что делать. Обычно всякие льготы и блага для него исхлопывал Бухарин, который, как мне говорили, был его товарищем по гимназии. В 1934 г. положение самого Бухарина уже пошатнулось. А кроме того, его в этот момент не было в Москве. Он был довольно надолго куда-то далеко командирован. Эренбурги были в отчаянии. Мадам — художница — просто не представляла себе, как она сможет продолжать заниматься своим искусством, когда в

Советском Союзе нет самых необходимых для ее работ материалов и инструментов: настоящих карандашей, кистей, красок, бумаги. Не столь ужасными, но все же ощутимыми профессиональными неудобствами угрожала репатриация и Илье Григорьевичу. Понятно, что такой момент был не наилучшим для обращения к нему по щекотливому вопросу. Но ведь речь шла о жизни его друга и — он знал, какого — поэта.

Восстанавливая эти события, я с большой досадой то и дело замечаю, как слаба оказалась моя память. — Было бы самым естественным пойти к Эренбургу Над. Яковлевне, которая, кажется, была приятельницей его жены или, уж во всяком случае, хорошо знала их обоих. Был с ними знаком и Евг. Як. Я не могу припомнить, почему на нашем совете было решено, что пойти к Эренбургу лучше всего мне, совсем не знакомому с ним.

Я застал Эренбурга в хорошем и уютном номере гостиницы, не помню — какой. Он был один и при моем появлении поднялся от стола, за которым то ли писал, то ли читал. Отрекомендовавшись, я тотчас же изложил цель своего посещения. О скандале он знал и знал, по-видимому, о готовящемся суде. Выслушав меня, он сказал, что предотвратить этот суд вряд ли возможно. Если бы только этим он и ограничился в разговоре со мной, человеком ему совершенно неизвестным, да еще в такой трудный для него самого момент, и если бы после этого он объяснил самим Мандельштамам, почему он не может помочь в этом деле или не хотел разговаривать о нем со мной, я вполне понял бы его поведение, и его имя не стало бы для меня на всю жизнь отвратительно. Я всегда считал незаконным требовать от людей героических поступков. Теми, кто способен на их совершение, мы восхищаемся. Но не герой — не то же самое, что негодяй. Однако Эренбург счел нужным добавить к тому, что он мне сказал, следующее. «Да и помимо всего, согласитесь, что уж кто-кто, а О. Э., сам постоянно не отдающий долги, в роли кредитора, настойчиво требующего свои деньги, — фигура довольно странная». Этими словами мне в рот был запихнут кляп. Они были абсолютно справедливы. Возражать на них было невозможно. Но произнести их мог человек, не видящий разницы между автором «Тристий» и владельцем мелочной лавочки. Я эту разницу знал. К сожалению, мои собственные денежные дела были не так хороши, чтобы я мог сколько-нибудь существенно выручать Мандельштамов в их безденежье. Но мне и в голову не могло прийти рассматривать О. Э. с точки зрения его кредитоспособности. Зато и сам я с легким сердцем согласился в прошлом, 1933 году, единственном более или менее материально благополучном для Мандельштамов, поехать с ними почти целиком за их счет в Старый Крым, когда после месяца пребывания в ГПУ впервые в жизни почувствовал, что без какого-то отдыха не смогу работать. Слова Эренбурга привели меня в ошеломление. Я автоматически попрощался с ним и выкатился из его номера.

И вот после такого отклика на просьбу спасти от гибели его друга и ценимого им поэта Эренбург, преждевременно почуявший «оттепель», роняет в своих мемуарах* слезки над Мандельштамом. Но чего можно ожидать от человека, согласившегося в качестве борца «за дело мира» прикрывать на международной арене своим еврейским именем сталинский антисемитизм во время самого его разгула?

Чтобы закончить этот отрывок, скажу, что «суд» состоялся. Председательствовавший на нем А. Толстой явно не старался добавить что-либо от своего личного усердия к лаю шавок из Союза писателей, спущенных на Мандельштама. Даже и на символическую пощечину, полученную им от О. Э., он не ответил ничем, могущим дополнительно сгустить нависшую над ним тучу.

Зато тучу, висевшую над Эренбургом, — уж не знаю, с чьей помощью — пронесло. — Ему вновь разрешили проживать в Париже. Оказанные ему милость и доверие он поспешил оправдать. В скором времени в «Известиях» появилась большая его корреспонденция. В начале ее сообщалось, что в Москве нередко на тротуарах можно наблюдать очереди, стоящие перед пустым местом. Это — очереди на такси. А вот в Париже таксомоторов ожидать не приходится, но зато там сколько-то тысяч их безработных водителей. И дальше на протяжении целого газетного подвала или двух расписывалось, как все в СССР хорошо и как все во Франции плохо**.

Русские стихи

В доме Герцена, где наряду со знатными представителями советской литературы, но, конечно, в совсем других условиях, проживали и отверженные, одним из соседей Мандельштамов был С. А. Клычков. Его я часто встречал у них, обычно заметно подвыпившего. Люди, вышедшие «из народа», любят прикидываться перед ученой публикой мужиками. Не чужд был этой склонности и С. А. Поэтому он после первого же знакомства решил задирать меня, вернее — оглушать чушью, в которую он сам будто бы верил. — «Вот ведь, по-вашему, никаких чудес на свете не бывает. А моя бабушка сама видела, как сухой куст калины на лесной поляне вдруг ни с того ни с сего сам собой загорелся». Или еще рассказывал, что на какую-то девку из их деревни «находило», что у нее изо рта начинали выпрыгивать лягушки и т. п. «Вот вы, небось, не верите этому, а чудеса-то бывают». Раскусить этот эпатаж было не очень мудрено. Я отвечал ему, что-де почему же мне не верить, раз это было на самом деле, и что его бабушке, как свидетелю, я доверяю ничуть не меньше, чем самому ученому разученному.

* Мемуары И. Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» впервые были опубликованы в журнале «Новый мир» (1960. № 9; 1961. № 1, 9; 1962. № 5; 1963. № 1).

** На улицах Парижа // Известия. 1934. 10 февр.

После нескольких попыток вызвать меня на дискуссию с целью показать тщету и ничтожество науки Клычков понял, что из этой затеи со мной ничего не выйдет, и прекратил свои наскоки. А человек он был очень хороший и талантливый.

Однажды в каком-то споре с Мандельштамом он сказал ему: «А все-таки, О. Э., мозги у вас еврейские». На это Мандельштам немедленно отпарировал: «Ну что ж, возможно. А стихи у меня русские». — «Это верно. Вот это верно!» — с полной искренностью признал Клычков.

Еще бы это было неверно! Для меня Мандельштам не только великий поэт, но именно великий русский поэт. Все им написанное так целиком в духе русской поэзии, что невозможно вообразить, чтобы его стихи были прекрасным переводом поэта-француза, немца или поэта какой угодно другой страны. Их мог написать только русский поэт.

Очень трудно, может быть, даже невозможно сказать, что же так особенно выделяет нашу литературу и чем определяется принадлежность к ней настоящего русского поэта. Быть может, это — особо острое и трепетное восприятие природы, вообще ландшафта, или неодолимая тяга ко всему стихийному. Но больше всего, по-моему, это — сильнейшее ее моральное напряжение. И, конечно, всякий большой поэт должен обожать язык, на котором он пишет, быть зачарованным его звучанием, звуковой и смысловой магией его слов, игрой и переливами их значения. Поэтому он не может быть дву- или многоязычным.

В Польше в междувоенные годы, особенно в период так называемой «санации», отличавшийся крайним развитием национализма и шовинизма, еврейское происхождение Юлиана Тувима давало повод для самых отвратительных выпадов против него как против польского писателя. Тувим героически и с остервенением отражал их. Он с самым полным правом считал себя польским поэтом. Обладая лингвистическими способностями и зная несколько языков, получивши образование в русской гимназии и по-настоящему понимая все очарование русской поэзии, сам он писал только по-польски. Это был его язык, и он любил его, как любит свой язык только поэт.

И стихи Мандельштама русские и никакие другие.

Вспомнив здесь о Клычковой, я все же сообщу еще один эпизод, связанный с ним, хотя и не относящийся к Мандельштаму. — Жена Клычкова* то ли работала в каком-то издательстве, то ли имела отношение к одной из литературных организаций. Однажды, когда она спала, позвонил телефон и кто-то попросил подошедшего Серг. Ант. позвать ее. Он, характерно окая, ответил: «Она спит». Тогда голос в телефоне сообщил, что это звонят из секретариата Горького. На это последовал новый ответ. — «И все-таки она спит». Кто не пережил те времена и не представляет себе бедственного положения опального писателя, не поймет всей дерзости такого ответа.

* Варвара Николаевна Горбачева.

Читателя! Советчика! Врача!

Еще до знакомства с Мандельштамом я слышал, что он человек очень трудный и с тяжелым характером. Как могло сложиться такое мнение? Думаю, что оснований для него могло быть достаточно. Посредственные люди не выносят в других положительных качеств, каких они лишены сами. Они не верят, что такие качества вообще существуют, и воспринимают чужую пронизательность, порядочность, щедрость, доброту и т. п. как притворство или ханжество. Но особенно они не переносят остроумия. Если принять, что самая чувствительная часть человеческого тела — карман и что самую быструю и острую реакцию обычно вызывает боязнь всякой материальной утраты, то на втором месте следует поставить страх перед насмешкой. А остроумный человек всегда в этом отношении потенциально опасен.

Дружба с Мандельштамом была тяжела и мне. Но по единственной причине. — Страшно было видеть, как он, словно нарочно, рвался к своей гибели. Во всех других отношениях он был, на мой взгляд, удивительно легок для самой тесной дружбы. И это прежде всего потому, что он был человек очень открытый и без дружбы просто дышать не мог. Именно тоской даже не о друге, а хотя бы только о собеседнике, о слушателе вызван его вопль:

*Читателя! Советчика! Врача!
На лестнице колючей — разговора б!**

Рождение новых стихов было для О. Э. всегда радостью, которую ему необходимо было с кем-то, и как можно скорее, разделить. Конечно, самым первым его читателем была Н. Я. Ее даже мало назвать читателем, так как обычно она, собственно, и писала стихотворения, т. е. записывала стихи или строфы, которые О. Э. произносил после сосредоточенной внутренней работы, сопровождаемой бормотанием, мычанием, выкриками отдельных слов, шаганием по комнате, беспорядочным курением, а иногда и пожевыванием какой-нибудь еды. При выборе одного из двух или нескольких вариантов он повергал их на суд жены, с которым, впрочем, часто и не соглашался. Но готовое и прошедшее строжайшую собственную оценку стихотворение было необходимо прочитать кому-либо из друзей. Всегда новые стихи, написанные в годы 1930—1934, прослушивал и я.

Я считаю, что слабых, а в молодости — незрелых стихотворений у Мандельштама вообще не было. И это удивительно для поэта. Но тем не менее, я принимал не все написанное им. Не все его стихи звучали для меня одинаково. Допускаю, что установленные мною категории очень субъективны, но я их различал и к первой, абсолютно преобладающей, я относил стихи (и, конечно, прозу), в которых автор предстоял

* Строки из стихотворения О. Э. Мандельштама «Куда мне деться в этом январе?»

передо мной весь полностью. Их нельзя воспринимать отдельно от всего его облика. При их чтении кажется что О. Э. должен был их написать, что они необходимы как некий особый ракурс, без которого его портрет был бы обеднен. И эти стихи прежде всего беспощадно правдивы, непререкаемо убедительны. В них я узнаю или с ними сопоставляю свои собственные переживания, или через них становится видимым то, мимо чего я до тех пор проходил без внимания. Но всякий человек может увлечься и чем-то для него случайным. Даже увлечься сильно и, как ему кажется, искренне. Однако этот предмет остается для него все же только внешним, представление о нем поверхностным, иногда подсказанным кем-то, не результатом озарения после настоячивых и мучительных возвращений к нему, а иногда и обидно неверным. Когда это происходит с художником, то это не может не отразиться на поэтической силе его творения. Происходило это и с Мандельштамом. И я замечал, что в стихах и в прозе, относимых мною к этой категории, он бывает особенно прянен и расточителен в эпитетах, образах и сравнениях, не имеющих, на мой взгляд, безусловной убедительности.

О. Э. прекрасно сознавал свою поэтическую силу. Тем не менее, он, как ребенок, тянувшийся к сладенькому, хотел полного признания того, что он написал. При честной нашей дружбе я не всегда мог доставить ему эту радость и в этих нечастых случаях был с ним вполне правдив. Он тогда явно огорчался. Возражал. А затем словно упрашивал: — «Да нет же, Б. С., стихи хорошие. Ну послушайте», — и снова читал написанное. — «Ведь хорошо!» Мои протесты лишь в редких случаях имели последствием внесение некоторых небольших поправок. Но и сам я не изменил своего отношения к тому, что мне казалось написанным не в полную силу Мандельштама.

Однажды утром О. Э. прибежал ко мне один (без Н. Я.), в сильном возбуждении, но веселый. Я понял, что он написал что-то новое, чем было необходимо немедленно поделиться. Этим новым оказалось стихотворение о Сталине*. Я был потрясен им, и этого не требовалось выражать словами. После паузы остолбенения я спросил О. Э., читал ли он это еще кому-нибудь. — «Никому. Вам первому. Ну, конечно, Наденька...» Я в полном смысле умолял О. Э. обещать, что Н. Я. и я останемся единственными, кто знает об этих стихах. В ответ последовал очень веселый и довольный смех, но все же обещание никому больше эти стихи не читать О. Э. мне дал. Когда он ушел, я сразу же подумал, что немислимо, чтобы стихи остались неизвестными по крайней мере Евг. Як. (брату Н. Я.) и Анне Андр. при первой же ее встрече с О. Э. А Клычкову? — Нет, не сдержит он своего обещания. Слишком уж ему нужно

Читателя! Советчика! Врача!

Буквально дня через два или три О. Э. со сладчайшей улыбкой, точно бы он съел кусок чудного торта, сообщил мне: «Читал стихи (было понятно, какие) Борису Леонидовичу». У меня оборвалось сердце. Конечно, Б. Л. Пастернак был вне подо-

* Речь идет о стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны...», написанном в ноябре 1933 г.

зрений (как и Ахматова, и Клычков), но около него всегда увивались люди (как и вокруг О. Э.), которым я очень поостерегся бы говорить что-нибудь. А самое главное — мне стало ясно, что за эти несколько дней О. Э. успел прочитать страшные стихи еще не одному своему знакомому. Конец этой истории можно было предсказать безошибочно. Даже несколько удивительно, что в надлежащее место стихи попали только через год.

Необъяснимый поступок

Познакомившись с Мандельштамом только в 1930 г., я не могу представить себе его без Над. Як. Они были всегда вместе. Вдвоем они, за редкими исключениями, приходили ко мне. Обоих их я всегда заставлял, придя к ним. С обоими шел куда-нибудь. Очень часто супруга друга бывает принудительным дополнением. Никогда я не воспринимал Н. Я. как такое дополнение. Мне даже и не приходила в голову мысль, что я дружу с кем-то одним из них. Предмет наших разговоров нисколько не изменялся в зависимости от того, были ли мы вдвоем или втроем. Разве что только с О. Э. мне иногда приходилось в повышенном тоне разговаривать по поводу какого-нибудь его очередного заскока. С Н. Я. таких разговоров не бывало, так как она никаких химер не придумывала.

В 1934 г. отправился в ссылку О. Э., а весной 1935 забрали меня. Выйдя через два с лишним года из лагеря, я списался с Мандельштамами, приехавшими тогда в Москву. Но мы успели обменяться лишь немногими письмами, так как вскоре О. Э. был арестован и отправлен в лагерь на Колыму. В начале 1938 г.* Н. Я., зная, что первые вести от О. Э. из этого лагеря придут нескоро и что зимовать ему придется где-то близ Владивостока, приехала ко мне в Шортанды. Она договорилась с братом, что он немедленно оповестит ее, если что-либо узнает об О. Э. Находясь у меня, Н. Я. по памяти записала все не напечатанные стихотворения О. Э. и оставила эти записи у меня. Ее память удивительна. Но после выхода американского собрания сочинений Мандельштама я увидел, что все же она сохранила в памяти не все. Откуда же тогда стали известны стихи, отсутствующие в моем списке? — Всего вероятнее, что у Н. Я. существовала и другая запись. Тогда отпадает и вопрос о расхождении, чаще небольших, но иногда и существенных, между текстом опубликованным и сохранившимся у меня**. Первый, вероятно, более достоверен. Но, может быть, и не всегда.

* Н. Я. Мандельштам гостила у Б. С. Кузина в ноябре-декабре 1938 г. (см. комментарий 17 на с. 749 наст. изд.).

** В личном архиве Б. С. Кузина записи текстов стихотворений О. Э. Мандельштама, сделанные рукой Н. Я. Мандельштам, отсутствуют.

Не помню точно, сколько времени Н. Я. пробыла у меня. Однажды от ее брата пришла телеграмма, извещающая о смерти О. Э. Н. Я. немедленно выехала в Москву*.

После ее отъезда между нами установилась очень постоянная и частая переписка. Весной 1945 г. я, по пути в Сталинабад (до того и теперь Душанбе), остановился у нее в Ташкенте, где она жила во время войны. С тех пор я больше с ней не встречался, но наш обмен письмами продолжался.

И вот произошло нечто, лишенное всякого основания и смысла. В один из послевоенных годов я эту переписку оборвал. Без всяких объяснений, так как объяснить свое поведение мне было нечем. И мало того, что без объяснений, — с полной уверенностью, что буду заподозрен в трусости. — Ведь в это время вторая волна сталинского террора как раз набирала свою полную силу и такое подозрение напрашивалось само собой. Я не имел в жизни случая проявить героизм. Поэтому я не могу утверждать, что трусость мне чужда. Но я хорошо знаю, — сознание, что я совершил постыдный поступок, было бы для меня непереносимо. Я и до сих пор не понимаю, что заставило меня прекратить переписку с Н. Я. Очень твердо помню, что все наши письма были самые дружеские. Никаких споров мы в них не вели и поэтому обидеть друг друга не могли. Мой поступок мучил меня, и я искал для него всяких объяснений. Возможно, в то особенно мрачное время постоянные мысли о мучениях О. Э. перед смертью стали для меня совсем непереносимы, и я, бессознательно спасаясь от боли, сторонился от всего, что эти мысли вызывало. Но я не уверен, что это объяснение справедливо. Сведения о Н. Я. доходили до меня из разных источников. Каждый раз, слыша о ней, я вспоминал о своем безобразном поступке. Но я не пытался восстановить наши отношения, хотя я думаю, что это было бы возможно, если бы я написал Н. Я. приблизительно то, о чем говорю сейчас.

Одно только я вижу положительное последствие своего необъяснимого поведения. Как мне передавали, вокруг Н. Я., живущей теперь в Москве, образовалось подобие литературного или литературоведческого салона. Возник он, вероятно, на почве подготовки к печати сочинений Мандельштама. Я однажды описал (в воспоминаниях о Н. Д. Леонове)** как судьба уберегла меня от вступления на «литературное» поприще. Если бы я продолжал свои отношения с Н. Я., то неминуемо вступил бы в какие-то связи с теми, кто создают — иного слова я не могу найти — культ Мандельштама. Я не люблю ни салонов, ни культов. Об О. Э. я хочу сохранить воспоминание как о самом мне дорогом друге. А объект культа — тем самым уже не друг. И я не совсем уверен, что издания стихов и прозы Мандельштама следовало добиваться. Ведь если бы они были у нас теперь напечатаны, то в каком изуродованном виде!

* По письмам Н. Я. Мандельштам к Б. С. Кузину с 30 декабря 1938 г. по 30 января 1939 г. последовательность этих событий представляется иначе.

** См. с. 128—130 наст. изд.

Увидав американское издание Мандельштама*, я вздохнул с полным облегчением. Его творения не потеряны. Пусть они будут трудно доступны русскому читателю хотя бы и еще сто лет. В великой русской литературе место Мандельштама сохранено навсегда.

Две поправки

Только две, потому что я не успел прочитать всю рукопись Н. Я.

1. Н. Я. пишет, что А. А. Морозов сообщил ей, будто я совсем не был знаком с «Путешествием в Армению». Это неверно. У меня за время моих странствий по Казахстану пропал оставшийся в Москве номер журнала, в котором оно было напечатано. Но знал я «Путешествие» очень хорошо еще до его напечатания и о многом в нем спорил с О. Э.

2. Неверно, что я заявил на следствии, что я хочу смерти своей матери. Н. Я. забыла мой рассказ об этом. — Следовательно, как обычно, всячески меня заставлял. Обещав загнать меня куда-то чуть не на всю жизнь, а то и расстрелять, он, тоже традиционно, воскликнул: «Подумайте, что будет с вашей матерью! Как она это переживет?» На это я ему ответил: «Она этого не переживет. Я знаю, что она умрет. Но что же я могу сделать?» — Сделать-то, конечно, было известно что.

Октябрь 1970

* Б. С. Кузин мог быть знаком с двумя американскими изданиями сочинений О. Э. Мандельштама, подготовленными Г. Струве и Б. Филипповым. 1) Собрание сочинений. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. 2) Собрание сочинений: [В 4 т.]. — Вашингтон; Нью-Йорк. — 1964—1969.

СЛУЧАЙ НА ТРАМВАЙНОЙ ОСТАНОВКЕ

Теперь, нужно думать, городской транспорт в Алмате наладился. А когда я там жил, трамваи ходили очень редко. Ждать нужного номера на остановке приходилось минут по двадцать, по полчаса. Не помню сейчас точно, в каком из послевоенных годов это было. Я возвращался из города, где был по каким-то делам, к себе на Каргалинское шоссе после окончания рабочего дня. Был усталый. О путешествии в переполненном трамвае думал без всякого удовольствия. Да еще и от последней его остановки надо было до дому идти километра два. Когда подходил к остановке у базара, мой трамвай как раз отошел. У усталого человека все эмоции ослабляются. Поэтому и неудачи не так досаждают. Я дошел до обезлюдевшей остановки. Скамейки на ней, чтобы присесть, не было. Я покорно начал свое ожидание.

Одним из первых пассажиров на следующий трамвай оказалась одна женщина. Она вышла из ворот базара с большой корзиной, не совсем наполненной яблоками. Одежда была просто, но добротно и опрятно, и по-простому повязана платком. Лет ей могло быть 35—40, может и немного побольше. Лицо у нее было спокойное, чистое и румяное, очень русское, несомненно красивое. Глаза голубые. Все эти наблюдения над ней я сделал после того, как она обратилась ко мне. До этого от усталости просто пребывал в полном безразличии ко всему окружающему.

Женщина подошла ко мне, поставила на землю свою тяжелую корзину, поправила платок и, точно здороваясь, слегка мне улыбнулась и спросила:

— Трамвай, однако, недавно ушел? — («Однако» в Алмате, как и в Сибири, употребляется в значении «вероятно», «наверно», «пожалуй» и т. п.)

— Да вот только что.

— Ну ладно, подождем.

И она скрестила руки и стала спокойно ждать, смотря прямо перед собой и не сгоняя легкой улыбки с лица.

А оно было такое, что, взглянув на него, я уже не мог оставаться в своем оцепенении. Я с самого детства с любопытством рассматриваю лица людей на улицах, в вагонах поездов и трамваев и вообще при всяких случайных встречах. И всегда разга-

дываю загадку: — чем этот человек занимается? кто он? какой? на что способен? что пережил? Лицо моей соседки выражало прежде всего мирное и благожелательное спокойствие. Кем она могла быть? — Во всяком случае жила она в достатке, по крайней мере в таком, при котором могла носить платье и обувь не бедные и не поношенные. В ее лице и в фигуре не замечалось следов лишений или изнурения работой. Наоборот, такую в простонародье скорей называли бы «гладкой». Женщина была явно местная, а не приехавшая в Алмату во время войны и еще не успевшая реэвакуироваться. Этим приезжих всегда было легко узнать. Можно было предположить, что на базар она приехала продавать яблоки из своего сада, но так и не продала их. А может быть, эти яблоки, наоборот, купила и везла их домой. Мне, усталому, во всяком случае, было словно отдыхом смотреть на это красивое, спокойное и приветливое лицо.

Тем временем народу на остановке заметно прибавилось. Я уже начал более реально думать о предстоящем штурме трамвая и оценивать с этой точки зрения накапливающуюся толпу. А моя соседка стояла все так же спокойно и все так же смотрела прямо перед собой.

В Алмате в то время, как и в других городах, было еще очень много ужасных остатков людей. Я бы мог сказать — инвалидов войны. Но это было бы не совсем точно. Инвалиды в более или менее обычном значении этого слова были, конечно, сами собой. Но для части их такое обозначение было слишком слабым. Это были именно остатки людей. Не обязательно безногие или безрукие обрубки или люди со сплошным рубцом на месте лица, но иногда и совсем не изуродованные телесно, а искалеченные нервно или психически. Говорят, что их в одно прекрасное время всех куда-то прибрали, чтобы они не портили своим видом и поведением респектабельность наших городов. А скорей, я думаю, они сами все перемерли в результате уже имевшихся у них увечий, действие которых усиливалось страшным пьянством, — единственной оставшейся на их долю утехой.

И вот я увидел, что по направлению к остановке шло некое существо. Оно передвигалось с помощью судорожного выбрасывания вперед одной ноги, тогда как другая, с вывернутой в сторону ступней, волочилась как-то сзади и сбоку. Голова этого человека была задрана высоко кверху. Из рта, издававшего нечто вроде рычания, перемежавшегося нечленораздельными выкриками, на нижнюю часть лица и далее — на грудь вытекала пенистая слюна. Из носа, разбитого, по-видимому, при недавнем падении, шла кровь. Вытаращенные глаза смотрели совершенно бессмысленно и слезились. Вся фигура, не исключая рук и лица, была одноцветно серая от пыли. Про одежду можно было сказать только то, что она была изодранная, смятая и грязная. Формы ни одна ее часть не имела никакой. За пояс была заткнута какая-то огромная, столь же серая и бесформенная тряпка, значительная часть которой волочилась по земле.

Увидела это существо и голубоглазая женщина. На ее лице мгновенно появилось выражение ужаса и боли. Она рванулась, показала мне пальцем на свою корзину, бросила полушепотом: «Присмотрите!» и пустилась бегом к этому человеку.

Подбежавши к нему, она схватила его за плечо, отчего тот остановился. Потом вынула свой носовой платок и стала вытирать им его лицо, затем быстро подбежала к стоящей рядом водопроводной колонке, сполоснула платок и, вернувшись, принялась снова отирать слюну и кровь с подбородка, с шеи и с рубахи. Вдали показался трамвай, но я уже не мог рассчитывать уехать на нем, так как теперь мне нельзя было отойти от корзины с яблоками.

Глядя на всю эту сцену, я был уверен, что владелица корзины узнала в ужасном незнакомце какого-то своего близкого родственника, может быть, сына, брата, мужа (возраст его, да еще на не очень близком расстоянии, определить было нельзя), и почувствовал острую жалость к женщине, несущей такой тяжкий крест. — Ведь субъект этот казался совсем невменяемым. И я представлял, как трудно ухаживать за ним.

Между тем женщина, отерши его лицо, выдернула засунутую за его пояс большую тряпку, которая оказалась не то пиджаком, не то ватником, и принялась энергично отрясать ее от пыли. Сделавши это, она с большими усилиями натянула эту одежду на паралитика, еще раз выполоскала свой платок и опять отерла им все его лицо. После этого она оставила его и бросилась к охраняемой мною своей корзине. Лицо ее сохраняло выражение боли, и она бормотала про себя: «Несчастный, несчастный!» Нагнувшись над корзиной, она достала из нее и положила в свой передник с десятков яблоков и снова, не переставая шептать «несчастный, ах несчастный», побежала к зашагавшему в сторону страшному человеку, догнала его и принялась рассовывать свои яблоки по карманам его одежды. Закончив это, она остановилась и некоторое время стояла, глядя ему вслед. Потом медленно вернулась ко мне на вновь опустевшую после ухода трамвая остановку. И опять все приговаривала свое: «Несчастный, ах несчастный». Я спросил ее:

— Скажите, вы знаете этого человека?

— Да нет, откуда же. Несчастный, несчастный.

Потом улыбнулась виновато и спросила:

— А вы из-за меня трамвай пропустили?

— Да ничего, ничего.

— Да как же ничего? — Ведь они так уж редко ходят.

Потом постояла еще немного и сказала:

— Уж я, однако, не буду его ждать.

Подняла свою корзину и пошла.

А я остался ждать трамвая. Но уже не думал о том, как мне удастся втиснуться в него. И в дороге не замечал давки. И потом шел с остановки домой, хотя и измучен-

ный, но совсем не думая о своей усталости. И весь вечер делать ничего не мог, а только вспоминал эту женщину с голубыми глазами. И утром, проснувшись, прежде всего припомнил все, что видел вчера.

В моей жизни были события огромного для меня значения. Об одном из них я здесь рассказал. Эту женщину, виденную мною несколько минут и почти ничего не произнесшую, я не забуду никогда.

1965

AVE MARIA

На Шортандинской сельскохозяйственной станции, где я прожил с середины 1937 г. почти до конца 1944, электричества не было. Там завели радиостанцию с питанием от автомобильного аккумулятора. Репродуктор установили и в моей комнате. А управлял радиопередачей один из агротехников. После вечерних последних известий он елозил по эфиру, ловя в нем передачи по своему вкусу, чаще всего обрывки разных передач. В годы, предшествовавшие войне, эфир был мутен и тревожен, как было мутно и тревожно все в мире. Сидя вечером в своей комнате за каким-то чтением или писанием, я устал и включил свой репродуктор. Лечь спать было бы проще всего. Но я знал, что пока не засну, буду видеть свое окно или стену против него, а значит — и свет от фар автомобиля, когда он свернет в направлении к нашему дому. Если через несколько секунд свет пропадет, это будет означать, что машина наша и что, свернув еще раз, она пошла к гаражу. Так и бывало почти всегда. А если свет будет усиливаться, — значит, машина не наша и направляется к дому, где я жил. А чья она могла быть очень поздним вечером и зачем идет к нам, — предположение на этот счет было всегда одно. И это ожидание заставляло не торопиться с отходом ко сну. Работа не шла, и я сидел и слушал радио. На разных языках выливались в эфир все те же страшные и вонючие помои.

И вдруг пошла музыка. Такая прекрасная, что даже и радиоправитель, слушая ее, не стал искать чего-нибудь новенького. Музыка текла спокойно, задумчивая, грустная, полная такой человеческой печали, а вместе с тем и такой отрешенности от всего земного, что грязь, разлитая по всему миру, не могла ни пристать к ней, ни затруднить ее течение. Музыка была надо всем, что не было музыкой. Она несла веру и успокоение душам, отравленным ложью и истерзанным страхом. Когда она замолкла, было объявлено, что радио Ватикана закончило свою передачу.

Эта музыка была Ave Maria Шуберта.

Янв. 1972

ЗАПИСКИ ЗЕВАКИ

1. Забритый ус

Жизнь на каждом шагу ставит перед нами загадки. А некоторые из них такие, что их и до самой смерти не разгадаешь, хотя и много о них думаешь. Вот одна такая.

В парикмахерской, где я брил голову, соседнее с моим место занял бравого вида старик с седой головой, бородкой и усами. Севши в кресло, он обстоятельно разъяснил парикмахерше, что ей надлежит сделать с его растительностью, особенно с усами. И специально добавил:

— Только смотрите, не забрейте мне правый ус.

Парикмахерша сказала:

— Да нет, зачем же. Не забрею.

— Вот «не забрею». Я всегда предупреждаю насчет этого, а то и дело забривают. И как раз всегда этот ус.

Помнится, в этом разговоре меня заинтересовало новое для меня значение глагола «забрить», а также вопрос, почему моему соседу было так важно предотвратить такую небольшую и легко исправимую погрешность. Добавлю, что я вообще зевака и что в общественных местах меня всегда занимает разглядывание людей и угадывание по их виду и поведению, кем они могут быть, какой у них характер и тому подобная чепуха, совсем меня, собственно, и не касающаяся. Но ничего не поделаешь с таким своим праздным любопытством.

Но вдруг мой сосед по креслу стал внимательно глядеться в зеркало, поворачивая поочередно голову направо и налево, а потом с досадой воскликнул:

— Ну вот и забрила!

— Да как же забрила? Совсем ровно: что правый, что левый.

— Ну как же ровно? Разве не видно, — правый забрит. А главное, ведь нарочно предупреждал. Говорю: не забрейте правый... И еще спорит! Ну, забрила и забрила. Так и скажи прямо. Чего же тут отпираться, когда сразу видно.

— Господи! Да ведь правда же оба ровные. Ну, хотите, давайте подбрею левый.

— Да что «подбрею, подбрею»? Теперь уже испорчено. Нет, — главное ведь нарочно обратил внимание. И чего же тут спорить?

Парикмахерша прекратила свои возражения. Но ее клиент никак не мог успокоиться и до конца операции бормотал, следуя своим мыслям:

— Ведь, главное, специально предупредил... И еще спорит. «Давайте подбрею»... Уж я знаю, если наперед говорю... Специально сказал: не забрейте прывый...

Так и встал со своего места, явно расстроенный. И не переставал ворчать. А я все силился понять, почему он так рассержен и какие его планы разрушил злосчастный забритый ус. А ведь они были, нужно думать, очень важные.

И до сих пор я часто вспоминаю об этом инциденте и ломаю голову в догадках. И за столько лет, чувствую, нисколько не продвинулся вперед в решении вопроса, вставшего передо мной в тот день. Нет, жизнь не так проста, как многие думают.

2. Дипломат

А все же возникшие случайно загадки иногда разрешаются. Какие сами собой, а какие после того, как над ними подумаешь.

В трамвае, ходившем прежде по Никитской (теперь ул. Герцена), я иногда встречал человека, наружность которого привлекала мое внимание. Роста он был среднего и лет средних. Одет в хороший костюм, что по тем временам бывало нечасто. При крупных чертах его лицо было некрасиво, но оно свидетельствовало о большом уме, было спокойно, а главное — имело значительное выражение. Такое могло принадлежать высокопоставленному дипломату, большому ученому, крупному инженеру, солидному предпринимателю и т. п. Встречая его в трамвае, я несколько недоумевал, почему такая, явно значительная, персона скромно пользуется общественным транспортом, а не ездит в автомобиле. Все мои домыслы относительно его возможного занятия рухнули сами собой, когда я в один прекрасный день в том же трамвае встретил его одетым... в швейцарскую ливрею гостиницы «Националь».

3. Как в театре

Около алматинского базара, на котором мне часто приходилось бывать для покупки харчей, было две остановки автобусов двух разных маршрутов. Расстояние между ними было не настолько велико, чтобы слабо различать с одной людей, находящихся на другой, но и не так мало, чтобы слышать их разговоры. Однажды, сидя на одной из них, я увидел, что к соседней подошли двое мужчин и одна женщина. Между мужчинами происходил оживленный разговор, в который иногда вступала и

их спутница. Повторяю, что слышать их слова я не мог. Но сразу же обратил внимание на очень энергичную жестикуляцию обоих мужчин, на большую роль рук в происходившем между ними диалоге. Они то разводили ими в стороны, то выбрасывали одну или обе вперед, описывали ими всякие фигуры, иногда довольно сложные, хлопали себя по бедрам или стучали кулаком в грудь, похлопывали друг друга по плечу, брались за пуговицы или лацканы пиджака собеседника. Разговор их происходил стоя, но стояние было не неподвижное. Они то попячивались на несколько шагов назад, то сближались, как бы исполняя некоторое подобие менуэта. Но постоянное их пошатывание не позволяло сомневаться, что они заметно выпивши. Я построил для своего пользования очень вероятную гипотезу. — Скорей всего супружеская пара провожала какого-то своего гостя. Или наоборот — хозяин вышел проводить на остановку чету своих гостей. В обоих случаях гости были приняты, как их полагается принимать.

Но ни их, ни мой автобус не приходил. Продолжавшееся зрелище с одной стороны и вынужденная моя праздность — с другой толкали меня на дальнейшие размышления, связанные с наблюдаемой сценой. В поведении этих людей было нечто очень мне знакомое, но из совсем другой области. И я стал думать: из какой же? Прежде всего, что в нем бросалось в глаза? Чем оно отличалось от поведения находившихся на той же остановке трезвых людей? Ответ был прост. — Разговаривая, они усиленно жестикулировали. При этом все их жесты были сильно преувеличены против нормы, были аффективированы. Но где же еще наблюдается чрезмерная аффектация? — Боже мой, — да в театре! Она и составляет самую характерную черту всякого актерского выступления. Где еще в жизни можно найти такой широчайший диапазон модуляций силы голоса от едва слышного шепота до иступленного крика, скорости речи — от одного слова в минуту до скороговорки, невыполнимой без специальной тренировки. То же самое относится и к жестам актеров. В реальной жизни такая аффектация наблюдается только у пьяных. Их-то я и видел в данный момент перед собой. Они-то, сами этого не подозревая, раскрыли мне главнейшую особенность поведения актеров на сцене и на эстраде. — Оно ненатурально. Но у пьяных такая ненатуральность появляется как необходимый результат воздействия определенных химикалий на нервную систему. И оно всего только немного комично при наблюдении со стороны. Актеры же считаются служителями искусств. Больше того, — почему-то с некоторых пор в нашей стране широкое понятие артист, обозначающее всякого художника вообще, применяется почти исключительно к работникам сцены. Но о сущности театрального искусства и об актерях как художниках нужно говорить больше, чем допускают рамки этих наблюдений праздного человека в общественных местах. И я покамест только поблагодарю двух нетрезвых товарищей за их посильный вклад в освещение одного из очень интересных для меня вопросов.

4. Меломанки

Любовь к музыке, как и все другие симпатичные качества, необычайно характерна для советского человека. — Сразу же оговорюсь: для типичного. У нас, к сожалению, еще остались люди, не могущие расстаться с дурными качествами, крепко забытыми в них в виде наследия мрачного прошлого нашей родины. Но таких людей становится с каждым годом все меньше, и они уже перестали быть типичными. А раз так, то их и не следует изображать в нашей художественной литературе. Я, конечно, не литератор. Но раз уж что-то пишу не научное, то считаю и для себя обязательными указания, спущенные директивными органами для руководства членам Союза писателей. И, описывая случайную встречу с двумя любительницами музыки, делаю это в порядке изображения вполне типичных черт наших людей.

Только прошу извинения. — Место этой встречи — опять та же самая автобусная остановка близ алматинского базара, и произошла она приблизительно в те же годы, что только что описанная под заголовком «Как в театре». Такое однообразие, конечно, немного скучновато. Но, с другой стороны, оно лишней раз свидетельствует о правдивости моих историк, не позволяющей мне ради увеселения читателя присочинять в них что-то от себя.

Когда я в один летний день в очередной раз упражнял свое терпение, ожидая автобуса, к скамейке, на которой я сидел, подошли две дамы, тоже возвращавшиеся с хозяйственными закупками с базара. На скамейке оставалось еще достаточно места для них обеих. Они сели и продолжали разговор, который вели до прихода на остановку. Его темой была музыка, т. е. предмет, очень близкий мне самому. Поэтому понятен и мой интерес к их разговору. К сожалению, они говорили только о музыке вокальной и преимущественно об оперных ариях. И даже скорей не о самой этой музыке, а больше о ее исполнителях. Я же с этим разделом музыки совсем мало знаком, а с оперными певцами и того меньше. Но все же я смог тотчас определить, что обе эти женщины не просто любят послушать музыку и знают имена известных теноров, баритонов, сопрано и т. п., но что они страстные любительницы пения. И также я понял, что одна из них коренная местная жительница и если когда-либо выезжала из Алматы, то недалеко, что-нибудь не дальше Ташкента. А другой посчастливилось пошире поехать по свету, но также все-таки в пределах того, что прежде называлось провинцией. Однако и этого было довольно, чтобы обогатиться музыкальными впечатлениями многим больше, чем это удалось ее собеседнице. Та только ахала при упоминании певцов, о которых знала только понаслышке или слышала их по радио или в граммофонной записи. И вот, словно дялясь со своей знакомой самым заветным своим сокровищем, более бывалая прозвнесла:

— А знаете, мне ведь удалось один раз слушать Собинова.

— Да что вы! Самого?

— Да. Еще до революции. Я тогда гостила у сестры в Самаре. И он там выступал на одном концерте. Попастъ было — ну прямо невозможно. Уж не знаю, как достали билеты. Но сколько теперь лет прошло, а я этого никогда не забуду.

— Да? Так хорош?

— Не говорите. Ведь я все-таки многих знаменитых певцов слышала, но до него всем далеко.

— Да, вот все, кто знает, так говорят. А что же в нем такого?

— Знаете, это даже и сказать трудно. Уж я про него самого и не говорю. Мне кажется, в него просто нельзя не влюбиться, когда его видишь. Но это уж другое дело. Главное, конечно, у него голос.

— Да, вот про голос все и говорят. Я и сама по радио слышала. Да разве по радио оно то? Какой он ни хороший приемник, а все не то, что живого слушаешь.

— Конечно, не то. И даже не скажешь, какой голос... Все-таки все тенора знаменитые, ну один позвончей, другой побархатистей, а этот... Ну как вам объяснить? Ну, весь он совсем особенный... Он у него, ну, сказать, весь как будто сливочным маслом помазанный.

Не знаю, помогло ли такое объяснение другой даме улучшить свое представление о голосе Собинова. Но меня оно восхитило. — Да, да! Именно так. Вот именно, будто он весь сливочным маслом... Это не хуже, чем придумал Маяковский, назвав знаменитого певца Леонидом Лознгриновичем. До чего же обогащают человека случайные наблюдения! Недаром Анатолий Франс, тоже, нужно думать, большой зевака, говорил, что его интересуют решительно все зрелища, кроме, разумеется, тех, что показываются на сцене.

5. Симпатичный автобус

В конце сороковых годов, при нехватке настоящих автобусов, в Алмате под перевозку граждан было приспособлено также несколько грузовиков, оборудованных для этого наподобие тех, в каких возят солдат, но с меньшей тщательностью. На остановке у базара автобус стоял до тех пор, пока не заполнялся до отказа пассажирами, что, впрочем, происходило довольно быстро. Однажды перед самым отходом такого автобуса в него залез запыхавшийся от бега пассажир. Довольный, что машина не ушла без него, он для полноты удовольствия захотел еще и закурить. Но, взяв в рот папиросу и доставши спички, спохватился и решил осведомиться, разрешается ли здесь курить. С этим вопросом он и обратился к шоферу, осматривавшему в это время колеса и ударявшего по покрывкам какой-то железкой. Шофер ответил:

— Можно, можно. В нашем все можно. И курить можно, и материться.

СРЕДСТВО ОТ ХАМА

Выйти победителем из столкновения с хамом — дело очень трудное. Главное преимущество хамы перед не-хамом состоит в богатстве арсенала его средств и способов действия. Он пускает в ход такие приемы, к которым те стесняются прибегать. Обычно люди не любят скандалов, а для хамы скандал — родная стихия. Нервы у него крепкие. А стыда не бывает. Хамство извечно, повсеместно, и надеяться, что оно когда-либо исчезнет, нельзя. Но раз уж какое-то зло неизбежно, то нужно, насколько это в наших силах, уменьшать его вредоносность. Для защиты от хамов я нашел один прием, который успешно использовал трижды. Он основан на положении, что хам существенно своеобразен только тем, что он повышено агрессивен. Во всем же остальном он посредствен, трафаретен и примитивен. Поэтому в сколько-нибудь необычной ситуации он теряется. В этот слабый его пункт и нужно бить. Вот примеры.

Первый случай произошел в ярославской главной гостинице. В очень холодный позднеговский день я приехал в Ярославль по служебным делам. Поезд пришел вечером. Было нужно где-то переночевать. Мой приезд был согласован с одним областным учреждением, которое было должно забронировать мне и приехавшему со мной нашему другому сотруднику места в этой гостинице. Дежурная администраторша, к которой мы адресовались, сказала, что для нас ничего не забронировано, а свободных мест нет. Не было их и в других гостиницах города. По крайней мере, так нам говорили. Было ясно, что свободные места имеются, но что предоставляются они по каким-то исходящим свыше указаниям. Поздним вечером добиться таких указаний было трудно. Во всяком случае, нам это не удалось. Тогда мне и пришла впервые в голову мысль ошеломить каким-либо способом чиновницу, непосредственно распоряжающуюся ключами от заветных мест ночлега. Я подошел к барьеру, за которым она восседала, и самым спокойным голосом, без малейшей тени раздражения или возмущения спросил, есть ли у нее расписание поездов.

Вопрос и спокойный тон, каким он был задан, показались ей подозрительным. Она ответила:

«Ну есть. А зачем оно вам?»

«Да просто посмотреть, в какое время отходят со здешнего вокзала всякие ночные поезда».

«А вам в какую сторону ехать?»

«Это безразлично. Нам нужно где-то провести нынешнюю ночь. Было бы лето, мы как-нибудь просидели бы до завтрашнего утра на скамеечке в сквере или на бульваре. Но ведь сейчас морозно. Нужно попасть в какое-то теплое помещение. Здесь, оказывается, устроиться нигде нельзя. Ну, сядем на любой поезд, а уж завтра будем пробираться домой со станции, до которой доедем за ночь».

На лице невозмутимой дамы появилось выражение беспокойства.

«Но ведь вы приехали по делу, в командировку?»

«Ну, конечно».

«Так как же вы сделаете свои дела?»

Я развел руками. — «Выходит, их нельзя сделать, раз здесь негде переночевать. Так разрешите взглянуть на расписание».

Женщина заерзала. Потом поднялась со стула, сказала, что сейчас с кем-то поговорит, и вышла из своего помещения. Вернувшись довольно скоро, она сообщила, что изыскала возможность устроить нас на ночь. Это устройство было мало комфортабельно. После я жалел, что согласился на него. Но тогда я был так упоен торжеством своей идеи, что мне уж не пришло в голову извлекать из нее большие выгоды. А я уверен, что если бы я заявил, что не привык ночевать в таких условиях, и продолжал просить расписание поездов, — эта тетка открыла бы для нас заповедные номера, имеющиеся в каждой гостинице. Можно не сомневаться, что на своем ответственном посту она привыкла противостоять увещаниям, просьбам, мольбам, требованиям, угрозам, привыкла отвергать или принимать взятки. Но она впервые столкнулась со случаем, когда претендент на место, по всей видимости, принявший ее ложь за чистую монету, хочет таким диким способом найти себе ночлег в тепле. Не боясь ответственности за допущение такой несурзацы и не сочувствие человеку, попавшему в тяжелое положение, сломали ее сопротивление. Действовала только совершенно необычная ситуация. Та самая, из-за которой баран приходит в оцепенение перед новыми воротами.

Второй раз я применил свой принцип в коммунальной квартире. Нашей соседкой по комнате в ней была одна дама, терроризировавшая в течение многих лет (большинство которых были сталинские) всех прочих жильцов квартиры. Она была не такая уж скверная по натуре, но крайне глупая, истерическая и скандальная, а кроме того сильно неряшливая. Скандалила она не только с соседями, но и с учреждениями, с какими имела дело: с поликлиникой, магазинами, домоуправлением и т. п. После ее бегства во

время войны в эвакуацию в ее комнате среди всякого хлама было обнаружено огромное количество бумажек-ответов на ее письменные жалобы. Можно вообразить, сколько же было устных!

Однажды мы навесили очень солидную книжную полку на стене, отделявшей нашу комнату от соседней. Один из больших крюков прошел стену почти насквозь, и у места его выхода отвалился небольшой кусок штукатурки. Обоев в ее комнате не было. Стены были крашенные. Соседка при первой же встрече с моей женой устроила ей скандал. Она потащила ее в свою комнату и показала кустарно залатанное ею место выхода крюка. Новая штукатурка лежала неровным слоем, а к тому же заплатку не удалось закрасить вполне под цвет остальной стены. Софья вопила, что пятно расположено как раз против места, за которым она обычно сидит за столом, и что она, таким образом, вынуждена на него смотреть и портить свои нервы. Она пыталась сделать дефект незаметным. Это не удастся. Теперь она принуждена заново окрасить всю комнату и вообще сделать полный ее ремонт, оплатить который должны мы. Вся комната была грязна и замызгана. Приводить ее в чистоту требовалось уже очень давно. Теперь ее хозяйке представилось удобным сделать это не за свой счет. Жена против этого плана возражала. Но я понял, что оспаривать претензии соседки будет трудно. Стена была повреждена все же нами, а вести тяжбу с этой женщиной было не по нашим нервам. Софья же, не добившись согласия жены на полный ремонт своей комнаты, решила попытаться счастья со мной. Когда в квартире кроме нее и меня никого не было, она изловила меня в коридоре и сказала, что хочет со мной поговорить. Я, сообразив, на какую тему будет разговор, с полнейшей любезностью изъявил на него свое согласие. Так же и я был затащен в ее неудобное и грязное жилище. Она сделала указующий жест рукой в направлении пятна на стене. — «Вот!» — Я с сокрушенной физиономией и с выражением полного сочувствия покачал головой: — «Да!» — Она взволнованным голосом стала объяснять, как ей невыносимо тяжело постоянно видеть это пятно. Для большей понятности наглядно продемонстрировала свою обычную позицию за столом. Предложила и мне сесть на этот стул и посмотреть на стену. Я сказал, что этого не требуется, чтобы понять весь ужас ее положения. С тем же волнением она понеслась дальше, аргументируя необходимость полного ремонта. Я безоговорочно согласился, что такой ремонт действительно нужен. Тогда она сделала решающий бросок, заявив, что оплатить его должны мы. — «Ну, совершенно ясно! А как же иначе?» — Софья была потрясена. Запас энергии, заготовленный для нападения на меня, не был израсходован. Она стала что-то бормотать вроде того, что ремонт, конечно, начнется не завтра, что она... Я пришел ей на помощь. Сказал, что когда ей будет удобно, тогда пусть и ремонтирует, а затем скажет, во что ей обошлась работа, и мы ее оплатим. Она стала еще что-то сбивчиво и виновато объяснять. Я со всем соглашался. Когда рассказал об этом разговоре жене, она возмутилась. — Стоимость ремонта, какую ей Софья назвала и о которой я не осведомлялся, была очень велика.

Я ответил, что порча нервов стоит много дороже. — «Ну, как хочешь. Пусть эта стерва радуется, что нашла дурака».

Ремонт был сделан года через два или три после этого разговора. Однажды Софья Моисеевна, опять выбрав время для объяснения наедине, спросила меня, помню ли я свое обещание. — «Ну как же! Конечно, помню. Сколько я вам должен?» Она с явным смущением назвала сумму. Я плохо запоминаю цифры. Помню только, что она спросила ровно в пять раз меньше того, что требовала от жены при разговоре с ней. Деньги были уплачены немедленно. Софья была явно довольна. Я торжествовал. Думаю, что и с жены она не требовала бы того, что назвала первоначально. Но спор, несомненно, укрепил бы в ней сознание своей правоты и желание проучить нас как можно чувствительнее. Само собой разумеется, что дело не обошлось бы без крика и скандала.

Третий пример. — Приятельница жены собиралась приехать погостить у нас в Борке. Мы, в свою очередь, должны были ехать в Москву и возвратиться приблизительно в то же время, когда намеревалась приехать она. Но по приезду в Москву узнали, что она уже взяла билет на поезд, отходящий на день раньше нашего обратного отъезда. Нужно было обменять ее билет. Это я и должен был сделать, покупая билеты для нас самих. В вокзальной кассе предварительной продажи попросил дать три билета до нашей станции, из которых один взамен взятого на предыдущее число. Кассирша заявила, что она этого сделать не может. Для обмена билета нужно написать заявление дежурному по вокзалу и получить его разрешение на это. Билеты я покупал достаточно задолго до дня отъезда. Поэтому опасенья, что обмененный билет не удастся продать, у кассирши быть не могло. Я знал, что процедура обмена не так проста, что искать дежурного можно очень долго, а главное — смысл всей этой канители непонятен, а потому она и противна. Попробовал уговорить кассиршу. Конечно, напрасно. Тогда сказал: — «Хорошо, дайте мне просто три новых билета».

— «Как три новых? А с этим что делать?»

«Да ничего. Я его выброшу».

«Но ведь за него заплачены деньги! Восемь рублей».

«Конечно. Но что поделаешь?»

Кассирша посмотрела на меня с крайним удивлением и даже с некоторой опаской. Потом, ничего не говоря, принялась нервно проделывать свои манипуляции с вырезанием и пробиванием билетов: одного, другого и... третьего. Деньги взяла за два. Подавить свою досаду все же не смогла. Сказала, что я, видно, очень богатый, раз могу так выбрасывать деньги. Я ей ответил: «Нет, я не богатый, а старый и усталый».

О ТЕАТРЕ И ОБ АКТЕРАХ

С тех пор, как телевизор по своему значению, распространению и обычности стал следующим после супружеской кровати предметом домашней обстановки, ребенок начинает смотреть зрелища раньше, чем он обучился орудовать ложкой или проситься на горшок. Но даже и до широкого внедрения телевидения еще очень маленьких детей начали водить на специальные, а то и не совсем специальные кинофильмы, устраивать для них всякие представления в детских садах. Во всяком случае, первая встреча ребенка с Дедом Морозом происходит теперь почти одновременно с проявлением первых признаков высшей нервной деятельности. Но во времена моего детства ребенок впервые видел сценическое действие гораздо позднее. Поэтому у моих ровесников, как правило, сохранилось воспоминание об обстановке первого виденного ими ярмарочного балагана, представления Петрушки, театра марионеток и т. п., а также о вызванных этими зрелищами эмоциях. Из сорокалетних людей первую встречу с театральной музой помнят лишь немногие, а десяти—пятнадцатилетнему мальчишке запомнить это событие так же трудно, как первое после сосания материнской груди вкушение манной каши.

Мои первые театральные впечатления относятся к возрасту хотя и детскому, но все же сознательному уже настолько, что они удержались в моей памяти. Они были очень сильны и восторженны. Но именно впечатления только детские. В начале юности театр меня уже в восторг не приводил, а чем позднее, тем все более становился мне чужд и просто неприятен. Это меня даже угнетало. Не потому, что уменьшало число источников наслаждения жизнью, но я стеснялся своей, как мне казалось, неполноценности.

Я познакомился с театром, когда мне было года три, или быть может четыре. Кажется, были получены в приложении к ранне-детскому журналу «Светлячок», а возможно, и специально куплены нарисованные на плотной бумаге цветные фигурки действующих лиц сказки «Красная шапочка», а также декорации сцен. Их надлежало вырезать ножницами и приклеить сзади к каждой фигурке кусочек пробки, чтобы она могла стоять. К пробке же прикреплялась и нитка, с помощью которой фигурку можно было тянуть к нужному по действию месту сцены. Мамин брат, дядя Паша, был большой любитель театра и даже сам в ранней молодости пытался играть на какой-то сцене. Кроме того, он любил устраивать всякие забавы для детей. Под его

руководством и с главным его участием прочие взрослые родственники — мои родители, другие дяди и тетки — вырезали все фигурки и декорации, приготовили из деревянного или картонного ящика сцену, размером по длине и высоте что-нибудь около полуметра. Ее установили на небольшом столе. А часть комнаты, находившаяся сзади стола, была отделена от зрительного зала сплошной занавеской из повешенных на веревки пледов и шалей.

Спектакль был поставлен вечером, так как, освещаемая поставленными с боков и немного спереди свечами, сцена выглядела эффектнее, а также, чтобы уменьшить возможность подглядывания за кулисы через щели между шалами. Впрочем, кажется, эта предосторожность была излишней. Зрители были так очарованы тем, что представлялось их глазам, когда раздвинулся занавес, что никакое любопытство к механизму наблюдаемого зрелища уже не умещалось в их головах. Никто из нас и не заметил странного сходства голоса серого волка с голосом дяди Паши, а Красной шапочки с голосом какой-то из наших тетушек. Нужно думать, что дети обладают фантазией, какую взрослым невозможно даже представить. — Довольно мне было видеть, как волк или Шапочка продвигаются в каком-то направлении, чтобы я уже довообразил должным образом, что они переступают ногами. Точно так же мне казалось, что при разговоре шевелятся их рты. Я допускаю, что, если бы мне были представлены неопровержимые доказательства, что говорил за волка и передвигал фигуру дядя Паша, я, пожалуй, еще мог бы этому поверить. Но не было способа убедить меня, что ноги и рты фигурок оставались в течение всего действия неподвижными. Я видел своими глазами, что они двигались. Очень хорошо помню, что даже года через три после этого спектакля, когда его механизм был в конце концов мною понят, я все же ломал голову над загадкой, как было устроено, что фигурки шевелили частями своего тела. настолько прочно засела в детском мозгу эта целиком вымышленная, не имевшая за собой никакой реальной основы иллюзия. Расстаться с ней окончательно я смог только уже значительно подростки.

Таким образом, первое увиденное мною театральное представление произвело на меня ослепительное впечатление, равного которому по силе я уже не испытывал до поры, пока не стал по-настоящему понимать искусство. Но это первое впечатление долгое время оставалось и единственным. После смерти в восьмилетнем возрасте от дизентерии моей старшей сестры Кати (я был на два года младше ее) наши родители, как и дядя Паша, напуганные этим событием и усмотрев его первопричину в нездоровых для детей условиях городской жизни (это в тихой-то Москве в 1909 году!), решили перебраться на постоянное жительство за город. Совместно с дядей Пашей была куплена зимняя дача в Удельной (30 верст от Москвы по Казанской дороге), и в нее мы переселились еще в декабре того года. Там и прошел остаток моего детства и начало ранней юности. Нас, детей, редко вывозили в Москву. По большей части — для лечения зубов. Во время таких выездов нас иногда водили в «кинематограф». Он

не имел ничего общего с теперешним кино, но примитивный комизм показывавшихся там коротких (по несколько за сеанс) картин нас очень веселил. Однажды меня и двоюродного брата Юрия (старших в нашей и в дядиной семье) родители взяли в оперный театр Зимина на воскресный дневной спектакль «Евгения Онегина». Театр этот был второсортный. Но это был первый в нашей жизни настоящий театр. На меня произвела сильнейшее впечатление вся обстановка зрительного зала. — Такая масса красного бархата или плюша, всяческой меди и бронзы, офицерских мундиров в партере, невероятной красоты занавес*. Был очень приятен запах духов и царивший даже над ним аромат апельсинов, дружно поедаемых всеми. Мы, конечно, тоже стали есть апельсины и сосать какие-то карамельки. Пожалуй, самым большим сюрпризом для меня оказалось огромное количество лысин, какое можно было наблюдать, глядя в партер из ложи амфитеатра. Почему-то мне очень захотелось попасть апельсиновой косточкой в какую-нибудь из них, и это желание вызывало ощущение сладкого холода в сердце и знакомого всякому трусу стыда, что у него заведомо нехватит порошу на такой отчаянный поступок. Ошеломили меня первые звуки настройки оркестра. Хотя и сам я настраивал свою скрипку, что помогло мне быстро понять значение внезапно поднявшегося рева, все же его первым эффектом был испуг, словно прозвучал сигнал пожара или какой-то подобной катастрофы.

Несмотря на мою любовь к музыке и на знание некоторых мелодий оперы, музыкальными впечатлениями меня это более полное ознакомление с ней не обогатило совершенно. Но зрительные были очень сильны. А особенно я был доволен уяснением для себя фабулярной стороны этого произведения Пушкина. Прочитал я его еще до посещения оперы, но цельного представления о нем составить себе не мог. Много в нем было мне вообще непонятно. Например, я не мог оценить, велики или малы были познания Онегина в латыни, если он был в состоянии разбирать эпитафии (и что такое эти эпитафии?), разговаривать с Ювенолом и т. п. Какую это науку страсти нежной воспел Назон и кто он был? Не знал я также, чем были замечательны бюст Дианы, щеки Флоры и нога Терпсихоры, как не знал, кто были их обладательницы. Вообще я не мог понять, какое отношение имеет первая глава «Онегина» к событиям, описываемым далее. Да и в других главах было много непонятного. — Зачем Татьяна ходила в усадьбу Онегина? Что она нашла интересного в увиденном ею там и т. д. Опера же сразу ввела меня *in medias res***. Все сразу стало на свои места. Стало понятно, из-за чего сыр-бор загорелся и что, собственно, произошло.

Одним словом, я составил себе представление о «Евгении Онегине» вполне такое же и по тому же источнику, каким пользовались почти все, кому известно имя

* Бодлер писал, «Что я всегда находил самым красивым в театре в своем детстве и еще теперь, это люстру, — прекрасный предмет, сияющий, хрустальный, сложный, круглый и симметричный». [(См.: Бодлер Ш. Дневники. Мое обнаженное сердце, IX.)] Несомненно, люстра имелась и в театре Зимина. Но меня она почему-то не поразила так сильно, как Бодлера, хотя трудно, пожалуй, оспаривать его мнение, что она самое важное из всего, что есть в театре. (Примеч. Б. Кузина.)

** в самую суть дела (лат.).

автора этого романа в стихах. Великое счастье Пушкина, что у него нашелся такой прекрасный популяризатор, как Чайковский! Он своими операми, можно сказать, вывел Пушкина в люди. Без них Пушкин существовал бы только в учебниках русской литературы, как какой-нибудь там Тютчев или Фет. Таким образом, увиденное зрелище было для меня поучительно и интересно. Отдельные его эпизоды даже захватывали. Прежде всего, конечно, — дуэль. Выстрел из пистолета и затем падение Ленского были просто великолепны. Мы, т. е. я и Юрий, часто потом инсценировали эту дуэль, сведя ее, впрочем, почти только к выстрелу из пугача. Иногда, хотя в опере это и не показывали, в нашем действе Ленский снабжался пробиркой с клюквенным соком для имитации крови, которая ведь не могла не вытечь из смертельной раны. Ввиду большой привлекательности роли Онегина, мы исполняли ее с Юрием поочередно.

За год до поступления в гимназию, т. е. в возрасте 9 лет, я смотрел на сцене «Недоросля» в исполнении гастрольной труппы какого-то второстепенного драматического театра. Спектакль показывали в зале Малаховской гимназии, в первом классе которой Юрий уже обучался. Кое-что о балде-Митрофанушке отец мне рассказывал уже в давнем моем детстве, а сам я прочитал эту пьесу полностью приблизительно год тому назад. На сцене она показалась мне еще более смешной, чем при чтении. Даже рассуждения Стародума в театре оказались не такими уже скучными, а трагедия Софьи производила большее впечатление. И опять, как в «Онегине», в особый восторг привела меня стычка с применением оружия. Конечно, одно дело прочитывать в книге ремарку «Милон (имея в руке обнаженную шпагу)», а совсем другое — видеть, как этой шпагой размахивают, и словно бы ощущать силу этого благородного, но, к сожалению, вышедшего теперь из всеобщего обихода оружия.

Как можно видеть, в детские годы театр оказывал на меня действие, которое он и должен оказывать. — Он поучал, развлекал, увеселял, наглядным показом объяснял мысли автора зрителю, не могущему понять их, когда они изложены письменно, вызывал благородные душевные порывы, убеждал в конечном торжестве добра над злом.

Если я позволю себе рассказать еще об одном посещении театра, то, во-первых, достигну этим совершенной полноты списка пьес, виденных мною на сцене в детстве. А, во-вторых, отмечу появление первых признаков своего отношения к театру в зрелом возрасте.

Однажды весь наш класс (не помню, — первый или второй) повезли в Художественный театр на «Синюю птицу». Эту пьесу считают доступной детскому пониманию. Не берусь рассудить старинный спор о возрасте зрителя, которого имел в виду сам автор. Причина этого проста. Ставши взрослым, я потерял способность читать туманные и скучные произведения, а следовательно, не смог перечитать «Синюю птицу» и тем более смотреть ее вновь на сцене. Не могу сказать, что спектакль мне

совсем не понравился. Ребенок, по-видимому, не может оставаться совсем равнодушным к театральной яркости, к необычности всего, что он видит на сцене. Даже обстановка гражданской панихиды с гробом, разукрашенным черной и красной материей, с венками, елками и т. п. заставляет светиться явным восторгом рожицы детей пионерского отряда, входящего в зал со своим знаменем, барабаном и дудкой.

И я хорошо запомнил, что на этом спектакле я впервые испытал ощущение какой-то неловкости, когда актер, изображавший пса, выражавшего свою любовь к хозяину и преданность ему, патетически завопил «О, божество» и что-то еще в этом роде. Я, конечно, не мог сомневаться, что раз в таком великолепном и известном театре актер так играет, значит так именно и следует играть. Но и не мог не почувствовать, что все-таки, когда пафос достигает такой силы, то лучше всего в это время внимательно рассматривать свои коленки или какой-нибудь другой предмет, но только не встречаться взглядом со своим соседом.

Тут я должен сделать небольшое отступление. — Несмотря на свою крайнюю непрактичность, фантазерство и удивительное донкихотство, мой отец не испытывал никакого удовольствия от проявления этих качеств во мне. Не могу не признать, что вопросы меня интересовали достаточно отвлеченные. Например, однажды я спросил отца, из чего делаются городовые. — Я никак не мог допустить, что городовые — обыкновенные люди, только одетые в особую форму. Лет мне было тогда совсем мало. Но отец запомнил этот мой вопрос на всю жизнь и приводил его постоянно в качестве примера моей полной никчемности. Со дня моего рождения для ухода за мной была молодая и красивая няня Маруся. Несмотря на то, что я, как мне говорили, родился таким заморышем, что не было почти никакой надежды, что я смогу жить, Маруся сразу же полюбила меня. Она вся отдалась уходу за мной. Редко кому посчастливилось иметь таких любящих родителей, какими были мои. Но я все же не боюсь сказать, что Маруся любила меня не меньше, чем мама. После окончания японской войны вернулся с военной службы ее муж. Он поступил рабочим на какой-то московский завод, после чего ушла от нас и Маруся, продолжая впрочем часто навещать меня, пока сама не родила ребенка. Данила Алексеевич (муж Маруси) тоже проявлял большую нежность ко мне. Я очень рано научился говорить. Разговорчивый ребенок обычно нравится окружающим и поощряется ими. От этого у него легко развивается болтливость, что произошло и со мной. Это доставляло удовольствие мужу моей няни, который за мое постоянное чириканье прозвал меня «Птичкин». Отец нашел это прозвище подходящим для характеристики не только моей болтовни, но и всего моего легкомысленного и беззаботного поведения. Оно сохранилось за мной так прочно, что меня иногда называл птичкиным даже брат, который был на шесть лет моложе меня. Мне не хочется, чтобы создалось впечатление, будто отношение ко мне членов моей семьи было просто презрительным. Отец, несомненно, очень любил меня, хотя бы уже по одному тому, что не мог не замечать обожания, с каким к нему относился я. А когда

я подрос, он много разговаривал со мной о том, что его интересовало, а я, в свою очередь, встречал в нем интерес и понимание к мыслям, возникавшим у меня после прочтения некоторых книг. Мало того, он доверял мне то, о чем не знал никто кроме мамы. Например, страх перед привидениями и перед темнотой, мучивший его после одного ужасного пережитого в молодости события. Признавал он за мной и некоторые способности, например, музыкальные. Потому что музыку он любил сам, но его вкусы в этой области были довольно примитивны, а музыкальный слух очень небольшой.

Убежденность отца в моей никчемности относилась только к вопросам житейской практичности. Я же понимал ее гораздо шире. Отсюда, вероятно, во мне развилась неуверенность в себе, в своих возможностях и способностях. А так как я действительно лишен многих свойств, обеспечивающих успех в жизни (например, умения танцевать, выступать публично и т. п.), то эта неуверенность имела еще и дополнительные источники. Я до сих пор не могу решить, сослужила ли она мне пользу или принесла вред. Скорее всего, однозначно ответить на этот вопрос невозможно, так как он относится к той же категории, что извечный вопрос, кто счастливее — сытая свинья или голодный Сократ? Неуверенность в себе основана на критическом отношении к своим взглядам, т. е. на способности справедливо их оценивать. Но это свойство лишает человека апломба, столь необходимого для жизненного успеха. А это условие, т. е. мнение о тебе *других* людей, обычно и считается наивысшим благом.

Это отступление я сделал, чтобы объяснить причину отсутствия у меня в детстве и в молодости всякого самомнения. Если мое отношение к чему-либо отличалось от общепринятого, мне обычно и в голову не приходило, что в данном случае прав именно я. Нормальной моей реакцией было искать не доказательств своей правоты, а источников допущенной мной ошибки. А чаще я просто огорчался, что моему пониманию недоступно то, что легко понимают другие. И, не желая проявить свою тупость или неинтеллигентность, утаивал свое мнение или отношение к тому, о чем шла речь.

В Малаховской гимназии (после революции — школе), где я учился, отношения между учителями и старшеклассниками были очень близкие. Это, конечно, зависело от того, что наши преподаватели или, во всяком случае, большинство их были незаурядными, а некоторые, смело можно сказать, талантливыми педагогами. В последний же год моего школьного обучения (1919—1920) нас особенно сближала совместная жизнь в организованном тогда при школе интернате. Этот интернат по необходимости был размещен в нескольких домах. — Одного здания, достаточного для всех внемалаховских школьников, просто не было. И это как раз оказалось очень удачным. Население каждого дачного домика — 15—20 учеников и один преподаватель — составляло нечто вроде семьи. В нашей гимназии с самого начала ее основания обучение было совместное. Поэтому после революции оно для нас не оказалось новшеством и обошлось без трудностей, какие возникли в большинстве средних школ, бывших до того чисто мужскими или женскими. Но все же возраст, умственное и физическое

развитие, а также среда, из которой происходил ученик, не могли не сказываться. Время тогда было очень голодное. И, разумеется, в интернате нас кормили тоже не до отвала. И все же постоянное чувство голода или полуголода не могло заглушить в нас все интересы, кроме пищевых. Наши беседы о самых разнообразных предметах и споры о них были очень горячие и бурные. Все меньше остается на свете людей, помнящих небывалую вспышку духовной жизни в самые первые послереволюционные годы. И особенно трудно наглядно представить ее себе человеку, прожившему всю свою сознательную жизнь в период сначала систематического подавления всякого новаторства, всех видов свободы и всего индивидуального, а затем сведения всего этого к почти полному нулю, в период самого крайнего консерватизма и конформизма. В годы, о которых я сейчас пишу, все кипело и все бурлило. Не были исключением из этого и театры. В любителях же театра ни в какие времена недостатка не было.

Обожали его также и все наши учителя и мои товарищи по классу и по интернату. Так как жили мы не в самой Москве, а все же в Малаховке, посещать театры они могли только по субботам и воскресеньям. Понедельничные же вечерние беседы посвящались почти исключительно виденным спектаклям и театру вообще. Я же в те годы уже очень определенно интересовался общими вопросами биологии и с особым восторгом познавал эволюционное учение, в единственном мне тогда доступном Дарвиновском освещении. А еще сильнее захватывала меня поэзия. Познав ее чары через Северянина и Бальмонта, которые сами еще продолжали звучать для меня с полной силой, я уже начал находить красоту или, во всяком случае, интерес в стихах Городецкого, Клюева, Есенина, Маяковского, имажинистов, был вполне захвачен Блоком, Белым, но еще считал вполне сопоставимым с ними Брюсова. И впервые стал, не скажу *понимать* давно знакомого и, как мне казалось, любимого мною Пушкина, — но *чувствовать* в его стихах нечто, что прежде совсем уходило от меня, а теперь особо притягивало, и на чем у меня начинало создаваться представление о подлинной гениальности.

Слушая разговоры на театральные темы, я не сомневался в полнейшей справедливости восторженных оценок пьес, их постановки и игры актеров. Но мое собственное знакомство с театром было ограничено лишь пьесами, о которых я рассказывал, плюс виденный весной 1917 года в Московском Драматическом театре спектакль «Павел I». И мне оставалось только слушать эти разговоры, сознавая стыдливо свое невежество, и, конечно, завидовать счастливым, изучившим весь репертуар Художественного театра и его студий.

Через год, поступив в университет, я ревностно принялся за пополнение своего театрального образования. Раздобыть билет в театр было в то время, хотя и многим легче, чем теперь, но все же не совсем легко, да еще и при полнейшем моем нищенстве. Прежде всего я набросился на чеховские пьесы в Художественном театре. Посмотрел «Чайку», «Дядю Ваню». Видел в Малом «Горе от ума». Играли тогда главные роли

самые столпы этих театров — Станиславский, Качалов, Москвин, Вишневская, Чехов, Книппер, Южин и др. В первые университетские годы я сохранил довольно постоянную связь со своим малаховским обществом. Кое с кем из него видался в Москве, а по воскресеньям и сам часто приезжал в Малаховку повидаться с жившими там школьными товарищами и с некоторыми учителями. Многие из них продолжали посещать московские театры и восхищаться ими.

Начиная свое знакомство с театром, я надеялся, что, приобщившись к Мельпомене, я смогу уже не молчать среди собравшихся во имя ее, но, хоть и не на равных правах со стороны ее обожателей, все же участвовать в их разговорах. И вот оказалось, что нет, — не могу. — Ни одна виденная пьеса, ни одна сцена, ни один актер не восхищали меня. Не скажу, что я скучал на спектаклях. Мое основное впечатление от них ближе всего было к тому, какое я получал от перечитывания уже знакомого литературного произведения. Но меня не оставляло досадное чувство, что актеры читали разные сцены этого произведения хуже, чем это сделал бы я сам, читая их кому-нибудь вслух. Но было также и нечто совсем для меня нетерпимое. — Мне было стыдно поднимать глаза, когда актеры произносили слова и делали мины и жесты со своей обычной в обе стороны преувеличенной аффектацией. Такую патетику и такую интимность можно встретить только на сцене, но в жизни она просто невообразима. Если бы кто-нибудь вздумал разговаривать в таком тоне со мной, я воспринял бы это как несомненную лживость своего собеседника и испугался бы его тайных замыслов в отношении меня. Ни от Качалова, ни от Станиславского я никакого подвоха, конечно, не ждал. Но, что они неискренны на сцене, это было для меня несомненно. И именно эту фальшь я почувствовал еще будучи ребенком, когда смотрел «Синюю птицу». Между тем мне было известно, что правдивость в малейших деталях была главнейшим положением Художественного театра. И я чувствовал, что именно стремясь к правдивости, они впадают в крайнюю лживость. Пафос на сцене всегда меня шокировал. Но завывания трагиков типа Южина мне все же легче было переносить, чем сверхправдивость актеров Художественного театра. В те годы, т. е. в возрасте 18—19 лет, я еще не осмеливался делать общие формулировки и еще не пришел к самому общему выводу, что всякая лживость, всякая фальшь принципиально несовместимы ни с каким искусством, которое только и существует в виде правды, да еще не простой житейской, а абсолютной. Малейшая доза лжи полностью обесценивает любое творение артиста. И вот, когда мне приходилось выслушивать восторги моих малаховских театралов по поводу театров и пьес, которые теперь мне были знакомы в натуре самому, я мог видеть, что их приводило в крайнее восхищение как раз то самое, что было особенно нетерпимо для меня. Но вывод из этого я делал все еще прежний. — Я безнадежный тупица, не понимающий истинных вершин искусства. И это, как прежде, меня огорчало. И я, как прежде, молчал, когда речь шла о театре.

Но стремление «стать образованным человеком», вероятно, еще с детства заложенное во мне, было слишком сильно, чтобы я после пока еще сравнительно немногих попыток постигнуть сущность театрального искусства отказался от честолюбивого желания все же понять его и тогда, быть может, стать не хуже других. И я прилежно продолжал знакомство с московскими театрами. Не буду здесь перечислять эти театры, виденные в них пьесы, называть имена авторов. В столь желанный восторг от них мне не удавалось прийти ни разу. После «Мистерии буфф» у Мейерхольда мне показалось, что я как будто, в конце концов, ухватился за что-то, что послужит мне ключом к раскрытию чудесной тайны театра. Люди, с мнением которых в вопросах искусства я привык считаться, говорили о Мейерхольде как о величайшем артисте. То же писали о нем и в журналах, стоявших в то время еще на очень различных позициях и не безусловно обязанных печатать только то, что полностью отвечает указаниям директивных органов. Даже авторы самых острых полемических статей, направленных против Мейерхольда, все же исходили из признания его художественного авторитета. Я стал ходить по возможности на все, что шло в его театре. Но мои надежды не сбывались. В 1923 г. я видел в нем «Грозу» Островского. Тогда сделал вывод, что если уж сам великий Мейерхольд не может пробить мою толстую кожу, значит — конец. «Гроза» у Мейерхольда была последним виденным мной театральным зрелищем.

Однако в годы, когда я так безуспешно пытался постичь «большое» театральное искусство, я без всякой заботы о расширении своего кругозора посещал один небольшой театрик. С его спектаклей я уходил с ломящей болью в челюстях и скулах от хохота, одолевавшего меня с первой до последней минуты действия. Этот театрик, помещавшийся в квартире обычного жилого дома на Арбате, именовался Студией Фореггера. В нем шли острые сатирические обозрения, зубоскальные пьесы, доведенные до предела глупости мелодрамы и совершенно необузданные буффонады. Существовал он очень недолго: года два. А потом его закрыли, как говорили, за крайне веселое поведение труппы во главе с режиссером. Позднее Фореггер работал в театре Сатиры, в котором тоже проявил свой талант. Во всяком случае, его или выполняемые с его участием постановки были, на мой взгляд, очень хороши.

И в те годы, как и во все последующие, меня все больше захватывали музыка и литература. Затем постепенно я стал разбираться в искусствах пластических и понимать невыразимое, как музыка, чудо архитектуры. Не знаю, как у других, но у меня увлечение всяким видом искусства начиналось с того, что мне оно просто начинало нравиться. При этом никогда не бывало, что начинали нравиться именно его лучшие образцы, лучшие авторы. Скорее даже было как раз наоборот. Но определенных предпочтений на этой стадии еще не бывало. Такие предпочтения составляли следующий шаг. Но и тут выбор падал обычно не на лучшее. Вслед за этим наступал период развития вкуса, на котором кое-что из того, что прежде нравилось, начинало не удовлетворять, а затем просто

становилось неприятным. Происходила «чистка» любимых когда-то стихотворений, музыкальных пьес, картин, рисунков, а часто и их авторов. А вслед за этим я входил в более или менее зрелый период, когда по-настоящему прекрасные произведения оказывали на меня совсем особое действие, глубоко волновали, сотрясали, а все второстепенное отбрасывалось (как я заметил уже в совсем зрелый период, — часто с излишней строгостью).

Ближе других искусств мне музыка и литература. Наступило время, когда я понял, что если великую музыку сотворили Моцарт, Шопен, Бетховен, Шуберт, а многие другие композиторы — прекрасную, то Бах — это сверхмузыка, вся «могучая кучка» ниже порога, с которого для меня начинается музыка, а Чайковский, хотя он и крупного масштаба и настоящий композитор, стал мне чем-то органически непереносим. Понял я и особую силу стихов Пушкина, Горация, Гете, Тютчева, Вийона, а через Гоголя я получил представление о великой прозе, и мне стало непонятно, как я мог когда-то считать поэтом Брюсова. Французы в Щукинской галерее впервые сообщили мне понятие о настоящей живописи. А по изображениям французских готических соборов и некоторым нашим церквям я почувствовал, на какую высоту подымается человеческий дух в архитектуре. Я еще тогда не знал многих писателей, композиторов и художников, которые позднее встали для меня в один ряд с немногими названными. Но было уже довольно того, что я получил представление о подлинных вершинах искусства и понял, что видеть их могут не все, а способность отличать в искусстве истинное от ложного появляется лишь после сильных увлечений и многих разочарований.

Не помню, какому писателю принадлежат слова: «Чтобы быть гениальным писателем, нужно иметь гениального читателя». Ни один афоризм не голое преувеличение. Полноценный зритель, слушатель, читатель, хотя и последнее, но полноправное звено творческого процесса, двойного (писатель-читатель, живописец-зритель) или тройного (композитор-исполнитель-слушатель). А чтобы стать таким звеном, требуется самому подходить к искусству не как к развлечению, а с полной отдачей ему своих сил, которые не назовешь иначе, как творческими.

Когда я убедился во всем этом на себе и понял, что искусство не только мне доступно, но что оно составляет необходимую и очень большую часть моей жизни, я, сам испугавшись своей дерзости, поставил перед собой вопрос. — А не может ли быть, что не я не дорос до понимания великого театрального искусства, но что само это искусство совсем не великое? И вообще — искусство ли оно?

Ответить на этот вопрос не так просто. В том, что мы теперь называем театральным искусством, объединены струи разных источников, не имеющих между собой ничего общего.

Один из них — мистерия, связанная с религиозным культом. Сам по себе этот источник чистый. И он остается чистым, пока и актеры, и зрители искренне и без

мудрствований исповедуют этот культ или, по крайней мере, способны воспринимать его религиозную основу. Она полностью сохранилась до наших дней в богослужении и почти целиком в народных действиях типа «Царя Максимилиана» и других, особенно рождественских. Понятна и оправдана в мистериях вся их сценерия, аксессуары культа.

Мне удалось видеть спектакль сходного типа лишь однажды. В Карагандинском лагере на опытном поле в числе заключенных был один уже не совсем молодой ивановский рабочий. Сидел он по 58 статье за «контрреволюционную пропаганду». Был он чистейший пролетарий и, конечно, никакой контрреволюции у него и в голове не было. Но у него, хотя это очень редко встречается у рабочих, была артистическая душа, и он со страстью выступал в главных ролях на всех самодеятельных представлениях в клубе. Он же был по большей части и их режиссером. Однажды он поставил «Царя Максимилиана». В заглавной роли он совсем преобразился, и думаю, что, находясь на сцене, даже и не поверил бы, если бы ему сказали, что он Петр Иванович Дорофеев. Он чувствовал себя подлинным Максимилианом. Публика, состоявшая главным образом из рабочих и колхозников, осужденных за «хищение государственной собственности» (сбор оставшихся после жатвы колосков), сидела завороченная. Полученное впечатление не умещалось в душах. Слышались тяжелые вздохи, стоны, всхлипывания.

Но она же послужила одним из источников сначала классической трагедии, а затем и современной драмы.

Другой источник театрального искусства — эпос. Я не представляю себе другого основания для перенесения стихотворного или прозаического повествования на сцену, кроме стремления сделать его более доходчивым*.

О НАЧАЛЬСТВЕ

Через несколько месяцев после того, как Люся поступила к нам в домработницы и поселилась у нас, она привела к нам свою собаку Дружка. Люсин отчим, каким-то странным образом одновременно пьяница и крайний скупердяй, терзался мыслью, что ни на что не нужную ему собаку надо кормить. Поэтому он решил то ли продать, то ли подарить Дружка председателю колхоза, который подыскивал собаку для окарауливания своего сада. Председатели колхозов — народ совсем не бедный, но и они не любят лишних расходов. Можно было не сомневаться, что Тябин (председатель Люсиного колхоза) будет кормить Дружка (держит его, конечно, на цепи) только до тех пор, пока не снимет яблоки, а после этого уничтожит его за ненадобность.

До поступления к нам Люся была колхозной почтальоншей. Дружка она взяла маленьким щенком. Стала брать его с собой на развозку почты по деревням. Он быстро вошел в свою роль. — Приезжая в деревню, которые почти все в нашем округе очень небольшие, Люся забирала адресованные ее жителям письма и газеты и разносила их по домам, оставляя сумку с остальной почтой на повозке или в санях. Вот эту-то сумку Дружок и стерег, не подпуская к ней никого. Конечно, ребята, да и не только одни они, дразнили собаку, делая вид, что хотят утащить сумку. Сторожевые качества Дружка от этого чрезвычайно улучшались. В нем вырабатывалась свирепость.

Однажды Люся вернулась после выходного дня из своей деревни совсем расстроенная. Было ясно, что ее отчим так или иначе от Дружка отделается. Тогда мы решили, что она должна забрать его и держать у нас. Люся, конечно, обрадовалась. Сказала, что дома у нее он сидит на цепи во дворе и у нас может быть на привязи близ сарая, в котором ночевал бы и укрывался от ненастья.

Через неделю у нас появился Дружок. Был он, конечно, дворняжкой, но совершенный красавчик. Небольшой, коротконогий, длинношерстый, с красивым распределением черного и очень чисто белого, с маленькой рыжеватой подпалиной на одной лапе. Уши треугольные, стоячие, с кисточками. Но восхитительней всего был чернобелый султан хвоста. Осанку имел независимую и гордую. Место у сарая он освоил очень быстро и днем обычно забирался на выложенную рядом небольшую поленницу дров, откуда и наблюдал окрестность. При приближении к нему кого-либо кроме

* На этом заканчивается текст, сохранившийся в архиве Б. С. Кузина.

Люси с целью поговорить с ним, он рычал. Но ставить перед собой миску с едой разрешал, после чего, впрочем, также вновь принимался рычать.

Люди привыкли к тому, что собаки сидят на цепи и, вероятно, думают, что им это вполне удобно. В детстве я над этим не задумывался и считал естественным, что сторожевая собака, в том числе и наша, привязана. Но для зоолога такое мнение не менее непростительно, чем незнание анатомического устройства животного и его главных физиологических функций. Всякая неволя для любого животного не меньше тяжела, чем для человека. А может быть, и несравненно больше. Вид Дружка, сидящего на привязи, портил мне настроение. И тем более, что две другие, *наши* собаки, Белка и Капрон, свободно расхаживали по саду. Одно дело просто жалеть животное, и другое еще и видеть несправедливость, дискриминацию. Это уже было выше моих сил. О содержании Дружка на привязи Люся договаривалась, собственно, не со мной, а с Ариадной Валериановной. Это позволяло мне сохранить для себя некоторую свободу действий. Когда этот пес уже немного привык ко мне или, может быть, не ко мне, а к тому, что я приношу ему еду, я, отправляясь однажды на прогулку со своими собаками, решил взять с собой и его. Но для этого требовалось спустить его с цепи, а это было при его крутом нраве опасно. Все же я подошел к Дружку, и, когда присел, чтобы отстегнуть цепочку от ошейника, он, к крайнему моему удивлению, и не подумал не то что кусаться, но даже и рычать. Спуску с цепи он явно обрадовался и охотно вышел со мной и с другими собаками за ворота. Но от них сделал лишь несколько шагов. Гулять со мной он не хотел. Видно, не доверял. Я завел его обратно во двор, и он так же спокойно, как дал себя отвязать, вытерпел и обратную операцию посадки на цепь. На следующий день я повторил свой опыт. На этот раз он прошел со мной немного подальше, но все же скоро опять повернул к дому. А через некоторое время стал гулять со мной так же, как Белка и Капрон.

Привязывать его после прогулки я прекратил и самым категорическим образом заявил Ар. Вал. и Люсе, что цепной режим для Дружка отменяется. Справедливость, таким образом, была частично восстановлена. Но почему же Дружок должен находиться в саду, когда наши собаки жили в комнатах? Верно, Друг и сам не стремился заходить в дом. Вероятно, его деревенское воспитание исключало такую возможность. Тогда я в отсутствие женщин стал развращать его и зазывать в дом*.

ФИЛОСОФСКАЯ ПРОЗА

* Этот рассказ сохранился в архиве Б. С. Кузина в незаконченном виде.

ОРБИТА БАХА

Можно любить Скрябина, Куперена, Гранадоса, Моцарта, Шопена, Шуберта. Можно обожать Баха. О Бахе нельзя сказать, что ты его любишь или обожаешь. Бахом можно только жить.

В жизни уродство и все виды зла возникают и устанавливаются сами собой, как сам собой космос превращается в хаос. Но возникнуть из хаоса космос может только под действием творческой силы. Эта сила в обществе имеет три точки приложения: пользу, красоту и добро.

Принцип пользы — самый общедоступный, всеми понимаемый и уважаемый безусловно. В его имя совершается и совершался во все времена труд большинства людей на всей планете. Без этого труда было бы невозможно существование каждого отдельного человека и всего человечества. Отрицать принцип пользы и восставать против него было бы нелепо. Каждый из нас отдает ему дань просто для того, чтобы жить. Не делать этого значило бы совершать самоубийство. Но одно дело принимать нечто по необходимости, а другое — преклоняться перед этим необходимым. Польза не может быть безотносительной. Она всегда *для кого-то*. И не для кого-то вообще, а именно для меня самого или для той группы людей, к которой принадлежу я: для *моей семьи*, для *моей страны*, наконец, для человечества, частью которого я ощущаю опять-таки себя. Значит, в самой сущности польза есть что-то эгоистическое. Уже одно это лишает ее ореола священности. Но этого мало. — Во всей жизни, понимаемой наиболее широко как непрерывный биологический круговорот, существование и благополучие одного индивида или какой-то их группы есть в то же время гибель или неблагополучие других. Что полезно мне, то неизбежно кому-то вредно. Таким образом, в самой сути пользы уже *in puse** заключен элемент зла. А то, что заключено в семени в виде зародыша, при его прорастании и в ходе развития растения не может не развернуться в полную силу. И заключенный в идее пользы зачаток зла развился в современную технику, которая и создала предпосылки гибели всей духовной культуры, а возможно — и физического уничтожения человечества.

* В зародыше (*лат.*).

Мы живем в реальном мире и должны принимать его таким, как он есть. Мы принуждены покупать необходимые нам вещи, и мы досадуем, когда торговля организована плохо. Но я почему-то с самого детства испытывал отвращение ко всякой торговле или, скорее, презирал ее. Продавать самому что-либо мне казалось постыдным. Боясь упрека в снобизме, я никому не говорил об этом, а только про себя удивлялся, откуда у меня, совсем не аристократа по происхождению, берется такое чувство. И я испытал облегчение, когда узнал, что, если я и урод, то, по крайней мере, не единственный. — Бодлер писал: «Коммерция есть нечто по самой своей сути сатанинское. Это — дача взаймы — отдача долга, это дача в долг с подразумевающимся: возврати мне больше, чем я тебе дал... Коммерция натуральна, следовательно, она низка... Коммерция — создание сатаны, потому что она — одна из форм эгоизма, при этом самая низкая, самая подлая» (Ch. Baudelaire, *Journaux intimes. Mon coeur mis a nu* *. LXXV).

Всякая деятельность во имя пользы также основывается на эгоизме, т. е. она тоже в принципе сатанинская.

В прекрасном и добром нет никаких зачатков зла, в том числе и тех, что заключены в пользе. Мало того, по-настоящему красивым и добрым может быть только то, что создано без всякой оглядки на пользу. Другое дело, что красота и добро всегда полезны в том смысле, что они утверждают ценности высшего порядка, без которых жизнь вообще не имела бы никакого оправдания, и что они способны смягчать души не безнадежно зачерствелых и ожесточенных злодеев. Но как только искусство сознательно ставится на службу каким бы то ни было социальным, утилитарным или даже моральным идеям, оно перестает быть искусством и становится бесплодным. И как только добрые поступки совершаются не из непосредственного чувства симпатии или сострадания к совершенно определенному человеку или группе людей, а во имя отвлеченной справедливости или общественного блага, в них уже тем самым засеивается зародыш зла.

В музыке Баха, как ни в чем другом созданном человеком, достигнута высшая ступень красоты, т. е. чистейшей поэзии, и высшая ступень морали. Никакими словами это положение аргументировать нельзя. Но как вообще можно словесно или каким-либо другим наглядным способом толковать музыку? Из всех искусств она наиболее отвлеченна, нематериальна. И в то же время ее язык наиболее точен и однозначен. Что говорит Бах? — Это совершенно точно знают те, кого судьба наградила способностью воспринимать его музыку. Может показаться непонятным, почему я говорю о точном знании. — Отвечу на это, что все, кто прожил жизнь с Бахом, понимают его музыку так же одинаково, как все люди одинаково понимают таблицу умножения. Но что значит прожить жизнь с Бахом? Это означает прежде всего найти его для себя. В возрасте тринадцати лет Казальс случайно в одном музыкальном магазине увидел ноты шести сонат Баха для виолончели соло. Он до этого не знал о их

* Ш. Бодлер. Интимные дневники. Мое обнаженное сердце (фр.).

существовании, но, играя на виолончели, был обрадован, что нашел музыку для сольного исполнения на своем инструменте. Отец Казальса был музыкантом. Баха он, конечно, знал, но, как и все музыканты его времени, считал его сухим, академическим, «классиком», чьи произведения были чем-то вроде школьных упражнений, часто даже и неисполнимых. Мальчик-Казальс сразу же почувствовал, что ни о какой сухости, академичности этой музыки и говорить нельзя, что вся она — живая и чистейшая поэзия, вся говорящая, эмоциональная, понятная, как народные напевы. С этого дня он жил Бахом и открывал в нем все новые красоты, а с возрастом — и необычайные глубины чувства, мысли, веры, морали.

Но ведь в точности так же было и со мной! И у нас в доме была постоянно музыка. Играла на рояле мама, тетка, дядя. Дядя был прекрасный пианист. Он проводил у нас на даче почти целиком каждое лето. Его репертуар был достаточно широк. Больше всего он играл Шопена. Исполнял и других композиторов. Но только ни одной пьесы Баха. Не исполняли их никогда и другие мои родственники, а позднее — ни один из моих знакомых-музыкантов. В концертные репертуары самого начала двадцатых годов Бах также не входил. Лет до 17—18 я знал о нем только понаслышке и, конечно, знал то, что было тогда традиционно: — классик, чьи произведения играют в музыкальных школах, главным образом для упражнения. И вот однажды, разбирая старые мамин ноты, возможно, оставшиеся у нее от деда (ее отца), я нашел среди них отдельно изданную юргенсоновскую двухстраничную тетрадку: J. S. Bach. *Voügré*. Не было даже указано, из какой сюиты оно взято. Меня удивила доступность для исполнения этой вещицы «трудного классика», и я, не умея играть на рояле, все же стал ее разбирать и воспроизводить, как мог. И был потрясен ее простотой и прелестью. Боже мой! — да где же здесь что-то ученое, премудрое, сложное, требующее высшего музыкального посвящения? Это так же ясно и так же просто, как «Птичка божия не знает». Какой-то живой и точнейший ответ на вопрос: что такое поэзия? — если бы кто его задал. Еще никогда до этого дня я не испытывал такого волнения от музыки. И с этого началось. Я стал искать во всех магазинах ноты Баха. Для любых инструментов, голосов, ансамблей. Тащил их домой и ковырял на рояле. Если не мог воспроизводить голоса одновременно, то проигрывал их порознь. Для моих домашних музыка эта вряд ли была наслаждением. Но сам я слышал не то, что мне удавалось изобразить, а то, что сочинил Бах.

Ближе к середине двадцатых годов музыка Баха стала довольно постоянно звучать в концертах. Я ходил на каждый, в программе которого было хоть одно его произведение. Продолжал покупать все ноты, какие только мог найти. До совершенных грампластинных записей, делающих теперь доступной любую музыку в хорошем исполнении, тогда было еще далеко. Каждая впервые услышанная вещь Баха, каждое исполнение его музыки в концерте были для меня праздниками.

Конечно, я любил и другую музыку. Но мое отношение к разным композиторам с годами менялось. Некоторые из них, обожаемые в юности, с некоторого возраста перестали действовать на меня так сильно, как бывало. Бетховен, например, уже давно не имеет надо мной своей былой власти. Я и теперь понимаю его силу и красоту. Слушая его, я восстанавливаю в себе переживания, какими был ему обязан в юности. Мало того, — мне жаль всех тех, кто прожил свою молодость без Бетховена, как я жалел бы человека, никогда не испытывавшего любви или очарования природы. Но теперь он для меня уже не тот. Наоборот, — для музыки Моцарта я более или менее созрел довольно поздно. Даже и теперь чувствую, что для полного ее понимания мне еще нужно слушать ее и слушать. Брамс, которого я любил, мне теперь просто скучен. С Чайковским я распрощался еще до того, как открыл для себя Баха, а затем его музыка стала мне сильно антипатична. Не изменилось мое отношение с самых детских лет только к Шопену и к Шуберту. Не потому ли, что оба они чистейшие лирики? А лирика для меня — единственная сущность всей поэзии, читаемой, видимой или слышимой.

Но с момента, как я открыл для себя Баха, я ни одного дня не прожил вне того, что правильное всего было бы назвать его излучением или силовым полем. Сначала я считал, что его музыка есть только музыка, хотя бы и самая для меня прекрасная и близкая. Что она живет во мне, заполняя какое-то определенное вместилище моей духовной организации и отдельно от других важных для меня предметов. Но по мере моего общего созревания, углубления в близкие мне научные вопросы и совершения новых для себя открытий в наиболее доступной мне области — в литературе — во мне постепенно уничтожались перегородки между тем, что мне казалось разными сторонами моего существа. И наконец мне стало ясно, что никаких таких перегородок даже и быть не может. Нет разных Борисов Кузиных, отдельно существующих в зоологии, в музыке, в поэзии, в поведении с людьми, во взглядах на общество и т. п. Все это теснейше связано в одном лице. Зоология была бы мертва для меня и я занимался бы ею так же, как люди занимаются любой работой для заработка, если бы я не представлял себе, что собаку можно любить так же сильно, как самого близкого человека, и если бы я не находил, что животные не только изумительно интересны во всем своем устройстве и в поведении, но еще и восхитительно красивы. И эта красота неотделима от красоты стихов и музыки. А любовь к собаке находится в одном ряду с чувствами, владевшими Бахом, когда он сочинял Страсти по Матфею или органные прелюдии.

Я не знаю, как открыли для себя Баха Швейцер, Рамин, Гульд и другие музыканты, прожившие с ним всю жизнь. Думаю все же, что и они не «дозревали» до Баха, а были захвачены его музыкой при первом же соприкосновении с ней в силу всей их организации и с необходимостью действия физических законов. И далее Бах для них не оставался заключенным только в каком-то музыкальном отсеке их души, а пронизывал всю их жизнь, находил отклик в каждом движении их духа, во всех

мыслях, чувствах и действиях. И этот отклик всегда и для всех, кто слышит Баха, один и тот же.

Я уже сказал, что язык музыки точнее и однозначнее всякого другого языка. Но его невозможно передать словами. Смысл музыки Баха, быть может, наиболее адекватно в словесной форме объяснял Швейцер в разных местах своей книги «Иоганн Себастиан Бах». Я привожу здесь его слова по поводу «Хорошо темперированного клавирина» в своем переводе. — «Именно в этом произведении всякое эстетическое объяснение неизбежно оказывается поверхностным. То, что в нем так захватывает, это не форма и не построение пьес, но отражающееся в нем мировоззрение. „Хорошо темперированный клавирин“ не доставляет удовольствие, но он приводит в восторг. Радость, боль, плач, жалобы, смех: все это звучит в нем для слушающих, но звучит так, что выражающие это звуки переносят его из мира тревоги в мир умиротворения и он видит действительность, как если бы он сидел на берегу горного озера и созерцал горы, леса и облака в тихой, непостижимо глубокой пучине.

Ни в чем другом, как в „Хорошо темперированном клавирине“, так не видно, что Бах воспринимал свое искусство как религию. Он изображает не естественные состояния души, как Бетховен в своих сонатах, не борьбу и не стремление к какой-то цели, но только реальности жизни, как их воспринимает дух, сознающий себя в каждый момент стоящим над жизнью и переживающий всегда в одинаковом возвышенном строе самые противоположные чувства: от адского страдания до самого необузданного веселья. Поэтому и царит та же самая просветленность как над проникнутой скорбью ми-бемоль мажорной прелюдией первой части, так и над беззаботно струящейся соль мажорной второй. Кто однажды сопричастился этому чудесному успокоению, тот понял этого загадочного гения, выявляющего свое мировоззрение в таинственном языке звуков, и благодарит его за это, как благодарят великих гениев, которым дано примирять людей с жизнью и ниспосылать им мир»*.

Нет двух людей, чувствующих и мыслящих совсем одинаково. Даже две самые близкие между собой личности не вполне накладываются одна на другую. Всегда между ними имеется какая-то область расхождения, в которой они остаются чуждыми друг другу. Но в то же время даже у несхожих людей есть в некоторых пунктах взаимное понимание. Области общности могут быть крайне узкими или очень широкими, а пункты совпадения несущественными или важными.

При всяком чтении или разговоре я всегда бываю обрадован, когда встречаю у автора или собеседника согласие с моими мыслями или чувствами. Ведь никогда не бываешь вполне уверен в своих оценках и мнениях. Поэтому всякое подтверждение их кем-то другим сообщает уверенность в себе. И это радует тем сильнее, чем больше ты ценишь своего зримого или незримого собеседника.

* См.: A. Schweitzer. J. S. Bach. Wiesbaden. 1957. S. 295—296.

Всякая биография, собственно, сводится к встречам. По крайней мере моя собственная жизнь, когда я ее припоминаю, представляется мне состоящей не столько из приключавшихся со мной последовательных событий, сколько из встреч. Может быть, потому, что сама по себе жизнь катится по прямому пути. И ход собственных мыслей тоже более или менее прямой. Он совершается логически, как бы от теоремы к теореме, последовательность которых может быть только одна. Встреча же всегда нарушает эту монотонность. Она или толкает ход жизни или мысли куда-то в сторону, изменяет его направление, или же дает неожиданный толчок вперед, т. е. изменяет его темп. Другими словами, встречи отмечают какие-то этапы, рубежи. Но особо важны встречи с людьми, область общности с которыми у тебя велика, а пункты полного понимания имеют для тебя особенное значение. Эти встречи не непременно личные. Они не обязательно предполагают взаимное знакомство хотя бы путем переписки. И даже могут происходить между людьми, жившими в разное время. Мало того, — большинство самых важных в жизни встреч — это как раз заочные, не взаимные и вневременные. К таким для себя я отношу прежде всего встречу с Бахом. Но к этой же категории принадлежат и знакомства с очень многими другими художниками и мыслителями самых разных времен, заставившими меня видеть вещи в новом свете или подтвердившими, что глаза, уши, чувства и разум даны мне не только для того, чтобы с их помощью находить пищу и другое необходимое для физического существования. Скажу даже больше. — При всей моей личной любви к Мандельштаму заочная встреча с ним после выхода его «Тристи́й», конечно, была для меня большим событием, чем все те, что происходили после нашего первого знакомства почти ежедневно. Так же было и с Пастернаком, которого, верно, я лично знал меньше. И А. Г. Гурвич для меня прежде всего — автор теории эмбрионального поля, хотя и житейский его портрет, известный мне в натуре, прекрасен и мне дорог.

Мне хотелось бы рассказать хотя бы о нескольких самых значительных для меня встречах. Но вряд ли я успею это сделать. За настоящее сочинение (я не знаю, к какой литературной категории оно относится; вероятно, правильное всего называть его разговором) я принялся с мыслью о некоторых старших своих современниках, с которыми я никогда не был знаком, но которые особенно мне близки. Я подчеркиваю, что они близки *мне*, хотя некоторые из них, безусловно, относятся к категории наиболее выдающихся людей застигнутой мною эпохи.

Об Альберте Швейцере Эйнштейн сказал, что считает его самым замечательным человеком нашего времени. С этим его мнением согласился и Казальс. И вот я сразу назвал имена трех людей, существование которых одновременно со мной делало для меня огромный, сотрясаемый бедствиями, полный глупости, лжи, алчности и жестокости и все же прекрасный и так мною любимый мир — домом, в котором оставлен какой-то угол и для меня. Угол, из-за которого я могу называть его родным домом.

С Казальсом и Швейцером я знаком через Баха. Немудрено, что со времени, как я открыл его для себя, я стал читать все, что мог найти о нем. Я не музыковед и не намеревался исчерпывающе собрать литературу о Бахе, как это сделал бы настоящий профессиональный его монограф. Да и не очень это интересно. Точных биографических сведений о Бахе имеется не так мало, чтобы в общей картине его жизни были большие пробелы. Но и не так много, чтобы рассчитывать в каждой новой книге или статье о нем узнать что-то новое. Меня больше интересовало, что говорилось о музыке Баха. Верно, и здесь я не проявил никакой систематичности. Самые ценные мысли о ней можно было бы услышать от музыкантов, но они больше делали музыку, чем писали о ней. А если и писали, то главным образом в письмах. Собирать такие высказывания — также работа профессиональных искусствоведов. А я, будучи сам специалистом и зная, как наивны все биологические высказывания не-биологов, ни за что не хочу сам залезать в чужую область. При этих обстоятельствах мне оставалось только послушать, что говорят о Бахе писатели, но из того, что я читал, и из разговоров с лично знакомыми мне писателями у меня составилось впечатление, что музыка или совсем чужда им, или воспринимается ими лишь очень неглубоко. Чаще бывают по-настоящему музыкальны художники, архитекторы, а из ученых — математики.

В самом деле, — что нам известно об отношении к музыке самых больших писателей? — Гете явно не понимал ее и оставался равнодушен даже к песням Шуберта, написанным на его слова. Пушкин, обладавший ангельским видением, прозрел им и Моцарта. Но именно скорее прозрел, чем прослышал, так как вообще о музыке он больше ничего не писал, если не считать брошенных вскользь или для рифмы фраз об «упойтельном Россини» или о Фрейшице, разыгранном «перстами робких учениц». Ничего о музыке мы не находим у Гоголя, у Лермонтова, у Тютчева, у Достоевского. Музыкальный Грибоедов о музыке ничего не писал. Любил и, конечно, понимал музыку Толстой. Кстати, напрасно многие клянут его «Крейцерову сонату». Он очень верно уловил сильно чувственную окраску Бетховена. Но в ее моральной оценке не непременно нужно следовать за Толстым. Где-то я прочитал, что Толстой обожал известную по многим переложениям для разных инструментов и ансамблей арию из 3-ей оркестровой сюиты Баха, но ничего о ней он не писал. Я не знаю, говорили ли что-нибудь о Бахе много писавшие о музыке Ромен Роллан и Цвейг, так как обоих этих авторов по разным причинам не люблю. К сожалению, у меня сейчас нет под руками Одоевского, а его «Себастиана Баха» я читал очень давно. Тогда меня больше всего поразило, что Одоевский был увлечен Бахом уже в то время, когда его еще только начали «открывать» в Европе. Но его повесть главным образом биографическая, и, насколько помню, я не нашел в ней для себя никаких откровений относительно музыки Баха.

В немногочисленных встречах с Б. Л. Пастернаком я не говорил с ним о музыке и ни от кого из близких ему людей не слышал о его отношении к Баху. Но трудно

представить, чтобы такой несомненно музыкальный человек, мечтавший в юности сам стать композитором, обожавший Скрябину, проживший долгие годы в теснейшем общении с замечательным музыкантом Г. Нейгаузом и откликавшийся в своих стихах и в прозе на все ему близкое, ни разу не упомянул о Бахе, если бы его музыка была понята им по-настоящему.

В «Разговорах о Данте» О. Э. Мандельштам восставал против установившейся в литературе легенды об авторе «Божественной комедии» как о величественной, строгой, аскетической фигуре почти небожителя («суровый Дант», «тень Данта с профилем орлиным»). Однако, говоря о Бахе, Мандельштам сам следовал только традиции. Он, несомненно, любил музыку, часто посещал концерты, но, как мне всегда казалось, музыка не была его родной стихией. В раннем (1913 г.) стихотворении «Бах» все совершенно традиционно.

*А ты ликуешь, как Исая,
О рассудительнейший Бах.*

Баховское ликование не Исайино, насквозь ветхозаветное, плотское, самоупоенное и грозящее, а сам Бах не рассудительнейший. Какая же рассудительность раздумье, то светлое и ясное, то меланхоличное, то полное таинственного ожидания, глубокого умиротворения? Всегда созерцание, размышление, никогда не рассуждение, не логическая цепь. В одном из прозаических произведений Мандельштама баховские ноты уподобляются связкам сушеных грибов. Это сравнение недурно для всяких нот вообще. Встречаются нотные страницы, напоминающие такие связки, и у Баха. Но в данном случае «сушеные грибы» должны символизировать академическую сухость, т. е. нечто, утвердившееся в общем представлении о Бахе, как «орлиный профиль» прочно приклеился к Данту. Изобразивши мой портрет в «Путешествии в Армению», О. Э. пишет, что я особенно любил одну пьесу Баха, исполняемую на каких-то особых дудочках. Что бы вы сказали, если бы кто-то, говоря о Леонардо да Винчи, упомянул о его Джоконде как о портрете хорошенькой девушки с обещающей полуулыбкой? А пьеса, исполняемая на дудочках, о которой говорит Мандельштам, — не что другое, как 2-ой бранденбургский концерт! Я пишу это не в обиду ни за себя, ни за Баха, но чтобы показать, что О. Э., говоря о нем, имел перед глазами его традиционный портрет. А отсюда его Бах и «высокий спорщик», и «гневный собеседник», и «несговорчивый старик», и «опору духа в доказательствах искал». Настоящий Бах ни с кем ни о чем не спорил, ни за какие новые музыкальные идеи не боролся, при всей своей эмоционально-многосторонности гневен он мог быть разве что в рукопашных стычках со своими школярами, но не в беседах. А уж меньше всего Бах мог искать опору духа в «доказательствах». В каких? Его логика была высшая, ангельская, абсолютная, основанная на присущей гениям способности наглядного постижения невидимых связей между видимыми явлениями, на том особом видении, без которого, по

словам Гете, можно, и видя, ничего не узреть. Доказательства же — атрибут геометрии, инструмент формального познания. Это, конечно, знал и Пушкин. — Не Моцарт, а Сальери у него поверяет гармонию алгеброй.

До чего же зыбок и слаб разум! Как ненадежно он огражден от эмоций! Только что я писал, что нет двух людей, настроенных совсем одинаково, что область общности никогда не бывает полной. И это нужно принимать как нечто абсолютно данное. И, понимая это, сам же я ничего не могу поделать с горечью по поводу того, что не нашел у Мандельштама отклика на своего Баха. Точно какая-то обида мне нанесена, что поэт поэтов, мой бесконечно дорогой друг и мученик, память о котором никогда не перестанет жечь меня, не мог понять, что говорили тешившие меня дудочки. А с другой стороны, не потому ли я с недавнего времени так обращен к Галчинскому, что был околдован его «Пасхой Иоганна Себастьяна Баха»? В этих стихах, не наполненных музыкальной эрудицией, не содержащих упоминаний ни о готике, ни об органе, ни о Лютере, просто поэт говорит о поэте. И поэт перед нами не в творческом экстазе, не за инструментом, не за нотной бумагой, а бродит по опустевшему с отъездом семьи дому, размышляет, напевает про себя, бормочет...

Да, Бах прежде всего поэт. Но ведь поэт это — решительно каждый художник. Это неоспоримо. Однако кто думает, говорит о Гоголе, о Толстом, о Бетховене, о Веласкесе или о Пикассо, что первое их определение — поэт? Сказать о Бахе, что он поэт, — это слишком мало. Он величайший поэт, и чистейший лирик. Но и этого мало. — Разве не величайшие поэты Пушкин и Тютчев? А из них второй тоже чистый лирик. А Шуберт? — Опять встает вопрос о передаче смысла музыки словами, и мне приходится только повторять, что это по отношению к Баху лучше всего сделал Швейцер в приведенном уже мною отрывке. Сам я яснее на поставленные мною вопросы ответить не могу. (Кстати, нечто очень близкое к высказанному Швейцером сказал Мендельсон Шуману об органной прелюдии «Schmücke dich, o liebe Seele»*. Он сказал, что, если бы жизнь лишила его надежды и веры, одной этой прелюдии было бы довольно, чтобы вернуть их ему.) И не для того я теперь принялся писать о музыке Баха, чтобы показать в ней какие-то новые, ранее не отмеченные стороны. Да и не о самом Бахе я пишу. Уголини сказал о Данте: «Il suo poeta no ha bisogno di lodi. Dante é como il sole: basta che si mostri»**. Скажем то же и о Бахе: — он, как солнце: довольно того, что оно нам является. Но вокруг светила вращаются планеты. Они ближе к нам. Их легче наблюдать. У них есть нечто общее. И этим общим, как и самой своей сущности, они обязаны породившему их солнцу.

К разряду наибольших радостей, доставленных мне чтением книг, я причисляю знакомство с Швейцером и с Казальсом. Оба они, как и я сам, рано открыли для себя Баха и прожили с ним всю жизнь. К сожалению, я почти ничего не знаю о Гюнтере

* Речь идет о прелюдии к хоралу одной из поздних кантат Баха. О высказывании Мендельсона Б. Кузин, очевидно, узнал из книги А. Швейцера. См.: А. Schweitzer. J. S. Bach. Wiesbaden. 1957. S. 214.

** «Его поэма не нуждается в похвалах. Данте — как солнце: довольно того, что оно нам является» (итал.).

Рамине и о Гульде. Но довольно портретов и этих двух людей из орбиты Баха. Не может все прекрасное, что излучалось из них, не быть теснейше связано с ее сияющим центром. Если отбросить, что Швейцер был выдающимся органистом, а Казальс — величайший виолончелист, что оба они глубоко знают музыку и каждый неповторимо интерпретирует ее, что Казальс, кроме того, что он виртуоз, к тому же композитор и дирижер, одним словом, что они разносторонние и большие музыканты, то у каждого останется еще столько удивительных и прекрасных черт, что их одних хватило бы на то, чтобы хотеть знать их близко, дружить с ними и говорить о предметах, самых для меня важных, но для разговора о которых я, увы, лишь два-три раза за всю жизнь находил себе собеседников.

Швейцер получил, кроме музыкального, еще законченное теологическое и медицинское образование. В области теологии у него были свои, особые взгляды, кажется, не встречавшие особенного сочувствия у других ученых богословов. Но ведь так же точно далеко не все музыканты соглашались с его мнением, что современные органы, особенно немецкие, потеряли выразительность звука, какая необходима для исполнения Баха и которую он считал нужным восстановить. Не все также согласны с ним, что фортепьяно несовершенно передает музыку, написанную для клавесина, особенно же в сочетании со смычковыми инструментами. Да и медики, как я где-то читал, критически относились к методам его лечебной практики. Но человек оценивается не по частям, а по полному автопортрету, который составляет единственный важный итог каждой жизни.

Не мне, конечно, судить о теологических концепциях Швейцера. Но я вижу, с чем они сочетаются. — Прежде всего — с пониманием религиозного, художественного и морального единства музыки Баха. Можно ли его постигнуть, будучи самому разделенным в этих отношениях? Веру, красоту и добро роднят между собой два следующих их атрибута. — Первый — они постигаются только непосредственно, и человек проявляется в них без участия разума. Даже можно сказать — вопреки разуму. Всякий анализ их убивает. Нельзя путем логических рассуждений прийти к доказательству бытия Бога, но очень просто привести «убедительные» аргументы против него. Ни по какому рациональному рецепту нельзя написать имеющую действительную ценность картину, стихотворение или музыкальную пьесу, нельзя и хорошо исполнить по такому рецепту эту пьесу. Нельзя объяснить словами, в чем заключается сила эмоционального воздействия какого бы то ни было произведения искусства. Оценки добра и зла тоже не поддаются рациональной аргументации. Наоборот, очень легко показать, что почти всякое доброе дело неразумно с точки зрения как общественного блага, так и личного благополучия того, кто его совершает. Например, такое чистейшее и бескорыстное проявление доброты, как любовь к животным, в частности — к собакам, имеет последствием загрязнение жилища и улицы, от собаки можно заразиться паразитами, бешенством, она может кого-то покусать, а хозяин собаки

тратит время на возню с ней и деньги на ее прокорм. С другой же стороны, самое страшное из всех существующих злодеяний — смертная казнь — почти повсеместно считается необходимой для блага общества, а палачу она приносит хороший доход. Доброе дело может быть одновременно и полезным. Но настоящая сущность добра состоит в том, что оно творится без всякой оглядки на какую бы то ни было корысть или пользу.

Второе общее свойство веры, красоты и добра то, что они абсолютны. Все, что постигается интеллектом, — относительно. Это знает всякий, кто знаком с развитием любой отрасли науки. Автор величайшего научного достижения, если только он способен понимать истинный смысл своего занятия, должен сознавать, что его открытие составляет непревзойденную вершину в данной области только на некоторый промежуток времени. Что неизбежно наступит момент, когда выяснится, что границы применения открытой им закономерности уже, чем он предполагал вначале, что из нее имеются исключения и что рано или поздно кем-то будет предложена и всеми признана более общая закономерность, для которой его первоначальная в лучшем случае сохранит значение одного из нескольких возможных вариантов, а в худшем — будет вообще отброшена, как основанная на неверных предположениях, на неправильно истолкованных, ненадежных или количественно недостаточных фактах и т. п.

Веровать можно только абсолютно. Человек может быть только верующим или неверующим. Градации здесь немыслимы. Нельзя быть более верующим или менее верующим.

Также и в области прекрасного достижима абсолютная красота. Не все, что делают художники, достигает этого уровня. Но в каждой области искусства есть произведения, перед которыми можно только стать на колени и произнести единственное слово: — прекрасно. Они совершенны. Прибавить к ним что-либо или что-то от них отнять — святотатство. Их нельзя сравнивать между собой и располагать в порядке возрастающей или убывающей ценности. Нет способа определить относительную силу мастерства, необходимого для создания наивысшего произведения живописи, архитектуры, музыки, литературы и других искусств. И в пределах одного их вида нельзя сравнительно оценивать достоинства его высших образцов. Некоторые из них могут быть особенно близки одному, другие — другому. Но ни «Божественная комедия», ни «Дон Кихот», ни «Фауст», ни «Пир во время чумы», ни «Мертвые души», ни «Братья Карамазовы» не выше и не ниже одно другого. Совершенное не имеет сравнительной степени. И никакого значения не имеют размеры произведения: h-moll'ная месса Баха или его «Искусство фуги» не выше хоральной прелюдии «Nun freuet euch»* или «Kommt, süßer Tod»**. Большие полотна Пикассо не выше его рисунков. Не существует для совершенного и времени. Тысячелетия не могут принести ущерба

* Ныне радуйтесь (нем.).

** Приди, сладостная смерть (нем.).

афинскому акрополю, стихотворению Платона или Катутла. Это об абсолютно прекрасном Гете сказал:

Die unbegreiflich hohen Werke
Sind herrlich wie am ersten Tag*.

И добро подлинно только такое, которое совершается без всякого раздумья над его результатами, а единственно из стремления облегчить чье-то страдание, воспринимаемое как собственная боль. При этом оно направляется только на вполне определенное существо: на *этого* человека, на *эту* собаку, *эту* лошадь. Действительным свидетельством любви к животным служит не то, что данный человек состоит в обществе покровительства животным, аккуратно платит свои членские взносы в него и посещает его заседания, а то, что он бросается в воду, чтобы спасти тонущего щенка. В отношении любви к человечеству вообще, трудно даже решить, хороша она или плоха с чисто моральной точки зрения. Иногда (но не всегда) она улучшает жизнь народа или каких-то обиженных его групп. Но при этом непременно ценой жестоких страданий многих отдельных людей. Социальная гигиена, быть может (я в этом не уверен), — вещь важная. Но она ближе к медицине или к животноводству, т. е. к технике, чем к этике, понятия которой находятся вне категории пользы. Таким образом, и добро, как вера и красота, абсолютно.

Вся жизнь Швейцера была отдана вере, красоте и добру в их самом чистом понимании. Относительно музыки и служения вере (Швейцер некоторое время практически исправлял должность священника) это очевидно. В повседневной жизни он проявлял самую простую доброту к людям. Но жажда более широкого поприща для творения добра привела его к медицине, для чего он прошел ее курс и получил диплом врача. Ставши им, он не решал проблемы социальной гигиены, а облегчал страдания конкретных людей, при этом особенно обездоленных в отношении врачебной помощи. На средства, полученные им за многочисленные концертные выступления в разных странах, он построил в негритянской деревушке в Габоне небольшую и довольно примитивно оборудованную больницу. В этой деревушке он и прожил значительную часть своей очень долгой жизни, леча больных, среди которых было много прокаженных. Его пациенты обожали своего доктора, и его смерть была для них тяжелым горем. Узнав, что Эйнштейн считает Швейцера самым замечательным человеком нашей эпохи, Казальс сказал — «Я также. Несмотря на то, что события последнего времени разрушают иллюзию за иллюзией, — достаточно вспомнить, что существует такой человек, как Швейцер, чтобы вновь обрести надежду». Но ведь это почти буквально то, что сам Швейцер и Мендельсон говорили о музыке Баха!

* Величие дивного творения/Торжественно, как в первый день (нем.). — Гете, «Фауст», «Пролог на небе» (пер. В. Брюсова).

И всякий, кто слышал игру Казальса и кто знаком с его жизнью, был бы удивлен, если бы он ответил иначе.

Многие музыканты исполняют Баха, и исполняют прекрасно. Но Казальс живет Бахом. Его сольные виолончельные сонаты и сюиты он играет каждый день, как и прелюдии и фуги «Хорошо темперированного клавирина». До Казальса ни один виолончелист не выступал в концертах с сольными произведениями Баха. Вероятно, поэтому его и называют апостолом Баха. Но нужно знать, что подлинным его апостолом может быть только тот, для кого существуют все три его проявления: в вере, в красоте и в добре. Во всех трех и проявляется Казальс. Он не теолог, подобно Швейцеру, но он верует. Казальс больше, чем Швейцера, волнуют социальные и политические проблемы, но лишь в той мере, в какой они задевают его чувство справедливости. Но доброта к людям (также и к животным) выявляется в каждом его действии. Сильное нервное напряжение вызывает у многих дирижеров (как, между прочим, и у хирургов) крайнюю раздражительность. На репетициях они могут обидно выругать оркестранта за погрешность в исполнении или за неспособность понять требование дирижера, а то даже и ударить его. Никогда этого не бывало с Казальсом. Он десятки раз терпеливо разъясняет музыканту, в чем состоит его ошибка, заставляет играть не удающийся пассаж вновь и вновь и, когда наконец добьется успеха, то радуется и за себя, и за него. С легкостью и простотой он помогает деньгами изгнанникам-каталонцам, которых много близ Прада, где теперь живет и сам Казальс. Но при простой сердечной доброте он обладает сильнейшим духом, не позволяющим ему идти ни на какие сделки со своей совестью. Не менее, чем Швейцер, он относится к категории людей, существование которых убеждает, что зло не всемогуще, что как бы широко оно ни разливалось по всему миру, а все же есть нечто, с чем оно не может справиться, что вопреки всему вера, красота и добро неистребимы. Пусть хотя бы и в лице лишь немногих людей. Но разве играет роль количество, когда речь идет об абсолютном?

Кстати, о количестве. — Так ли уж оно мало? Не произвольно ли мы говорим только о человеке и забываем при этом о животных? Я — зоолог скорее всего не потому, что считаю проблему жизни особо важной или более интересной, чем другие научные проблемы, а по той причине, что люблю животных. В детстве эта любовь была безотчетной. Просто всякие животные, а особенно, конечно, домашние и прежде всего собаки, были мне милы, симпатичны и составляли неперемнную часть моего общества. Но когда я стал размышлять о корнях любви человека к животным, то понял, что они кроются в его преклонении перед идеей добра. Нас не могут не радовать признаки ее универсальности. Перешедшее из Ветхого завета в христианство и свойственное также некоторым другим религиям представление о центральном положении человека в природе, идея, что весь остальной мир, в том числе и животные, создан для него, глубочайше вкоренена в нас. Сознание своего безусловного превосходства над животными мешает людям правильно воспринимать то, что в животных

не менее, а то и более прекрасно, чем в нас. Мы говорим «человечность», имея тем самым в виду, что доброта свойственна исключительно человеку, а проявляемую человеком жестокость называем «зверством». Между тем ни одно животное не причиняет особям своего или чужого вида мучений и не убивает их без жизненной необходимости. Тем более животные не изощряются в изобретении способов усилить страдания своего врага или жертвы. Это делает только человек. В то же время животные способны любить в самом широком значении этого слова. Я не говорю о вызванных стремлением к размножению взаимной симпатии и влечении друг к другу полов или о самоотверженной защите своего потомства. Это можно отнести к области видовой физиологии. Но животные, во всяком случае млекопитающие, способны воспринимать и ценить доброту и ласку со стороны особей чужого вида, ищут ее и могут сами ее оказывать. Как бы ни объяснять в терминах индивидуальной и видовой физиологии привязанность животных одного или разных видов друг к другу, проявления ее несомненны, и они ничем не отличаются от тех, которые мы в применении к человеку называем любовью, симпатией, состраданием, благодарностью и т. п. и в которых манифестируется идея добра. Также и идея красоты выражена не только во внешнем облике человека и в создаваемых им произведениях. Она распространена во всей природе, включая даже и неживую. Она заключена во всем, что в качестве космоса противопоставляется хаосу. И уж с особенной силой выражена в формах и в поведении животных.

Есть великие и даже величайшие художники, жизнь и творчество которых совершенно или в большей мере нейтрально в отношении веры или добра. Первым из них приходит на ум Гете. Меня нельзя заподозрить в непонимании его величия. С ранней юности и до нынешнего дня меня с одинаковой силой потрясают высоты его поэзии, его мудрость, его сверхчеловеческая способность видеть и вещи, и то, что за ними. Незаконно желать от кого бы то ни было, а тем более от великого человека, чтобы ему было понятно и близко все то, что так важно для тебя. Но чем значительнее этот человек и чем больше ты в нем ценишь нечто, тем обиднее тебе его отчужденность от другого, первостепенного для тебя. Быть может, это и смешно, но я никогда не забываю, что Гете не любил собак. Неужели же ему было так необходимо представлять в «Фаусте» сатану в образе пуделя? Ведь именно в собаке, перейдя к ней от волка, с особой убедительностью проявляется надчеловеческая природа добра. И невольно в один ряд с нелюбовью к собакам становятся некоторые черты и поступки Гете, о которых не хотелось бы знать. А может быть, идея космоса настолько выше всех других, что им не остается места у ее наивысших служителей? Но ведь оставалось же у Баха, у Сервантеса, у Рембрандта, у Пушкина. Пусть мое отношение к таким гениям не может ничего прибавить к их величию или отнять от него что-то. Я говорю только о себе и о тех, к кому чувствую свою особенную близость. И именно о своих современниках, хотя большинство их родилось раньше меня.

Выбор современников закономерен. Я думаю, что не только время само по себе сделало то, что только в XX столетии, и не в самом его начале, стало шире и глубже понятно многое великое, сотворенное в прошлом, иногда и очень далеко. Например, старая русская иконопись и архитектура, искусство Средних веков и готика, Бах. Думаю, что и до «Тристий» Овидия, до Катулла, Сервантеса, Гете, Пушкина, Гоголя, Тютчева и Достоевского по-настоящему можно было дорасти только после потрясений первой мировой войны, нашей революции, фашизма, сопровождавшего их террора, второй войны, атомной бомбы и краха стольких идеалов. Истинное значение высших духовных ценностей может быть постигнуто только при сознании полной силы уже проявившегося зла и представлении перспектив его дальнейшего развития.

Со всей добросовестностью стремятся положить конец злу ученые. По древней традиции они признаются всеми и сами себя почитают носителями мудрости. Это одна из величайших ошибок. — Ученые в действительности — хранители знаний и служители разума, т. е. интеллекта, которому они и придают значение наивысшей ценности и от которого ожидают наведения порядка в мире. Это — наивная вера, стоящая в противоречии и с фактами, и со здравым смыслом. Корни ее все в том же представлении о человеке как о венце творения и о центре вселенной. Из него следует и вывод, что если разум составляет отличительную особенность человека, то он и есть залог и орудие его всемогущества, простирающегося до того, что он властен изменять существующий в природе порядок вещей. При этом забывается, что и сам человек, и его разум порождены природой. Вся история человечества состоит из попыток противопоставить законам природы, часто невыгодным для человека, свои законы, кажущиеся более выгодными. Но именно только кажущиеся. В каждом случае природа мстит за нарушение ее законов. Этого можно было не замечать, пока воздействие человека на природу было относительно слабо и так же относительно мало ощутима была месть природы. Но вот человечество размножилось до таких пределов, что заселило все средства воздействия на природу, уже соперничающими с космическими. Не замечать бурного протеста природы против этого вмешательства стало уже невозможно. Ученые и замечают. Но какие же средства они предлагают для устранения этого растущего не по дням, а по часам конфликта? — Они опять прибегают к своему единственному орудию — разуму. При этом они отказываются признать, что часть не может быть больше целого, т. е. что нечто созданное природой не может управлять ее законами. А в том, что касается человеческого общества, они проявляют не меньшую слепоту, когда предлагают и его организовать или улучшить на принципах разума. Действовать разумно способны лишь очень редкие люди, да и то только в моменты, когда они не находятся под влиянием эмоций. Поэтому никакое рациональное мероприятие не может быть проведено в жизнь общества без применения насилия, которое всегда несет в себе зачатки последствий, уничтожающих пользу этого мероприятия.

Есть что-то детски-наивное, а вместе с тем и претенциозное, в термине «ноосфера», что в точном смысле означает «сфера разума». Под ней подразумевается оболочка Земли, образованная человеком и продуктами его деятельности. Против существования такой оболочки, по-видимому, нельзя возражать. Но следовало бы ее обозначать более скромным названием «антропосферы». Если разум (*νóος*) и обусловил ее существование, то на ней сказались вся ограниченность возможностей и все несовершенство этого инструмента. В результате его работы получилась не сфера разума, заключающая в себе потенциально средства рационального управления земными процессами, а сфера безумия (*δνoία*), грозящая гибелью человечеству и всему прекрасному, что он создал. Поэтому правильнее было бы заменить термин «ноосфера» даже не нейтральным «антропосфера», а лучше характеризующим сущность обозначаемого им предмета «анойосфера».

Может ли быть случайностью, что Швейцер и Казальс сходны по своему отношению к красоте, добру и вере? Случайно ли, что эти два моих современника вызывают такое мое преклонение перед ними? Что есть абсолютно общего с ними у меня, не наделенного отпущенным им в необычайной мере талантом? — Ответ на эти вопросы для меня единственный. — Мы объединены Бахом. Он — то солнце, вокруг которого вращаются столь разные по величине планеты.

Жить Бахом значит — понимать, что говорит его музыка, и находить в себе полный отклик тому, что она говорит. Можно наслаждаться ее звучанием и в то же время не замирать перед скрытой за ней тайной и не чувствовать в самой глубокой своей глубине, что она несовместима ни с какой ложью, ни с каким злом. Не сомневаюсь, что таких ценителей музыки Баха, и притом искренних, имеется немало. Но для них Бах не ось, вокруг которой вращается их бытие. Они не живут в сфере его излучения, в его силовом поле. Живущие же в этой сфере составляют как бы некое братство, хотя бы его члены не встречались между собой ни во времени, ни в пространстве. К этому братству, поскольку оно более всего определяется особым строем души, могут быть близки и те, кто лишен способности воспринимать красоту, выраженную языком музыки. Близость к нему иногда лишь угадывается по каким-то штрихам в человеке, которого ты даже мало знаешь. Для меня она почти несомненна в Андрее Рублеве, очень возможна в Сервантесе, Рембрандте, Толстом, чувствуется что-то от нее у Камю. С другой стороны, ясно определяется внеположность баховскому братству. Как далек от него, например, другой (кроме Баха) величайший немец — Гете. Швейцер несколько раз в своей книге упоминает рядом с Бахом и в каком-то близком сопоставлении с ним Вагнера. Я не могу понять, что может их каким-то образом сблизить. Из наших современников как чужды баховскому духу Пикассо и Хемингуэй. Но зато как явно ощущается близость к его орбите Эйнштейна. Не говорит ли об этом прежде всего его мнение о Швейцере? Эйнштейн любил музыку. Не знаю, исполнял ли он Баха. Во всяком случае, сольные скрипичные сонаты и сюиты

слишком трудны технически для скромных исполнительских возможностей Эйнштейна. Не знаю даже, воспринимал ли он музыку Баха как единственную, как сверхмузыку. Но, будучи гением в науке, Эйнштейн ни в чем не был похож на ее жрецов типа, например, Павлова или даже Бертрана Рассела, безгранично верящих в силу интеллекта и потому сознательно или бессознательно рассматривающих свое занятие как некий высший род деятельности, призванный раскрыть все тайны мироздания и благодетельствовать человечеству. А служение науке, настоящая сущность которого заключается в красоте решения задачи без оглядки на какое бы то ни было значение достигнутых результатов, только и поднимает ученого на уровень творцов абсолютных ценностей. Я не читал ни одного сочинения, специально посвященного Эйнштейну. Знаю только некоторые высказывания о нем. Из них немало и шуточных. Прочитал из его писаний только то, что мне было доступно как полному профану в математике и в современной физике. Но в течение 40 с лишним лет, протекших до его смерти со времени, как мне стало известно его имя, я воспринимал его как одну из немногих опор, на которых держится совесть эпохи и вера, что человек создан не только затем, чтобы уродовать наш прекрасный земной мир и тащить его к гибели.

Еще меньше, чем Эйнштейна, я знаю не так давно скончавшуюся королеву бельгийскую Елизавету. Известно мне о ней только, что она обожала музыку и живопись, помогала музыкантам и художникам, учредила скрипичные конкурсы имени Изаи. Во время первой мировой войны была вместе с мужем, королем Альбертом, на фронте, где работала сестрой милосердия. Второе немецкое нашествие, когда Бельгия была занята полностью, пережила в Англии, где тоже делала, что могла, для своего народа. Без всяких приличествующих ее сану церемоний приехала в Советский Союз послушать наших музыкантов, а потом, тоже без торжественного оформления, отправилась в Америку на восьмидесятилетие Казальса. При всей скудости моих сведений о ней я все же чувствую, что она из тех, из моих прекрасных современников.

Только Казальс теперь еще живет. Кажется, он человек здоровый и, Бог даст, переживет меня. Померли Эйнштейн, Швейцер, Елизавета. Каждая из этих смертей была для меня событием особого значения. Я не сравниваю своих переживаний по их вопросу с глубоко личными, вызванными смертью отца, брата, матери, замученного Мандельштама, ужасно покончившего с собой Б. В. Барнетта. Там прежде всего было острое горе, нахлынувшая беда, что-то близкое к физической боли. Весть же об этих смертях звучала, как гулкий удар башенных часов среди ночи. Услышав его, можно только остановиться среди безлюдной улицы и снять шапку. — Вот еще не стало человека, прожившего в мое время и — кажется мне — со мной вместе жизнь, значение которой так ясно тому, у кого открыты уши и сердца для музыки Баха. Вот еще отошел один, кто с последним вздохом мог спокойно произнести: «Ныне отпускаешь, Владыко, раба твоего с миром по глаголу твоему». Будут ли у меня в этот час силы сказать эти слова, самые высокие во всей поэзии?

О САМОМ СТРАШНОМ

Самое страшное из всего, что есть на свете, это — смертная казнь.

Трезвость суждения приходит к человеку очень постепенно и встречает большое внутреннее сопротивление, так как она разбивает дорогие нам иллюзии. Полной трезвости не достигал, нужно думать, никто никогда. Про себя я могу только сказать, что к старости я стал рассуждать много трезвее, чем в молодые и даже в зрелые годы. Именно потому теперь я очень удерживаюсь от категорических утверждений и если все же иногда их произношу, то только когда не могу не произнести.

Удивительно в людях их различное отношение к одним и тем же предметам. Каждый человек живет в своем собственном мире и не имеет ни одного полного двойника. Среди моих близких друзей были такие, с которыми я во многом сходился. Что не обо всем мы думали одинаково, — к этому я привык давно. Гораздо позднее я перестал удивляться тому, что при большой общности наших взглядов мой собеседник по многим, и притом очень важным для меня, вопросам часто не имел никакого мнения. Это было понятно, когда то, что я говорил, было просто ему недоступно по отсутствию специальных способностей или знаний. Не может же он разделять или не разделять мое отношение к виолончельным сюитам Баха, если у него вообще нет музыкального слуха и он равнодушен к музыке. С другой стороны я, при своей неспособности к математике, не смог бы откликнуться на восторг своего приятеля-математика по поводу изящного решения задачи из области теории чисел или топологии. Но меня поражало (теперь уже не поражает) полное отсутствие у многих, пожалуй, даже у огромного большинства людей интереса к вопросам чисто житейским, общечеловеческим, к предметам нашего повседневного окружения. Я уже писал однажды, как меня удивило почти всеобщее равнодушие, мало того — враждебное отношение к животным, которые мне с самого раннего детства и до нынешнего дня кажутся заслуживающими самого большого интереса (не говоря уже о симпатии). Непонятно мне было, как можно совсем не задумываться над политическими событиями, человеческими взаимоотношениями, нравами разных народов и т. п. Оказалось, что все это возможно и что я сам не проявляю интереса к тому, что занимает очень и очень многих, и не имею в этом ни малейшей осведомленности. Например, меня совсем не волнует спорт. Я, конечно, не мог не слышать таких громких имен, как Яшин, Майо-

ров или Метревели. Но мне неизвестно, кто из них подвизается в футболе, кто в хоккее, а кто, быть может, в теннисе. По радио я каждый день слышу названия спортивных команд, но ни одно мне ничего не говорит. И это при том, что я, пока совсем не испортилось мое сердце, сам очень любил играть в некоторые спортивные игры. К театру, за исключением явной буффонады, я не только равнодушен, но даже считаю, что он несовместим с представлением об искусстве. И еще ко многому другому я глух и слеп.

Слова, с которых я начал сейчас писать, были, во-первых, категоричны, а во-вторых, они отражали мое отношение к смертной казни, тогда как этот вопрос может другими людьми решаться по-иному, а некоторых и совсем не занимать. Но ведь кто-то о нем думает и не находит его решения или решает так, как его недопустимо решать, а для кого-то он так же мучителен, как для меня. Поэтому я не только считаю нужным высказаться о нем, но вижу в этом свой важный долг, хотя я почти уверен, что и эта рукопись, как большинство моих других, пока я жив, пролежит в ящике моего письменного стола, а когда помру, — пропадет.

В очень раннем детстве, рассматривая картинки в переплетенном комплекте «Нивы» за какой-то год, я натолкнулся на изображение чуда Девы Марии. В центре была виселица, на которой висел казненный. А за ним в виде бледного призрака стояла в воздухе Святая Дева, поддерживающая повешенного и этим спасающая его от смерти. Смысл картины я понял. Но счастливый исход изображенного события для меня словно бы отсутствовал. Передо мной был только казненный человек. Я видел только ужас. Никогда и никому я не мог признаться в страхе перед чем бы то ни было. Проявить свою боязнь мне казалось верхом позора. И возможно, именно поэтому мои страхи, особенно в детстве, были так постоянны и мучительны. Я не перевернул быстро страницу с ужасной картиной, а смотрел на нее долго. А потом весь день думал о ней, а ночью долго не мог заснуть. Но, несмотря на это, я не запрятал подальше отвратительный том «Нивы», а время от времени брал его вновь, находил мучившую меня картину, смотрел ее и этим питал свой страх и тоску.

Много позднее, когда мне было лет семь-восемь, отец показал мне рисунки и фотографии, хранившиеся у него в одной папке. Среди них было несколько рисунков моего прадеда-иконописца, изображающих в манере ботанических атласов начала прошлого столетия различные растения*. Были рисунки и наброски самого отца и его приятелей, иногда довольно занятые. И было с десятков наклеенных на картонные паспарту фотографий, сделанных в Туркестане, как тогда называли нашу Среднюю Азию. Снимки были сделаны хорошо и изображали картинки городской жизни:

* Под этими растениями были подписаны их латинские названия, вполне грамотно и почерком или шрифтом того же времени. Прадед, пришедший в Москву мальчиком из калужской деревни, обучился не только рисовать и писать иконы, но также насколько-то изучил некоторые иностранные языки. Рисунки растений говорят о его интересе к живой природе. Все эти способности и склонности прадеда передались в какой-то форме его потомкам. — *Примеч. Б. Кузина.*

базар, харчевни, жителей края в национальной одежде, архитектурные памятники и т. п. Показывая их мне, отец вдруг быстро отложил один лицевой стороной вниз. Я понял, что он почему-то не хочет, чтобы я его видел, и не стал просить показать его. Но я сделал то, что делают в таких случаях все дети. — При первой возможности я достал папку с художественными сокровищами и без труда отыскал в ней ту фотографию. В отличие от других, снятых при ярком солнце, эта была туманна. На ней на фоне кирпичной стены была снята группа людей. По сторонам стояли два стражника с алебардами. Посредине — палач, перерезающий ножом горло стоящему на коленях человеку, обнаженному до пояса, с руками, связанными за спиной, и с запрокинутой назад головой. За ним навзничь лежал другой, только что казненный таким же способом. Кровь тонким ручейком вытекала из перерезанного горла на плиты пола. На оборотной стороне паспарту было написано карандашом «Казнь в Бухаре». Со мной повторилось в точности то же, что было после «Чуда Девы Марии». Те же терзания по ночам, тот же страх, та же тоска.

Природа страха может быть очень разная. Совсем не похожи страх перед стихией, перед смертельной опасностью на войне или в ожидании нападения, страх панический, страх, возникающий в атмосфере политического террора. Одни виды страха стимулируют чувство самосохранения, побуждают к энергичным защитным действиям, другие парализуют (это собственно и есть ужас), третьи ввергают в тоску. Именно к этой категории ближе всего и подходит страх перед смертной казнью. Это — страх-отвращение. И он особенно близок к тоске в ожидании ареста. Я как-то долго не мог понять его природу. В самом начале пятидесятых годов для всех, отбывших ранее наказание по знаменитой 58-й статье, вторичная посадка сделалась почти неизбежной. Не надеясь составить исключение, я ломал голову над вопросом, откуда же берется эта невыносимая тоска при мысли о ней. Имевшийся опыт говорил мне, что вытерпеть новое следствие и лагерь у меня духа хватит, что в самом крайнем случае можно ожидать не больше, чем смерти, дикого страха перед которой я не имел. Но тоска от этих рассуждений не пропадала. Ища ее источник, я заговорил о ней с одной своей знакомой, у которой был в этом деле и некоторый собственный опыт, и огромный опыт всей ее родни и многих друзей. Вероятно, именно в этом большом и интеллигентном кругу интересовавший меня вопрос был решен. — Тоска происходит не от страха перед предстоящими лишениями и даже, возможно, мучениями, а от мысли о соприкосновении с грязью, — самым главным атрибутом всякой тайной полиции. Грязь, грех, зло, уродство, сатанинское начало. Все это первично, элементарно и потому абсолютно, и потому не поддается никакому формальному осмыслению, никакой логике. Даже можно сказать, что все это принципиально алогично. Этим всем ужасна и смертная казнь.

Жизнь глубоко антиномична по самой своей природе. Ей противопоставляется смерть. Но в то же время смерть — необходимое условие самого ее существования,

так как без смерти не может совершаться в природе круговорот органического вещества, на котором и зиждется жизнь. Противоречивая сущность жизни в целом сказывается во всяком ее частном проявлении. А раз так, то и в жизни каждого отдельного человека, человеческого общества, во взаимоотношениях людей между собой и с другими живыми существами. Возникающие при этом конфликты не могут быть сняты принципиально, т. е. выбором раз навсегда одной из двух поставленных самой природой антиномий, так как такой выбор неизбежно приводит к абсурду. Волей-неволей приходится принимать какое-то компромиссное решение. Возможно, что житейская, а уж во всяком случае государственная мудрость как раз и заключается в умении находить наиболее выгодный и дальновидный компромисс в каждом таком положении.

Вопрос об убийстве — один из тех, что решается только компромиссно. Евангельская заповедь категорически повелевает: не убий! Ее безусловное соблюдение практически невыполнимо и с первых же шагов приводит к абсурду. Если даже не считать убийством уничтожение растений и бактерий, то лишение жизни любого животного нельзя назвать иначе, чем убийством. Вегетарианец может не употреблять убитых животных в пищу и не пользоваться никакими изделиями из кожи. Но и он растаптывает при ходьбе по траве или по лесу муравьев и других мелких животных. Заповедь «не убий», конечно, имеет в виду только убийство человека. Но даже и в этих пределах строго она никогда не соблюдалась даже самой церковью, проповедующей евангелие. Во все времена она не только не осуждала, но даже благословляла воинство своего государства, по меньшей мере молчаливо терпела смертную казнь, поскольку посылала своих служителей исповедовать казнимых перед исполнением приговора, и даже сама осуждала на жестокую смерть тех, кого объявляла еретиками.

Тем более оправдывали разные виды убийства государство и общество. Так, с точки зрения права и общепринятых обычаев считается допустимым убийство, совершенное в целях самозащиты, при попытке преступника к бегству, для восстановления общественного порядка и т. п. Во многих обществах законным основанием для убийства признается месть. В принципе все эти виды человекоубийства можно было бы запретить. Но сделать это на практике нет никакой возможности. Всякий закон может быть действенным только в том случае, если он соответствует среднему моральному и умственному уровню данного общества. Если же это условие не соблюдено, то закон существует только на бумаге.

Таким образом, абсолютное требование человеческой морали практически несовместимо ни с самой сущностью жизни, ни с природой человека — существа достаточно жестокого и не способного противостоять эмоциям, — ни с законами существования общества. Но если в принципе убийство грешно, то еще несравненно грешнее самоубийство. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что жизнь с начала

до конца — чудо. А чудо не совершается само собой. Оно может возникнуть только под действием творческого начала. Творчество же, в противоположность разрушению, — сила космоса, красоты, мудрости, добра. Мы не по своему произволу появляемся на свет, а потому и не вправе произвольно прекращать свое существование. Значит, мы *должны* жить. А если жить можно только идя на какой-то компромисс со злом, то мы и идем на него, т. е. в какой-то мере миримся с убийством. Но в какой?

Определить эту меру раз навсегда и для всех людей невозможно. Ее определяют для каждого человека его собственная совесть. Одним из самых больших откровений в области морали для меня было «Преступление и наказание». Наполеон имеет право убивать. Раскольников — нет. Не имеет уже по одному тому, что он ставит перед собой этот вопрос. Наполеон для себя его не ставил.

Если понятие преступления, таким образом, относительно, то веление совести всегда только абсолютно. Его нельзя понимать иначе как категорический императив. Для него нельзя искать рационального обоснования. Восстать против него значит — погибнуть. В своей книге о собаках, одной из тех, что по прочтении не забываются, зоопсихолог Лоренц описывает произошедший с ним случай. — Для каких-то своих наблюдений он содержал в лаборатории небольшого удава. Кормил его мышами. Однажды ему пришла мысль заменить мышей крысами. Преимуществом такой замены была экономия времени на выращивание живого корма. Крысенок достигает размера взрослой мыши уже вскоре после рождения. Поставленная цель была достигнута, а удавчик ел крысят с полной охотой. Но через некоторое время автор стал замечать, что что-то происходит с ним самим. — Он стал нервозен, стал плохо спать, у него пропал аппетит, не клеилась работа. Ища причину такого своего состояния, он подумал, — не вызвано ли оно тем, что каждый раз, впуская в террариум к змее крысенка, он жалеет его гораздо сильнее, чем прежде жалел мышей. Но почему? — И тут он припомнил, что животные проявляют особое отношение к детенышам не только собственным, но и других видов. Достаточно посмотреть хотя бы на кошку, которая позволяет ребенку мучить себя в игре так, как она никогда не позволила бы взрослому человеку. Вряд ли Ромул и Рем были действительно вскормлены волчицей. Но эта легенда основана на верных наблюдениях над отношением животных, в том числе и хищников, ко всякой молодежи. Сохранилось такое отношение и у человека. Как все врожденное, оно укоренено очень глубоко и часто не доходит до нашего сознания. Лоренц не предполагал, что оно может так сильно дать себя почувствовать. В виде нового эксперимента, на этот раз произведенного на себе самом, он перешел на старый способ кормления удава взрослыми мышами. Вскоре же признаки нервного расстройства у него исчезли. Описывая этот случай, Лоренц заключает, что повеления совести, какова бы ни была их природа, категоричны и что не подчиняться им нельзя ни при каких обстоятельствах.

Однако порог протеста совести против убийства может находиться на очень разной глубине. Даже само слово «убийство» в общепринятом обиходе совсем не синоним термина «лишение жизни». Я уже говорил, что оно не применяется к животным. Но и применительно к человеку слова «убийство» и «убийца» имеют в общезначении ограниченное значение. Никто, например, не назовет солдата убийцей, а его главное ремесло убийством. Оно вполне rispettable именуется военным делом. Солдат не убивает, а уничтожает живую силу врага. Не убийца даже разведчик, подкрадываясь незаметно к часовому и тихонько зарезавший его ножом. Он не убил, а «снял» часового. Убийцей называется только тот, кто *незаконно* лишил жизни человека. Незаконно даже не со строго юридической точки зрения, а в смысле несоответствия принятым обычаям или этическим нормам. Убийца, таким образом, всегда преступник. При таком подходе не подпадает под рубрику убийства и смертная казнь. Даже можно сказать, что она наиболее законная форма лишения человека жизни, так как в каждом случае совершается по постановлению суда или какого-то его подобия, или уж, как минимум, по распоряжению лица, по праву или без права держащего в своих руках власть.

И все же смертная казнь ужасна. Она страшней и уничтожения огромных масс людей на войне, и всех форм того, что обычно называют убийством, даже и случаев, когда вооруженные бандиты вырезают целую семью, не щадя и маленьких детей, и даже отвратительного убийства ребенка после изнасилования. Солдат в сражении рискует собственной жизнью не меньше, а иногда и больше, чем его противник. Бандит и убийца-насильник тоже рискуют. Палач же не рискует ничем. Его жертва надежно обезврежена. За свое деяние он не только не преследуется законом, но даже хорошо вознаграждается властями.

Очень многие охотники, с увлечением настреливающие десятки уток или других птиц и даже без особо тяжелых душевных мук добывающие подранков, не могут зарезать курицу, домашнюю утку, а тем более гуся. Зная это по собственному опыту, я, когда еще только начинал ходить с ружьем, пытался найти объяснение этому противоречию. Про охоту на опасного зверя я, конечно, не говорю. Там — азарт и несомненный большой риск. Но даже когда добыча совсем безопасна, в охоте на нее есть все же какое-то подобие соревнования, спорта, игры: вроде как бы кто кого перехитрит. И это уже как-то в моих глазах затушевывало жестокость самого занятия. Но, конечно, только затушевывало и только в глазах склонного к азарту, но ищущего себе какого-то морального оправдания довольно еще молодого человека. Пришло когда-то время, когда такие иезуитские выкруты перестали успокаивать мою совесть. Я и теперь не порицаю своих молодых друзей-охотников. Но в себе самом уже давно не нахожу силы превращать в трупы прекрасные живые существа. Однако поесть эти трупы, особенно когда они хорошо приготовлены, я все еще согласен.

Из приведенного примера отношения к охоте особенно видна зыбкость морального порога даже у того же самого человека в разное время его жизни. Но это не меняет существа дела. — Неважно, почему и насколько рационально наша совесть запрещает нам совершать какой-то поступок. Этого запрета довольно самого по себе, и нарушение его губительно.

Несколькими строками выше я приводил нечто вроде рационального обоснования своего отношения к смертной казни. Но ведь природа его чисто моральная. А раз это так, то обосновывать его бесполезно. Но иррациональность моральных принципов не означает, что они не могут быть предметом разговора. Категорическое утверждение, что смертная казнь недопустима, почти всегда вызывает возражения. Они могут быть разнообразны, но в основе почти всех их лежат мотивы, которые правильнее всего называть социально-гигиеническими. Смертная казнь необходима для избавления общества от особо вредных для него элементов. Если даже допустить, что это средство оздоровления общества эффективно, то и в этом случае нельзя переносить на людей, на людское общество приемы животноводства. Там с помощью выбраковки улучшаются или сохраняются ценные качества домашних животных. Но между людьми отношения могут строиться только на принципах моральных, как бы зыбки они ни были, но не утилитарных. Между прочим, животноводством или ветеринарией заметно припахивают всякие евгенические домыслы. У меня всегда было к ним неприязненное и несколько брезгливое отношение. К счастью, их пока не удастся применять на практике. Пожалуй, единственный широкий практический эксперимент явно евгенического характера был произведен Гитлером. Но ему, как известно, с этим делом в конце концов не повезло.

Основываясь в чем-либо на моральных принципах, мы тем самым принимаем в этом случае в качестве единственного арбитра поведения человека его совесть. А она одному разрешает делать то, что другому безусловно запрещает. С одной стороны, такое положение крайне затрудняет, а то даже и совсем исключает оценку некоторых людских поступков. — Где логика в том, что для Наполеона не преступление убийство тысяч невинных людей, а для Раскольникова тяжкое преступление убийство одной скверной старухи? Но с другой стороны, именно иррациональность морали делает ее вернейшим компасом нашего поведения.

Совесть у разных людей разная. Но относительная моральная оценка людского поведения более или менее одинаковая. Лоренц, например, не мог кормить удава детенышами крысы. Но кормление аквариумных рыбок мотылем, т. е., собственно, тоже детенышами (личинками) перистоусого комара, вряд ли вызвало бы у него какой-нибудь протест совести. Мышей, которыми он кормил удава, ему тоже было жаль, но все же не настолько, чтобы отказаться от наблюдений над змеями. Однако я не сомневаюсь, что никакой научный интерес не заставил бы его приносить в жертву подопытным хищникам собак или обезьян, хотя бы и взрослых. Между тем большин-

ство физиологов преспокойно мучит собак, а кому из них посчастливится получить такой дорогой и редкий материал, — то и обезьян. Наконец, при постановке уже упомянутого мной колоссального евгенического опыта нашлись врачи, производившие страшные хирургические операции на людях, в том числе и на детях. На противоположном полюсе находятся те, кому жаль лишать жизни любое животное, хотя бы и неприятное. Сосущего их кровь комара они не прихлопывают, а только сгоняют (кстати, не очень-то заботясь, что тем самым они заставляют его причинять боль кому-то другому). В достаточно большой пробной группе людей найдутся представители всех только что перечисленных классов чувствительности совести. Но я думаю, что большинство их согласится с описанным порядком расположения этих классов от одного полюса к другому.

Я все же возвращаюсь к заглавию и к первой фразе этого своего сочинения. — Мне в нем хочется показать только *порядок смертной казни в моральном ряду* всякого вида убийств. Я вовсе не надеюсь, что прочитавший его человек приобретет такое же отвращение к казни и такой же ужас перед ней, какие испытываю я сам. В этом вопросе нужно полностью отрешиться от всяких оценок, кроме чисто моральной. Пусть каждый проверит себя, ответив себе на вопрос о своем непосредственном, т. е. чисто эмоциональном, не обдуманном, а проявившемся как бы в виде рефлекса, отношении к солдату, к убийце-преступнику и к палачу.

Не все для этого вооружены полным опытом. Я, например, ни разу в жизни не встречался с палачом. Вернее, не встречался с человеком, о котором мне было бы заведомо известно, что он палач*. В числе своих знакомых и даже родственников я имел и военных. Могу сказать, что это были по большей части довольно ограниченные и малоинтересные люди. Иногда и просто неумные. Не говорю, конечно, о рядовых. Они военные временно и не по собственному выбору этой профессии. Офицеры же, особенно послереволюционные, больше всего подходят под категорию технической интеллигенции. При всем своем отрицательном отношении ко всякой войне, а следовательно, и к профессии солдата в принципе, я никогда непосредственно не воспринимал военных как убийц и не испытывал неосознанного желания избавиться от общения с человеком только потому, что он — солдат, или какого-то торможения при протягивании ему руки при встрече или прощании. Встречался я и с убийцами-преступниками, главным образом в лагере, но и на свободе, после отбытия ими своего наказания. Конечно, чем-то жутковатым на меня от них веяло. С различной силой, в зависимости от того, что представлял собой такой дядя, что он сделал, по каким мотивам и т. п. А все-таки эти люди не отталкивали меня так уж безусловно, чтобы я не мог вести с ними никаких разговоров или бежать скорее мыть руки после их рукопожатия. И попадались среди них такие, что даже чем-то

* Вероятно, таковые были среди моих следователей, или некоторые из них в 1937 году стали палачами. — *Примеч. Б. Кузина.*

располагали к себе. Скажу даже, что как людская категория в целом убийцы мне симпатичнее, чем полиция. И уж несравненно приятнее, чем полиция тайная. Ох, как я не люблю здороваться и прощаться с ними за руку (а ведь по своей должности в институте я не мог этого избегать). А они, как на грех, большие гигиенисты, любят одеколон и сильно пахучие мыла...

Бог удивительно уберегал меня от страшных зрелищ. Проживши вот уже сколько лет, да еще в такое богатое войнами время, я ни разу не был на фронте и не присутствовал ни при одной кровавой катастрофе. И встреча с палачом мне тоже не была суждена. Конечно, смотреть на казнь я бы ни за что не пошел. И возможно даже, что вписанный в чудовищную картину казни ее исполнитель не был бы так отвратителен сам по себе. — Но я имею в виду допустимый случай, что я как-либо узнаю, что человек, едущий в одном купе со мной, или мой сосед по квартире, или член какой-то компании, в которой оказался и я, — казнит людей. — Не могу вообразить, что стало бы тогда со мной. Зная свои нервы, не думаю, что я лишился бы чувств. Но уверен, что ни одно из перенесенных мною нервных потрясений не могло бы сравниться с этим, и воспоминание об этой встрече мучило бы меня до конца дней. Даже читать описание подобных случаев мне невыносимо тяжело. В этом я убедился не очень давно, прочитав одну переводную повесть, в которой описывалась случайная встреча на пароходе с палачом, едущим выполнять свою работу в какой-то город. Я забыл и автора, и заглавие повести, и название журнала, но помню тоску, охватившую меня тогда и долго не проходящую.

Один мой школьный товарищ по окончании юридического факультета работал некоторое время в конце двадцатых годов в Московском губсуде. При суде жил то ли комендант, то ли сторож, человек тупой и недоразвитый, молчаливый, тихий и малозаметный. Товарищ мой выполнял в своем учреждении какую-то профсоюзную работу и был общителен. По какой-то из этих причин комендант однажды пожаловался ему, что он получил выговор за то, что в служебное время гонял голубей, до которых был охотник. Он признавал, что, конечно, трудовую дисциплину он нарушил. Но, мол, и в его положение нужно входить. — Ведь как раз в ночь накануне совершения своего проступка он работал. А ведь работа-то такая, что после нее позволительно как-то развлечься. — А какая же она, твоя работа? — Да приговоры привожу в исполнение. — И он без особого смущения рассказал моему другу, что он расстреливает приговоренных к смертной казни. Убивает из пистолета. В небольшом гараже во дворе губсуда. Ganz gemütlich*. — Помню, что мой товарищ был сильно потрясен этим рассказом. Не знаю, долго ли у него сохранялось страшное впечатление. Но у меня, даже после пересказа, при котором я не видал своими глазами палача и не слышал его голоса, — на всю жизнь.

* Вполне уютно (нем.).

В своем отношении к смертной казни я, конечно, не какой-то уникам. Оно, нужно думать, необходимо входит в духовный склад людей определенной категории, которые по разным признакам осознают взаимную близость. Такую, например, я почувствовал в отношении Камю с первых же строк его «Чумы». А ключ к этому чувству нашел после прочтения рассказа одного из героев этой повести, сына прокурора. Когда он случайно узнал, что его отец, очень им любимый, по должности обязан присутствовать при исполнении приговора, он не смог дольше оставаться под одной с ним кровлей. Я бы тоже не смог.

Кажется, ни об одном писателе не было высказано столько idiotских суждений, как о Толстом. Это легко объяснимо. — Нужна большая зрелость, чтобы, с одной стороны, постигнуть его монолитность и не разделять, как это установилось еще до его старости, Толстого художника, Толстого мыслителя и Толстого человека, а с другой стороны, не соединять с тем, что получило название толстовства, и с толстовцами, хотя некоторым из них удалось втереться к нему в дружбу, а лучше сказать — оседлать Толстого. Вообще никого нельзя рассматривать и принимать или не принимать по кусочкам. А Толстой так крупен весь и в каждом своем проявлении, что по отношению к нему это требование особенно трудно выполнимо. Мне, например, он дался труднее всякого другого писателя и очень поздно в жизни. В цельном Толстом на самый передний план (если не считать поражающей остроты его зрения и способности находить самые точные слова для передачи увиденного) выдается его совесть. И именно это делает его самым русским из русских писателей. Ведь ни в одной другой литературе тема совести не занимает такого места, как в нашей. Поэтому я не могу миновать Толстого, когда говорю о смертной казни. Кажется, это Кузьминская пишет в своих воспоминаниях, в какой ужас пришел Толстой, когда кто-то из яснополянских гостей стал оправдывать смертную казнь и доказывать ее необходимость. — Толстой завопил, что ему после этого страшно сидеть за одним столом с этим человеком. И он не был бы Толстым, если бы реагировал по-другому.

После всего сказанного неужели не ясно, что никакие скотоводческие расчеты не могут заглушить голос совести, не признающей ни честной логики, ни софизмов, а знающей только одно категоричное — назовите его хоть детским, хоть глупым, хоть наивным, хоть недостойным мужчины — «нельзя». Нельзя казнить. Нельзя совершать самое страшное преступление против совести. Если какое-нибудь законодательство предусмотрит смертную казнь только за самые тяжкие, самые зверские преступления, то ни одно из них и в сотую долю так не отвратительно, как работа палача. И единственно последовательным наказанием за нее могла бы считаться только немедленная казнь самого палача, а потом — палача, казнившего палача и т. д. Но не будем вносить привкус фарса в разговор о сатане, о самом страшном деле из всех совершающихся на земле.

Совершенно ясно, что все это я написал не для палачей. Дозволено ли им убивать? Так как я обсуждаю этот вопрос только со стороны моральной и считаю, что ни с какой другой стороны он и не может обсуждаться, то ответ на него дан уже давно. — Конечно, дозволено, раз им совесть не запрещает (другими словами — раз у них нет совести). А дозволено ли судье выносить смертные приговоры? — Тоже дозволено. Но при одном условии. — Чтобы свой приговор приводил в исполнение он сам. — Вот, кажется, этот трудный вопрос и решен. Но найдется ли на свете такое общество, которое доверило бы правосудие палачу? Пожалуй, нет. А не найдется потому, что кто бы что ни говорил, а все же совесть твердит свое. — Самый страшный грех — смертная казнь.

Я сказал, что написать о смертной казни я считаю своим долгом. Спрашивается: перед кем? Думаю, перед своей совестью. Если бы я полагал, что это сочинение может помочь улучшить моральные качества людей и искоренить самый страшный грех, я был бы обязан принять все меры к широчайшему его распространению. Но я твердо знаю, что идея сделать человечество счастливым неосуществима по самой природе человека и человеческого общества. Даже более: любая самая возвышенная, самая гуманная идея неизбежно и очень быстро попадает в грязные руки, в руки людей корыстных и жестоких.

Мою манеру писать только «для себя», т. е. без расчета на широкое распространение своих мыслей, некоторые мои друзья принимают за какой-то снобизм, в хорошем случае — за эпикурейство. Другие, несколько более вдумчивые, предполагают, что я это делаю для самосовершенствования, что, в сущности, также близко к эпикурейству. Возражать против таких мнений трудно. Но что-то сказать на это все же нужно. — Прежде всего, если я не рекомендую всем своим знакомым читать свои писания, то и не противлюсь тому, чтобы их прочитали те, кому они могут быть интересны. А таких обычно один-два находятся. Кроме того, мысли, записанные на бумаге, держатся в моей голове прочнее, чем только прошедшие в ней, их легче припоминать и излагать в разговорах. А собеседников у меня все же бывает больше, чем читателей. Но главное все-таки, по-видимому, не это.

Я очень люблю средневековую легенду о жонглере, выразившем свое обожание Девы Марии метанием шариков перед ее образом. Он был артист. Единственное, что у него было и в чем он достиг совершенства, было его мастерство. Это свое единственное он с полной жертвенностью, с восторгом, а может быть, и со страхом, что совершает кощунство, поверг к ногам самого для него святого. Этим он благодарил Бога за дарованное ему счастье приближаться к нему. Может быть, эту же благодарность

выражаю и я, когда пишу с назначением «в ящик моего стола». У меня тоже нет ничего кроме того, что я пережил и передумал. Из этого и состоит вся моя жизнь и весь ее итог (пока еще, конечно, до смертного часа, т. е. до самого главного испытания). А жизнь мне была дана прекрасная. И тем, что я пишу обо всем, что мне давало наивысшее счастье или что меня мучило, я, как могу, благодарю того, кто мне дал эту жизнь.

Май—июль 70

DE MORIBUS CANUM*

...De las bestias han recebido muchos advertimientos los hombres y aprendido muchas cosas de importancia, como son: de las cigüeñas, el cristal; de los perros, el vómito y el agradecimiento; de las grullas, la vigilancia; de las hormigas, la providencia; de los elefantes, la honestidad, y la lealtad, del caballo.

CERVANTES. DON QUIJOTE**.

Будучи совершенно согласен с мнением Сервантеса о происхождении перечисленных в этом эпиграфе человеческих добродетелей, я все же полагаю, что этот автор недооценил долю участия собаки в формировании нашего морального облика. Не отрицая, что от этих животных мы переняли способность блевать и испытывать чувство благодарности, я удивляюсь, как проницательный Сервантес мог не заметить, что собака сыграла роль нашего наставника еще в одном, не менее важном, отношении. Несомненно, что именно ей мы обязаны возникновением религиозного чувства. Его мы не находим ни у какого другого животного. И оно так ярко выражено у собаки.

Объектом религиозного обожания собаки является сам человек. Отсюда, вероятно, и происходит некоторая переоценка моральных качеств этого животного, в которую мы склонны впадать. Несомненно, если бы Господь Бог судил о людях на основании их отношения к нему, он был бы самого лестного мнения о их нравственных свойствах. Его не могли бы не подкупить проявляемые в отношении Его самозабвенное обожание, благодарность, верность, правдивость, страх, а главное — абсолютная покорность и лезть без всяких границ. Но со стороны Творца было бы явной ошибкой считать, что такие чувства и такое поведение свойственны человеку вообще и что на них основаны законы его общения с себе подобными.

Когда мы превозносим моральные качества собаки, мы судим о них по ее отношению к человеку и чаще всего — к хозяину. Но людей мы оцениваем не по тем чувствам, какие они питают к Создателю, и не по тем делам, какие они совершают в стремлении

* О нравах собак (лат.).

** ...От животных люди получили много уроков и узнали много важных вещей: так, например, аисты научили нас пользоваться клестиром, собаки — блеванию и благодарности, журавли — бдительности, муравьи — предусмотрительности, слоны — стыдливости, а конь — верности. Сервантес. Дон Кихот. (Т. 2, гл. XII, пер. с исп. Н. Любимова). — Комментаторы «Дон Кихота» указывают, что эти примеры заимствованы Сервантесом из «Естественной истории» Плиния Старшего.

угодить ему, а по их поведению между собой. Сравнивая после этого человека с собакой, — понятно, не в пользу первого, — мы совершаем ошибку. Чтобы устранить ее, необходимо соблюдать условие *ceteris paribus**. Это значит, что поведение собаки в отношении хозяина мы должны сопоставлять с нашими проявлениями религиозного обожания или уж, на худой конец, — любви к начальству. А неприглядную картину человеческих взаимоотношений нужно сравнивать с нравами собачьего общества.

Как это ни странно, законы собачьего общежития до настоящего времени не подвергались серьезному изучению. Мы почему-то проявляем интерес, если уж не к себе подобным, то к каким-нибудь экзотическим объектам вроде сфекса лангедокского или, скажем, каракурта. И сам автор этих строк не может похвалиться, что он изучил законы, управляющие жизнью собачьего населения хотя бы района так называемых «линий», где автор проживает вот уже шестой год. Но все же, имея из среды этого населения многих личных знакомых, поведение которых порой более настойчиво привлекало мое праздное внимание, я мог наблюдать кое-какие фактики, говорящие, что на внутреннем, так сказать, собачьем моральном фронте далеко не все обстоит вполне благополучно. Тут и право сильного действует вполне исправно, с вытекающим из него подхалимством. И честность не во всем соблюдается. И доверие одного собачьего индивида к другому на этой почве не такое уж безусловное. Дружба редко бывает очень прочной. Проявления благодарности выражаются так неотчетливо, что я, признаюсь, даже как-то их и не особенно, что ли, уловил. Ну, и так далее, и так далее.

Все это я говорю никак не с целью очернить все собачество в целом, не из желания навести на него уничтожающую самокритику**. Я никакой не кинофоб. Напротив, во все периоды своей жизни я постоянно был связан со многими собаками узами теснейшей дружбы и даже могу сказать — любви. Но я только за справедливость. Я против того, чтобы говорили: вот какие все собаки во всем хорошие, и вот какие все люди во всем дурные. — Нет, — и там и тут хватает и того и другого. А главное, будучи научным работником и даже кандидатом с. х. наук, я борюсь за логическую строгость оценки наблюдаемых явлений. Я хочу, чтобы сравнивалось сравнимое. Чтобы соблюдалось условие *ceteris paribus*. В общем же я считаю, что с точки зрения нравственности собака не так уж абсолютно превосходит нашего брата, как это думают многие товарищи. И Сервантеса была охота подправить. Очень хороший писатель. И правильно, в общем, все так отметил. Но все же не совсем все учел и прошел мимо одного важного факта.

Алмата, 1950

* При прочих равных (условиях) (лат.).

** Так в рукописи.

ЯЗЫК

Я не могу считать себя патриотом по той причине, что патриотизм, т. е. особо высокое мнение о своей стране по сравнению со всеми прочими и о своем народе сравнительно со всеми другими, возможно только при сильной ограниченности. Не существует твердой границы между патриотизмом и национализмом. А уж национализм никак не отделить от шовинизма, который, как бы скромно он ни начинался, неизбежно должен окончиться освенцимскими газовыми камерами и печами. И все-таки, несмотря на такой свой мирный характер и несмотря на то, что я решительно в каждом сколько-нибудь мне знакомом народе нахожу нечто мне понятное, близкое и симпатичное, я питаю недобрые чувства к украинцам. И не потому, что они особенно охотно занимают в армии должности старшин или что среди них что-то уж слишком много начальников милиции. Не потому даже, что они очень любят «співати». Но по совсем другой причине.

Было бы крайне глупо утверждать, что русский язык — наилучший из существующих. Но это язык единственный, который я знаю по-настоящему, в котором мне понятны все его оттенки. А так как я вообще люблю речь и слово и в моем распоряжении для пользования ими имеется всего один язык, то я не могу не любить его, как не может не любить скрипач свою скрипку. Отнимите ее у него — и он онемеет. Повредите — и он не сможет с ее помощью выразить то, что его переполняет. Скрипка — часть его самого, и притом часть очень важная. Так и у меня мой язык, — русский.

Своего отца я очень любил и с любовью всегда вспоминаю его. Может быть, и «Дон Кихота» я еще отчасти и потому так обожаю, что уж очень многое было у моего отца от ламанчского идадьго. А отец, который и не был, и не считал себя никаким специалистом-филологом, как никто из тех, кого я когда-либо встречал позднее, знал и любил русский язык. Как и я, он был знаком и с несколькими другими (пожалуй, совсем не зная никаких иностранных языков, нельзя как следует понять прелесть родного), но со всеми не в совершенстве. А русский знал тонко, наслаждался им и прямо-таки болезненно воспринимал всякую его порчу, введение в него чуждых его духу элементов и всякое неправильное произношение, нерусское звучание речи.

Происходил отец из московских мещан, из Замоскворечья. Когда я впервые прочитал у Пушкина, что учиться русскому языку следует у московских просвирен, я понял, какой чистейший источник питал моего отца. Если его речь была все же речью интеллигента, то бабушка говорила подлинным языком московских просвирен. И отец этот язык обожал. Но и в «интеллигентном» языке он не допускал ничего не московского и не терпел, когда это не московское вкрадывалось в нашу речь, т. е. в речь его детей. Из них я, после смерти в восьмилетнем возрасте сестры Кати, был старшим. Кроме того, я был больше всех других болтлив. Поэтому на мою долю и выпадала большая часть поучений отца, относившихся к языку. Многочисленная родня со стороны матери была в отношении языка вполне нейтральна и мало к нему внимательна. Непосредственно и через детей, наших двоюродных братьев и сестер, она, конечно, сильно влияла на нашу речь. С этим влиянием отец и боролся неустанно со всем вдохновением Дон Кихота.

Во времена моего более раннего детства в каждой области России язык был свободен от чуждых диалектизмов и акцентов и богат своими. Смешение местных наречий и говоров и обесцвечивание речи началось во время первой мировой войны, когда в больших городах появились первые беженцы из оккупированных немцами западных губерний. Но оно совсем не затронуло деревню и глухую провинцию. Здесь перемешивание началось во время и после гражданской войны, достигло необычайных размеров во время коллективизации и было еще значительно продвинуто в период второй войны. Не прекращается оно и теперь. Исчезновению характерных местных особенностей речи и произношения в сильнейшей степени способствует всеобщее обучение в школах, где учителя, даже если и они местные уроженцы, стараются сами говорить максимально «правильно» и приучают к этому детей. И, конечно, огромное нивелирующее влияние на все население страны оказывает речь, слышимая по радио, телевидению и в кинофильмах. На моих глазах в течение десяти с небольшим лет язык деревенской молодежи в окружающей меня местности Ярославской области обесцвечивался необычайно. У двадцати—двадцатипятилетних сохранилось еще сильно ослабевшее оканье и более или менее чистое произношение неударных гласных. Еще держится своеобразная мелодика речи. У старших школьников нет и того. А тридцатилетние говорят еще вполне по-ярославски. Но это все же деревня. А в городах, тем более в больших, язык стал совсем безликий.

Исчез бесследно и московский говор. Удивляться этому не приходится. Московских уроженцев в Москве живет теперь ничтожно мало, а пришлого элемента во всех слоях, вероятно, больше, чем во всяком другом нашем городе.

Но во времена моего детства москвичи говорили очень характерно, а ухо их легко улавливало всякое не московское произношение. Отец требовал от нас, чтобы мы говорили чисто по-московски. Но тогда в интеллигентном кругу приходилось сопротивляться языковой инвазии не со стороны Юга или Запада. Отец

больше всего оберегал нас от Петербурга, влияние которого в нашей среде было наибольшим.

Не приходилось, конечно, бороться с такими характерно петербургскими словами как «кура» вместо «курица» или с произношением «кухонный» вместо «кухонный». Эти особенности были слишком разительны, и ни один москвич не воспринимал их иначе, как явную ошибку. Но, например, слово «сегодня» было в достаточно широком обиходе. Между тем «языку просвирен» оно было чуждо. И отец утверждал, что оно казенное, идущее от петербургского чиновничества, и поэтому требовал, чтобы мы говорили только «нынче». Произнести «что» (вместо «што»), «горничная» (вместо «горнишная») и «нарочно» (вместо «нарочно») ни один прежний москвич не мог. Но в интеллигентной среде все же ясное *ч* произносилось иногда в словах «скучно», «коричневый», «ключница», «крючник», «подсвечник» и некоторых других. Нередко, особенно дамы, произносили мягкий знак в словах «боюсь», «боялась», «учусь», «ленюсь», «осталось» (по-московски «боюс», «боялас» и т. д.) и говорили «боялся», «учился» (по-московски «бояласа», «училса»), «горький», «мягкий» (по-московски «горький», «мягкий»). Были и другие особенности речи, по которым сразу можно было отличить настоящего москвича от петербуржца. Например, там слово «церковь» произносилось в полном соответствии с начертанием, а в Москве говорили «церьковь».

Также и на многие другие оттенки речи, не только московской, но и общерусской, обращал наше внимание отец. Так, он различал два разных произношения и, соответственно, значения слова «еще». — В одном случае оно ударяемое, с явственным *е* на конце. В другом — безударное, слово-энклитика, с которого ударение переносится на предыдущее или последующее слово, а конечное *е* поэтому перестает звучать как *е*. Первое слово (с явственным *е*) употребляется для обозначения добавления чего-то к чему-то: я хочу ещё чашку чаю, подошел ещё один человек. Второе имеет значение «покамест»: я еще не был там, было еще темно. Кстати, двойное значение и произношение этого слова не отмечается ни у Даля, ни в других наших толковых словарях. Теперь их смешение стало почти всеобщим. А когда в рукописном и печатном письме требовалось правилами во всех случаях обозначать звук *е* (кажется, теперь это отменено), то безударное «еще» совсем исчезло из письменной речи.

Вероятно, если бы у меня самого не было любви и интереса к языку, то все поучения отца оказались бы напрасными. В лучшем случае я старался бы в его присутствии говорить так, как велит он, даже на какое-то время и привык бы говорить так. Но вряд ли замечал бы неправильности в чужой речи, а может быть, и сам постепенно и чисто автоматически поддался бы стихии загрязненного языка. И, пожалуй, это было бы хорошо. Во всяком случае, для меня самого. Но я не только усваивал то, чему учил отец, а, став постарше, сам стал вникать в особенности русского языка и отмечать неправильности речи, которых во времена моего детства еще не было. И

обостренная чувствительность к языку, как и всякое обостренное восприятие, оказалось палкой о двух концах. — Оно, с одной стороны, стало источником наслаждения хорошей речью — устной и письменной. Но оно же причиняет страдание, когда слышишь, как язык уродуется. Когда в благословенные сталинские времена я сидел в Бутырках, камеры там были переполнены ужасно. Они (не знаю, все ли) были рассчитаны на 22 человека, а помещали туда до полутораста. При таком переполнении в них стоял ужасный гвалт, особенно в моменты всеобщего возбуждения (а такие, понятно, бывали нередко). От параша же распространялась сильная вонь. Среди заключенных в моей камере один был почти совсем глухой, а другой — лишенный обоняния. Все им завидовали, но никак не могли решить, кто из них счастливее, и спорили об этом.

Переход слов из одного языка в другой — явление постоянное. В тех случаях, когда иностранное слово входит в употребление по той причине, что у нас для выражения нового понятия не существует собственного и не изобретено удачного новообразования в духе нашего языка, — это вполне закономерно. Я не уверен в том, что нужно обязательно изгонять из своего языка все слова иностранного происхождения, заменяя их отечественными эквивалентами. Хотя практика других народов, например, немцев (особенно во времена Гитлера) или итальянцев (при Муссолини), показала, что такая чистка может оказаться достаточно успешной и жизненной. Конечно, иностранными словами не следует чрезмерно злоупотреблять. Но некоторый запас полных синонимов даже может пригодиться, чтобы речь не пестрела повторениями одного слова. Нарочитое же избегание любых нерусских слов выглядит манерничаньем. К сожалению, интеллигенты, а особенно ученые, в своем разговоре употребляют много больше иностранных слов, чем это необходимо. И, вероятно, с этим уж ничего не поделаешь.

Если в сосуд с водой влить жидкое масло, то обе жидкости разместятся в нем каждая на своем уровне. Внизу будет вода, вполне такая же, какой она была до прилития масла, а сверху — масло, тоже вполне такое же, каким оно было. Но если добавить в воду одеколону, то вся она помутнеет, вся изменит вкус и запах и ни в какой части сосуда уже не будет чистой водой, но в то же время не станет и одеколоном. По-настоящему иноязычные слова создают в нашем языке некоторую пестроту, быть может, не очень приятную для слуха, но все же не меняющую самого русского фона речи. Чужестранная природа этих слов всегда ясна, и они, если так можно выразиться, незаразны*. Другое дело — слова и выражения «полурусские», т. е. происходящие из близкородственных языков, главным образом из украинского,

* Бывают, впрочем, и исключения. Например, слово «ординарный», часто противопоставляющееся понятию «двойной», изменилось в повседневной речи в «ординарный». В таком виде это слово-урод уже вполне приобрело права гражданства в нашем языке и, по-видимому, почти всеми воспринимается как русское. Также и слово «меню» нередко употребляется в смысле разнообразия пищевого набора: *мена, смена, перемена* блюд. «Протезе» многими понимается не как *покровительствуемый*, а как *покровитель*. В ярославской речи, в которой все неударные гласные произносятся явственно, это слово выговаривается «протязе». Таким образом, становится понятной метаморфоза его смысла. — Протязе это тот, кто протягивает, протаскивает мои дела, помогает мне чего-то добиться, — мой покровитель. — *Примеч. Б. Кузина.*

или попавшие в нашу речь из далеких от московского говоров, преимущественно южных и юго-западных, т. е. тоже находящихся под сильным влиянием украинского языка, но кроме того богатых специфическими интонациями и жаргонными словечками. Такие элементы не воспринимаются сразу же как явно чуждые. Они вкрадываются в наш язык незаметно и загромождают его в истинном значении слова. Язык получается как бы и русский, а в действительности совсем не русский.

Проникновение в нашу речь украинизмов я воспринимаю именно как заражение, загрязнение русского языка. Я никак не в восторге от его обесцвечения, от утраты характерных и выразительных слов и замены их тусклыми и затертыми, без роду и племени, без точного адреса. Но все же эти слова русские или явно иностранные. Язык от них только лишается свойственного ему когда-то особого вкуса, но не приобретает и нового, противного. Но когда в него прочно втираются украинизмы, то я чувствую, как язык гниет.

Зачем было нужно вводить в русский язык украинскую «дівчину»? Прощмыгнув в нашу речь, это хитрое создание быстренько сменило свое *i* на *e*, а *ы* (украинское *и*) на *и*, приняв таким образом совсем русский вид. А народ радушно принял гостью. Хотя у него были и свои слова для обозначения молодого существа женского пола, он почему-то предпочел новое. Девчина прижилась и вытеснила наших девицу, девушку, девочку, деву, девку и барышню. Одновременно с девчиной у нас водворились и девчата. И тоже повсеместно и прочно. Почему-то вполне русские люди стали избу называть хатой, а жену жинкой.

Пожалуй, во времена моего детства не всякий москвич понял бы, что означает слово «позавчера». А теперь я никогда не слышу привычных для меня «третьего дня» или «третьёводни». «Поза» — чисто украинский предлог. Употреблять его в русской речи так же нелепо, как вместо «на» говорить «ауф». И тем не менее, «позавчера» пришлось по вкусу решительно всем.

Не менее головокружительную карьеру сделала в нашем языке «рыбалка». Так у нас теперь повсеместно и исключительно называют рыбную ловлю. В таком значении это слово даже и на своей родине употреблялось только в виде диалектизма. Основное же его значение в украинском языке — рыбак, рыболов. Когда кто-нибудь из моих знакомых говорит, что он едет на рыбалку, я слышу запах, во много раз худший, чем вонь тухлой рыбы, — слышу, как гниет русский язык.

Но «девчина», «позавчера» и «рыбалка» въедались в наш язык самостоятельно, так сказать, стихийно. А есть украинизмы, которые у нас насаждались искусственно, через официальный учрежденческий язык, через прессу. Верно, таким способом в наш литературный язык вводились не только украинские слова и обороты. По-видимому, с первых дней революции и вплоть до нашего времени у нас существует некоторая тенденция «демократизации» литературного языка. Интеллигентные люди для вящей понятности простому народу пытаются разговаривать с ним под мужичка, хотя мужи-

чок уже давно показал, что господская речь ему вполне понятна, и оказал удивительные успехи в овладении ею. И все-таки в расчете на его непонятливость для него ввели в литературный язык «учебу», «к примеру» и т. п. Вводили все это газетчики, люди крайне далекие от крестьянина и всего крестьянского, да к тому же и не всегда русского происхождения. Русских слов этим демократизаторам оказалось мало. Им почему-то думалось, что украинское слово «хлебороб» русскому колхознику понятнее и роднее, чем немного устарелый «хлебопашец» или хотя бы вполне современный «земледелец». Они не задумывались над тем, что хлеборобы живут под Полтавой или на Волини, а что в Рязанской или Новгородской области их отродясь не бывало. — Все равно, — пускай будут и костромские хлеборобы. А уж если русский крестьянин стал хлеборобом, то почему же не сделать узбекского дежкана хлопкоробом? А потом появились и кукурузоробы.

На Украине для обозначения областей употребляются слова типа Полтавщина, Киевщина, Черниговщина. Но у нас никогда не было Московщины, Тверщины или Петербуржщины. А теперь появились. Часто читаешь или слышишь по радио о Смоленщине, Ярославщине. Вероятно, какой-нибудь газетчик введет еще и Ленинградщину или еще что-нибудь в этом роде.

У нас всегда городу противопоставлялась деревня. Говорили: в городе и в деревне, городской и деревенский. В России кроме деревень были еще и села, — деревни, имеющие церковь. На Украине слово «деревня» не употреблялось. Не знаю, все ли украинские села были с церквями, но во всяком случае, не имевшие их все же деревней не назывались. Возможно, нашей деревне там соответствовал хутор. С некоторого времени слово «деревня» стало исчезать у нас из обихода, во всяком случае из газетно-литературного. Да и в устной речи оно стало редко. Деревня стала почти синонимом колхоза. И вместо «деревенский» чаще говорят «колхозный», иногда «сельский». А когда в официальной речи встречается необходимость обозначить негородскую местность, то употребляется не прежнее выражение «в деревне», а говорят и пишут «на селе». Конечно же, это прямой перенос украинского «на селі» в русскую речь. Если еще слово «село» существует в обоих языках, то уж предлог «на» в данном случае употребляется в чисто украинском значении. И русские люди спокойно слушают и читают, как на Ярославщине на селе действуют хлеборобы (конечно, засыпающие зерно в закрома родины).

Я понимаю, что украинцы вряд ли уж так виноваты в порче русского языка. Ведь они же не заставляют нас насильно вводить в нашу речь свои слова. Мы хватаем их сами и с полным усердием заменяем ими свои собственные. Очень возможно, даже почти наверное, щирые украинцы столь же болезненно, как я сам, ощущают засорение их родного языка русскими словами и оборотами. Если это так, то я их понимаю и очень им сочувствую. И понимаю также, что их досада, как и моя собственная, достаточно бессмысленна. А все-таки со своими чувствами ничего не поделаешь. Не

любить свой язык я не могу и не могу не грустить, что он беднеет и портится, как не могу без грусти вспоминать великопостный вечерний благовест якиманских церквей, дворников, гонящих метлами талую воду по стокам, вдоль тротуаров, и стаи воробьев на мостовой, спешащих извлечь зерна овса из оставленных лошадьми кругляшков. И украинским словам, выживающим из нашего языка русские, я все же, в полном уединении, никак не публично, с отчетливым сознанием своего бессилья и нелепости своей досады, но при всем этом с не меньшей злобой, грожу кулаком. Но ведь нет украинских слов без украинцев. Ну что ж, пусть они принимают этот мой бессильный кулак на свой счет и пусть сами в ответ грозят мне своим, столь же бессильным, за порчу их мовы поганými кацапскими словами.

Август 1966

ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ

Природа сделала важную ошибку, не выбрав в качестве основы для эволюционного развития человека собак, а обратившись для этой цели к обезьянам. Теперь эту ошибку уже не исправить.

*Б. М. ЖИТКОВ**

Глупость — явление, распространенное чрезвычайно широко. Обычно каждый считает ее свойством многих людей, но только не собственной персоны. Во всяком случае, чужая глупость нас всегда удивляет, а часто даже и возмущает. Свою собственную замечают только очень немногие. Но и эти видят ее не в полном объеме и никогда не в молодости, а только в очень зрелом состоянии, после многолетнего и напряженного упражнения своих умственных способностей в разнообразных областях. Именно в разнообразных. Усиленное занятие каким-нибудь одним делом, будь то наука, искусство, политика, любая практическая деятельность, не делает человека мудрым. Скорее даже наоборот: истощает очень скромный запас мудрости, данный каждому от природы.

Мудрость измеряется мерой понимания собственной своей глупости.

Чужую глупость я замечал очень давно: с самой ранней своей юности. Зрея, я только все больше удивлялся ее размерам, пока наконец не понял, что она безгранична. Тогда я перестал ее измерять и потрясаться ею. Но почему-то я прежде никогда не задумывался над собственной глупостью. Не то что я ее исключал и казался себе очень умным человеком, а просто, очевидно, без всякого сознания этого, исходил из постулата, что я сам не дурак.

Сомнение в этом положении у меня стало закрадываться после совершения разных поступков под влиянием перенесенной обиды, гнева, радости и т. п. Всегда почему-то оказывалось, что мне было трудно привести эти поступки в соответствие с требованиями разума. Но я отсюда делал только практические выводы. — Не следует ничего делать и ничего говорить в моменты сильных душевных переживаний. Я думал, что вне этих моментов я всегда рассуждаю вполне здраво и трезво.

* См. с. 93 настоящего издания.

Только много позднее и очень постепенно я начал понимать, что душевные эмоции ни в какой момент не перестают влиять на разум, который, следовательно, никогда не может действовать по законам строгой логики. Я стал замечать, что не могу воздерживаться от многих поступков, бессмысленность которых мне понятна в самый момент их совершения. Например: березку, растущую у крыльца моего дома, весной и в начале лета уже третий год подряд объедают несколько видов долгоносиков, сменяющих друг друга. И я боюсь, что она в конце концов погибнет от постоянных повреждений. Подходя к этой березке, я часто хватаю сидящих на листьях жуков и уничтожаю их. Это совершенно бесполезное занятие. И я, будучи энтомологом, прекрасно это понимаю. Но озлобление на долгоносиков не имеет ничего общего с разумом. И оно вызывает поступки, противные разуму, даже и не требуя при этом, чтобы он замолчал. — Разум сам по себе, а месть, т. е. чистая глупость, сама по себе. Может быть, месть и не всегда бывает глупой, т. е. бессмысленной. Но в данном случае она полностью вытекает из озлобления. А оно, конечно, никак не вяжется с совершенным умом. — Вредителей можно уничтожать для достижения практических целей. И это несколько не глупо. Но озлобляться на них, конечно, глупо, так как в своей неприятной для нас деятельности они только следуют законам природы.

Но даже ничем не затемненный разум — очень слабый инструмент. Довольно хотя бы того, что он способен разбираться только в трех измерениях, тогда как мир п-мерен. Познавая что-либо, разум ползает по изучаемым предметам, карабкается по ним, а не взлетает над ними, чтобы охватить их полностью единым взглядом. И разум более высокого ранга, чем человеческий, вполне представим. Если принять, что разумные существа живут на многих планетах вселенной, то даже трудно сомневаться в том, что на некоторых из них эти существа обладают несравненно более совершенным разумом, чем наш. Если бы такое существо встретилось с человеком, оно умилялось бы на него, как мы умиляемся на собаку. — Ведь что-то она понимает, но как мало по сравнению с нами. У нее есть свой язык, но до чего же бедный. Много ли с его помощью можно высказать?

О крайнем несовершенстве нашего разума свидетельствует один знаменательный факт. — Нет такого гения, который не делал бы очень неразумных вещей или не высказывал наивных, ничем не обоснованных мнений (на всякого мудреца довольно простоты!). — Ученый развивает стройную теорию, которая иногда на десятки лет овладевает всеми умами. Все в ней последовательно. Она вызывает преклонение перед мощью человеческого ума. И вдруг оказывается, что вся она построена на самом шатком основании. Что она покоится не только на недостаточно проверенных фактах, но просто на детски-наивных допущениях. Чаще всего обаяние великой теории бывает настолько велико, что ученые ни за что не хотят с ней расстаться, а с неприятными фактами справляются классическим способом: прячут голову под крыло. Но важно

не это. — Поражает детская слабость великого ума в каком-то одном пункте. И этот пункт обязательно оказывается роковым, так как ни одна цепь не крепче своего самого слабого звена.

Наполеоны и Гитлеры, несомненно, — люди выдающихся умственных способностей. Конец их весьма симптоматичен. — Они правильно проделали много сложных расчетов, непосильных для более заурядных умов. Но в чем-то просчитались. И вероятнее всего, не в очень сложном, а скорее — в самом простом. И это «что-то» опять то самое одно гнилое звено мощной цепи, составленной из множества крепких.

Меня сначала обескураживали проявления, скажем просто, самой настоящей глупости у людей заведомо колоссального ума, таких как Декарт, Гёте, Достоевский, не говоря уже о менее великих. — Как они не понимали простых ошибок в своих суждениях или действиях, ошибок, совершенно очевидных для меня, а может быть, понятных для человека еще меньших, чем мои, умственных способностей? При всем своем самомнении я все же никогда не предполагал, что обладаю интеллектом почище декартовского. И только удивлялся. А потом наконец сделал вывод. — Если так попадали впросак эти великие умы, то можно себе представить, какие же глупости делаю и говорю я.

Можно иметь очень хорошие и точные инструменты, а можно иметь примитивные и грубые. Во втором случае можно не знать их несовершенства, пытаться производить ими тонкие работы, а потом удивляться плохим результатам этих работ и огорчаться ими. Но можно знать недостатки своих инструментов и в этом случае употреблять их только для тех работ, которые ими хорошо выполняются, или, уж если пускать их в ход для более тонких, то знать заранее, что результат может оказаться неважным, и не расстраиваться от него понапрасну.

Поэтому очень важно трезво оценить способности ума. По-видимому, приходится признать, что этот инструмент, в том виде, в каком он у нас имеется, дан нам для чисто практических целей. — Если верить Бергсону, его основное назначение — изобретать и изготавливать инструменты и механизмы. Но кроме того он очень помогает человеку выполнять две важнейшие функции: есть и размножаться. При достижении этих целей разум совершает гораздо меньше ошибок, чем инстинкт, руководящий поведением животных. Но все же он работает очень грубо. Его разрешающая сила вообще невелика. Он слабо защищен от вредно действующих на его отправления эмоций. И все-таки его реакции на внешние воздействия в очень большом проценте случаев бывают правильны и целесообразны, что и служит признаком его полезности с точки зрения сохранения вида. Но, конечно, зависимость между действиями разума и их целесообразностью только коррелятивная, а не функциональная. Непонимание этого ее характера и служит причиной нашего удивления перед глупостью (повторяю, чужой). Между тем она законна. Нужно только понимать, что разум наш имеет лишь практическое назначение.

Однако среди людей находится довольно много любителей употреблять разум для рассуждения. Вот тут-то и сказывается все несовершенство этого инструмента. Для сложных логических построений он не обладает достаточной силой. То и дело получаются просчеты, часто очень грубые. Они вызывают досаду. Но обоснованна ли она? — Можно ли с молотком и зубилом каменотеса приниматься за гранение алмазов? Всегда есть соблазн выжать из каждой вещи как можно больше всего. Но ему не следует поддаваться. Рассуждать — не задача человеческого ума. Человек, например, снабжен необходимыми приспособлениями для размножения. Если он использует их не по прямому назначению, а для наслаждения, то получается разврат. Такой же разврат и рассуждение. Разум дан не для него.

Я не сомневаюсь, что, если люди, склонные к рассуждению, и признают сказанное мною справедливым, то они все же не откажутся впредь рассуждать (и я сам в настоящий момент ведь тоже рассуждаю). Но только пусть они не обижаются, что итог их рассуждений бывает довольно печальный. Пусть не думают, что просчеты и ошибки при этом — досадная случайность. Нет, они законны и нормальны, как законна и естественна глупость. А противоестественна склонность к рассуждению.

Но мне сейчас же на это скажут, что в результате человеческих рассуждений развилась вся наука и возникли все чудеса техники. — Посмотрим, что же человек приобрел от этого.

Наука направлена на постижение законов природы и человеческого общества. Ей удалось сделать очень многое. И я меньше всего склонен сомневаться, что научное познание приводит к раскрытию объективных закономерностей. Но все же, если мы что-либо делаем, то всегда ставим себе целью достижение какой-то разумной цели. Пусть не полное достижение, но хотя бы сколько-нибудь приближающееся к полному. Занимаясь наукой, мы с каждым новым исследованием расширяем область познанного. Но как эта область ни велика уже теперь и как она ни возрастет еще в будущем, область не познанного всегда останется не только большей, но бесконечно большей. Всегда познанное и непознанное будут находиться в отношении конечной величины к бесконечности. Таким образом, познавая природу, мы вычерпываем ведром море, т. е. стремимся к заведомо недостижимой цели. Может ли такое занятие считаться разумным?

Но примиримся с тем, что мы никогда не приблизимся к сколько-нибудь полному познанию природы. Не довольно ли с нас того, что на основе познанных закономерностей природы создана современная техника, а дальнейшее проникновение в тайны материи обеспечивает безграничное накопление и совершенствование технических достижений?

Прогресс техники, покоящейся на научном фундаменте, — факт очевидный и неоспоримый. Но каково же назначение техники? На что, по идее, направлено совершенствование наших орудий и предметов обихода? — Очевидно, с самого своего

зарождения техника была направлена на улучшение условий жизни человека, на уменьшение его физических страданий, на облегчение удовлетворения всех его потребностей, а самое главное — на уменьшение его зависимости от природы, от вещей. К этой цели сознательно или полусознательно стремился дикарь, впервые обтесавший камень, и к ней же сознательно или полусознательно стремится конструктор межпланетного корабля.

Но во все времена достижения техники прежде всего находили себе применение на войне. Прежде всего они обращались на цели уничтожения людей, на причинение им страданий. Можно возразить, что все же изобретались не одни дубины, мечи, пушки и атомные бомбы. — Изобретены также удобные и быстрые средства сообщения, канализации, хирургические инструменты и лекарства. Это справедливо. Но сделало все это жизнь человека более легкой и счастливой? — Вряд ли. Параллельно с развитием техники происходит и рост потребностей человека. Поэтому просуществовать ему в современном обществе труднее, чем в первобытном стаде или в варварской орде. Для добычи средств к существованию современный человек должен работать много больше, чем его предок, и найти способ добывания этих средств ему много труднее. Развитие техники приводит к колоссальной концентрации в руках немногих людей материальных ценностей, а следовательно, и власти. Таким образом, личная свобода становится достоянием все более узкого круга людей. Человек же все более становится рабом общественных отношений и вещей. А счастье это все же более всего личная свобода в самом простом понимании этого термина. Если техника не приносит человеку избавления от непосильного труда и свободы распоряжаться собой, то тем самым она не отвечает своему первоначальному назначению.

Итак, мы видим, что разум за пределами своей истинной сферы действует крайне несовершенно. А если считать, что его деятельность за этими пределами приводит к ухудшению жизни человека, то ее приходится признать и неразумной.

В то же время человек способен к деятельности, в которой его дух проявляется в форме, очень близкой к совершенству, а может быть, даже и вполне совершенно. Это деятельность в области чувства и в области прекрасного.

Божественная природа человеческого духа очевидна в проявлениях любви, сострадания, милосердия, дружбы, чувства долга, чести, благодарности, справедливости. Поступки, совершаемые при этом, диктуются отнюдь не разумом. По большей части они бывают даже и неразумны, если их расценивать с точки зрения благополучия совершающего их лица. А если к ним подходить с точки зрения социальной или государственной, то они почти всегда просто вредны.

В искусстве человек также достигает высшего совершенства. Если легко допустить, что на других мирах живут существа, ориентирующиеся в четырех или даже в пяти измерениях так же легко, как мы — в трех, то вряд ли можно думать, что тамошние художники создали что-либо далеко превосходящее поэзию Данта или Пушкина,

музыку Баха, картины Рембрандта или Леонардо да Винчи. Глядя на икону Рублева или на Джоконду, слушая а-молл'ную органную фугу Баха, читая вступление к «Пану Тадеушу», нельзя и подумать, что в этих вещах можно что-то изменить, чем-то их улучшить. Они совершенны. Но нечего говорить о таких вершинах искусства. — Даже в просто хорошем рисунке, в наброске всегда есть какая-то, пусть одна, линия, которая совершенно прекрасна. И я не сомневаюсь, что для создания такого рисунка требуется большее озарение, чем для изобретения космической ракеты и для расчета ее пути.

Но все же занятие наукой — занятие творческое. А если это так, то и в нем есть элемент прекрасного. Научная задача может быть решена различными способами. Из них одни неуклюжи и громоздки, другие остроумны и изящны. Этот эстетический момент, вероятно, и составляет высшую ценность в науке. Раз он имеется налицо, то уже можно не заботиться о конечной цели научного исследования. Прекрасное, в чем бы оно ни выразалось, абсолютно ценно само по себе. А что наука и неизбежный ее плод — техника — ведут нас к гибели, то что же с этим поделаешь. — Не может беспокойный обезьяний ум человека удержаться от соблазна размышлять над сущим и разгадывать тайны природы. Но настоящее оправдание этому незаконному зуду заключается не в том, что он облагодетельствует человечество, а в том, что в нем проявляется в какой-то мере божественное стремление человека к прекрасному.

Самая близкая аналогия научным занятиям — игра в шахматы. Она вполне бессмысленна. Она не развивает в человеке никаких ценных качеств. В то же время она требует огромной затраты времени и ценнейшей нервной энергии. Но шахматная игра — творчество. И решения задач, не направленных ни на какую практическую цель, могут быть восхитительно изящны.

1957 (1958?)

ЗАЧЕМ ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ

Я помню один старый-престарый анекдот про кухарку, взятый то ли из жизни, то ли из какого-то юмористического рассказа. Эта кухарка говорила: — «Я тоже образованная. Я знаю, зачем земля круглая».

Есть некоторые абсолютные ценности. Например — водка. Может ли вполне нормальный человек не иметь желания или времени ее выпить? Может ли он оставить ее недопитой, если только он еще не лежит под столом в беспомощности от опьянения? Есть все же люди, относящиеся к водке иначе. Сами они могут употреблять ее только в случаях, когда они этого хотят, и в количестве, не непременно равном всему имеющемуся запасу. Но если они вздумают рекомендовать и другим поступать так же, то только даром потеряют время. В абсолютных ценностях или истинах нельзя сомневаться. На то они и абсолютные.

Еще одна такая истина, это — что всякое знание — несомненное благо. Из нее вытекает, что все обладатели этого блага должны делиться им с теми, у кого его нет. На этом и основана всякая популяризация знаний. Отрицая ее полезность, человек может только прослыть ретроградом, а главное — он никого не убедит. И сознательный член Общества по распространению научных знаний постарается показать упомянутой кухарке несостоятельность телеологического объяснения формы небесных тел. Если, конечно, он сможет найти в наше время и в нашей стране кухарку, не имеющую законченного среднего образования. Да что там, — вообще кухарку!

А я не очень уверен, что всех людей нужно просвещать, когда они в чем-то заблуждаются. Ведь любое знание может быть воспринято, если его сообщают тому, кто имеет необходимую для этого подготовку. А популяризация как раз тем и отличается от школьного и всякого другого обучения, что она предназначена для людей, не имеющих такой подготовки. И в результате она дает вместо знаний полузнания. А я думаю, что полное незнание лучше, чем полузнание. Мне кажется, что лучше совсем не знать, что земля круглая, чем знать, зачем она круглая. И, по-моему, это хорошо, что у большинства людей существует защитная реакция против вдалбливания в их мозги научных знаний.

Сказанное должно послужить как бы предисловием к тому, о чем говорится ниже.

Один мой приятель-зоолог ожидал на вокзале в Переславле-Залесском поезда, идущего в Москву. Были и другие ожидающие, не очень многочисленные. Люди местные. Между ними зашел разговор о знаменитой переславской сельди, уже в то время, т. е. в конце 20-х годов, редко поступавшей в продажу. Мой приятель был человек общительный и потому решил пополнить зоологическое образование этих людей. Он вмешался в их разговор и сказал, что рыба, о которой они говорят, собственно только называется селедкой, а по-настоящему-то она форель. — «Вот тебе раз! Испокон веков ее зовут селедкой. Это и любой мальчишка тебе скажет, кто она». — Общее мнение было явно против того, что переславская селедка на самом деле не селедка. Особенно же протестовал против этого один пожилой человек. Тогда мой друг объяснил, что он зоолог и специалист именно по зоологии позвоночных. Он знает, что эту рыбу в просторечье называют селедкой. Но если бы его собеседники присмотрелись к ней внимательней, они заметили бы у нее на спине жировой плавник. А это признак семейства лососевых, к которому и относится переславская сельдь. Перед таким аргументом часть публики заколебалась. Но положение спас тот, пожилой. Он сказал: «Вы, может, там и специалист. А я двадцать лет содержал на этом самом вокзале буфет. И я знаю, что она селедка». Лица присутствовавших просветлели. Победа их мнения была так очевидна, что мой приятель уже больше не рисковал обогащать их зоологические познания.

Но популяризировать знания о рыбах все же еще как-то можно. Тут каждому известен хотя бы сам предмет — рыба, и понятна его ценность. Гораздо хуже положение энтомолога. Он занимается никому толком не ведомыми букашками или козявками. В самом их собирании есть что-то комическое. Взрослый человек, вооруженный сачком, гоняется за бабочками или размахивает этим детским орудием, ударяя им по траве. Я это сознавал еще в ранней своей молодости и старался не собирать насекомых в сколько-нибудь людных местах. Но все же совсем избежать расспросов людей, далеких от всякой науки, о предмете и смысле своего занятия было нельзя. На задаваемые по этому поводу вопросы я пытался отвечать как только мог популярно и вразумительно. Но каждый раз чувствовал, что убедить своих собеседников в разумности и полезности изучения насекомых мне не удалось. По их лицам было заметно, что они сияются понять меня. Но их задумчивость после моих разъяснений и отсутствие дальнейших вопросов показывали, что я старался всуе. Итог одного такого собеседования был подведен в следующей словесной форме. — Один из слушателей произнес: — «Да, всякие бывают занятия». Другой добавил: — «И за всякое деньги платят».

Чудесное средство против принудительного популяризаторства было случайно найдено участниками одной геологической экспедиции. Они тоже тратили много

времени, объясняя каждому любопытному содержание и смысл своей работы. И тоже старались рассказывать как можно понятней. Однажды, когда они работали в поле, к ним подошел какой-то мужичонко, поглазел, потом хитро подмигнул и сказал: — «А я знаю, что вы делаете». — «Ну, что же, по-твоему?» — «Луду дробите». С тех пор эти геологи на вопрос, что они делают, стали отвечать, что дробят луду. И оказалось, что этот ответ всегда удовлетворял спрашивающего, который, получив его, спокойно удалялся.

Когда я понял, что распространение знаний далеко не всегда, а возможно даже, что только в виде исключения, дает ожидаемый эффект, я стал по возможности уклоняться от этого занятия. Но оказалось, что желание просветить ближнего заложено в нас довольно глубоко. Оно рвется наружу, и для его подавления в себе нужно некоторое усилие. Его я однажды и произвел при следующих обстоятельствах. — Бухгалтерия учреждения, в котором я работал в конце войны, состояла, как было тогда обычно, из одних женщин, большей частью овдовевших. Одна из них как-то обратилась ко мне с просьбой разрешить возникший между ними спор. — От чего заводятся вши? Одни счетные работницы утверждали, что от грязи, а другие — от думы. Я чуть было не принялся рассказывать, как обстоит это дело в действительности. Но вовремя спохватился и сказал, что заводятся от думы. А ведь был я на краешке от того, чтобы спутать привычные представления полутора десятков женщин, и без того удрученных вдовством и трудностями военного времени.

Осень 1971

ЭКРАН

В детстве я очень боялся страшных снов. Один из них, самый страшный для меня, повторялся с особенной настойчивостью. Про себя я называл его «Щекоталка». Его действующим лицом было какое-то женское существо, скорей всего какая-то старуха, хотя я никогда вполне ясно ее лица не видал, правильней сказать — не разглядывал ее, так как не мог сделать этого из-за ужаса, охватывавшего меня при ее появлении или даже в предчувствии появления. Она меня щекотала. Или хотела щекотать. Я и наяву боялся щекотки. Но этот страх перед щекотанием во сне ни в какое сравнение не шел с реальным. В нем боязнь неприятного для меня ощущения удешевлялась от ужаса перед старухой-вампиром, хотевшей, как я это чувствовал, защекотать меня насмерть.

У снов со Щекоталкой был какой-то шаблон. Место их действия могло быть самое различное. Это могла быть комната, мог быть какой-то переулок из нелюдных, каких много в Замоскворечье, где я жил в детстве, бывал и сад, обычно огороженный глухой и высокой кирпичной стеной, чаще всего полный каких-то голубеньких цветов и ярко освещенный солнцем. Во всех этих местах я находился сначала не один. Были какие-то люди со мной или, если сценой была улица, — просто прохожие. Внезапно я замечал, что все кругом опустело. Что в комнате, в саду, на улице — я совсем один. И как только это доходило до моего сознания, так вскоре и появлялась Щекоталка. А перед этим был какой-то короткий момент предчувствия ее появления, быть может, даже самый страшный... Случалось, что я тут же и просыпался. Но бывало и так, что старуха успевала меня схватить. Однако дольше какого-то мгновения мое пребывание в ее власти не продолжалось. Кажется, за всю свою жизнь я не испытывал в действительности такого ужаса, какой переживал в этих снах. Поэтому понятно, как я, ложась спать, боялся, как бы мне не приснилась Щекоталка. И старался принять меры против этого. Эти меры были основаны на рассуждении, казавшемся мне достаточно обоснованным. — Я представлял себе сны как подобию картин, развертывающихся передо мной, вроде тех, которые нам показывали с помощью волшебного фонаря, но только живых и движущихся. (Кино тогда только еще появлялось, и в раннем детстве я его не знал.) Изображения волшебного фонаря отбрасывались на экран. По аналогии я считал, что такой экран нужен и для снов, так как иначе им не на чем будет сниться.

И мне представлялось, что этим экраном снам служит стена. На ней они и снятся. Значит, чтобы не видеть снов, нужно не ложиться лицом к стене. Так я и поступал. И, как мне казалось, с успехом.

Очень может быть, что это средство против страшных снов было и в самом деле действенным. Возможно, что в положении лицом к стене я находился, когда лежал на левом боку, и это, действуя на сердце, вызывало кошмары. Сейчас я не помню, справа или слева от меня была стена. Во всяком случае, созданная мною теория экрана, по тогдашним моим представлениям, выдерживала критерий практики. И я ей до сих пор благодарен за то, что она меня успокаивала и позволяла мне засыпать спокойно.

Человеку не хочется помирать без остатка. Вероятно, в основе этого нежелания лежит самое исконное для всего живого стремление к оставлению после себя потомства. Из этого стремления, общего всем организмам, всей жизни, у человека развилось желание вообще оставить после себя какой-то осязаемый след. Точно ты таким способом не совсем исчезаешь с лица земли, а как-то продолжаешь существовать в этом мире. И это свойственно решительно всем. Только одним этого хочется очень сильно и сознательно, а другим слабее, и они почти этого желания не сознают. И одни в этом очень преуспевают и действительно оставляют по себе память на бесконечные времена, а другие исчезают из людской памяти очень скоро после своей смерти. Но тогда дольше живут вещи, принадлежавшие им. А в этих вещах заключена какая-то часть того, что было их жизнью.

Даже и для животных очень трудно провести резкую границу между собственно живой частью их организма и тем, что входит в их тело, но само по себе неживое. Уже вода в клетке — необходимейшая ее составная часть — ведь неживая. Неживые, по существу, многие скелетные структуры, затвердевшие покровы и покровные образования, каковы чешуя, перья, волосы, рога, копыта и когти, раковины и т. п. Между тем все это не только неотделимо от животного, но теснейшим образом связано с его жизненными функциями и глубочайше отражает самую его жизнь. О насекомых, например, большинство людей складывает себе представление только на основании неживых элементов их организма. Даже для энтомолога-систематика нет никакой разницы между живым жуком, бегущим по земле, и жуком, наколотым на булавку и помещенным в коллекцию.

Связь этих неживых образований с телом животного может быть более тесной и менее тесной, может быть постоянной, а может быть и временной. Раковина моллюска, например, связана с его телом неотделимо и в течение всей его жизни. А личинка ручейника удерживает построенный ею домик только с помощью крючков, находящихся на ее заднем конце, и может совсем выходить из него. Как раковина

моллюска, так и домик ручейника строятся частично из вещества, вырабатываемого животным, а частично из неживого материала, добываемого из внешней среды. Только у моллюска взятая из воды известь, составляющая раковину почти целиком, перерабатывается в теле животного, а личинка ручейника берет твердые частицы для постройки своего домика — песчинки, камешки, кусочки водяных растений — прямо как они есть вокруг нее и инкрустирует ими выделяемую из тела органическую основу.

Тенета, сооружаемые пауками, также изготавливаются из вещества, вырабатываемого ими, т. е. входившего в состав их тела. Но после того, как паутина построена, она уже представляет собой по отношению к пауку нечто совсем внешнее. Большинство птиц делает свои гнезда из материалов, целиком берущихся извне.

Таким образом, и наши волосы, и хитиновый скелет насекомых, и раковина моллюска, и домик ручейника, и тенета паука, и гнездо птицы, все эти неживые продукты жизнедеятельности трудно считать вполне неживыми, так как они очень уж тесно связаны с самой что ни на есть живой жизнью.

Но, продолжая это рассуждение, мы должны признать, что точно таким же образом неотделима от жизни человека вся создаваемая им жизненная обстановка, состоящая из массы «неживых» предметов. Дом человека — такая же органическая часть его жизни, как тенета — часть жизни паука, а гнездо — часть жизни птицы. Также и все предметы его обихода. — Его орудия, утварь, мебель, одежда, не говоря уже о всяких украшениях жилища, о книгах, музыкальных инструментах.

Человек принципиально отличен от всех остальных живых существ несравненно более развитой индивидуальностью. Все особи одного вида животных или растений в жизни ведут себя более или менее одинаково. Но поведение каждого данного вида качественно отлично от поведения всех остальных. У человека же разница между поведением индивидов так же велика, как различие между поведением разных видов животных. Соответственно и неживые продукты жизнедеятельности животных характерны для каждого данного вида, но в пределах этого вида строго постоянны. Так, постоянно для каждого вида пауков строение его паутины, и у каждого их вида она чем-то отличается от паутины других видов. Специфичны для каждого вида и постоянны для него строение домиков, нор, гнезд, характер материала, идущего на их сооружение. Человек же и во всех своих произведениях столь же индивидуален, как в поведении. По своей индивидуальности человеческая особь равна не индивиду, а виду любого другого животного. И если животные и растения как бы стремятся сохранить в своем потомстве видовые свойства, то человеку свойственно желание оставить после смерти свой индивидуальный след. А неотъемлемую часть его индивидуальности составляют и все неживые предметы его окружения. И именно они-то и сохраняются больше всего остального материального после смерти человека.

Не потому ли к старости, т. е. во время, когда приближение смерти усиливает желание какой-то частью задержаться в этом мире, так усиливается привязанность к тем вещам, с которыми мы постоянно живем, и особенно к тем, в которых наиболее полно отражены наши индивидуальные привычки, вкусы, с которыми больше всего связано всяких воспоминаний, которые больше других составляют часть нашей жизни?

В каждом жилище все говорит о его хозяине. Вы можете быть долго знакомы с человеком, например, по работе, знать от него или от других сослуживцев всякие обстоятельства его жизни, иметь некоторое представление о его способностях, склонностях, уме, характере. Но по-настоящему этот человек раскрывается для вас только после того, как вы побываете у него в доме. Потому что в обстановке, созданной им для себя самим, дан наиболее полный его портрет. Со мной, например, случилось, что зайдешь к какому-нибудь не очень близкому знакомому в первый раз по делу или в гости. Хозяин или хозяйка должны по каким-либо делам ненадолго отлучиться из комнаты. Просят тебя, с извинением, посидеть несколько минут одного. И для меня эти несколько минут никогда не были бесплодными. — Я за этот пустяковый промежуток времени узнавал о человеке, к которому пришел, все самое главное. Происходила быстрая фиксация и оценка всего наполнения комнаты. — Книги: много, мало, нет совсем; читаются, не читаются (это видно сразу); какие. Музыкальный инструмент: какой (рояль, виолончель, скрипка, гитара, мандолина, балайка, гармошка); есть ноты, какие, нет нот. Патефон или радиолы: какие пластинки. Картины, фотографии. Цветы в горшках и букеты. Охотничьи принадлежности и трофеи. Мебель: есть письменный стол и употребляется по назначению, служит для других целей, нет его совсем; письменные принадлежности; вся прочая мебель; кровать и ее убранство, оборудование туалетного столика. Я прожил большую часть жизни в такое время, когда слова квартира и комната были синонимами. Конечно, таких удобств для полной оценки хозяев нет, когда жизнь семьи протекает в разных комнатах, более или менее специализированных по назначению. Но в тех случаях, о которых я говорю, ко времени возвращения отлучившегося на несколько минут хозяина я обычно уже ясно представлял себе, был ли этот мой первый визит одновременно и последним или же мне хочется бывать здесь еще и еще.

Но возвращаюсь к старости. При этом — к своей.

Могу честно сказать, что я не очень честолобив. О создании себе монумента крепче меди я заботился, пожалуй, даже несколько непростительно мало. А все-таки и у меня есть чувство к окружающим меня вещам, как к чему-то составляющему мою жизнь и способному пережить меня самого. И при этом, конечно, имеются в виду вещи, по которым человек, пришедший в мой дом, мог бы и в мое отсутствие составить себе представление обо мне таким способом, как я только что описал. А это, если не считать предметов так или иначе профессиональных, т. е. нужных для выполнения

моей работы, и кое-каких вещей, служащих для украшения жилья (характерных не для меня одного, а также и для жены, и даже для нее в большей мере), — главным образом мои книжки, бумажки и пластинки.

Я совсем не коллекционер. Книг у меня не так много. Среди них нет библиографических редкостей. Нет никаких, которые я держал бы для полноты серии. Все только такие, которые я люблю, в которых я когда-то что-то нашел для себя. Также и пластинки. В их собрании еще меньше систематичности. Только баховские я собирал решительно все, какие только мог найти. Но это делалось не для полноты собрания, а просто потому, что у Баха нет ничего незначительного. К бумажкам относятся всякие записки, выписки, законченные и незаконченные рукописи, а также письма от разных людей, накопленные за много лет. Все это в довольно хаотическом состоянии, так как до приведения в порядок этого дорогого мне хлама все никак не доходят руки.

Все эти вещи составляют часть меня самого только в той мере, в какой они собраны все вместе. Книги, составляющие мою библиотеку, порознь имеются у тысяч других людей. Но в той комбинации, в какой они собраны у меня, их нет, не было и не будет ни у кого другого.

Целиком сохраняются вещи только очень знаменитых людей. Мои, конечно, никак не сохраняются. К этому у них нет никаких оснований. Да их и некому будет хранить, и негде. И мне, конечно, жаль, что это так произойдет. Но с этим можно примириться, как примиряешься и с исчезновением своего тела.

Несравненно больше огорчительно для меня другое. — После моей смерти, конечно, останутся слушатели всякой музыки, читатели стихов и прозы и любители смотреть картины, рисунки, статуи и здания. Но они будут не так смотреть, читать и слушать, как это делал я.

Те, кто создавали все эти прекрасные вещи, конечно, хотели найти себе полный отклик. И они никогда его не находили. Даже их ближайшие друзья и наилучшие прижизненные ценители воспринимали по-настоящему (т. е. полностью понимая то, что хотел сказать автор) только какую-то часть того, что было сделано, а многое не звучало ни для кого. Но гений знает свою силу. Он не уничтожает и не переделывает того, что подсказано ему чутьем, в котором он не может сомневаться. Но он не может не желать, чтобы кто-то когда-то принял то, чего не принимают его непосредственные слушатели или зрители. И в разные времена, в разных местах такие люди появляются. Всякий, кто узнает настоящий смысл сделанного художником, не только сам наслаждается. — Он этим воздает самую желанную хвалу гению, создавшему вещь. И эта хвала совсем не сродни публичному успеху. Верно, редко какой художник не жаждет такого успеха, не жаждет славы. Но слава веселит и опьяняет, а никогда не насыщает. Насыщение, необходимое для покоя и умиротворения после совершенного подвига, наступает не от восторгов огромных сборищ людей, среди которых вряд ли хоть один

близок художнику. Его дает разговор с другом, способным еще и еще раз пережить с ним все, что его мучило, когда он творил, и возносило, когда он находил единственное возможное решение задачи. Такой разговор (по внешности немой) и происходит у художника с его действительными друзьями, которых у каждого из них в каждый данный момент очень мало, а временами и совсем нет. Только для них он по-настоящему и творит.

Трудно, конечно, поручиться, что Бах воочию видит, что делается со мной, когда я слушаю его музыку. Но я не могу себе представить, что его в это время нет со мной рядом и что он не радуется от того, что я резонирую ему с такой же верностью, с какой отвечал ему клавесин на удары пальцев по клавишам.

Читая восьмую главу «Мертвых душ», я физически чувствую, как был захвачен Гоголь ее головокружительной композицией. Из свиных рыл, небритых лакейских морд, Коробочкиных «арбузов» и вшивых будочников он строил здание, величием не уступающее реймскому собору или «Божественной комедии». Кто из живых друзей Гоголя пережил с ним вместе упоение от этого мастерства? Может быть, и были такие друзья, а скорее и не было их. И Гоголь, совершив свой подвиг, был после него только еще более одинок. Я со многими из тех, кто знает цену Гоголю, говорил о «Мертвых душах», о «Шинели», о «Коляске», и ни у кого из них я не улавливал ответной вибрации волнению, в какое приводил Гоголь меня. Но я уверен, что это мое волнение адекватно его собственному. И не могу не думать, что мой отклик так же нужен ему, как мне его волшебство.

Ученые немцы в своих трудах высосали из Гёте все, что только было возможно высосать. Вероятно, он вполне благосклонно принимает дань их благоговения с высоты своего гехеймратства*. Но совсем иначе он отвечает тем, кто, не думая о его величии, бросается в поток его поэзии и влечется им, ощущая каждую его струю. Когда я произношу:

*Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick... ***

то в ритме этих стихов по весеннему лугу рядом со мной шагает, положив мне руку на плечо, не снисходительный олимпиец, а друг, находящийся в этой беседе со мной то умиротворение, какого искал и не находил в день пасхи Фауст, вышедший с Вагнером на прогулку за городские ворота.

И когда я стою перед портретом ван Деккера, друга Рембрандта, поэта и торговца пряностями, и, глядя в его затененные полями шляпы глаза, думаю о жизни этого человека, я слышу голос Рембрандта: «Так ты понял, что я хотел рассказать? Я знал, что кто-нибудь поймет. Только не знал, кто и когда».

* от нем. Geheimrat — тайный советник.

** Растаял лед, шумят потоки, / Луга зеленеют под лаской тепла (нем.). — Гете, «Фауст», ч. I (пер. Б. Пастернака).

Вряд ли Катулл ожидал, что его стихи до глубины потрясут очаровательную и не очень постоянную Лесбию. Это, пусть из-за нее, но не для нее он написал

*Vivamus, mea Lesbia, atque amemus...**,

а для меня.

И еще многим другим я служил экраном, улавливающим какую-то часть их излучения. И Бог весть, кто из них и скоро ли найдет после моей смерти новый экран. А до этого какие-то из посылаемых ими лучей будут уходить в пустое пространство. Без стены снам не на чем сниться.

ПРЕСТИЖ

Если насильник-растлитель скажет, что он совершил свое преступление из похоти, никто не сочтет, что это его извиняет или хотя бы умаляет его вину. Глупые, подлые и преступные действия совершаются для поддержания престижа, и это встречает понимание, а порой и одобрение.

Не могу сказать, чтобы похоть мне особенно импонировала. Но в ней есть хотя бы что-то первичное, стихийное, чему трудно сопротивляться. В престиже нет ничего кроме глупости и свинства.

Самолюбие основано на боязни бесчестия. Единственный способ избежать бесчестия — не совершать бесчестных или глупых поступков и хорошо выполнять свою работу. На это не каждый способен, так поступать не желают, потому что такое поведение требует известных усилий, а иногда отказа от удовольствий или выгод. В то же время и такие люди не всегда лишены самолюбия. Но им остается только одно: вместо искреннего уважения со стороны других людей добиваться внешних его проявлений. Этого можно достигнуть с помощью силы, власти, богатства или каких-либо других привилегий, например, возрастного старшинства, происхождения и т. п. Тут и возникает понятие престижа. Поддерживать свой престиж означает требовать внешних проявлений уважения к себе.

Чем больше человек заслуживает настоящего уважения, тем меньше его беспокоят вопросы престижа. Наоборот, — если кто-то очень заботится о своем престиже, то это свидетельствует, что он ведет себя не наилучшим образом и сознает это или полусознает.

Вопросы престижа в личных отношениях вызывают обиды, ссоры и дразги. Но охраняется также престиж организаций, общественных групп, государств. И в этих случаях моральный фундамент престижа не менее сомнителен, но оплачивается он уже не слезами досады ближнего или потерей им аппетита, а страданиями или даже жизнями ни в чем не повинных людей и народными бедствиями.

Думаю, что по количеству поглощенных жертв престиж — одно из самых страшных чудовищ. Но его рыцари не считаются преступниками. За что же преследуют несравненно более безвредных рабов похоти?

* Давай, моя Лесбия, жить и любить (лат.).

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УТЕШЕНИИ

Утешать и успокаивать людей по характеру профессии обязаны только священники и врачи. Священникам выполнять эту функцию приходится сравнительно редко (при причащении умирающих). Врачам же — ежедневно (психотерапия).

Мы были бы крайне удивлены, если бы оказалось, что официанты, кормящие посетителей в ресторанах, часто бывают в это время сильно голодны сами. Но вряд ли такой случай когда-либо наблюдался в действительности. Кажется, повсюду официанты имеют право бесплатно получать еду в своем заведении. А если бы и не имели, то они народ сообразительный и уж всегда найдут способ насытиться не хуже тех, кого они обслуживают. Но врач, утешающий больного, очень часто в этот самый момент крайне нуждается в утешении сам. Такая возможность почему-то не приходит в голову ни пациенту, ни его близким, и они возмущаются поведением врача, если он не всегда расточает больному улыбки, не щебечет с ним весело, и его лицо не принимает выражения глубокой скорби, если тот жалуется, что у него вчера не работал кишечник.

Профессия медика ответственная, тяжелая, и она требует особого призвания. Нужно думать, что это у нас глубоко осознано. То-то труд всех, кто нас лечит, оплачивается ниже почти всякого другого!

4 окт. 71

О НАУЧНОМ МЫШЛЕНИИ, О НАУКЕ И, В ЧАСТНОСТИ, О БИОЛОГИИ

О научном мышлении я хочу сказать здесь кое-что не с гносеологической точки зрения и не с точки зрения *Wissenschaftslehre**. В данном случае оно занимает меня в применении к практическому решению научных вопросов, а также к повседневной жизни, к делам чисто житейским, даже, можно сказать, — кухонным.

Нам легко понять, когда человек, не изучавший даже элементов физики, не понимает, что в обыкновенном чайнике или кастрюле нельзя нагреть воду выше ста градусов, что теплота может переходить только от более нагретого тела к менее нагретому, но никогда не наоборот. — Естественно предположить, что достаточно ознакомить этого человека с данными физики и с фактами других наук, чтобы он стал руководствоваться ими в повседневной жизни. Однако это предположение оправдывается далеко не всегда или оправдывается не полностью. Я был поражен, когда впервые заметил, как велик разрыв между количеством полученной информации и ее практическим использованием. Я не говорю о сведениях, восприятие которых требует предварительной подготовки, которой у данного лица нет. Для него такие сведения просто не могут считаться информацией. Видеть кардиограмму может каждый, но значение информации она несет только для врача-специалиста. Но часто не используются и те сведения, которые были когда-то преподаны, поняты и с тех пор не забыты. Просто очень многие люди, а особенно женщины, не умеют устанавливать связь между знаниями, почерпнутыми из книг или при обучении в школе, с житейской практикой. Из данных собственного опыта большинство людей делает выводы довольно успешно. Такому разрыву между использованием истины преподанной и истиной познанной лично сильно способствует, между прочим, догматический характер обучения. В дореволюционной армии таково было обучение т.н. словесности...

* Методологии (нем.).

В современной биологии наблюдается одновременно, с одной стороны, неоспоримый и большой прогресс в так называемых экспериментальных ее дисциплинах, как-то физиология, включая биохимию, генетика, а с другой — несомненный застой в дисциплинах «описательных» — систематика, морфология и частично экология и этология.

Под застоём я имею в виду не столько недостаточное количество исследований и публикаций по соответствующим вопросам, сколько отсутствие или примитивность (незрелость) новых научных идей и теоретических обобщений. Движение биологии в этом направлении отметил Радль (1909) еще в начале текущего столетия. Он писал, что под влиянием бурного развития эволюционного учения значение морфологии в целом снизилось до роли одной из подсобных дисциплин. «Вся морфология, не только ее дарвинистическое направление, находится в настоящее время в упадке. С появлением Дарвина (учения — Б. К.) она была сильно расшатана (поколеблена) генетическим (имеется в виду филогенетическим — Б. К.) подходом. Геккель содействовал ее новому расцвету, превратив ее в орудие построения филогенетических деревьев; все морфологи явились к ее услугам; ныне их наука расплавляется за это тем, что вынуждена нести проклятие неточности, преследующее дарвинизм в целом. Физиология становится модной и угрожает подавить на некоторое время морфологию». Радль не только констатирует появление признаков упадка морфологии, но также убедительно показывает его обусловленность общими закономерностями развития научных идей. И это позволяет ему, как мы теперь видим, правильно прогнозировать дальнейшую судьбу морфологических дисциплин, а также, что особенно заслуживает внимания, отметить временный характер их теперешнего застоя.

В науке, как, вероятно, и во всех других областях, существуют представления, происхождение которых неизвестно, а справедливость никем не доказана. Скорее всего, такие представления когда-то складывались у лиц, которым они казались самоочевидными. Дальнейшее же их существование обеспечивалось только тем, что до известной поры никто глубоко не вникал в их сущность и потому не пытался проверить их справедливость. К числу таких необоснованных представлений относится разделение дисциплин на описательные и экспериментальные. Ведь всякое научное знание основано на наблюдении соответствующих явлений, т. е. на данных опыта в самом широком понимании этого слова. В научной практике как-то само собой установилось, что понятие «эксперимент» или «опыт», с одной стороны, и «наблюдение» с другой, употребляются в несколько различном значении, определяемом главным образом тем, что т.н. эксперимент чаще производится в лаборатории и при этом с применением более сложной аппаратуры, тогда как наблюдения ведутся в значительной мере в

природной обстановке, а если в лаборатории, то с помощью относительно несложных инструментов. Но в действительности никакой принципиальной границы между тем и другим нет. И этого факта довольно, чтобы считать разделение наук на экспериментальные и описательные необоснованным. Но еще гораздо менее обоснованно широчайшее распространенное даже среди очень заслуженных ученых мнение, что т.н. «экспериментальные» науки чем-то выше, чем «описательные», что введение в данную область науки т.н. эксперимента поднимает ее на более высокую ступень, другими словами, что эпитеты «описательный» и «экспериментальный» как бы характеризуют разные уровни развития данной дисциплины. Такое мнение не выдерживает никакой критики. Во-первых, существуют области науки, в которых эксперимент (в общепринятом его понимании) вообще неприменим. Во-вторых, — эксперимент все же только метод исследования. С его помощью можно только проверять состоятельность той или иной научной идеи, теории или гипотезы. Но не он их порождает.

Преимущественное развитие физиологии в ущерб морфологии (обеих в самом широком понимании) обусловлено различными причинами. Прежде всего сравнительной молодостью первой, а следовательно, и ее большой модностью. Применение более сложной аппаратуры и большое использование арсенала математики, физики и химии как бы приближает ее к более точным наукам или, по крайней мере, создает видимость такого приближения. Наконец, не только представители широких общественных слоев, но даже и большинство ученых легче понимают практическое значение физиологических исследований, тогда как в отношении работ в области морфологии это значение не столь очевидно, а часто и вообще им непонятно.

DURA LEX, SED LEX*

Однажды мне рассказали анекдот. — Стоящий в дозоре пограничник видит, что с чужой стороны перебегает границу собака. Он окликнул ее и спросил, зачем она бежит к нам. Собака ответила, что у нас жизнь уж очень хороша. — Нет безработицы, бесплатно лечат, обучают и т. п. Пограничник пропустил ее. Через некоторое время он видит, что с нашей стороны бежит к границе другая собака. Он окликнул и ее. Она призналась, что хочет убежать из СССР. Пограничник попытался отговорить ее, приводя преимущества жизни у нас, перечисленные первой собакой. Выслушав его, эта ответила: «Знаю все это, но уж очень побрехать хочется».

Я считаю одинаково неправыми и тех, кто все наше хвалит, и тех, кто все хулит. Жизнь в каждой стране чем-то хороша, а чем-то плоха. В целом же все как-то более или менее балансируется. Вполне понимаю собаку, которой так хочется побрехать. Я и сам люблю это занятие. Очень жалею, что оно у нас запрещено. Это, в соединении с самым крайним пуританством во всех видах искусства и с конформизмом, делает нашу жизнь здорово скучноватой и обедняет нас духовно. Но с другой стороны, я не встречал ни у одного своего соотечественника отчетливого понимания самого великого преимущества, каким мы пользуемся. — Только в нашей стране люди могут мало и плохо работать. Работа у нас не изматывает человека. Добывание куска хлеба не приводит его ежедневно в состояние, близкое к полной физической и духовной прострации, а к старости не делает его инвалидом или почти инвалидом.

Я никак не могу согласиться с теми, кто считает, что всякий протест против всего сущего заслуживает уважения. Когда он выражается в демонстративных действиях, то очень уж легко становится неясной граница между ним и хулиганством. А обязательный протест словесный с такой же легкостью превращается в брюзжанье. Пусть те, кого принято называть «приличными людьми», возмущаются моим мнением о Солженицыне. Но я, при всем восхищении его мужеством и при понимании важности дела, которое он делает, все же не могу ставить его в первые ряды русских писателей по некоторым чисто литературным соображениям и по самому размеру его писательского таланта. А это заметнее всего выражается в его склонности к брюзжанию. Мне

* Суров закон, но закон (лат.).

непонятно, почему из красоты лошади, как следствие, должно вытекать безобразие автомобиля. Недавно по иностранной радиостанции передавали рассказа Солженицына о поведении молодежи в церкви во время пасхальной заутрени. Оно, конечно, было не очень хорошее. Но, во-первых, и у нас молодые люди бывают разные. Во-вторых, хулиганство существует не только в Советском Союзе. А в-третьих, реакция на такие вещи должна быть какая-то совсем другая. — Тон всего рассказа Солженицына — чистейшее старушечье брюзжанье. Оно не имеет ничего общего ни с высокими гражданскими чувствами, ни, хотя бы, с политическим пафосом. Великие писатели не брюзжат ни по какому поводу.

Говорю это, чтобы дальнейшее не было воспринято как следствие естественной для старика, да еще сильно больного, склонности во что бы то ни стало не принимать ничего нового и ставить знак равенства между понятиями «современный» и «дурной».

Я только что сказал, что достоинства и недостатки любого государственного устройства более или менее балансируются. Но все же только более или менее. В частности, в нашем, советском режиме имеется нечто такое, с чем нельзя примириться. Во всяком случае, не могу примириться я. А не могу потому, что оно слишком уж сильно противоречит природе человека как потомка животного общественного.

Институт права принято считать одним из характерных атрибутов человеческого общества. Такое мнение, подобно многим другим, касающимся человека, — следствие прямо-таки поражающего незнания всего, относящегося к животным. Особенно же — к их поведению. Верно, это область просто необъятная, если принять во внимание, что поведение каждого вида специфично, а видов животных существует несколько миллионов. Но все же и то, что твердо установлено в этой области, дает нечто очень важное для понимания психики, деятельности и поведения человека. Выяснено, например, что отношения между особями животных одного вида подчинены определенным правилам. Между членами колонии общественных животных, по крайней мере птиц и млекопитающих, существует строгая субординация. Не говоря уже о вожаке, которому подчинены все члены стада или стаи, каждый из этих членов занимает строго определенную ступень общественной лестницы.

Среди собак одной ограниченной местности между кобелями всегда устанавливаются отношения соподчинения. Маленькие и слабые, встретившись с явно более крупным и сильным, тотчас же принимают позу, сигнализирующую признание его превосходства. Этого достаточно, чтобы сильнейший не проявлял в отношении его жестокой агрессии. Приблизительно равные по силе кобели при первой встрече вступают в короткую схватку. Победитель в ней выкидывает определенный «белый флаг», которым победитель удовлетворяется. И это определяет взаимоотношения обоих на будущее. Наконец, некоторым кобелям приходится признать равенство своих сил. При встречах они скалят зубы и проявляют другие признаки враждебности. Но это только необходимый ритуал. Выполнив его и поставив близ места встречи принятые в

собачьем обществе знаки, псы расходятся в стороны. Между суками, мне кажется, отношения субординации не так строги. Поэтому и схватки между ними более жесто- ченны, и результаты прежних битв оказывают меньшее влияние на их поведение при последующих встречах. Но законы рыцарства в собачьем обществе абсолютны. Ни один кобель не только не нанесет суке никакой обиды, например, не покусится отнять у нее пищу, но не ответит хотя бы только угрожающим жестом даже на самый злоб- ный и сильный ее укус.

В курином гареме султан-петух — безусловный глава и вождь. Но взаимоотно- шения между курами подчинены строжайшей иерархии. Она наглядно проявляется в их размещении на насесте в курятнике. Чем выше признанный ранг курицы, тем более высокое место она занимает. Каждая курица при ссоре клюет только низшую по рангу и терпеливо сносит клеветки более высокопоставленных.

Таким образом, в обществах животных существуют правила поведения, наруше- ние которых карается, но зато их строгое соблюдение позволяет дисциплинированно- му члену общества не опасаться острой агрессии со стороны сильнейших. Я не этолог и не зоопсихолог. Поэтому не знаю «строго научную» терминологию этих дисциплин. Да и вообще не считаю большим грехом для зоолога, если он, говоря о поведении животного, пользуется, хотя бы для краткости, обычными житейскими понятиями. В данном случае я хочу сказать, что член общества животных, не нарушающий приня- тых в нем правил поведения, этой ценой приобретает право требовать или ожидать от других его членов соблюдения этих правил и по отношению к себе. И если бы мы воспользовались терминологией, какую употребляем, говоря о человеке, то сказали бы, что это животное сознает свое право вести себя определенным образом. Вывод же отсюда тот, что сознание права коренится в самом человеке очень глубоко, т. е. в его животной природе, а институт права — не специфическая особенность человеческого общества.

Всякое стеснение привычного поведения или разрушение привычных представ- лений для человека болезненно. И тем болезненнее, чем глубже они в нем заложены. К числу особенно глубоких черт психики человека, несомненно, относится правосозна- ние. Оно исчезает, когда закон уступает место произволу. С ним, т. е. с тиранией, не может мириться человеческая природа. У общественных животных тирания свиде- тельствует о стрессовом состоянии их общества. А у человека?

При тирании ближайшие клеветы тирана могут достигнуть огромного могуще- ства. Но могущество по праву и могущество по чьей-то милости — совсем не одно и то же. — Власть старшего дворника над пятью младшими ничтожно мала по сравне- нию с властью начальника тайной полиции при тиране. Но первый *имеет право* распоряжаться своей командой. И он знает, что если его начальство необоснованно обвинит его в чем-либо, на его защиту встанет закон. Второй же, безотчетно распоря- жаясь жизнями миллионов людей и огромными средствами, завтра же без объяснения

причин может быть сам уничтожен своим повелителем. Иначе говоря, его права, по существу, не выше прав самого последнего раба. У него их просто нет. Закон может быть крайне суров и жесток. Я где-то читал, что в какое-то давнее время в Персии евреи облагались налогом на право ношения головы. Но при всей чудовищности этого закона, еврей, уплативший налог за свою голову, знал, что теперь он *имеет право* жить в этой стране.

Всякий закон всегда стеснителен. Значит, он всегда в какой-то мере зло. Но зло легче переносится, если оно меньшее из возможных. Зло, приносимое законами, ком- пенсируется тем, что они обеспечивают членам общества так насущно им необходимое правосознание. Но это происходит лишь при условии, что законы являются действи- тельно законами, т. е. когда соблюдение их строжайше обязательно, и притом для всех. Нужно быть наивным, чтобы думать, что существуют страны, в которых законы незыблемы абсолютно. Органы власти или влиятельные группы при крайних обстоя- тельствах нарушают их. Но в большинстве стран эти нарушения либо производятся в порядке предусмотренных все же законодательством чрезвычайных мероприятий, либо они тем или иным способом как-то стыдливо маскируются. У нас же, как и во всех других «странах социализма», законно существует организация, стоящая над законом. Эта организация — коммунистическая партия. Ни в каком официальном документе не декларировано, что ее органы или работники могут изменять законы страны, а уж тем более — ее конституцию. Но именно это и делает ее власть безгра- ничной. — Во всяком такого рода документе было бы необходимо указать, при каких обстоятельствах и до какого предела партия может не считаться с существующими (при этом еще и ею самой установленными) законами, какова должна быть процедура ее вмешательства в дела государственных органов и т. п. Но существует только всем известное и как бы самоочевидное положение, что партии принадлежит руководящая роль во всей жизни страны. А процедура всех ее действий проста до крайности. — Она сводится к телефонным звонкам откуда надо. Иерархия звонков довольно слож- ная, но она полностью соответствует иерархии партийного аппарата. А ее назубок знают руководители всех организаций. Конечно, при таком положении ни о какой законности не может быть и разговора.

Поражает, как слаба способность людей делать выводы из фактов, наблюдаемых ими повседневно, да еще в течение многих лет. Тут, пожалуй, даже нельзя говорить о способности делать выводы. Их, может быть, не умеют делать, а активно не жела- ют. Особенно это заметно у стариков. Они часто возмущаются тем, что происходит вокруг, и тем, как с ними поступают. И от них то и дело слышишь слова: «Но ведь я имею на это право!» Я им обычно возражаю, что права имеют только шоферы. Но у рассерженного старика просто не хватает сил или мужества признать, что он, как и все мы, грешные, абсолютно бесправен. И притом бесправен принципиально. Не может быть прав у жителя страны, в которой узаконено беззаконие.

Герой чудесной повести Клейста, прямой и честный конеторговец Михаэль Кольхааз, был обижен юнкером Венцелем фон Тронка и искал законной управы на него. Поняв, что знатность и влиятельность обидчика стоят на пути его справедливой претензии, Кольхааз ожесточился, сколотил шайку разбойников и возглавил ее. Он был пойман и приговорен к смерти за разбой. Но медленно действовавшая машина правосудия все же в конце концов сработала, и перед казнью Кольхааз мог убедиться, что его жалоба была рассмотрена и удовлетворена, а юнкер фон Тронка наказан, так как все же закон был могущественнее его.

Так что я все же на стороне второй собаки. Но не потому, что хотел бы побрехать. — За утрату этой возможности мы получаем достойную компенсацию. — Но не могу подавить в себе перешедшего от еще животных прапредков желания хоть на что-нибудь иметь хоть какое-нибудь право.

БОРКОВСКИЙ КЛУБ*

Наш борковский клуб был построен по типовому проекту. Этот проект пришелся вполне по вкусу Папанину. Он только распорядился сделать здание на полметра повыше. Возражать нашему директору не имел права никто. Стали строить, как он приказал. Но это вызвало некоторые затруднения. Лестницы, например, не влезали должным образом в лестничные клетки. Хуже всего оказалось дело с кинобудкой. С ней пришлось много повозиться, чтобы киномеханику не пришлось помещаться в ней только в лежачем положении.

Желая увеличить вдвое скорость некоторых наших экспедиционных катеров, Папанин поставил на них в два раза более мощные моторы. Скорость судов возросла, но далеко не вдвое, что очень его удивило и огорчило.

Из этих двух примеров видно, что полярный герой не представлял себе, что всякое сооружение есть нечто целое, в котором произвольное изменение одной части требует изменения и всех остальных. Это знает каждый инженер. Ни один из них не станет делать что-либо по проекту, в который внесена хоть небольшая односторонняя поправка, а потребует полного перерасчета всего проекта, т. е. создания нового. Однако тот же инженер не задумается над возможными последствиями вторжения в существующую природную обстановку. Между тем животные и растения, а также сообщества, которые они образуют, устроены несравненно сложнее всякого сооружения или механизма, созданного человеком. И не только потому, что они составлены из очень многих отдельных элементов, но еще и вследствие того, что каждый из этих элементов находится в состоянии непрерывного изменения. Необоснованность исходных положений — самое слабое место всякого биологического теоретизирования. Наиболее яркий пример этого — учение Дарвина о естественном отборе.

По-видимому, не лучше обстоит дело и в социологии. Во всяком случае той, которая была положена в основу марксизма. Положение об отмирании государства в социалистическом обществе покоится на ничем не доказанном мнении Маркса, что свойства и поведение человека целиком определяются его социальной средой. Аппарат принуждения необходим для подавления деятельности антиобщественных элементов.

* Озаглавлено, по-видимому, позднее А. В. Апостоловой по первым словам текста. Произведение сохранилось в архиве Б. С. Кузина в незаконченном виде (возможно, и не было закончено).

Эти элементы — продукты условий, царящих в капиталистическом обществе. При социализме эти порочные условия исчезнут, и вместе с ними исчезнут и все пороки, порожденные капиталистической системой. Подавлять станет некого. Все люди будут сознательно трудиться на благо общества. Отпадет также необходимость содержать армию. Социализм воцарится во всех странах. У рабочих всего мира интересы едины. Следовательно, основания для вражды между отдельными социалистическими странами также не будет.

Теперь мы окончательно убедились, что из этих прекрасных мечтаний ничего не получилось. Даже вышло совсем наоборот. В первой и самой главной социалистической стране за 54 года государственная власть не исчезла и несколько не ослабела. Аппарат принуждения, включая и армию, возрос до размеров и мощи, каких он не достигал ни в одной капиталистической стране. Маркс явно ошибся в своих исходных положениях. Они не имели под собой никакой почвы. А именно — индивидуальные качества всякого человека, вернее, самые существенные, составляющие его моральную, эмоциональную и интеллектуальную основу, уже определены при его появлении на свет, т. е. обусловлены наследственно. Среда, в том числе и социальная, конечно, воздействует на каждого. Но только в пределах, очерченных наследственными данными. При любом общественном строе в более или менее постоянной пропорции рождаются люди умные и глупые, добросердечные и жестокие, щедрые и жадные, наделенные специальными способностями (музыкальными, математическими и т. п.) и лишенные их. Всегда появляются на свет люди с неустойчивой психикой и с низкими моральными качествами, т. е. потенциальные преступники. Всегда рождаются любители повелевать и властвовать, а такие редко соединяют это свойство с высокой моралью. Никакие внешние условия не могут изменить весь генофонд населения только в положительную сторону. И это подрывает всякие спекуляции, основанные на допущении, что люди станут лучше и умнее, чем теперь и чем были всегда до сих пор.

Так же явно ошибся Маркс, когда, исходя из чисто теоретических соображений, решил, что классовая принадлежность безусловно преобладает над национальной. Разделение людей на категории «свой» и «чужой» коренится слишком глубоко в человеческой психике, чтобы им можно было пренебречь. Глубокие основания имеет также весь образ жизни каждого народа и связанные с ним обычаи и понятия. Мы имеем теперь достаточно доказательств, что социалистическая система не может быть одинаковой во всех или хотя бы во многих странах. Преобладающая экономическая и военная мощь Советского Союза пока одна только и препятствует возникновению вооруженных столкновений (если не считать нашей драки с китайцами) между так называемыми странами социализма. Но и это при наличии могущественных капиталистических стран. Если бы и в них восторжествовал социализм, то воевали бы все между собой, как воевали во все добрые старые времена, выставя, как всегда, для

приличия как причину войны идеологические расхождения, а на деле — преследуя цели экономические или стратегические.

Неужели же научный и исторический опыт человечества, накопленный до Маркса, был недостаточен, чтобы показать зыбкость всяких предположений, основанных не на одних только строго доказанных фактах? Мог ли Маркс привести хотя бы несколько примеров повышения умственного и морального уровня населения разных стран под несомненным влиянием хороших условий существования? Конечно же, нет. Тогда какова же научная ценность, какова обоснованность его предвидений? А предвидения эти касались не разведения рыбок в аквариуме, а были положены в основу руководства к действию в далеко не бескровном деле. И неужели он не замечал, что находящийся на чужбине английский рабочий будет, без всяких мудрствований, а непосредственно и просто, больше обрадован встречей с английским же лордом, чем со своим братом-разбратом французским пролетарием? А если замечал, то, будучи действительно ученым, как он мог не задуматься над значением такого факта?

Одно из самых широко известных и громко звучащих изречений Маркса относится к философам, которые до него изучали, как устроен мир, тогда как их задача — переделать его. На этом положении и основана широко проводимая у нас так называемая «переделка природы». Разумеется, что имеется в виду переделка ее в лучшую для нас, а не в худшую сторону.

[1971]

БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК

Больной человек, если он не может выздороветь, но в то же время долго не помирает, часто становится непереносим для своего ближайшего окружения и для лечащих его врачей. Если он не боится греха, то находит выход из такого положения в самоубийстве. Но если он понимает, что не имеет права самовольно уходить из жизни, в которую он пришел не по собственному произволу, то самоубийство ему запрещено. При этом как явное, так и замаскированное. Он *должен* дожить до положенного ему конца, не забывая, что именно последние дни жизни окончательно решают вопрос, достойно ли она прожита. Даже сознание, что он доставляет мучение самым дорогим ему людям, не избавляет его от необходимости выполнить этот долг.

Единственное, во что нельзя уверовать, это — в бессмысленность вселенной. Сам собой, т. е. в силу стремления материи прийти в наиболее вероятное состояние, возникает только хаос. Космос образуется лишь в результате творческого акта. Жизнь существует вопреки законам вероятности. И в ней с особой наглядностью манифестируется абсолютное творческое начало. Его не может не признать тот, кто воспринимает, а тем более сам творит красоту и добро. Настоящий смысл жизни, как и смысл всего космоса, предмет метафизики. Но достаточно понимания, что случайно она возникнуть не могла. Она создана, и она прекрасна. Не мы определяли ее смысл. И потому не наше право по своему усмотрению лишать ее самих себя и других людей.

В сказанном заключается главный вывод из того, о чем я собираюсь здесь написать. Этим выводом, быть может, следовало бы заключить написанное. Но я не уверен, что успею довести свое изложение до конца. Не уверен также, что мне удастся сказать именно то, что я хочу, так как мои попытки составить себе строгий план изложения этого были безуспешны. Боюсь, что эта бесплановость проявится и помешает ясно понять то, что я хочу выразить.

При вести о чем-либо самоубийстве почти всегда возникает очень старый вопрос. — Что кроется за этим актом, — большое мужество, дающее силу произвести его над собой, или наоборот — малодушие и боязнь испытываемых или предстоящих страданий. Вероятно, окончательный ответ на этот вопрос не будет дан никогда. Правильнее ставить другой: дозволено ли человеку прекратить по собственному усмотрению свою жизнь или не дозволено? А на этот вопрос можно ответить в точности так,

как ответил Достоевский на вопрос Раскольникова. — Если ты его для себя ставишь, — значит, тебе не дозволено. Наполеон его перед собой не ставил. — Значит, ему было можно. В обоих случаях, таким образом, вопрос чисто моральный. Разум и совесть далеко не всегда предписывают одинаковое поведение. Каждому вольно выбирать то или другое. Я раз навсегда отказался идти против своей совести. Почему? — Потому что идти против нее мне более мучительно, чем поступить неразумно. Но у другого человека дело может обстоять как раз наоборот. — Разум предписывает ему определенный способ действия с такой силой, что голос совести, если он вообще в нем как-то звучит, не составляет для поведения разума ощутимого препятствия. И для такого человека будет мучительно сознавать, что он, поддавшись каким-то сентиментам, совершил неразумный поступок. Поэтому я далек от намерения убеждать других действовать так, как действую я сам. И вопрос о законности самоубийства пусть каждый решает для себя сам.

Мне не приходилось много общаться с иностранцами. Но небольшие собственные наблюдения, а также литературные примеры привели меня к мнению, что у них, по крайней мере у европейцев и американцев, чувство ответственности развито гораздо сильнее, чем у нас. Они много меньше рассчитывают в своих делах на чью-то чужую помощь, а особенно на добровольную и даровую. Не знаю, существуют ли на западе поговорки типа «С миру по нитке...», «Свет не без добрых людей» и т. п. Пожалуй, нет. Для нас же они очень характерны. Также выполнение обещания, хотя бы и мимолетного и пустякового, они считают для себя более обязательным, чем мы. А уж нечего говорить об обещании по серьезному делу.

«Натрепаться» — понятие типично наше, национальное. Отсутствие его у американцев сильно изумило Ильфа и Петрова. Но, выполняя строго свои обязательства, европейец рассчитывает на такое же отношение к чужим. При этом его несколько не шокируют мелочные расчеты. — В одном из наших морских исследовательских рейсов принимал участие ихтиолог-норвежец. Судно должно было зайти в какой-то порт. Все члены экспедиции и команда принялись готовиться к этому заходу. У норвежца же лопнул шнурок башмака, и это его беспокоило. У моего приятеля, рассказавшего мне эту историю, была запасена пара шнурков, и он предложил их норвежцу. Тот был обрадован и тотчас же осведомился о их стоимости. Приятель сказал, что цена шнурков так мала, что компенсировать этот расход нет надобности. Норвежец не мог этого понять. — Ведь вы же за них платили деньги. Все же приятель решительно отказался от причитающегося ему двугривенного. Тогда норвежца осенила идея. — Вы перед выходом на берег, конечно, будете бриться. Я умею хорошо брить и поберею вас. Бритье стоит приблизительно столько же, сколько ваши шнурки.

Этот случай я привел не в похвалу и не в осуждение европейцев, но в качестве черт характера, выработанных при воспитании чувства ответственности за свои дела и слова, и твердого понимания, что за все полученные блага следует платить.

Я не хочу приписывать чувство ответственности только иностранцам, а русских людей считать лишенными его. Но думаю все-таки, что западный образ жизни и события воспитания больше содействуют развитию этого качества, чем наши. И очень часто у нас встречаются люди, поведение которых мыслимо только в условиях уже выработавшейся у всех нас терпимости к чужой безответственности. Такие люди не чувствуют за собой никакой вины, когда не являются в условленное время, не выполняют порученных им дел, когда они просят тебя сделать для них какое-то дело, при этом нередко трудное и не очень для тебя приятное, а затем, когда их просьба выполнена, спокойно заявляют, что это дело оказалось для них ненужным. Иногда они обращаются за помощью против чьих-то несправедливых обвинений или притязаний, умалчивая при этом о собственной вине. Односторонне осведомленный человек вступает за них и попадает в глупое положение. Вступив с кем-то в сделку и заметив, что она для них невыгодна или неудобна, они не хотят объявить о своем отказе от нее сами, а просят сделать это кого-то другого. Они иногда не прочь позабавиться с некоторым для себя риском, как говорится, дернуть черта за хвост. Но когда эта забава приносит свои вполне законные плоды, т. е. когда рассерженный черт больно укусит, то они громко визжат и ищут сочувствия себе, а то и просят о трудной помощи.

Во всем этом, собственно, проявляется инфантилизм, который, по-видимому, и составляет основу поведения немужского типа. Ведь это чисто детская черта — думать, что удовольствие составляет нормальное заполнение и содержание жизни. Для маленького ребенка дело почти так и обстоит. — Все окружающие о нем заботятся, стараются его забавить. При этом за все полученное он ничего не должен давать взамен. Если ребенок здоров, то всякое неприятное или болезненное переживание ему представляется как нечто исключительное, ненормальное, на что он вправе жаловаться. Но постепенно у него появляются какие-то обязанности. Он делает нечто, что он уже не *хочет*, а *должен* делать. Одновременно все меньше времени он отдает развлечениям и приятным занятиям, за которые теперь он уже должен платить хотя бы пока только хорошим поведением. А у всякого взрослого человека выполнение обязанностей, борьба с самыми различными трудностями, лишениями, болезнями, обидные переживания и т. п. занимают такую часть времени, что на долю всего приятного в сравнении с этим приходится лишь небольшие просветы, всегда оплачиваемые им взаимным трудом, одолжениями. Такое положение — и есть настоящая норма жизни. Человек мужского типа поведения сознает это. И именно мужественный Гумилев сказал:

*Но я за все, что знаю и хочу,
За все земные радости и бредни,
Как подобает мужу, заплачу
Непоправимой гибелью последней*.*

* Строфа из стихотворения Н. С. Гумилева «Душа и тело», II. Кузин цитирует неточно. У Гумилева: «Но я за все, что взяло и хочу, / За все печали, радости и бредни...»

Однако детские представления могут не исчезнуть с возрастом. Они и характеризуют человека немужского типа поведения и проявляются особенно ярко, если этот человек к тому же еще мало самолюбив и легко переносит моральные оплеухи, неизбежно получаемые им от жертв и свидетелей своего поведения.

У людей этого типа сохраняется еще одна детская черта. — Ребенка утешает, если ему укажут и при этом осудят виновника его огорчения (боли, страха и принуждения). После ухода врача ему говорят: «Ах, какой нехороший дядя. Вот мы его...» Если он ушибется об угол стола: «Ах, какой нехороший стол. Вот мы его побьем» и т. п. Люди немужского типа поведения тоже всегда видят причины своих невзгод где-то вовне и стараются найти их виновника. Это занятие по большей части вообще не имеет смысла. Очень многие из наших зол происходят не от чьей-то индивидуальной злой воли, а просто в силу вещей, как день неизбежно сменяется ночью. Кстати, силу вещей особенно не умеют понимать старики. Их неприязненное отношение ко всему современному больше всего коренится в воспоминаниях молодости, т. е. времени, когда они были сильны, здоровы и уже по одному этому видели все в более радужных тонах. Не понимают они и того, что даже и несомненные перемены жизни к худшему не могли не произойти в силу неодолимых законов развития общества, а более всего техники.

Но неприятности возникают также и в результате человеческих взаимоотношений. Ища виновников, люди с немужским характером никак не могут обратить внимание на одну очень важную фигуру: на самого себя. Между тем, разве что только в коммунальных квартирах человек приходит в близкое соприкосновение с людьми, выбор которых ни в какой мере не зависит от него самого. Обычно же каждый так или иначе сам создает свое окружение. Если оно оказывается неудачным для него, то досада по этому поводу понятна, но она должна быть обращена прежде всего против себя самого. И если беспристрастно разобрать неприятности, причиняемые нам кем-либо из окружающих нас людей, то почти всегда виновными в них окажемся мы сами уже по одному тому, что сами сблизилась с ними. Иногда такой разбор приводит к выводу, что и самих себя мы винить не можем. Это случаи, когда знакомство или дружба завязались давно и у обеих сторон были справедливые основания для сближения. Но ведь само по себе время может вызывать большие изменения во вкусах, взглядах, интересах и характере людей. Два человека, с полным основанием сошедшие когда-то, стали теперь уже не такими, как были, или изменился сильно один из них. Всего этого не могут постигнуть люди немужского характера, и они во что бы то ни стало хотят найти виноватого.

ВСЕ ЛЮДИ, ВСЕ ЧЕЛОВЕКИ

Есть анекдот. — «Ты его спросишь: как ваше здоровье? — так он, идиот, станет рассказывать». Все же, хотя и нечасто, встречаются люди, которые понимают, что пространные повествования о своих болезнях и их лечении скучны и неинтересны даже для близких друзей. Но обычно и эти, более смекалистые, ошибочно полагают, что их реляции о своем здоровье, при этом еще более обстоятельные, вполне уместны в разговоре с лечащим их врачом. Но тому они в точности так же неинтересны. И напрасно больной думает, что, осведомляя обо всем врача, он тем самым облегчает ему диагностирование или лечение. Большую часть нужных ему сведений врач получает в результате осмотра, данных анализов и т. п. Если этих данных недостаточно, врач сам задает вопросы больному, обычно немногие, на которые можно ответить немногими же словами.

Однако добрый знакомый, желая переменить мало увлекательную тему разговора или прекратить его совсем, может все же изобразить на своем лице скуку или же, взглянув на часы, сказать, что ему, к сожалению, пора или будет через столько-то минут пора идти по важному делу. Врачу же по общим принципам медицины не рекомендуется показывать, что здоровье пациента ему безразлично. А именно так истолкует больной отказ врача от получения драгоценных, по его мнению, сведений. Врач станет в его глазах бездушным чиновником, ремесленником и т. п. И это уменьшит психотерапевтический эффект. И вот врач слушает, скучает, теряет драгоценное время, но терпит, а следовательно — страдает. А ведь он тоже человек. Зачем же его мучить?

Но и больной — человек. И даже нередко не такой уж плохой. Да к тому же еще и больной, или ему кажется, что он больной, что, по существу, одно и то же.

Значит, и тот человек, и этот человек. Значит, обоих не нужно мучить. А как это сделать? — До сих пор еще никто не изобрел способа, как люди могут не мучить друг друга ежедневно, постоянно, всякими способами, до самой смерти.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПУГОВИЦА

Пиджак пришелся прекрасно. Это было видно и самому в зеркало, и жена сказала, что сидит хорошо. Продавец сказал:

— Как по вас шито. Лучше быть не может. Примерьте брюки.

Брюки были тоже в самый раз. И в поясе, и по длине. Только что-то чуть-чуть морщилась ширинка.

— Это пустяки — сказал продавец, — только немножко переставить одну пуговицу. Вот она. Вот эта. Видите, — чуть высоко пришита?

Новый костюм принесли домой. Все интересовались, какой он. Заставляли надевать. Сестра жены, племянник, жена племянника — все нашли, что костюм прекрасный, сидит чудно. И за такую небольшую по качеству материала цену. Все говорили, что пуговицу переставить — это совсем пустяки.

Костюм повесили в гардероб.

Скоро они с женой собрались в гости. Конечно, он решил надеть новый костюм. Когда уже надел штаны, то вспомнил, что пуговица не перешита. Жена сказала, что она сейчас же ее переставит. Но он, как всегда, не хотел опаздывать.

— Ничего, поедem уж так. Но когда вернемся, ты мне обязательно ее перешей.

Из гостей вернулись поздно и утомленные. Конечно, пуговицу перешивать не было никакой охоты, да и забыли про нее. А костюм опять повесили в гардероб. Когда его оттуда достали по какому-то новому торжественному случаю, то про пуговицу опять вспомнили, когда штаны были уже надеты и было пора уходить из дому. И так случалось каждый раз.

Однажды на каком-то вечере у него выпала из мундштука и упала на колени горящая сигарета и прожгла дырку на самом видном месте. Это было ужасно досадно. Жена сказала, что она заштукует как-нибудь. Но он ответил, что все равно будет заметно. Что вещь уже испорчена. На следующий день, когда он был на работе, жена взялась за штопку. И просто удивительно, как она искусно заделала дырку. При самом придирчивом разглядывании ничего нельзя было заметить. Она с торжеством показала свою работу вернувшемуся со службы мужу. Тот прямо просиял и даже поблагодарил жену, чего вообще почти никогда не делал. Заштопаные штаны были водворены в гардероб. Когда ложились спать, он вспомнил, что заодно со штопкой

был самый подходящий случай перешить пуговицу, и спросил жену, не сделала ли она это. Она ответила:

— Господи! — совсем забыла. — Да и понятно: она была слишком увлечена трудной задачей незаметной зашивки дырки.

Костюм постепенно перестал быть парадным. Он стал носить его на работе. И всегда, надевая штаны, говорил про себя, а иногда и вслух — жене, что пуговицу следовало бы перешить. Впрочем, теперь, при повседневном ношении, небольшой недостаток в туалете не так уж беспокоил. Кроме того, было совершенно естественно ожидать, что сидящая не на месте пуговица, как и все другие, когда-нибудь оторвется, и тогда ее уже волей-неволей придется пришивать и, конечно, прямо против петли. Но странно, — все другие пуговицы отрывались, и по многу раз, а эта сидела на своем месте прочно.

Еще через год-полтора штаны стали негодны для ношения на работе. Он стал носить их дома. Однако про пуговицу не забывал. И всегда, застегивая штаны, думал, что ее все же следовало бы переставить.

Наконец штаны до того засалились и истрепались, что в них неудобно стало и дома сидеть. Он, быть может, и носил бы их еще, да жена запротестовала. Сказала, что ей за него неловко даже перед соседями по квартире. Не говоря уже, что иногда может неожиданно прийти и совсем посторонний человек. И штаны ушли, как говорят, на заслуженный отдых. Они не висели уже в гардеробе, а лежали в большом сундуке. Но в этом сундуке было много и других всяких вещей, тоже вышедших из употребления и хранимых на всякий случай. Но такой случай никогда не приходил. Поэтому то от одной, то от другой из хранимых вещей приходилось избавляться, чтобы освободить место для других, не более нужных, но позднее отслуживших свой срок. Такая очередь дошла и до старых штанов. Жена стала задумываться, куда бы их девать. Это всегда было трудно придумать.

И вот случилось, что перед праздником к ним пришла помочь прибраться в квартире тетя Нюра. Она служила лифтершей, но иногда соглашалась то белье постирать, то еще что-нибудь сделать. Она в разговоре стала жаловаться, что жить приходится трудновато. Особенно из-за одежды плохо. И муж инвалид не работает, а все ведь что-то носит. И на парне, уже большом, что обувь, что одежда — ну прямо так и горят. Тут-то жена и подумала: — Вот кому можно отдать эти штаны.

Тетя Нюра очень обрадовалась предложению.

— Они уже, конечно, не новые, — сказала жена, достав штаны из сундука и показывая их.

— Ничего, нам сойдет. Еще поносятся.

— Ну и берите. Только у них пуговица одна, — вот, видите, эта, — не совсем на месте пришита. Нужно ее чуть пониже.

— Ничего, переставлю, — сказала тетя Нюра.

И унесла штаны. Пуговицу, говорят, и она не переставила.

СОН

Мне приснился ужасный сон. С внешней стороны в нем не было ничего фантастического или диковинного. Не было и странных нелогичностей, которые всегда сопутствуют снам. Наоборот, мой сон был удивительно реален, и все в нем происходило последовательно.

Его суть заключалась в том, что мои мнения о разных вещах и взгляды стали совершенно другими, чем были до сих пор. На меня словно вдруг снизошло прозрение, и я понял, что почему-то я не оценивал должным образом того, что у меня имеется докторская степень и профессорское звание. Мне показалось удивительным, как я никогда не вдумался в значение этого факта. Ведь он же с полной ясностью свидетельствует о моем превосходстве над теми, кто не доктор и не профессор. Сознание этого превосходства было мне очень приятно. Но не менее приятен, пожалуй, был сам факт, что я сделал это открытие. Ибо какому же ученому не доставляет удовольствия делать открытия? И я, опять-таки как настоящий ученый, от этого частного случая стал последовательно переходить к более широкому кругу явлений. Рассуждая по аналогии, я уразумел, что если, будучи доктором, я стою выше кандидата наук, то кандидат явно возвышается над гражданами, не имеющими ученой степени, хотя и среди таких отдельные могут быть научными работниками.

Я понял также, что занимаемая мною должность заместителя директора одного из институтов Академии наук СССР тоже достаточно высока и почетна и что она дает мне право на уважение со стороны тех, кто занимает низшие должности, как в нашем институте, так и где бы то ни было вообще. Наконец, до моего сознания также впервые дошло, что 63 года, которые я имею за плечами, это тоже не пустяк и что этот возраст (а с ним, конечно, житейский [и научный!] опыт) тоже ставят меня выше многих и многих. В свете этих открытий я произвел ревизию всех своих знакомых и словно заново представил себе и оценил их пеструю совокупность.

Совершенно естественно, что, осознав значение носимых мною званий, моей должности и возраста, я не мог не придти к выводу, что их (а, следовательно, и мое собственное) достоинство необходимо должным образом поддерживать. Я задумался, был ли я в этом отношении на высоте до сих пор. Должен был признать с некоторым внутренним стыдом, что не всегда. Тогда я принял твердое решение на будущее установить в обращении с людьми известные границы, исключающие возможность нарушения ими дистанций, обеспечивающих достоинство достаточно заслуженного члена общества.

Как я уже сказал, обретенное сознание своего превосходства над многими и сам факт сделанных открытий привели меня в хорошее расположение духа. Но и во сне, в точности как в реальной жизни, за всякое удовольствие нужно расплачиваться

ся. И здесь оказалось, что все положительное имеет свои теневые стороны. Было бы очень странно, если бы, осознав свои преимущества перед людьми, стоящими по своему положению ниже меня, я через некоторое время не задумался над досадным фактом, что сам я тоже нахожусь ниже кого-то. Бесспорно, доктор наук и профессор — звания высокие. Но все же и докторов, и профессоров имеется очень много. И расстояние между простым доктором и членом-корреспондентом никак не меньшее, а, пожалуй, и большее, чем между кандидатом и доктором наук. Но ведь есть же еще и академики! И опять-таки бывают простые академики, а бывают и члены Президиума Академии. А еще выше их стоят вице-президенты и, наконец, президент. Но о таких высоких званиях и должностях я, конечно, не помышлял. Довольно было сознавать и то, что я не член-корреспондент. А так как сон, как я сказал, отличался большой ясностью и реальностью, то я хорошо понимал, что у меня нет никаких шансов стать таковым. И это было горько. То же и относительно моей должности. — Ведь все же я только заместитель директора, а не директор. И я впервые почувствовал в самом слове «заместитель» нечто унижающее меня и причиняющее боль моему самолюбию.

И все же некоторые черты нереальности в моем сне были. Например, — обычное для снов несоответствие между его фактической длительностью и количеством разыгрывавшихся событий. Их было достаточно для заполнения не только часов, но даже дней и целых недель. А между тем приснилось мне все это даже не за всю ночь, а скорей всего за несколько минут. Но пусть уж читатель поверит мне, что я все это действительно пережил во сне. Таковы уж законы сновидений.

В какой-то момент сна меня охватило незнакомое мне в действительной моей жизни желание доказать во что бы то ни стало всем зоологам справедливость моих мнений в области, которой я занимаюсь специально. Я ощутил досаду, что далеко не все согласны с ними. И даже почувствовал озлобление по отношению к тем, кто не разделял моих взглядов. Но я твердо решил добиваться всеобщего их признания. А для этого нужно было как можно скорей и в возможно большем количестве писать и печатать свои работы. В то же время я сознавал, что для некоторых моих выводов не хватает фактического материала, а другие даже стоят в противоречии с известными мне фактами. Но мои мысли были направлены не на то, чтобы добыть недостающие материалы или критически пересмотреть свои выводы. — Я обдумывал, как бы мне поостроумнее замаскировать эти пробелы и недочеты.

Не обошлось, конечно, во сне и без заседания нашего ученого совета. Что на нем обсуждалось, — я не запомнил. Но, как всегда, я председательствовал и высказывался по разным вопросам. По одному из них, как это бывает со мной и наяву, я сказал нечто не совсем правильное, а возможно — и просто неразумное. Кто-то из участников заседания возразил мне, и я понял, что он прав. Но признать это я не пожелал и сначала попытался как-то выкрутиться, а когда стало ясно, что это мне не удастся, то

повысил голос и прибег к аргументам *ad personam**, после чего мой оппонент был вынужден замолчать.

Переродившись во сне таким образом, я получил много удовольствий, каких не испытывал в действительной своей жизни. Но зато познал и многие огорчения, также неведомые мне прежде. Положительные стороны моего нового существования заключались в сознании своего превосходства и в наслаждении от использования имевшейся у меня власти. Но в то же время было неприятно, что существуют люди более заслуженные и авторитетные, чем я, и что сам я нахожусь в многоступенчатом подчинении у своего начальства. И хлопотливо было постоянно быть настороже, чтобы охранять свое достоинство и авторитет. И это настороженное состояние породило во мне обидчивость. А переносить обиды или даже только принимать профилактические меры против них, как выяснилось, — дело очень тяжелое.

И, как всегда бывает, к новоприобретенным благам я скоро привык и перестал замечать их. А новые огорчения были чувствительны постоянно. И они, по-видимому, заметно отразились на моем характере и были причиной того, что я почти все время находился в дурном расположении духа. Это привело к ухудшению и физического моего состояния. Заметивши это, жена стала настаивать, чтобы я показался врачам.

Я не такой уж любитель лечиться. Особенно не люблю прибегать к помощи нашей академической больницы, в которой меня бесит чинопочитание, развитое там не меньше, чем в Доме ученых. Но произошедшее со мной во сне изменение коснулось и этой области. Осознав ценность своей особы, я понял, что должен заботиться о своем здоровье. А что касается чинопочитания, то я стал находить его естественным и считать даже чем-то положительным. Тем более, что мой собственный чин, хотя он и не самый высокий, все же достаточен для того, чтобы в нашей больнице ко мне было проявлено внимание, которому будет завидовать большинство находящихся в ней пациентов.

В больнице меня приняли прямо-таки с восторгом, когда выяснилось, что такой неисправный клиент, каким меня знали, решил обстоятельно заняться своим здоровьем. И я, переходя из одного кабинета в другой и подвергаясь всем видам обследований и анализов, был вполне доволен вниманием, какое мне оказывали, особенно когда сравнивал его с выпадавшим на долю тех, кто занимал в Академии менее значительное положение. Кстати, и вера моя в смысл медицинских обследований и в справедливость вытекающих из них заключений тоже значительно возросла во сне. При всем том, что внимательные врачи почти избавили меня от ожидания в очередях перед многочисленными кабинетами, обследование все же заняло довольно много времени. Начав свое хождение в самом бодром состоянии духа, я постепенно стал его терять. Это было вызвано главным образом тем, что обследо-

* С использованием нападок личного характера (лат.).

вавшие меня врачи не говорили ничего такого, из чего я мог бы понять, здоров я или болен, а если болен, то чем. Они переговаривались между собой очень профессиональными терминами, называя время от времени какие-то цифры, характеризующие мой пульс, давление крови и т. п. Значения этих цифр я не понимаю наяву и, к сожалению, не научился понимать и во сне. Такое конспиративное поведение врачей не могло не привести меня к мысли, что со мной, вероятно, происходит что-то не очень хорошее. Иначе почему бы врачам было не сказать мне прямо и с веселой улыбкой, что вы, мол, молодец и что ничего вам ни с какой стороны серьезно не угрожает. К концу обследования мое настроение совсем упало. Готовясь проститься со своим лечащим врачом, очень милой дамой по имени Виулена Онуфриевна, я спросил ее, что же у меня нашли. Но она сказала, что ответить на этот вопрос можно будет только после обработки данных всех сделанных анализов и совместного обсуждения их всеми обследовавшими меня специалистами. Добавила при этом, что обычно на это уходит недели две, но так как все здесь меня не только глубоко уважают, но и очень любят, то я смогу зайти через два дня. Заметив же, что я явно обеспокоен и удручен, она срочно изготовила самую обворожительную улыбку и сообщила, что общее впечатление у нее и у ее коллег от того, что можно было наблюдать у меня непосредственно, вполне благоприятное.

Придя в лечебницу через два дня, я был немедленно же принят Виуленой Онуфриевной. Она вся сияла и улыбалась. Узнав, что я не воспользовался лифтом, поднимаясь в ее кабинет, пощупала мой пульс и с восторгом заявила, что лестница никак не дала себя знать. Но тут же погрозила пальцем и сказала, что нам (т. е. мне) идет седьмой десяток и что мы (т. е. я) не должны без нужды форсировать свое сердце. Затем она с большой похвалой отзывалась о сегодняшней погоде. Потом, находясь под впечатлением вчерашнего посещения театра, стала очень хвалить одного актера и неодобрительно высказалась о другом. Тут я позволил себе спросить ее, к какому же мнению пришли врачи относительно состояния моего здоровья.

В ответ на это Виулена Онуфриевна принялась что-то быстро щебетать, переплетая свою речь систолами и диастолами, митральным и другими клапанами, пиками электрокардиограмм, цифрами давления, эритроцитов и РОЭ, одним словом, всем тем, что теперь так хорошо понимают все пенсионеры и даже домработницы, но во что я за всю свою жизнь не удосужился вникнуть. Изложив все это, она стала меня расспрашивать, как и где я намерен провести свой отпуск, не могу ли я уменьшить свою нагрузку на работе, много ли ем мяса и животных жиров, совершаю ли прогулки перед сном, не думаю ли я перестать курить и т. п. Ответив на эти вопросы, я, как мог настойчиво, повторил свой: почему последнее время ухудшилось мое самочувствие и каким способом его можно улучшить. Припертая к стене Виулена должна была сказать, что ни с какой стороны у меня не найдено ничего угрожаю-

щего, но что, конечно, возраст и всякие его последствия требуют усиления внимания к здоровью и соблюдения предписаний, даваемых врачами. Предписания же эти она выписала на листке бумаги, который и передала мне. Взглянув на него бегло, я убедился, что все мне рекомендованное тщательно соблюдали почти все одновозрастные со мной мои коллеги. Но я никак не мог понять, какое же физическое зло мне надо преодолеть с помощью предписанного режима, т. е. чем же я, в конце концов, болен.

В это время в кабинет заглянула какая-то медсестра и сказала Виулене Онуфриевне, что ее на минуту просит зайти главврач. Она извинилась, попросила подождать ее и выпорхнула.

Оставшись в кабинете один, я стал разглядывать находившиеся в нем предметы и тут заметил на столе несколько одинаковых папок. На каждой из них была обозначена чья-то фамилия. А нет ли среди них и моей? Папка с моей фамилией оказалась второй сверху. Я схватил ее и принялся просматривать одну за другой десятка полтора страниц, содержащих записи врачей, сделанные при обследовании два дня назад. Начав читать эти записи, я скоро убедился в том, что ничего не могу извлечь из них понятного для себя. Я уже собирался захлопнуть папку и положить ее на место, когда мое внимание привлекла самая последняя запись, сделанная психоневропатологом. Большая часть ее мне была так же мало понятна, как и все другие записи. Но где-то ближе к концу было написано: «Утрата чувства юмора (вероятно, необратимая)».

Если бы я прочитал эти слова наяву, я прекрасно понял бы их значение. Но так как во сне я потерял чувство юмора, то не мог понять, что же именно я утратил, потому что не представлял, в чем это чувство заключалось до того, как я его потерял. Но по крайней мере мне стало ясно, что у меня появился какой-то дефект. Вроде того, как, скажем, у меня могло бы прекратиться выделение желчи или необходимых для пищеварения кислот.

Я принялся было обдумывать, как мне заняться лечением обнаруженного заболевания, но тут проснулся.

1966

О ФИЛЬТРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ

Общеизвестно, что избыточная информация перегружает нервную систему трудящихся и препятствует выполнению ими своих прямых государственных функций. Наша партия и правительство с первых же дней установления власти рабочих и крестьян прилагали настойчивые усилия к тому, чтобы облегчить советских граждан от

бремени излишней осведомленности. На этом пути достигнуты значительные и всем известные результаты. Работа эта постоянно затруднялась тем, что среди населения нашей страны всегда имелись, и сохранились вплоть до настоящего времени, отдельные, правда, немногочисленные, граждане, наделенные нездоровым и глубоко чуждым интересам народа стремлением к пополнению своей информации. При этом такие элементы склонны собирать информацию, нисколько не сообразуясь с тем, насколько она полезна для самого собирающего, для окружающего населения и для государства в целом. Если, как сказано, таких любителей сбора информации в нашей среде и немного, то все же их деятельность не должна недооцениваться, поскольку они обычно бывают наделены повышенной активностью не только в сборе информации, но и в ее распространении.

Если партии и правительству удалось добиться высокой степени неосведомленности населения в тех вопросах, в которых ему не надлежит быть осведомленным, то этим мы обязаны не только четкой и слаженной работе нашего аппарата информации, но прежде всего — высокой сознательности советских людей, которые в своей лучшей, и притом наибольшей, части сами не хотят знать ничего такого, что не должно быть ими известно.

Однако нельзя не признать, что круг информации, остающейся доступной решительно всем нашим гражданам, значительно шире того, который полностью отвечал бы высшим интересам государства и народа. Если мы можем с удовлетворением признать, что наша печать, кино, радио и телевидение почти идеально фильтруют информацию, передаваемую ими населению, то нельзя забывать, что эти источники, к сожалению, не являются единственными. Кроме них, существуют еще и некоторые другие каналы, по которым поступает информация, при этом нередко немаловажная, не подвергающаяся никакой фильтрации. К таким каналам относятся в первую очередь собственные зрение, слух и обоняние граждан. Верно, упорная и целенаправленная воспитательная работа привела к тому, что наши граждане, в подавляющем своем большинстве, меньше верят информации, получаемой через эти органы, чем той, какую они получают в порядке регулируемого осведомления. Тем не менее, собственные органы чувств все же приносят сведения, не всегда содействующие правильному пониманию действительности и часто являющиеся балластом для умственного багажа граждан, а иногда и создающие помехи для требуемого от них отправления государственных и общественных функций.

С целью полного регулирования получаемой населением информации высшие партийные и правительственные инстанции признали необходимым с 1 ...бря 19... года ввести для всех граждан, начиная с 3-летнего возраста и выше, ношение зрительных, слуховых и обонятельных фильтров. Описание этих приборов и наставление к пользованию ими приводятся в специальном приложении к настоящему постановлению.

Зрительные, слуховые и обонятельные фильтры укрепляются на гражданах старше трехлетнего возраста в отделениях милиции по месту жительства специальной комиссией, в состав которой входят врачи-окулисты и отоназоларингологи, инженеры-электроники, представители отделов агитации и пропаганды местных партийных органов и представитель органов государственной безопасности. Крепление приборов на теле граждан печатывается государственной гербовой печатью.

Приборы снимаются с тела граждан после их смерти такой же комиссией, но без участия врачей-специалистов, на основании свидетельства о смерти, выданного в установленном порядке.

Самовольное снятие приборов при жизни карается по ст. ... УК.

Зрительные, слуховые и обонятельные фильтры приобретаются гражданами для пожизненного ношения за свой счет, а для несовершеннолетних — за счет их родителей или (при отсутствии таковых) опекунов. Для воспитанников детских домов эти приборы приобретаются за счет государства, но стоимость их погашается носителями в течение первого года их работы по найму в несколько сроков, определяемых размером заработка.

1958—1962(?)

СПОСОБЫ УСЛОЖНЕНИЯ

Один зоолог, докладывая о каких-то рачках, сказал, что они не обладают наличием брюшных ног.

Самое простое было бы сказать, что у этих рачков *нет брюшных ног*. Но есть целая шкала научности изложения.

Начинается с введения почти не употребляемого в чистом русском языке глагола «иметь»:

Рачки не имеют брюшных ног.

Но не хуже получается, если вместо «иметь» привлечь «обладать»:

Рачки не обладают брюшными ногами.

И далее:

Рачки не обладают наличием брюшных ног.

Рачки не обладают наличием присутствия брюшных ног.

Рачки не обладают отсутствием наличия неприсутствия брюшных ног.

Вероятно, можно и еще много, много сложнее.

КАК НУЖНО ПИСАТЬ НАУЧНЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Как известно, научное изложение мыслей сильно отличается от обыкновенного. Поскольку правила научного изложения достаточно трудны, а постигнуть их необходимо каждому ученому, мы решили вместо перечисления этих правил просто привести примеры обоих стилей, имея в виду, что наглядное обучение дает наилучшие результаты.

Простое изложение

По борковскому парку шел молодой, но многообещающий ученый и придумывал, как бы непонятнее и позамысловатее излагать свои мысли. Углубленный в эти размышления, он натолкнулся на березу и так стукнулся об нее лбом, что у него искры из глаз посыпались. Так в этот день он и не решил свою задачу.

Научное изложение

По участку арбореальной растительности, примыкающему к комплексу лабораторных зданий Института биологии внутренних вод АН СССР, шел исследователь, относящийся к младшей возрастной группе, но перспективный в отношении дальнейшей научной промоции, и разрабатывал проблему максимальной обскуризации и компликации своих высказываний. Увлеченный течением этого умственного процесса, он пришел в непосредственный контакт с древовидным растением из семейства Betulaceae и произвел столь интенсивный толчок в него фронтальной частью своей черепной коробки, что у него возникли острые болевые ощущения, сопровождавшиеся зрительными галлюцинациями. В связи с возникшей вследствие этого инцидента невозможностью своевременно решить поставленную проблему он перенес ее разработку на более поздний срок.

ИМУЩЕСТВО И ИЗЯЩЕСТВО

Жили-были две подруги. У одной было много имущества, но мало изящества, а у другой — много изящества, но мало имущества. И та, у которой было имущество, имела некоторое преимущество перед той, у которой было изящество. Но в свою очередь та, у которой было изящество, имела свои преимущества перед той, у которой было имущество. Поэтому та, у которой было изящество, завидовала имевшей имуще-

ство. И обратно — имевшая имущество завидовала той, у которой было изящество. Отсюда видно, что ни имущество, ни изящество не обеспечивают порознь решающего преимущества. И для женщины очень важно, имея имущество, обладать также и изяществом, равно как, обладая изяществом, иметь также и достаточное имущество. Женщина же, не имеющая ни имущества, ни изящества, лишена решительно всяких преимуществ.

1960(?)

РАЗГОВОР С КОМАНДИРОВОЧНЫМ ТОВАРИЩЕМ

- Так вы, значит, из Москвы?
- Из ней из самой.
- Из столицы нашей родины?
- Ясно.
- Ну что там, как? Мы хоть тоже радио слушаем и телевизор у нас есть, а все вам там на месте видней.
- Ну, ясно. Там все из первых рук.
- Ну, как там жизнь? Чем дышут? Ну, космонавты, конечно...
- Это само собой. — Величайшее достижение нашей науки и победа советского народа. Но, конечно, главное сейчас — итоги пленума. Этим все живут. Об этом только и говорят.
- Понятно. Ведь сколько же лет у нас с этим сельским хозяйством, как бы сказать, — не тово. А теперь сразу все пойдет совсем по-другому.
- Вот именно, теперь все по-другому. Ясно, — партия она всегда правильный путь укажет.
- Так она, небось, понимает.
- То есть в самую точку смотрит. И заметьте, — всегда ведь угадает самые сокровенные чаяния народа. — Наверное, слышали, что сказал про эти решения председатель колхоза «Червоный Шлях» товарищ Коломитный?
- Еще бы не слышали! А эта, как ее, знатная прядильщица с Трехгорки... Как же ей фамилия? — Ну забыл сейчас... Да и другие там, — слесарь-инструментальщик известный, доярка-елочница, народная артистка Пупочкина...
- Да скрозь, скрозь.

— Вот теперь хлебища-то наворочают! А мяса, масла, молока и других сельскохозяйственных продуктов! Ведь нагул скота и удои, знаете, куда подскочат?

— Сейчас пленум ВЦСПС собрался. Обсуждают, как бы эти решения лучше претворить.

— Да, слышали, слышали. Ужасно интересно, что они там постановят.

— Еще бы не интересно! Там тоже головы, знаете, какие!

— А как же! Профсоюзы они, небось, опора партии. Прямо дожидаться не могу, когда все это в газетах напечатают.

— Да не задержат, наверно. А прорабатывать-то решение у вас будут?

— А как же! В этом-то самый интерес. Сам-то прочитаешь, так еще неизвестно, правильно ли поймешь все. А тут докладчик, — он все объяснит, что к чему.

— Так я смотрю, у вас тоже это самое проходит в обстановке высокой политической активности...

— И трудового подъема! — Да и как ему не быть? — Все тесней и тесней сплавиваем свои ряды вокруг партии и ее ленинского ЦК.

— Вот именно, ленинского.

— Ну, а как там в Москве оценивают итоги хоккейного сезона? Какие новые течения в футбольной мысли? Как вообще спорт?

— Живет полной жизнью. Если взять, к примеру, футбол, то почти каждая команда выросла в самостоятельный футбольный организм. Игры проходят очень содержательно и эмоционально насыщено. Дают богатейший материал для дальнейшего развития основ теории кожаного мяча.

— Да, наши спортсмены умеют постоять за спортивную честь родины. Гагарин, — он, конечно, Гагарин... Или там Николаева-Терешкова. А скажите, хоть тот же Яшин или, к примеру, Майоров... Ведь как забывают эти самые.

— Да, здорово борются за серебро и за бронзу. Ну, уж не будем говорить о Яшине, а возьмем хотя бы Галину Прозуменщикову. — Ведь опять улучшила время в заплыве на дистанцию.

— И все брасом?

— Брасом, брасом.

— Во блядь!

— А Тамара Пресс знаете, куда метнула?

— Ну?

— На сто семнадцать метров!

— Туды-т ее! — А позвольте поинтересоваться, — что говорят синоптики?

— Да вот обещают, что ртутный столбик термометра в ближайшее время в столице и области поднимется до плюс пятнадцати градусов.

— Еб твою мать!

РАКОВЫЙ КОРПУС

Алло! Рабинович? У вас был Рапопорт?

Что такое? — Никаких раковых, никаких корпусов!

При чем тут корпуса? При чем рак?

А если нет корпусов, так зачем же про них говорить?

Но я ж и не говорю!

Послушайте, я вас не знаю и никаких разговорчиков на такие темы не веду.

Он меня не знает!

Да, не знаю. Никакие мои знакомые про эти корпуса не говорят. И я тоже про них не говорю и не читаю.

Рабинович, вы сошли с ума.

Нет, это вы сошли с ума, если думаете поймать меня на провокацию.

Какая провокация?

Он спрашивает! Если вам интересно слушать Би-Би-Си, то слушайте на здоровье. А мне этими вещами не морочьте голову. Вы, может, еще захотите узнать, что я думаю за Израиль, за Синявского и Даниеля, за Чехословакию? — Так прочитайте газету, и там написано все, что я думаю. Я вешаю трубку, а если вы позвоните опять, то я зателефонирую в Комитет.

В какой комитет?

Вы не беспокойтесь, — я знаю, в какой, и вы сами очень хорошо знаете.

Ничего не понимаю. Это телефон 137.00.85?

Ну да, 137.00.85.

Это Рабинович? Семен Ильич?

Ну да, Семен.

Так с вами говорит Исак.

Так почему же, под, вы так и не сказали? И что это за манера говорить про этот корпус по телефону?

Опять корпус! Откуда корпус?

Слушайте, Исак, я вижу, мы по телефону ни до чего не договоримся. Вы говорите от себя?

Ну?

Так прямо трамваем езжайте ко мне. Сумеете по дороге купить водки? У нас осталась рыба. Я тоже имею вам что-то сказать.

Какая водка? Завтра на работу.

Не хотите — не надо. Я еще не знаю, осталась ли рыба. Так едете? Жду.

О ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

Язык — орган, находящийся у людей в большом и разнообразном употреблении. Между тем по-настоящему он пригоден лишь для двух надобностей: 1. отдавать команду и 2. произносить стихи. Мнение, будто с помощью языка один человек может убедить другого в справедливости своих мнений, — ошибочно. За всю свою жизнь, теперь уже достаточно долгую, я ни разу не наблюдал случая, чтобы два человека, не соглашавшихся в чем-то друг с другом, поговорив между собой, пришли к взаимному пониманию. Следовательно, для достижения этой цели язык бесполезен. В большинстве же других случаев употребление языка приносит прямой вред. Чаще всего оно приводит к порче отношений между друзьями. А если разговор касается предметов политических и происходит в недостаточно надежной компании, то последствия его могут оказаться и еще более печальными.

Каждый предмет должен использоваться только по своему, строго определенному, назначению. Поэтому повторяю: — пользуйтесь языком только для отдания команды и для декламации стихов. Верно, с помощью языка можно также льстить. Но мне еще не совсем ясно, приносит ли лести пользу льстецу в конечном итоге. Может быть, да, а возможно, и нет. Поэтому я покамест воздерживаюсь от рекомендации языка для этой надобности.

1965

МИНИСТРУ ТОРГОВЛИ СССР

В свете исторических решений XXII съезда КПСС и в связи с разгромом антипартийной фракционной группировки я считаю целесообразным переименовать впредь перцем измельченным (или порошкообразным).

В ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА

Довожу до сведения Президиума, что сегодня ночью, по неизвестной причине, ко мне пришел во сне И. В. Сталин. Он неодобрительно отзывался об исторических решениях съезда, допуская при этом нецензурные выражения. Глубоко возмущенный его поведением, я прошу Президиум учесть сообщенный мною факт при определении места захоронения саркофага с телом Сталина после изъятия его из мавзолея В. И. Ленина.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

I

- Папа, я прочитал в книжке: «ямщик сидит на облучке». Ямщик это кто такой?
- Это который ямы копает. Если нет искавателя. Значит, роет вручную, что ли там лопатой или как...
- Ааа!.. А облучок?
- Ну, на чем облучают. Облучают, значит, ямщика.
- Как же облучают? Дальше сказано, он в тулупе.
- Значит, еще не начали облучать. Когда начнут, он тулуп снимет.
- Ааа!..
- А ты где это прочитал?
- Вот в книге для чтения по русскому. Стихотворение Пушкина.
- Ааа!.. Это которого царь велел застрелить? — Ну, знаю, знаю.

II

- Папа, что это здесь написано: «Не то, что мните вы, природа». Как это мните?
- Не мните, а мнете. Опечатка это.
- Как же опечатка, — разве природу можно мять? Ведь природа это которую загрязняют.
- Вот и дурак. — Конечно, которую загрязняют, ту не сомнешь. Здесь не про нее говорится. — Журнал есть такой, «Природа» называется. Вот ее, значит книжку, и измяли.
- Ааа!..
- То-то и дело: ааа! Понимать нужно, что читаешь.

ЗАКАТ СЛАВЫ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО*

Мой друг детства Саша (Александр Алексеевич) Мочегонский очень не любил свою фамилию. И именно в сочетании со своим именем. Когда в гимназии на уроках истории говорили об Александре Македонском, ему казалось, что все товарищи и

* Одно из немногих произведений Б. С. Кузина, сохранившихся в авторской рукописи. Текст не является окончательным: он содержит варианты некоторых слов и целых абзацев, которые мы приводим в угловых скобках.

сам учитель думают о нем и потешаются про себя над его фамилией. Он до самой смерти своего отца не мог ему простить причуду дать ему такое имя. — Ну, фамилия еще так-сяк. Что же с ней делать, если она досталась по наследству от отца, а тот сам получил ее от деда? Но все-таки самого-то отца звали Алексеем, а Алексей Мочегонский это на слух совсем не то, что Александр. Полегче Саше стало, когда история Греции была пройдена. Но все же Александр Македонский был так знаменит, что его имя упоминалось не только в посвященном ему разделе истории и вообще не только в гимназии <ях>, но во всяком обществе, в котором мог оказаться Саша. И каждый раз такое напоминание о великом завоевателе было для него уколом.

В самые первые годы после Великой Октябрьской Социалистической Революции в интеллигентской среде говорили гораздо больше о пайках, картошке, печках-буржуйках, пухнувших пальцах и тому подобных материях, чем об исторических героях <деятелях>. При нэпе острота вопросов быта ослабела. Но неуверенные пока еще шаги молодого государства по совсем новому пути привлекали общее внимание все же гораздо сильнее, чем история древнего мира. В новых школьных учебниках по этому предмету излагались почти исключительно экономические взаимоотношения тогдашних государств. Из всех персонажей того периода сохранился <уцелел> один лишь мало известный прежде Спартак. Саша, ставший к концу двадцатых годов уже Александром Алексеевичем, однажды рассказал мне, что пятнадцатилетний подросток, посмотревший в каком-то театре постановку «Ревизора», спросил при нем своего отца, кто был этот Александр Македонский, о котором упоминал городничий. Было видно, что Саша явно доволен уменьшением популярности своего почти полностью тезки.

Когда в «Известиях» стали в большом количестве публиковаться объявления об изменении имен, фамилий и даже пола, Александр Алексеевич подумал, что и ему не мешало бы переменить свою фамилию или, на худой конец, хотя бы имя. Но до этого у него все как-то не доходило руки. Все же, хороша она или плоха, к своей фамилии он привык. Привыкли к ней и его знакомые, сослуживцы. Был он человек занятой, и не так легко было ему выбрать время заняться этим делом. Наконец и стоило это удовольствие 22 рубля. Все же деньги. Так он и дотянул до самого 37 года. А тогда его, конечно, посадили.

В разных лагерях, в которых он перебивал до 56 года, были всякие неудобства похуже тех, что ему причиняла его фамилия. А когда, после выяснения, что он вообще не был ни в чем виновен, его восстановили в правах и он снова поселился в Москве, то заметил, что народ в ней живет совсем другой, чем жил раньше. Происхождения больше не местного и такой, в общем более энергичный, деловой и чаще углубленный в вопросы техники, службы, общественной и партийной работы, торговли и снабжения, а то и совсем ни во что не углубленный. История редко кого из этих

людей интересовала, тем более древняя. Про Александра Македонского они обычно ничего не слышали. А в фамилии Мочегонский они улавливали что-то медицинское, научное, и этим она вызывала у них даже некоторое уважение. И Ал<ександр> Ал<ексеевич>, почувствовав это, был даже доволен, что не переменял ее в свое время. Тем более, что Македонского было легче заподозрить в еврейском происхождении, чем Мочегонского. А такое происхождение за время, пока он отсиживал свой срок, стало довольно опасным.

И вот однажды А. А., собираясь получить зарплату, не нашел свою фамилию в ведомости. Он привык видеть себя между Морозовым и Мошковым, но на этот раз эти двое шли друг за другом непосредственно. Он пробежал глазами по всем фамилиям, начинавшимся на Мо. Но на всем протяжении от Мобликова до Мояшкина Мочегонского не было. Старичок-кассир, выдававший зарплату, спросил:

«Что же вы так долго?»

«Да вот не нахожу себя в ведомости».

«Как так не находите?»

«А вот смотрите, — Морозов, за ним должен идти я, а тут сразу Мошкович».

Кассир взял ведомость и посмотрел сам.

«Да, хм... верно». Он беспокойно заерзал и тоже стал просматривать все фамилии на Мо. Было заметно, что его беспокойство возрастало. Вдруг его что-то осенило. Глаза его побежали к самому началу фамилий на букву м, и вскоре он заулыбался.

«Простите! Вот старый дурак. Я вместо Мочегонского записал вас как Македонского. Ну, и потому, конечно, поставил в ведомости выше: не на мо, а на ма. Уж вы простите. Знаете, по созвучию... Уж как-то с самого, можно сказать, детства привык к Македонскому, а Мочегонского встретил за всю жизнь вот только вас одного. Да еще к тому же Македонский был Александр и вы тоже Ал. Ал., хе-хе-хе... Ну, ничего, распишитесь здесь, против Македонского. А я потом переправлю, как полагается, на Мочегонского».

А. А. прежде всего оглянулся назад, чтобы выяснить <узнать>, как реагирует на эту скандальную историю вся стоящая за ним очередь. Довольно ясно на всех лицах выразилось недовольство по случаю произошедшей задержки в выдаче. Слышались даже, хоть и негромкие, какие-то неодобрительные слова на этот счет. Но это моего друга особенно не беспокоило <тревожило>. Важно было, что никто не улыбался лукаво или саркастически. Это означало, что никто не понимал комической <юмористической> стороны происшествия. Слава Богу! О проклятом греческом Александре из стоявших в хвосте не слышал никто. Кровь, прилившая было к лицу А. А., теперь отхлынула, и он тут же отменил свое опрометчивое решение устроить прохвосту-кассиру скандал и отказаться от получения зарплаты, пока в

ведомости не появится его настоящая, такая звучная и небанальная фамилия. Он расписался против Македонского, получил деньги, выслушал еще одно извинение кассира и отошел от кассы.

Но все же его обида не прошла. В нем сохранилось желание отомстить кассиру за то, что он чуть было не выставил его на посмешище перед сослуживцами. Но как отомстить? — Об этом Саша решил посоветоваться со мной, с единственным оставшимся у него с детства другом. Его план состоял в том, чтобы написать куда следует донос. Я спросил его, на чем же он хочет его основать. Он сказал, что думает обыграть тему происхождения кассира. Я поинтересовался, какое же это такое его происхождение.

«Ну, конечно, он никакой там не граф и не князь, да и вообще у него фамилия явно не дворянская. Но из того, что он вообще знает что-то об Александре Македонском, можно заключить, что он скорей всего обучался в старом учебном заведении, скорей всего в гимназии. А это значит, что он происходит из достаточно состоятельной семьи».

«Ты думаешь?»

«Видишь, сам я так, конечно, не думаю. Но именно такой вывод сделал в свое время мой самый первый следователь и на этом основании написал в своем протоколе, что мои родители были крупными капиталистами. А уж остальное, ты понимаешь, конечно, «пошло само собой».

Я в знак сомнения покачал головой.

«Ты что же, считаешь такой донос слабо обоснованным?»

«Видишь, мне кажется, дело теперь не в обосновании, а в самом доносе. Жизнь во всем сейчас стала трудней и сложней. Конечно, донос в свое время был прекрасным средством здорово нагадить человеку, и приходится только пожалеть, что теперь это сделать не так просто. Я так сразу, не подумавши, не могу тебе ничего посоветовать. А собственно есть ли у тебя такая уж необходимость делать гадость старику? Я понимаю, что в давние времена тебе досаждало сопоставление с Александром Македонским. А теперь-то что? Тебя теперь знает все же довольно большой круг людей. Хотя бы полторы или там две сотни одних твоих сослуживцев. Да и кроме них еще десятка два наберется. А кто знает Македонского? Ты учти, что время само, как-то автоматически, снимает некоторые проблемы. Твоя фамилия была когда-то в самом деле немного неудобной. А теперь в ней нет решительно ничего для тебя унижительного. По-моему, плюнь ты на все это дело. Сам же изнервничаешься, если всерьез возьмешься пакостить этому кассиру. Плюнь. Здоровье дороже».

Саша подумал, подумал и сказал:

«Да. Может быть, ты прав. Черт с ним со стариком».

И на этом все дело и кончилось.

«Да. Значит, ты хочешь писать донос?»

«А ты что — против?»

«Ну почему же? — Доносом и теперь, я думаю, можно чудесно нагадить кому хочешь. Только, понимаешь, ведь со временем все изменяется. Ну и доносы теперь, наверное, пишутся как-то по-другому, чем их когда-то писали на нас с тобой. А как именно, — я сейчас не знаю. Нужно как следует разведать. — Ну там, форма, тематика, обоснованность... Ну, в общем, все».

Да-а.>

КОСМОНАВТЫ

Пьеса в 3 действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

На сцене

Руководители партии и правительства. Особых примет не имеют. В среднем грузноваты, с лица округлы. Изъяняются решениями и постановлениями, приветственными фразами, речами и тостами, выслушиваемыми с большим вниманием и сопровождаемыми аплодисментами, обычно долго не смолкающими.

Космонавты. Особых примет не имеют. С лица все схожи между собой. Хорошего телосложения. С хорошей спортивно-военной выправкой. Рапортуют. Бытовой лексикон ограничен.

Главный Конструктор. Не имеет не только особых примет, но и вообще лица, фамилии, имени и отчества. При появлении на сцене показывается зрителям только спиной.

Служит связующим звеном между руководителями и космонавтами.

Изъяняется, в зависимости от надобности, разнообразно.

Жены космонавтов. Особых примет не имеют. С лица все недурны. Прически разнообразны.

Одежда дорогая и трудно доступная для приобретения. Хихикают, шепчутся.

Бытовой лексикон (их единственный) довольно разнообразен.

Под сценой

Народ. Как он выглядит, не видно. Обычно безмолвствует. На выступления руководителей партии и правительства отвечает бурными аплодисментами, на выступления космонавтов — восторженным воем.

Действие 1-е

Сцена изображает небольшой садик перед одним из зданий звездного городка. Слева на садовой скамейке и на вынесенных стульях сидят космонавты в спортивных костюмах. В руках у одного футбольный мяч. Справа так же размещены жены космонавтов. В руках у некоторых вязанье или вышиванье. Обе группы разговаривают одновременно. До зрителей доходят отдельные слова их разговора.

Космонавты. Ха-ха-ха!.. Хо-хо-хо!.. Забил гол... Забросил шайбу... По своим воротам... В штангу... Кайрат... Арарат... Спартак... Динамовцы Тбилиси... Крылышки... Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!

Жены космонавтов. Хи-хи-хи!.. Носок закругленный... Проймы с боков... Рукав короткий... Хи-хи-хи!.. Любовь Орлова... Ладынина... Неужели с ним? Врешь, врешь, врешь!.. Хи-хи-хи. Кремлевка... Сочи... Ялта... По сертификату... Ананасы... Хи-хи-хи!.. Икра... (*шепчутся*). Не может быть!.. Я тебе говорю... Ах, сволочи... А наши тоже хороши... (*шепчутся и сильно жестикулируют, потом встают и подходят к группе космонавтов*).

Жены космонавтов (хором). Все мячи гоняете, да знаете свое — в космос летать, а кругом себя ничего не видите. (*Вперемешку*) Эгоисты! Свиньи! Червяки мягкотелые! А семья хоть с голоду пропадай! Хрен тогда на приемы таскать! Бросим обучаться, как держать нож и вилку!

Космонавты (с удивлением). Чего колготитесь? В чем дело?

Жены космонавтов. Вы знаете, сколько вам икры выдают?

Космонавты. А хрен ее знает. По килу что ль на брата?

Жены космонавтов. Вот то-то и дело, что по килу. А сколько ее сами получают?

Космонавты. Кто?

Жены. Ну кто, — руководители партии и правительства!

Космонавты. Они нам не докладывают.

Жены. А! Как в космос лететь, — это вам дуракам, а как икру жрать, так это им самим. — По десять кил на рыло получают! По-десять-кил! Летайте, летайте, налетывайте на них еще икру, а то им по десять мало.

Косм. (*Выжидательно и с тревогой молчат*).

Жены. Вот что: нам чтобы икра была как людям! А нет, — пусть сами колбасятся в космосе.

(Космонавты переглядываются, встают и уходят налево.

Жены космонавтов с обиженным видом, но с достоинством уходят направо.)

Занавес опускается.

Действие 2-ое

На сцене зал заседаний руководителей партии и правительства. Руководители сидят за столом и пьют минеральные воды. Некоторые — лимонад. Некоторые не пьют ничего.

Входит Главный Конструктор, передвигаясь таким образом, чтобы быть обращенным к зрителям только спиной.

Гл. Констр. Разрешите приветствовать в вашем лице ленинский Центральный Комитет нашей партии и наше советское правительство.

Руков. Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик и Совет Министров Союза приветствуют в вашем лице славный отряд советских завоевателей космоса. Есть предложение предоставить слово товарищу Главному Конструктору. Возражений нет? — Пожалуйста.

Гл. Констр. С руководителями партии и правительства просят разрешения говорить наши славные летчики-космонавты.

Руков. Поступило предложение выслушать наших славных летчиков-космонавтов. Возражений нет? — Товарищ Главный Конструктор, просим их ввести в зал заседаний.

(Главный Конструктор удаляется таким же способом, как вошел, находясь постоянно спиной к зрителям. Через несколько секунд так же входит. За ним, чеканя шаг, маршируют космонавты, выстраиваются против стола.)

Руков. Здравствуйте, товарищи космонавты!

Косм. Здравствуй твщи рквдит парц' прительств!

Руков. Центральный Комитет партии, правительство Союза, весь советский народ с заботой и вниманием относятся к героям космоса летчикам-космонавтам. Просим изложить цель вашего прихода. Есть предложение предоставить для выступления товарищам космонавтам 10 минут. Возражений нет? — Пожалуйста.

Космонавты. (*молчат*).

Руков. (*поднимают с удивлением глаза на Главного Конструктора*).

Главн. Констр. (*делает космонавтам приглашающий жест рукой*).

Космонавты. Как еб твою мать, так еб твою мать, а как еб твою мать, так ни хуя!

Руков. Товарищ Главный Конструктор, что они имеют в виду?

Главн. Констр. Они хотят сказать, что, когда они совершают космические полеты, то подвергают свою жизнь большому риску, а между тем икра выдается им по не удовлетворяющей их норме.

Руков. (*переглядываются. Затем после короткой паузы объявляют*): Вопрос будет обсужден и в течение ближайших дней по нему будет вынесено и объявлено решение.

Занавес опускается.

Действие 3-е

Сцена и расположение действующих лиц такое же, как в конце предыдущего действия.

Руков. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР, учитывая большой вклад летчиков-космонавтов в дело освоения космического пространства, постановляет:

1. Выдавать впредь летчикам-космонавтам икру осетровых рыб, паюсную и зернистую, по норме, предусмотренной для работников категории высшей а-1;
2. Выдать каждому летчику-космонавту, в дополнение к уже имеющимся, еще по одной золотой звезде Героя Советского Союза.

Народ (под сценой) бурно и продолжительно рукоплещет.

Космонавты. Заверяем Центральный Комитет партии и Советское правительство, что все задания горячо любимой Родины будут нами выполнены. Самочувствие отличное! Настроение бодрое! Все приборы и системы управления работают нормально.

Народ (под сценой) восторженно воет.

Занавес опускается.

ДЕДУШКА, ТАК РАССКАЖИ

Дедушка, так расскажи, как это все у них случилось. — Ну, как случилось. — На ясной, ясной такой поляне сидела, вот не помню, Софья Андревна, Ларина или Каренина и варила варенье. И девчонки тут же. Одну, как сейчас помню, Ольгой звали, а другую, кажется, Татьяна, или нет, не Татьяна, Кити ее звали. Да, Кити. А тут приезжают на лошадях Вронский и Ленский. Такие, в общем, ничего ребята. И видно, что приехали они то ли до девок, то ли до самой этой Карениной. Я сначала в это не очень входил, потому что, понимаешь, поют тут, пляшут. А после уже и разобратся было нельзя. Потом-то стал про все это в книжках читать, но тогда совсем запутался. По-моему, тут все дело изгадил один еврейчик, Левин. Он тоже какой-то этой девчонкой интересовался... Нет, конечно, Татьяна тоже была. Кити сама по себе, а Татьяна сама по себе. И Онегин тут же шьет. Я про него не говорил? — Ну все равно, он тоже с самого начала был в этой компании. И все у них как будто шло совсем хорошо. Все веселились, пели. Спрашивали друг у дружки, кто что слышал. Все певцом каким-то интересовались, который по соседству за рощей жил. Ну, поехали и разъехались без всякого скандалу.

А потом как пошло, как пошло. Почему, — понять невозможно. Я все-таки думаю, что главная заноза был этот еврейчик. Хотя он с виду и совсем вроде прилич-

ный. Но только что-то все выдумывал. У нас последний парнишка понимает, что нужно, как только отучишься, скорей паспорт выправлять, чтобы в колхозе не оставаться, а где-нибудь на производство устроиться в городе. А этот заладил — хочу в деревню. Сельским хозяйством, говорит, заниматься хочу. Женился он на Кити и ее тоже уволок на это свое сельское хозяйство. А она значит еще совсем молодая. А ведь в ту пору ни клубов, ни кино не то что в колхозах, и в городах-то еще не было. Одним словом, устроил ей житуху. Ну и другие он всякие вещи говорил и делал несуразные. А уж раз где пошло гнить, так так и поползет. У Карениной муж был ответственный работник. Все какие-то собрания проводил да работал в своем учреждении. За женой как надо не присматривал. Вот этот Вронский к ней и подсыпался. Пошли разговорчики. А он, как на грех, скакать на лошади вздумал. Кобыленка чего-то споткнулась, и чуть было наш Вронский не сыграл Ленского. А Ленский с Онегиным тоже из-за девок поапались. Тогда пистолеты свободно в магазинах продавались. Вот они их купили каждый себе и пошли пулять друг в дружку. Онегин Ленского и ухлопал. Но суда ему не было. Он просто уехал куда-то подальше, пожил там, и потом к себе в Ленинград вернулся. Он ведь был ленинградский родом. И там встретил Татьяну. Он ей прежде ужасно нравился, и она к нему даже подкатывалась замуж за него выйти. Но он тогда не хотел. А теперь, как помотался холостяком, да еще в провинции, так захотел жениться. А Татьяна успела выйти за генерала. И уж теперь она его послала куда подальше. Он, конечно, понял, что зря тогда задавался, да уж ничего не поделаешь. Она — нипочем. Дальше про него ничего не сказано. Нашел ли себе какую другую бабу или так жил бобылем, а может, и его кто-нибудь из пистолета застрелил, — про это, говорю, ничего не рассказывают. А вот Каренина — та под поезд бросилась из-за сраму. Интересно это все у них получилось. Только пишут про это и показывают в театре или в кинe как-то непонятно. Не разберешь — живут вроде богато, все сыты, одежда на всех хорошая, а что-то все промеж себя поладить не могут, и вот у них что получается.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Приблудилась верблюдица
К волчьим таборам в степи...
По низинам соль садится. —
Слепнут очи, — а терпи, —
Уж такой закон в степи.

Целу ночь саман месила
Без путей степная тьма.
Эка звезд какая сила! —
И не скажешь что тюрьма...
А такая, право, тьма.

Но пройдет к исходу ночи
Этот странный в небе гул,
Волчий зуб да хвост сорочий
Путь укажут на аул,
Где людской не слышен гул.

Поутру на перекресток
Выйдя и глядя окрест,
Я подумал: сух и жесток
Синий воздух здешних мест...
И глядел, глядел окрест.

Цвел подсолнечник. И зоркий
 Видел ястребок вдали
 Дым костра... Пшено с махоркой...
 Да кричали журавли
 За подсолнухом вдали.

Был повсюду одинаков,
 Бледнозелен и горяч,
 Край небес. Цветенье злаков
 Кончилось. Горел кумач
 При усадьбе мальв и маков.

Сент. 1935

Альтовая струна покоя и забвенья
 И темной юности альтовая струна...
 И полное огня старинное значение
 Разлуки, дружбы и вина.

Все, все, что ночь (что смерть!) прядет для жизни новой,
 Над прялкой тишины качаясь и шепча,
 Быть может, только звук одной струны альтовой,
 Высокой пленницы ключа.

Так заключают птиц. И жизнь в ревнивом теле
 Не так ли до поры лишь той заключена,
 Пока не запоет в ответ ночной свирели
 Альтовая струна?..

1937

Звезды с крысиным сбегаются писком
 На маловодной зари водопой.
 Книги сжигают по ябедным спискам.
 Шепотом люди о самом о близком,
 Ставни закрыв, говорят меж собой.
 И никогда не узнают потомки
 Слов отречения в чугунной ночи.
 Солнце в кутузке, и совесть в котомке...
 Шорохи... Тайна... Потемки, потемки...
 Слышишь ли? Дышишь ли?.. Тише! Молчи!

Янв. 1938

Волна воспоминанья гложет
 Отлогий берег. Полночь бьет.
 Еще один сочтен и прожит
 Глухой материковый год.
 Костры бессонных бивуаков,
 Погудки северных ветров...
 За стол, стаканами зазвякав,
 И — будь здоров, Иван Петров!
 Из всех сословных привилегий
 Какая может быть честней,
 Чем вечно числиться в побеге
 От надвигающихся дней?
 Какие предъявить к оплате
 Нам может время векселя,
 Когда мы не бежим объятий
 Твоих, о мать сыра земля?
 Еще мы не таких видали
 По эскадронам усачей,
 Еще и не такие дали
 Слеза смывала из очей,
 Внимали звезд морозным одам,
 С кротовым ладили трудом,
 И с новым годом полным ходом
 В большое плаванье пойдем.
 Зима заварит просяную
 Крутую кашу непогод...
 Я к старому тебя ревную,
 Слепорожденный Новый год.

Янв. 1938

Не дыши, не живи! — Видишь знак Демона?
 В тусклый перстень души бирюза вделана.
 Не спеши отлететь. — Ты хоть имя мое
 На песке напиши, жизнь моя! Где она?

1938

Эта темная вода
 В сонных аспидных озерах
 Растворяет без следа
 Боль и слезы в разговорах,
 Соль, осевшую в растворах
 Злобы, бедствий и труда.

Самых шумных, самых спорных
 Мертвый ток влечет туда,
 Где неслышно гасит взор их
 Полужидкая слюда,
 И они уж навсегда
 В безымянных спят просторах.

Есть такие господа,
 Что ли граждане, которых
 Поддепляют иногда
 В канцелярских коридорах,
 Как плотичек красноперых,
 Злого счастья невода.

Им в глухих мирских конторах
 Начисляются года,
 Дорогого хлама ворох,
 Сон и жирная еда...
 Эй, послушай, борода!
 Этот дядя нюхал порох.
 А что вор, так не беда, —
 Всюду будет лебеда.

1938

Спиртоноша *

De Palos de Moguer, routiers et capitaines
Portaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal.

HERÉDIA**

Шерстяной рукавицею шарит, ероша
Гриву спящего страха, мороз по тайге.
И мерцает звезда... И бредет спиртоноша.
И душа в человеке, что нож в сапоге.

В эту ночь, пробираясь по тропам таяжным,
Может быть душегуб и заведомо — вор,
Он мечтает о фарте, почти невозможном,
Прометей-похититель и конквистадор.

Разве влага, что дремлет в заветных бидонах,
Не желаннее света, не чище огня?..
Капитанам морским и бродягам в притонах
Тот же чудился зов, их на Запад гоня...

Он залечит ценой отмороженных пальцев
Эту сердце Кортеса пожравшую боль.
В этом мире, Господь, не остави скитальцев,
Прносящих в пустыню Твою алкоголь.

1938

Серебряная нить ночных повествований,
Мирской молвы, морской волны закон,
И ты, покой очей, туман обетований,
И темный дом, и над рекою сон.

Природа царствует, а время только длится, —
Оно лишь тень земного бытия, —
И, областей ночных пугливая царица,
Ты никогда не спишь, душа моя,

Но вся в сознании вершишь свой путь крылатый,
Сама себе октава и орган,
Сама себе звезда, сама себе вожатый,
Полночный гость звукодержавных стран.

1939

* Написано рукой Б. С. Кузина поверх зачеркнутого первоначального заглавия — «Le conquérant d'or».

** Прощались с Палосом бойцы и капитаны, / Сои героический и грубый их ласкал. / Эредиа. — Строки из сонета Эредиа «Конквистадоры» («Les Conquistadors») (пер. Н. С. Гумилева).



SCHUBERT*

Когда загонит стадо
Небесный волопас
И в заводи наяда
Свой влажный кажет глаз,

Заводит чет и нечет
Над сонною водой,
Стрекочет и кузнечит
Кузнечик молодой.

Как знать, чего он хочет,
Он грустен или рад,
Кому, о чем стрекочет
Зари вечерней брат?

В глуши сырых потемок
С звездой говорит
Задумчивый потомок
Замолкших аонид.

1939

* Начало песни Ф. Шуберта «Фурель».

Глотай, глотай соленые рыдания, —
Желтуху глин слезой не утолишь,
Не вспоминай: пустыне нет названья...
Перебирай камыш.

Перебирай камыш. Полет пылинок
Учись следить в дорожке лучевой.
Не вспоминай... И о сухой суглинок
Не бейся головой.

И по ночам не бормочи, тревожа
Урочищ заповеданную тьму.
— Я здешний волк, но здесь давно уж тоже
Не нужен никому.

1939

Подражание

Любви чудесных превращений
И счастья призрачных прикрас
Искать извечно гонит нас
Мятежной молодости гений.

Но счастлив тот, кто сновидений
Неверных убежал и спас
Оптическую силу глаз
Для внешней жизни наблюдений.

Средь разрушительных утрат
Глубокой осени я рад
И чистой дали, и морозу,

И откровеньям октября,
Когда сдает в набор заря
Земли божественную прозу.

1939

Друг, ты слышишь? — то ночь, еще сонная, еще глухая,
Еще вся в свежих вмятинах от бессознания, от ям,
От провалов земных, — подымается, шарит, вздыхая,
И ступает, слегка припадая, по мятным полям.

И она шевелить начинает затекшими в спячке руками,
И в ответ шевеленью ее, словно тоже со сна,
Звезды, стронувшись с мест, проплывают и реют кругами.
Запрокинувшись, смотрит на них и не смотрит она.

И ширяет руками все шире, как бы в исступленье.
О, куда нам деваться от этих плывущих плеяд!
Ночь ни в их, ни в своем не вольна уже больше движенью.
Весь колеблется воздух, и темные звезды гудят.

1939

Равнина паводкам платила солью дань,
Буранами — зиме, беде — горстями пепла,
Копила сны да сны, и старилась, и слепла,
Пуста, куда ни кинь, ровна, куда ни глянь.

Ты на крик закричи, — не слышит, хоть убей.
Оглохшая давно, в своей тоске бесслезной
Она еще следит, как катит шар навозный
Над степью высохшей огромный скарабей.

1939

К яблоку тянется мальчик. О мать! —
Сына спеша научить отнимать.

Счастья чужого лучи горячи. —
Счастье его похищать научи.

Ты научи его буйно шуметь,
Впитывать ухом фанфарную медь,

Золото видеть во сне, убивать
Ты научи его, бедная мать.

1939

В очи мне горячим светом
Белый день стучит.
Генеральским эполетом
Блещет солнца щит.

Золотисто-желтый гарус,
Жаркая парча...
Вечный полдень. — Крест и парус...
Острие меча.

Здесь, в слепом от блеска мире,
В каменной стране,
Как в большой чужой квартире,
Скучно, ангел, мне.

Авг. 1940

В чуть зеленеющий подшерсток
Оделась черная земля.
Еще покуда в гранках, — версток
Нетерпеливо ждут поля.
А в небе облак вензеля
И солнца золотой наперсток.

И затканную синеву
Полей нагретых пучит паром.
Все видимо, все наяву...
Просторно в небесах стадам
Овец, расставшихся со старым
Земным руном в земном хлеву.

Май 1941

В каменных твоих острогах,
 На больших твоих дорогах,
 На разливах рек твоих, —
 Как ни бейся, ни проси я,
 Знаю, родина Россия, —
 Я отвечу за двоих.

Словно злою волей движим,
 По полям иду я рыжим,
 По колючей по стерне
 К голубеющим курганам,
 Как в бреду. Тоска арканом
 Горло сдавливает мне.

И как бы чужие ноги
 К столбовой большой дороге
 Все несут меня, несут, —
 Словно я хочу явиться,
 Как непойманный убийца,
 Сам к тебе на правый суд.

Затяни конец пеньковый
 И гудящею подковой
 Жаркого твою коня
 К большака сухому праху,
 Кровью мне залив рубаху,
 Насмерть пригвозди меня.

Июнь 1941 г.

Улыбалась речка, остывая
 Поутру, и куталась туманом.
 Прозвенела в воздухе румянном
 Сокола покличка боевая.

Утки тянут на воду... Осечка...
 Сокол взмыл и потонул в тумане.
 Все-то мы, о жизнь, твои цыгане, —
 Подари на счастье колечко.

Авг. 1941

Я в глубине материка.
 Да будет цель моя близка.
 Да будет песнь моя легка,
 Пока я петь могу, пока
 Течет ручей и видны мне
 Цветные камешки на дне,
 Пока мне жизнь ясна вполне
 В своей бесплодной глубине.
 Она не замкнута в себе,
 Но и своей чужда судьбе.
 Судьба одна. Тверда рука...
 Да будет цель моя близка.

Окт. 1941

* * *

Прислушиваясь к махам темных крыл
 Сходящего, как ночь, воспоминанья,
 Я медленно меж тростниками плыл
 По обмелевшей речке без названья.

И слов прощальных жалобный возник
 И слабый звук. И затеснился в глотке
 Тугой комок. И шелестел тростник
 О низкие борта разлатой лодки.

Я вспоминал тот вечер над рекой,
 Тот теплый дождь и чистых тех излучин
 Спокойный блеск. Я вспоминал с тоской,
 Раскаяньем и жалостью измучен.

Ноябрь 1941 г. (1972)*

* Сохранился также ранний вариант этого стихотворения:

Овеянный дыханьем темных крыл
 Сошедшего, как ночь, воспоминанья,
 Я медленно меж тростниками плыл
 По обмелевшей речке без названья.

И давний образ предо мной возник...
 И теплый ком, подкатывая к глотке,
 Меня душил. И шелестел тростник
 О низкие борта разлатой лодки.

Я вспоминал тот вечер над рекой,
 И тот туман, и чистых тех излучин
 Спокойный блеск... Я вспоминал с тоской,
 Раскаяньем и нежностью измучен.

Ноябрь 1941

В разгар вселенской непогоды,
С дыханьем размеря шаг,
Учись слагать немые оды,
Затаиваясь в камышах.

Учись у корневищ терпению,
Чтоб передать ты мог холсту
Насыщенную звукотенью
Густеющую немоту.

Встают, как полый купол, годы.
Вражда с враждою на ножах
Во имя веры и свободы...
И трудный гул стоит в ушах...
Учись слагать немые оды,
Затаиваясь в камышах.

Ноябрь 1941

Я из засады тростниковой
Затишной жизни вижу плес.
Здесь зеленел тростник, и рос,
И отмирал... Рождался новый...
Да зацвела иногда
Солоноватая вода.

Тростник, всегда шуметь готовый,
Всегда на взводе, как матрос,
Сошедший на берег, пронес
Под парусиною суровой
Ночного неба сквозь года
Голодный, злобный зуд труда,
Который жалоб стал основой
Чуть хриплой флейты тростниковой.

Декабрь 1941

Память ножа

1.

Это последние звезды горят.
Нынче во сне мне привиделся брат.

О, ты блеснула, — так будь же свежа,
Молниеносная память ножа!

Нынче я слышал во сне барабан,
У водопопая коней воровал...

Чуть облаков розовеют края...
Господи, воля да будет Твоя.

2.

Ты болен, темный дух, тоской ножа по крови.
Все ночи напролет, как шалый, ворожа,
Всю жажду выпил ты горящих изголовий
Отточенной тоской ножа.

Под опрокинутым небес ослепших днищем
То взрешь ты орлом с угрюмого кряжа,
То ласточкой скользнешь над плоскоземьем нищим,
Охвачен жаждою ножа.

Я твой двойник, твой брат, твой враг... Обоим
Нам не ужиться здесь. А память так свежа
О темной юности, что выпита запоем
Все с той же жадностью ножа.

3.

Точа клинок, припомни заклинанье.
Ты только для того и одинок,
Чтоб закалять одно в себе желанье,
Как одинокий твой клинок.

Не ворожкой, не клятвой, не мольбою
Пусть будет заклинание твое, —
Но ты произнеси: — Господь с тобою. —
И будет помнить лезвие.

Кленовый черенок клинка простого
Не покрывай магической резьбой,
Но, нож в ножны влагая, молви снова: —
Я помню все. Господь с тобой.

1937—1942

* * *

Es war ein König in Thule...

СОЕТНЕ*.

Лбом прикасаясь к холодным ладоням,
 Вижу тебя в темноте голубой.
 Выпьем до дна и бокал похороним...
 Я никогда не увижусь с тобой.

И никогда отошедшего брата
 Место никто не займет за столом...
 За морем северным жил-был когда-то
 Бражник-король. Средь пиров о былом

Он вспоминал. И слеза застилала
 Старые очи... И чудится мне,
 Будто я пью из того же бокала...
 Выпьем до дна... Похороним на дне.

Янв. 1942

Догорает керосин, керосин...
 Никого я ни о чем не просил.
 Все бывшее прожито, прожито,
 Убежало, как вода в решето.
 Жизнь мигает да коптит, да коптит,
 Керосиновая копоть летит...
 Эти дальние края, вы края...
 Керосиновая лампа моя.

Февр. 1942

* «Жил-был король в Фуле...» Гете (нем.) — Начало баллады Гете «Фульский король».

Логичнее туберкулеза,
Штыком удара холодней,
Как грозно созревает проза
Опустошенных этих дней.

На новый лад прилежно ухо
Членить пытается слова,
Но речи рыночной краюха,
Как глыба мерзлая, черства.

Быть может, гусеницам танков
Ее под силу размолоть. —
Народ не знает слов-подранков,
Ни мыслей, потерявших плоть.

Еще покуда не направили
Для новой ткани волокна,
А мы уже не видим дали
Из запотевшего окна.

Февр. 1942

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus.

CATULLUS*

Будем, Лесбия, жить, любя друг друга.
Пересудам старух и старцев черствых
Медный грош вся цена, всем вместе взятым.
Солнце после заката вновь вернется,
Но короткий едва наш день померкнет,
Вечной ночи нас ждет отдохновенье.
Тысячу меня раз целуй и сотню,
Снова тысячу раз, другую сотню,
Дальше тысячу вновь и снова сотню.
После, тысяч когда накопим много,
Пусть же сами собьемся мы со счета,
Чтоб какой зложелатель нас не сглазил,
Коль проведает счет твоих лобзаний**.

Февр. 1942

* Давай, моя Лесбия, жить и любить. Катулл (лат.).

** Стихотворение представляет собой перевод элегии Катулла.

Вдохновеньем творца и натугой поденщика бычьей
 День за днем на земле совершается медленный труд.
 Человек умирает, обычай сменяет обычай.
 Города остаются и здания вечно живут.

Человек умирает... На этой земле он родится
 И на ней он живет, о земле не мечтая иной.
 И за черствое право болеть, голодать и трудиться
 По себе оставляет он памятник жизни земной.

Но рассеется звук, онемееет гремящее слово,
 И цветение радуг погаснет на темном холсте.
 Только здания будут стоять, чтобы снова и снова
 Возноситься с мольбой к голубой, голубой высоте.

Глядя вдаль, мы за грохотом войн не услышим рыданий.
 Человек от рожденья к страданью и смерти готов.
 Но земля никогда не забудет разрушенных зданий,
 Не остынет зола погоревших людских городов.

Март 1942

Свидетель ночи непогожей,
 Попутчик долгих бездорожий,
 Не подходи ко мне, прохожий,
 Не подставляй под свет лицо.

Туман тебя родил, кусты ли, —
 Бровями, как кусты, густыми,
 Зачем ты хочешь скрыть пустые,
 Постылые свои глаза?

И водянистых белым пустоты,
 И частой приступы икоты, —
 Я знаю, чьи они и кто ты,
 Мне встретившийся на пути.

Март 1942

Быки

Уж тень короткую на щебень раскаленный
 Их угловатые бросают костяки.
 Они свершают труд поденный, монотонный —
 Тяжелоокие мечтатели быки.

И только жажда их томит на переходах...
 Так долго, долго пить, напиться наконец
 И долго охлаждать в журчащих чистых водах
 Назойливым бодцом натруженный крестец...

И вспомнить вечером в туманном отдаленье
 И бричек скрип, и боль к труду привычных плеч,
 И, на усталые, с наугой, став колени,
 На землю теплую с коротким стоном лечь.

Март 1942

Хоть и не быть, — мне все равно:
 Значит, такая судьба.
 Кровь говорит... Бродит вино...
 А глубоко погребя.

Столб у пути, камень-плита...
 Месяц достал бы рукой...
 Ухом к земле. — Кровь пролита...
 И — вековечный покой.

Помню разлив, — видел во сне, —
 Плыли, толкаясь, гроба...
 Кровь на стене... Холодно мне...
 Значит, такая судьба.

Апр. 1942

Волчьих ночей заведенные сети,
 Чьими навек сплетены вы руками?
 Тони тяжелые, заводи эти,
 Небо из крупноячеистой ткани!

Очи заводят и топчутся кони...
 Плотный туман впереди. — Не вода ли?
 Эти безумные звездные тони
 Вытянуть волчьих ночей неводами...

Водное зеркало... Повод короче...
 Жаркая твердь переводит дыханье.
 О, эти волчьи горючие ночи!
 Сети-шатра пересвет-польханье!

Апр. 1942

Когда в оранжевых лучах золотогорий
 Огромный Гелиос, священный рыжий бык,
 Одышливо сопя, идет крутой дорогой
 Вкусить прохлады вод лилово-голубых,

В предчувствии тогда соединенья часа
 Горячая земля вспухает тяжело
 И в воздух отдает, как в кузов контрабаса,
 Могучих бычьих жил дрожащее тепло.

Апр. 1942

Подражание Рильке*

Кто-то плачет в глубокой ночи, в глубокой ночи.

Это плач обо мне.

Это капли по листьям дождя, стекание слез

И флейт безутешность.

Кто-то ночью смеется в лесу, смеется в лесу.

Это смех надо мной.

Это ветер свистит меж стволов и листья несет

В хохочущем вихре.

Май 1942

При людях и наедине
У совести долгов не делай,
А сделал, — заплати вдвойне.
На жизнь иди в глухой броне,
А смерть прими в рубахе белой.

Май 1942

* См. стихотворение Рильке «Серьезная минута» («Ernstes Stunde»).

Играющий радужной гранью
 Бордо подогретый стакан
 Полночной беседы сгоранью
 Заложником дружества дан.

Но, Ники крылатой солдаты,
 Мы рано сожгли корабли,
 А ныне, собравшись, утраты
 Зальем охлажденным шабли.

И в чашу добавивши пепел,
 Вино мы помянем за ней,
 Какого никто еще не пил,
 Никто не пригубил темней.

Июнь 1942

Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
 Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.

BAUDELAIRE*

Недвижный, весь золотом затканый полдень,
 Горит перегруженный светом простор,
 Как будто был хором с оркестром исполнен
 «Мессия», и Гендель был сам дирижер.

И нет ни мечте, ни тоске, ни хотенью
 Угла на открытом для глаз полотне.
 Сплошной заслоняются солнечной тенью
 В вещах устремленье и воля во мне.

Всплывают в мелеющей памяти лица,
 Года, города... Но былого не жаль.
 Сезанновским яблоком крупно круглится
 Созревшей земли темносиня даль.

Окт. 1942

* Презрев движение, люблюсь неподвижным; / Вовек я не смеюсь, не плачу я вовек. / Бодлер. — Строки из стихотворения Ш. Бодлера «Красота» («La Beauté») из книги «Цветы зла» (пер. с фр. В. Брюсова).

Мокрый конец у пустого причала.
 Странными птицы кричат голосами.
 Море, как горе, не знает начала.
 Радуга горю конец означала,
 Но от конца отказались мы сами.

Ноябрь 1942

Du temps que la Nature en sa verve puissante
 Concevait chaque jour des enfants monstrueux...

BAUDELAIRE*

Как я люблю кристаллы ледяные
 В морозный полдень на моем окне.
 Их клинопись напоминает мне
 Иную жизнь и письма иные. —
 Я вижу мезозойские леса
 И странных тварей слышу голоса
 В тот час, когда скрывается на отдых
 Большое солнце в перегретых водах
 И в раскаленных тысячах частиц
 Песка отражено его сиянье...
 Но затихает к вечеру порханье
 В густых ветвях тяжелых первоптиц,
 И папоротники, и кисти хвой,
 Хвоцей стволы и пальм резные вай
 Качаются, покой лелея свой
 И сны без сновидений навевая.
 О век роскошной зрелости земной,
 Как дивно ты встаешь передо мной!
 Но уж тогда, заморыш и калека
 Средь гордых гадов, — предок человека,
 В расщелинах могучих скал таясь,
 Со сладким злом спознался в первый раз.

Ноябрь 1942

* В оны дни, как Природа, в капризности дум, вдохновенно / Каждый день зачинала чудовищность мощных пород...
 Бодлер. — Строки из стихотворения Ш. Бодлера «Гигантша» («La Géante») из книги «Цветы зла» (пер. с фр.
 К. Бальмонта).

Энграммы

1.

До заката сегодня жужжали тяжелые пчелы.
 Я припомнил соснового леса сухую траву
 И связавшие память густые медовые смолы.
 И под небом чужим я виденьями детства живу.

Города на водах — в устьях рек и на синих заливах,
 Затерявшиеся среди сонных морей острова,
 Неотвязно манящая домиков бедность счастливых, —
 Все, о чем шелестела соснового леса трава...

И по речке степной этим вечером душным, безросным
 Пробираясь на лодке с собакой, я поднял ружье. —
 Это сердца порок. Это сердце прислушалось к соснам,
 На закат протянувшее селезнем сердце мое.

2.

Проводи меня, осень, до озимей эти зеленых
 И вели хоть исчезнуть потом в журавлиной дали.
 Под прощальными взмахами крыльев твоих опаленных
 Трижды этой тяжелой земле поклониться вели.

Там, где в рост человека бурьян на пластах прошлогодних,
 Словно в детстве, с антоновским яблоком скрывшись в саду,
 Я, слепой следопыт и в добычу влюбленный охотник,
 Может быть, примиренье с собой напоследок найду.

3.

Я по свежему снегу дойду до последнего следа,
 До крутого обрыва над черной водой дойду.
 Плен не вечен. — Ты видишь Персееву тень, Андромеда?
 Пережить бы нам только последнюю эту беду.

След не прежде остынет, чем ступит, спустившись, охотник
 На ответивший хрустом речной необкатанный хрящ...
 Я узнаю его и в растрепанных ветром лохмотьях,
 Той взволнованной ночи навеки мне памятный плащ.

Дек. 1942

Слепа соль и слезы высыхали...

ПАСТЕРНАК*

Соли, выпавшей в кристаллах,
Едкий блеск в очах.
От закатов небывалых
Слепнет солончак.

И слеза его скупая
Ох, и солонка...
С губ облизнет, засыпая,
Злую соль страна.

Эта теплая водица
Не пресна еще ль?
А на свежий след садится
Слепнущая соль.

Дек. 1942

* Строка из стихотворения Б. Пастернака «Вариации», № 3 (из сб. «Тема с вариациями»).

Je meurs de seuf au près de la fontaine.

VILLON*

Я у источника от жажды помираю,
Не сплю, но вижу сны, дышу и не дышу,
И воздуха ищу, и небо раздираю,
И счесываю звезд зудящую паршу.

Передо мной простор, как вражье становище,
И некуда бежать: — повсюду западни.
И ночи напролет, как Иов на гноище,
Я роюсь в памяти, и забываю дни.

И, раскаленные глотая расстоянья,
Где мерой времени исчислены пути,
Истерзан немотой, я слов для покаянья,
Одних-единственных, все не могу найти.

1939—1943

* От жажды умираю над ручьем. Вийон (фр.) — Первая строка «Баллады поэтического состязания в Блуа» Ф. Вийона (пер. И. Эренбурга).

Светом пожаров сквозь пленку пылающих век
 Выжжены очи, — а все еще жив человек.
 Тайную совесть тройною одел он броней.
 Кажется, он не в долгу пред своею страной,
 Кажется, он оплатил тебе, родина-мать,
 Право в высоких твоих городах голодать,
 С посохом право брести по пути своему,
 Право на стужу, на звездный ночлег, на тюрьму...
 Ухарем был, — да сносился солдатский сапог,
 Душу свою посадил он на блядский паек.
 Было ершился, да плюнул: — А, мать твою так!..
 Весь искрошился в кармане последний табак.

1943

По извилистому следу
 Сам куда — не знаю, еду.
 Бело небо, белый путь...
 Ехать близко ли, далеко?
 Впереди летит сорока.
 Страшно мне в санях уснуть.
 Я слежу, слежу за птицей...
 Только бы под рукавицей
 Сохранилось тепло...
 Бьется острое крыло,
 И неровный лёт сорочий
 Все строчит на простынях
 Черный шов. И слепнут очи...
 А беда — уснуть в санях.
 Путь сольется с небесами,
 В чистом поле станут сани.
 Ни в санях, знать, ни в гробу
 Не объехать мне судьбу.

Янв. 1943

Не окликай ее. Она не слышит зова.
Но если ты ее, хоть нелюбимый, сын, —
Смирись с молчанием не дышащих равнин
И не беги от дела злого.

На двух материках просторна ей могила.
Рогожинским ножом под сердце сражена,
Пластом простертая, не видит снов страна...
Но жажду мщенья сохранила.

Янв. 1943

Кто-то до жути на брата похожий, —
Только я знаю, — не брат мой, не брат, —
Мне повстречался во тьме непогожей,
Мимо пройдя, оглянулся назад.

В сонном предместье не същешь ночлега.
О, как озявшие пальцы болят...
Где-то далеко грохочет телега.
Сном непробудным покоится брат.

Март 1943

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...

ПУШКИН

А все-таки болят от бледных зорь глаза,
Как их ни приучай к покою и раздолью,
И зим акмолинских приправлена слеза
Овидиевых жалоб солью.

А здешняя земля упруга и кругла,
Но всё она сырец, всё накипь, всё присуха. —
На камышовый лад настроить не могла
К стиху приученное ухо.

И голосом альта: «Пора, мой друг; пора!»
Гобоя голосом: «Покоя сердце просит...»
Есть правда дерева и правда топора...
И снегом свежий след заносит.

Май 1943

И шелест стеклянный игольчатых звезд,
И махи парящего духа,
И глин наслоенье, и дерева рост
Услышь, ненасытное ухо,

И флейт на заре замиранье услышь,
Пока в ослабевшие жилы
Еще не сочится пьянящая тишь
И царственный холод могилы.

Июнь 1943

Если даже забыть все стоянки, ночлеги, пути, —
Все равно этой дрящейся дали конца не найти.
Разве только припомнишь, как чалую степь поперек
Пересек и пропал разрывной, озорной вихорек...
Что же ты не поведаешь мне, заповедная гладь,
Где конец, где начало взяла ты и как тебя звать?
Я тебя бы, как песню весной, до разлива берег,
Да разлив на разрыв, на разлуку пустил вихорек.

Июль 1943

От разрывов зарниц не укрыться нигде...
Я всю долгую ночь просидел на воде.
И казалось мне, словно бы я наяву
С облаками по лунному полю плыву.
Мне казалось, я слышал всю ночь над собой
Корабельных холстов колыханье-прибой.
И была в эту ночь до конца понята
Всех доселе прошедших ночей немота.
Но от века ее заповеданный пласт
Ни гроза не пробьет, ни вода не отдаст.

Авг. 1943

Ты войдешь в эту ночь, как в прохладную клеть,
 А заря не уймется и за полночь тлеть.
 Где же ночь началась и откуда у ней
 Эти пригоршни брошенных в небо камней?
 И откуда такая подлунная гладь,
 Что хоть простыни впору по займищу стлать?
 И охватит тебя ненасытная дрожь,
 Словно ты нескончаемый сон познаешь.
 И куда бы тоска ни метнулась твоя,
 Всюду словно бы чаши гудящей края.
 Вот и плещется чаша всю ночь напролет,
 А ни капли на камень вина не прольет.

Авг. 1943

Вышивальщица

За символической геранью
 В сентябрь распахнуто окно,
 Но к медленному догоранию,
 Мой друг, привыкла ты давно.

Нет, не о том заботит Хлою
 Напоминанье ветерка...
 Но никнет с праздною иглою
 Уже прозрачная рука.

И невдомек тебе, что ниткам
 Той свежести не передашь,
 С какой садов и кровель выткан
 Как бы без воздуха пейзаж,

Покуда жар туберкулеза
 Еще впитала не вполне
 Шелками вышитая роза
 На желтоватом полотне.

Сент. 1943

Для горьких клятв созревших уст рябиной
 Припал закат к ладони сентября.
 Прозрачно-редок воздух ястребиный.
 И жалостью горит неистребимой
 В разрывах перистых заря.

И осени перебирая космы,
 Родных клянется старой прахом врат...
 А ты идешь по этим глинам косным,
 Никем не зван, никем сюда не послан,
 И сам себе ни враг, ни брат.

Сент. 1943

Winterreise*
 (Памяти Шуберта)

Die Krähen schrei'n
 Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt.
 Bald wird es schnei'n.
 Wohl dem, der jetzt noch eine Heimat hat.**

НИЦШЕ

Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà,
 De ta jeunesse?***

ВЕРЛЕН

И вот еще один на склоне год.
 Уж долги стали зори... День спокоен.
 Рои ворон летят в соседство боен,
 И даль пустеет. Скоро снег пойдет.

Благословенна белизна полей,
 И зимний гладок путь. Никто не бросит
 Тебе упрека. И никто не спросит,
 Что сделал ты из юности своей.

1944—1972****

* Зимний путь (нем.).

** Звериный бег / И птичий лет в родную тьму. / Повалит снег — / Блажен, кто спит в своем дому. — 1-я строфа стихотворения Ф. Ницше «Уединенное» («Vereinsamt») (пер. с нем. В. Топорова). Кузин допустил неточность: в 4-й строке подлинника нет артикля «eine».

*** Что ж ты сделал, ты, что плачешь, / С юностью своей? — Заключительные строки стихотворения П. Верлена «Le ciel est, par-dessus le toit...» (сб. «Мудрость») (пер. с фр. В. Брюсова).

**** В архиве Б. С. Кузина имеется также первоначальный вариант этого стихотворения, без заглавия, датированный августом 1944 г. Начало 2-й строфы читается так: «Ни жизнь тебе, ни ты не должен ей, / А путь давно открыт».

И был во сне на дно колодца
Опущен перстень золотой,
Но наяву уж песни той
Напев старинный не дается...
Теплеют руки, сердце бьется,
И жизнь приходит с теплотой.

Ноябрь 1944

И небо до того высокое
В такой мороз над головой...
И слышно — кони мчатся, цокая
Копытами по мостовой.

На замороженных окраинах
В такие ночи сколько нас,
Наказанных, но нераскаянных,
Еще грешит в последний раз.

И здесь Небесных Гор подножие
И свет на склонах голубой,
И снег, и снег... И воля Божия...
И долгий сердца перебой.

Дек. 1944—январь 1945

Краскам праздничным душа не рада.
Праздной радости глазам не надо.
Серость сумерек сырых милее
Сердцу, бьющемуся тяжелее.
Над речною медленной волною
Сяду, и пройдет передо мною
Юность, вся в цвету воспоминаний,
Вся в октавах, как прелюд Пуньяни.

Июнь 1944

І день іде, і ніч іде...

ШЕВЧЕНКО

И день идет, и ночь идет,
Земли вращается точило,
А время словно опочило
От разрушительных забот.

Март 1945

Ночь стерегла коней. В колокольцах да в гривах
 Так мы и пугались до самого утра.
 Была пора зарниц, мечтательно-ревнивых,
 Безросных вечеров тревожная пора.

И я припоминал, перебирая масти
 И клички конские, склоненья всех имен,
 Какие канули в безмолвное ненастье
 Под замирающий ночей уплывших звон.

Причудится порой, что луга нет, что кони
 И сроду не паслись по здешним бурьянам,
 Что все погребено в хрустальном этом звоне,
 И только маяться теперь осталось нам.

А ночь запавшая неласкова к подпаску,
 Хоть впору оставлять гnedые табуны...
 А сердце мрет и мрет, как колокол под пасху...
 И ветлы вот уже над заводью видны.

Февр. 1946

Лунного озера гладь одинокая.
 Словно бы сон на исходе земной.
 Небо высокое. Ночь синеокая.
 Мне показалось, ты снова со мной.

Слышны лысук голоса. И мерещится,
 Будто, заплывши в безвыходный плес,
 Сердце твое в этом отблеске плещется,
 Пугаясь в пасмах зеленых волос.

Мысли сбегаются струйками быстрыми
 В старое русло тоски по тебе.
 Кто же там плещется? — Выстрели, выстрели!
 Пальцы свело на холодной скобе.

Март 1946

Я не сплю, я не сплю. Это дождь за окном,
 Это скраденный ветер прошел бурьяном,
 Это жильными струнами рвущийся сон,
 Это память гудит маховым колесом,
 Это сердце бунтует: — Пора, брат, пора!*
 В загустевшей крови говорит камфора.

Авг. 1946

* Мы вольные птицы; пора, брат, пора... Пушкин. (Примеч. Б. Кузина).

Пути конец. На землю ляг.
 Плынут круги светил.
 Не бойся. — Все свершится так,
 Как рок тебе судил.

Ты был солдат. А пыль дорог
 И ветра свист в ушах —
 Все только сон. Покой высок...
 Равнение и шаг!

А что неверия в себе
 Не мог ты побороть,
 Что ты противился судьбе, —
 Тебе простит Господь.

И над холмом твоим трава
 Чудесно будет цвести.
 И ты найдешь свои права
 На правду и на честь.

Окт. 1945

Изглоданы царства голодным законом,
И в звонкие полости воздух закован.
В какие колодцы ты дух окунал,
Что слепо по тропам бредешь незнакомым?
Твой поиск — за кем он? И сон твой — о ком он?
А годы за повод берут скакуна.

Май 1949

Медленный день, опираясь на посох,
Завороженной проходит тропой,
Пьет в западинах и ждет на откосах,
В сон западает в полынях белесых,
Шарит по зарослям мари слепой.

Медленный сон, начинающий сниться
До рокового смыкания век,
Как над равниной тяжелая птица,
Реет кругами и медлит спуститься...
Тяжесть земле отдает человек.

Дек. 1949

В пустом лесу лишь дятла стук,
Светло и тишина вокруг,
И всем пора, пора.
Уж время обгоняет нас...
«Wer nie sein Brot mit Tränen aß...» * —
Мне вспомнилось вчера.

А нынче все уяснено,
Все словно бы унесено,
И верю, — далеко.
И я гляжу, гляжу вперед,
Больное сердце сладко мрет...
Ему почти легко.

Окт. 1953

Как ни посмотришь, — все вьет и вьет
Малая птичка гнездо на шиповнике,
И голосишко, когда поет,
Тонкий такой и, как перышки, скромненький.

Не мастерица она, видать,
Трели да всякие штучки выкидывать.
В эту весеннюю благодать
Только и есть мне что ей позавидовать.

Незачем ей для житья-бытья
Должность и высшее образование...
В детстве за то, что чирикал я,
«Птичкин» ко мне прилепилось прозвание.

Годы бежали. Стал стариком...
Ох, трудновато оно без привычки нам.
Вот я на птичку гляжу тайком,
Думаю: Боже, и я ведь был Птичкиным.

1968—1970

* Кто с хлебом слез своих не ел... — Начальная строка стихотворения И. В. Гете из романа «Годы учения Вильгельма Мейстера» (пер. с нем. Ф. И. Тютчева).

Здесь ли это снегов белизна
Или они из далекого сна?

Если то сон, почему же тогда
Призрачной дали в нем нет и следа?

Если не снится, то кто он такой,
Этот, с протянутой вечно рукой,

Этот, что все забегает вперед,
Просит, — а милостыню не берет?

Все, что положено, что суждено,
Сделано, прожито — ах, как давно!

Так почему же с недавних лишь пор
Так ненасытен просящего взор?

Знает он, мне становясь на пути,
Что не осмелюсь я произнести:

— Ныне, Владыко, из мира сего
С миром отпустишь раба твоего.

1969—70

Душа моя — Элизиум теней...

ТЮТЧЕВ*

И тесный круг подлунных впечатлений...

БАРАТЫНСКИЙ**

Душа моя — Элизиум теней,
Ей тесен круг подлунных впечатлений,
Вот жизнь течет... — Как временны на ней
Ожоги счастья и озноб сомнений,

А вечный смысл текущего ясней,
Как подойдешь к обрывистому краю.
— Душа моя — Элизиум теней —
Я с замираньем сердца повторяю.

1971

* Первая строка стихотворения Ф. И. Тютчева (1836 г.).

** Строка из стихотворения Е. А. Баратынского «На что вы, дни!..».

Нелепое занятие — гулять. —
Зачем? — чтобы, вернувшись, ежечасно
Все то же вспоминать и повторять:
— Земля, Земля, как ты была прекрасна?

1971

И вот, смотри, — еще досталась мне
Одна весна. Она — подарок тоже,
И хоть на все прошедшие похожа, —
По-новому я новой рад весне.

Особой немоты на всем печать...
Я нынче ночью снова слышал что-то,
И снова, словно говором фюгота,
Поведанное с тем, чтобы молчать.

1971

Все так же измучено тело,
 Но дивно сирень хороша...
 Так вот ты какого хотела
 Лоскутного рая, душа!

И словно бы время кончатся
 Простору житейских морей,
 Но так мне блаженно качаться
 На лодочке хлипкой моей.

1971

Когда Психея-жизнь спускается к теням
 В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной...

МАНДЕЛЬШТАМ*

Я знаю, — ты других краев царица. —
 Здесь полумрак,
 Здесь все другое. Даже время длится
 Совсем не так.
 Вот мы бредем в лесу без светотеней,
 В чужом лесу.
 Я запахи больных его растений
 Перенесу.
 Ты только не следи с такой тревогой,
 Как я иду,
 Опасливо горящий лоб не трогай:
 Я не в бреде.
 Но почему по имени старуху
 Боюсь назвать?
 И что оно, что вас роднит по духу,
 Как дочь и мать?
 И не просты твои полуулыбки. —
 Господь с тобой...
 А голос за рекой — не голос скрипки
 И не гобой.

1971

* Первые строки стихотворения О. Мандельштама «Когда Психея-жизнь спускается к теням».

И Пушкина солнечный гений,
И «Wohltemperiertes Klavier»*,
И гетевских вспышки прозрений
В глухой не вторгались бы мир,

Но все, что рождается и дышит,
И все, что цветет, говорит:
— Имеющий уши — да слышит,
Имеющий очи — да зрит.

1971

* «Хорошо темперированный клавир» (нем.) — 2 тома прелюдий и фуг И. С. Баха.

Из четырех в квартете всех прекрасней
Альтовый голос. В нем заключено
Роптанье совести. А в нас оно
День ото дня все глуше, все безгласней.

1971

Служенье муз не терпит суеты.

ПУШКИН

Рожденным в суете стихам
Для жизни не набрать дыханья.
Оставь поэту созерцанье. —
Быть деятельным может хам.

1971

Надпись на могиле неизвестного поэта

Lorsque, par un décret de puissances suprêmes
Le Poète apparaît en ce monde ennuyé...

BAUDELAIRE*

Он не распят, но был и он расстрелян
За всех людей.
За всех... И вот — он там, где несть ни эллин,
Ни иудей.

Казнен без лишних глаз, перед рассветом.
Без лишних глаз...
За то, что был поэтом... Был поэтом...
За всех за нас.

1971—72

* Когда вельем сил, создавших все земное, / Поэт явился в мир, унылый мир тоски... Бодлер (фр.) — Первые строки стихотворения Ш. Бодлера «Благословение» («Bénédiction») из кн. «Цветы зла» (пер. с фр. В. Левика).

За долгий вдох и легкий выдох
 Одним глотком допьем коньяк —
 И ты забудешь об обидах.
 Не можешь? — Что ж, давай хоть так.

За счастье плата никакая
 Не высока. Побитый пес
 Не меньше верен. Я до края
 Всю, как была, любовь донес.

Июнь 1972

С тех пор, как ждет оно рубахи смертной,
 Как будто с телом врозь душа живет. —
 Оно, к стихии возвратясь инертной,
 Успокоенье вечное найдет,

А ей все маяться, ей все томиться,
 И сорок дней в холодном доме жить,
 Чтоб в безутешных снах кому-то снится
 Да выпрядать невидимую нить.

Но это — *после*... А пока у печки
 Еще она кастрюлями гремит,
 В погожий день помедлит на крылечке,
 Пригасший взгляд на что-то устремит

Далекое... А то, бродя по дому,
 Задержится у зеркала, у книг,
 Прочитанных теперь уж по-другому,
 И улыбнется вдруг — «Ну что, старик?»

«Да ничего», — И смотрит, севши рядом,
 На стайки птиц, на грозди бузины,
 Но тем же все своим замгленным взглядом,
 И словно уж чужие видит сны.

Февраль 1973

Про черный день на черствый хлеб
 Копеечку копи,
 Будь глух в чужой беде, будь слеп
 И совесть оскопи.

Грызи, грызи, ползи, как вошь,
 Ползи. А там, глядишь, —
 Так, помаленьку, доползешь
 И наскребешь, как мышь.

Но только час не упусти
 Все, все, что накопил,
 За что ты — Бог тебе прости —
 Не спал, не ел, не пил,

Отдать за голубой лоскут
 Небес над головой
 В тот день, когда поволокут
 Тебя вкушать покой.

Февраль 1973

Отзвонил, — и долой с колокольни.
 А куда? — Невелик пятачок
 Бела света. А все же спокойней:
 Отзвонил и пошел... И — молчок.

Небеса все равно голубые,
 Только скупы под ними поля.
 Поглядишь, — это все же Россия,
 А слушаешь, — нет, не твоя.

От молчанья, вытья, заиканий
 Заповедная высохла речь,
 И одни умудрились цыгане
 Хоть останки ее уберечь.

Да как лаяли, лают собаки,
 И гуляет залиvistый мат, —
 Самосевом взошедшие маки
 По приволью заброшенных гряд.

Март 1973

Под низким потолком все снится ложь да ложь,
Египетская тьма, египетские казни*,
Густой настой греха, брожение неприязни.
Мурлычет рыжий кот. Рогожин точит нож.

А за окном земля вся в голубых снегах,
Трубит восторгом твердь и херувимской славой,
И слаб произнести людской язык шершавый
Слова, держащие стихию в берегах.

16 апреля 1973

В черной грязи, в белой пыли
Стоптано столько сапог.
Шли сапоги... На смерть, — а шли,
Сами шагали, без ног.

Черный палач белый калач
Держит, а руки в крови.
Бедный палач! Мама, не плачь!
Это ведь все от любви.

Черны дела. Совесть бела.
Только давным уж давно
Нету ее. А ведь была.
Что же в замену? — Говно.

Белая ночь. Черные дни.
Ладно, чего еще там...
Все отбери, лишь сохрани
Братство тюремное нам.

17 апреля 1973

* См. запись в дневнике Б. С. Кузина от 20 апреля 1973 г. (с. 436 наст. изд.).

**Стихи, вложенные в письма
к А. В. Апостоловой**

* * *

Слоистого тумана сползших простынь
Густеет хаос. Поутру один
Я пью по капле мартовскую ростань,
Сырую мглу прозябших западин.

Я пью тебя, чуть горькая. Не наше ль
С тобою счастье заслонил туман? —
И льдинок тающих стеклянный кашель...
Снов утренних не допитый стакан.

Но все вольнее вод волнение талых
И теплых токов шире благодать...
И день в кристаллах... Я до слез считал их,
Да уж устал о счастье гадать.

23 марта 41. Шортанды.

* * *

Душа художника спала.
А пустота из двери зала
На тень бильярдного стола
Неотвратно напознала.

Очнувшись, он атаковал
Всей силою воображенья
В табачном облаке подвал
И ламп недвижимое круженье.

И этот холст страшней всего
Поведанного нам Ван-Гогом*. —
Здесь как бы мы перед ожогом
Строптивой совести его.

16 марта 46. Алма-Ата.

* Здесь описана картина В. Ван Гога «Ночное кафе» (1888), которая хранилась в московском Музее нового западного искусства до 1933 г., а затем была продана за границу (ныне находится в галерее Йельского университета, США). Б. С. Кузин, несомненно, видел ее в подлиннике. Картина могла быть предметом бесед с О. Э. Мандельштамом (см. «Путешествие в Армению», гл. «Французы»). Репродукция этой картины была включена в альбомы, изданные Музеем нового западного искусства в 1932 и 1933 гг. Один из этих альбомов прислала Кузину Н. Я. Мандельштам (см. ее письмо от 2.1.39 — стр. 550 наст. изд.). Альбом хранился у Б. С. Кузина до последних дней его жизни.

* * *

Солнца косые лучи на склонах.
 Елей готические вершины.
 Овец спускающееся стадо.
 Запах левкоев. И день уходит.
 Благословенна в теле усталость,
 И времени трудное вращенье,
 И гул его на закате солнца,
 Жужжащий звук струны контрабаса,
 Самой низкой, открытой...

19 апреля 46. Алма-Ата.

* * *

Я видел сон. — Меж светом и меж тенью
 Влачился день среди песчаных гряд.
 Я спал во сне... Я спал... Но к пробуждению
 Клонился сон... А все пески горят.

Пески горят. Но мелкий след ослиный
 Пробился вновь на бронзовой пыли,
 И в черепке из розовой глины
 К сухим губам мне воду поднесли.

Проснулся я. И в мнимом пробуждении
 На горизонт смотря из-под руки,
 Я видел, как скрывались в отдалении
 Сырые сны в остывшие пески.

4 мая 46. Алма-Ата.

* * *

За картами просиживая дни
 И ночи — и какие дни и ночи! —
 Я стал с самоубийцами короче
 И не стыжусь своей худой родни.

И отирать холодный пот со лба
 Я не стыжусь, из-за стола вставая. —
 Хоть бредом, а живи, душа живая,
 Покудова дышать тебе судьба.

Мне все равно, на чем конец пути,
 Мне все равно, какое упоенье. —
 «Остановись, прекрасное мгновенье!» —
 Я не однажды мог произнести.

27 мая 46. Алма-Ата.

СМЕШНЫЕ И НЕПРИЛИЧНЫЕ СТИХИ

Эпитафия

Прохожий, здесь покоюсь я.
 Ты слышал про такого?
 Я дар земного бытия
 Истратил бестолково.

И был, к несчастью моему,
 Я взыскан муз любовью.
 И даже угодил в тюрьму
 За склонность к острословью.

Курил табак, любил собак.
 Они меня — тем паче.
 Прохожий, ты живи не так,
 А как-нибудь иначе.

Рязань и Мукузань

Общеизвестно, что в Рязани
 Пьют водку, а не «Мукузани».
 Меж тем какой-то бюрократ
 (Он засорял там аппарат)
 Завез вино для местных граждан,
 Которого никто не жаждал.
 И вот — печальный результат:
 За водкой рыщут стар и млад,
 А кислого винца бутылки
 Стоят, покрывшись слоем пыли.

На лешего их будут брать,
Туды и растуды их мать!
Мораль:
Чтоб не было в Рязани бюрократов,
Их следует перевести в Саратов.

* * *

Известно, что усердный труд
Лишает должной силы уд.
Меж тем исправность инструмента
Важна и для интеллигента.
Кто умственный свой аппарат
По долгу службы напрягат,
Пусть знает: это нездорово
Для аппарата полового
Как такового, каковой,
Как видно, связан с головой.

* * *

Беделки разные и мебель акажу,
Людовик, рококо, — всего не расскажу.

О. МАНДЕЛЬШТАМ

Какой-то, не припомню, Людовик
Из прочих был Луёв передовик.
— Скажи, — он молвил, — о едином хлебе ль
Насытится в сей жизни человек?
На чем-то должен он сидеть свой век,
На чем-то спать. — И Луи придумал мебель.
Но вот Луи каторга иль акажу, —
Уж этого я, право не скажу.
И важно ли, как называть мне кресла,
В которых я свои покою чресла?
Ведь если помещен удобно торс,
Мне все равно, который он каторга.

* * *

Доху ли я ношу, ношу ли на меху я
Иль только с меховым воротником пальто,
Я поступаю так, от холода страхуя
Себя. — Пусть дорог мех, но мне тепло зато.

* * *

О, если ты, мой брат, тяжелым страждешь стулом
Иль несварением ты поражен харчей, —
Будь тверд и не внемли торжественным посулам
Тебя лечить сбежавшихся врачей.

И не стенай, томясь под ватным одеялом,
И необурых ног на воздух не мечи,
Но стряпке прикажи гусиным сдобрить салом
Твои чрезмерно постные харчи.

И вновь ты обретишь в сем жире благородном
Отраду стула ту, какую ты искал.
И плавно изойдет в скольжении свободном
Из недр твоих тебя томивший кал.

* * *

Кооперация есть учреждение, где нам
Дана возможность записаться членом.
Когда внесешь свой пай и станешь таковым,
Ты будешь пользоваться хоть не даровым,
Но дефицитным все ж, по крайности, товаром,
И, следовательно, ты платишь пай недаром.
А пай не пропадет. Он для тебя храним
В сельпо. Его внося, ты выстрелом одним,
Как бы сказать, второго убиваешь зайца.
Вот например: ты член, — ты получаешь яйца,
А я, поскольку я не внес в сельпо пай,
Не то ли мне яиц, но вовсе ни хуя.

* * *

Читатель, если ты имеешь апельсин,
То eo ipso* ты уже не сукин сын,
Поскольку шантрапа и вообще засранец
Навряд ли приобрести способен померанец.

* Тем самым, именно поэтому (лат.).

* * *

Мужик он завсегда берет
 Что выставлено наперед.
 Так вы уж, девки, к этим гадам
 Становьтесь задом.

* * *

Я, как истинный мужчина,
 Не могу рожать детей,
 В чем и кроется причина
 Широты моих идей.

В этом маленьком хорее,
 Дамы, скрыт намек на вас:
 Узки, мол, у вас идеи,
 Но зато широкий таз.

* * *

Порой случаются для бабы
 Иные аргументы слабы.
 Меж тем обнаковенный мат
 Прекрасно баба понимает.

* * *

Коли бульон, тогда уж с сельдереем,
 Коли обедня, то с архиереем,
 Коль протирать, то протирать с песком,
 Коли дурак, то выбирать в местком.

Эпиграмма

Вермель* в Канте был подкован,
 То есть был он, как сказать,
 Безусловно окантован,
 Что ли, Канта знал на ять.

* Вермель Юлий Матвеевич, биолог, друг Б. С. Кузина.

В скюртуке, при черном банте,
 Философ был прямо — во!
 Вермель съел собаку в Канте,
 Кант, собака, съел его.

* * *

Отродясь не бывал я в Швейцарии.
 Знаю — сыр, шоколад и часы.
 Но во всем, говорят, полушарии
 Нет подобной природы красы.

Если жить мне наскучит когда-либо,
 Попрошу непременно, чтоб мне
 Помереть разрешение дали бы
 В этой сказочно дивной стране.

Там, гордясь привилегией даденной
 И к красивым поступкам влеком,
 Закусил бы слегка шоколадиной
 И слезливым швейцарским сырком,

И в Женевское бросился б озеро,
 И в лучине его голубой
 Драгоценные часики Мозера
 Потопил бы я вместе с собой.

Времена года (Подражание Пушкину)

Зима

Пробьет двенадцать на часах,
 И дева прекратит гаданье,
 И на морозное свиданье
 Помчится в меховых трусах.

Весна

Пора любви и ожиданья...
 Призывы в птичьих голосах...
 И дева в розовых трусах
 Спешит на первое свиданье.

Лето

Заря не гаснет в небесах.
И вот прелестное создание
Идет на знойное свиданье
В багряно-огненных трусах.

Осень

На всем печаль и увяданье,
Багрянцем рдеет лист в лесах,
И дева в траурных трусах
Бредет с последнего свиданья.

* * *

Кобель всегда охоч до сук.
Им отдаст он свой досуг,
Загнав сперва кота на сук.
Напротив, кандидат наук —
Занятий углубленных друг.
Иной обязанностей круг
Имеет любящий супруг:
Весь день, не покладая рук,
Вколачивает в стену крюк
Иль гладит складочку у брюк.

* * *

Когда жили мы в Рязани,
Ох, уж мы тогда врезали! —
Самогону поутру
Выпивали по ведру.
А теперя в Ярославле
Чтой-то мы совсем ослабли:
Пьем каку-то дребедень,
Да и то не каждый день.

* * *

Учась в губную дуть гармошку,
Таскать за хвост больную кошку,
Подолгу ковырять в носу,
Совать стекляшки в колбасу,
Дитя спешит, не зная лени,
К борьбе на жизненной арене,
К которой с детства приучат
И паучиха паучат.

* * *

Какой-то хам и вообще охальник
На пляже с женщины стянул купальник,
И даму тут же увидели все
Во всей ее естественной красе.
Поскольку дама не имела бюста,
Она, конечно, покраснела густо.
Вознаградить изъян не удалось
Обилием на животе волос.
Все возмутились. Говорили даже,
Что с данными такими ей на пляже
Не место. Возмутился даже сам
Стянувший с женщины купальник хам.

* * *

Мы здоровье бережем,
Вместо водки пьем боржом,
Избегаем есть пурины,
Потребляем витамины,
Словом, лучшие харчи
Для анализа мочи.
Для общенья с полом слабым
Не таскаемся по бабам,
Удовольствуясь одной
Только собственной женой.
Мы не терпим никотина,
А уж если гость-скотина
Принимается курить,
Можно фортку отворить.
Но такого типа в гости
Снова звать, — ну нет уж, бросьте!

Экспликация

Вот, смотрите, — план души:
 Белым — это ландыши,
 Розовое — розочки,
 Рожки — значит козочки,
 Пестрым всюду — тряпочки,
 Туфельки и тапочки,
 Лифчики и трусики...
 — А вот эти усики? —
 Ах, не надо спрашивать, —
 Усики не ваши ведь...
 Остальное — сладости
 И другие радости:
 Ну там, вечериночки
 И кинокартиночки,
 Вальсы под баянчики
 И другие танчики,
 Лимонад, морожено,
 В общем, что положено.

* * *

В процессе изучения иглокожих
 Я стал немного лысоват и слеп.
 Но я зато не даром ел свой хлеб,
 Я по ночам не раздевал прохожих
 И нехороших слов в местах отхожих
 Я не писал. Пускай на глупых рожах
 Читайте я, что де мой труд нелеп. —
 Какие б ни были и ни водились где б,
 Echinodermata* к числу творений божьих
 Относятся, и знать полезно все ж их.

* * *

К чудесной цели я спешу. —
 Я диссертацию пишу.
 Когда я буду кандидат,
 Я буду сказочно богат.
 Науку к черту брошу я,
 Не буду делать ни хуя,
 И будет мне сам черт не брат:
 Я кандидат, я кандидат!

* Иглокожие (лат.).

* * *

Я был вчера в гостях у Баха.
 Вот парень, я скажу, рубаха!
 На разные на голоса
 Наяривал мне три часа.
 Узнав, что я люблю все это,
 Он прямо жажнул аж с мотета.
 Ну голоса вести он лют!
 Потом исполнил он прелюд
 И отодрал такую фугу,
 Что чуть не помер я с испугу.
 Уж он и сам затем сыграл
 Успокоительный хорал.
 А как владеет он педалью! —
 Хоть награждай его медалью.
 Как, растуды-то его мать,
 Умеет ноты украшать
 Форшлагом, трелью и мордентом! —
 Не вам чета, интеллигентам.
 Ведь тоже нужно изобрести!
 Ну, словом, Бах — он Бах и есть.

Бах и Бетховен

При встрече раз сказал Бетховен Баху,
 Что дал он непростительного маху
 В какой-то, не припомню, из кантат.
 На это Бах ему: — Послушай, брат,
 Ведь я пишу, как всем известно, фуги,
 Не всякие твои там буги-вуги,
 И в этом деле съел собаку я,
 А ты не смыслишь в фугах ни хуя,
 И я б тебе советовал, Бетховен,
 Поменьше сочинять своих хуевин,
 Которыми смешаешь ты только кур.
 Ты б лучше гамму разучил це-дур. —
 Бетховен страсть обиделся на это,
 Но против Бахова авторитета,
 Конечно, он никак не мог итти,
 А только думал: — Мать его ети!

* * *

Малевал картину Репин,
Перед ним торчал Толстой.
Репин был великолепен,
А Толстой совсем босой.

Тут, конечно, входит Стасов,
Говорит: — Вот это — да! —
И у старых ловеласов
Затряслась борода.

И тотчас они за ручки
Дружно все втроем взялись,
На мотив могучей кучки
Исполняя вокализ.

А потом от смеха кисли
За бутылочкой шабли.
Славно три гиганта мысли
Вечерочек провели.

Похвала Бальзаку

Читая Гонорея Бальзака,
В нем чту я: а) доступность изложения,
б) чистоту и ясность языка
И с) души высокие движенья.

Но, впрочем, мил и Густав мне Флобер,
В чем — менее, а в чем ином и болей.
А чем же плох хоть Мериме Проспер
Иль этот Франс, прехитрый Анатолий?

Но все ж, когда спрошу себя о том,
Какая книга прочих всех добрее,
Мой выбор чаще падает на том
Мной названного выше Гонорея.

* * *

От скуки я прочел книжонку невзначай
Мильтона одного про возвращенный рай.
Весьма изрядный слог и бойкая манера,
Что удивительно для милиционера.
Сдается все же мне, что этот самый Джон
Навряд ли так уж был совсем простой мильтон.
Его сравнить не грех с Шекспиром, даже с Дантом.
По крайности он был милиции сержантом.

Сыроварня на Сыр-Дарье

Варила Дарья сыр на Сыр-Дарье.
Дарья текла на Дарью. Было сыро.
Но Дарья наварила много сыра,
В продукте зная толк, как и в сыре.

Задолго до того, как Леверье
Открыл Нептун, и Дария, и Кира
Дарья видала. Дария порфира
Для Дарьи — прах. Что проку ей в старье?

А разобрать, — так этот самый Дарий
Зачем своей свиной совался харей
На Сыр-Дарью? Зачем нарушил мир?

Он захватить хотел все полушарье.
Нет, мне милей моя простая Дарья,
На Сыр-Дарье варящая свой сыр.

К 19-му съезду партии

Всех съездов было восемнадцать
У нашей партии родной,
Теперь их будет девятнадцать
У нашей самой дорогой.

И наше общее желание
Оно, конечно, как всегда, —
Включиться в соцсоревнованье
За дальнейшее повышение производительности труда.

* * *

Хоть первый был этап трудён,
Он нами в основном пройден.
Теперь протягиваем лапу
Мы к следующему этапу.

* * *

Весна. Колхозник, торжествуя,
Провел реформу МТС.
И льется благовест, ликуя:
Христос воскрес! Христос воскрес!

Гостей сияющих орава
Вокруг пасхального стола...
И предлагают есть хозяйва
Все, что нам партия дала.

Она дала вино, закуску,
Кулич, который с пасхой жрут,
Общественную всем нагрузку,
На отдых право и на труд.

* * *

Колхозник, не надеясь на авось,
Свои поля как следует навозь.
Не то от экономии в навозе
Сельхозрастения почкуют в бозе
И выйдет некультурный шум в колхозе.

Ярославское

Покуда дед играл в футбол,
Евонну бабку бык забол.
Зачем, же, Господи прости,
Бабушку не про что бости!

* * *

Шумит, гудит зеленый лес,
Наш славный русский лес.
Ведь мы живем в стране чудес,
В стране КПСС.

Пойду я в лес. А там, авось,
Сохатый бродит лось,
А у него рога, небось,
И все в отростках скрозь.

А на опушке — царство грёз,
Как бы сказать, тово-с —
Стоит передовой колхоз
В садах пунцовых роз.

И каждый вечер знатный дед,
Надевши свой тулуп,
Идет, и величав, и сед,
В родной колхозный клуб.

И смотрит этот дед кино,
И думает: «Ведь вот
Еще совсем не так давно
Не знал кина народ.

Мужик — он знал соху, топор,
Он не читал газет,
А за нуждой ходил на двор,
Не как теперь, — в клозет.

А я на всем на даровом,
Как барин, ем и сплю...»
И оттирает рукавом
Невольную соплю.

* * *

Как-то шел пустынной тропкой
Средь неведомых равнин
Очень тихий, очень робкий
Беспартийный гражданин.

Беспартийный — это значит
Он в рядах не состоит.

В общем, так или иначе,
Он имеет бледный вид.

И подумал наш бедняга:
«Не туды я, ох, залез!»
В это время из оврага
Вышел член КПСС.

Член, конечно, это значит —
Он находится в рядах.
В общем, так или иначе,
Бедный парень чует страх.

С перекошенною рожей
Он сказал, крестясь тайком:
«Уважаемый прохожий,
Где, скажите, здесь местком?»

А прохожий отвечает:
«Тут месткома вовсе нет».
А потом еще страшит:
«Я тебя в Госкомитет

Свел бы, сукинова сына,
Только жаль — не по пути».
Парень трясся, как осина,
Думал: «Мать твою ети!»

Но пошел партиец вправо,
Беспартийный — влево, в лес,
И шептал беззвучно: «Слава
И хвала КПСС».

* * *

Графиня посредине бала
Стояла промежду колонн
И вокруг себя распространяла
Парижеский одеколон.

А старый граф ее тем временем
В соседней комнате торчал
И неуспешно лысым темем
Сидевших там княжон прельщал.

Княжны, конечно, возражали,
Зачем пришел он в их салон,

И неустанно повышали
Свой без того хороший тон.

Но тут пришел лакей из зала
И громко графу доложил,
Что кто-то посредине бала
Графиню матом обложил.

Граф чувствует себя задетым
И, изменившись весь с лица,
Бежит с дуэльным пистолетом
Стрелять, конечно, в наглеца.

Но выясняется, что эта
История — совсем не факт,
И граф вместо пистолета
С ним водку пьет на брудершафт.

Потом подходит он к графине
И говорит ей: — Ангел мой,
Поскольку водки нет в графине,
Пора уж нам мотать домой.

И сев в роскошную карету,
Они в обратный едут путь,
И граф, согласно этикету,
Хотит графиню ущипнуть.

Графиня пальцем погрозила
И говорит ему: — Ни-ни! —
Потом чего-то собразила:
— Ну ладно, только ты не мни

Мой без того уже измятый
Последний бальный туалет. —
Но граф был за живое взятый:
Сказал, что уж охоты нет.

Из воспоминаний старого дворецкого

Бывало граф, поев капустки,
Графине скажет по-французски:
— Графинюшка, мон шер ами,
Ты так всегда меня корми.

Не забывай, что дворянину
 Побольше нужно витамину.
 А эти ваши бланманже
 Меня пресытили уже. —
 Потом пойдет до кабинету,
 И долго, долго графа нету. —
 Он задает там храпака.
 Графиня-барыня пока
 Раскладывает свои пасьянсы,
 А то подсчитывают депансы
 Иль у болонки из ушей
 Сидит вычесывает вшей.

Элегия

Зачем страдать, к чему стремиться,
 Чего желать, — не все ль равно?
 Ты видишь, — свежее дымится
 В морозном воздухе говно...
 Но остывает и оно,
 Чтоб в долгой мерзлоте томиться.

* * *

Жене и другу эта урна.
 Покойся, милый прах, культурно.

* * *

Я в юности веселья кубки
 Довольно часто осушал,
 И аморальные поступки
 На этой почве совершал,

Любил особ другого пола,
 Умел им ловко угождать
 И, не платя им ни обола,
 К ответным чувствам побуждать.

А ныне все совсем обратно:
 Не вижу проку я в вине,
 И только добрые приятно
 Теперь свершать поступки мне.

За седины мои уважит
 Меня порой прекрасный пол,
 Но дева юная не ляжет
 Со мною даже за обол.

* * *

Устав от жизни половой,
 Стою с поникшей головой,
 Предавшись мыслям невеселым
 О размножении бесполом.

* * *

Идут года. Добра и зла
 Яснее стало мне значенье,
 И санитарного узла
 Я полюбил уединенье.

Здесь открывалось мне не раз
 Законы вечные природы,
 Когда свергались в унитаэ
 С журчаньем промывные воды.

Здесь изощряю мысль свою,
 О высшем размышляя благе,
 И неустанно познаю
 На ощупь качество бумаги.

* * *

Я круг своих запросов сузил:
 Остались кухня и санузел.

* * *

Дай мне чистый носовой.
 Стал уж грязный таковой.
 Я тебе не ломовой
 Утираться рукавой.

* * *

Так садиться не годится: —
Отсидится ягодица.

* * *

И вот приходит гость нахальный,
Садится он за стол пасхальный,
На всю квартиру он орет
И пищу праздничную жрет.

* * *

И закусив икрой зернистой,
Он в путь пускается тернистый.

* * *

Общеизвестно, что омары
Приходят к нам не из Самары,
Меж тем чудило наш парторг
Послал в самарский «Посылторг»
Заказ, чтобы ему оттуда
Прислали эту рыбу-чудо.
Он скоро получил ответ:
«В заказе указания нет,
Какого нужно вам посолу.
Взамен послали радиолу».

* * *

Общеизвестно, что варенье
Не нужно есть до одуренья.
Меж тем какой-то лоботряс
Сожрал его однажды враз
Чего-то пуд или полпуда.
Ему, конечно, стало худо,
И прохватил его понос,
А до того блевал, как пес,
И удивлялся: — Ведь поди-ка,
Какая вредная клубника!

* * *

Мы передавали последние известия.
Читали Герцык и Вдовина.

Товарищ Герцык и товарищ Вдовина,
Большое вам, как говорят, мерси.
Хоть все, что говорили вы, — хреновина,
Но лучшего от вас уж не проси.

Я очень рад, что день желанный близится,
Когда мы все пойдем голосовать,
Что в СэШэА маячит призрак кризиса,
А Мао, ты смотри, какая блядь!

Что домну вновь задули мы огромную
И приступили к севу яровых,
И темпом сева, и задутой домною
Побили два рекорда мировых,

Что ширится рабочее движение, —
И этому я несказанно рад...
Немного жаль, что горечь поражения
В последнем матче испытал «Кайрат».

Но ничего, — он, может, отыграется.
Синоптики нам говорят, что ртуть
Снижается. Отмерзнуть могут яйца.
Ну, ничего, — уж мы уж как-нибудь...

* * *

Если даже на черта похожа
Твоя рожа, то все же хлопот
С ней до черта: — на роже ведь кожа,
А за кожей нужен уход.

На уход этот самый за кожей
Столько денег уходит за год,
Что обходится рожа дороже,
Чем кожевенный целый завод.

* * *

Я не Эразм Роттердамский,
И разум у меня не дамский.
Напротив, — он во мне мужской,
Довольно развитый такой.

* * *

Notre Lénine nous a dit: * «Не плетись позади,
Mais toujours ** впереди, впереди».
Et n'importe q'il est mort — classe ouvrière *** до сих пор
Se pourit **** от евонной груди.

Вертинка Пластинского

Во мху ли вам худо лежалось,
Вам худо ль лежалось во мху?[?]
Какая ужасная жалость —
Я больше любить не могу.

Мадам, уже больше нет моха,
Вам не на чем больше лежать...
Теперь в ресторанах так плохо,
А прежде была благодать.

И стали не те уже яйца,
И куры уж стали не те,
И вы не найдете китаяца,
Чтоб вас щекотал в темноте.

Мадам, уже моха не стало,
И солнечный пляж, как тюрьма...
Мне не за чем под одеяло
К вам лезть в голубой пижамá!

* Наш Ленин нам говорил (фр.).

** А всегда (фр.).

*** И не важно, что он уже умер — рабочий класс (фр.).

**** Кормится (фр.).

* * *

В жаркой бане вместе моются
С комсомольцем комсомолица,
Чтобы быть обоим чистыми
Молодыми коммунистами.

* * *

В божьем храме страстно молятся
С комсомольцем комсомолица,
Чтоб сбылось их желание —
Выйграть соцсоревнование.

* * *

Мой дядя самых честных правил
И завсегдай синагог
Мечтал о выезде в Израиль,
Но визу получить не мог.

* * *

«О, Мери, Мери, не Мериме ли
Был автор оперы „Кармен“?»
— Возможно, Нелли. А не Бизе ли? —
«А это разве не тот же хрен?»

* * *

Я лежал однажды в морге.
Был от общества в восторге. —
Сколько тут со всех концов
Интересных мертвецов. —
Мертвецы различной школы.
Все они, конечно, голы,
Но спокойно все лежат,
Не скандалят, не брюзжат,
Никому не ставят ножку,
Но воняют понемножку,

Всяк при этом про себя,
 Благо ближнего любя.
 Думал, лежа в этом морге:
 Вот когда бы так в Мосторге!
 Даже — почему бы нет? —
 Я и в Университет
 Ввел бы этот же обычай
 С соблюдением приличий. —
 Настелил бы там ковров,
 Уложил профессоров,
 И они бы все лежали
 И друг друга уважали,
 И покою был бы рад
 Утомленный ректорат.

Возрастные изменения

Последние толпятся годы,
 Как перед впуском в магазин.
 Чередованье лет и зим,
 Просветы радости, невзгоды
 Выстраиваться в чинный ряд
 С каких-то пор уж не хотят.
 Конец не мыслим без начала,
 А нынче — черт их разберет:
 Есть только зад, а где перед? —
 Его как словно не бывало.
 И это просто вон из рук,
 Что каждый раз в порочный круг
 Нас поиски заводят нити,
 Нам нужной, чтоб установить
 Последовательность событий
 Недавних лет. Ох, эта нить!
 Ведь собственно, ее уж нету,
 Покрышки нет, есть только дно,
 И ты, как в проруби говно,
 Еще мотаешься по свету.

9 марта 1973 г.

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА

1971 год

7 июня понед.

Руся сказала мне вчера, что я слишком много говорю, когда у нас кто-нибудь бывает. Права она или нет, — я сам судить не могу. Но сильного поглупения в старости я всегда боялся больше всего. Болтливость — его первый признак. Впрочем, я был болтлив с самого раннего детства. Но тогда и в течение остальной жизни это было совсем другое дело. Я замечал, что людям интересно или забавно слушать мои разговоры.

У стариков рассудок слабеет, а почтенность возрастает. Это увеличивает опасность стать болтливым старикашкой.

Но все-таки, хорошо ли, плохо ли, мои мозги продолжают выполнять свою привычную работу. Я хорошо знаю, что далеко не все, что меня занимает и приводит меня к каким-то выводам, имеет интерес для всякого моего собеседника, Р<уся>, например, совершенно равнодушна ко всему этому, и ей мои рассуждения скучны, хотя она никогда не говорила мне этого прямо. Но она отличается редкой неспособностью как-либо маскировать свое отношение к чему бы и к кому бы то ни было. И я уже стараюсь воздерживаться от всяких разговоров на чуждые ей темы. Это не очень легко и не всегда мне удается, если принять во внимание, что со времени моей болезни она — моя единственная постоянная собеседница. Но я допускаю, что во вчерашнем разговоре она была права. Если и не полностью, то все же в какой-то степени. Если это так, то нужно стараться вообще помалкивать при людях. Но быть совсем немым все же слишком тяжело. Поэтому я решил записывать свои мысли по разным поводам в этом подобии дневника.

9 июня

Недавно, кажется, в отделе юмора «Литературной» газетой, я прочитал, как маленькая девочка, узнав от бабушки, что прежде не было ни радио, ни телевизоров, ни каждодневного кино и т. п., спросила ее, что же тогда они делали. Бабуш-

ка ответила, что они тогда жили. Хорошая юмористика! Ведь тогда действительно жили, т. е. была жизнь. Она, конечно, для большинства заключалась главным образом в труде. Иногда даже в очень тяжелом. Были и тогда известны все виды зол и страданий. Среди них были и такие, каких теперь нет благодаря цивилизации и технике. Но при всем этом в ней всегда оставалось место для красоты, для добра, для веры, для мысли. Другими словами — для высших проявлений духа. Была ненарушенная природа. Были для одних большие, для других меньшие периоды отдыха, тишины, покоя.

Теперь все время пребывания человека на земле — одна только ожесточенная, оголтелая схватка за материальное обеспечение своего существования. Короткие перерывы между этой дракой и сном, если они бывают, заполняются развлечениями или пребыванием в одурманенном состоянии, достигаемом с помощью наркотиков.

Интересно, может ли теперь быть сотворено нечто сравнимое по художественной силе с Джокондой, с «Возвращением блудного сына», с готическим собором, с «Хорошо темперированным клавиром», со стихами Катулла, Пушкина, Гете?

Жизнью можно назвать или то, что есть теперь, или то, что под ней понималось еще так недавно. Если бабушка жила, то внучка не живет, а делает что-то другое. Или наоборот.

14 июня

<...> Есть совершенно особое качество человека — толковость. Его никогда не отмечают, давая чью-либо характеристику. Между тем оно очень важно. Не меньше, чем честность, всякие способности, знания и т. п.

Раньше я отметил еще одно важное умственное или духовное качество человека: реактивность. О нем никогда ни от кого ничего не слышал, и нигде не читал. Под этим термином я понимаю силу и разносторонность отзывчивости на чужие мысли, а также степень развития способности приводить эти мысли в связь со своими собственными представлениями и идеями. Может быть, можно определить реактивность как меру творческого восприятия. Она далеко не тождественна с силой интеллекта, а скорее близка к способности установления ассоциаций, аналогий и отчасти к образному мышлению. От степени реактивности данного человека сильно зависит ценность получаемой им информации, а также собственная его ценность (для других) как собеседника или читателя.

15 июня

К старости нужно в большом количестве запастись или терпением, или деньгами*.

Музыку заказывает тот, кто за нее платит. У нас лечение бесплатное. Поэтому мы не можем предъявлять никаких требований к медицинскому обслуживанию. Должны довольствоваться тем, какое получаем.

17 июня, четв.

Очень многие видят в литературе только средство информации. Большинство людей читает для развлечения. Некоторые — для выработки мировоззрения. Понимание литературы как искусства встречается реже всего.

24 июня, четв.

Всякий политический или общественный деятель, великий организатор по своей натуре прежде всего игрок. Если даже первоначально, в молодости, он стремится к осуществлению каких-то социальных идеалов, к улучшению своего благосостояния или не без искреннего интереса работает в области науки, техники, искусства и т. п., то все это в какой-то момент, обычно по достижении некоторого успеха, отходит на задний план и уступает место игре различного масштаба от интриг и служебного повышения в пределах своего учреждения до действия на мировой арене.

Можно наметить три категории людей. К первой относятся те, которые работают для пропитания собственного и своей семьи. Такие составляют огромное большинство всякого населения. Вторая категория — люди, занятые творческой деятельностью. Это ученые, техники, артисты (имеются в виду, конечно, только такие, которые поглощены своей деятельностью и видят в ней свой исключительный или безусловно преобладающий жизненный интерес). Третья категория — игроки. Люди двух первых категорий производят все материальные и духовные ценности. Игроки не производят ничего, но именно они распоряжаются и управляют всем.

* Есть и третье решение. — Обзавестись хорошими и любящими детьми. Но это не находится в сфере контроля родителей. (Примеч. Б. С. Кузина).

Эта мысль пришла мне в голову совсем недавно. Прежде, с самых молодых лет, я считал, что люди определенного типа ставят себе целью максимальное усиление своей власти, прямой или через посредство денег. Но это скорее результат их деятельности, чем ее стимул. Увлекает их не само могущество, а азарт, игра. Мне же такой азарт если и чужд, то по крайней мере понятен в принципе. Он отличается от азарта шахматного тем, что в нем место деревянных или костяных фигурок занимают люди. И они в глазах игрока-политика ничем существенно не отличаются от этих фигурок. Если шахматист для выигрыша партии жертвует пешку или ферзя, то этот игрок со спокойной совестью отправляет на тот свет неудобного для него человека, а в случае надобности, если сможет, то уничтожит и несколько миллионов людей. Эти игроки и есть настоящая соль земли. — Они ее хозяйева. А Бах, Пушкин, Гете и Рембрандт могли жить и творить лишь потому, что у этих хозяев не было надобности убить их.

18 июля, воскр.

Что крысы с большой осторожностью относятся к капканам, я знал. В нашем домике они не живут, но навещают его в поисках пищи. Двух таких крыс я поймал в капкан-крысоловку, прибегнув к небольшой хитрости. — Ту же приманку, которой был наживлен капкан, я разбросал небольшими кусочками по полу рядом с крысоловкой. Съевши или утащив эти кусочки, крыса, убедившись, что они не отравлены, не удерживалась от искушения взять и наживку. Обе пойманные крысы были не очень крупные, т. е. еще молодые. Теперь в кухню через дыры близ труб отопления и водопровода приходит какая-то крыса, очевидно, более старая и опытная. Я перепробовал разные наживки. Ни одной она не тронула. Но кусочки, разбросанные вокруг капкана, забирала. Вчера наживил капкан копченой ветчиной. Рядом разложил 8 кусочков этой же ветчины. Капканчик привязал веревкой к водопроводной трубе, поставив его близ дыры, через которую крыса приходит. Довольно поздно, часов в 12 с чем-то ночи, услышал, что крыса хозяйничает в кухне. Стал ожидать хлопка капкана. Не дождался и пошел посмотреть, что делается в кухне. — Капкан был вытасчен из-под табуретки, куда я его поставил, наживка не тронута, а пружина не спущена. Веревочка была перегрызена на довольно большом расстоянии от капкана. Ни один из восьми кусочков приманки не был тронут. Я поставил капкан на прежнее место. Нынче утром посмотрел, как обстоит дело. — Капкан стоит все так же. Кусочки все целы и лежат каждый на своем месте. Совершенно ясно, что крыса поняла все и проявила крайнюю осторожность. Грызуны, за исключением разве бобра и сурка, вообще глупы. Но крысы!.. Если человека сотворил Бог, то крысу, в противовес ему, несомненно — дьявол.

25 июля, воскр.

Заходил очень характерный пьяница. Чаще всего это бывает кто-нибудь из наших хозяйственных рабочих: электрик, сантехник, газовщик и т. п. Иногда и кто-нибудь из флота. Некоторых мы знаем, других видим впервые. Эти ссылаются на какое-нибудь знакомство. — «Меня хорошо знает ваша Люся» * или «Я живу в одном доме (иногда в одном подъезде, на той же лестничной площадке) с Люсей». Нужно всегда три рубля. Всякий из этих пьяниц человек сознательный. Он, конечно, понимает вред алкоголизма. Знает, что пьянство отрицательно сказывается на работе и что с этим злом нужно бороться. Понимает, что предмет его предполагаемого расхода не необходим жизненно. Но ведь в жизни возможны очень серьезные ситуации, при которых без водки действительно нельзя обойтись. Наиболее неотразимым аргументом пьяницам представляется чей-нибудь неожиданный приезд. «Понимаете, приехал брат (сват, дядя, племянник, вернувшийся из армии и т. п.)». Пьяница достаточно хитер. Он, конечно, сам ни за что не поверил бы в такой приезд брата. Но нас они, очевидно, считают идиотами. — Авось клюнет. Клевать не клюет, но хочется поскорей отделаться от такого просителя, особенно когда он едва держится на ногах. Он забирает трешку и уверяет, что принесет завтра, или в ближайшую получку, или, для серьезности: «Нет, в эту получку не отдам. В следующую». Практического значения эти сроки не имеют никакого. Бывают и такие, что заявляют: «Я занимал у вас в позапрошлом году. Я помню. Теперь уж отдам все сразу».

14 авг. суббота

Исполнение музыки должно быть самозабвенным. Музыкант должен забыть о себе и весь уйти в передачу содержания исполняемого произведения, как он его понимает. В интерпретации он, конечно, свободен. Она и есть его творчество. Думать не об авторе, а о себе значит кокетничать. Кокетство в искусстве непереносимо ни в каком виде. Я только что прослушал Итальянский концерт и одну из фуг Баха в исполнении Рихтера. Оно было самозабвенное. Слушая, и я забыл о себе.

15 авг. воскр.

<...> У нас имеется склонность делать из человека знамя и по отношению к нему сортировать других людей на плохих и хороших. Например, кто за Солженицына, — тот хороший. Может быть также и антизнамя: кто за Лысенко, тот пло-

* Людмила Ивановна Смирнова, домработница и преданный друг Кузиных.

хой. Знамя по идее — предмет священный. Поэтому с ним нужно обращаться с большой осторожностью. И в разных отношениях. — Во-первых, ничто священное не подлежит никакой критике. А человек, ставший знаменем, как и всякий другой, многосторонен. Солженицына есть за что уважать. — Прежде всего, он заговорил о вещах, о которых говорить запрещалось и о которых по этой причине многие и очень многие, если только не большинство наших граждан, просто ничего не знали. А знать о них необходимо всем. Кроме того, он проявил удивительную стойкость и мужество, вступив в открытую схватку с нашей тайной полицией, могущество, а главное — способы действия которой ему хорошо известны. Но из Солженицына интеллигенты, особенно же принадлежащие к научным кругам, сделали знамя. Его стали трактовать (уж если знамя, так знамя!) и как великого писателя. Это можно было сделать только при непонимании подлинного величия русской литературы. Как писатель Солженицын на такой масштаб — явление среднее. Ужасы ГПУ — тема очень благодарная с точки зрения потрясения читателя. События в семействе Карамазовых или в окружении князя Мышкина куда менее драматичны. Если бы их взялся описывать Солженицын, он не добился бы и десятой доли того воздействия на читателя, какое они оказывают в изложении Достоевского. А уж что говорить о дьявольщине, заключенной в комическом ночном въезде «арбуза» Коробочки в город. Солженицын далеко не всегда справляется с диалогом. Язык его героев часто бывает литературным, а не разговорным. Можно было бы привести еще много примеров чисто литературных недостатков его произведений. Однако их гражданственное значение велико и потому не хочется ни в чем их умалять. Не нужно только делать из писателя знамя. Оно легко может превратиться в веер, т. е. в предмет, служащий целям кокетства, которое лишено всякой священности. И признаки этого у Солженицына уже заметны.

Стать знаменем опасно не только художнику или ученому, но, пожалуй, еще больше — политику. Значение знамени безусловно необходимо тирану, и присваивает его себе очень активно он сам. Но уж это знамя превращается не в веер, а в зловонную кучу.

24.VIII, вторн.

Отсталость от своего времени прощается всякому человеку легко и охотно. Опежение его — никогда.

30 авг. 71, понед.

Я, может быть, и не умен, но зато труслив.

15 сент., четв.

Театр, кино, оперу, балет общепринято относить к области искусства. Несколько дней назад я понял, что это глубочайше ошибочно. — Все это зрелища. Они относятся к той общей категории, что бои гладиаторов, футбольные состязания и т. п. Зрелища апеллируют к примитивным сторонам человеческой природы. Искусство — к наивысшим. Много теперь мне стало понятным. Элементы мастерства в зрелищах могут достигать большой высоты. Например, в балете, в цирке. Иногда в них входят и некоторые элементы искусства (музыка — в оперу и балет, живопись — в театр). Самое великолепное зрелище — пожар. Литература ни в какой мере не сродни театру. Самое глубокое непонимание литературы встречается у актеров. Между тем считается неоспоримым, что декламация стихов — их специальность.

22 сент., четв.

Головокружение от успехов. У кого головокружение? От каких успехов? Недостигаемые вершины лицемерия и наглости. Успехами были названы результаты мероприятий, приведших к почти полному развалу хозяйства. Сталин умер, но сталинизм жив. Осталась боязнь называть неприятные вещи своими именами. Да и вообще сообщать пасомому быдлу какие бы то ни было неприятные вещи. Даже о плохой погоде не любят оповещать, особенно если она приходится на праздничные дни. При таком положении трудно говорить об улучшении чего-либо, напр. торговли, снабжения, сельского хозяйства, качества продуктов и т. п. Ведь если речь идет об улучшении, значит — что-то было плохо. Выход был найден. — Вставьте одно слово, и все будет в порядке: говорите о дальнейшем улучшении. Тогда дело выглядит иначе. — Было хорошо, а мы хотим, чтобы было еще лучше. Дескать, не останавливаемся на достигнутом. Гениальное изобретение было тотчас освоено и используется в заглавиях всех правительственных постановлений. Интересно, был ли как-либо вознагражден изобретатель. Что за удивительный страх! Чего они боятся? — Им виднее. Если есть чего, то это уже хорошо. А я думаю, что бояться им нечего. Просто унаследованная от Сталина мания преследования.

26 сент., понед.

Важнейшая и неоцененная роль Папанина: он защищает нас (в Борке) от советских законов.

11 окт., понед.

Человек — существо разумное.

Уточнение. Человек — существо, способное иногда совершать разумные поступки [действовать и мыслить разумно (вар.)]. Еще точнее. Человек — существо, способное иногда мыслить и даже действовать разумно.

Человек — существо, способное иногда мыслить, а порой даже и действовать (поступать) разумно.

30 окт., сбб.

Я думаю, что если собрать все уколы и т. п. небольшие операции, каким я подвергался за время теперешней моей болезни, то в сумме они составили бы одно вполне приличное колесование.

4 ноября, четв.

После введения у нас двух выходных дней в неделю спрос на книги в публичных библиотеках понизился, а на водку возрос. Эти статистические данные были приведены, кажется, в «Литературной газете». Общепринятые мнения рушатся одно за другим. Я сам не сомневался, что дополнительный досуг будет иметь следствием повышение культурного уровня населения. Мне не пришло в голову, что я сужу по себе самому. А нужно было подумать о реакции на нововведение масс. Их реакция была вполне естественна, и удивляться на нее нечего. Между тем повышение благосостояния населения каждой страны и всего человечества продолжает оставаться целью всех правительств и международных организаций. Если она будет достигнута, то о последствиях этого страшно и подумать.

4 дек. 71, сбб.

Антиматерия по всем своим свойствам противоположна материи. Стоило ли вводить для ее обозначения новое название, если с давних пор материи противопоставлялся дух? Если движение материи подчинено законам вероятности, то не должна ли антиматерия подчиняться принципам невероятности? Но невероятность тоже имеет старое название: чудо. Каково об этом мнение физиков?

6 дек., понед.

Степени порядочности: 1. порядочный человек, 2. хам, 3. стукач.

12 дек., воскр.

Сказать вслед за Шкловским, что Хлебников — безусловный чемпион поэзии по гамбургском <у> счету, — значит предъявить паспорт истинного и глубочайшего ценителя самой сути литературы. С этим паспортом человек становится вхожим в самые элитарные литературные круги. Вполне допускаю, что такая оценка Хлебникова справедлива. Мне приходилось слышать ее из уст людей, литературный вкус которых не вызывает сомнений. Но я никогда не слышал, чтобы кто-то из этих людей (включая и поэтов) в разговорах о поэзии и поэтах привел какое-нибудь стихотворение Хлебникова или хотя бы произнес один-два его стиха с таким же непосредственным упоением, с каким во всяком таком разговоре непременно произносятся стихи Пушкина, Тютчева, Блока, Пастернака, Мандельштама и еще многих других наших и не наших поэтов. Почему же это так? <...>

1972 год

15 янв. 72, сбб.

Здоровый человек всегда приятнее больного. Единственное исключение — человек с больной совестью. Симптомы этой болезни — острая чувствительность к чужим страданиям и чувство вины перед страдающими за собственное благополучие. Примеры — Толстой, Швейцер. Люди, не пораженные болезнью совести, ужасно жалостливы к себе, горячо любимому.

Приводятся (в книге Носика «Швейцер») слова Гете (не знаю, откуда): «Природа не допускает шуток, она всегда серьезна и строга, она всегда правда». На Гете это похоже. Но мне это не особенно импонирует. Моя природа веселая. А раз так, то она шутки любит. У Бодлера красота:

*Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris*.*

На фиг мне сдалась такая красота.

1 марта, вт.

Интеллектуальная элита. — Арцимович, Ростропович и примкнувший к ним Солженицын. Если бы могли водить компанию Данте, Бах, Гете и Пушкин, — они бы элиту не образовали.

9 марта, чтв.

Поверит ли кто-нибудь, что 69-летний безнадежно и тяжело больной старик, в любой день могущий умереть, может испытывать моменты настоящего счастья? — Я могу быть чем-то доволен, например, что день прошел без болей, что съел вкусную еду и она мне не повредила. Могу радоваться, что кто-то проявил любовь ко мне или

* Презрев движение, люблюсь неподвижным; / Вовек я не смеюсь, не плачу я вовек. — Строки из стихотворения Ш. Бодлера «Красота» (пер. В. Брюсова).

искреннюю заботу. Могу испытывать большое удовлетворение, найдя подтверждение своих взглядов, научных или каких-либо других, или когда придумаю что-нибудь новое. Могу наслаждаться чудесными стихами и прозой. Но иногда я бываю просто в самом полном смысле счастлив. Это мне дает только музыка.

19 марта, воскр.

Что будет доминировать при скрещивании позвоночного с беспозвоночным — позвоночность или беспозвоночность?

12 апр., среда

<...> По одежке протягивай ножки. — А как протягивать: прямо в сапогах или все-таки разуться?

21 апр., пятн.

Это нужно тщательно выбросить.

Чуден Днепр при тихой погоде.

Хорошо. — Это при тихой. А если ветер?

Все равно чуден.

Так тогда какого же хрена? — Просто — чуден Днепр. — И все.

13 мая 72, сбб.

Нынче на прогулке встретил одного нашего рабочего. Он славный мальи, но пьянчужка уже конченый. Встретился мне трезвый. Поздоровались.

— Как, Борис Сергеич, матушка, здоровьишко-то?

— Да спасибо, помаленьку. Видишь, — ползаю.

— Да. Что ж поделаешь, — старикашка стал.

15 мая, понед.

<...> По-настоящему удивительно не то, что существование человечества приходит к концу, но то, что это стало понятно только теперь и не знаю, — многим ли. Гурвич сказал, что самое удивительное и характерное в онтогенезе — его неустойчивость. Это замечание гениально. Но почему Гурвич не перенес его на другие процессы развития? Они все неустойчивы. Я отношу к проявлениям жизни также и развитие человеческого общества. Но необходимую часть этого процесса составляет развитие техники, с помощью которой человек, единственное из всех животных, производит необратимые изменения в природе и имеет возможность увеличивать свою популяцию далеко за пределы нормальной для Homo sapiens. Переход через терпимые границы загрязнения среды и величины популяции — неизбежное следствие неустойчивости развития человеческого общества. Понимал ли это Гурвич? Возможно, что понимал. Но он был аскетически строг в отношении спекулятивных высказываний.

15 авг., вторн.

Неумные люди в любой шутке усматривают насмешку над собой, явную или замаскированную. Чем умнее человек, тем легче он отличает шутку от насмешки. Вполне умный не боится и прямой насмешки, и смеется вместе с другими, если она остроумна. Но где твердые границы между степенями ума? — Их нет. Поэтому нужно, по возможности, вообще не позволять себе никаких шуток. Это ужасно трудно для человека, обожающего зубоскальство. Кроме того, отказавшись проявлять свое остроумие, он непременно прослышет занудой. Вечная житейская ситуация «между Сциллой и Харибдой».

4 окт., среда

Дураки враждебно относятся ко всякой чужой нации. Больше всего вреда они этим причиняют достойным людям собственной.

14 окт., сбб.

«Высокого гостя встречали...» — Почему гости никогда не бывают низкими?

24 окт., втр.

Население нашей страны питается обедками от космических полетов.

27 ноября, понед.

Какой-то неполноценный корм для скота носит название «сенаж». Это говорит о его причастности к растительности (сено!). Не следует ли по аналогии продаваемый теперь хлеб называть «хлебаж»?

1973 год

1 янв. 1973, понед.

Припомнилось из Саши Черного:

*И хозяйкина ботинка
Взволновалась, словно в шквал...*

Современный читатель вряд ли знает, что во времена Саши Черного нога дамы, находящейся в обществе, выше ботинка была закрыта платьем и взорам присутствующих была доступна только обувь, да и то нередко лишь носок туфли или ботинка. Теперь нога женщины открыта для всеобщего обозрения до половины жопы. Но ботинки или туфли на ней не увидишь. — Они снимаются при входе в квартиру и заменяются тапками.

2 марта, пятн.

Амбураз Парэ (Paré, хирург XVI в.). Обязанности врача: иногда — вылечить, часто — облегчить, всегда — утешить.

До клозета доносятся слова: «В эфире Всесоюзное радио».
Сидящий в клозете, обиженно: «Да, кто в эфире, а кто в сортире».

3 марта, сбб.

Сущность прогресса состоит в замене одних видов зла другими, представляющимися меньшими, но в конечном итоге, несомненно, много худшими.

7 апр., сбб.

Новинки науки и техники. Инженер Н. изобрел шумоуловитель, — прибор для борьбы с шумом. Он работает по принципу магнитофона и поглощает звуки широкого диапазона частоты в радиусе от 1 до 100 м, в зависимости от надобности. Работа над изобретением еще не вполне завершена, так как прибор, будучи пущен в ход, сам производит заметный шум. Этот шум пока удалось снизить настолько, что он лишь незначительно превосходит громкость поглощаемых. Изобретатель же ставит своей конечной задачей создание прибора, шумящего при работе самое большее с той же силой, какую имеют шумы, подлежащие устранению.

20 апр., птн.*

Египетски (темно, скучно, страшно и т. п.).

ПЕРЕПИСКА

* Это последняя запись в дневнике. 26 апреля 1973 г. Б. С. Кузин умер.

Борис Сергеевич Кузин написал множество писем. Так уж сложилась жизнь, что этот на редкость общительный человек, щедро наделенный даром любви и дружбы, мог общаться со всеми близкими и дорогими людьми только путем переписки. 1935—1952 гг. — годы казахстанской ссылки — были особенно неблагоприятны для «разговорщика», как он себя называл. Зато — и для нас это большая удача — его разговоры остались в огромной переписке. И в этой форме общения он достиг подлинного мастерства. Изящество и ясность эпистолярного языка Бориса Сергеевича восхищали Л. Н. Гумилева, одного из его адресатов (да и других, несомненно, тоже).

Сам Б. С. называл письма «предательским видом литературы», как ничто другое обнажающим сущность человека.

Здесь собраны выдержки из более чем 1200 сохранившихся писем Б. С. Кузина к жене, А. В. Апостоловой, и сестре, О. С. Кузиной. Письма эти часто перегружены семейными подробностями или служебными обстоятельствами текущей жизни. Их я, на правах близкого человека, опустил, оставив только то, что, по моему мнению, получилось уж очень художественно и непосредственно. Мне хотелось помочь читателю полюбить яркий и богатый внутренний мир Б. С., человека талантливого, оригинального и веселого.

В конце своего пути, уже смертельно больной, Б. С. любил повторять, что ему была дарована Богом прекрасная жизнь. Мне кажется, что эти отрывки писем дают представление о том, из чего же складывается понятие прекрасной жизни. Боль и страдание тоже ведь являются неизбежной ее частью. Письма Б. С. — замечательный пример того, как можно содержательно и с достоинством прожить долгую жизнь, невзирая на всевозможные «социально-политические» условия. В наше время принято пускать слезу по поводу куда более благополучных, чем у Кузина, жизненных обстоятельств. «Пожалуй, — как-то заметил Б. С., — я действительно могу назвать Сталина своим великим учителем».

Читатель узнает из этих отрывков, как можно любить — нежно, глубоко и содержательно — прекрасную женщину, имея возможность видеть ее за 15 лет не более 1 года. Кузину, как Овидию, много лет пришлось провести среди скифов. Но перенес он это испытание куда более стойко, много приобрел и ничего не утратил.

Мне хотелось дать не «академический массив» большого количества писем, а художественный автопортрет с живой авторской интонацией. Хотелось выделить живой

голос Б. С., несравненного и увлекательного собеседника, умеющего из любой обыденной житейской ситуации создать художественную картину, найти для нее великолепную форму и дать описываемому неожиданное и остроумное истолкование. Что бы и кого бы ни описывал Б. С. — будь то Мандельштам, Катулл, Сервантес, Бах, случайная встреча, различные стороны быта — все одинаково увлекательно. Ибо ему доступен «катарсис слова», а взгляд на предмет неожидан и блестящ.

Письма Б. С. Кузина наглядно показывают современному читателю, почему такой человек смог своей дружбой вернуть О. Э. Мандельштама к жизни и творчеству. И почему самые разнообразные личности — А. А. Арцимович, А. А. Любищев, Л. Н. Гумилев, О. Э. и Н. Я. Мандельштамы и многие другие — так стремились к общению с ним.

В этой книге публикуются выдержки из писем Б. С. к двум самым близким для него людям — жене, Ариадне Валериановне Апостоловой, и любимой сестре, Ольге Сергеевне Кузиной, глубокую духовную связь с которой Борис Сергеевич сохранял на протяжении всей жизни.

А. В. Апостолова — личность талантливая и яркая. «Боярыня Протазанова» (из лесковской хроники дворян Протазановых) — называли мы ее. По профессии архитектор, происхождения была, по послереволюционным меркам, неблагополучного. Она сама шутила по этому поводу: «Хорошим происхождением в 20-е годы считалось иметь мать — прачку, а отцом — двух пролетариев». По отцу А. В. была из рода Апостоловых — знатных византийцев, перебравшихся в Россию еще в XV веке. По матери — из известных донских дворян и общественных деятелей Шамшевых. Отец ее, талантливый математик и инженер-путеец, был министром путей сообщения в республике атамана Богаевского; позднее эмигрировал во Францию; след его потерялся в Аргентине. Облик Ариадны Валериановны сохранял черты и византийских предков, и прабабушки-турчанки, взятой одним из казачьих офицеров (Кушнаревым) в Измаиле. Он бросил свою казацкую бурку на турецкую девчонку. Она выросла и стала красавицей. Отсюда Апостоловым прибавилось и турецкой породы. Были они благородной, не угловатой поджарости. С породистыми крупными носами, с большими темными глазами и густыми бровями. Легкие в движениях. Словом, похожие на благородных породистых скакунов...

Мне хотелось показать удивительный союз двух талантливых и неповторимых людей: Б. С. и его жены. Сохранить восхитительную историю любви и брачного союза двух оригинальнейших и прекрасных людей, долгие годы любви и семейных отношений которых смогли проходить только в письмах.

Арест Б. С. в 1935 г. перевел многих его близких друзей в категорию «добрых знакомых». Писать ему в лагерь осмеливались немногие. Посылал письма Борису Сергеевичу только его коллега по Зоологическому музею Е. С. Смирнов. И, неожиданно, два благородных представителя старшего поколения: М. Н. Римский-Корсаков

и А. П. Семенов-Тянь-Шанский, выдержки из писем которого читатель найдет в этой книге.

Андрей Петрович Семенов-Тянь-Шанский очень любил и ценил Б. С. как ученого, а также любителя и знатока латинской поэзии. Оба они были большими поклонниками Горация. Б. С. говорил мне, что память его хранила в лагерные годы горациевых стихов на несколько километров пути. Андрей Петрович сам был переводчиком Горация. И для него арест и ссылка Б. С. представляются в письме чем-то похожим на изгнание собрата-сенатора времен императорского Рима. Поэтому он называет арест Б. С. «заточением».

В последние годы жизни Б. С. его постоянным корреспондентом был Лев Николаевич Гумилев. Несколько раз он навещал Бориса Сергеевича в Борке и вел с ним пространные беседы. Ему нужны были биологические идеи для подтверждения своих идей исторических. Эти беседы начались еще в Зоологическом музее в 1933 г. Л. Н. возвращался к прерванному разговору, не смущаясь промежутком в десятилетия, так, как будто спор был прерван только вчера. Б. С. его любил, но посмеивался над одержимостью своего младшего друга. Как-то раз тот довольно долго и страстно излагал свои идеи. Б. С. только заметил, прощаясь с гостем: «Ах, Лева, ведь всё может быть совсем не так!..»

Здесь публикуются фрагменты писем Л. Н. Гумилева к Б. С. Кузину, дающие представление о дружбе, которая связывала этих двух неординарных и таких несхожих между собой людей.

М. А. ДАВЫДОВ

ИЗ ПИСЕМ Б. С. КУЗИНА К ЖЕНЕ А. В. АПОСТОЛОВОЙ

25.XII.38. Шортанды.

<...> я не могу перестать Вам писать совсем, не сказавши следующего. — Я лишен способности забывать. И я Вас помню так, как будто видел Вас вчера. Я Вас любил больше всего на свете. И этого я тоже не могу забыть.

Удлиняющиеся перерывы между Вашими письмами и, наконец, полное Ваше молчание — самое мучительное из всего, что мне пришлось пережить в жизни...

Как было четыре года назад, Вы — моя полная хозяйка. Повиноваться Вам, как и прежде, для меня самое большое счастье. И не было дня, чтобы это было для меня иначе <...>

19.I.39. Шортанды.

<...> Приезжайте, дорогая <...>

Я по опыту знаю, что хорошо получается именно то, что делается без всяких разумных оснований.

Я стал стар и дряхл. Может быть, скоро помру. Неужели так и не повидая Вас? Есть у меня еще один аргумент — Вы живете одна. Все только работаете (да еще пьете водку). Никто о Вас не позаботится. Нужно же Вам отдохнуть. А я умею ухаживать за своими гостями. Даже Евг. Серг., пока был у меня, немного отдохнул и поправился. Тоже и сестра*. Вы у меня будете жить, как царица. Я для Вас все буду делать. Не дам даже пальцем Вам пошевелить. Пить буду чистейшим спиртом.

<...> Я не знаю, как еще Вас спрашивать. — Да если бы меня кто-нибудь так любил, как я Вас люблю, я прискакал бы к нему, сломя голову <...>

Русенька, приезжайте. Ангел мой, приезжайте. Ну что Вам стоит один разок приехать? Дайте мне посмотреть на Вас, и уже тогда я смогу помереть спокойно.

* Ольга Сергеевна Кузина.

24.I.39. Шортанды.

Милая Русенька!

Зачем Вы на меня ворчите? Неужели Вы думаете, что таким способом Вам удастся заставить меня перестать Вас обожать? И зачем Вам это нужно? Если даже согласиться с Вами и допустить, что Вы не ангел, то это совсем несущественно. Дон Кихот объявил Дульцинею образцом всех добродетелей и во всем своем поведении в отношении ее исходил из этого положения. Ангел Вы или не ангел, — но Вы моя Дульцинея. И позвольте уж мне к Вам относиться так, как этого требуют законы странствующего рыцарства <...>

<...> Лучше всего, если Вы захватите с собой чего-нибудь такого, чем можно сопроводить водку <...> На магазине Госспирта висит объявление: «Магазин закрыт по случаю нет водки» <...>

Может быть, Вы спрашиваете, удобно ли мне, что Вы приедете? Нет, мне это не удобно, но блаженно. Смел ли я Вас просить приехать ко мне по той причине, что это мне было бы удобно <...>

Также советую Вам, если у Вас есть, что шить, захватить работу с собой. Вам может захотеться пошить что-нибудь. А я ужасно люблю смотреть на Вас, когда Вы этим занимаетесь <...>

9.IV.39. Шортанды.

<...> Мне всегда кажется, что я все делаю плохо. Если и не окончательно плохо, то во всяком случае, я никогда не бываю уверен ни в одном своем поступке, ни в одной работе <...> Но когда я еще в Москве просил тебя выйти за меня замуж, я ни минуты не сомневался, что поступаю совершенно правильно <...> я думаю, что это хорошо <...> также и для тебя <...>

Как ты ни храбрись и как ни дорожи своей свободой, а все же и тебе не меньше моего нужно, чтобы тебя кто-то любил больше всего на свете. Я очень заядлый холостяк, но и мне стало ясно, что жить всегда одному тяжело. А когда я узнал тебя, я понял, что мне необходимо нужно жить с тобой. Несмотря на очень милую компанию, какая тебя окружает, ты все же вполне одинока <...> Ты пьешь водку, говоришь басом и дерешься под микитки. Но меня ты этим не обманешь. По-настоящему нежные люди никогда не бывают сентиментальны. А редко в ком есть столько нежности, сколько ее в тебе. И ты прекрасно понимаешь, что я тебя люблю и что не всякий дядя с улицы может тебя так понять и любить, как я <...>

18.IV.39. Караганда.

<...> Караганда может хоть кого вогнать в тоску. Пыльно (пыль общая и угольная), вонюче, много шлака. В день приезда сюда я пытался найти утешение в пище. Здесь имеется ресторан «повышенного типа». Вот я и пошел chez le rouychenni type. В нем нет ни пива, ни нарзана, никакого другого сносного питья. Без всякой надежды я спросил столового вина к обеду. Оказалось, таковое есть. Зовут бордо. Я обрадовался. Принесли. Я попробовал — несет спиртищем. Отродясь не пивал такого борда. Из чего его, интересно, делают. Мясной харч был зажарен довольно искусно. Но гарнир к нему был почему-то холодный. Вообще, как выяснилось, сочетание горячего с холодным составляет особенность местной кулинарии, которой карагандинцы, вероятно, гордятся. Нынче я испытал за обедом фасолевый суп. Он был горячий, а сама фасоль совсем холодная. Я долго ломал голову, — как можно добиться такого эффекта. Потом сообразил. — В бульон вываливают фасоль из холодных консервов. Впрочем, получается недурно. У «повышенного типа» я получил удовольствие, наблюдая за человеком, сидевшим за соседним столиком. Он был небольшой и довольно толстый, гладко выбритый. <...> Он с толком заказал себе обед, ждал его, не нервничая, и ел, в совершенстве владея ножом и вилок, что резко отличало его от всех остальных обедающих <...>

24.IV.39. Шортанды.

<...> Но кто меня удивил, это Над. Як. — Она просто взбеленилась. Написала мне массу всякой глупости и оскорбительной петрушки*. Спрашивается, — на каком основании? Что и кто я ей? Но, видно, женщина пришла просто в ярость и забыла о всяком приличии. Я сначала заготовил ей очень едкий и злой ответ. Но не послал его, а отправил другой, в котором, взывая к памяти О. Э., просил ее прекратить срамиться. До чего бывают глупы бабы. Она, конечно, истеричка <...>

25.IV.39. Шортанды.

Русенька моя любимая!
Какая ты умница. Как ты мне часто и хорошо пишешь. И как это, в самом деле, нелепо и глупо, что мы не можем жить вместе. И все-таки я еще раз говорю, что мне теперь гораздо лучше и легче, когда я знаю, что ты моя.

* См. с. 578—583 наст. изд.

Я по тебе скучаю, но не извожусь, как было прежде, думая, что ты от меня с каждым днем отдаляешься и что мне предстоит потерять тебя навсегда. Просыпаясь утром, я обычно делаю мысленно обзор всего хорошего и плохого, что есть у меня на предстоящий день. Теперь я прежде всего думаю: — Руся моя. И все еще никак не могу привыкнуть к этому. Этот факт для меня все еще не состояние, а событие. И мне кажется, так и будет всю жизнь. По моему тоже, наша свадьба состоялась четвертого апреля.

<...> Это трудный вопрос, что тебе делать с чашечкой. Однажды один богатый киргиз угощал меня из похужей на эту кумысом. Эта роль к ней очень шла... Но ты ей непременно найди какое-нибудь применение. Иначе ты не будешь ее любить, а она славная, и я очень <хотел> сделать тебе удовольствие, даря ее. Когда придумаешь, что с ней делать, — напиши мне <...>

Я опять посылаю тебе стихи О. Э. Надеюсь в скором времени и сам что-нибудь выдумать <...>

Твой умирающий от любви Борис.

28.IV.39. Шортанды.

Милая моя Русенька!

Я боюсь надоесть тебе слишком частыми письмами. Но я просто не могу не писать тебе столько дней подряд. Ты уж не сердись. И мне кажется, тебе самой интересно знать все о собаках. О них преимущественно я и хочу тебе рассказать.

Щенята прекрасны. Они возятся, играют, уже третий день подряд пьют молоко и сами залезают в Мотькин ящик, куда от них удаляется Тайка. С завтрашнего дня я начинаю их раздавать. Буду это делать постепенно, раздавая по щенку через два дня. Самым крупным и самым бойким оказался бывший лысый. За ним по бойкости идет другой кобелек, на которого никто не претендовал, далее сучка, за ней Топ (второй по величине) и, наконец, самый маленький и самый вялый — хорошенький щеночек, с наибольшим количеством темной псовины, которого я вначале хотел оставить для тебя вместо Топы. Вчера я почти было решил заменить его бывшим лысым. Но потом раздумал. — Я уже давно зову песика именем, которое ты придумала. Переносить его на другого щенка как-то не хочется. Кроме того, Топ красивее и очень ласковый. — Все время лезет ко мне; больше чем другие щенята. Да еще и неизвестно, какие они все станут, когда подрастут, и какое у них будет чутье. А излишний темперамент даже и неприятен на охоте. Мордочки у всех теперь уже стали приятные, хотя и в морщинах.

Тайка, как и была, очень мила и довольно послушна. Но третьего дня с ней произошел скандал. — Я повел ее на прогулку в поле. Мы возвращались. Вдруг у

самого дома она завернула и пошла обратно. Я вначале не обратил на это внимания. Потом свистнул ей. Она продолжала довольно быстро идти вперед и скоро скрылась из виду. На счастье рядом находился Гурьяныч, который был на велосипеде. Он пустился за ней. Догнал ее на втором километре. Там она во весь галоп гонялась за жаворонками. Была доставлена обратно. Вид у нее был смущенный и виноватый. Я ее все-таки не бил, но взял в виде наказания на поводок и доставил домой. Она прекрасно поняла свою вину. Я нарочно в тот же день повел ее гулять, имея в виду за каждое отдаление от меня призывать ее и брать на поводок. Но она вела себя примерно. Никуда не убегала и слушалась свиста. Очевидно, правила хорошего поведения были в нее жестоко вбиты при воспитании. И вот теперь ее прорвало.

Но кто умница, — это Мотенька. Она все понимает. Ее даже не нужно дрессировать. У нее ум человеческий. — Вчера мне сказали, что на нашем поле видели порядочно куропаток. К вечеру я взял Тайку и пошел с ней. У гаража повстречалась Мотья. Она собралась увязаться с нами. Я на нее прикрикнул, и она осталась. Тем не менее, в конце первого километра она появилась, как из-под земли. Я опять крикнул на нее. Она домой не пошла. Но в течение всей охоты (кстати, ни одной куропатки не было) шла сзади меня, с любопытством следя за снующей Тайкой. Даже жаворонков не гоняла. Так же шла и весь обратный путь. Когда стали подходить к дому, я сказал ей несколько ласковых слов, и она тотчас же выскочила вперед и весело побежала. Ну разве можно такую собаку кому-нибудь отдать. Все же она теперь чувствует себя дома очень неуютно. Бойтся щенят. <нрзб.> рычит на них, когда они к ней подходят. Но с Тайкой вполне ладит. <...>

Милая тета Руся!*

Завтри мое рождение. Я стал большой. У меня хороший аппетит. Свиные кости мягче а говяжьи вкусней. Хлеп тоже вкусный. Пшеничная каша плохо переваривается. Я никак не могу употребить мотью потому что она очень маленькая. Цалую тебя крепко.

Лубиций тебя Топ.

30.IV.39. Шортанды.

<...> Очевидно, я правильно решил, что мы с тобой вполне подходим к другу другу. В виду этого я приготовил салат из зеленого лука и за ужином осушил за твое здоровье чекушку. Ужинал один и поэтому немного пьяноват.

* Шуточное письмо от имени щенка.

(По твоему совету, я посадил проросшие луковицы в ящик с землей и теперь время от времени наслаждаюсь этой нежнейшей зеленью).

Многие люди думают, что личные дела составляют или должны составлять в жизни что-то второстепенное. А я всегда считал, что они — единственное, по настоящему нужное, важное и ценное <...>

Я ведь очень люблю свою науку, люблю музыку и кое-что еще. Но если бы ты знала, каким мне все это представляется маленьким в сравнении с тобой <...>

1.V.39. Шортанды.

<...> Вечером мне принесли письмо от Над. Як. Она горько раскаивается в своем поведении. Приписывает его своему крайнему нервному расстройству. Но, впрочем, заявляет, что она всегда была стервой. Приезжать ко мне она не хочет, так как считает, что это ни в каком случае не может быть приятно тебе. Я ей ответил, что, конечно, ты от ее визита ко мне удовольствия не получишь, но и беспокойства никакого тебе от этого тоже не будет. Боюсь, что такая формулировка оскорбительна для женщины.

Я все же очень люблю М<андельштам>ов. Я не говорю об О. Э., как о поэте — встречу и дружбу с ним я считаю одной из самых больших удач в своей жизни. Но просто за десять лет нашей дружбы они оба составили какую-то значительную часть наполнявших это время событий. И оба они меня любили, как редко кто из друзей. И мне так жалко, что бедный Осип не дожил до моей женитьбы. Вот перед кем я мог бы хвастаться тобой, не говоря о тебе ни одного слова, и кто был бы рад за меня <...>

8.V.39. Шортанды.

<...> Я, кажется, тебе показывал черный силуэт, сделанный с меня в Ленинграде одной очень хорошей художницей. Она сама считает его лучшей своей работой. Если он только сохранился, я передам его тебе* <...>

Мне кажется, точно вещь, которую я тебе дарю, продолжает оставаться моей. Это потому, конечно, что я уже не отделяю себя от тебя <...>

<...> Немецкие авторы собраны у меня дома довольно хорошо <...>

Из англичан (и американцев) требуются: Киплинг, Уайльд (стихи), Swinburne, Buchanan, Эд. По, «Хроники» Шекспира, Джером..., Хемингуэй, Джойс, Дос Пассос.

* С февраля 1999 г. силуэт находится в архиве Б. С. Кузина. Имя художницы пока не установлено.

Из французов: Франс, Бальзак, Стендаль, Гюго, Малларме, Т. Готье, Леконт де Лиль, Эредиа, Рембо, Флобер, Лафорг, Констан, Пруст, Barbey d'Aureville, Мопассан... Любые книги на итальянском или испанском языке <...> Найти что-нибудь из этого можно только случайно у букинистов <...>

<...> По моему, у нас с тобой никакого другого общения, кроме духовного, и не было. Я все искал твою душеньку, которая пряталась в различные закоулки <...> Тайка лезет ко мне ласкаться и кладет свою морду на письмо. Она понимает, что я пишу тебе <...> А я тебя люблю с каждым днем все больше, и каждое твое письмо для меня блаженство. Целую тебя, моя прелесть, моя большая девчонка. А сам я какой умный, что сумел тебя заграбастать.

Твой весь Борис.

12.V.39. Шортанды.

<...> Тебе не кажется, что это очень интересно — жить вместе? У меня такое ощущение, точно я прожил одну жизнь и теперь начинаю другую, в которой я уже не тот человек, что был прежде. И эту новую жизнь жить необычайно интересно новому человеку — Борисорусе <...>

14.V.39. Шортанды.

<...> твое нынешнее письмо меня очень огорчило. Очевидно, все же ты относишься ко мне не так, как я к тебе. По-моему, если бы ты меня действительно любила, у тебя не могло бы возникнуть сомнения в правильности нашего с тобой безумного шага. По крайней мере, я в нем никогда не сомневаюсь. Ты мне который раз твердишь о своем возрасте. Допустим даже, что тебе было бы шестьдесят лет. — Что из того? Я ведь знаю, что тебе не пятнадцать <...> До тебя ни одна женщина не нравилась мне настолько, чтобы я хотел на ней жениться <...> Я сразу понял, что так любить, как я люблю тебя, нельзя только для приятного проведения времени <...> Но такие «любви» мне надоели уже лет десять назад. Я тебе уже говорил, что все постигшие меня в 1935 году неприятности* я рассматривал только как разлуку с тобой. Только это было мне действительно тяжело. Я четыре года мучился только тоской по тебе. Наконец, все это прошло. Я стал без всякого преувеличения счастлив. Мне больше ничего не нужно. Но, очевидно, у тебя дело обстоит иначе. Если это правда, то ты меня просто этим убиваешь... Ты мне пишешь, что хотела бы меня видеть женатым на

* Арест в лагерь.

более молодой и, по-видимому, что ли, более красивой женщине. Это свидетельствует о твоей большой доброте, но никак не о любви ко мне. Я тоже прекрасно понимаю, что я для тебя не идеальный муж. Что тебе, быть может, следовало бы выйти за человека посolidнее меня, поумнее и с лучшим положением в обществе. Но я этого тебе не желаю по той единственной причине, что не желаю этого себе... Добиться счастья так трудно. Вот я, только приближаясь к сорока годам, в первый раз в жизни испытал с тобой настоящее счастье... Если я потеряю тебя, я потеряю все... Так ясно, что свое, личное, семейное — главное всего. Посмотри на Е. С. — у него все дела в полном порядке, кроме личных. Ведь он несчастный человек <...>

18.V.39. Шортанды.

<...> Вчера получил от Н. Я. Аввакума. Я прежде читал только его «Житие», а в этом издании и письма, и челобитные, и другие сочинения. Читал почти всю ночь и весь нынешний день, счастливо оказавшийся выходным. Как восхитительно Аввакум владеет языком и каким прекрасным. Теперь я не могу дождаться тебя, чтобы показать из него некоторые места. Они приведут тебя в восторг. Для себя же я нашел полезнейшие советы к обращению с тобой <...>

30.V.39. Шортанды.

<...> Так я бывало обожал все сделанное мамой и все ее вещи. У нас в семье не было принято открыто выражать свои чувства. Поэтому я и в детстве и уже взрослый мог только целовать вдоволь мамину шубу в темной передней. После маминой смерти осталась Оля, ручки которой для меня так же священны <...>

<...> Но мне кажется, что в угощении без хмельного есть что-то оскорбительное. Человек тем и отличается от зверя, что он потребляет алкоголь. Он (алкоголь) придает еде какое-то духовное содержание. А без него пища — только грубая материя. Угощение теряет свой священный <смысл> и значение акта дружелюбия. Оно превращается в простую кормежку <...>

4.VI.39. Шортанды.

<...> Если бы мы с тобой зарегистрировались в загсе, то пошли бы туда опять и развелись бы. Но чем можно расторгнуть брак, заключенный без свидетелей посредством коньяка? Придется уж терпеть нам обоим до самой смерти <...>

21.VI.39. Шортанды.

<...> Е. С. ужасный ханжа. <...> Ты знаешь, на ком его следовало бы женить? — На А. А. Она оценила бы его рыцарственность. И он мог бы ханжить перед ней в полное свое удовольствие... Она прекрасный человек, и мне ее очень жаль. Но она святая. А я убежденнейший грешник.

25.VI.39. Шортанды.

<...> Я только нынче утром отправил тебе вчерашнее письмо, а приходится писать опять. — Принесли письмо от тебя. И я не могу отложить ответ не то что до завтра, но даже и до нынешнего вечера, потому что боюсь, что любовь разорвет меня изнутри, если я не дам ей немедленного выхода хотя бы в письме <...> Есть вещи абсолютно совершенные, к которым нечего больше прибавить и ничего нельзя отнять. Как можно было бы изменить пушкинский «Пир во время чумы», «König in Thule»* Гете или Мадонну Литту? — Так для меня твои письма абсолютно совершенны. И ты сама тоже. Мне в тебе ничего не слишком много и не слишком мало <...>

<...> Нехорошо, что мы знаем друг друга только в гостях, только в «праздник». Я хочу быть с тобой именно в будни. Я будней не боюсь. Именно они хороши в жизни. Одна дама рассказывала мне, что, убедившись после первого брака в том, что хорошо только медовый месяц, она решила, выйдя замуж вторично, не жить с мужем на одной квартире и вести свою жизнь отдельно от него. Говорили, что опыт удался. Медовый месяц был продолжен на несколько лет. Я прежде всего ненавижу самое выражение «медовый месяц»... По-моему, медовый месяц бывает только у лягушек. Он для всех для них общий <...>

<...> Несколько твоих фотографий и маленький Пантелеймон** никак не могли найти для себя хорошего места. Нынче я придумал положить их все в коробочку из-под сигар. И туда же я положил присланные тобой нынче в письме лепестки. Все это будет чудесно пахнуть.

Я обожаю запах роз. В детстве у меня были сочинения Гоголя в одном томе. Эта книга была в хорошем кожаном переплете. Я ее очень любил. И я засушил в ней много розовых лепестков. Она стала пахнуть чудной смесью кожи и роз. Я до сих пор помню этот запах. Ты в свое время прекрасно придумала, что прислала мне свою старую карточку. Начавши с того, что я не узнал тебя на ней, я потом ее очень полюбил. Она прекрасная. На ней снята твоя душенька. И она с тех пор несколько не изменилась <...>

* «Фульский король» (баллада И. В. Гете).

** Иконка св. Пантелеймона-целителя.

2.VII.39. Шортанды.

<...> И я уже из опыта, а не по воображению, знаю, какое это блаженство, когда ты сидишь в моей комнате за столом напротив меня или похрапываешь потихоньку после обеда, как прекрасно с тобой гулять, как меня восхищает все, что ты делаешь, как тебя любят мои собаки, моя комната и мои вещи. — Все они признают в тебе свою настоящую хозяйку и не делают различия между мной и тобой. И еще, Русенька, ты подумай, что я ведь живу совсем один и ни с кем не говорю о том, что мне мило и близко. Поэтому вся моя жизнь теперь и заключается в одном ожидании тебя. А ты все советуешь: «не жди» <...>

15.VII.39. Шортанды.

<...> Я с тревогой стал замечать, что я уже обдумал тебя всю. Начнешь думать о тебе и видишь, — об этом уже думал, об этом тоже. Совершенно ясно, что мне нужна уже новая порция тебя. До середины сентября мне того, что осталось, никак не хватит. А это гораздо хуже, чем сидеть без чаю или без лука <...>

24.VII.39. Шортанды.

<...> Нынче у нас происходили (и происходят) празднества по случаю дня военно-морского флота <...> Сам я принял участие в волейболе. Моя команда выиграла, и я получил за это дело пачку папирос. Этот приз пришелся более чем кстати <...>

28.VII.39. Шортанды.

<...> Со свойственными тебе пронизательностью и тактом, ты совершенно правильно поняла назначение отправленных мной тебе денег. — Вот именно, на водку. Пей, Русенька, водочку и веселись на здоровье <...>

<...> Ничто так не выдает человека, как письмо. Я, может быть, уже давно женился бы, если бы не получал от некоторых нравившихся мне женщин писем <...> Дурной вкус и сентиментальность выступают в человеке тотчас, как только он начинает писать письмо. — Предательский вид литературы. А из твоего первого письма мне стало ясно, что я не напрасно очарован тобой. <...>

31.VII.39. Шортанды.

Дорогая Русенька!

Нынче я получил твою посылку с харчами. Отправленные тобой прежде сапоги еще не пришли. Посылки иногда задерживаются, и считать ту посылку пропавшей еще рано. Но обувь товар дефицитный и, к сожалению, пахучий. И я побаиваюсь, что какой-нибудь почтарь учуял содержимое посылки и оставил ее себе...

Спасибо тебе, милая, за все. Ты меня незаслуженно балуешь. А я просто таю от блаженства, что у меня такая жена. В порядке кокетства ты любишь говорить о своей прозаичности. Однако твои розочки говорят о другом. Но дело совсем не в том, что ты называешь прозой, и не розы делают поэзию. По-моему, самое возвышенное и поэтическое, что есть в жизни, это то, что я называл, — семейная повседневность. Когда у тебя болел живот и я разыскивал для тебя лекарство, пугался ночью твоего бреда и думал, достаточно ли тепло ты завязала живот, когда я подтыкал под тебя одеяло, чтобы тебе не дуло, — я ощущал во всем этом гораздо больше поэзии, чем ее имеется во всех моих стихах. А сейчас я воспринимаю настоящую поэтичность твоей природы одинаково, через лук, сало, Бальзака и розы. Забота, желание сделать мне что-то приятное — эти чувства не могут принять прозаической формы. Знаешь, в чем проза? — Только в мелочности, в исчислении всего на рубли и копейки, в подозрительности, в черствости, в готовности продать всех и вся. В этом прозаическом мире живу теперь я. Все мои соседи и товарищи по работе — выдающиеся прозаики. А ты моя настоящая муза. И поэтому мне хочется жить с тобой постоянно, говорить о всех бытовых мелочах. Это для меня и значит — сделать свою жизнь поэтической. <...>

22.XI.39. Шортанды.

<...> Я мало поддаюсь чужому внушению, но сам себе внушаю ужасно <...>

Я все делаю, что ты мне приказала. Лук поливаю. Третьего дня обстриг его и сделал себе чудный салат по редкому случаю жареного мяса. Водку, конечно, не пью. Сплю я на двух тюфяках. Это совсем не неудобно...

Ты видишь, — никаких интересных событий не происходит. Тем не менее, мне ужасно необходимо с тобой обо всем разговаривать. Мне сейчас просто невыносимо не обсуждать ни с кем всех этих повседневных мелочей. И подурчиться не с кем. И мне так хочется, чтобы ты мне велела что-нибудь принести или вынести, или хоть чтобы ты пасьянс мне смешала. До чего мне с тобой, милая, хорошо! Пиши мне, ангел, почаще. Очень жду от тебя всяких сообщений. И как мои стишки тебе пришлись, напиши. Хотя бы сделать так, чтобы целовать тебя можно было на ночь, как спать

ложиться. Один раз в губки. Ну да еще ручку. Да плечико. Да еще, что позволишь. Прощай, Ручочка. Очень я тебя люблю. Прямо до безумия.

Твой Борис.

24.XI.39. Шортанды.

<...> Читал я все Франса. Некоторые рассказы прекрасны. Как всегда, нахожу мысли, которые мне странно не считать своими <...>

6.XII.39. Шортанды.

<...> Как хорош Мопассан. Но все его герои очень посредственные люди. Среди них ни один не обладает ни тонким умом, как герои Франса, ни большими страстями, как бальзаковские <...>

7.XII.39. Шортанды.

<...> и мне особенно мило, что ты пишешь мне всякие глупости. Для меня это лишнее подтверждение того, что наш брак оказался на редкость удачным. Разве это не необходимейшая потребность для всякого человека — говорить глупости? Для меня, по крайней мере, это так. Но вести умные разговоры можно со всяким. А болтать глупости можно только с тем, кого очень любишь и кто тебя любит.

24.XII.39. Шортанды.

<...> Я все больше начинаю любить Бальзака. Уж очень силен у него напор речи и повествования и такой могучий язык. Лексикон его необъятен, и читать его поэтому иногда бывает трудно. Я чувствую, что многое у него от меня ускользает, потому что я не могу понять всех тонкостей его речи. В русской литературе таких велеречивых прозаиков, пожалуй, нет. А из поэтов разве что Державин был так великолепен. Еще я читаю Овидия, Tristia. Удивляюсь, как я раньше проходил мимо

этой лучшей из его вещей, зная, что ее упорно изучал Пушкин, подражая Овидию во многих вещах и вставляя в них из него целые куски. Ни у кого из поэтов я не встречал такого чудного описания бури, как во 2-ой элегии Трестий.

29.XII.39. Шортанды.

<...> Ты меня опять так порадовала своим новым детским письмом. Я и в нем тебя узнал. Уже видна твоя обстоятельность и деловитость. Так мне жаль, что я не знал тебя маленькой <...> Не меньше я обрадован и твоими словами о нашем браке <...> Знаешь, какие у нас с тобой преимущества перед Н. С. и В.? Первое и самое главное, — мы друг друга больше любим, чем они. Поэтому мы ничего один от другого не требуем, но нам доставляет удовольствие сделать что-нибудь друг для друга. Второе, — мы с тобою одинаковы во всем. И по характеру, и по воспитанию, и по вкусам. Ты не представляешь, чтобы я мог сделать тебе замечание. И я не представляю себе такой возможности <...> когда мы с тобою бываем не одни, я всегда чувствую себя гордым за тебя. Ты держишь себя с людьми тем единственным образом, какой мне нравится. — Не обижаешь чужого самолюбия и ничего из себя не строишь. В этом и состоит природный такт и настоящее воспитание <...> Несчастье В. состоит в том, что Н. С. ничем не занимается и не интересуется. У нее нет вкуса к жизни. Если у меня отнять зоологию, а у тебя архитектуру, то у нас обоих останется еще очень много всего, чем мы можем заниматься с увлечением и о чем можем говорить друг с другом. Я тебе рассказываю про всех своих знакомых, про все, что я делаю. А самому мне так интересно бывает слушать, что мне говоришь ты. — Про твои занятия, про всех твоих Миш и Вань, про домашних, про твое детство, про Бобрика. Даже все твои соображения о шитье рубашек и платьев, про все хозяйственные дела я всегда слушаю с большим интересом. И я люблю смотреть, как ты что-нибудь чертишь, как шьешь, приготавливаешь пищу, убираешь в комнате, чешешь собак, раскладываешь пасьянсы, читаешь. Н. С., бедная, пустует. Ей скучно <...>

30.XII.39. Шортанды.

<...> Я недавно рассматривал опять итальянские домики эпохи Ренессанса. И окончательно пришел к выводу, что в классике я вообще не понимаю никакого вкуса. Ренессанс, чем он более ранний, тем мне милее. К Микельанжело я уже холоден. Готика — венец всего. Она прекрасна и кровно близка мне <...>

4.I.40. Шортанды.

<...> Вчера получил письмо от Н. Я. Она скоро будет в Москве и непременно позвонит тебе. Ты мне опиши подробно, какое она на тебя сделает впечатление <...>

8.I.40. Шортанды.

<...> Как я, милая, люблю твои письма. Какой я от них становлюсь счастливым. Что бы ты ни писала. Как тебе не совестно писать, что ты мне поздно досталась и что ты теперь не интересная? Я хочу тебя только такую, какая ты есть. Я ведь тоже кое-что потерял с возрастом. Но мы с тобой оба, взамен всего потерянного, научились любить. Лет десять назад ни ты, ни я не любили бы друг друга так хорошо, как мы любим теперь. В этом и есть наше счастье... Тобой я награжден за все, что во мне есть хорошего, за то, что я был верным товарищем, что я никого не предавал, что никогда не мучил животных и не унижал людей <...> Я не знаю никого, кто был бы счастлив своим браком, как я <...>

10.I.40. Шортанды.

<...> Мне особенно нравится, что Чехов, притворяясь спящим, держал руки поверх одеяла, сложенными в кукиши. Очаровательная шутка. Мне ужасно досадно, что я до нее не додумался. <...>

20.I.40. Шортанды.

<...> Ел присланную О. А. рыбу и не нахожу слов для описания ее вкусоности. Нужно быть великим писателем-реалистом, чтобы найти выражения для характеристики вкусовых ощущений, возникающих вследствие божественного жира, отложенного между внутренностями этой рыбины и вблизи ее анального плавника. Потрясенный гастрономическими впечатлениями, я рыдал в процессе еды. Какая пища! Какая теща! Какая Рушка!

<...> Начал читать Ursule Mirouët*. Все больше люблю Бальзака. Восхитительны три старика, воспитывающие девочку <...>

* «Урсула Мируэ» (роман О. Бальзака).

18.II.40. Шортанды.

<...> Квартиру ты сочинила для нас очаровательную. Но я согласился бы жить с тобой и в гораздо худшей. А я разлакомился твоим проектом и все думаю теперь, как там у нас с тобой будет внутри. По-моему, должно быть очень хорошо. И как прекрасно мы будем принимать у себя гостей. Будет ли это когда-нибудь, Русечка?

24.II.40. Шортанды.

<...> В Акмолинске в течение нескольких лет ломают главную церковь. Однако, значительная часть ее и теперь еще стоит на площади. По этим остаткам мне показалось, что здание было совсем не банальное. Что-то есть в пропорциях очень спокойное и благородное. Интересно, кто строил эту церковь. А может быть, ничего в ней хорошего и нет? Может быть, это мне так только показалось после шортандинских и карагандинских барачков. Вообще Акмолинск мне чем-то понравился. Он приятней Петропавловска <...>

<...> Был очень рад, что вернулся домой. Я все же животное чисто домашнее и чувствую себя вполне хорошо только у себя дома <...>

12.III.40. Шортанды.

<...> Читая в твоём письме, как ты зашиваешь свои расплывающиеся рубашонки, я и жалею тебя очень, и люблю тебя точно еще больше. Это очень гадко сидеть без денег и нуждаться в необходимейших вещах. И в то же время я почти радуюсь нашей с тобой бедности. Во мне нет кротости Франциска Ассизского, чтобы возвести нищету в культ, и я, так же как и ты, оказывал ей всю жизнь отчаянное сопротивление. Но есть в ней одна несомненно хорошая сторона. — Она сближает людей. Мне кажется, что в нашей с тобой совместной жизни чего-то очень нехватало бы, если бы у нас не было разговора о рвущихся штанах, сапогах и рубашках. Эти низкие материи для меня драгоценны потому, что они сообщают нашим отношениям особо частный характер... А все мое отношение к тебе, быть может, и сводится к одному желанию — быть ближе к тебе, даже быть с тобою совсем чем-то одним, совсем неотделимым от тебя. Поэтому я ужасно любил трогать твои вещи. Мне очень нравилось, когда ты утром заставляла меня что-нибудь достать из твоего чемоданчика. И я был в полном восторге, когда ты у меня хозяйничала и возилась с моими рубашками, наволочками и прочей дребеденью. А когда во время поездки я спрашивал тебя по утрам, где мои сапоги, то делал я это

совсем не из лени, но потому что мне доставляло огромное наслаждение задать тебе этот вопрос, как хозяйке всех моих вещей и меня самого полностью. И быть может, на фоне бедности я больше ценю тебя, как мое единственное богатство <...>

24.VI.40. Шортанды.

Прекрасная моя женушка Русечка!

Вчера получил от тебя письмо со вложением твоих детских упражнений по писательской части. Я не знаю, хуже они или лучше тех двух, что ты мне присылала прежде. Но мне и эти очень милы и дороги. В них моя глупая и очаровательная Русюшка вся целиком. Как мало человек изменяется за свою жизнь. Те твои детские письмишки почти не отличаются от теперешних. Я тебе уже сколько раз говорил, что ты и теперь девчонка. Потому, вероятно, мне так хорошо и легко с тобой. Самое ужасное действие жизни на людей то, что она черствит их, сообщает им мерзкую старушечью мудрость. Так старое свиное сало заветривается и приобретает вкус стеарина. Ужасно рано начинают заветриваться большинство людей. Студентка, приехавшая к нам, на наблюдательный пункт, могла бы быть твоей дочерью. Ей всего двадцать лет. Но ты моложе ее лет на десять. У нее уже полностью накоплен арсенал ходячих фраз и выражений на все случаи жизни. Душа ее забита деньгами, мануфактурой, харчами, ображениями замужества. (Впрочем, она производит скорее приятное впечатление.) С ней не придет в голову подурачиться, откинуть какую-нибудь глупую штуку, скорчить рожу... А моя Русечка никак не стареет. Поэтому, вероятно, я и прихожу в такой восторг от твоих детских писем. Читая их, я смеюсь и думаю с радостью: — моя Руся, моя Руся. Как она не любит и не умеет писать. Какой прелестной чепухой заполняет все письма. Настоящая жизнь совсем не в них, а во внешних событиях, в дорожных впечатлениях, в «даме-скандалистке», в катании на лошадях. И вечное опасение за свою орфографию. — Давно не писала и потому, наверное, плохо пишу. А между тем лучше писать, чем пишет моя Руся, — просто невозможно. — Сколько я уже получил от тебя теперь писем, — и ни в одном не было никакой литературной дряни.

1.VII.40. Шортанды.

<...> Это ты верно заметила, что Н. Я. держится как-то неестественно. Она не рисуется. Это я знаю. Но она разговаривает и держится не так, как говорим и ведем себя мы с тобой. Иногда это с нее спадает. Я думаю, что в такой манере поведения сказывается недостаток воспитания. Хотя она происходит из очень

добропорядочной семьи, но родители ее за детьми особенно не следили и не внушили им, что быть неестественными — неприлично. Она любит рекомендовать себя отъявленной нахалкой. На самом же деле она ужасно застенчива. А застенчивые люди всегда не знают, как себя вести, и обычно избирают как раз неверное поведение. Пример — Е. С. Но все-таки Н. Я. по всем своим делам — хороший человек. Вот О. Э., хоть он и был временами странен и экстравагантен, но в нем никогда не замечалось ничего надуманного. Долго ли она была у тебя? О чем вы с ней говорили? <...>

7.VII.40. Шортанды.

<...> Вчера я наконец получил письмо от Н. Я., в котором она описывает знакомство с тобой*. Мне было бы трудно продолжать с ней дружбу, если бы она не поняла, какое ты у меня сокровище. Ее письмо меня на этот счет вполне успокоило, и еще раз могу убедиться, что друзья у меня чудные. Я расцеловал бы Надьку, если бы она вчера оказалась у меня под рукой. Теперь мне только очень обидно, что больше нет О. Э. Он тоже понял бы толк в тебе. А ты себе не представляешь, какое для меня блаженство, когда о тебе хорошо отзываются <...>

Как ужасно обидно, отыскавши тебя с таким трудом среди массы всякого сброда людского, продолжать большую часть жизни существовать без тебя.

5.VIII.40. Шортанды.

<...> Гораздо хуже моя новая болезнь, которая до сих пор была мне совсем неизвестна. — Это отчаяние... Жить среди волчьего населения Шортандов. Никогда ни с кем не говорить о том, что мне близко. Да переписываться с тобой. Готовиться на год, на два, на десять лет. Нужно бросить детские требования к жизни, — чтобы она была приятна. Жить следует не потому, что это доставляет нам удовольствие, а потому, что мы должны жить, раз начали жить не по собственному желанию. Мы не имеем права прекращать ее сами, когда это нам захочется. Несомненно, жизнь похожа на военную службу. Мы все точно поставлены на свои посты. Зачем — нам неизвестно. Нас об этом не спрашивали, и нам запрещено это знать. Но стоять мы должны. Если все это твердо себе усвоить и рас-

* См. письмо Н. Я. Манделышгам к Б. С. Кузину от 30.VI.40 г. (с. 624 наст. изд.).

смаatrивать всякое счастье, всякое везение, как неожиданный подарок, то жить станет много легче. Но мы с самого детства испорчены предвзятым убеждением, что мы должны жить хорошо. И это нам мешает. А все-таки кое-какие стишонки я еще могу сочинять и мне еще могут очень нравиться чужие стихи. Значит, я еще вполне живой. Какое замечательное изобретение конверт. Я вполне понимаю это тогда, когда у меня их нет. Насколько удобнее и проще положить письмо в уже заранее заготовленный конверт, чем клеить их сначала самому. Вообще, при нормальной жизни мы мало ценим материальную культуру и принцип разделения труда.

Ты, кажется, знала Горбунова-Посадова. Этот полусоциалист-полутолстовец издавал кисло-сладкий детский журнал «Маяк».

Мой либеральный отец выписывал его для меня в детстве. — К этому «Маяку» давалось идиотское приложение — как сделать самому то или другое. — Мебель из упаковочных ящичков, шляпы и дыновки из соломы, презервативы из сосисок. Все это мне очень нравилось. Верно, я был мало способен к технике, да и ленив слишком. Но каждый мальчишка в мечтах Робинзон Крузо. И в мечтах я овладевал всеми этими полезными ремеслами. Не могу понять, зачем это все могло быть нужно в те времена. Кто не мог тогда купить себе табурета, чтобы быть принужденным делать его из ящичка? Уж во всяком случае такой бедняк не был в состоянии и выписывать всезнающий «Маяк», чтобы из него почерпнуть необходимые сведения. Уметь делать самому каждому нужно было только одну вещь, одинаковую для всех. — Деньги. Теперь моя позиция тверда. — Я ничего не хочу делать сам. Хочу все покупать. Хочу купить конвертов. Не желаю клеить их сам <...>

8.VIII.40. Шортанды.

<...> Но честолюбие делает не меньше грешников, чем любовь. Но оно особую силу имеет над людьми, не успевшими на поприще Венеры <...>

Но мне всегда казалось, что добиваться признания своих заслуг и вознаграждения за них недостойно человека, действительно что-то собой представляющего, что настоящие заслуги не могут остаться незамеченными. И я спокойно делал свою работу, не торопясь испечь что-нибудь, что давало бы мне право занять выгодное местечко близ академического пирога. И все же, несмотря ни на что, я об этом не жалею. — Веди я себя иначе, ты, может быть, не стала бы моей женой и меня так не любила бы Оля. Другими словами, я не был бы счастливым человеком, каков я есть теперь, имея свою женушку Рухочку. А у карьериста Женьки, кроме денег, и нет ни хрена <...>

14.VIII.40. Шортанды.

<...> Вчера было опять со мною музыкальное событие. Перегудин, среди прочего хлама, купил пластинку с менуэтом Генделя и гавотом Рамо. Скрипичные вещи в исполнении какого-то из наших лауреатов. Он завел ее для меня. Я был принужден выкатиться от него при первых же звуках Генделя. Совершенно непереносимая разница между настоящей музыкой, между Генделем, между обожаемой скрипкой и шортандинским черствым народом с его разговорами о пшенице, о мануфактуре, о коровах, с его злыми и жадными бабами и не менее злыми и грязными ребятами. Нужны нервы покрепче моих, чтобы переносить такие внезапные переходы. В конце концов, я со всем примирился, кроме мысли, что у меня отнята музыка. Я не музыкант, но я всю жизнь жил с музыкой больше всего, всегда о ней думал. Она окрашивала для меня все. Каждый период моей жизни связан со своей музыкой, начиная с самого раннего детства. У меня были личные отношения со всяким композитором, написавшим хотя бы одну из любимых мной вещей. Ни с кем из поэтов, художников, ученых я не жил так, как жил с Бахом, Генделем, Моцартом, Бетховеном, Шопеном, Шубертом, Гайдном и очень многими другими. Точно так же музыкальные инструменты составляли для меня совсем особую категорию вещей, во всяком случае, не неодушевленных <...>

А я вчера услышал музыку в обеденный перерыв, а до самого вечера никак не мог прийти в себя. Волейбол привел меня в норму. Необходимейшая вещь спорт. — Совершенно убивает всякие мысли, и плохие, и хорошие.

25.VIII.40. Шортанды.

*Камышинкою ты на песке напиши
Имя легкой твоей острокрылой души.
Чтобы мог я в стиха темноту, лепоту
Заключить ее, светлую пленницу ту.
Чтоб я знал, что со мной это ты, это та
Ясных глаз глубина, милых рук теплота
И тогда хоть какие года, города
Пусть пройдут, — ты, как в камне,
во мне навсегда.*

29.VIII.40. Шортанды.

Ангел Рушечка!

Давно ли я ужасался сороковым номером письма. А вот и пятидесятое. За этот месяц это пятнадцатое письмо. Все-таки ты не можешь жаловаться на своего мужа,

что он тебе неисправно пишет. Верно, все мои супружеские обязанности теперь только и сводятся к писанию писем. Хорошие условия брачной жизни для импотента. Но я стану таковым только к сорока годам, т. е., через три года. Но покамест я нескромно хочу и других удовольствий от своего брака.

22.X.40. Шортанды.

<...> Топика можно без всякой брезгливости поцеловать теперь прямо в губы. Они у него чудные — коричневые, бархатные в оборочках. Улыбается он не так, как Тайка, но так же очень мило и без всякой лести. Наоборот, при этом лает на меня и воет <...>

27.XI.40. Шортанды.

<...> Рядом с тобой был бы человек <...> который за тобой ухаживал бы не из чувства долга и не из какого-нибудь принципа, а потому только, что ему самому больно, если ты больна. Но после этой болезни ты лучше поймешь мое отношение ко всем моим старым друзьям. Все они любят нас, когда им с нами весело и интересно. И мы становимся для них обузой, как только попадаем в беду... Попросту говоря, те, кого мы считаем друзьями, к нам, самое большее, только хорошо относятся. Но они, конечно, совсем не любят нас. А я, например, всех этих людей любил. Теперь же во мне этого чувства нет. Я теперь к ним тоже «хорошо отношусь». Это значит, что я им всем желаю добра и счастья. Но боль их мне уже больше не больна и их горе — не мое горе. Думая о всех моих добрых знакомых, я, в конце концов, только одного из них могу назвать, кто любил меня не в порядке приятного провождения времени. Это был О. Э. Над. Як., как и некоторых других женщин, я не считаю. Их дружба несколько особого рода. Но все-таки она очень близка к настоящей дружбе, потому что она не испаряется при несчастных обстоятельствах <...>

1.XII.40. Шортанды.

<...> Я тебя опять донимаю своими стишками. Вот что я скажу тебе для объяснения их. — Я тебе уже писал или говорил, что я теперь очень полюбил Овидия. В гимназии мы читали его «Метаморфозы». Это мне не внушило особой любви к нему. Поэтому и после я совсем не занимался Овидием, а всегда увлекался Гора-

цием и Катуллом. Но весь Овидий в своих грустных посланиях из ссылки. — В элегиях, объединенных в книгу «Tristia». Они наиболее мрачны из всей латинской поэзии.

Изумительны там описания бурь на море по пути в ссылку. Лучше об этом не писал никто. А одна элегия меня просто сотрясает. Она посвящена воспоминаниям последней ночи перед высылкой, проведенной в Риме. Ее начало: Quam subitillius tristissima noctes imago...

Означает: Когда всплывет образ той печальнейшей ночи*.

Ter limen tetigi, ter sum revocatus... (Трижды я касался порога и трижды отступал). Exilium значит изгнание. Элегиями Овидия много занимался Пушкин, когда был в ссылке на юге в овидиевых местах. О. Э. свою вторую книгу стихов назвал «Tristia». Все эти вещи не случайные. Я давно хотел поговорить с Овидием. Вот поговорил. Да не знаю, не плохо ли получилось. Не обидится ли старик?..

11.XII.40. Шортанды.

Милая моя Русечка!

Какой печальный юбилей. — Я пишу тебе сотое письмо со времени твоего последнего пребывания у меня. И, вероятно, напишу еще сотню, пока тебя увижу вновь. Одну ли сотню? Я как-то подсчитал. — Среднее мое письмо к тебе состоит из 5.000 знаков. Это составляет 1/8 печатного листа. Сто писем — это 12,5 печатных листов. Обычного формата книжка в 200 страниц. Пожалуй, за свою жизнь я написал всего не меньше, чем Толстой. Я всегда считал и считаю своим самым большим счастьем, что я нашел тебя. Но если на все это дело посмотреть со стороны, то можно задать вопрос, какое же счастье мы принесли друг другу. — Сначала я мучился, боясь, что ты меня не любишь. Потом стал мучиться, что тебя нет со мной. А ты прежде жила свободно и беззаботно. А теперь ты зачем-то должна думать обо мне, что-то для меня постоянно делать и беспокоиться о каком-то мифическом муже и о целой стае собак, от которых ты также не получаешь никакого удовольствия. По христианскому учению, всякое страдание должно вознаграждаться. Вероятно, мы в это и верим. Я, по крайней мере, совсем бессознательно. Но это детская вера. Ниоткуда не вытекает, чтобы страдание вознаграждалось. Что это, добродетель какая-нибудь, что ли? Просто судьба. За что же тут вознаграждать? Наоборот, может быть, наказывать следует за то, что не устроил себе хорошей жизни. <...>

* Я взял его эпиграфом и дважды эксплуатрую в этих стихах. Оттуда же упоминание о пороге. (Примеч. Б. С. Кузина.)

13.XII.40. Шортанды.

<...> Вот о чем я тебя хочу попросить. — Отказываясь от ученых споров с Е. С., я все же не перестаю думать о теории системы. И сейчас я уперся с этим делом в вопрос стиля. Но тут у меня недостает фактического материала. Стиль виднее и нагляднее всего выступает в архитектуре. Мне совершенно необходимо познакомиться с архитектурными стилями и их образцами. Но это сделать невозможно при общей моей архитектурной необразованности... Нет ли у тебя какого-нибудь элементарного пособия по архитектуре, с которого я мог бы начать? Если есть, то пришли, ради Бога. Я чувствую, что нащупал верный путь, который приведет меня к чудеснейшим открытиям <...>

19.XII.40. Шортанды.

<...> У них (современных детей) есть твердое сознание, что они в семье самые главные. Мы же всегда чувствовали, что взрослые главней нас.

23.XII.40. Шортанды.

<...> Конечно, ни Е. С., ни кто-либо другой из моих приятелей не должны ничего делать для меня. Довольно у них и своих дел. Но тогда зачем они разыгрывают из себя моих друзей? Друзья ведь отличаются от просто хороших знакомых. И я в свое время считал себя обязанным помогать тем, кого считал друзьями, не одним только сочувствием, но более реально... Помощь товарищам я считал первейшим своим долгом. И мне было бы стыдно проявить в этом деле лень, а уж тем более трусость <...>

29.XII.40. Шортанды.

<...> Нынче пришла посылка из Музея. Получил перчатки и роскошную бумагу с конвертами. Я и сержусь на Олю (и на тебя тоже), что вы мне отправляете такие предметы роскоши, и в то же время обожаю вас за эти глупости. — Люди пишут черт знает на чем и отправляют письма в конвертах из газеты. И сам я тоже клеил конверты из всякой дряни. После этого я был бы рад всякому конверту, который не требуется

клеить самому. А тут вдруг я получаю такую прелесть, на которой не стыдно было бы писать и самому принцу Уэльскому. Какие вы у меня глупые и милые. Ведь меня такими вещами можно так избаловать, что я совсем стану прохвостом. А может быть, именно такие крохи роскоши и нужны при такой дикой обстановке...

8.I.41. Шортанды.

<...> Мне очень грустно писать тебе это письмо. — Нынче я был принужден отдать Тайку Перегудину, чтобы он ее застрелил. Буран не прекращается. Дров осталось только на топку кухни завтра. У нас в комнате не топили совсем. Холод у меня такой, что я сейчас пишу тебе не у себя, а в своей лаборатории, т.к. у меня писать невозможно. Топ и Мотька еще кое-как выносят такую температуру, а для Тайки она невыносима...

Представь, каково мне было смотреть, как в буране скрылась монументальная фигура Перегудина в тулупе, увозящего на поводке исхудавшую в щепку, дрожащую, согнувшуюся, но, как всегда, безмолвную и кроткую Тайку. Как ужасно всякое убийство, хотя бы и произведенное с самой лучшей целью. Я совсем не слезлив. В последний раз плакал только после смерти мамы. Но нынче ничего не могу поделать с собой. Принимаю валерьянку, но реву весь вечер. Я утешаю себя тем, что поступил так по необходимости. И все-таки не могу найти себе оправдания, во всем своем поведении с Тайкой. Так испортить и уничтожить нежное, милое и кроткое существо. Если ты меня за это совсем разлюбишь, мне кажется, ты будешь права. Вот когда я совершил самое настоящее преступление. Но мне невыносимо тяжело и нынче, как никогда, хочется, чтобы ты меня пожалела и утешила. А Топушка меня жалел нынче. Сам замерзший, он подходил к моей кровати, на которой я лежал, мучась за Тайку, и очень тихо клал свою башку рядом с моей головой на подушку и так стоял долго...

28.I.41. Алма-Ата.

Милая моя Русюшка!

Вчера открылось совещание. Я встретил много всяких знакомых и полужнакомых людей, с которыми должен был видеться и говорить о делах. В перерыв пошел за паспортом в гостиницу. Его не прописали так же, как и паспорт В. В., и передали нам, чтобы мы с ним явились в милицию. Там нам было предложено немедленно выехать из Алма-Ата. КИЗ'овское начальство раскрыло рот от удивления. Оно пыталось за нас похлопотать, но этим окончательно испортило все дело. — Ему в решительной форме повторили, чтобы мы немедленно, в тот же день, выметались.

Вот видишь, Руша, как я прав, что отказываюсь от поездок в Москву. Уезжать отсюда так же скоропалительно мне было бы очень неприятно.

В результате поездки я очень устал и сильно осунулся. Один спутник в вагоне (наш партнер в преферанс) определил мой возраст в 43—45. Я совершенно здоров, но очень ослаб.

Прощай, ангел мой ненаглядный. Целую тебя, милая моя и любимая, и твои ручки.

9.II.41. Шортанды.

<...> Проглотивши этот щелчок судьбы, я тотчас же подумал, что у меня, хотя и далеко, есть ты, есть Оля, со мной мои собаки, я еще могу писать стишки, хоть и плохие, ловить и рассматривать насекомых, смотреть в альбомах картинки и изображения зданий, еще надеюсь охотиться. И все это налицо, чистоганом. И, очевидно, кроме этого, на милость Божию. А что до счастья, то, помнишь, я тебе писал как-то, что порядочному человеку, может быть, и неприлично быть счастливым. — За хама принять могут...

<...> Резоны за то, чтобы остаться в Шортандах, следующие. — В здешних местах больше привыкли и спокойней относятся к нашему брату <...>

21.II.41. Шортанды.

<...> Трудно тебе передать, какое угнетающее впечатление на меня это оказывает и как тяжело сознание необходимости жить с этими волками. В лагере я жил и имел дело с настоящими ворами и бандитами. Но с теми мне было легче. Они не были так черствы, и у них было самолюбие, что позволяло мне оказывать на них моральное воздействие. А эта публика лишена всякого стыда. Они знают, что по морде я им не дам и нож из-за угла не всажу. Они спокойно съедят любую моральную оплеуху <...>

23.II.41. Шортанды.

<...> Действительно, все мое счастье теперь заключается в получении писем от тебя...

<...> и я утешаюсь тем, что мы хоть с тобой и не вместе, а все же ухитряемся извлекать из своей любви столько, сколько многие не извлекают даже при самом близком сожительстве <...> нет, <...> и теперь, как два года назад, я продолжаю

считать единственным гениальным шагом в своей жизни женитьбу на тебе. Я был мудр, как Соломон, уговоривши тебя выйти за меня замуж.

<...> Говорил ли я тебе когда-нибудь, что я питаю совершенно особую симпатию к цыганам. Уж очень они приятны в обращении. Краснобаи, балагуры, всегда умеющие сказать приятное собеседнику. Помнишь старика Ивана на твоих именинах? В дороге в Алма-Ату в нашем вагоне ехали молодые цыган и цыганка. Я с удовольствием слушал их разговоры и поражался их находчивости и умению вести беседу. Кроме того, я очень люблю их русскую речь. Она правильная и очень какая-то архаично-народная. Однажды ночью цыган в одном белье слез со своей верхней полки (багажной) и отправился в уборную. Кто-то из пассажиров сказал ему: — Что ж ты разгуливаешь в одних кальсонах? — А ночь-то матушка. — Кто теперь из русских так хорошо скажет? Удивительный народ. Судьба их необычайная. А песни их и пляски. — От них с ума сойти можно...

7.III.41. Шортанды.

<...> Ты, очевидно, не веришь мне, что я любил тебя сильно задолго до твоего приезда в Шортанды. Уже давно, в Москве, я понял, что встреча с тобой не простой эпизод в моей жизни. Я не ставил себе никогда целью жениться. И вполне был готов к тому, чтобы всю жизнь провести холостяком. Но мне очень скоро стало ясно, что мы с тобой должны быть вместе всегда, что ты должна быть моей женой. Найдя в тебе полное несоответствие со всеми заранее нарисованными портретами своих женских идеалов, я только с большим удивлением говорил себе: — Так вот она какая моя жена. Но что ты именно и есть единственная возможная моя жена, — в этом я не сомневался ни минуты. Об одной тебе я думал, сидя в лагере, по одной тебе тосковал два года в Шортандах... Когда мы с тобой поженились, я понял, что я получил то, чего хотел больше всего <...>

14.III.41. Шортанды.

<...> Мне очень не нравятся твои последние письма... Тебе нужно отдохнуть как следует, повеселиться и пожить приятно. И тебя совершенно необходимо приласкать...

<...> Мне и так уж очень обидно, что я целых 35 лет прожил без тебя. Но вот наконец мы с тобой поженились. — А оказывается, что и тут мы пропадаем друг для друга. А время идет... И поневоле спрашиваешь себя, — что ж наше счастье днями считано будет?

<...> И когда я думаю, что ты после работы хочешь только спать, а я вечером еще могу что-то почитать, а иногда и написать что-нибудь, мне кажется, что моя жизнь даже лучше твоей <...>

21.III.41. Шортанды.

<...> На работе занимаюсь много и усердно. Безукоризненно соблюдаю трудовую дисциплину. Одним словом, — служу. Но от этой усердной службы очень тупеешь и мозг находится в бездействии...

Я впервые понял, что люди вступают в брак для борьбы с одиночеством. И брак только тогда достигает этой цели, когда люди хотят целиком быть друг для друга. И я подумал, что те двое живут в одном городе и под одной кровлей, но все-таки они одиноки. А мы с тобой не видались уже год и разделены огромным расстоянием. А все-таки мы не одиноки...

<...> мое чванство своей женитьбой не проходит с течением времени. Мне по-прежнему хочется хвастаться перед всеми, как я хорошо женился и какая у меня необыкновенная жена. Но хвастаться не перед кем. И я тешу хвастливыми мыслями сам себя...

<...> Собаки тоже тебя целуют.

24.III.41. Шортанды.

Вчера у меня был очень хороший день. Я вдруг как-то вышел из своего уныния, в котором пребывал все последнее время (даже это не уныние, а какая-то тупость и апатия). Дописал долго не удававшиеся стихи. Открыл секрет чтения Катулла. Я до сих пор не мог понять его оригинальных размеров и потому не понимал прелести его стихов. Вчера же вдруг разобрался, — и сразу же Катулл для меня засиял и засверкал. А научиться понимать хорошие стихи почти так же приятно, как и самому их написать. Потом я думал о насекомых и мне пришли в голову занятные мысли относительно теории системы. После обеда лег отдыхать и с наслаждением читал «М-те Вовару»*. Мне было очень приятно, что я опять ожил, что опять стихи меня восхищают. Впечатление такое, точно я снял темные очки, которые долго носил. Вечером я долго разбирал скрипичные сонаты Баха. Смотрел готические и итальянские домики. Вообще торопился съесть как можно больше всего прекрасного, пока это в меня входит. И даже вся жизнь мне показалась лучше, и я стал надеяться, что нам с тобой недолго осталось томиться, живя врозь...

* «Госпожа Бовари» (роман Г. Флобера).

<...> прежде у меня было всегда такое настроение, как вчера. В любой день и в любой час я мог, начавши читать Горация или Пушкина, притти в это состояние очарования. А теперь такие дни приходят, как редкий праздник. Если жизнь полегчает, будет ли все по-прежнему? Или же это уже усталость не временная, а весь мой дух уже сильно потускнел?

28.III.41. Шортанды.

<...> Самая ядовитая вещь — надежда. И она грешна. Не нужно умильно смотреть на Бога и ждать, не выбросит ли он тебе сладенький кусочек. Я же запрещаю сам Топу торчать у стола во время моей еды...

Так очень хорошо я взял направление мысли в лагере. — Ни о чем не просил начальство и ничего хорошего не ожидал. А вот оно все как хорошо получилось. Все же я еще не научился управлять собою.

1.IV.41. Шортанды.

<...> Какой это историей ты собираешься заняться? Историей ли вообще, какой-нибудь эпохи или историей архитектуры, искусства? Мне всегда было очень скучно изучать историю, последовательно изложенную в каком-нибудь руководстве или учебнике. Но я очень любил знакомиться с оригинальными документами или произведениями какого-нибудь времени. Историю интересно самому восстанавливать по кусочкам, шаг за шагом...

<...> Случилось так, что мне последнее время все попадают книжки о Гете. Довольно плохие. Но они опять будят во мне интерес к нему. И я чувствую, что скоро мне придется им заняться как следует.

За последние годы я от него очень отошел. Но было время, когда я жил только им.

28.IV.41. Шортанды.

<...> Я, к сожалению, не догадался пораньше спросить <...>, как обстоит в заповеднике* дело с харчами. <...> Можно ли там будет прокормить Топушу? Если окажется, что нельзя, я туда ни за что не поеду. Уж что угодно, — а с Топом я не

* Речь идет о возможности переезда на работу в Башкирский заповедник. Переезд не состоялся в связи с началом войны.

расстанусь. Пусть уж придется жить вечно в Шортандах. Но у меня ни при каких обстоятельствах не хватит духу отдать кому-нибудь этого пса. Это было бы просто бессовестно. Ничуть не лучше, чем отдать жену или ребенка. <...>

20.V.41. Шортанды.

<...> Я всегда считал, что человек, когда он в дурном состоянии духа, не должен показываться людям. Плохое душевное состояние не меньше некрасиво, чем какая-нибудь гнойная рана. Бессовестно совать всем на глаза свои болезни, телесные или душевные. Теперь я думаю, что письма писать в скверном состоянии тоже не следует <...>

16.VI.41. Шортанды.

<...> Трудно помириться с мыслью, что это и есть моя настоящая судьба — прожить до конца дней в Шортандах на каком-то полупроходном-полулагерном положении...

2.VII.41. Шортанды.

Милая моя Русюшка!

Как трудно стало писать письма. О чем я тебе писал прежде? — О всяких мелких событиях шортандинской жизни, о своих надеждах, о планах. Сейчас все эти темы пропали. О мелочах не пишется не только потому, что неудобно занимать письмо сведениями о Мотыке с Топом да о директоре, да о Перегудине, когда происходят такие большие события. Но и сам теперь я совсем мало думаю обо всей этой домашней ерунде. Невозможно ни на минуту отвлечься от войны. Тем более что газеты стали к нам поступать очень плохо, а радио нет. И эта неизвестность очень мучит и раздражает. Надежд (личных) тоже теперь никаких не стало. Я уж не могу думать ни о встрече с тобой, ни о заповеднике. В общем, состояние какое-то тупое, но в то же время беспоконное.

1.X.41. Шортанды.

<...> Жизнь в это время проходит бесплодно. Я искренне жалею, что я сейчас не молод или хотя бы не здоров. Как ни ужасна война, но время, проведенное на ней, — не потерянное. А я сейчас боюсь больше всего именно потери времени...

Сколько народу теперь позавидовало бы мне, что я живу в спокойном месте, под крышей, в тепле и сытый. — Но мне кажется, что я охотно оставил бы это свое спокойствие и лучше бы терпел все ужасы войны, но зато жил бы какой-то более настоящей жизнью...

12.X.41. Шортанды.

<...> Войну мы знаем только из газет...

Мы совершенно сыты, и у нас тепло в домах. Серьезно ощущается только недостаток мыла и курева. И в то же время как-то тяжело сознавать свое благополучие. Оно кажется ненормальным и заставляет ожидать чего-то страшного. Кажется, что было бы легче уже теперь испытать всяких бед, чем ждать их в будущем сразу оптом...

Я отпустил себе усы. Они рыжие. Стал гораздо почтенней. Часто меня не узнают...

10.II.42. Шортанды.

<...> невозможно читать Катуллу, писать стихи, заниматься наездниками <...> и писать тебе бодрые и жизнерадостные письма. Что нам судьбой послано, то нужно вытерпеть... Потому мне так и хотелось пойти на фронт. — Там некогда ломать голову над неразрешимыми вопросами.

В военное время здоровое сознание может быть только на войне.

Я довольно часто получаю письма от Над. Як., которая теперь стала почти моей соседкой. — Она с матерью эвакуировалась в Джамбултекул. обл. (бывш. Алма-Ата)*. Живет в колхозе. Трудно даже представить это существование. Она просит передать тебе привет <...>

* С конца ноября 1941 г. по конец июня 1942 г. Н. Я. Мандельштам с матерью жила в с. Михайловка Джамбульской обл.

12.II.42. Шортанды.

<...> мое увлечение Катуллом достигло высшей точки... Я, привыкнув к Горацию, не справлялся с его метрикой. Постигнул ее внезапно, и Катулл мне открылся. Он восхитителен и чем-то очень близок к Пушкину. Я перевел подлинными размерами два его стихотворения <...>

21.III.42. Шортанды.

<...> Очень рад, что ты достала книжку д'Орвиля о Брэмеле*. Я считаю, эту вещь одной из самых блестящих, какие мне приходилось читать. Во всяком случае, я не знаю лучшего литературного портрета. Я когда-то дал ее читать бедному Юлию Вермелю, надеясь, что он из нее уразумеет сущность дэндиизма и перестанет носить свой сюртук, галстук бантом, широкополую шляпу и плащ. Он прочитал и ничего не понял. Продолжал носить свой безвкусный и претенциозный костюм. Д'Орвиля ему очень понравился. Но он не понял, что дэнди должен обладать безукоризненным вкусом — и что дэндиизм — искусство <...>

26.IV.42. Шортанды.

<...> А все-таки я с раннего детства очень люблю весенние разливы. Это проявление стихии всегда приводит меня в особое радостное волнение. Я часами могу смотреть на разлившуюся реку, на мчащиеся льдины с таким же чувством, с каким я смотрю самые любимые мной картины художников, слушаю музыку самую прекрасную или читаю самые восхитительные стихи. Это волнение душит меня и вызывает слезы, и оно для меня самое блаженное и счастливое состояние...

8.V.42. Шортанды.

<...> Часто мне пишет Н. Я. Ее жизнь ужасна. Со старухой-матерью она живет в колхозе. Весь скудный скарб, что они захватили с собой, они уже давно проели. Больная Н. Я. ходит на работу, — роет арыки. Авансом им на трудодень выдают по 500 гр. муки, и это вся их пища. Но ведь проработанный день не для всякого трудодень. Н. Я. получает

* Барбе д'Орвиля. «О дэндиизме и Джордже Брэмеле» («Du dandysme et de George Brummell», 1845, рус. пер. 1912).

только какую-то ничтожную часть трудодня. Они голодают. Что их может спасти, если не чудо. Такие сообщения разрывают мне сердце. Будь Н. Я. одна, без матери, я предложил бы ей приехать ко мне... Двоих же их, во-первых, не прокормить. Во-вторых, хотя мамаша Н. Я. и славная старушка, но она обладает способностью сильно действовать на нервы всякими своими рассуждениями. А мои нервы никак не могут принять на себя еще дополнительную нагрузку. У Н. Я. есть нежно любимый брат*. Он живет сейчас совсем недалеко от нее — в Ташкенте. И он не забирает к себе хотя бы только мать. При этом, детей у него нет. Жена всегда достаточно зарабатывала. Это какое-то людоедство. Вот какие бывают братья и сыновья. И это, конечно, не исключение, а норма...

3.VI.42. Шортанды.

Что до Н. Я., то я знаю очень хорошо, что ее положение не исключительное. У нас в поселке много эвакуированных, и среди них многие оказались в крайней бедности. Всем не поможешь. Не то что всем, — сейчас я и никому помочь не могу. Но я знаю, что, если бы на моем месте был О. Э., а на месте Н. Я. — ты, то он, не рассуждая и думая о себе, сделал бы для тебя все, даже и не зная тебя, а только потому, что ты моя жена. Конечно, переезд Н. Я. из Джамбула, кругом всего Казахстана, сейчас просто вещь невозможная. Но в поведении всегда приходится оглядываться на свою совесть. А тут невозможно не подумать об Осипе. Впрочем, это вопрос только принципиальный, а не практический...

1.VII.42. Алма-Ата.

<...> Совсем измучился с греческой грамматикой... То ли дело итальянский. Я затратил на его изучение одно лето, занимаясь очень мало, и теперь читаю совсем свободно. До чего легкий и приятный язык. Мне кажется, что он усваивается как-то сам собой и что решительно всякий человек должен говорить на нем с самого рождения <...>

22.XI.42. Шортанды.

<...> Н. Я. постоянно просит передать тебе привет. Всегда про тебя спрашивает в письмах. Не думай, что это она делает, чтобы доставить удовольствие мне. У нее, у гадины, тонкое чутье, и она не могла не понять, какая ты прелестная <...>

* Евгений Яковлевич Хазин.

29.XI.42. Шортанды.

<...> Попасть на строевую службу я всегда хотел. Но даже если возьмут и в труд. армию, то и там жить я буду не хуже, чем здесь. — Там существуют какие-то нормы заботы о людях и обслуживания их. Хотя кормят горячим три раза в день. Отапливают помещение <...>

А все-таки организм понимает, что сейчас война и болеть нельзя. В этих собачьих условиях я стал грязноват, обрастаю бородой и волосами, оборван, голодноват, холодноват, — но вполне здоров... И стишки пишу. Значит, и мозги более или менее здоровы...

31.I.43. Шортанды.

<...> Получил только письмо от Н. Я., из которого был рад узнать что Анна Андр. совсем выздоровела от брюшного тифа и что она получила бодрое письмо от Левы, первое с начала войны*.

Вчера наш директор устроил грандиозный бал, в котором приняли участие все местные нотабли, а также Штейны, мои сожители и я. Харчей всяких сортов и видов было много. Но хамский характер хозяина и некоторых гостей мало украшали это торжество. С самого начала, до подачи пищи гости должны были культурно развлекаться. Части из них было предложено домино. А меня засадили играть в подкидного дурака с начальником станции, его супругой и еще одним человеком. В более дурном обществе я, кажется, не бывал никогда в жизни. Игра сопровождалась жульничеством, заглядыванием в чужие карты, страшным азартом и боязнью проиграть, хотя играли не на деньги. Думали по часу над ходом. Моим партнером была жена начальника станции. Она все время ссорилась с мужем и кричала мне: «Прячьте карты. Ведь он ночует у вас в картах!» А ему: «Коля, ведь ты ночуешь у них в картах!» Когда мы проиграли, то она ему сказала, что нечего ему радоваться, что жена дура. А супруг на это ответил: «Вот с дурой-то и интересно спать». Но такие гости были не все. Комендант нашего поселка человек вполне приличный.

Выпив как следует, он не горланил песню и не топтал. С ним я и провел большую часть вечера... Гуляли аж до четырех часов утра. В это время три кучера томились в канцелярии, где для них была зажжена лампа, чем и была ограничена забота об этом нашем сословии.

Им не поднесли ни рюмки водки и ничем не угостили. Проходя мимо, я не знал, какими глазами смотреть на них. Погода была прекрасная. Самым далеким гостям до

* См. с. 693 наст. изд.

дому было километра два с половиной, а ближайшим — полверсты. Неужели нельзя было отпустить лошадей и вернуться домой пешком? После я думал, что же есть общее между всеми членами вчерашнего общества, исключая Штейнов и моих сожителей. — Нашел: полное отсутствие даже следов джентльменства... до чего хочется вырваться из этого зверинца!

16.VIII.43. Шортанды.

<...> Еще восемь лет назад я тебе писал, что мое душевное состояние зависит только от тебя одной. С тех пор это стало не меньше справедливо, а больше. Видеть тебя было моим единственным сильным желанием. А надежда жить с тобой вместе осмысливала всю мою жизнь...

<...> Я понимаю, что ты можешь любить только живого, реального человека, а не отдаленный миф, пишущий письма. Это твое качество, такое же дорогое для меня, как и все остальное. Я на него не досадовал, как не досадовал на твою ни на что не похожую орфографию. Но я надеялся, что мы когда-нибудь будем жить вместе и нам не придется переписываться. А теперь ясно, что этого не будет никогда. И я несколько не сгустил краски, когда сказал, что я «почти жив»...

<...> Что моя жизнь сложилась так, никто, кроме меня, не виноват. Да она и не могла сложиться иначе. Я ни в чем не раскаиваюсь. И не порицаю своего поведения в прошлом. Но за все нужно и расплачиваться с полным мужеством...

5.XII.43. Шортанды.

<...> Я смотрю, что наш брак мне принес только одно хорошее, а все трудности, вытекающие из него, достались тебе. Когда я тебя уговаривал выйти за меня замуж, я говорил, что буду твоей опорой. А получилось так, что опорой-то оказалась ты. Это я особенно чувствую теперь, после твоего отъезда, когда я увидал, как ты меня укрепила морально. Потому мне так и хочется жить с тобой вместе, что тогда я смогу хоть в мелочах каких-нибудь позаботиться о тебе. — Скрутить тебе папироску, подкутать тебя, когда ты ляжешь отдохнуть, согреть твои ноги или хоть покормить тебя каким-нибудь дрянцом, вроде смородины... Так тебя любить, как я люблю, никто не может. Потому что только моя гениальность позволяет понять, как ты прекрасна.

<...> Нынче у меня открылось новое знакомство. — Ко мне явился один человек и отрекомендовался профессором Крюгером, доктором исторических наук. Сейчас он состоит в должности учителя в здешней школе.

Выяснилось, что с ним можно разговаривать о литературе, нашей и иностранной, о всех стихах, включая и латинских классиков, о музыке и картинах. Он заведовал одним из отделов Эрмитажа... Он взялся обучить меня греческому языку. Представляешь себе, какая это для меня радость? Обогащаться греческим это такое дело, ради которого не жалко хоть и пять лет просидеть в каких-нибудь Шортандах. Сейчас эта мысль меня воодушевляет настолько, что я и думать не могу о таких мелочах, как диссертация, которую я уже почти закончил писать. Но не только это. — Я теперь смогу говорить с кем-то о самых прекрасных вещах. У меня появился постоянный собеседник, какого я был лишен уже почти девять лет...

Помнишь, я все говорил об изучении персидского языка? Этой возможности пока еще нет. А тут оказывается неповторимый случай изучить греческий.

15.XII.43. Шортанды.

<...> Я читаю Шиллера и все больше получаю от него удовольствие. В одном очень известном его стихотворении говорится, что людям для их утешения посланы надежда и наслаждение. Но они никогда не достаются оба одному человеку, а либо то, либо другое. Я по этому поводу подумал, что нам с тобой второго из этих благ совсем не должно было достаться, потому что мы все живем надеждой. Но, к счастью, поэтические мысли не имеют строгости законов физики. — Я считаю, что того счастья, какое ты мне уже принесла, больше, чем у иного человека за долгую жизнь накопится. Мне с тобой, Руша милая, очень хорошо. И думать о тебе тоже хорошо...

27.IV.44. Алма-Аты.

<...> Вчера состоялась моя защита...

Настроение аудитории мне было совершенно неизвестно. Я мог ожидать всего. Не похваюсь, что перед защитой я был вполне спокоен. Меня наконец вызвали на кафедру и зачитали мою интересную биографию во всей ее красе. Моя видимость вряд ли импонировала научному собранию. Единственное, чем я мог украсить внешне, это гладко выбритой физиономией. Но я помирал от стыда за свою грязнейшую рубаху, напоминающую омерзительным серым цветом лохмотья беспризорников... Мне казалось, что все складывается наихудшим образом... Я ведь очень плохой оратор. Но тут вдруг заговорил совершенно спокойно, легко и гладко. Всякое мое волнение прошло. По лицам слушавших я понял, что это оказывает на них хорошее действие...

Один тип, по-видимому, задался целью подковырнуть меня. Я заметил беспокойство среди своих друзей. После выступлений официальных оппонентов, из которых один заявил, что я защищаю кандидатскую диссертацию только по недоразумению, а что мне следует защищать докторскую, каковой степени я достоин по-настоящему, — выступили двое КИЗ'овских работников, которые так нахваляли меня, что я пропадаю от стыда. По лицам членов совета и по их сочувственным улыбкам, обращенным ко мне, я понял, что дело в шляпе. Так оно и оказалось. Если вначале я был взволнован неприятным ожиданием, то после не меньше меня взволновало это всеобщее участие. Человек 10—15 переживали мою защиту не меньше меня самого. И ведь всем этим людям я, собственно, совсем чужой. Что я им сделал хорошего? И это не только мои коллеги, но и начальство. Оказалось, что директор КИЗ'а, Бабаев, организовал на случай возможных осложнений целую тяжелую артиллерию. Другой казах, Джуматов, директор с-х. Института, тоже позаботился кое о чем. Да он, собственно, и сделал возможной для меня всю защиту. Мобилизовались и наркомземовское начальство. О своих старых друзьях — Мальковском, Архангельских — я и не говорю. Я остался очень доволен тем, что хорошо доложил и не заставил всех этих людей страдать за себя...

Я считаю, что это событие — важнейший шаг в деле моего выкарабкивания из ямы в будущем. Учитывая свою пассивность, я считаю, что совершил подвиг. Сколько я перемучился <...>

19.V.44. Шортанды.

<...> Эта неделя прошла у нас в ожидании гостей. Нам сообщили, что нашу станцию должно посетить какое-то очень высокое начальство. В один день побелили все здания, всюду подмели, подчистили, все привели в порядок. Председатель нашего Райисполкома, увидев, какие мы все ходим оборванные, совершенно справедливо решил, что в таком виде научным работникам неудобно щеголять перед высокими гостями. Он распорядился всем нам сшить в местной мастерской суконные костюмы, верхние рубашки и выдать башмаки. Вся эта пошивка должна была быть произведена меньше чем за сутки. Но шерстяной материи в наличии не оказалось. Также рубашек и обуви. Нам сшили бумажные штаны из синей материи и такие же гимнастерки. Мерку с нас брали очень тщательно. Тем не менее, мне и В. В. так укоротили рукава, что гимнастерка — хоть выброси. А жаль, — во всех остальных отношениях они сшиты вполне хорошо. Я же рад хоть и бумажным штанам, потому что скоро должен был очутиться без всяких. Гости ждали со вторника. Нынче уже пятница, а их все нет...

29.VIII.44. Шортанды.

<...> Я последнее время стал довольно равнодушно относиться к будущему. Во всяком месте как-то можно жить. Всюду найдешь очень мало хорошего и очень много плохого. Но, как я убедился, этого хорошего и нужно-то совсем микроскопическую порцию, чтобы хотеть жить. Ведь почти наверное я найду в Алматах греческий словарь, а может быть, и грамматику. Вот и будет чем прожить год-другой <...> занятия греческим языком идут полным ходом. За отсутствием более легких книг, мы с Крюгером сразу же принялись читать Платона.

<...> греческую Библию читаю уже довольно свободно. А впереди прекраснейшая перспектива читать греческих поэтов...

3.X.44. Шортанды.

<...> Всякое крушение надежд очень неприятно <...> если они проваливаются, то нужно это принимать, как проигрыш в игре... Мне ведь хуже, чем тебе. У тебя все же остаются родные, близкие друзья и деятельность. А я, утратив надежду жить с тобой вместе, остаюсь только с тем, что есть во мне самом. А ты думаешь, это сладкий источник существования? Легко так жить?

1.XI.44. Алма-Ата.

<...> Самый тревожный для меня, впрочем, вопрос штанов. Эта моя принадлежность теперь состоит из сложной системы заплат, соединенных тончайшей паутинкой основной ткани. Снимаю их и надеваю я с величайшей осторожностью, чтобы резким движением не привести их в совершенную инвалидность. Вот когда я понимаю как следует Акакия Акакиевича. Но у него было больше возможностей сэкономить что-то из своей зарплаты...

4.II.45. Алма-Ата.

<...> я только твоими письмами и живу...

<...> Я сооружу себе полку вроде шортандинской и расставляю на ней свои книги. Я по ним ужасно соскучился. Впрочем, я успел уже довольно много достать их

здесь. Особенно греческих. Постепенно, у меня подобралась недурная греческая библиотечка. К сожалению, хотя книги стоят «много дешевле харчей, но они все же довольно дороги». А я никак не могу удержаться, чтобы не завернуть по дороге в книжный магазин и не купить там что-нибудь старенькое...

8.IV.45. Сталинабад.

<...> Отыскал Н. Я. Она живет в ужасной берлоге и в крайней бедности. Но Ташкентом довольна и уезжать из него в Москву не хочет. Ей я обязан восхитительным новым знакомством. Она несколько раз писала мне про композитора Козловского. Мы пошли к нему. Он уже был знаком со мной заочно. В таких случаях всегда волнуешься, такой ли окажется человек, каким тебе его описывали, и не разочаруешь ли его сам. И вот я в первый раз в жизни разговаривал с человеком, не меньше меня самого одержимым Бахом. Это настоящее блаженство. — Говорить все, что ты думаешь, без боязни, что тебя примут за чудака, или сочтут, что ты оригинальничаешь. Из-за него одного мне страшно захотелось поселиться в Ташкенте. И мысль о возвращении в Алма-Ату я отгонял, как дурной сон. Жена Козловского тоже очаровательная*. Когда Н. Я. оповестила их о моем приезде, они пригласили к моему приходу прекрасного пианиста. И в тот вечер я слушал впервые за десять лет первосортную музыку. Нагрузка оказалась слишком сильной для моих нервов. Я к ним забегал еще. И сейчас мечтаю выкроить на обратном пути еще денек-другой, чтобы еще повидаться и поговорить...

24.V.45. Алма-Ата.

<...> Твое сообщение, что Гал. Лонг, твоя двоюродная сестра, меня просто ошеломило. Каким далеким обходом я добрался до твоей родни, да еще такой милой. Мне стало досадно, что я узнал об этом только теперь, а не в Ташкенте. И в то же время я пришел в новый восторг от тебя. — Все, что связано с моей Рушей, очаровательно. Такая уж от тебя идет благодать. Это, конечно, ты прежде всего прекрасная. А от тебя во все стороны излучение. Почему ты мне никогда ничего не рассказывала о Г. Л.? С Ал. Фед. мы чудесно говорили о музыке и немного о стихах, которые он любит несомненно. Этим он меня очень к себе расположил.

* Алексей Федорович и Галлина Лонгиновна Козловские. А. Ф. — композитор и дирижер, создатель узбекской национальной оперы. Г. Л. — блестяще образованный человек, певца и литератора, автор воспоминаний. Оба они близкие друзья А. А. Ахматовой и адресаты ее нескольких стихотворений. (Примеч. М. А. Давыдова).

27.VIII.45. Алма-Ата.

<...> Опять нет никакой почвы под ногами. — В июне арестовали Мальковского, с которым я был так связан по работе и который вообще был здесь для меня наиболее близким человеком.

<...> Приходится думать теперь о его детях и матери...

25.I.46. Алма-Ата.

<...> У нас в доме поселилась семья казахов, состоящих при кизовских лошадях. У них очаровательная собака. Шерсть густая и пушистая, как у сурка, хвост пушистый, ножки коротенькие. Пес очень ласковый, но умеющий постоять за себя, хороший сторож и умница. Когда я выхожу, он хватает меня за рукавицу и так бежит, как на привязи, рядом. С его появлением моя жизнь стала много интереснее. До этого меня немного развлекала коза, принадлежащая бухгалтерше. Она очень интересовалась саксаулом и всегда приходила мешать мне, когда я выходил его колоть. Она хоть и брюхата, все же очень грациозна и ласкова. Детей и женщин боится всерьез, но ко мне только ласкается или трогает меня рогами в шутку. Но все же она дура. С собакой не сравнить. Составить человеку компанию она не может...

4.I.47. Алма-Ата.

<...> Я тебе пишу аккуратно каждую неделю по пятницам и все письма отправляю заказными. Поэтому тебе легко следить, доходят ли мои письма. — Если пропуск между датами двух писем больше недели, — значит, письмо пропало. А они пропадают. Вчера я получил письмо от Н. Я. Она страшно обижается, что я ей не отвечаю. Между тем я ей писал, а от нее уже два месяца не получал ничего <...>

14.III.47. Ленинград.

<...> Как я и предвидел, жизнь я здесь веду вполне будничную и трезвую. Ленинградцы все любезны, но не уподобляются дикарям в гостеприимстве и хлебосольстве. Каждый приглашает «заходить как-нибудь». Я благодарю, говорю, что непременно как-нибудь соберусь, записываю любезно сообщаемые адреса и телефоны, но, конеч-

но, никогда этих записей не использую. — Нет, прочные корни у меня только в Москве. И мое сердце от нее оторвать невозможно. Но работать здесь куда лучше...

<...> Вчера к вечеру в ЗИН'е погас свет, а следовательно, и у меня на квартире. Поэтому я пошел с хозяйкой и ее соседями в кино на знаменитую «Девушку моей мечты» или как ее там называют. Остался вполне доволен...

3.V.47. Алма-Ата.

<...> Наше путешествие протекло вполне благополучно <...> Также хорошими остались до конца и отношения со всеми соседями. Это были, по большей части, молодые солдаты, возвращавшиеся домой после демобилизации. Они сходили на разных станциях. Прощание с каждым из них было самое сердечное. Несколько ребят просили мой адрес, желая написать, как им удастся устроиться. Особенно славный мальчик был один туркмен, совсем мальчик. Он очень мечтал стать музыкантом. Но на войне он был ранен в руку. Играть уже не сможет. Кроме того, ему придется взять на попечение свою мать... В нем столько мягкости и деликатности, что я ничего не имел бы против того, чтобы он оказался моим сыном <...>

<...> А в Джамбуле к нам подсел совершенно очаровательный спутник. Пожилой казах с сыном. Это человек тонко воспитанный и образованный. — Математик. Читал курс высшей математики в каком-то вузе. С ним можно говорить обо всем. Он прекрасно помнит латынь и знает латинских классиков. Но помимо всего этого, он очень милый и умный человек. Я не только среди казахов никогда не встречал таких, но и из русских ученых вряд ли много смогу насчитать людей такой настоящей культуры. Его сын студент горного института, недавно демобилизовавшийся. Тоже очень милый, воспитанный и, как видно, умница. Мы сразу же разговорились с этим человеком. Его участь оказалась сходной с моей. Но заключения его кончились совсем недавно.

Он просил разрешения зайти ко мне, чтобы поговорить о тех вопросах, которые и для меня имеют самый острый интерес <...>

14.XII.47. Алма-Ата.

<...> Я вижу, что эта диссертация меня страшно опустошает. Я точно потерял что-то, что делало меня интересным самому себе. И мне кажется, что и для других я теперь стал скучен. И мне теперь понятно, почему почти все ученые так невыносимо скучны. Я твердо решил, что если защищу диссертацию, то после всю жизнь буду заниматься наукой только в той мере, в какой это доставляет удовольствие. А иначе

превратишься в ученого осла. Совершать научные подвиги и «отдавать всю жизнь служению науке» так же глупо, как сидеть столпником или носить вериги. Делать это могут только те, кто не может понять прелести ни в искусстве, ни в спорте, ни в самой жизни, включая сюда и пищу, и добрый выпивон, и человеческие отношения, и общение с животными.

И во всяком случае заниматься наукой следует только из интереса к ней, а никак не для получения чина. Не будь передо мной этой цели, я сейчас работал бы гораздо с большим удовольствием <...>

25.III.51. Алма-Ата.

<...> У меня теперь завелся новый корреспондент. — Жена Любищева. Как видно, дама очень энергичная и бойкая. И очень любит А. А.

Но я считаю, что супруги должны любить друг друга совершенно бесшумно. Можно восхищаться своей женой или своим мужем. Можно даже преклоняться, благоговеть. Но только про себя... А жена А. А. восхищается им вслух <...>

8.IV.51. Алма-Ата.

<...> Вчера пришло мне приглашение на заседание, посвященное памяти Алексея. Заседание это состоялось третьего дня. И я, хоть, конечно, быть на нем не мог, все же из-за этого приглашения весь день вчера думал об Алеше... Я думал все время о его необычайной талантливости... И не могло, конечно, мне не прийти на ум печальное сравнение его с моей собственной персоной. — Как безобразно мало сделал за свою жизнь я. И я сначала принялся было упрекать себя за свою лень. А потом сообразил, что я вовсе не так уж ленив. Мои мозги всю жизнь мою были очень деятельны. И ведь всегда я много всем занимался. Но от этих занятий осталось слишком мало видимых следов. Я понял, что я почти всю свою жизнь наблюдал и думал. И придумал всего не так уж мало. Но все это такое, что изложить этого вслух никак нельзя. А Алеша — молодец. — Он придумывал такие вещи, какие можно высказывать. Конечно, главное то, что он их хорошо придумывал. Но все же и самое направление мозгов его и моих сыграло решающую роль в судьбе каждого из нас <...>

<...> С мучением и наслаждением читаю Карамазовых. Сотрясаюсь умом и гением Достоевского. Думаю, что в области морали никто не достигал таких вершин, как он. А ведь в то же время как он умел ненавидеть, хотя бы, например, все не русское, особенно поляков и евреев. Страшно прямо подумать, что он в этом был прав...

1.VII.51. Алма-Ата.

<...> Докторская благодать уже теперь начинает довольно ощутимо оссиять меня. — Решпект ото всех возрастает невероятно. Беда будет, если меня не утвердят <...>

3.IX.51. Алма-Ата.

<...> После Маяковского я, перечитал, как всегда — с восхищением, «Мертвые души». На этот раз я сделал открытие, что в них есть один несомненно положительный тип. Это — Собакевич. Еще читал Шевченко. Не без интереса, а иногда и не без удовольствия <...>

29.I.52. Алма-Ата.

<...> Вчера пришло извещение из ВАК'а о моем утверждении в докторском чине <...> Другое важное событие произошло в конце прошлой недели. — Ощенилась Мушка <...> Я думаю, что ничто не придает жилью такого уюта, как сука со щенятами <...>

20.III.52. Алма-Ата.

<...> Почета от докторского звания мне становится все больше. Но я бы предпочел, чтобы больше было денег...

27.XI.53. Борок.

<...> Я доехал вполне благополучно. С обоими соседями по купе не сказал ни одного слова. Спал в вагоне, хотя и мало, но зато скверно. Проводница, пораженная щедростью моей расплаты за чай, вытаскивала мои вещи, как сукина дочь. Меня встречали у самого вагона, и таскать вещи мне не пришлось <...>

<...> Твой подарок он <И. Д. Папанин> принял с большим удовольствием. Как раз сейчас он сидит в своей комнате и, попивая рейнвейн, очень его похваливает...

28.IX.54. Борок.

<...> Без тебя стало страшно скучно. Даже пасьянс не идет. Но откуда-то вдруг появилась масса свободного времени. Я ринулся в шахматный турнир. Пока поставил пистон дикарю-казаху и Вовку. Хочу и остальных всех обштопать. Чтобы, сукины дети, могли чувствовать, что замдиректора по науке страшен, когда от него уезжает жена.

В остальном пока ничего интересного нет. Гриппер, по-видимому, прошел. Сердце слегка тянет. Ада Конст., уехавши, велела следить за мной медсестрам. Приходят две такие дуси! Сердце рвется от восторга. Но благоразумие, благоразумие! И все же я боюсь, что если эти цыпочки будут продолжать навещать меня, то я в конце концов не выдержу. И тогда — инфаркт, инфаркт. А грех будет на тебе. — Нельзя оставлять пылкого мужчину с хреновым сердцем среди соблазнов, усугубляемых начальственным положением...

18.IV.55. Борок.

<...> Уже перед сном принялся читать «Фауста». Я его давно не читал. Пришел в совершенный восторг, какого, как мне кажется, прежде от него не мог испытывать, потому что был еще глуп. И в таком блаженном состоянии лег спать <...>

Главный бухгалтер внушает мне, что для меня никаких норм не существует и я могу выписывать себе харчей, сколько мне нужно. Но мне очень не хочется пользоваться такой хамской привилегией...

26.V.57. Борок.

<...> Кошка доехала благополучно <...> Ивану* она очень понравилась. Он сказал, что ее нужно назвать Маркизой. В Угличе, куда мы пришли еще до 8 часов утра, он велел остановиться, заявив, что ему нужно зайти в горком партии. На самом же деле остановка была сделана для покупки кошке молока...

* И. Д. Папанину.

27.VII.58. Борок.

<...> Вчера прочитал в «Лит. газ.» более чем скромное уведомление о смерти Зоценко. — Такое, мол, пустяковое событие. А ведь по-настоящему 22 июля (когда он умер) должно было бы быть днем национального траура. А может быть, оно и лучше, что не было никакой шумихи. Великому писателю это, впрочем, больше подходит. Вечером я отслужил по нем панихиду из Моцарта и Баха. Интересно, много ли нашлось людей, по-настоящему оценивших значение этого события. Единицы это, десятки, сотни или тысячи... И во всем Бороке я ни с кем не могу ни слова сказать о Зоценко. Подумать страшно, какая пустыня кругом...

ИЗ ПИСЕМ Б. С. КУЗИНА К СЕСТРЕ О. С. КУЗИНОЙ

9.VI.36. Лагерь.

<...> Относительно твоего приезда <...>

Я признаюсь, что я не очень хотел показаться тебе в таком состоянии, в каком я был в конце зимы. Но теперь я совершенно поправился <...> Мне досадно, что этот год так мало дает в отношении сбора материалов. Все же я усердно собираю все, что только возможно... Пожалуй, это верно, что у меня здесь ты отдохнешь немного. Я буду кормить тебя жареными тушканчиками, которые очень хорошо ловятся в капканчики <...> Я теперь стал очень часто видеть сны. И почти всегда мне снится мама, по большей части веселая <...>

30.VII.36. Лагерь.

<...> И, хорошо зная себя, я с огорчением вижу, что люди меня часто принимают за нечто лучшее, чем я есть на самом деле. Вместе с твоим письмом перед отъездом я неожиданно получил открытку от старика М. Н. Римского-Корсакова из Ленинграда, который даже вовсе не так уж близко знает меня. Несколько слов, совсем пустяковых. Никогда наперед не скажешь, как поведет себя тот или другой из знакомых при таких обстоятельствах. Я был до крайности тронут этой открыткой. А по возвращении меня ожидало здесь большое и очень хорошее письмо от А. П. Семенова-Тян-Шанского и присланная им же статья о нем <...> и вышедшая в издании «Academia» книжечка его переводов Горация. Этот старик вообще исключительно хорош ко мне все время и пишет постоянно <...>

1.V.37. Лагерь.

<...> Я действительно очень позавидовал тебе, что ты слышала Петри. Отсутствие музыки — единственное серьезное лишение, которое мне приходится здесь испытывать. И еще когда-когда я услышу настоящую первосортную музыку не по радио <...>

16.VII.37. Шортанды.

<...> Если бы ты знала, на каком волоске висело мое освобождение. — Ведь почти всем сняли все или почти все зачеты. Исключения были крайне редки. Я сам несколько не надеялся выбраться с БОЦОП'а раньше будущего года. А потом как мучительна была процедура освобождения. До самого момента получения паспорта не было уверенности, что меня освобождают не по ошибке и что ошибка эта в последнюю <минуту> не будет исправлена.

Но даже в тот день, когда я получил паспорт, отправлял свою первую телеграмму, я не испытывал никакой радости, потому что мои перспективы на дальнейшее существование были совсем безотрадны. Только приехавши в Шортанды и будучи здесь в первый же день зачислен приказом на работу, я вполне успокоился...

Я свободен, имею кров и службу и перспективы на улучшение жизни в будущем. А главное, могу всем писать, сколько угодно, и получать письма.

<...> Я <...> скоро приступаю к возмещению убытков, причиненных мной всем вам в течение этих лет.

31.VII.37. Шортанды.

<...> Самое ценное свойство в людях это — такт. Тактичные люди встречаются гораздо реже умных и добрых <...>

13.VIII.37. Шортанды.

<...> Ты себе представить не можешь, до чего все мое самочувствие зависит от писем. День с письмом и день без письма для меня — белое и черное... Но в общем, я не могу сказать, чтобы я сколько-нибудь хандрил. Я даже сам себе удивляюсь. —

Я ведь всегда очень любил общество и много времени проводил со всеми своими друзьями и родными. Здесь же я лишен какой бы то ни было компании. В лагере все же были люди, с которыми я мог поговорить.

С Ник. Ал. — о музыке, о языках и на всякие прочие темы. С Ал. Ник. Казанским о жуках. Разговаривал постоянно с Георг. Як. Часто виделся с А. П. Здесь же ни один из обитателей не читал ни «Войны и мира», ни «Евгения Онегина»... И тем не менее я несколько не скучаю <...> Первые дни <...> эти занятия состояли, главным образом, в изучении испанского языка и в чтении Киплинга и Гёте <...>

Еще я задумал написать сочинение по систематике, теоретического свойства.

31.VIII.37. Шортанды.

<...> Сколько жизнь меня ни учит, я не могу привыкнуть к невкусным харчам и перестать любить вкусные.

<...> Ничего так не хочется, как музыки <...>

16.XII.37. Шортанды.

<...> Ты не думай, что мне жить плохо <...> Совершенно неоценимое достоинство Шортандов, что здесь жизнь исключительно спокойная <...> на всей станции нет ни одного вредного негодяя. Наоборот, вся публика, хоть и мало интересная, но очень славная.

<...> Она <собака> здесь для меня единственное существо, которое я люблю и с которым я могу разговаривать о всяких глупостях. И главное, я знаю, что и она меня любит без памяти и во всем мне доверяет <...>

20.III.38. Шортанды.

<...> За эти три года вполне выяснилось, кому из моих знакомых и друзей я был нужен по-настоящему. Эти люди мне писали. Уж во всяком случае с прошлого лета писать могли бы и те, кто воздерживался до этого <...> Трусость — качество, быть может, и неплохое. Я умею уважать его в других. Но любить не могу. Ни прежде, ни теперь сам я так не поступал. В вопросах дружбы и товарищества у меня позиция довольно определенная и твердая.

24.X.38. Шортанды.

<...> Я очень ясно представляю себе все убожество разговоров за столом на Арбате. Но чего ты хочешь? — Ведь там собираются дикари с высшим образованием и с профессорскими званиями. Подумай, какая там культура. Она ведь сообщается или очень хорошим воспитанием, или большой работой по изучению самых различных отраслей науки, искусства, сторон жизни. Ее может с успехом заменить природный вкус или, что почти то же, — такт. Никаких этих факторов там нет налицо. Вот и получают дикари, способные изготавливать хорошие научные работы, лепить безвкусные статуэтки и рассуждать о туризме <...> За что я искренне люблю Е. С.? Ведь так, по всем своим качествам, он заслуживал бы, самое большее, просто хорошего отношения. Но у него есть врожденный вкус, который сообщает ему черты настоящего благородства <...>

<...> Полуобразованные люди — самое неприятное общество. И тем оно неприятнее, чем выше их полуобразование <...>

<...> Но я всегда мечтал о военной карьере, о подвигах и о путешествиях... Этот рыцарский дух сильно поддерживал папа, который читал мне и дарил книги про всякие путешествия, и, хотя он не любил никакой военщины, но всегда приказывал «быть мужчиной» <...>

13.VI.39. Шортанды.

<...> В том, что Алексей успешно построит свою научную карьеру, я никогда не сомневался. Очень рад, что диссертация его была хорошая. Что же до его отношения ко мне, то я теперь уже совершенно точно провел черту между своими подлинными друзьями и просто бывшими знакомыми. Я вполне верю, что А. может быть обо мне самого хорошего мнения. Но я ему низачем не нужен. Конечно, ему могло бы доставить некоторое удовольствие проведение времени со мной в приятной обстановке. Но таких друзей можно иметь очень много. Я даже допускаю, что он охотно что-нибудь сделал бы для меня (конечно, если бы это нисколько не повредило его репутации и не отняло бы много труда). Но сделал бы это из принципа.

Дядя Ероша* и Илья Сергеев** расположены ко мне гораздо искреннее и сердечнее. Когда грамотный человек говорит, что ему трудно писать письмо, то это справедливо только с той поправкой, что трудно писать, когда не ощущаешь в этом настоящей потребности.

* Сапожник. (Примеч. М. А. Давыдова).

** Столяр из Зоологического музея (см. Воспоминания — с. 40—45 наст. изд.).

Если не считать тебя и тетю Эммочку (может быть, Шуру), да Русю, и если совсем откинуть всех баб, то за все это время я видел настоящую потребность в общении со мной только со стороны двух человек. — Е. С. и бедного Осипа.

Нечто подобное проявлял еще Любищев, но мы слишком мало с ним общались прежде. Я очень высоко ценю Н. Н. Он образцовый товарищ. Но он все делал для меня. А Е. С. и О. Э. поддерживали отношения со мной для себя. И им это было нужно. И только их двоих (а теперь только одного) я и считаю своими настоящими друзьями. А всем остальным желаю всяческих благ и успеха в жизни, но рассматриваю их, как явления совсем посторонние, связанные с моей судьбой лишь случайно в какой-то период. И теперь для меня, что Алексей, что Кузьмич, что Гурьяныч — безразличная внешняя среда. На этих двух я никогда и не расходовался душевно, умственно и морально. Тому когда-то от меня кое-что перепало. Но это все было давно. События позволили мне оценить и положить добрую сотню моих бывших знакомых в один общий ящик, в который не вместились всего только два человека. Процент, хоть и небольшой, но, пожалуй, законный.

18.VIII.39. Шортанды.

<...> У тети Эммочки есть один недостаток. — Она не понимает и не прощает людям их слабостей. А вполне близкими могут быть люди, которые не только их прощают друг другу, но именно за них-то друг друга и любят <...>

2.X.39. Шортанды.

Дорогая Ольга Сергеевна!*

Очень была тронута получив Ваше поздравление и даже немного удивилась откуда Вы знаете этот день. Какие Вы, простите, пишете глупости о каких то осозаемых поздравлениях. Пожалуйста ничего не посылайте, еще не хватает Вам, мало Вам хлопот. Свои именины провела очень хорошо. Сделала 3 пирога и угощала одних за обедом а других за ужином. После отъезда Е. С. мы уехали с Борисом в поездку, по его делам, и вернулись только 30.IX. Ездили очень хорошо, только последние дни было очень холодно, а мы спали все время в степи и вставать было трудновато. Об умыванни никто и не думал и так было хорошо. Я надела на себя все что у меня было и выглядела довольно поскудно. Утешались спиртом кот. пили с утра, каждый по потребности. Я 100 грамм, Борис 200 и Билин 300.

* Письмо написано А. В. Апостоловой (синтаксис и орфография подлинника). Приписка Б. С. Кузина.

Оба они страшно нажирались чесноку и когда мы ложились спать я просила ко мне не поворачиваться т.к. пахло перегаром спирта и чеснока. Вообще Борнс меня страшно разочаровал, он оказался очень вульгарным типом. Трудно так ошибиться в человеке...

Я чувствую себя совершенно несчастной женщиной. Е. С., я думаю сам Вам расскажет как он спал в мешке, если Вы вообще сможете говорить с мужчиной о таких интимных вещах. Я знаю только, что вечером он выпивал только один стакан чая, правильно очевидно рассуждая, что «чай на ночь одно безпокойство».

Сегодня ели утку кот. я убила, она была очень жирная и мы обмирали от удовольствия стараясь съесть побольше и вспоминали Вас т.к. Вы тоже любите скушать чтонибудь подобное. Ехать в Москву пока еще не собираюсь, очень не хочется и думать о ней. Вообще же живем тихо и несмотря на вышензложенное ругаемся мало, верно потому, что у меня чудный характер. Пока кончаю письмо т.к. Борис просит оставить ему место, верно из экономии бумаги (он еще очень жаден ко всему). Передайте пожалуйста мой привет всем Вашим. Мечтаю убить гуся больше кажется не о чем <...>

<...> Я оказался очень несчастен в своем браке. Руська хулиганит и безобразничает. Со мной обращается нахально и непочтительно. Впрочем, она очень здорово все мне зашивает, а иногда чудно готовит пищу. Нынче утром мы с ней ели уточку, убитую ей на охоте. Холодная утка с брусничным вареньем — пища божественная <...>

26.VIII.44. Шортанды.

<...> Я на прошлой неделе совершил поездку в Боровое. Академических стариков собираются на этих днях реэвакуировать оттуда в Ленинград, и я поехал повидать некоторых из них. Очень трудно было добраться от станции до курорта, где они живут. Поэтому времени на свидание с ними и на разговор было у меня совсем в обрез. Я навестил только М. Н. Римского-Корсакова и Л. С. Берга. Мих. Ник. сильно одряхлел. Но милее старика нельзя себе представить. Он очень сокрушался, что я так ненадолго приехал. Про все расспрашивал так заботливо. И я чувствовал себя с ним, если не как с отцом, то, во всяком случае, как с бывшим всю жизнь очень близким дядей. Он очень хотел бы что-нибудь сделать для меня. Но что можно сделать, — мы второпях не могли придумать...

Очень доволен остался я встречей с Л. С. Бергом. Он меня не узнал (М. Н., представь, — узнал). И, конечно, меньше всего ожидал встретиться со мной в Боровом, накануне своего отъезда оттуда. Я привез ему оттиск одной своей работенки, вышедшей каким-то чудом в 35 году. Там я описал в его честь одного жука. В то время это имело особый смысл. Берг тогда переживал очень плохие времена. Мне хотелось каким-нибудь образом выразить ему свое сочувствие. Оказалось, что этого номера трудов нашего музея у него не было и он так и не знал до сих пор ничего о моей статье.

Времени на беседу с ним у меня был какой-нибудь час. Поговорить нужно было очень о многом... Наш разговор носил характер взаимного прощупывания. Мы точно сверяли свои взгляды на разные вещи и на людей. Я давно не имел случая говорить с вполне первосортным и безукоризненным человеком. Мне было так приятно убедиться, что этот прекрасный ум полностью сохранился. Сам Л. С. заметно постарел, но не одряхлел. Больше всего мы друг друга проверяли по отношению к различным людям. Между прочим, я его спросил, каково его отношение к Е. С. Он ответил. — Я знаю, что он умный и интересный человек. Но у меня не лежит к нему душа. Он в свое время очень некрасиво нападал на меня. И я не могу этого забыть. Янисколько не против критики моих взглядов. Но он выступал не с критикой, а с травлей. — Мы распрошались с ним, по-видимому, друзьями. Он записал мой адрес <...>

30.VIII.44. Шортанды.

<...> Мое главное лишение то, что я совсем один <...> Но зато я не только не выбиваюсь из сил, чтобы как-то прожить, но даже имею досуг. Даже в самый хлопотливый день я хоть немного посмотрю своих насекомых, позанимаюсь греческим и латынью, почитаю какие-нибудь прекрасные стихи...

<...> я сейчас почти на полчаса прервал писание письма, размечтавшись о том, как бы мы жили с Сережкой... Трудно возражать против того, что ребенку лучше расти среди детей, чем быть всегда только со взрослыми. Мы так и росли <...> но мы росли среди себе подобных <...> воспитание ребенка среди взрослых плохо только тем, что среди них он не найдет того беззаботного веселья, какое бывает только в детской компании... Что же касается приспособленности, то это вообще только свойство людей, лишенных высоких интересов. Ни один стоящий человек не бывает особенно ловок в житейских делах. И бесполезно пытаться сделать его ловкачом. Именно отсутствие меркантильного интереса и позволяет человеку с головой уйти в науку или в искусство, без этого ими заниматься бессмысленно. Подумай, что было бы, если бы родители Жоржа пытались сделать его гешефтмахером. Могло бы из этого что-нибудь выйти?..

<...> каждому приходится решать старый вопрос: — Кто счастливей — голодный Сократ или сытая свинья <...>

Кстати, я сейчас много имею дела с Сократом, так как читаю «Диалоги» Платона. Это занятие совершенно упоительное. Я получаю двойное наслаждение. — И от автора, и от греческого языка. Язык этот настолько прекрасен, что мне странно даже, как я мог прожить без него целых сорок лет...

<...> Меня сейчас уж очень захлестнул Гете, а также Ницше и снова Верлен и Катулл. Во время такого увлечения сам немеешь. Но оно принесет пользу потом <...>

5.IV.46. Алма-Ата.

<...> в моей жизни произошло важное событие — я построил себе костюм.

<...> Итальянский язык я давно собирался изучить. Но с недавних пор это желание меня совсем одолело. — Я купил хороший прозаический французский перевод Данте. И совершенно обалдел от одной только «Vita nuova». (До «Божественной комедии» я еще не добрался). И понял, что я не могу умереть спокойно, не изучив Данте так, как я изучил Гете и Баха. Даже больше. — Сквозь перевод я чувю нечто такое божественное, такую высоту духа, какой, кажется, до сих пор еще не видывал <...>

3.X.50. Алма-Ата.

<...> Мои дела обыкновенные, как немцы говорят, — говёных <...>

<...> Он <Любищев> прожил у меня неделю. Оба мы остались очень довольны этим свиданием. Переговорили обо всем. Как водится, непрестанно спорили с ним и ругались. Но <...> научные споры с ним не приводят к порче отношений. Он бесконечно добродушен и столь же объективен <...> С точки зрения развития критических способностей Любищев не может сравниться ни с одним из известных мне зоологов. Но чудак он первостатейный, а человек прекраснейший и совершенно подкупающий своей простотой и добротой. Для меня его приезд был величайшим удовольствием и настоящим отдыхом <...>

25.IV.51. Алма-Ата.

<...> Я и прежде ведь мало описывал в своих письмах события внешней жизни... И теперь они имеют для моей настоящей жизни не главное значение. А остается все то же. — Я думаю, читаю, пишу. И не меньше, чем раньше, всего придумываю. Но я не хочу писать писем. Хочу разговаривать по-настоящему <...>

8.V.70. Борок.

<...> У нас жил Лёва <...> Что Лёва одержим, это мне было ясно и после первого его приезда. Но теперь я понял, что главная причина всякой чуши, какую он несет, — отсутствие европейского образования, которым отличалось поколение моих учителей (и, конечно, предшествующие) и которое закончилось на моем, включая в

него также с одной стороны Алпатку и Евгения, а с другой Алексея Захваткина. А вести споры с людьми, знающими только то, что напечатано на русском языке (в лучшем случае — еще и на английском), бесполезно и очень утомительно. Но самое главное это то, что люди, понимающие, что я знаю нечто им неведомое, дружат со мной только или главным образом потому, что хотят от меня нечто выведать. На меня самого, как такового, им, собственно, наплевать, т. е. их подлинное отношение ко мне чисто потребительское. Но они ошибаются, если надеются выудить из меня что-то, нужное им специально, потому что моя зоология непонятна без моего Баха, моего Пушкина, моего отношения к людям и т. п., а мой Бах непонятен без моей зоологии, моей морали и т. п.

Между тем меня в людях интересует только данный человек сам по себе, т. е. целиком, а не его знания или мнения по какому-нибудь вопросу. И если он относится ко мне иначе, то мой интерес к нему пропадает... Мои первомайские гости проявили такую жажду получить от меня нужную им информацию, что я решил не говорить с ними о том, что важно для меня. И не только для того, чтобы не переутомляться <...>

17.III.70. Борок.

<...> Это просто болтовня, которая мне необходима. Но она, я вижу, раздражает Русю. А между тем уже сама охота нести чепуху — хороший показатель самочувствия. Не говоря уже, что из болтовни возникают стишки, а иногда и занятные мысли...

P. S. Я хочу обратиться в правительство со скромной просьбой. — Переименовать наш район в знак уважения к моим заслугам перед наукой из Некоузского в Неокузинский.

24.VII.70. Борок.

Милая Оля!

Помнишь ли ты поговорку, изображавшую походку хромонокого: — два с половиной, три рубля. Я ее теперь постоянно припоминаю, потому что она лучше всего характеризует мою теперешнюю жизнь. О всяких болезнях и вообще-то писать и разговаривать скучно. Но это все же имеет какой-то смысл до той поры, пока человек чем-то заболевает, а потом снова становится здоровым. Но когда он просто совсем испортился, то какой толк сообщать, что нынче у него была одышка, но зато дело обошлось без спазмов и были в сносном состоянии кишки, а завтра —

что хорошо было с сердцем, но расстроилась печень, а послезавтра утихла печень, но отекли или сильно немеют ноги и т. д. Лучше просто и уж до конца — два с полтиной, три рубля. Все это совершенные пустяки в сравнении с тем величайшим благом, что у меня до сих пор не помутнились мозги и что я до сих пор продолжаю понимать, что вся моя жизнь была прекрасна, а теперь, пожалуй, даже особенно. Именно потому, что самым главным страхом моей жизни было стать в старости идиотом, а то и просто превратиться в животное. Конечно, досадно, что какая-то кишка или сердечная боль часто мешают мне не только писать или слушать музыку и даже и думать о чем-нибудь интересном не дают, а самое большее позволяют раскладывать пасьянс. И нельзя не мучиться тем, что моя болезнь ухудшает и без того не очень веселую жизнь самых близких мне людей. Но ведь я еще очень молодым понял, что нельзя думать, что жизнь нам дана для одних только удовольствий <...>

11.X.70. Борок.

<...> Одной из самых мудрых мыслей я считал высказывание Шамфора о счастье. — Счастье — нелегкая вещь. Найти его в себе очень трудно, а найти где-либо еще — невозможно. Но не очень давно я понял, что Шамфор все-таки ошибался. — Есть еще один источник счастья. Его можно найти в любви к другому человеку. Может быть даже, что этот источник и есть самый обычный. Но чтобы им пользоваться, нужно уметь любить. Но ведь какие-то качества нужны и для того, чтобы найти счастье в себе <...>

5.II.71. Борок.

<...> до меня после твоего отъезда дошло, что, собственно, я открыл второй лечебный фронт. Но ведь этот фронт бессмыслен. Я считаю самым ценным в своем положении, что пока еще у меня не помутился рассудок и я способен трезво смотреть на вещи. А если так, то не могу же я ожидать, что я выздоровею. В какой-то мере мне еще возможно продлить свою жизнь. Этим я и занимаюсь с полной добросовестностью. Занимаюсь потому, что иначе я был бы самоубийцей, т. е. совершал бы тягчайший из всех мыслимых грехов. Между тем во всем необходимо соблюдать меру. Уже теперь забота о продлении жизни отнимает у меня очень много времени и сил. Их остается ничтожно мало на то, чтобы делать что-то ценное... Допустим, что с помощью Спивака я продлю свою жизнь еще на несколько недель, месяцев, даже пусть

еще на год-два. Но чем же я буду занят все это отвоеванное время? — Измерением мочи и анализами, необходимыми для врачей? — Но неизбежным следствием этого будет мое полное одурение, т. е. я потеряю то единственное, чем еще как-то располагаю... Но я не пошел бы ни на какое мероприятие, которое, пусть хоть и надолго, законсервировало меня в состоянии полутрупа. В этом случае я вместо физического самоубийства совершил бы моральное, ничем не лучшее...

18.XI.71. Борок.

<...> После твоих замечаний я стал очень следить за своим языком. Давно пора было мне понять, что ирония и легкие колкости допустимы в разговорах только с теми, кто сам умеет пользоваться этим оружием. Но в человеке, который им не владеет, всякие шпильки вызывают досаду и обиду <...>

28.II.72. Борок.

<...> Чуть ли не основным моим занятием всю жизнь было находить друзей. Об этом писал и О. Э. в «Путешествии в Армению». Я сильно заторможен во всякой «аудитории», но, может быть, именно поэтому свободен и открыт с людьми, у которых нахожу понимание и близость. И они это чувствуют <...>

14.III.72. Борок.

<...> Я очень боюсь, что А. А. меня идеализирует. Это может привести ее к сильному разочарованию. Вся обстановка или атмосфера ее семьи просто исключала возможность проявления некоторых моих свойств. С ее отцом я мог бы с полнейшим упоением разговаривать о науке, о музыке и о прочих высоких предметах. Но ведь я же прежде всего человек веселый и в веселье не чужд даже хулиганства. Я обожаю самый смех и все смешное даже и теперь, чуть только меня не очень угнетает боль или сильные неприятности. Много из написанного мной — чистейшее зубоскальство. Вряд ли это может понравиться А. А. А уж о похабелы и говорить нечего. Есть у меня склонности и совсем низкие, например, любовь к пище... Да я и вообразить не могу, чтобы он, так целиком погруженный в науку и при ученой жене мог любить «эх, пожарть». А водочка? А картишки?

Да наконец и огромная трата времени в самых разных компаниях и в общении с людьми, не имевшими никакого отношения к высоким материям. И при всем этом ни А. Г., ни его дочь совсем не сухари и не ханжи. Это только я уж слишком «разносторонен», чтобы один человек мог перевернуть меня, ничего от меня не отбросивши.

Принять кого-нибудь целиком просто невозможно уже хотя бы потому, что у каждого есть недостатки. При всякой дружбе что-то непременно отбрасывается. И это легко сделать, если отбросить от человека нужно что-то для него второстепенное и не обязательное для принятия главного.

Но я и сам не могу решить, что для меня главнее. Конечно, если бы мне предложили на выбор понимать или Баха, или смешные стишки, я выбрал бы Баха. Но с очень тяжелым вздохом. Потому что без стишков, без зубоскальства и без преферанса мой Бах был бы не тем, каким он для меня существует со всем этим гарниром. По-настоящему понять все величие Пушкина может только тот, кто без малейшего насилия над собой, но с полным восторгом принимает его матерщину и даже сообщения о своих трипперах. По этим причинам я не без страха передаю в руки А. А. некоторые виды своей продукции. При этом, конечно, самое безобразное посылать я не намерен. Но такого у меня не так уж мало...

8.IV.72 г. Борок.

Я очень тронут твоим заступничеством за Мишек*. Не думай, что я их недостаточно ценю и люблю. Цель моего телефонного разговора была не репрессия, а предотвращение потери текста и твоего экземпляра. Мишки очень хорошие. Но они относятся к породе птиц. На них нельзя положиться в серьезном деле, хотя я не сомневаюсь, что мне они хотят только всего самого хорошего. И действительно много делают. А главное — общение с ними мне очень приятно. Они понимают такие вещи, которые сейчас редко кому доступны. И мне доставляет большое утешение, что молодежь все-таки остается молодежью и что вытравить из нее все по-настоящему ценное и хорошее нельзя никакими сатанинскими способами. И такие молодые люди жадно ищут возможность узнать хоть что-нибудь о том, на что им так старательно не дают смотреть. На этом ведь и основана дружба Мишек со мной. И как они мгновенно учуяли эту возможность при самой первой нашей встрече.

А в последний приезд Миша толстый продемонстрировал не меньшую интуицию. Он, оказывается, не знал Галю или знал совсем мельком. Но немного более

* Михаил Николаевич Корнилов и Михаил Алексеевич Давыдов, друзья Кузиных с 1965 г. В те времена выпускники исторического ф-та МГУ, кафедры Древней Истории. Были за верность произведены в «племянники». Но часто за погрешности в исполнении частных поручений находились под угрозой перевода в категорию «милых знакомых». Но, к счастью, угроза эта не осуществлялась. (Примеч. М. А. Давыдова).

близкого знакомства с ней для него было довольно, чтобы определить ее целиком кузинскую природу и при этом верно заметить и оценить в ней ее индивидуальность. Русе нравится разыгрывать из себя строгую тетку, раздающую щелчки племянникам, но милостивую к ним и справедливую. Но она иногда явно в этой роли переигрывает. Мишки, по-моему, хорошо это понимают, но все-таки побаиваются ее. Возможно, впрочем, что часть своего страха они с нее перенесли и на меня. Было бы очень хорошо, если бы ты им позвонила и успокоила насчет истории с рукописью, объяснив, что я никак не собирался карать их и что мое отношение к ним наилучшее.

Вчера ветеринар усыпил Белочку. Как-нибудь потом я напишу тебе о ее болезни. А сейчас не могу. Конечно, обычные домашние и другие дела меня отвлекают. Но как только ее вспомню, тоска начинается заново. Это верно, что баховская музыка приносит утешение. И именно не успокоение, не примирение, не отвлечение, а утешение...

Удивительно много мне дают рукописи Гурвича. И продолжают давать, потому что я читаю их без особого порядка, постепенно и часто возвращаюсь к уже прочитанному. Мне ясно принципиальное различие между его взглядами и моими. Оно очень велико. Но я не сомневаюсь, что он без всякого усилия понял бы мою позицию, как я понимаю его, и мы не пытались навязывать друг другу свои взгляды, а потому и не спорили бы. Но как раз наши принципиальные различия и наводят меня на новые мысли. Есть что-то чудесное и в том, что рукописи А. Г. попали в мои руки, и в том, что его дочь вдруг каким-то образом стала близким нам человеком.

Впрочем, также история с появлением на моем горизонте Мишек из той же категории. Все это и еще очень многое укрепляет меня в мнении, что отказ от всякого общественного признания и связанных с ним материальных благ — не слишком дорогая цена за все, что я получил именно благодаря этому <...>

25.V.72. Борок.

<...> Самым моим большим желанием всегда было сохранить в старости рассудок. А дьявол только тем и занят, что дает нам щелчок по носу, показывая, до чего мы во всем глупы. Хочешь, чтобы не пострадали мозги? Пожалуйста, получи. Только куда ты денешь то, что они наработают? Ведь они у людей ослабевают для их же пользы и спокойствия. И я могу только ответить на это, как Ньюра: * А можот...

<...> А я все время думаю о вещах, занимавших меня всю жизнь. И дня не проходит, чтобы я не додумался до чего-нибудь, как мне кажется, очень интересного, важного или смешного. Поговорить об этом не с кем...

* Анна Константиновка — помощница по хозяйству и верный друг семьи Кузиных. (Примеч. М. А. Давыдова).

<...> У детей есть огромное, чисто биологическое, преимущество перед взрослыми. Они, кроме уж настоящих дурачков, умеют делать выводы из простого житейского опыта. У взрослых, особенно у дам, эта способность уменьшается, а иногда и совсем пропадает <...>

Анна Ал. — человек редчайший. Многим очень хорошим людям часто недостает чуткости. А. А. наделена ей в самой большой мере, в такой, что она уже болезненна.

14.VI.72. Борок.

<...> Удивительно, что все хорошо, а дряхление, как мне кажется, ускорилося. Просто, видно, пора.

Не перестают только приходиться гениальные мысли в голову. Но разговаривать о них не с кем, а записывать не успеваю. Только теперь я по-настоящему понял, что значит довлеет дневи злоба его. Каждый занят только своим делом, и каждому ты нужен только в той мере, в какой он может извлечь из тебя какую-то пользу. Да еще прежде жизнь у всех была легче и больше оставалось времени, чтобы навестить кого-то, кто тебе не нужен до зарезу, а просто интересен. Но теперь такая роскошь уже почти никому не доступна. А кроме того, важнейшие для тебя понятия и знания теперь для всех филькина грамота...

17.VIII.72. Борок.

<...> Если я чем-то в себе горд, то только тем, что не боюсь думать ни о чем до конца. И я уверен, что только при этом условии можно в старости не впасть ни в отчаяние, ни в мрачность, не тешась при этом никакими иллюзиями. Это я пишу после своих размышлений о Толстом, о Розанове, о Ходасевиче, о Швейцере и об отце Анны Ал.* Думаю (почти уверен), что я счастливей их, и даже сам боюсь своего нахальства. Но об этом можно только или рассказать, или написать в особом сочинении, на которое у меня теперь, без сомнения, не хватит сил...

* А. Г. Гурвиче (Примеч. М. А. Давыдова).

ИЗ ПИСЕМ А. П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО К Б. С. КУЗИНУ

5.V.36. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич,

Я был сердечно обрадован Вашими долгожданными строками.

Непрерывно страдая за Вас (я знал, конечно, о том, сколько семейного горя Вы перенесли еще до ссылки), я с нетерпением ожидал известий об условиях Вашего заточения. Рад был узнать, что они не исключают возможности научной работы. Но все же безутешно скорблю о прерванных надолго работах Ваших по жукам-нарывникам и клещам, работах нам так нужных. В вопросах систематики нарывников (бывший род *Mylabris*) Вас положительно никто заменить не может — столько Вы над ними поработали предварительно, — а Вы вне Москвы или Ленинграда закончить Ваши работы по нарывникам не можете. Положе<ние> образовалось безвыходное.

Что касается Ваших работ местного значения, я не сомневаюсь в том, что Вам в Караганде удастся собрать хороший фаунистический материал. Позвольте сделать Вам несколько указаний для выполнения некоторых частных задач <...>

Вышло и выходит несколько моих работ <...> Кое-что надеюсь Вам выслать. Только делаю все я очень медленно — из-за глаз и недостатка времени. Зрение мое все падает. Вот и это письмо мне далось с трудом.

С Горацием — заминка, по вине издательства. С Пушкиным дело, по-видимому, безнадежно.

75-летие Общества отпраздновали мы скромно, но все-таки торжественно. Много приветствий получили со всех концов света.

Приветствую Вас с Новым годом. Да будет он для Вас легче прожитого!

Ваш Андрей Семенов-Тян-Шанский.

25.V.36. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич,

Сердечно Вас благодарю за Ваши милые письма. Не ответил на них своевременно только по недосугу. В этом году у меня больше чем когда-либо всякого писания, а зрение заметно еще убыло, и временами глаза совсем отказываются служить. Вот и сейчас я не могу даже слегка пересмотреть Ваши письма, чтоб обстоятельнее на них ответить.

Очень меня порадовало в свое время указание, что Вы вместе с А. Н. Казанским занимаетесь фаунистическими изысканиями. Местность вокруг Вас очень интересная и многообещающая <...>

Сегодня мы заканчиваем сезон научных собраний Энт<омологического> Общества <...>

Гораций мой отпечатан под заглавием: «Квинт Гораций Флакк. Избранная лирика», но еще не выпущен. Многое вышло не так, как я хотел.

Пушкин лежит без движения.

У нас весна в полном разгаре: зацветает уже сирень.

От всей души желаю Вам доброго лета. Искренний привет А. Н. Казанскому.

Посылаю Вам кое-что из моих последних работ.

Искренне Ваш

Андрей Семенов-Тян-Шанский.

2.VI.36. Ленинград.

Прошу дорогого Бориса Сергеевича простить мне невольную задержку заказной бандероли с моими последними работами: я заложил последнее письмо с адресом и по своему плохому глазию долго не мог найти его.

Как у вас весна? Здесь в полном цвету сирень, конск<ий> каштан и уже рябина. Сегодня весь день было +21 °R в тени.

Сердечно преданный

Андрей Семенов-Тян-Шанский.

13.XII.36. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич,

Ваше прекрасное письмо от 19.VI, полученное мною 30.VI, оценено мною по достоинству и приобщено мною к числу самых дорогих писем, мною когда-либо полу-

ченных. Читали его Вера Мих<айловна> Муромцева, М. Н. Римский-Корсаков и некоторые из моих близких.

21.VI у меня кое-кто собрался. Я читал Пушкина, вслед за чем были прочитаны Ваш сонет-акrostих 1933 года* и только что перед тем полученный мною сонет Ив. Ив. Пузанова, нынче профессорствующего в Горьком. Сонет этот имею нескромность при сем приложить.

Ваш был признан всеми изящнее.

Надеюсь, что оба эти сонета будут оглашены в ноябре.

Спасибо Вам великое за все Ваши отклики и пожелания. Очень мне был приятен Ваш и Е. С. Смирнова отзыв о моей статье, сопровождающей мою карту Палеарктики <...>

Очень Вас благодарю за все фаунистические сообщения. Грустно слышать, что так неблагоприятен для энто<омологических> сборов нынешний год. Тем более чести А. Н. Казанскому за его замечательные находки. Только бы не распылался собранный им материал! <...>

Передайте А. Н. мой искреннейший привет и радость по случаю его освобождения. Надеюсь, что ему удастся поработать вскоре в благоприятных условиях <...>

Примите все мои лучшие пожелания. Посылаю Вам моего Горация**, сильно урезанного в комментариях и введении. Издан, в общем, он, кажется, прилично. Пострадали только 2 моих стиха от непрошенной и не разрешенной мною переделки.

Сердечно Вам преданный

Андрей Семенов-Тян-Шанский.

2.X.37. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич,

Я долго молчал в ответ на Ваше письмо от 18.VII только потому, что был в отпуску с 15.VII по 18.IX и старался ничего не писать, чтобы дать возможно продолжительный отдых моим глазам.

К сожалению, и это не помогло, и вижу я настолько плохо, что каждое письмо мне стоит больших усилий <...>

Очень рад перемене Вашего положения и уверен, что Вы в новой роли послужите практической энтомологии не менее успешно, чем это Вам удалось сделать в Караганде, а фауну соберете успешнее, чем там. Жалею только об одном: что Вы дальше

* См. с. 111 наст. изд.

** Гораций. Соч. Пер. и коммент. А. П. Семенова-Тян-Шанского. М.: «Academia». 1936.

теперь от центра Азии и что нужных нам представителей его фауны <...> в Ваших сборах не будет.

Желал бы, конечно, чтобы Вы собрали побольше материала и по Mylabris'ам и закончили начатую Вами работу. Иначе Ваша новая классификация нарывников света не увидит, и Ваши новые роды окажутся предвосхищенными другими...

Очень Вам благодарен за все бытовые детали Вашего пребывания в Караганде.

Трогательно милы были Ваши сожителы в Караганде из мира животных. Очень понимаю Ваши нежные чувства к ним <...>

Желаю Вам всего доброго.

Искренне Ваш

Андрей Семенов-Тян-Шанский.

ИЗ ПИСЕМ Л. Н. ГУМИЛЕВА К Б. С. КУЗИНУ

16.1.66. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич!

Ваше письмо меня очень обрадовало, и желание видеть Вас выросло во много раз.

Да, я могу и хочу приехать к Вам в гости и вполне согласен с Вами в том, что обмен информацией является дегенерирующей формой беседы, которая возможна только в определенном ландшафте. Он может быть антропогенным, но умеренно метаморфизованным <...>

Ваш верный друг

Л. Гумилев

28.1.67. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич!

Ваше письмо меня весьма обрадовало. Я великолепно представляю, что значат служебные хлопоты, а встреча через 33 года — праздник, который лучше проводить в известном спокойствии духа.

Затем, кроме личных бесед, я хочу продолжить с Вами те темы, строго научные, но весьма меня волнующие, которых мы касались в Музее, когда я заходил за Вами. Ваши мысли о характере эволюции видов я помню отчетливо и много над ними думал. Теперь я пришел к некоторым выводам, которые, надеюсь, могут быть интересны и Вам. Моя страсть — работа на стыках наук. Как я справился с географией и филологией, Вы прочли, а о биологии я расскажу Вам при встрече, чтобы потом начать писать.

<...> отпуск, по-видимому, получу в мае. Тогда сразу к Вам. Разумеется, об уточнениях сроков сообщу по выяснении. Хорошо бы все-таки знать, до какой станции надо брать билет и как двигаться дальше. Из письма Фортунатова я узнал, что Вы были больны. Надеюсь, не очень сильно.

Крепко жму Вашу руку.
Искренне Ваш

Л. Гумилев

1.IV.67. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич!

Наконец-то мои отпускные возможности прояснились <...> 6 мая я мог бы выехать в Борок, ибо буду в отпуске (если, конечно, начальство не помешает).

Сообщите, пожалуйста: удобны ли для Вас эти даты. Если нет, то постараюсь задержаться, хотя это трудно, потому что в июне предстоит экспедиция на север. А повидаться и побеседовать с Вами мне хочется чрезвычайно.

Искренне преданный Вам

Л. Гумилев

17.VI.67. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич!

Сегодня же, одновременно с этим письмом, я вышлю Вам бандероль: «Принцип поля»*. Простите, задержала машинистка. А уезжать от Вас мне очень не хотелось. Было так хорошо, что и сказать нельзя. Да, я бы не заторопился, если бы Ариадна Валериановна разрешила мне покупать хотя бы водку. Мне тоже хотелось делать приятное, а в этих возможностях я оказался ограничен. Мы бы, конечно, продолжали спорить, но уж с уменьшающимся накалом, ибо поняли друг друга, а это главное <...>

Вспоминаю о Борке как Мильтон о потерянном рае, но когда смогу вырваться хоть на несколько дней — не знаю. <...>

Спасибо Вам, дорогой, милый друг, за прекрасные дни, беседы и очарование пост-поместной жизни. Я счастлив, что нашел Вас снова и еще лучше, содержательнее была наша встреча, чем даже 33 года тому назад.

* Статья Б. С. Кузина «О принципе поля в биологии», опубликована М. А. Давыдовым в журнале «Вопросы философии» (1992. № 5).

Целую ручки Ариадны Валериановны.
Привет доктору и всем Вашим гостям.
Обнимаю Вас
Искренний Ваш друг

Л. Гумилев

10.VII.67. Ленинград.

<...> А с Вами мы еще далеко не все переговорили. Самый интересный и плодотворный период диалогического мышления начинается уже тогда, когда собеседники поняли друг друга и речь идет о деталях. Из них-то и вырастает новое, неожиданное. И вот еще просьба к Вам. Мне поручено скомплектовать юбилейный сборник Георг<афического> О<бществ>ва и даже самому определить его направление. Я предложил: «стык наук». Одобрили. И вот я очень бы хотел украсить этот сборник Вашим «Принципом поля» в обрамлении этнологических статей, развивающих эту идею. Но без Вашего разрешения я, конечно, ничего не предприму.

Большой привет и низкий поклон Ариадне Валериановне, которой почтительно целую ручки.

Крепко жму Вашу руку.

Л. Гумилев

Р. С. Н. В. Тимофеев-Ресовский Вас хорошо знает и, видимо, был знаком с Вами в студенческие годы. Он сказал: «А, Борька Кузин ламаркист!» Из этого высказывания я понял, что его сведения о Вашей научной мысли изрядно устарели. Между им и Вами я как Одиссей между Сциллой и Харибдой.

Л. Гумилев

3.VIII.67. <Ленинград>.

Дорогой Борис Сергеевич!

Первое чтение Вашего письма принесло мне искреннее огорчение, которое уменьшилось после второго чтения. Все идет по моей концепции. Даже Ваша тяга к атараксии. Но, увы, мне эти высоты недоступны: хочу писать, печатать, доказывать, а без этого мне свет не мил. Вот разные ступени пассионарности. Для меня она мученье и ад, но как водка для алкоголика. Кстати, я так хворал летом, что мне запретили есть

лекарства, а позволили только водку. Так что, если Вы еще раз меня пригласите, то я буду ходить в лавочку и ее приносить.

Целую ручки Ариадны Валериановны.

Искренне Ваш Л. Гумилев

31.XII.67. Ленинград.

<...> Не могу я не писать об открытиях моих, ибо нет во мне мудрости. Умом понимаю, что нашим коллегам все равно, что бубнить *ex cathedra*: про сирен и единорогов или про гены и аллели. Важно только то, чтобы выученное в школе (и плохо выученное) было неколебимо. Большинство из них не слышит чужих слов, кроме знакомых и привычных. Тимофеев редкое исключение — он вникает, но, увы, хочет свести новое к уже известному, а не перестроить мысль в соответствии с фактами. Это неосознанно, и потому я не теряю надежды на взаимопонимание. И без Ваших мыслей я не могу обойтись. Теория биологического поля!!! Есть она у меня на вооружении — новая наука родилась; нет — выкидыш. <...> Беседа, даже при всех возможностях взаимопонимания, проходит несколько уровней. Мы с Вами прошли первый — обмен информацией. Второй, творческий, впереди. Поэтому мечтаю о новой встрече с Вами. <...>

Целую ручки Ариадны Валериановны, которой искренне восторгаюсь.

Крепко жму руку

Ваш верный друг

Л. Гумилев

16.II.68. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич!

Ответ на Ваше замечательное письмо я задержал в надежде написать что-либо определенное. Теперь прояснилось, что впереди мрак. <...>

Вы не думайте, что я не внял Вашим советам. Я их весьма усвоил, но испробовать путь современной генетики надо до конца. Вот когда не выйдет, тогда я буду иметь право искать другие пути. Скорее всего так и будет. Как видите, я готов к сюрпризам.

Нет в моей душе покоя и не по моей вине, а по вине моей природы. Хочу написать книгу. Без этого мне жизнь не мила.

Плохо, что даже ближайшее будущее в тумане. Вы спрашиваете о возможной дате встречи? Ничего толкового сказать не могу. Все зависит от случайных обстоятельств и от того, в какую колею войдет моя жизнь.

Поэтому я напишу Вам из Москвы, авось что-нибудь реальное.

Целую ручки Ариадны Валериановны, привет Елене Фоминишне.

Искренний друг Ваш

Очень без Вас тоскующий

13.V.69. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич!

Давно мы не писали друг другу, и это понятно. Надо писать, когда есть что писать. У меня до сих пор было писать нечего. Это не значит, что в моей жизни ничего не произошло. Наоборот, произошло слишком много <...>

Последний этап моих волнений закончился вчера. И сегодня же я страстно захотел побеседовать с Вами, хотя бы на бумаге. Если же Ваши намерения насчет приглашения меня в гости не изменились, то я рад был бы посетить Вас тогда, когда Вы сочтете это для себя удобным. Правда, я теперь с женой, но, может быть, чтобы Вас не стеснять, я остановлюсь в гостинице. Мне важна только возможность беседы, а не «обмена информацией», чем мы в столицах ограничиваемся.

Целую ручки Ариадны Валериановны. <...>

Искренне Ваш Л. Гумилев

10.VI.69. Москва.

Дорогой Борис Сергеевич!

Ваше письмо меня и расстроило по причине Ваших болезней и затруднений, и обрадовало тем *esprit**, которое запомнилось мне на 35 лет и которое не иссякло. <...>

А вот с нашей встречей дело осложнилось не только из-за Ваших трудностей, но и из-за моих. <...>

<...> Кажется, что интеллектуальный голод при научной работе — нонсенс, однако мы знаем, что это не так. Но только, пожалуйста, не стесняйтесь себя и предложите то время для моего посещения, которое будет заведомо Вам удобно. И еще, я

* остроумием (фр.).

больше не буду мучить Вас сверх-специальными разговорами, требующими большого напряжения. Этот, инкубационный, период у меня кончился, и я просто оформляю мои мысли в статьи, которые у меня берут для печати. Поэтому и я стал спокойнее и контактнее. <...>

Ваш искренний друг

Л. Гумилев

9.VII.69. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич!

С огромным интересом прочел я Ваше последнее письмо и остро почувствовал: как мне не хватает в жизни беседы с Вами. При моей эпистолярной бездарности это особенно ощутимо.

За эти два года, что мы не виделись, я очень изменился. Запал мой выпущен, и того подъема, с которым я начинал мою теоретическую работу, уже нет. <...> А сказано не все <...>

Поэтому, если у Вас в августе будет возможность уделить мне время (с тем, что мы с женой поместимся в гостинице, дабы не стеснять Вас и Ариадну Валериановну), то мы можем увидаться и побеседовать. Напишите откровенно <...>

Крепко жму Вашу руку

Ваш Л. Гумилев

P. S. <...> Ой! Забыл, как называется ж<елезно>д<орожная> станция около Борка!

Leon

14.VIII.69. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич!

Как ни досадно мне, но выбраться навестить Вас мне опять не удалось. Задержала меня мамина намогильная плита, которую собирались вырубить и установить в начале августа, а ее и сейчас нет. Мое присутствие необходимо, потому что без меня ее вовсе не установят, а кончить могилу надо.

Но, может быть, задержка — к лучшему. Уж очень неважно мое здоровье в смысле нервного утомления. Боюсь, что, приехав теперь, я доставил бы милой Елене

Фоминишне много хлопот. Думаю, что это ухудшение связано с солнечной активностью, возбуждающей и микробов, и биополя у млекопитающих. В годы спокойного солнца я чувствую себя лучше.

Очень разочаровала меня биологическая наука. Теперь она стала чем-то вроде лингвистики. Тут и математика, и крохоборство, и фантазия, и личные счеты, словом, все, кроме ощутимых результатов. И запутано все до того, что самому не разобраться, а верить некому. Я думал, что все-таки такого там не может быть, но ошибался. Мне это очень жаль, ибо я закончил географический и исторический аспекты теории этногенеза, а биологический — на мертвой точке. Сам я не хочу за него браться, потому что нет ни одной точки опоры. Одни признают генетику, другие отрицают; одним надо эволюцию, другим нет и т. д.

Нет, в истории и географии такого разброда нет.

Вы спросите: чего ради я болею этим делом? Сам не знаю. Вероятно, это хобби, совмещенное со службой. Но ведь именно такое именуется «творческим процессом».

Насколько легче писать историю, особенно если овладел навыками этого благородного ремесла. Да и читатель благодарнее. Вот выйдет у меня, теперь наверно скоро, интересная книга по истории — пришлю и попрошу Вас прочесть (а также Елену Фоминишну). Скучных моих книг я Вам не посылаю из гуманности.

Сердечный мой привет Ариадне Валериановне.

Крепко жму руку

Л. Гумилев

23.XII.69. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом, хотя Вы думаете, что я — свинья. В последнем Вы правы только отчасти. Я не ответил Вам на Ваше последнее письмо из-за моей болезни, которую можно охарактеризовать как вегетативный невроз с разными проявлениями. Осенью я сильно недужил и не мог писать. Ну просто не мог себя заставить, хотя и знал, что это другим будет непонятно. Это первое письмо, которое я в состоянии написать... и оно к Вам. <...>

Крепко жму руку

Ваш верный друг, эпистолярно бездарный

Л. Гумилев

26.I.70. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич!

Опять я виноват: отвечаю на два Ваши письма, что нехорошо. При моей патологической эпистолярной бездарности, я еще пока конверсабелен и поэтому с радостью приеду навестить Вас. Сейчас у меня лекции на весь второй семестр, но в мае я приму экзамены и постараюсь получить командировку за свой счет. Теперь у меня на службе относительно благополучно, и я надеюсь, что это будет осуществимо. <...>

Над<ежда> Як<овлевна> дама умная, но наше общение свелось к визитам, которые я ей делаю, бывая в Москве. Уж очень по-разному сложились наши жизни. Во мне нет и тени bohème; я усердный чиновник министерства просвещения и горжусь этим. Только спокойная жизнь, при минимуме служебных неприятностей, позволяет писать на научные темы что-то ценное. Но это ограничивает возможности общения людьми этого склада, т. е. серьезными и увлеченными абстрактными мыслями. Над<ежда> Як<овлевна> серьезна, но мыслит более конкретными понятиями, что, может быть, и лучше, но не отвечает моим интересам. Профессия вообще накладывает на человека отпечаток, а филология в особенности. Я же поклонник естественных наук. <...>

Короче говоря, я очень, очень, очень хочу Вас видеть и, если ничего дурного не будет, приеду опять на недельку в мае. Если Вас это не устраивает — напишите и укажите другое время. <...>

Ваш Л. Гумилев

22.II.70. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич!

Очень тревожусь о состоянии Вашего здоровья. Если нам удастся увидеться, то я обещаю не терзать Вас научными спорами. Будем беседовать по мере сил.

Прочли ли Вы «Природу»?* Похвалите ли Вы меня, или побраните. Вы хорошо знаете, как трудно уместить научную идею в журнальную статью. Удалось ли мне добиться хотя бы тени удачи? <...>

И мое здоровье не важно. Но лучше, чем когда я был у Вас. Пожелайте мне сил, чтобы я успел доделать эту работу. Ради нее я смог выжить, а когда закончу книгу — мне будет легко умереть. <...>

Искренне преданный Вам

Л. Гумилев

* Гумилев Л. Н. Этногенез и этносфера. // Природа. 1970. № 1. С. 46—55; № 2. С. 43—50.

20.III.70. Ленинград.

Дорогой Борис Сергеевич!

Как я завидую Вашему эпистолярному мастерству! Вы изящно и точно раскрыли все перспективы публикации моей идеи. Действительно, зависть историков перешагнула границы приличий, а естественники начали проявлять ко мне симпатию. А побеседовать с Вами так хочется, что я не буду откладывать ни минуты, а перейду к практическим предложениям. <...> Устроит ли Вас мой приезд к 1 мая, причем до 6 мая время будет наверняка наше. <...> Если этот срок Вам удобен — напишите мне сразу, а если нет — буду искать другой возможности. <...>

Крепко жму руку
Искренне Ваш

Л. Гумилев

17.VI.70. Москва.

Дорогой Борис Сергеевич!

<...> В твоём милом письме содержится внутреннее противоречие: ты рекомендуешь читать немецкие работы и щадить себя. Или то, или другое, тем более что немецкий я знаю слабо. К счастью, по номадистике немцы занимают четвертое место, далеко отстав от нас, французов и даже англичан. Поэтому я уж лучше попробую оправиться от количества неадаптируемой избыточной информации, которая уже дважды укладывала меня в больницу. Моя скромная задача на остаток жизни сводится к тому, чтобы оформить для печати все те мысли, которые можно счесть толковыми и заслуживающими опубликования. Этого на мой век и хватит; только бы успеть. И я очень прошу тебя — не оставь меня своими советами и трактатами. <...> И трактат о проклятии неточности пришли мне. Я его снова перепечатаю и верну с копиями.

Меня огорчило, что ты решил уходить на пенсию. Главным образом потому, что, видимо, что-то неприятное произошло после моего отъезда. Так надоели эти вечные неприятности в нашем академическом мире. Сам я тоже подумываю о пенсии после того, как мне стукнет 60. Это будет через два года.

Целую ручки Ариадны Валериановны.
Крепко жму твою руку.

Лева

11.X.70. Москва.

Дорогой Борис Сергеевич!

Твое письмо и, главное, сообщение о здоровье меня обрадовало, ибо аграфия свойственна мне, а не тебе. Правда, одна пресноводная тетка, которую я встретил в АН и был ей представлен, сказала мне, что ты здоров. Конечно, мне следовало написать вторично, но этим летом я замotalся. На меня объявили поход востоковеды, археологи и этнографы (три академических ин<ститу>та), разорвав, тем самым, заговор замалчивания. Все лето я писал «отбрехи», а потом сокращал их по указаниям редакторов. Скоро снова вспыхнет легенда о моем чудовищном характере в таком варианте: *Cet animal est très méchant, quant on l'attaque — il se défent**. Но тем не менее я хочу довести до конца изложение моей концепции. Благодаря нашим беседам и чтению твоих работ это облегчилось. <...>

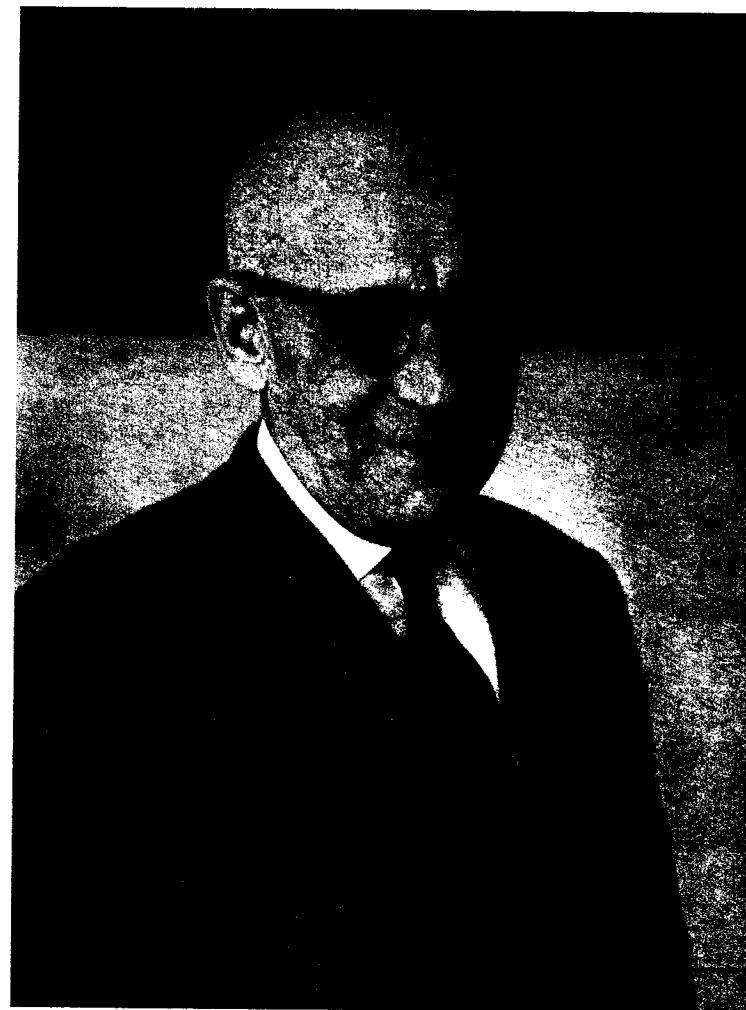
Книгу, которая у меня только что вышла**, я пришлю тебе из Города, ибо в Столице ее раскупили за три дня и Академкнига, колукая от смущения стенку, сообщила, что не смогла выделить мне 50 экз. Но в Городе у меня выкуплено сто, так что особой беды нет. <...>

Твой искренний и верный друг

Leon

P. S. Если сможешь мне помочь с объяснением: почему пассионарная популяция появляется на продолговатых регионах земной поверхности, с полным пренебрежением к наземным барьерам, исключаяющим гибридизацию и культурные влияния, — пособи.

Твой Л. Гумилев



Борис Сергеевич Кузин. Начало 1960-х. Борок

* Это животное очень злое, когда на него нападают — оно защищается (фр.).

** Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства (Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна»). М.: Наука, 1970.



Б. С. Кузин с сестрами Екатериной и Галиной. 1908 (?) Москва



Родители Б. С. Кузина: Ольга Павловна, Сергей Григорьевич. 1890-е. Москва



Б. С. Кузин. 1922 (?) Москва



Б. С. Кузин с коллегами у входа в Зоологический музей МГУ. Конец 1920-х



Б. С. Кузин. 1917 (?) Подмосковьё



Учащиеся и преподаватели Малаховской гимназии, в которой учился Б. С. Кузин. В центре: М. А. Рыбникова и Е. Я. Эфрон. Начало 1920-х



Б. С. Кузин. Середина 20-х



Б. С. Кузин, Е. С. Смирнов, Б. Б. Розендорф, А. И. Захваткин — студенты Московского университета. Весна 1924



Б. С. Кузин в кругу семьи Тер-Оганяшов. 1930. Ереван



"Дворик эрианской мечети", где познакомились Б. С. Кузин и О. Э. Мандельштам. 1930. Фото Б. С. Кузина

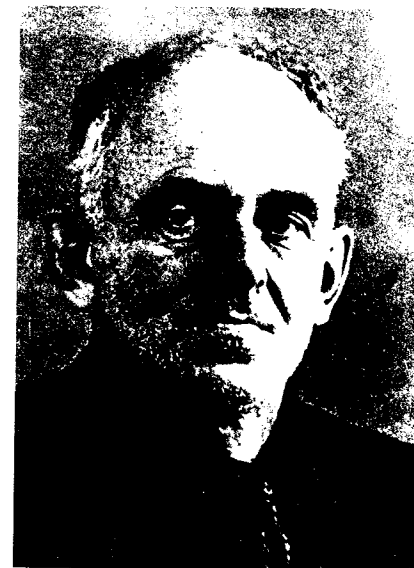
30/1 39

Гора, Осе умер.
 Я больше не
 могу писать.
 Только - навер-
 ная надежда
 уехать из Мочи
 Завтра решится
 куда-то знаю
 Завтра уезжа
 Надежда
 В

Вне и пишу - Мандельштам

Письмо Н. Я. Мандельштам к Б. С. Кузину

Н. Я. Мандельштам. Начало 1938. Калинин



О. Э. Мандельштам — "Поэт поэтов, мой бесконечно дорогой друг и мученик, память о котором никогда не перестает жечь меня..."

(Б. С. Кузин. «Орбита Баха»)





А. В. Апостолова с фоксом Лолитой.
Вторая половина 1930-х. Москва. Арбат



Б. С. Кузин. 1938. Шортанды



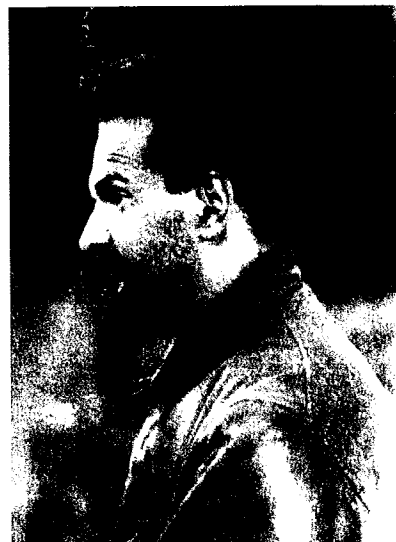
Топ — любимая собака Б. С. Кузина.
1941. Шортанды



Б. С. Кузин. 1946



Е. С. Смирнов. Конец 1950-х. Борок (?)



Н. Д. Леонов. 1940-е (?)

Солнца косые лучи на склонах..
Ледя гористые вершины.
Обезлесенные стады
Забых лебедь. И дельфин уходит.
Тоскованна в гряде утешности,
И врезаны трудное вращение,
И гора его на фоне солнца,
Иллюзиями вьюги стирания контрабаса,
Садом вьюгой, охрипел..

19. апр. 46.
Александр

"Солнца косые лучи на склонах ..."
Стихотворение Б. С. Кузина. Автограф. 1946



Б. С. Кузин и А. В. Апостолова. 1960-е. Борок

Надежда Мандельштам

192 ПИСЬМА К Б. С. КУЗИНУ

1937-1947



А. В. Апостолова. Начало 1970-х



Б. С. Кузин. Начало 1970-х

Надежда Яковлевна одарена удивительной памятью. Но все же никакая память не безупречна, а некоторые сведения, приводимые автором с чужих слов, неверны. То и другое я заметил в нескольких местах, где упоминается мое имя.

Б. С. КУЗИН

Есть только один момент для осмысления происшедшего — по горячим следам, когда еще сочится кровь <...> Здесь, как и в пересмотре собственной жизни, видно только с одной временной площадки, все остальные дают искаженную перспективу.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ

Летом 1930 года Б. С. Кузин познакомился с Осипом Мандельштамом и его женой Надеждой Яковлевной. С осени этого года начались почти каждодневные встречи, беседы, жаркие споры на научные и литературные темы. Словом, завязалась самая тесная дружба, не прекращавшаяся вплоть до вынужденной разлуки. Общение прерывалось только в те периоды, когда Бориса Сергеевича или Мандельштамов не было в Москве. О влиянии бесед с Кузиным на творчество Мандельштама написано уже достаточно много*. О человеческой же основе их взаимоотношений можно судить на сегодняшний день, пожалуй, лишь по двум источникам: воспоминаниям самого Бориса Сергеевича и книгам Надежды Яковлевны. Те и другие были написаны спустя несколько десятилетий после гибели Мандельштама и по-разному изображают эту дружбу. Нетрудно заметить, что в воспоминаниях Н. Я. Мандельштам Кузину отведена проходная роль случайного знакомого, который «исчерпывал свой золотой запас около года»; у которого этот запас был «неглубок, а пополнять он не умел»; который «не знал, что делать со стихами, <...> искренне огорчился, услышав новые стихи». Между тем то, что известно о личности Бориса Сергеевича и о его значении в жизни Мандельштама, явно противоречит нарисованному Надеждой Яковлевной образу.

* См., напр.: О. Э. Мандельштам и Б. С. Кузин: Материалы из архивов. // Вопр. истории естествознания и техники. 1987. № 3. С. 127—130; Мандельштам О. Э. Стихотворения. / Коммент. А. Г. Меца. СПб.: Гуманитар. агентство. Акад. проект, 1995. (Новая 6-ка поэта); Иванов Вяч. Вс. Мандельштам и биология. // Осип Мандельштам: поэтика и текстология. М., 1991.

Она не просто «умалила значение» (Э. Герштейн) Кузина в жизни Осипа Эмильевича и своей, а «переписала заново» (М. Давыдов) всю историю взаимоотношений.

Кто же прав? Как современному читателю увидеть истину без «искаженной перспективы»?

В архиве Б. С. Кузина сохранилось 189 писем к нему Н. Я. Мандельштам за период с 1937 по 1947 гг.* В них — летопись ее жизни за самые трудные десять лет: возвращение из воронежской ссылки, неустроенность, метания в поисках жилья и заработка, арест мужа и его гибель, война и эвакуация — вся трагическая судьба, поведанная человеку, которому Надежда Яковлевна написала: «После Оси вы мне самый близкий человек на свете».

Только к самому близкому человеку можно было обращаться с такой откровенностью, с предельной обнаженностью чувств, с такой надеждой на понимание. «Я не знаю, как это называется — то, что у нас с вами — не все ли равно? Но я знаю, что это громадная близость. Не только потому, что мы сколько-то там дней имели о чем говорить, а черт его знает почему. Связало нас в клубок и пронесло нас вместе по жизни. И, может, самая содержательная часть жизни прожита вместе. <...> Разве мы выбирали нашу судьбу? А, конечно, встреча была судьбой для всех троих. Без нее — Ося часто говорил — может, и стихов бы не было».

Письма полны то юмора, то горькой иронии, то едкого сарказма. Порой сквозь это пробивается боль, отчаяние, глубокая безысходность. «Борис, научите меня, как жить. Я больше не умею, не знаю, не понимаю...» Эти потрясающие документы проясняют многое в характере и биографии Н. Я. Мандельштам, о которой из ее собственных книг и мемуаров других людей тоже успело сложиться не вполне верное представление.

У Надежды Яковлевны был строгий принцип: уничтожать письма. Того же она настойчиво требовала от Бориса Сергеевича: «Я не хочу, чтобы после моей смерти гадали, были вы моим любовником или нет. Я не хочу, чтобы после моей смерти обо мне вообще могли что-нибудь сказать». Кузин же вполне резонно считал полученные письма своей собственностью и категорически отказывался выполнять требования Надежды Яковлевны. Благодаря этому «неджентльменскому» поступку мы имеем возможность опубликовать письма, хотя решаемся на это не без чувства неловкости как перед автором, так и перед адресатом.

* * *

Письма публикуются в хронологическом порядке, без купюр, с сохранением в большинстве случаев авторской пунктуации.

* Письма от 21.I, 26.II и 10.III.1938 с приписками О. Э. Мандельштама находятся в частной коллекции и публикуются нами по ксерокопиям. Две приписки были напечатаны в журнале «Вопросы истории естествознания и техники» (1987. № 3. С. 132—133) с неточностями, которые мы устраняем.

Даты без скобок написаны рукой Н. Я. Мандельштам. Угловыми скобками обозначены даты, проставленные Б. С. Кузиным. Даты и места написания писем, взятые в квадратные скобки, установлены нами по почтовым штемпелям.

В текстах писем угловые скобки означают предлагаемую нами расшифровку инициалов, недописанных и неразборчиво написанных слов.

В сносках, обозначенных звездочками (*, ** и т. д.) даются переводы иноязычных выражений, текстологические примечания и уточнения. Комментарии к письмам, обозначенные цифрами, помещены после текстов всех писем.

Все личные имена, встречающиеся в письмах, вошли в указатель имен. Домашние (краткие) имена, псевдонимы, прозвища и т. д. даны со знаком (*) и отсылкой к соответствующим полным именам.

Н. И. КРАЙНЕВА, Е. А. ПЕРЕЖОГИНА

1937 год

6.XI.37. [Калинин].

Милый Борис Сергеевич!

Мы все время вас вспоминаем, все время о вас говорим. Мы обрадовались вашему письму, потому что почти ничего о вас не знали и не могли узнать. Эти годы кажутся очень длинными — очень много пережито. Плохо, что Ося болен — склероз аорты, плохо с сердцем. Хорошо, что он исключительно жизнеспособен и массу работал.

Сейчас я думаю об одном — об устойчивом быте, которого у нас еще нет. Мы вряд ли останемся в Калининне — скорее поедем в Тарусу — деревеньку на Оке в трех-четыре часах от Москвы.

Не нужно ли вам чего-нибудь? Не прислать ли вам каких-нибудь книг? Не порвались ли все носовые платки и носки? Может, нужно прислать ботинки на ваши огромные ноги? Пишите — мы все сделаем...

Вслед за этим письмом, я сейчас же, как только мы осядем — а это случится в ближайшие дни, сообщу вам наш адрес. Главное, пишите как можно подробнее о себе.

Пока что можно писать маме или Жене — они нам перешлют письмо. Не задерживайте ответа. Пишите.

Надя.

6.(?)XI.1937. [Калинин].

Милый мой Борюшка, родной мой друг!

Нынче мы с Осей отправили вам письмо. Но я хочу сказать несколько слов от себя. Ни на один день, ни на одну минуту я не забывала вас. Вы всегда были со мной.

Я теперь усталая. Я уже старая — правда. Эти годы разлуки были очень тяжелые — и особенно тяжела была разлука, отсутствие вестей от вас, полная неизвестность. Я так счастлива, что вы написали. Пишите о себе. Сделайте то, чего вы никогда не делали: сделайте это для меня — пришлите свою фотографию. Я вас об этом прошу.

Простите за мое нелепое письмо — но я так рада первой вести. Мы все очень одиноки. Надо беречь то, что имеешь. Наша дружба уцелеет. Теперь я это знаю.

Надя.

17.XI.37. [Калинин].

Милый Борис Сергеевич!

Прошлые письма мы писали — еще не зная, где мы будем жить. В ближайшие месяцы наш адрес: Калинин. Третья Никитина, № 43. Квартира одна — это большая северная изба. У нас хорошая комната. Дощатые стены. Две перегородки, не доходящие до потолка — а за перегородками живут люди.

Пожалуйста, пишите о себе подробно. Надолго ли вы на опытной станции? Скоро ли вы приедете в Калинин? Или, чтобы повидаться, мы должны приехать к вам? Как здоровье? Легкие? Мы ждем подробного ответа.

Еще: работа ваша по договору? Что вы делаете? Как денежные дела? В чем недостатки — есть ли у вас одежда, белье, ботинки?

Отвечайте! Ждем письма...

Надя.

Пожалуйста, пойдите к фотографу и пришлите карточку. Съездите ради этого хоть в Боровое, но карточку пришлите...

30.XI.<1937>. [Калинин].

Милый Борис Сергеевич!

Мы сразу получили все ваши письма: два на московский адрес — и одно — сюда — в Калинин. От всех писем появилось

более ни менее ясное представление о вашей жизни. У вас сейчас уже наверное начались холода — и тулуп появился вовремя. Скорее снимайтесь и шлите карточку. Наши тулупы, к сожалению, еще не готовы — даже не заказаны. Мы встречаем зиму без единой теплой вещи, и это очень неуютно.

Вы были, конечно, правы, когда за нас тревожились. Точно так правы и мы, беспокоясь и жалея вас. Несмотря на оптимистический тон писем, ясно, что жизнь была трудной и сейчас нелегкая.

Особенно — тревожен плеврит и т. б. с. Напишите подробно, что было и как сейчас. Я очень боюсь вашего легкомыслия. Мне кажется, что вы способны проходить на ногах любую болезнь даже тогда, когда нужно полежать.

Кстати, я тоже схожу к уличному фотографу, снимусь в своей курточке — хорошей, черной, кожаной, — и пришлю вам карточку. Труднее будет заставить сняться Осю. Но я постараюсь это сделать. Если я буду недостаточно хороша на карточке, припишите это качествам фотографа.

Мы живем сейчас в избе на окраине города. Под окнами — огороды, огороды, огороды. Сейчас выпал снег и пейзаж облагородился. Летом я много рисовала — впервые за много лет я последние два лета рисую — и у меня есть десятка два милых акварелей. Но летом мы жили не здесь, а в деревне Савелове — на Волге. Но когда мы приехали сюда, я поняла, что здесь не порисуешь — уж слишком уныло... Сам Калинин — хороший городок, но в центре не найти комнату.

В нашей избе — у нас большая, светлая, холодная комната; по обе стороны — неполные перегородки, а за перегородками — справа и слева — живут по паре — муж с женой, и муж с женой. Мы чувствуем себя на тычке. Работать, конечно, невозможно. Продолжаем поиски комнаты — и это очень трудно.

Знаете, Ося тоже научился читать по-испански и тоже искал испанских книг. Я же уже два года читаю и перечитываю хроники Шекспира. Прочла Ромео, Макбета, Лира... В общем почти все, кроме комедий.

На концертах вашего любимого скрипача¹ мы были — и вспоминали вас.

Знаете, если бы в вашем совхозе на опытной станции нашлась бы для нас какая-нибудь работа — мы бы не задумываясь приехали. Не относитесь к этому как к шуточке. Это очень серьезно.

Подумайте — не нужен ли у вас библиотекарь — хотя бы — и не могла ли <бы> я быть лаборантом или чем-нибудь вроде этого...

Пишите нам. Мы ждем писем и очень им радуемся. Я вам не писала, что последние полтора года Ося очень болел (сердце, тяжелейший склероз, аорта, мышца). Сейчас он в хорошем состоянии.

Ждем ответа.

Надя

Бориска, глупый, зачем объясняетесь со мной?

Я тоже умная, как собака, и все понимаю.

Целую вас, мой милый, родной, чужой братец...

Я обрела всю свою легкость, но не утратила нежности.

Н.

<1937>. [Калинин].

Милый Борис Сергеевич!

Сижу на почте — заказала телефон с Москвой — жду вызова.

Ося нездоров — легкий грипп. Лежит дома. Получили ли вы наше последнее письмо — от 30 ноября?

Письма идут так долго (хотя я думала, что они должны идти еще дольше), что я не могу дождаться ответа: начинается тревога — уж не заболели ли, не случилось ли что...

Вот когда Ося болеет, я знаю, что я сделаю все, что нужно... Он на глазах. Оттого и страху нет. А за вас все время тревожно. Пожалуйста, пишите как можно чаще и пришлите скорее карточку в тулупе.

Как только Осяка начнет выходить, мы забежим в самую моментальную фотогр<афию>, и вы нас узрите.

Пишите... Целую вас. Надя.

Кстати, какая я фефела по сравнению с вами — вы умудряетесь писать письма на нормальной бумаге, а я на всяких клочках*.

Осяка все время просится к вам — хочет ехать — хоть сейчас.

* На обороте бланка для телеграмм со штампом: «КАЛИНИНА ОБЛ.».

22.XII.[1937]. [Калинин].

Милый Борис Сергеевич!

Я не сразу узнала вас на фотографии* — вы действительно плохо выходите. Но потом все же узнала и тогда принялась разглядывать одежду.

Ваш полушубок — родной брат моего. Только мой малютка, а ваш великан. Мой — почти новорожденный: я его вчера купила в лучшем калининском универмаге за 93 рубля с полтиной... Мне долго не хотели его продавать, и уверяли, что он детский. Но уверяю вас — он на меня как раз...

Еще у меня есть валенки. Я очень обрадовалась, увидав на вас валенки. Я вспомнила, как вы меня оскорбляли в Москве, уверяя, что нужно носить не валенки, а обыкновенные туфли. И еще, что нельзя грызть семечки. А я еще тогда понимала пользу валенок и тренировалась.

У Оськи тоже завелась шуба. Так что мы все трое теперь теплые...

Завтра мы пойдем сниматься и, как только карточки будут готовы, пошлем вам. Что касается до Осиных книг — то увы — их у нас нет. Ту, которую я стянула у вас, в свою очередь спер у меня брат** и не хочет отдавать.

Я верю в летнюю встречу. Где она произойдет? Мне жаль, что вы не хотите, чтобы мы сейчас к вам приехали. А то бы мы ведь действительно приехали...

Неужели вы думаете, что вы меня обыграете в шахматы? Этого не будет! Во-первых, я бросила это дурацкое занятие и больше в шахматы не играю. Во вторых — мои излюбленные дебюты — ультрамодерн, изложенные в книге Тартаковера², приводят в панику моих противников, и победа мне обеспечена.

Что вы делаете с пятью щенятами?

Как вы живете в комнате с пятью щенятами да еще с тулупом?

Мой тулуп, например, пахнет козлом, и вся комната пропиталась его запахом.

Нынче Ося купил патефонные пластинки: Шопена и Гайдна — и поднес их хозяину. Хозяин наш — хороший старик —

* Фотография воспроизведена в наст. изд.

** Евгений Яковлевич Хазин.

уже пятый раз слушает Гайдна... А хозяйка прочла вместо «баллада» — «балда»...

Бурная жилища требует вместо академической музыки — романс «похищенное сердце»...

У нас была оттепель. Нынче подмерзло. Но ветер отчаянный. В город ездим через Волгу. Она недели две назад стала, а сейчас опять вскрылась.

Я все пишу глупости. Но ведь от меня и нельзя ждать ничего умного.

Хоть бы скорее увидиться с вами.

Ося говорит: отчего бы нам хоть не съездить в Шортанды. Ну хоть ненадолго съездить... Скорее сообщите, сколько километров от станции лошаадьми...

Еще: так долго идут письма, что невозможно дожидаться ответа. Очень прошу вас: заведите привычку писать каждые пять дней... Тогда я буду спокойна. И вам напишу в следующий раз 27/XII — с карточками...

Ждем ответа.

Надя.

1938 год

1.1.38. [Калинин].

Милый Борис Сергеевич!

Нынче Новый год. Поздравляю вас. Увидимся ли мы в 38 г.? Пожалуй — да...

Вчера мы ходили по улицам и увидели мальчишку с девчонкой, которые везли на санках довольно густую елочку. И хотя весь город завален елками и хотя мы уже порешили елку не покупать, мы все же не выдержали и повернули санки с елочками к нашему дому.

На елке оказалось девять свечек — десятый подсвечник сломался. Ося побрился ровно в одиннадцать часов — в пол-одиннадцатого вернулись домой: ездили в аптеку за лезвием для «жилета».

Вино было кислое, но благородное. Встретили Новый год честь честью — с хозяйкой, выпили вина, закусили и легли спать.

Свечки на елке догорели наполовину.

Таким образом наше имущество увеличилось на одну пустую бутылку.

В комнате холодно, и я с вожделием смотрю на елку: ведь когда она засохнет, можно будет вытопить печку.

Скоро мы снимемся с места — или в самом Калининe найдем другую комнату (что почти невозможно), или переедем в другой город или деревню. Уж очень мы плохо устроились — холод, окрайна — и главное — непрерывный шум.

Я очень дохлая. Не знаю, чего я не переносу, но все мне делается дурно. Оська — ничего, но душевное состояние тяжелое.

Я долго сомневалась, послать вам эти карточки или нет. И в последнюю минуту — не знаю, вложу ли я их в конверт³.

Эта лицемерка, эта ханжа, эта морщинистая обезьяна — это я! Но, честное слово, это не совсем я — я очевидно сделала гримасу, когда снималась. Я, кажется, хотела улыбнуться, хотя мне свойственно или смеяться, открыв рот во всю ширину, или реветь. Приличной улыбки не выходит.

Ося тоже лучше, чем на карточке. Моложе и живее. Зато мое кашне вышло великолепно — не хуже вашего тулупа...

Если мы переменим комнату, я телеграфирую вам новый адрес — но вы пишите пока по этому: мне во всяком случае письма перешлют.

Жду...

Надя.

Когда же будет лето? Ведь летом мы обязательно к вам приедем. Впрочем, приехали бы и зимой, только вы не позволяете.

Ося одно время хорошо писал письма, теперь загрустил и не пишет. Пожалуйста, напишите ему и выругайте его. Уж очень он тоскует...

Ходит он, как кот в сапогах, в лже-валенках — валенки трудно достать — в коричневых матерчатых сапогах, которые называются в магазинах «чулки»... Ступает мягко и тяжело и целый день бегаёт по комнате. Иногда от усталости валится на кровать. К вечеру устает, как после большой экскурсии.

[12.1.38.] [Калинин].

Милый Борис Сергеевич!

В комнате холодно. Трудно привести мысли (впрочем, они у меня вообще отсутствуют) в порядок...

Я понимаю все: почему про собаку пишете, почему приехать нельзя, почему в комнате холодно... А все-таки мы приедем. Мы все пробуем здесь до весны дожить, но наверное снимемся с места раньше. Лишь бы не попасть в распутицу.

Знаете, бодрящийся тон писем — для меня ничего не означает: это вроде галстука или белого воротничка. Вашу жизнь-то я себе представляю. Представляете ли вы нашу? Думаю, что нет... Это значительно сложнее и неожиданнее...

Мы пытались переменить комнату. На далекой окраине — в 2—2 1/2 километрах от лавки и от трамвая — нашли так называемую «квартиру»: полсруба с лежанкой. Все удобства: лампа, воду носят хозяева, полы обещают мыть, и т. п. ...Все это 275 рублей в месяц. Едва не переехали... Но потом стало лень, и остались в своей двухсотрублевой загородке. Поисками комнаты были заполнены последние недели. Я простудилась и кашляю, как лошадь.

Зато во время поисков мы познакомились с замечательной трехлетней курносой девочкой. Она рассказывала, что ей снился «гадкий» сон, «фу, какой сон»: злые волки, которые собирали цветочки... Она верила в то, что волки злые, но никак не могла придумать для них подходящего занятия.

Ося грозитя повезти меня к доктору: я мешаю ему по ночам спать своим кашлем.

Мы уже давно ничего не читаем.

Знаете, женщины разделяются на шьющих и стряпающих. Эти два качества никогда не совмещаются — или шьет платье, или варит борщ... Я, к несчастью, — стряпуха... Совсем не умею шить: таланту нет... А между тем шить очень полезно и приятно. Что делать?

Мы не знаем, куда мы уедем из Калинина. Здесь мы не останемся. В какой-то мере это зависит от вас.

У нас проблема отъезда стоит довольно остро — намечается Задонск — городок в Воронежской области — очаровательный, холмистый, с мелким, но быстрым и чистым Доном (самое верховье). Жилищного кризиса никакого. Сотней в месяц можно соблазнить любую хозяйку и получить полдома. Крутом богатые совхозы. Жизнь дешевая... Может, там наша судьба. А вы? Что думаете вы? Может, весна и лето в Шортанды? Напишите... Мы не боимся холода (согласны и на зиму), а гулять умеем от дома до сарая... Получили ли вы наши карточки? Простите, что я такая вышла гадкая...

А вам нужно сниматься без шапки. Лысая голова и лоб — необходимы для узнавания. В шапке вы совсем другой... А у меня тоже есть ушанка и валенки. А моему тулупчику завидуют все дамочки. Такой тулупчик, что пальчики облизать можно... Надя.

Ося спит... Он окончательно разленился. Я не верю, что он способен написать. Но письмо от нас обоих. Надя.

Я вам пришлю конверты...

21.1.[38. Калинин.]

Милый Борис Сергеевич!

Долго не отвечала на ваше письмо: целую неделю. Во-первых, письма пришли одно за другим — а я, как известно, писем писать не умею. Во-вторых — прихварывала, кашляла, лежала. Глупая врачиха отправила меня на рентген. Сейчас пишу рано утром перед этим удовольствием. У меня ничего нет — просто дохлая курица, как всегда.

Меня как-то огорчило ваше письмо. С чего вы взяли, что нам худо. Объективно, нам совсем не плохо. Но Ося тоскует. Он в тяжелом состоянии. Я думаю, что это реакция на длительный рабочий период. — Весь прошлый год он сочинял стихи. Материально нам тоже лучше, чем многим, хотя с заработками уже давно слабо. Вообще то, что нам трудно, объясняется тем, что мы живем в Калинине. Ничего специально нашего — нашей личной разрухи в этом нет.

Мне хотелось бы вас повидать до того, как вы сниметесь с места. Боюсь, что вам будет тоже нелегко найти работу, несмотря на вашу специальность, на которую большой спрос.

Впрочем, об этом еще рано говорить... Может, вы поедете на готовое предложение... В общем, хочу вас видеть. Очень скучаю. Я все жду, чтоб Ося написал вам, но он как-то так съезжился, что даже письма написать не может.

Мне его жалко — глупого. Но что делать?

Сейчас собираемся — пора идти.

До свиданья.

Пишите.

Надя.

Дорогой Борис Сергеевич,

Сейчас мы пойдем с Надей на рентген. У нее кашель вроде астмы. Хорошо бы на юг. Кажется, в легких ничего нет.

На днях буду в Союзе писателей. Новости сообщу. Спасибо, что пишете.

Не забывайте нас. Ваш О. М.*

* Приписка рукой О. Э. Мандельштама.

29.I.38. [Калинин].

Милый Борис Сергеевич!

Вам верно тошно от моих писем. Вам кажется, что какая-то противная дразнилка сидит под Москвой, ничего не понимает, не ценит своего положения и рвется в глушь... Просто хочется вас видеть — вот я и скулю, как собака. Но не плохо быть такой дотошной: постепенно у меня составилась довольно полная картина вашей жизни. Кроме того, у меня нет никаких иллюзий... Многие, получая от родных бодрые письма, ликуют и хвастают, что все хорошо.

А я, Бориска, все знаю — и про мышей, и про мороз, и про щели в полу. Только степи себе представить не могу. Настоящей степи, без хотя бы небольших рощиц, не видела никогда.

Относительно Юлия⁴ я все знала. Первые вести о вас пришли от Сережи. Я к нему зашла и просила его узнать, как и что. Он и пришел с первыми добрыми вестями о вас (еще до вашего письма) и рассказал о Юлии М. Мне только вашего адреса не хватало, но получить его можно было только от вас. А над Сережей вы зря всегда смеялись — теперь я его полюбила (за первую добрую новость о вас, конечно), — и буду любить впредь до скончания века. Он бородат, ходит с собакой, рождает сыновей и считает ворон.

Так или иначе летом мы увидимся. А это факт?

Я хочу сняться в городе у хорошего фотографа, чтобы предстать перед вами во всей своей (но своей собственной) худобе и некрасивости — и не улыбаясь, и опустив глаза — ибо такова моя форма. Тогда вы признаете, что я фотогенична.

Недавно в «Правде» было письмо, подписанное А. Толстым, Фадеевым, Катаевым и др <угими>, о Союзе Писателей⁵. Сейчас ждут перемен в Союзе и некоторого оживления. Нас это может очень близко коснуться. Теперешнее руководство Союза (Ставский, Вишневский) было крайне медлительно и до сих пор не успело прочесть книги стихов (в рукописи)⁶, которую всеми силами выдвигала писательская общественность. Посмотрим, что будет дальше.

Я же хочу: любую работу, районный городок — вот если бы Старый Крым... Увы! Это неосуществимо...

Меня водили к врачам: у меня образовалось нечто вроде бронхиальной астмы, и я часто задыхаюсь. Врачи обстужали меня

со всех сторон и велели курить особые астматические папиросы. От них почти сразу проходят припадки удушья. Происходило это обстуживанье на днях — в Москве. Литфонд производил обследование моего и Осиного здоровья и обнаружил, что мы оба никуда не годимся, это впервые... Ося эти годы много болел — сердце. Я нет. Я вошла в года и окрепла.

А у нас есть соседка, которая поет при всяких обстоятельствах, когда Ося спит, когда я кашляю и задыхаюсь. Я скоро пырну ее поленом или в лучшем случае метлой. Поет она арии и романсы...

На кого кухарит ваша кухарка? Русская она или казачка? Какими странными блюдами она вас кормит?

Кстати — чем у вас топят? Неужели кизяком? Ведь дров-то нет!

Я хочу вас видеть... Я боюсь, что мы никогда не увидимся. Это ведь так трудно...

Пишите. Жду писем. Скучаю.

Надя.

Ося спит... Соседка кухарит на кухне. Тридцатого органнй концерт — Гедике-Бах⁷. Ни вы, ни Ося его не услышите.

26.II.[38. Калинин.]

Милый Борис Сергеевич!

Я давно не писала — каждый день ждала новостей (относительно нас с Осей), которые хотела вам сообщить. Но пишу не дождавшись. В общих чертах: положение наше изменилось к лучшему, и мы накануне получения работы и санаторного отдыха. Возможно, в Болшеве, где мы когда-то жили и куда вы к нам не хотели приехать. Мы предпочли бы получить стоимость путевок на руки и тихо жить, но — увы! — Литфонд хочет истратить баснословные деньги (по 1200 в месяц на человека) именно на санаторий. Но самый факт отправки в санаторий очень знаменателен.

Теперь о вас: я до сих пор не понимаю вашего положения. Связаны ли вы с вашей областью? Можете ли вы приехать летом сюда или в Старый Крым, о котором мы все мечтаем? Только ли в

работе дело? Как обстоит сейчас с Алмаатинским заповедником <ом?> Пожалуйста, пишите не откладывая в Калинин. Мы еще получим письмо.

Надя.

Я очень беспокоилась, не получая в прошлый раз письма и теперь невольно вам отомстила.

Дорогой Борис Сергеевич!

Хочу написать вам настоящее письмо — и не могу. Все на ходу. Устал. Все жду чего-то. Не гневайтесь. Пишите сами и простите мою немоту.

Очень устал. Это пройдет.

Скучаю по вас.

О. М.*

10.III.38. [Саматиха.]

Милый Борис Сергеевич!

Мы написали вам коротенькое письмецо, вернее записку, в то время как устраивались наши дела. Мы все ждали определенности, чтобы сообщить вам какие-нибудь новости, а они медлили.

Но сейчас мы уже на новом месте: в доме отдыха — в 120 километрах от Москвы и в 25 километрах от ж. д. станции. Работы пока нет. Но дом отдыха — это первая реальность. Приехали сюда на два месяца. Комната отдельная. Маленькая, светлая... Еда хорошая и, главное, не нужно думать, как ее достать. Привезли с собой много книг. Даже однотомник Пушкина (книги чужие). Будем принимать хвойные ванны и ждать будущего. Это первая передышка. Мы страшно устали — главным образом за последний год после отъезда из Воронежа.

Мне понравилась двадцатипятикилометровая поездка на розвальнях. Я впервые ехала такое расстояние в санях. Погода стоит теплая. В городе все растаяло. А здесь еще чистый снег и отличный путь. Только полоз не скрипит, как в мороз.

* Приписка рукой О. Э. Мандельштама.

В доме было бы хорошо, но очень мешает шум: песни, которые горланятся часто и упорно, и балалайка. Гармошка требует особого искусства, поэтому она слышна реже.

Нам предложили поставить в комнату стол. Это здесь не принято — особая честь...

Не грустите — все будет хорошо. Скоро мы увидимся. Как складываются у вас дела? Как заповедник? И опять-таки вечный вопрос: чем связаны вы с областью и можете ли вы приехать жить сюда? Сейчас можно получить работу в каком-нибудь областном или районном центре. Хорошо бы жить вместе... Правда? Я думаю, это скоро будет. Если бы не ваши протесты, мы бы давно приехали и увидели бы вашу собаку и ваших крыс, и вашу лежанку...

Как только я начну толстеть, я снимусь и пришлю вам карточку — у вас будет «до» и «после» — и вы сможете судить, как работают дома отдыха повышенного типа — принадлежащие облздраву. Пожалуйста, пишите скорее. Не поддавайтесь меланхолии и не забывайте отвечать на письма. Я буду очень волноваться, если не получу вовремя письма.

Жду ответа.

Надя.

Адрес: Ленинская (Казанская) ж. д.

Ст. Кривандино. Дом отдыха Саматиха.

Ося мечтает о хорошем радио для себя и вас и о патефоне с баховскими пластинками.

А я вас целую, потому что вы мой братец.

10.III.38. [Саматиха].

Дорогой Борис Сергеевич!

Вчера я схватил бубен из реквизита Дома отдыха и, потрясая им и бия в него, плясал у себя в комнате: так на меня повлияла новая обстановка.

«Имею право бить в бубен с бубенцами».

В старой русской бане сосновая ванна.

Глушь такая, что хочется определить широту и долготу.

Сборы были огромные. Очень трогательное расставанье с калининскими хозяевами.

С собой груда книг. М<жду> пр<очим> — весь Хлебников. Еще не знаю, что с собой делать. Как будто еще очень молод. Здесь должно произойти превращение энергии в другое качество. «Общественный ремонт здоровья» — значит, от меня чего-то доброго ждут, верят в меня. Этим я смущен и обрадован. Ставскому я говорил, что буду бороться в поэзии за музыку живущую. Во мне небывалое доверие ко всем подлинным участникам нашей жизни, и волна встречного доверия идет ко мне. Впереди еще очень много корявости и нелепости, — но ничего, ничего, не страшно! Чуть-чуть не делался переводчиком. Давали дневник Гонкуров. Потом раздумали. Ничего пока не дали.

Любопытно: как только вы написали о Дворжаке, купил в Калининне пласт<инку>. Слав<янские> танцы № 1 и № 8 действительно прелесть. Бетхов<енская> обработка народных тем, богатств<о> ключей, умное веселье и щедрость.

Шостакович — Леонид Андреев. Здесь гремит его 5-ая симф<ония>. Нудное запугиванье. Полька Жизни Челов<ека>. Не приемлю. Не мысль. Не математика. Не добро. Пусть искусство: не приемлю!

Здравствуйте же и до свиданья.

Еще поговорим.

О. М.*

20.III.[1938]. [Пески, Коробовского р-на Моск. обл.].

Милый друг!

Уже очень давно нет от вас писем. Я начинаю дурить и лезть на стены. Сначала я ждала письма в Калинин — и ничего не получила. Вторично писала, кажется, 9/III из Саматихи (Ленинская ж.д., ст. Кривандино, Дом отдыха Саматиха). Ответа пока нет, и хотя я знаю, что его еще не может быть, жду с каждой почтой, разговариваю с почтальоном и творю прочие глупости.

* Письмо О. Э. Мандельштама Б. С. Кузину было отправлено одновременно с письмом Н. Я. Мандельштам, вероятно, в одном конверте.

Здесь очень плохо и грустно. Мы страшно не хотели сюда ехать — пришлось: это был единственный выход. Мы долго будем здесь сидеть. Но хочется сбежать.

Пишите, очень прошу вас, пишите. Единственная твердая точка, которая у меня осталась, — это ваши письма.

Как я радуюсь вашей карточке. Она живет со мной и чуточку заменяет мне вас. Я с ней почти разговариваю.

Но на днях мне попала моя, которую я послала вам. Милый, порвите ее. Только я способна сделать самую чудовищную гримасу, снимаясь у самого худшего фотографа, и потом послать эту карточку — человеку, который не видел меня столько лет. Честное слово, я не такая. Порвите ее... Я снимусь и пришлю вам другую...

Целую вас... Скучаю.

Как жаль, что все женские письма похожи друг на друга... Я скучаю... Я хочу вас видеть и люблю.

Надя.

27.III.[1938]. [Пески, Коробовского р-на Моск. обл.].

Милый Борис Сергеевич!

Получили сразу оба письма: одно переслали из Калининна, другое — сюда.

Мне кажется, что вы избрали благую долю (хотя я понимаю, как это трудно), не отправившись искать счастья, но севши сразу на работу. Но, конечно, не навсегда... Может быть, мы еще будем жить в каком-нибудь Старом Крыму и вы там устроитесь на такую же несносную работу. Хорошо, если бы вы могли приехать (очевидно, только осенью?) и осмотреться в более приветливых (по климату) краях. Всягда есть совхозы, опытные станции и заповедники. Если б вы жили поближе!

Я все боялась, что это невозможно. Одно сознание, что вы можете приехать, успокаивает.

Последнее время я стала совсем тихая. Больше лежу и читаю всякую ерунду. Мы живем в маленьком деревянном доме. Здесь помещается Красный Уголок, куда очень редко заходят, склад лыж и наша комната. До станции 25 километр<ов>. Ближайшая

лавка — 3 кил<ометра>. Снег начал таять. На солнце почти тепло. Уже показываются коричневые полосы земли. Говорят, что цветет верба.

Мы вас опередили. Ося, как всегда в таких заведениях, — грустит. Я же рада, что можно лежать. Еще радуюсь тишине. Сначала мы жили в большом доме, где стоял грохот, сейчас нас перевели «на выселки», и тишина окрашивает всю жизнь, ощущается, как нечто реальное, объемное, активное... Я не знала, что тишина это вещь, и притом очень хорошая вещь.

Я очень ободренная кошка, но у меня есть туфли с калошами и кожаная куртка. Больше ничего весной не надо.

Дедушка-истопник, который топит нам печи, был моряком в <1>905 году — в войну, все рассказывает про океанские плаванья. А девушка-уборщица никогда не была в Москве.

В Москве у нас есть Шкловский и его семья. Они очень хорошие — настоящие друзья, и это обнаружилось в эти трудные годы. Но лучше всех жена Шкл<овского> — Василиса. Таких молчаливых, умных, улыбающихся, синеглазых, очень мало. Я таких не видала.

Больше никого нет. Эмма по-прежнему что-то доказывает и защищает какие-то свои погранные дружеским невниманием права. Она по-прежнему огорчается, что мы не сочувствуем ее страданиям, и занимается Лермонтовым.

Моя сестра* тяжело больна, и я не могу ее взять к себе, потому что некуда. Женя ничуть не изменился. На людях изыщен, дома — мрачен. Анна Андр<еевна> — хворает. У нее базедова болезнь и семейная неразбериха. Сын учится и продолжает расти⁸.

Со мной живет английский Шекспир, как с Осей Дант. Но мы оба давно не заглядываем в свои книги. У нас в квартире — шумная семья⁹, кот<орую> вселил Женя. Семья эта никогда не уедет и притесняет маму.

Где наш с вами дом? Я буду кухарить на вас с Осей... Я буду хорошей хозяйкой, только бы время остановилось и вернулось в Старый Крым. Я не буду ссориться с вами за столом. Я буду молчать и радоваться.

Надя.

* Анна Яковлевна Хазина.

14.IV.[1938]. [Струнино, Моск. обл.].

Милый Борис Сергеевич!

Вчера получили ваше письмо. Карточка очень хорошая: но каким образом вы помолодели? И что растет на вашей голове? Колется ли то, что растет? С виду оно как очень мелкая игла самого деликатного ежа.

Мое основное занятие: я рошу косы. Сейчас они у меня в масштабе десятилетней девчонки. Бережно храню и холю первую дюжину седых волос. Они у меня на учете и на особом попечении. А косички — ничего — еще охристые.

Ося радовался, читая ваше послание. Но он подозревает, что язык старинный... Проверяли ли вы свое произношение по радио. Одно время часто бывали испанские передачи, и Ося тогда выверял, так ли он произносит...

Нынче я в довольно сносном настроении: на обед была курица и компот из банки. Все очень прилично. Это подбодрило мой слабый дух. Кроме того, баба во дворе продавала мороженые яблоки. Это тоже хорошо...

Два дня назад выпал снег: глубокий и вполне зимний. Еще не стаял. Мне показалось, что все начинается сначала... Я уже предчувствовала двадцатиградусные морозы и от обиды целый день пролежала в постели. Но утешило солнце — вполне весеннее.

Здесь никто не играет в шахматы. Это тоже хорошо. Я даже не скучаю. Состояние скорее тупое. Вот почему, быть может, я так равнодушно читаю комедии Шекспира — по одной в день... Знаете ли вы мои любимые хроники: Ричарда второго и третьего и того Эдуарда или Генриха¹⁰, чьей женой была неистовая Маргрет... Я даже не думала, что это театр. Но на Лира, уже войдя во вкус, пошла в театр (в еврейский), где играет божественный старик Михоэльс. То, что Шекспир был еврейский — мне не мешало: не понимала текста и все. А сам Лир понятен и без слов. Мне до сих пор кажется, что это было чудо. Он играл в каких-то серых тряпках и без грима. Потом жаловался мне, что на него хотели нацепить бороду и т. п. ...Зато невыносимы были декорации, воющие актеры, прыжки, поклоны и дикий актерский вой. Хотелось всех разогнать и пустить Лира одного с его куклой — Корделией, которая, слава богу, не выла.

Как у вас отношения с Макбетом и Шейлоком? Еще я люблю Ромео. Я думала, что я первая нашла в хрониках невероятные совпадения с Бор<исом> Год<уновым> — и вообще с Пушкиным. Но, оказывается, он сам об этом догадался и написал о Шекспире — Вяземскому¹¹... Я очень огорчилась...

Ося чуть-чуть начал интересоваться моим Шекспиром. Я часто переводила ему кусочки, и он был доволен... Только что он дописал письмо дедушке* и сказал, что вам напишет отдельно... Письма он по-прежнему не любит писать, но очень любит получать. Пожалуйста, пишите ему... Этот строптивый старик скучает, как зверь. Ему не с кем разговаривать... И поэтому он каждый день жалуется на новую болезнь. Утром у него болела поясница, а сейчас он идет на солнышко. Мне очень его жаль: жить бы ему в Москве в своей квартире... Но — увы — ни квартиры, ни Москвы.

Мне еще жалко вашу овцу. Я скоро стану принципиальной вегетарианкой и буду есть только кур и уток, потому что они глупые. А кормят меня здесь морковкой и порченными котлетами...

Знаете, мне очень хочется умереть, но все-таки на свете жить хорошо, особенно если есть деньги. Если они у нас заведутся, я обещаю жить до седых волос. Впрочем, на это непохоже.

Я всегда пишу вам всякие глупости. Если мы помрем, пойдете к Василисе Шкловской — и она вам расскажет, как мы жили... Он тоже очень хороший, но он во власти своего литературного стиля и поэтому рассказ выйдет чересчур лиричен. Но я надеюсь, что мы увидимся и успеем помереть после встречи с вами.

Я очень скучаю... Если вы сразу ответите, то письмо дойдет еще сюда... Пишите, милый...

Целую вас...

Надя.

С трудом достала какой-то ужасный рваный конверт.

* Эмилий Вениаминович Мандельштам.

29.V.[1938]. [Струнино, Моск. обл.].

Милый Борис!

Получила ваше письмо на московский адрес. Рада ему. И я хочу одного: узнавать время от времени, что вы живы, здоровы и тихо работаете.

У меня никаких новостей¹². Я и не жду ничего нового. И вы, Борис, не получите от меня никакой доброй вести. Откуда им взяться? Уже письмо — само по себе — добрая весть. Если со мной будут какие-нибудь перемены и мне некогда будет написать — вам напишут братья. Но в общем буду писать регулярно.

Мне трудно поверить в свою жизнь — так она нереальна... Брожу в полях — леса не люблю. Ем картошку и суп. Чужие люди — хозяева — уже тем хороши, что они совсем чужие и с ними поневоле болтаешь о поросятах. Но, конечно, преимущество. Что будет дальше — не знаю. Давно не видела Аню. Она, говорят, очень изменилась: это понятно — при ее болезни. Вообще не вижу абсолютно никого. Приспособилась жить одна: рада безлюдью.

Жду не письма, а весточки.

Надя.

1.VII.[1938]. [Струнино, Моск. обл.].

Милый Борис!

Я долго не получала от вас писем — за весь июнь — одно и не беспокоилась только потому, что была не дома и не знала, что писем нет.

Вы знаете, что беда никогда не приходит одна: умерла моя сестра Аня. Я все время была с нею. Год назад ей сделали операцию рака. Она скрыла от нас, чем больна. Зимой — вторая операция. И затем — тяжелейшая форма — множественный метастаз, т. е. опухоли рака были рассеяны по всему телу, во всех внутренних органах. Сама смерть произошла от опухоли в мозгу. Только смерть была к ней жалостлива: она умерла быстро и сравнительно легко. Сознание потеряла только в день смерти. И была спокойна,

потому что я, а потом и брат были с ней. Я все вспоминаю — она мне рассказала в последние дни, как после первой операции у нее был нервный припадок и она всех нас звала, а нас не было. И я еще поняла, как мы виноваты перед ней: как она к нам рвалась, и как мы от нее всегда ускользали, и как можно быть одинокой, имея родных.

Самое ужасное, что мы скрыли ее конец от мамы. Мы решили, вернувшись в Москву, подготовить маму и рассказать ей. Но вышло так, что Женя уезжает в Крым, я здесь у себя, а мама совершенно одна. Оставить ее с таким грузом одну я не решилась. Теперь дрожу, что она каким-нибудь образом узнает — и опять-таки живя совершенно одна.

Очень плохо, что она одна. Я впервые в жизни боюсь за себя: вдруг я заболею или что-ниб<удь> в этом роде — и брата нет...

Я вернулась в свою деревушку совсем растерянная. Как мне быть с моей мамой? Ко мне она не едет: боится за комнату, за барахло. Ей очень худо живется — ее обижают бывшие квартиранты, она абсолютно одна... А для стареньких это совсем неподходящее занятие...

А я могу быть одна, Борис. Дело не в самом одиночестве, а только в боли за потерянных.

Мне все дают советы. Особенно много равнодушно-заинтересованных советов дает Лена. Они сводятся к тому, чтобы я уехала подальше и перестала беспокоить их своим ободренным видом. Мне постоянно напоминают, что в немногочисленных заботах об Осе меня вполне может заменить Шура и что пора начать зарабатывать деньги, и уверяют, что где-то есть город, где меня сразу озолотят, оценив все мои таланты. Так как книги, которые я продаю, кончились, я подала заявление на работу: сиделкой в больнице. Хотела бы быть почтальоном, но трудно устроиться.

И еще: кончается жизнь Осиного отца. Он ничем не болен, но просто тает. Врачи говорят: маразм. Но старик сохранил свой странный ум, только уже не встает — иногда только сидит в кресле. Я была у него. Он плакал и просил, чтобы я с ним осталась. Но это невозможно: ведь я провинциалка.

Он сидел грязный, немый, без рубашки. Вся многочисленная и цветущая семья разъехалась на курорты. Евг<ений> Эм<илиевич> усиленно устраивает отца в дом инвалидов и не

сбыл его туда только потому, что при помещении в этот дом нужно сдать площадь — комнату... Взрослая внучка, уже с билетом на Кавказ, вздохнула: я думаю, дедушка еще поживет. Я посоветовала не думать о будущем и постирать ему сорочку, пока он жив. Эта наглость возмутила всех: белыми руками стирать белье грязного старика... Один Ося жалел этого старика.

Я вам пишу слишком много. Не знаю, почему. Должно быть потому, что совсем стала дурная. Я еще не совсем бедна: со мной живут стихи. Мне кажется, я не успела сказать Осе, как я его люблю... Не успела сказать Ане, как она мне дорога. И уже никогда не скажу.

Борис, простите мою бестолочь. И, пожалуйста, пишите. Впрочем, если не хотите, не пишите. Я верю в вашу дружбу. Но у меня дрянной, бабий характер: когда письмо не приходит вовремя, я начинаю волноваться. Я не буду... Я буду умная...

Целую вас, мой друг.

Надя.

8.VII.[1938]. [Струнино, Моск. обл.].

Милый Борис!

На этот раз очень быстро получила письмо. И все в нем мне было понятно. Во-первых — что ну его, всякое содержание. И про чувство полета. Оно мне тоже знакомо, хотя я не летала. Все мы его знаем.

А на охоту, Борис, я не хожу. Но рыбу ловлю. Способ ловли допотопный — корзиной. Речка мелкая. По колени в воде. Под корягами живет плотва, иногда налимы. Их гонят к берегу ладошью. А сзади подгоняют корзиной. Этой рыбой я фактически живу: я ее ем. Еще малина. Сбор совершенно профессиональный: до двух кило в день. К рыбе и малине — хозяйский огород и молоко. Вот и жизнь. Мне это сейчас приятнее, чем благоразумное устройство жизни. Ведь трудно поверить, что дальше будет жизнь, зима, потом опять лето... Я об этом не думаю. И думать нельзя. Только всё высчитываю дни до очередной поездки в город. И опять все сначала...

Я рада, что стало прохладно. Почти по-осеннему холодно. Когда было жарко, я все думала, каково Осе в такую жару...

Со мной живут стихи. Это тоже много. У других и этого нет.

Я даже не устала, Борис. Год назад я могла сказать, что устала. Теперь только одно: лишь бы не заболеть, не умереть. Обязательно жить, хотя бы в полусне. Может быть, еще когда-нибудь увижу и расскажу Осе, как я его ждала. Впрочем, я даже не жду его.

Я живу у очень хороших людей. Мне с ними лучше, чем в Москве. Иногда, чтобы развеселить меня, они ставят четвертинку. Я совсем не могу пить — даже в рот взять. Очевидно, для меня — это дружеский разговор. Никак не могу понять Симу, которая сидела целыми днями одна в комнате и пила коньяк. Она, наверное, так провела с полгода. Я бы не могла.

Вы все пишете, Борис, в конце писем — прощайте... Неужели не верите, что когда-нибудь увидимся? Я боюсь этого слова.

До свиданья, Борис.

Может, мы еще посидим втроем за столом.

<14.VII.38>. [Москва].

Милый Борис!

Получила ваше письмо. Была рада. Нынче я в Москве — а завтра вернусь к себе.

У меня ничего нового, и нового ничего не будет. Теперь всегда так. Вы спрашиваете, как Осина психика. Могу только гадать. Или вернее понимаю, что очень плохо. Последнее время был в очень тяжелом состоянии. Общий склероз очень сильно развился за последнее время (на его почве стенокардия), и, как боялись врачи, развивался — и быстро — склероз мозговых сосудов.

У меня нет никакой надежды — ни на что.

А про друзей неверно. И у нас, как и у всех, есть друзья. Хотя бы Анна. Ей сейчас тоже очень тяжело. Все плачет о сыне. Но во время болезни моей сестры — Ани — она доказала, до чего она настоящий друг¹³. И много раз...

Умер Осин отец. Я узнала это в Москве. Шура (он лучше других родичей) поехал его хоронить. Бедный старик — он так и не повидал своих сыновей.

Одна беда, видно, никогда не приходит. Вы это знаете.

Да, Борис, спасибо, что обо мне вспомнили; но мне помогать не надо: я с диким упрямством отказываюсь даже от помощи людей, которым это ничего не стоит. Я держусь пока и буду держаться, так же как и вы. Не вздумайте беспокоиться по этому, т. е. денежному, поводу.

Приедете ли вы в Москву? Я настолько мрачна, что мне никого не хочется видеть, но вам я буду рада. Только вам. И я хочу вам показать стихи — это настоящее активное желание.

Я пишу как-то все глупо, не сердитесь.

Целую вас.

Надя.

17.VII.<38>. [Москва?].

Милый Борис Сергеевич!

Я вам в последнее время слишком часто пишу — но кому же мне рассказать? Я узнала подробности дедушкиной смерти.

Его — умирающего — перевезли в больницу. Было это в первых числах июля. Затем Евг<ений> Эм<илиевич> уехал на дачу, навестив его перед отъездом (2—3). 8-го старику делали рентген желудка. 6-го зашла свояченица Евг<ения> Эм<илиевича>. Старик просился домой: ужасный уход, беспокойно, соседи обижают... Свояченица не обратила вниманья на его жалобы (капризы!) и ничего не рассказала дома. 8-го рентген выяснил, что рак. Никто ни о чем не справлялся, никто не зашел. Евг<ений> Эм<илиевич> приехал с дачи и даже не позвонил в больницу.

Он умер 11-го. Бредил расстоянием между Москвой и Ленинградом — поспеют ли Шура и Ося. Умер один, зная, что умирает (рассказывали сиделки и соседи). Плакал перед смертью. Евг<ений> Эм<илиевич> упрекнул врачей, что они его не известили, и услышал в ответ: «Вы же сами уехали и ни разу не справились».

Я все вспоминаю, как дедушка плакал, когда я к нему пришла, и звал Осю. И как я не выдержала и убежала.

Простите, Борис, за мои письма: это моя жизнь.

Получили ли вы заказное письмо с карточкой¹⁴? Пусть она у вас живет — кто знает — увидимся ли мы когда-нибудь.

Что Осю я не увижу никогда — я знаю, но понять этого не могу.

29.VII.<38>. [Струнино, Моск. обл.].

Милый Борис Сергеевич!

Получила ваше письмо. Не посылайте на московский адрес: я бываю здесь 2 раза в месяц — 1—2 дня.

Пока я живу у себя в Струнине, и это легче, чем в Москве. К сожалению, у меня летняя комната, и с холодами придется переезжать.

Я по-прежнему недотыкомка. Но мне кажется, если бы сейчас пришло благоустройство, я бы его не выдержала.

Поздней осенью решу, что с собой делать. Пока, только выигрываю время.

Письмо бессодержательно.

Я — тоже.

Простите.

Надя.

25.VIII.<38>. [Струнино, Моск. обл.].

Милый Борис!

Получила письмо — как раз в утро, когда вернулась из Москвы. Я знаю, Борис, вы пишете «прощайте» по привычке и ослышке. А меня всегда — уже много лет — режет... Есть у меня кое-какие новости. Ося переменил квартиру¹⁵. Новая не лучше прежней. Как его здоровье, не знаю, но очень боюсь. Хотя по существу бояться нечего. Он настолько болен (склероз мозговых сосудов — это и есть психическое заболевание, медленно прогрессирующее. От него умерла Осина мать*), что наверное лучше быстрый конец, без мучительных страданий.

* Флора Осиповна Вербловская.

Мне очень тяжело в Москве. Приходится о чем-то разговаривать, чем-то интересоваться, сидеть за столом с людьми и не выпадать из какой-то нормы. Я этого абсолютно не могу. Мне гораздо легче одной. Одна я как будто с Осей. Не так остра разлука. Я тоже по природе старая девка. Это обнаружилось сейчас. Своя маленькая берлога. Свой стол с двумя книжками. И свой круг мыслей. Собственный. И все приноровлено к нему — весь образ жизни: чтобы не спугнуть. Любой разговор в Москве «вообще» или «об искусстве» (чего не переношу до слез) ощущается, как измена.

Стала хамкой, на всех ору.

И я здорова — вполне. Если бы я могла отдать свое здоровье Осе. У меня такое чувство, что я его обокрала. Как вы про себя писали в письме.

Борис, простите за глупые письма. Мне больше некому сказать. Меня все похлопывают и бодрят, как лошадь. Этого не надо делать. Я бы рада еще повозить (битюг-то я исправный), только что?

Не сердитесь. Надя.

Я вас тоже люблю и жалею — ведь вы друг.

10.IX.<38>. [Струнино, Моск. обл.].

Борис милый! Оси нет в Москве¹⁶. Не знаю, услышу ли я еще что-нибудь о нем. Вряд ли. Это было бы слишком большое счастье. Я знаю только, что он далеко.

Буду узнавать (в Москве), сможет ли он мне написать.

Я живу на старом месте и хотела бы здесь остаться и устроиться. Мужества у меня, милый, нет, но есть другое: я обязана жить. Сколько — не знаю, но пока что должна. Для Оси прошу только быстрой и хоть легкой смерти.

Я рада вашим письмам, вашим занятиям и тому мужеству, которое вас никогда не покинет.

Может, нужно достать какие-нибудь книги? Пожалуйста, напишите. Сейчас мне это легче (больше времени, чаще бываю в Москве и одна — без задыхающегося, больного Оськи). Я доста-

ну — или вернее постараюсь достать — все, что вам нужно. Тем более книг у букинистов очень много.

Пишите, Борис. Конвертик с вашим почерком — для меня всегда добрая весть.

Целую вас.

Надя.

20.IX.<38>. [Струнино, Моск. обл.].

Милый Борис! Получила ваше письмо неожиданно быстро и очень обрадовалась. Я знаю, что вы единственный человек, который разделяет мое горе. Спасибо вам, друг мой, за это.

Что с вами? Чем вы больны? Пожалуйста, сообщите сразу. Я очень беспокоюсь. Зачем вы так неосторожны? Вы ведь знаете, что вы совсем не крепкий человек. Нет ли чего с легкими?

Мне жаль, что вы из-за костюма не приезжаете сюда. Давно пора забыть про всю эту ерунду. Из-за какой-нибудь полосочки на брюках можно никогда не увидаться. В Москве вы бы купили какую-нибудь замену: спортивную куртку за 40 р.<ублей> или что-нибудь в этом роде. Мне лично дико подумать, что я могу напялить на себя что-нибудь похожее на платье. Не все ли равно? Ведь такие препятствия всегда будут. Я их совсем не могу понять, и вам, Борис, не надо быть в их власти. Я говорю это, прекрасно понимая, как можно обноситься... Мне ли этого не знать?

Насчет книг, Борис, — они сейчас дешевы, и на это у меня денег хватит всегда. Если что-нибудь нужно или просто хочется, обязательно напишите.

Что касается до моего приезда — я конечно приеду. Но когда? Сейчас я буду ждать письма. Думаю, что не дождусь. Через сколько времени я поверю в то, что его не будет? Просто не представляю... А зимой — одежда. На этот раз уже не «приличие», а просто мороз. Вам, пожалуй, легче приехать, чем мне. И я бы очень хотела вас видеть.

Сейчас кончаю: дам поскорее опустить письмо. Отвечайте.

Целую вас.

Надя.

Я буду ближайшие 2—3 дня в Москве и оттуда вам напишу.

<10.X.38>. [Струнино, Моск. обл.].

Милый Борис!

Разве я опять беспокоилась о вашем здоровье? Я получила письмо, где вы пишете, что болезнь была случайная, но видно моя вечная тревога за всех близких, но дальних вылезла наружу в этом письме. Не лежите на мокрой траве, не ходите на охоту, не болейте, милый.

Приехал ли новый директор? Как вам живется и работается?

У меня нет никаких известий об Осе. Ведь даже об его смерти мне никто не сообщит. Я не верю, что он жив.

А я живу неподвижно. До сих пор жила своей бедой — мыслями об Осе. Сейчас меня разлучила работа с моим горем — единственным моим достоянием. Мне легче было, когда я могла жить одними только мыслями о нем. Я теперь понимаю, как глупо, когда «отвлекают». Это именно то, чего не надо делать. Именно сейчас я потеряла все, потому что даже думать не могу о своем — нет сил и нет времени.

Я работаю на прядильной фабрике — тазовщицей. Но вам это название ничего не скажет. Иначе: из дюжины больших и умных машин выходит вата, размолотая в ленту. До этого она похожа на подвенечную фату и льется как вода. Иногда она брызжет, и фыркает, и плюется. Тогда ее нужно опрavlять. Кроме того, машину нужно заправлять. Иногда идет «рванина» — тогда мечусь, как угорелая. А называется все вместе «стоять на тазах», потому что для вытекающей ленты подставляют высокие жестяные урны — тазы. Трудно в ночную смену (5 дней подряд). Но вообще работа легкая, и, главное, не приходится поднимать никаких тяжестей. Самое тяжелое — мешки с рванью — по 15—20 кило. Я ношу их на голове. Мешка 2 в день — вот и все. Днем жужжание фабрики неощутительно, но часа в три ночи оно невероятно. Конечно, с непривычки. Машину я не боюсь, но все-таки, когда мастер кричит (все кричат, потому что под гул обыкновенный голос не слышен) «подмети пол», я с восторгом бросаюсь к метле, и никто меня не понимает. Но ведь метла — привычный и прекрасный предмет. Я готова мести цех весь день.

Теперь мои поездки в Москву сокращаются. Что мне там делать? Поеду на октябрьские праздники.

Я рада, что вы не любите Диккенса. Но я полюбила Теккерей. Он совсем не слащавый и прославляет трусов. Прозаик. Никаких сантиментов. У меня с собой 1/2 Шекспира и томик Теккерей. Я сейчас здорово знаю язык. Впрочем, Шекспира не читаю. Вообще читать не могу. Если мне попадутся Джером или Киплинг — пришлю. Дик<кенса> могла бы прислать давно. У меня есть несколько томиков. Но ведь я не люблю — потому и не догадалась.

Я все думаю, какой благоразумный совет даст Женя относительно моей работы. Он очень благоразумный — и особенно Лена. Письмо глупое: я после ночной смены. Борис, не забывайте меня. Двое ребят — соседских — за последнее время — удивили меня своими изречениями: 1. Мальчик, войдя ко мне в комнату, спросил: «Н. Я., а вы тут не околеете?»... 2. Девочка 7 лет...: «Н. Я., а ты через три года, может, умрешь...» Я ответила: «Хорошо бы...» В самом деле, когда же? Сколько еще? Не сердитесь.

Целую вас, Борис...

Пишите... Надя.

14.X.<38>. [Струнино, Моск. обл.].

Милый Борис!

У меня нет конверта и нет бумаги. Но я все-таки пишу. Вы бы отложили и написали бы через две недели — получив эти «принадлежности».

Вы не знали ничего о моей службе. Я сама о ней не знала. Но меня так допекли родичи, что я взяла то, что было мне доступно, а именно: на прядильной фабрике — рабочей. Обслуживаю пока 6 машин. Потом буду при 12. Соответственно повысится зарплата — со 115 до 200. Самое для всех трудное — ночная смена — 5 ночей подряд без сна — для меня плевое дело: все равно ведь не сплю. Но в утреннюю смену подниматься в пять утра — неприятно. Вы это знаете. В общем все ничего. Непонятно только, зачем. Я уверена, что Осю не увижу никогда. Зачем же вся эта мотня?

С мамой мне поселиться не удастся. Женя ничего не сделает для обмена, я же не в Москве — и потому ничего сделать не могу.

Квартира действительно проклятая, но мне все же жаль, что она пропала: ведь она могла быть какой-то базой для дальнейшей жизни (но это не так, впрочем, обязательно) — в виде обменов и всяких прочих вещей. Сейчас же меняется только проходная комната, оставшаяся за мамой. Мало того: я не могу там появиться. В большой живет настоящий негодяй. Писатель*. Он устраивает довольно пакостные обструкции. Мне очень скучно. Какую я вам пишу чепуху. Мне стыдно...

Борис, мне очень стыдно. Мне очень больно. От Оси нет ни слова. И не будет. Вы как-то писали, что у нас не было друзей, и перечислили двух-трех поэтов, бывавших у нас. Они тоже не пишут, и жены, возвращаясь со службы, ищут писем в почтовом ящике. Что еще?

Я к вам обязательно приеду. Я буду есть дичь. Я даже буду ее жарить сама. По всей вероятности, это будет в апреле. Вы заранее сделайте, чтобы к этому времени у вас никого не было. Я устала, Борис. Я не хочу больше... Что бы ни было — я приеду к вам. Я боюсь, что мы никогда не увидимся. И я боюсь встречи. Ведь мы оба, наверное, стали другими за эти годы. Мы не узнаем друг друга. После Оси вы мне самый близкий человек на свете**. И вдруг не узнаем... Я сама себе чужая, другая... Пока был Ося, я была та же самая. Теперь так — что-то другое. Не сердитесь, Борис. Вы милый, вы родной. Не сердитесь. Я не хочу больше. Я хочу спать...

Я не сплю полгода — и все это сон. Чужие все ко мне очень добрые. Так странно, что кругом чужие. Почему вы не приехали? Из-за пиджака — я знаю... Я тоже знаю, но не могу поверить. И ничего не понимаю. Не сердитесь. Надя.

Я знаю, что все так, как оно есть, но поверить не могу. Не верю. Как сон. Даже не мой — чужой сон. Сон другой женщины, не той, которая когда-то заходила к вам. Мне иногда кажется, что я сошла с ума. Но это не так...

Я знала, что весь мой бабий плач обрушится на вас. На кого же еще? Как это нехорошо. Я совсем не герой. Я просто баба. Только не сердитесь. Я никогда никому не обещала быть сильной. Я помню: Осин бред, раковые опухоли на руках у сестры и тот вечер, когда я вас ждала и вы не пришли.

* Николай Константинович Костарев.

** Эта фраза впоследствии подчеркнута Б. С. Кузиным.

Почему вы не приехали? Я боялась встречи. Но почему ее не было? Я приеду. Нас с вами отделяет друг от друга зима. Это почти вечность. А от Оси? Борис, научите меня, как жить. Я больше не умею, не знаю, не понимаю...

30.XII.[1938?]. [Москва].

Дорогой Борис Сергеевич!

Доехала я хорошо¹⁷. Получили ли вы мою открытку с дороги? Хорошо, конечно, понятие условное. Надо ездить жесткими вагонами. Опять проводники были пьяны, и чаю не было. Кормилась сайками.

В Москве я с ночи — поезд опоздал на 16 часов. Встречена не была, но добралась до дому довольно благополучно.

Осе отправили только деньги и телеграмму о том, что я под Москвой. А затем успокоились. Темпераменты у братьев* прохладные. Сейчас я в деятельном состоянии и потому не отчаянная. Иду сейчас покупать грудинку и сгущенное молоко. Да еще доставать деньги.

Вам книги я начну посылать через два-три дня — как только справлюсь с основными своими делами.

Боренька, голубенький, не прогоняйте Мотьку, когда приедет охотничья сучка из Москвы. Мне жалко Мотьку.

Боренька, кто меня здесь будет ругать? Я уже успела пожаловаться на вас, но поразилась, как все мои жалобы складывались в неумеренную похвалу вам. Я знаю, что даже вы — старый хвастун, не могли бы так нахвастать своими высокими качествами, как я в своих жалобах.

Вы все-таки, милый, — мой хахаль — кто станет так выхвалять чужой товар?

В дороге я прочла Пиквика и Вазир-Мухтара. Тынянов казался мне рвотным средством. А Пиквика я страшно пожалела, когда дошла до горькой истории о том, как он нечаянно сделал предложение (благодаря своей отменной вежливости) своей квартирной хозяйке. Тут я вспомнила тетю Эмму и поняла, что она всегда права.

* Александр Эмильевич и Евгений Эмильевич Мандельштамы.

Боренька, я пишу вам глупости. Я вас люблю и уже по вас скучаю. Я все-таки поплакала в вагоне, чем привлекла всеобщее внимание. Без вас, конечно, жить нельзя. Ни одной минуты. Мне жалко Мотьку — бедная Мотька. Боренька, не забывайте your blessed cat* — Надьку.

Здесь идут приготовления к Новому году. Вы будете тоже есть пельмени и выпьете за меня. Пожалуйста, напишите, какая по счету рюмка за меня.

Через день-два я вам напишу, как у меня все складывается. Пишите мне на Женю. Погода здесь как будто теплее.

* Вашу счастливую кошку (вар.: вами осчастливленную кошку) (англ.).

1939 год

2.I.<39>. [Москва].

Милый Борис Сергеевич!

Это письмо грозит быть бесконечно длинным. У меня накопилась масса рассказов для вас.

Во-первых — главные дела мои кончены. Посылку я отправила нынче. Сейчас меня грызет мысль, что, упаковывая ее на почте, я забыла положить сало — и это ужасно. Главное, нельзя проверить.

Вчера перебирала для отправки вещи — белье и т. п. Я до сих пор думала, что выражение: сердце обливается кровью — фигуральное... Как это там — метафора? А на самом деле это совершенно точно, физиологически точно. Это невыносимое болезненное чувство, известное очевидно только матерям и женам.

Так или иначе — посылка отправлена и пространство сейчас так же физически ощутимо и болезненно, как сердце.

Не знаю, может ли быть приятно отправлять посылку. Не думаю.

Кроме того, я отправила вам нынче свой первый дар: альбом западной живописи¹⁸ — он в полном беспорядке, вы его сложите. Вложила несколько классических фотографий из Эрмитажа и Пушкинского музея, затем разорванного Верлена и Катюлла. Будете читать Амиса. Это моя первая ласточка. Все пошло бандеролями. Для Любови Ильиничны купила обыкновенные перчатки — и пошла крошечной посылочкой. Хотела и для вас достать пятипальцевые, но на большую руку не было.

Отвлекаясь в сторону: у меня на губе высыпала лихорадка. Я пишу за маминим столом. Напротив осколки роскошного зеркала, и я то и дело огорчаюсь, как всегда нехороша, как сейчас еще нехоршее.

С моими родственниками у меня ладится слабо: я не посмела их даже упрекнуть за глупую телеграмму (Надя под Москвой), за неотправление посылки. Они необычайно важно прочли мне нотацию, из которой явствовало, что они все всегда правильно делают и что я совершенно напрасно «сорвалась и прискакала». Мадам, которой я передала ваш привет, отнюдь не хранила ледяного молчания. Мы не поссорились только потому, что это бесполезно. Мой бедный дурак все-таки хороший, и я все-таки его люблю — но все поступки так безжизненны — локтем, а не пальцами.

Опять отступление — я стала страшно рассеянна. Как меня мучит неположенное сало, так я забываю все, что делаю, и делаю все как будто во сне. Это ли не старость? Пожалуй, даже дряхлость...

Новый год встречали у Лены пышно. К моему удивлению, меня позвали (я не пошла). Звали тридцатого. Было звано много моих приятелей — художников. Меня даже уговаривали прийти. Из озорства я не отказалась, ответила уклончиво. А тридцать первого с любопытством наблюдала роковое и сгустившееся молчание.

Разумеется, приходиться я не собиралась. Но Новый год все-таки встретила. Поехала к Шурке. Ради меня он купил бутылку вина и какой-то роковой ликер. И то и другое отдавало сивухой, разбавленной чернилами. Пирожные тоже были замешаны на сивухе с сахаринном. Живот болел и вчера и нынче. Ем салол. Шура до поздней ночи ругался с Лелей, которая еще недопохищена. Но которая тоже для кого-то идеал женщины.

Кстати, об идеалах. Здесь Нина Николаевна. Я у нее была. Все было хорошо. Но шпилька все-таки была пущена и по вашему поводу. Она спросила, женаты ли вы, и усомнилась в полноценности (душевной и тут же: «внутри тепло») человека, который не завел своего «гнезда».

Я сказала, что вы сейчас в блестящем виде, в полной форме — акме! расцвет! — что сошла ваша нервность, и такой глубокой полноценности моральной и психической может позавидовать всякий. Тут и произошла шпилька. Она вспомнила, что в Старом Крыму я грозила выцарапать вам глаза, если вы приведете жену. «Наденька, у вас такое ревнивое отношение к Б<орису> С<ергеевичу> — мне кажется, вы оправдываете его неправильный образ жизни — потому что хотели бы быть его... (чем бы вы думали?)... судьбой...»

Но я держалась, как Федра. Я сказала, что горжусь и всемерно ценю вашу дружбу, но что еще никогда и ничьей судьбой не претендовала быть. Что я никогда не была даже Осиной судьбой — но Ося был моей. Что никогда никакого влияния ни на кого не имела, а тем более на вас и т. д. Разговор шел под занавес. Расстались друзьями.

Эмма не объявлялась. Чтоб не давать пищи ее стародевичьему воображению, от нее скрыли, что я ездила к вам. Зато Витя с вами заочно познакомился и, уведя меня в свой кабинет, подробно и вполне деловито расспросил обо всем: как, что и почему. А главное: каков, хорош ли и стоит ли ему — Вите — с вами подружиться. Я дала исчерпывающие ответы. Он был удовлетворен и к дамам вывел меня с вполне благожелательной патриаршей повадкой. Поэтому дамы меня снова полюбили. Я пожаловалась, кстати, Вите, что все считают меня противной и прямо мне об этом говорят. Правда ли — мол — это? Витя подумал и сказал: «пожалуй... сноб...»

Николай Иванович был тоже очень мил. Но он больше говорил об ужасах коммунальной квартиры. Даже разыскал меня ночью по телефону у Шуры и пожаловался на какой-то новый номер своих квартирных соседей.

Вот отчет о моей глубоко содержательной московской жизни.

А еще: я увидела в трамвае женщину, про которую решила, что она Алла Анатольевна. Чуть не подошла познакомиться. Не то, чтобы я ее узнала по карточке. Я ее просто выбрала. И это был ревнивый выбор, потому что она была прекрасна. У нее было узкое, но тяжелое и необычайно скорбное (иначе сказать нельзя) лицо. Чуть припухшие красноватые веки, брови не очерченные, но пушистые, нос толстоватый. Кожа далеко не нежная. Волосы в крупной волне. Черты не то чтобы хороши, но все вместе складывалось в какую-то удивительную гармонию, настоящую музыку: очень печальную. Она была из породы женщин-лошадей, которым я всегда завидую. Это было ночью, когда я ехала к Шуре на площадь Ногина. Ноздри у нее вздрагивали. Я жалею, что не заговорила с ней. Но это хорошо. Я теперь знаю, какая Алла Ан<атольевна> — и разубедить меня нельзя. Я вам выбрала ее без ошибки по самому первому классу.

Теперь о стихах Ал<ександра> Петр<овича>*. Постараюсь передать точно. Общее впечатление: очень талантливый чело-

век и своеобразный во всем своем человеческом облике. В стихах огромное, хотя очевидно неосознанное, влияние Оси (мы с вами его не так сильно чувствовали), но влияние, воспринятое совершенно иной психической организацией. Человек, писавший стихи, — сам по себе и весь в своих стихах. Читая стихи, знакомишься с человеком, и в каждом новом стихотворении его узнаешь и смеешься, как при встрече. Но стихи неравноценны не только в целом, но и внутри каждого. Резко отрицается все, что пришло от влияния французских символистов. Законченность формы, которую надо разбить, потому что она мнимая. В «Щуке» — прекрасная строка: «и голоса слышны не наших рыб». Но китайская флейта и голландский натюрморт и ключевая строчка — это уже рассуждение на тему, развитие темы, а не разряд, которым должна быть стихотворная строка. Все бы надо сломать... (Я часто слышала такие советы).

Я дала стихи в беспорядке. Выделились те же, что у меня, но — одно иначе — на самое первое место попала: Альтовая струна. Я была довольна и учла свою женскую неполноценность. Затем «долго пил». Затем «у водопоя», и «саман месила». Но в последних стихах — к моей радости и без единого моего слова — резкое отрицание идиллической концовки. Настоящий конец — весь в действии — «синий воздух здешних мест». После этого только глядеть и молчать.

Про «зеленую землю» и «на миг дыхан<ь>е приостанови»: «ишь ты разбаратынился». С нежностью: а ведь сантиментален... «Двойной сон» — незрел. Сам замысел — здоров — но «Эх, куда такое дотянуть...» «Шерстяной рукавицей» очень нравятся первые четыре строчки. Только их бы и оставить. Остальное злит. Да еще хороши в этих стихах пальцы и, может быть, — не наверное — последние две строки. Тоже отметил «из поисков ни с чем вернувшиеся руки». Обратил внимание на чувство пальцев, руки, осязания, свойственное из русских поэтов, пожалуй, одному Анненскому. «Уют харчевни» — конец — Осин и хорош. Но про плечи (начало) сказал: а это уж врет. А там, где кровь в глухих венозных переходах — (тут-то было сказано «сантиментален» и «хорошо»). Часто свободная речь и хорошая инструментовка стихов: альтовая струна, спящая совесть, кровь — от «страх медленно меня оставил...» чувство открытых и закрытых гласных. Трудно передать весь разговор. Как будто самое существенное я вспомнила, если что

* Под именем Александра Петровича Б. С. Кузин посылал Н. Я. Мандельштам свои собственные стихи.

еще припомню, напишу. Письмо мое, как видите, вышло непомерное. Как вы его прочтете? Эх — беда с этим бабьем!

И последнее: я писала вам 30/XII. Это было, кажется, ужасно противное письмо. Противное, как я сама. Ради бога, не ругайте меня за него. Я буду бояться распечатать ваш конверт. Если вы рассердитесь — это ничего. Только не ругайте. Вы знаете, я покорно сношу все — если с голоса. Но на бумаге очень обидно. Милый, будьте ласковый и добрый. Я сама знаю, что я гаденьш. Я знаю, что Мотька — лучше. Как она и кто ее дети?

Целую вас.

Надя.

Мне очень почему-то трудно и больно говорить о вас с людьми — такое чувство, что делишься, вернее урываешь у себя что-то непреложно свое. Так мне не хотелось на вокзале, чтобы вы говорили обо мне. Но это чувство бабье — я знаю.

Вам кланяются все. Леня перечислять.

6.I.<39>. [Москва].

Дорогой Борис Сергеевич!

Получила нынче письмо от вас и страшно обрадовалась. Одно обидно: именно в этот день вы очевидно получили мое первое — развязное, легкомысленное, противное и совсем непочтительное послание, за которое я, конечно, получу здоровенную отповедь — по первому классу. Зачем я его написала? Разве я забыла, что должна быть почтительна и тиха?

За это время я вам отправила 1) французов — с вложением эрмитажных фотографий, Катулла и Верлена. 2) 2 архитектурные книги с картинками — все, что у меня сохранилось по архит<ектуре>. 3) Нынче посылку с необычайно бедным вложением — сладким, перчатками и Виллоном. За мной еще много книг: Овидий, английские антологии и т. п. Но даже на тару я добываю деньги с трудом и лукавством. За посылку заплатила Эмма: зато я ей рассказала, какой вы были хороший.

Как кто — вот вы вспоминаете мой приезд, как беспорядок в вашей честной холостяцкой жизни. А я так просто скучаю и хочу обратно. Верно, пройдет лет десять, все сгладится и воспоминание (ваше) будет все-таки приятным. Я рада, что вы полюбили

«Осы»¹⁹. Ося тоже считает их своими лучшими стихами. Мы много смеялись в свое время, играя словами «Осип», «Оса»... От него нет ничего. Я моментально бы написала, если бы что было. Посылку отправила 2/II*. Положила немного белья, сало, сгущенное какао, фрукты — сухие и т. д. Посылка небольшая, потому что я не уверена в адресе. Но довольно толковая. Вес — 11 кило.

Еще не знаю, где я буду. Пока у мамы. Отдала паспорт в прописку и жду ответа. Но так мала комната, что могут отказать. Ирма зовет к себе, но умеренно. Тогда, пожалуй, — Воронеж.

Что-то мне, Боренька, тревожно и грустно. Очевидно потому, что некому ругать и пороть. Как-то не знаю, куда себя девать. Часто сижу у Вити. Он почти нежен. А следовательно и вся семья, включая детей. Но я какая-то пустая. Вчера все кружилась голова, как у Мотьки, когда она щенилась. Видно, ходила с температурой. На губе высыпала лихорадка — и это страшно. А главное — страшная рассеянность — как будто все время сплю. Не хвастайте, что вас любит Мотька. Если б вы были со мной так ласковы, как с ней, как бы я вас любила!

Я рада, что число сучек в комнате осталось то же, что и раньше. Щеняток у меня нет — кормить некого. Сама я бродячая — и меня кормят.

Как вы живете без денег? Что едите — барана или бычка?

Для дочки Люб<ови> Ильин<ичны> — маленькой вошки — я послала большие перчатки: но размер стандартный. Напишите, удалось ли вам убить трех зайцев, которыми вы заранее хвастали?

В следующий раз, если вы меня позовете, я обязательно приеду в охотничьем костюме — и приобрету где-нибудь охотничью страсть. Я понимаю теперь, что это необходимо. Нельзя пренебрегать такими вещами, как «ewig weibliche»**. Я видела Нину. Я поняла причину всех своих неудач.

Боренька, хорошо, что она маленькая вошка: а то у меня слишком много поводов для ревности, а у вас — увы — никаких, да вы и неспособны.

Я не знаю, что такое стернь. Это что-то сельскохозяйственное. Что же до Пастернака, то он варится в супе и придает ему чудесный аромат. Шутка про Пастернака слишком похожа на

* Дата ошибочна: посылка была отправлена 2 января (см. предыдущее письмо).

** вечная женственность (нем.).

правду. Вам, наверное, как и всем нам, часто мерещится пастерначий шаг. Кстати, в Литгазете недавно был кусок его прозы²⁰. Я нашла только обрывок — да еще где! — и сколько ни искала целого — так и не достала. А к нему не иду. Не могу. Это нехорошо — я знаю.

Что до аспирина — то меня прельстили бешеные патагонские* ритмы. Но почему «прочь» без мягкого знака? С мягким кувыркалегия еще сильнее. Ведь не описка же? Вы же не женщина — вы не способны на описку...

Я пишу вам уже третье письмо. Вот какая стала ручная...

Мне жаль, что вы не полюбили Фета. Мы так его с Осей любили последние годы, и стольким Ося ему обязан. Мне кажется, я могла бы свести вас с Фетом. Но вы мне не позволили. А теперь — издали — поздно. Решила стянуть для вас Давыдова — у него тоже гусарское остроумие. Зачем сопоставлять Фета с Тютчевым? До чего разно. Это как Витя — все и всегда с Маяковским. В Фете хорошо именно не-Тютчев, если не анти-Тютчев. И я его умею находить и слышать.

Что-то я забыла важное, наверное, самое главное.

Целую вас, милый,

ваша Надя.

Ах вот: мама — оказывается — считала Шортанды — Давосом и в пересланном вами письме советовала заслужить вашу любовь — хозяйственностью, а самой — *liege-kuhr*** — на улице, как дамы в Давосе: полезно для легких!

14.I.<39>. [Москва].

Боренька! Я всегда вам говорила, что ненавижу вас. Вы старый черт. Вы злая ведьма. Вы лысый осел. Чтоб вам пусто было! Чтоб вас леший укусил... Чтоб вам серая кошка трех котят принесла... Чтоб вас заяц переехал... Чтоб вас сова в темя клюнула... Целуйтесь со своей зубной щеткой... Как я на вас зла!

1. Как вы смеете меня сравнивать с Мотькой? Разве у меня полоса на спине? Вам давно следовало бы знать, что никакой полосы у меня нет... И уши самые обыкновенные. И как это кокетни-

* Так в рукописи.

** Лечиться лежанием на воздухе (нем.).

чают ушами? А за кривые ноги и нескладную сучку я бы вам просто глаза выцарапала...

2. Что же касается до головной шпильки — то если вы не знаете, что делать с таким милым сувенирчиком — можете ее выбросить: ничего от этого мне не станется. Только не отдавайте своим хахалицам.

3. Так я и поверю, что вы бы за меня первую выпили! А все дамы с золотыми ручками?

4. Нечего меня попрекать почти месяцем. В следующий раз приеду — проживу девять месяцев, а папиросы буду курить двухрублевые.

Стоило мне так вас любить, и лелеять, и на коленках ползать, и целовать вашу черную гриву, чтобы потом столько обид в одном письме.

Вот мы и поссорились. А вы еще говорите, что я не умею ссориться.

Ваша

милая

Надежда Яковлевна.

Я познакомила маленького Шурика с Егоркой. Егорка — чудо-мальчик. Я таких еще не видела. Недаром он так обвешан стихами. Он не пошел на елку в Союз: обиделся — спутали его фамилию в повестке — написали приглашение на имя матери.

Мальчики сидели рядом — одни в комнате — перед столом, заваленным сладостями (так обожрались, что больше не ели) — и... разговаривали. А я подслушивала. У Егорки образный язык, напр<имер>: «Такой номер показывали, что все люди в зале „как гуси поднялись и вытянули шеи...» Мне было грустно: дружба — заново — в следующем поколении. Туда бы еще Сережу-рифмача²¹.

18.I.39 г. Москва.

Дорогой Борис Сергеевич!

Вы мне пишете такие ласковые письма, что я могу зазнаться и вообразить черт знает что. Уже нынче — после вашего письма мне снился возмутительный сон, где суровый шортандинский отшельник фигурировал в совсем не свойственной ему роли. Будто

вы стояли рядом со мной и вдруг обняли меня (очень нежно) и поцеловали. Даже, кажется, не поцеловали, а целовали. Ну как же можно? Зачем вы мне приснились? И Мотыка не лаяла... Все-таки придется быть вам посуровее — вспомните мудрую тетю Эмму...

Я очень рада, что к вам приезжает Евгений Серг<еевич> с прекрасной дамой. Кто она и чья она? Надеюсь, ваша, я не Евг<ения> Серг<еевича>. Радость моя чисто эгоистическая: я предпочитаю ревность сразу к двум, к пятерым, к десятерым, чем к одной. По всему своему опыту, я убедилась, что это лучше. Кто все-таки она? Архитекторша? Ольга Александровна? На днях я видела Е<вгения> С<ергеевича> в трамвае. Он явно ехал из Дома Ученых с какой-то золотоволосой птичкой. Уж не она ли? Все-таки самое обидное, что ревную не я одна... И что у другой больше прав для ревности, чем у меня.

Выяснилось, что в Москве я могу только бездельничать. Я это и делаю. Талант у меня к этому есть. И психология в этом отношении у меня в сущности гаремная. Но безделье мое нарушает Ник<олай> Ив<анович>. Убедившись, что я совершенно свободна, он поспешил заболеть. Каждое утро он вызывает меня отчаянным шепотом по телефону и рассказывает, что ночью чуть не умер. Приходится ехать к изголовью умирающего, который довольно весел, шутив и подвижен. С трудом спасаюсь от целой лавины хлебниковских стихов. Вчера он в упор спросил у меня: был ли у нас когда-нибудь с вами роман. Я ответила, что даже не смела мечтать о таком счастье. И он не поверил, что я вполне серьезна. Тут я еще вспомнила, что «Парнок был жертвой заранее созданных концепций о том, как должен протекать роман... На бумаге верже, государи мои...»²² И решила раздобыть листочек получше для письма. Достала у одной старухи — у Егоркиной «бабы Оли» — но увьи! — с масляными пятнами.

Боренька, почему меня любят (кроме вас) только семилетние мальчики? У меня их теперь трое. Все хахали.

Я рада, что я с мамой. Она восхитительна. Я просто люблю эту хорошенькую, седенькую гимназистку. Чудная козочка. А похабница я в нее. Эта старушка рассказывает такие вещи, что даже я краснею. Например, случай из медицинской практики. Мама работала в больнице. Из местечка родители привезли какого-то гермафродита — 16—18 лет — т.к. не знали, женить его или выдать замуж. Врачи ничего не могли разобрать и вызвали

маму на консультацию. Но не пришлось даже исследовать: «оно» заржало, забило каблуком и рванулось к маме... Каков врач? Бред...

Наташа мне не пишет. Это ставит под угрозу мои планы: я хотела после Москвы ехать в Воронеж. Может, там даже остаться.

Вчера была у Жени. Лены не было дома, и Женя был вполне хороший. Трюк Лены: у нее лежало старое платье (моей сестры), которое было моей единственной надеждой, т.к. юбка, в которой я щеголяла у вас, рвется в клочья. Лена решила, что оно чересчур хорошо для меня, и пока я, ничего не подозревая, гостила у вас — сшила его себе. Платье вышло, что надо. Прямо — модель.

Вы очень здорово разобрали стихи. Я иногда тоже почти так умею. Но я не совсем уверена, что вы правы. Покажу Ник<олаю> Ив<ановичу>. Вы написали: стихи А. П. Меня как-то больно это кольнуло: так подписывался под письмами мой Саша²³.

Знаете, Боренька, может быть, умирая, я ничего не сосчитаю. Какая там арифметика! Может, вспомню троих, а может, только вас с Осей. Только не читайте мне заранее нотаций... После смерти — я ведь у вас не затребую никакой благодарности.

Как хорошо, что вы обрадовались французам. Словно предчувствуя новый запрос — я уже успела вам выслать маленького Матисса. Всего 5 книжных бандеролей и 1 посылочка. Сезанна — увьи — не достать. Марке, по-моему, хороший. А Моне (и Мане) сколько бы ни было — всегда мало. Я страшно люблю розовую девочку на шаре — Пикассо. Почти плачу, когда ее вижу. Но в музее не хожу. Без Оси не могу. От него ничего.

Часто вижу Шурку и Шурика, и Лелю. Она — мадам Бовари — «младшая сестра нашей гордой Анны»²⁴. На днях я у них обедала, и она с визгом бросалась на Шуру и била его. Он так смутился, что даже не захлопал ее. Она глупая: думает, что женщина должна быть стервой. А знаете, ведь я тоже стерва, только это понимал один Ося. У меня стервозность переведена в другую тональность, и поэтому все думают, что я ангел.

Супруга Санчо Панса была очень умная женщина. Но умниц никто никогда не слушает.

Боренька, я глупая женщина, и это очень хорошо. Я в жизни хотела только быть с Осей и с вами — и этого нельзя. Право, милый, умереть очень хорошо. Да нельзя. И ради Оси нельзя — и вы не позволили.

Мне очень не хочется уезжать из Москвы. Но у мамы остаться не удастся. Работу получить с временной пропиской — нельзя. А прописаться постоянно без работы тоже нельзя.

Мелькнула возможность остаться, но неподходящая, и я от нее отказалась: Татлин вдруг предложил свое гостеприимство. Признаться, меня это тронуло. (Я его случайно встретила: у него квартира и, конечно, все бы устроилось.) Но без соседства хозяина было бы лучше, а с ним рядом что-то не хочется. Жизнь просто дурочка. И я тоже.

До свиданья, милый...

Ведь мы когда-нибудь еще увидимся.

Надя.

[19—20.I.1939. Москва].

Милый! Тридцатого числа буду ждать ответа на свое нахальное письмо и трепетать. Я дую, но мне, кажется, очень худо. Пока я у мамы. Но в Москве останусь только до середины февраля. Жизнь дурацкая, и опять пошли ночи без сна. Реву меньше. Но это хуже. Потому что наружу не выходит. Вас очень помню. Очень помню, какой вы были добрый и терпеливый со мной. Спасибо вам, Боренька... От Оси ничего.

Боренька, стихи не сладкое — стихи горькое. Горше нет.

Я люблю сладкое. Я хочу чуть-чуть сладкого. Меня кормят, и я, кажется, поправляюсь.

Надя.

21.I.<39>. [Москва].

Мой Боренька милый!

Неужели вы думаете, что я мыслитель и философ? Как вам пришло в голову, что я способна что-то думать? Право же — это не моя специальность.

Я, милый, не думаю, но знаю, что как нам ни тяжело бывает иногда вместе (и порознь тоже), все-таки нам и хорошо. И мы хорошо с вами говорили. И ржали. И чуточку я, кажется,

ревела. Но с вами все легче. Не знаю, как вы, но я ваше отсутствие всегда чувствую. И еще — никто заменить не может, как бы хорош ни был. Словом — вы незаменимый спец по дамской части.

Пока я вам больше, т. е. после 6 посылок, ничего не посылаю, хотя очень хотела послать клейстовскую Катеньку²⁵. Она чудное. Но Женя не позволяет. А у меня к этой драме личное отношение. Я после нее окончательно и навсегда поняла, что ничего не стыдно; не стыдно даже говорить так, как я иногда говорю с вами — или не стыдно писать такие откровенно нежные письма, как я пишу вам.

Вы чуть не написали, что я глупая, а ведь это факт.

Как мне обидно, что продан большой архитектурный альбом (100 фотографий!) — вот это действительно праздник и путешествие на месте. Как много он доставил когда-то радости Осе, точно так, как и эти бедные французы.

А к Елене Еф<...> я все не собралась (но пойду обязательно). Просто впала в косность и никак не могу себе представить, что придется с кем-то о вас говорить. Это ужасно трудно. Об Осе я тоже не говорю. От него — ничего. Я все пошлю в следующий раз, как вы пишете. По ночам — тоска. Недавно мне передали какие-то добрые вести — благожелательные разговоры. Но я ничему не верю. Кое-что делала, писала и т. д. Ни во что не верю.

Зима стоит удивительно теплая — просто климат переменялся. В сущности это весна.

Ваши друзья вас, наверное, опять зовут в Москву: по нынешней зиме шубы не надо.

Многие приезжают в Москву погостить и пожить, только ко мне что-то никто не едет.

С Николаем Иван <овичем> отношения принимают углубленно-затяжной характер. Он здорово спсиховался и, считая меня вполне своим человеком, бурлит при мне всюю. Я его ругаю. Основная его мания: плохие жилищные условия. Комнатка действительно дрянная. Но я никак не могу понять, откуда он взял, что должен хорошо жить. Это не укладывается в моей голове. Хожу я к нему часто. Но как-то механически. Он очень хороший человек, но не мой. Не чужой — но не мой. Дружба в общем выходит довольно односторонняя. У него нет Осиной

жизненной жадности и в сущности — устойчивости. Нет вашего волевого начала.

Последние дни хожу под впечатлением смерти Александра Осиповича. Еще недавно мы его с вами поминали и, кажется, не очень доброжелательно. Человек он был, правда, неважный, но смерть его произвела на меня громадное впечатление. Он был очень молод — лет 37—38. Толщина делала его стариком.

В Москве — без дела и без моего собственного быта, я совсем теряюсь. Хожу, двигаюсь, живу как во сне. Страшно рассеянна. И совершенно потеряла чувство реальности. Именно сон и ничто иное.

Один старый знакомый — переводчик — крупный спец и языковед — зазвал меня позаниматься по-английски. В общем доволен мной.

Ничего не читаю. На тычке не умею.

«Октава»* мне нравится. Опять глубокий звук. Все-таки всегда очень слышу Анненского. Удивляюсь, почему ни вы, ни Н<иколай> Ив<анович> этого не замечают. Может, потому, что я лучше вас обоих знаю его стихи. Особенно вторая строфа, где «коснеющая рука» и «поющая дека». Еще нравится восхождение звука — и человека: «подыметса/за ним и я/пойду туда...» Две цезуры? Очень бы хорошо: подъем и легкий — и в то же время стремительно-неровный — порывами. Не шаг. И это есть в звучании.

Приехали ли к вам гости? Мне хочется, чтобы приехали. Мне все-таки больно думать, что вы сидите один. Удивительно, что такая эгоистка, как я, хочет для вас гостей. Мне бы наоборот: желать, чтобы вы были один и все скучали: авось, тогда и обо мне вспомните.

И про Фета. Я не знаю, что такое поэтическая сила. У Тютчева бешеное и архитектурное развитие стихов. Может — звуковая башня, взвивающаяся вверх, падающая? Я почему-то всегда вспоминаю остов башни — татиновской конструкции, которую я очень люблю. (3 интернационал²⁶). Хотя это здесь абсолютно ни при чем. Готика — вернее.

А ведь Фет — разговорщик, домашний ворчун, бородач, шепелявая старая баба с одышкой, лентяй, бездельник. Я завтра у

Ник<олая> Ив<ановича> загляну в Фета и напишу вам — самое домашнее его все. Кстати спишу фортепьянные сонеты Анненского. У меня уж книг больше нет.

Я люблю его круглую, чистую луну, бег саночек. Ненавижу у Фета о музыке и пристрастие к уменьшительным. А «вдовы» у вас в стихах нет? А «змея»? Вдова — чешет косу, моет шею... А когда про звезды — тут всегда вылазит Тютчев. А я знаю, что у вас со звездами особые отношения. Я помню, вы еще в Эривани рассказывали, как вы, ночуя на плоской крыше — смотрели на звезды.

Вернемся к быту: наши неизвестные вам бывшие квартиранты, а ныне полновластные и шумные хозяева — Костыревы* — так преследуют маму, что я подала жалобу в Союз на их особую форму «кухонного шантажа». (Они были впущены по просьбе Союза.) Просто страшно оставлять с ними маму: она после каждого очередного хамства страшно нервничает, плачет, разговаривает со сна. Острие их направлено против Оси. Сейчас, правда, не время для подобных выходов, но они плохо ориентируются. Думаю, что их уймут или посоветуют не хулиганить. Мне жаль маму. Как я много всегда пишу!

Целую вас

Надя.

Я рада, что Ильин<ична> оценила эти страшные перчатки. Передайте ей от меня привет.

Эмма — знаменитый лермонтовед, о котор<ом> пишут в Литгазете²⁷. Она даже снималась вместе с А. Толстым. Но вышел только один ее рукав на переднем плане.

Как сделать, чтобы соломенный домик оставался чист до моего следующего приезда? Поцелуйте Мотьку: я ей все простила.

Мои семилетние друзья сводят меня с ума и звонят мне вечно по телефону. Из всех трёх не вышло бы одного хахала для меня. И пятерых бы мало. Но они очень утешительны, хотя и надоедливы.

А пацан ведь действительно хорош? Почему Литту** считают подделкой?

* Правильно: Костаревы.

** сокрац. от «Мадонну Литту» (картина Леонардо да Винчи).

* По словам М. А. Давыдова, речь идет о стихотворении Б. С. Кузина. В архиве оно не сохранилось.

30.I.<39>. [Москва].

Боря, Ося умер. Я больше не могу писать. Только — наверное придется уехать из Москвы. Завтра решится. Куда — не знаю. Завтра Женя напишет.

Надя.

Я не пишу — мне трудно.

Б. С. Кузин.
Письмо Н. Я. Мандельштам *

[Начало февраля 1939 г.]

Милая Надежда Яковлевна!

Нынче получил ужасную весть от Вас. Мне тяжело невыносимо. Только нынче, может быть, я понял, как мне был лично дорог бедный Осип. Здесь я даже не могу никому рассказать об этом горе, и оно меня разрывает. И для Вас и для меня было бы лучше, если бы мы узнали это, когда Вы были у меня. Если бы можно было отслужить по нем панихиду. До чего все это страшно. Но ведь ждать можно было только этого. И как хотелось надеяться на хороший конец. Вы знаете, что я <с>тоек в несчастьях. Но нынче, быть может, в первый раз я с сомнением посмотрел на все свои надежды.

И все-таки, я прошу Вас — держитесь. Не делайте никаких глупостей. Помните, что я Вам говорил. Мы не имеем права судить сами, нужна ли наша жизнь зачем-нибудь. Наш долг стоять, пока нас не прихлопнет судьба. Берегите себя. Если моя дружба над Вами не имеет силы, то этого требует память об О. Я говорю это Вам с совершенным убеждением. Я не всегда верю своему уму. Но совесть у меня крепкая. Она меня не может обмануть. То, что я Вам говорю, — только от совести.

В феврале, вероятно, моя комната будет занята. Перебейтесь чем-нибудь месяц. Потом приезжайте ко мне. Хотите, —

останьтесь у меня совсем. Хотите — поживите в гостях. Считайте вместе со мной, что О. был мой второй несчастный брат²⁸. О. знал мою верность. Мне кажется, и он понимал, что мы с ним встретились не совсем случайно. Он был бы рад, если бы мог знать, что Вы поселились у меня. И Вам не будет трудно жить у его и Вашего друга.

Целую Вас, бедная Наденька.

Ваш Борис К.

11.II.<39>. [Москва].

Милый Борис Сергеевич!

Простите, что я вам долго не писала. Нынче получила ваше письмо. Спасибо вам за него, милый. Я рада вашему письму. Я верю вашей совести, Борис.

Мне трудно сейчас что бы то ни было решать. Я знаю, что и мне и вам было бы гораздо лучше получить это известие в те дни, когда мы были вместе. Я много бы отдала за то, чтобы вы были со мной в эти дни. И сейчас — больше всего я хочу быть с вами — у вас. Но пока это невозможно. У меня есть два дела в Москве. Первое — необходимо перевести маму в отдельную комнату, убрать ее из этой проклятой квартиры. Ее очень обижают. Сделать это путем обычного обмена нельзя. Мне пришлось говорить с Союзом, хотя я этого очень не хотела. Придется говорить еще.

Второе — в связи с наследством. Ведь именно я наследница. И от этого наследства я не откажусь. Вот то, что держит меня возле Москвы.

Сейчас мне трудно писать. Поздно. Лена говорит по телефону. Завтра я уезжаю.

Я думала, что уеду две недели назад. На этом настаивал мамин сосед по квартире, но у него ничего не вышло. Я уезжаю, как собиралась раньше — в середине февраля. Еду в гор<од> Малоярославец (Моск<овской> обл<асти>). Пишите мне до востребованья. Буду с нетерпением ждать вашего письма. Это 4 часа от Москвы. Сейчас я проживу сносно. У Жени есть деньги — и я могу просто просидеть там какой-то срок, не думая о будущем. Там у меня Галина и еще приятели. Устроиться там нельзя: там нечего делать — переполненный и перенабитый городок.

* Хранится в США [Princeton University Library: Rare Books and special collections: The Osip Mandelstam papers: C 0539: Box 3 Folder 103, item 14 (т. III. 293—295)].

Приехав, я вам напишу более толково. Мы должны обязательно сговориться, когда мне приехать к вам, чтобы вам не помешать.

Я пишу бестолково. Простите.

Скоро — в ближайшие дни — напишу.

Надя.

14.II.<39>. [Малоярославец].

Что писать, милый? В Малоярославце мне не жить. К вам я приеду, не загадывая, надолго ли или так — на короткий срок. Меня только смущает, как вы объясните мое возвращение. Подумайте, может, это слишком сложно. Мне-то все равно — лишь бы вам было удобно.

Возможность приехать будет, очевидно, в середине марта. Я надеюсь получить кое-какие деньги: несколько сот рублей — по суду — часть квартирного пая.

Никак не пойму, почему я в Малоярославце. Бессмысленность совершенно очевидная. Правда, я здесь не одна. Но сегодня-завтра я сниму себе комнату и буду одна.

Я хочу вам верить и вас слушать. Смогу ли? Хватит ли сил? Спасибо, милый, что вы обо мне думаете. Спасибо за вашу дружбу, за вашу правду.

Я больше всего боюсь, что не могу поверить в смерть. Я знаю, что это факт. Почтовое извещение ко мне пришло позже, чем знали другие. Хорошие вести, которые до меня дошли — были посмертные — это было позднее сожаление. Я так их и поняла сразу, но потом меня разубедили. И я начала верить в лучшее — тогда-то и узнала все. Я не знаю, как это было. И это самое тяжелое. Последние недели Ося мне снился живым, веселым. Все беды ушли. Мы смеялись — а потом я просыпалась в холодном поту — не фигурально, а в настоящей рубашке холодного пота. Очевидно, это началось после смерти. Я не знаю точной даты. Успел ли он получить мою телеграмму, знал ли, что я жива?

Сейчас, когда я одна, думаю об умершем — мысли постепенно переходят на живого, и я говорю с ним. Раз я даже спорила с ним. На этом себя поймала.

Когда собирается Оля? Я страшно боюсь, что мой приезд будет вам очень некстати. Подумайте хорошенько и напишите. Забудьте обо мне — думайте только о себе — как вам лучше. Я очень боюсь вашей последовательности в дружбе. Боря, милый, будьте не последовательны, но вполне эгоистичны. Ведь вы все хвастали своим эгоизмом. Пишите на «востребованье». И решайте за меня сами.

Целую вас.

Надя.

23.II.<39>. [Малоярославец].

Я сейчас жду вашего письма. До 15—17/III буду здесь. Потом в Москве. Мой адрес: Коммунистическая 34. Я вам писала дважды — 11/II и 14/II. Получив ваши письма, решу, что делать. Ничего не понимаю.

Боря, я стараюсь держаться. Днем ничего: ночью не сплю. Самое худшее время с 12 до 7.

Ничего не делаю. Очень плохо с сердцем. Почти не могу двигаться. Это обычно весной. Но эта весна у меня особая. Последние дни вроде легче. Конечно, порчу себя сама — курю много.

Научите меня, что делать. Я очень устала. Если я поеду к вам, что привезти. Сообразите и напишите. Получили ли вы — из книг — Тютчева. (Я вам не послала — от Оли.) Что еще?

Целую вас.

Надя.

Если у вас переменится положение и мне нельзя будет приехать или нужно будет отложить приезд — телеграфируйте.

26.II.<39>. [Малоярославец].

Дорогой Борис Сергеевич!

Нынче Женя переслал мне ваше письмо. Я вам писала: три раза — кажется. Из Москвы 11/II. Думаю, что 18—19 вы уже его

получили. Потом 14/II из Малоярославца. И еще раз: точно не помню числа. На это письмо я успею получить еще ответ ваш сюда.

Я очень хочу к вам приехать, если это вам тоже зачем-либо нужно. Мне это, очевидно, очень нужно. Но я боюсь одностороннего своего отношения. Боюсь, как я вам писала, вашей последовательности в дружбе — в ущерб своим интересам.

Я совершенно не загадываю — на сколько времени я к вам приеду: надолго ли или на короткий — гостевой срок. Это несущественно. Жизнь покажет. Важно другое: что вам нужно. Нужна ли вам этакая Мотья в комнате, в углу. Да еще такая, которая только что пролежала дырку в вашем топчане и явилась опять.

Здесь (мой адрес Малоярославец Моск<овской> обл<асти> Коммунистическая 34) я пробуду до середины марта. К этому времени закончатся мои московские (материальные) дела. Очевидно, после этого смогу выехать. Очень прошу: если у вас переменятся обстоятельства и вам нужно будет задержать или отложить, или отменить мой отъезд — телеграфируйте. Я боюсь, что начнутся сборы, под плач родных — и тут придет письмо с отменой. А родственников, как вам известно, я боюсь. А их плача — и давно. Они чего-то от меня опять хотят — но чего, я точно не понимаю. Кажется, оседлости и благополучия. Кажется, они думают, что вот сейчас-то мне и пора расцвести. В общем, в этот последний период они очень милы со мной. И я, как всегда, несправедлива.

Я, Борис, формально здорова. Но какая-то странная. Пока я дома — все ничего. Но стоит мне выйти — напри<ер>, в город за покупками, начинается мучительная дрожь. — Руки, ноги. Это, очевидно, слабость. Или скорее — нервное. Плохо с сердцем. Но это все вместе и называется — здорова.

Пишите мне, милый.

Целую вас.

Надя.

26.II.[1939]. [Малоярославец].

Боря, милый!

Нынче отправила вам письмо: Женя переслал вашу записочку мне, не распечатав — думая, что это мне. А затем получила ваше письмо — и мне стало стыдно.

Что с вами? Чем вы больны? Раз вы жалуетесь — значит, вам серьезно худо. Я очень беспокоюсь. И очень боюсь вашей неспособности провести дома два-три дня, или в постели. Этак, из ерундовой болезни может получиться черт знает что. Очень прошу, сообщите. Если расхвораетесь, телеграфируйте. Я постараюсь выехать раньше. Я не буду вам надоедать — буду тихая.

Не сердитесь, что я вам не писала. Здесь была какая-то ложная скованность. Я знала, что вы меня позовете к себе, и знала, что я к вам поеду — потому и трудно было писать.

Когда я узнала, что ваша приятельница не приехала, мне стало страшно досадно, что я не приехала сразу. У меня было 300 р<ублей>. Я могла бы дождаться паевых дел у вас, теперь я должна их ждать в Москве, и это задерживает мой приезд: это ведь и есть деньги на дорогу. Вы знаете, как мне всегда трудно изворачиваться. Но может, она придет в марте, тогда все будет складно.

У меня новая формула для обозначения срока, на который я еду: пока не прогоните.

Еще раз, простите, что я не писала.

Целую вас, мой друг.

Надя.

Я еду в Москву за Аней. Она хочет погостить день-два у меня, но боится сама сесть в поезд и приехать — не умеет. Сейчас говорила с ней по телефону. 15—17 — уезжаю отсюда.

Комнату сняла только на месяц.

Обещайте, что напишете, чем больны, и если расхвораетесь — телеграфируйте. Я очень боюсь.

Н.

3.III.<39>. [Малоярославец].

Милый! Я написала вам большое письмо, но бумага не стерпела, и я порвала его.

Я нынче вернулась из Москвы — в достаточно издерганном виде. Не надо было мне ездить. Мне очень тяжело встречаться с людьми. И встреча с Аней была очень болезненной. Главное, никому не приходит в голову, что я живой человек и что моя жизнь не литература.

Я очень рада, что получила вовремя ваше письмо: я беспокоилась. Как ваше здоровье? Чем вы болеете?

Я очень еще рада добрым вестям от А. П. Хотела бы о нем услышать и увидеть его. Как обидно, что Ар<и>адна> Вал<ери>ановна> затягивает свой приезд. Я очень надеялась, что она пробудет февраль у вас, или хоть март. Тогда я могла бы приехать в начале апреля. До 15 марта я здесь. Потом недели две на сборы в Москве. Каждый день как-то удаляет, а не приближает решение.

У Ани сняли со лба небольшую раковую опухоль²⁹. Это кожный рак. Сам по себе он не опасен. Но может быть сопутствующим внутреннему. Однако она очень пополнила и порозовела. Это хороший признак. Я ей сказала, что должно быть поеду к вам. Она вам кланяется.

Женя еще помолодел. Я, кажется, еще похудела. Очень устала.

Славная книга *Lys rouge**? Только конец мнимый. После этого конца героиня едет к портнихе и принимает гостей. Они такие... Бывают ли счастливые концы? Я не верю.

Очень жаль маму. Ей очень худо, и я ничем не могу помочь. Даже Женя зашевелился и пробует обменять ее жилье. Но это очень трудно.

Ваше «завхозство» кончилось с февралем. Рада за вас. Неужели вы съели целого быка?

Пишите уже на Москву — я буду у Жени.

Надя.

7.III.<39>. [Малоярославец].

Милый Борис Сергеевич!

Получила письмо после отчаянной, бессонной ночи. И, как всегда от ваших писем, успокоилась.

Я приеду наверно — очевидно, в начале апреля. Только пишите: если не будет писем, я способна раскиснуть и не двинуться с места.

До моего отъезда — и приезда к вам осталось немного. 15—17 я еду в Москву. Оттуда недели через две к вам.

* «Красная лилия» (роман А. Франса).

Только мне все кажется, что это непреодолимые сроки и что посередине я свалюсь, скачусь, засну.

Я не болею. Я просто такая, как должна быть. Еще лучше, чем можно было ожидать.

Надо сказать, что все понемножку подбавили и подшибли. Правда, меня сейчас легко ранить: уж очень я взъерошенная.

Напишите, не нужно ли чего привезти (вам или другим). Спросите у Любови Ильин<ичны> — я постараюсь выполнить поручения.

Целую вас.

Надя.

Я пишу мало: сейчас идут на почту. Потом напишу потолковее, если смогу. Пишите на Женю.

Хозяйка застряла — пойдет через четверть часа. Хочу прибавить несколько слов.

Ничего не вышло!

уходит...

10.III.<1939>. [Малоярославец].

Боренька, мой милый!

Последнее ваше письмо — самое утешительное. Бес эгоизма и вопли о том, что я буду вам мешать, положительно меня успокоили. Теперь я знаю, что вы вполне сознательно идете на такую неприятность, как рыжая кошка в комнате. Со своей стороны, обещаю причинять вам как можно меньше неприятностей; именно: подниматься со своей подстилки до рассвета, спать весь день, не царапаться и самостоятельно бегать в домик. Дрессировке поддаваться буду, хотя умеренно и лукаво, как всякая дама, которая только приспособляется к хозяину и терпит его причуды. Это, конечно, не то, что Мотька. Я вполне вас понимаю.

Ваши письма все я, конечно, получила. С чего вы взяли, что я ничего не получаю? Вы забыли, наверно, что оборот писем занимает две недели.

Я, очевидно, могу выехать между двадцатыми числами марта и началом апреля. Я бы хотела, чтобы настоящая дамочка с ангель-

скими ручками посетила вас в марте. Очень боюсь, что она позарится на апрель. Что тогда будет? Ведь я с трудом выбираюсь, и переждать месяц очень трудно. Но с другой стороны — я просто мечтаю, чтобы она побывала до меня, иначе вы будете тосковать и вам будут сниться ангельские сны про настоящее женское величие. Такие сны не располагают к реальным драным кошкам, мячущим в углу. Уговорите кошечку приехать скорее. Пошлите ей телеграмму. Напишите ей нежное письмо...

Вот, Боренька, какая я умница. Но у меня болит голова. Я совсем не спала. Я не болею, а просто дичаю. Не могу никого видеть. Поездка в Москву окончательно выбила меня из колеи. Свиданье с Аней было очень тяжелое. Или я просто неприспособлена к общению с людьми. Единственное, что я могу — сидеть у себя в углу. От всякой встречи — боль неделями. И не проходит. Каждый по-своему подбавляет. Ненавижу литературу. Уже кончается мой Малоярославский месяц. Через 5—6 дней еду к Жене — и начну собираться к вам. У него был план угнать меня в Коктебель — если будут деньги. Но я благоразумно подготовила его к отъезду на ваш степной курорт. Мамка тоже уже готовится к разлуке — и чинит мне чулки. Она чудная. Но совсем ребенок. Ей очень худо живется, но сейчас, кажется, получено разрешение на обмен комнаты. Я страшно этому обрадовалась.

Целую вас.

Надя.

Стоит ли мне прислать стихи Ал<ександра> Петр<овича>? Письмо успеет прийти. Пишите мне на Женю. Я себе плохо представляю, как я поеду — откуда возьмется такая активность? Никогда не думала, что я такая тряпка. Впрочем, всегда думала.

Нужно ли везти в апреле шубу или достаточно курточки — она на меху? Не забудьте ответить: для вас есть меховая шуба. Привезти ее сейчас или прислать буд<ущей> осенью?

Я заранее достаю умывальный таз — и приеду с тазом и кувшином!! Предупреждаю об этом, иначе это бы произвело на вас жуткое впечатление.

Как я вас ненавижу, что вы противный старик и не можете перележать дома с гриппом. Кончится тем, что вы серьезно разболеетесь, приедет тетя Эммочка и выгонит меня.

18.III.[1939]. [Москва].

Дорогой Борис Сергеевич!

Я ликвидировала Малоярославец и приехала в Москву устраивать отъезд. Здесь нашла сразу три ваших письма. Очень жаль, что у вас по-прежнему неопределенное положение. Я тянуть, кажется, больше не могу — и психологически, и всячески. Сейчас еще предстоит очень трудное торчание в Москве. Почти невозможное. Могу я выехать в двадцатых числах марта. Точно не знаю, какого числа. Билет надо брать за неделю. Взяв билет, телеграфирую.

Я не очень уверена в своем приезде. Как-то я перетянула. Легче всего это было сделать в первые дни. Чем дальше — тем труднее.

Я совсем не могу писать. Спасибо, что прислали стихи. Они правда — новые. Новый голос, и гораздо более самостоятельный. Вернее — голос всегда был самостоя<ельный>, но свободнее сейчас. Я и об этом не могу писать.

Надя.

Очень прошу — пишите. На телеграмму сразу телеграфируйте. Иначе я не буду знать, что у вас и, пожалуй, способна буду продать билет.

22.III.<39>. [Москва].

Дорогой Борис Сергеевич!

Я скромно откладываю свой отъезд на три недели и приеду по получении соответствующего распоряжения от вас.

Очевидно, на две недели выеду в Малоярославец. Пишите к Жене.

Очень прошу — не говорите о моем предполагаемом приезде. О прошлом — пожалуйста.

В Москву вернусь 7/IV — (дело о пае).

Как жаль, что вы такой орел, что мне приходится обратно ехать в Малоярославец.

Все-таки я зла, как собака.

Надя.

28.III.<39>. [Малоярославец].

Дорогой Борис Сергеевич!

Только нынче получила ваше письмо. Женя его проносил 2—3 дня в кармане, прежде чем переслать.

Очень болит голова, и серебряные нити в глазах. Трудно писать. Не сердитесь, что я бестолкова.

Я приеду в Москву только 6/IV — в связи с паевыми делами. Таким образом, приехать к вам 10—12 я не могу. Да и в этом нет нужды. Поезжайте в Караганду — и я приеду по вашему возвращении. Очевидно, к 16—18/IV вы будете дома. Напишите. Вообще пишите. Чаще пишите — хорошо? Чтобы не было периода неизвестности и у меня не появилось страха перед расстоянием. Пишите на Женю. Сюда я больше не вернусь.

Я стащила у мамы полотенце и шью себе из него изящный туалет — кофту. Вообще приеду почти дамой. Нет только охотничьего костюма.

Очень жаль, что собачка Таичка ласкова. Пожалуйста, ее любляйтесь в нее. Помните, что я приеду, и оставьте для меня хоть капельку любви.

Голова болит.

Надя.

Рассказали ли вы своей гостье о моем приезде? Мне бы этого очень не хотелось. О прошлом сколько угодно, но не о будущем. Забыла вас об этом попросить. Причины нежелания — нерациональны. Просто — так... Я ведь тоже имею право на глупые желания...

Не пишите в конце писем «будьте здоровы», а то болит голова.

Конверт грязный и помятый, но последний.

4.IV.<39>. [Малоярославец].

Боренька милый!

Почему вы решили, что я на вас злюсь? Конечно, нет. Никаких оснований. Даже тени никакой сердитости во мне нет.

Просто мои письма уж очень лаконичны. У меня тоже нет никаких событий. Полная неподвижность.

Ах, я написала, что зла, как черт. Это относилось не к вам, а к мрачному сидению на даче. Сезон малоподходящий.

Я еду в Москву послезавтра.

Вернетесь ли вы домой к двадцатому? Я могла бы приехать. Держите меня в курсе своих дел. Это письмо вы, наверное, получите после вашего возвращения. И я точно не знаю, когда его отправлю. Последние дни я не выхожу. Наверное, оно уйдет 6-го из Москвы. Может, вы, несмотря на свое презрение к телеграфу, телеграфируете мне, вернувшись? Тогда я выеду спокойно, зная, что вы меня встретите. Иначе буду трепыхаться. Билет надо будет брать заранее. Словом, пишите. И не думайте, что я злая. Я просто тиховатая. А может, и сумасшедшенькая. Во всяком случае — паршивая. Целую вас.

Надя.

Боренька, по-моему, я сердилась на вас в последний раз, когда вы выбросили бутылку вина. С тех пор — нет. Я похожа сейчас на замороженную курицу. Молчу по целым дням. Очень глупа. Почти до предела.

У меня есть знакомая собачка — очень милая. Не захватить ли ее с собой?

У меня нет феодально-охотничьих принадлежностей, вроде судков, чтобы жарить диких оленей, уток и кабанов. Я привезу просто кастрюлю.

В вашем последнем письме — легкий упрек. Ваша гостья не требует никакого ухода и даже поддерживает порядок в комнате. Я понимаю, что про меня этого сказать нельзя. У этих рыжих совсем не золотые ручки, и беспорядку от них много. Придется вам, милый, потерпеть.

Что делать с моей нарастающей глупостью? Боюсь, что она уже неизлечима.

У моих московских друзей и знакомых — последняя мода — ананасы в шампанском. Не фигурально, а буквально.

Я курю папиросы «Норд». Сплю только днем, но зато весь день.

Если получу деньги, приеду хорошо снаряженная. Что касается до мануфактуры — то ее я не привезу. Во мне нет ни на грош

самоотречения. Но если достану рубашки — куплю вам. (Очевидно № 39). Впрочем, это зависит от многого: мои капиталы и количество людей в магазинах.

Видите, какое длинное письмо.

Но оно окончательно истощило мои мозги.

Надя.

9.IV.[1939]. [Москва].

Пишу на почте, и поэтому бумаги у меня нет. Мои денежные дела, видимо, должны устроиться. Числа 15—16 — могу, очевидно, взять билет (на 20 или в этом роде). Мне необходимо подтверждение, что вы на месте и способны меня перенести (что вообще очень трудно). Очень прошу: раз в жизни преодолите свое отвращение к телеграфу и бахните мне телеграмму — напр<имер> — «жду целую кошечку» — либо — «уезжаю на полгода — в будущем январе вернусь и жду дорогую Надю...» Впрочем, если вам не нравится стиль — можете по-своему — т. е. своими словами.

Боренька, я была глупа, а стала еще глупее. Сейчас это почти мощно. Глупость брызжет из всех пор. Вы еще не видели такого зрелища. Каждое слово — золото. Мне необходимо находиться под чьим-нибудь присмотром, иначе это перейдет все границы. Пример — это письмо. Но все-таки телеграфируйте.

Нынче я ждала от вас письма — но его нет. Есть подозрение, что Женя получил письмо накануне моего приезда в Москву, но, будучи стар и забывчив, — переслал его мне — в Малояр<ославец>. Я все гадаю — что же могло быть в этом — быть может, полученном — письме? И мне мерещится бог знает что... Словом, я беспокоюсь, дурею и теряю всю свою весьма относительную привлекательность.

Жду телеграмму.

Надя.

11.IV.[1939]. [Москва].

Боренька!

Я приехала в Москву 6-го. 28-го я вам писала. 7—8 должен был быть ответ. Нынче 11-ое. Ничего нет. Я понимаю, конечно, что иногда может быть лень написать письмо. Но нужна ли мне эта добавочная нагрузка? Попросту говоря — заслужила ли я ее? Это тяжелые дни какого-то двойного, тройного беспокойства. Что случилось? Ведь если вы не знаете, что мне писать относительно моего приезда, если у вас изменились обстоятельства и вы хотите мой приезд отложить или отменить, вы должны были бы мне непременно сразу сообщить. Что же означает молчание? Я мучительно беспокоюсь. И вы ведь знаете, что мне не к кому зайти и спросить о вас.

Наконец, мне надо на что-то решаться. Брать билет за неделю. Между тем я не знаю, что с вами, когда вы едете в командировку, не случилось ли у вас чего. Мне очень тяжело — и тут еще эта нелепая неопределенность.

Билет я, очевидно, возьму через 2—3 дня — может 15-го, т. е. на 21—22. Письмо от вас дойти не успеет. Если не получу подтверждающей телеграммы, я не поеду, билет продам и куда-нибудь уеду.

Я очень прошу — немедленно известите меня телеграфно о том, что с вами.

Надя.

Знаете, Боря, вы писали, что вы стали плохим корреспондентом. Но я была вам так благодарна, что все время имела известия от вас — т. е. все время была спокойна. На вас совершенно не похоже, что вы вдруг — здорово живешь — не ответили. Тем более, что вы знаете, как я раздерегана.

Именно потому я так беспокоюсь. Мне очень трудно, милый, очень трудно... И дело в конце концов не в том, могу я ехать к вам или нет. Тут — неопределенность и постоянное беспокойство, вечная тревога.

[15.IV.1939. Москва].

Дорогой Борис Сергеевич! Я рада, что все-таки получила от вас письмо. Я очень беспокоилась. Рада, что у вас все благополучно, даже хорошо. Вы этого заслужили.

Теперь обо мне — и постараюсь быть точной.

Я могла к вам приехать, когда вы были один. Сейчас мой приезд исключается. Я не приеду ни сейчас, ни вообще никогда.

Ваша ошибка по отношению ко мне: зная о приезде Ар<иадны> Вал<ериановны> к вам — вы мне написали то первое письмо после моего несчастья, в котором просили меня приехать к вам и поселиться с вами, т. е. вы вели себя как человек, ни с кем не связанный. Я могла бы приехать с мыслью о том, что останусь у вас. Между тем для вас, наверное, не секрет, что брак налагает известные обязательства на человека, что обстоятельства могли сложиться так, что вы бы уехали из Шортандов — куда же вы меня звали? Не говорите, что этого не могло быть: нельзя всего учесть: все может быть.

Это был ложный ваш шаг и неуместный при моей достаточно трудной жизни.

Моя ошибка: в дни большого несчастья я искала почвы — последнего кусочка земли. Это были вы. Нечего хвататься за пробковые пояса. Это ложь. Если человек один — он должен быть один. Я этого не умела, и я себя за это презираю.

Нельзя смешивать событий разного масштаба и разного плана. Но скажу все-таки, что ваше сообщение мне тяжело. Не потому, что ваша любовь кому-то отдана. Но в том*, что то ваше первое письмо оказалось несостоятельным.

Если вы мне на это возразите, это значит, что вы не понимаете, что такое семья и брак. Что такое жена. Вы мне казались человеком точных и ясных представлений. Между тем звать к себе какую бы то ни было женщину — хотя бы друга — в минуту ее несчастья еще, причем звать к себе жить — это значит брать на себя обязательства (моральные), которые не может выполнить ни женатый человек, ни человек, надеющийся жениться.

Довольно, однако, рассуждений.

Итак —

1. Я не приеду ни сейчас, ни через сто лет.

Но этого мало.

Я виновата, что я не умела быть одна, и я впредь должна уметь быть одной. Никаких спасательных поясов.

Я прошу — и это мое абсолютное женское право, и ни один честный мужчина не имеет права отказать или обмануть в таких случаях женщину:

1. Мне не писать.

2. Меня не искать.

3. Не запрашивать Женю обо мне ни сейчас, ни через сто лет. И этого я требую. Если вы этого не сделаете, это будет непорядочно по отношению ко мне. Хотя джентельменство вещь условная, но этого джентельменства я требую.

4. Никогда, никому и ни при каких обстоятельства не рассказывать, как произошел наш разрыв. Опять взываю к мужской порядочности. Не хочу выглядеть душой.

Дальше, несмотря на ваше отношение к письмам — я требую, чтобы все мои письма были уничтожены. У меня отношение к письмам не то, что у вас. Не осталось, например, ни одного моего письма к Осе. Я их уничтожила. Я прошу вас тоже помнить, что это абсолютное женское право.

Дальше. Я хочу абсолютно разорвать наши жизни. И это твердо. Я требую, чтобы вы, когда будете в Москве, не искали ни меня, ни моих — т. е. маму, Женю, или моих друзей. Это вы обязаны исполнить. При этом я требую, чтобы этот закон — мой женский закон — был выполнен и свято соблюден и при моей жизни и после моей смерти, когда бы я ни умерла. Это тоже мое абсолютное женское право.

Как видите, мое предчувствие, что я к вам не приеду, меня не обмануло. Я хочу еще раз вам объяснить и, может быть, более четко:

В любое время, узнав о вашем браке, я, конечно, не порвала бы с вами отношений. Когда вы рассказали мне об Алле Анатольевне — это не было препятствием — (никаким) к нашим отношениям.

Но сейчас, после того, как вы написали мне известное письмо, уже зная, кто к вам приезжает, после того, как вы (в невероятно тяжелый момент для меня) дали мне заведомо ложную установку (вы звали меня «поселиться у меня» — это цитата) — наш разрыв неизбежен и тверд. Нельзя в роковые для другого дни и часы выступать с необоснованными и неосуществимыми предложениями о помощи и т. д.

Если вы мне скажете, что все эти ваши предложения остаются в силе, я отвечу, что вы еще ничего не понимаете ни в любви, ни в сложной ткани общей жизни, ни в чем... А я понимаю.

* Грамматическая несогласованность объясняется, по-видимому, тем, что перед этим предложением в письме было еще одно, зачеркнутое рукой Н. Я. Мандельштам и не поддающееся прочтению.

Я досадую только на себя. Хотела спастись, искала опоры, боялась. Просто была дурой.

Вам, конечно, все это неприятно. Ну что ж. Неприятность ведь не так велика.

Лучше, когда люди поступают явно плохо, чем когда их поступки очень благородны.

Ваше письмо было очень благородно. А потом оказалось чертова ерунда.

И вся эта комедия ожидания — в дни моей катастрофы — и это в тысячу раз отягощает вашу вину.

Вот почему разрыв абсолютен, вечен и тверд.

Вот почему я не хочу никаких писем, никаких рукопожатий, никаких встреч.

Вот почему я требую, чтобы вы никогда не встречались со мной на моих путях: моя семья, мои друзья — это мое.

А так как нужно уметь расплачиваться за свои поступки, я и требую, чтобы вы наложили и на себя эпитимью и свято блюли мой женский закон: обо мне не узнавать. Обо мне не говорить. Обо мне не спрашивать.

Я дружила и любила людей, у которых были и жены и любовницы. Я хочу вам еще раз сказать, что с вами я рву не потому, что у вас появилась жена, а потому, что я требовательна именно к своим друзьям. Еще раз, чтобы еще грубее объяснить вашу ошибку:

Я поселилась в Шортандах. Вашу жену разбил паралич. Вы уезжаете.

А что делаю я?

Имели ли вы право звать меня к себе, ожидая женщину, которая так или иначе решала вашу судьбу?

Имели вы право заставить меня ждать два месяца, откладывая жизненное устройство, ориентируясь на заведомо ложный шаг — (Шортанды) — ждать, ждать, ждать, пока вы решали свои дела? Было ли это поступком настоящего друга?

Нет.

Было ли это поступком человека, на которого можно положиться?

Нет.

Нужна ли мне такая дружба?

Нет.

А теперь в порядке небольшой женской колкости, от которой я не могу отказаться: я думаю, теть Эммочка и Евг<ений> Серг<еевич> — будут рады, что вы чудом спаслись от меня, от моего приезда и от моего возможного поселения в Шортандах.

Итак, прощайте.

Надя.

Я пишу на почте.

Желаю вам скорейшего переезда в Москву (это вполне искренно) и возвращения к жизни.

[Между 15 и 26.IV.1939. Москва].

Дорогой Борис Сергеевич!

Мне приходится написать вам вторично: боюсь, что недостаточно четко объяснила причину своего возмущения и почему разрыв неизбежен, хотя наши отношения в том виде, как они существовали, были мне приятны.

В самый трудный час моей жизни вы предложили мне поселиться у вас. Вы звали меня к себе Осиным именем. Привожу точные цитаты:

«Он был бы рад, если бы мог знать, что вы поселились у меня». «И вам не будет трудно жить у его и вашего друга». В другом письме: «Я зову вас надолго» и т. д.

Но вы очевидно не поняли, что несете полную ответственность за свои слова. Так же, продолжая звать меня, вы не понимаете, что у вас могут появиться новые обязанности. Пример: обстоятельства складываются так, что вы должны уехать. А я живу в Шортандах. Зачем собственно я в Шортандах?

Ваше письмо было необычайно благородно. Словарь один чего стоил. А я возмущена именно благородством вашего поступка. Оно-то и чудовищно, когда оказывается на поверку полной безответственностью.

Если бы не было именно этого благородства, а вы бы просто женились, наша дружба не порвалась бы никогда.

Если бы вы мне написали: я только что женился, но моя жена временно уехала — приезжайте... я бы обязательно приехала. Очень забавная ситуация.

Прибавлю, что вы писали мне, зная, кто к вам придет. Безответственность была и по отношению к той, которая ехала к вам. Точно так, как предложение, чтобы я приехала к вам чуть ли не на следующий день после отъезда вашей новой жены.

Продолжая звать меня, вы не сообщаете, на сколько времени вы меня зовете и как вы уладили этот вопрос с вашей новой женой.

В результате этих ваших безответственных поступков, вы перестали для меня существовать. Опять-таки, я много видела в жизни чепухи и сама ее производила. Очень ее люблю, т. е. чепуху. Но без благородства. Без «совести», «друга», «вечного друга», «панихиды» и пр.

Вы всегда стояли арбитром «джентельменства», «чести» и «дружбы». Вспомните хотя бы разговоры 34 года. Ваши ссылки на джентльменство друзей ваших (Смирнова и др.) в ущерб другим — моим близким.

Какое право имели вы — при вашей безответственности — становиться между мной и моим горем, между мной и жизнью и смертью?

Момент, выбранный вами для демонстрации верности и дружбы, требовал особой осторожности. В минуту, когда у человека горе, надо взвешивать каждое слово.

Вы звали меня к себе — поселиться и жить с вами. Я не собиралась к вам надолго. Дело не практическое, а моральное.

Вы, к сожалению, не эгоист, а очень sentimentalный человек. Все слова и благородные позиции — sentimentalность. Я еще в Шортандах вам говорила, что вы способны собрать всех ваших приятельниц, подруг и т. д. в одну комнату, чтобы на каждую посмотреть и с каждой поговорить.

Вы, так сказать, делали всегда вид, что вы скала, а мне страшно, как рассыпался этот макет преданности и дружбы.

Мне стыдно, что сознание этой дружбы в какой-то небольшой степени утешало меня в моем горе.

Это мой стыд: не различила, где слова, где рукопожатия. А еще стыднее, что десять лет подряд считала вас образчиком всех этих благородных качеств, которые и вы сами часто противопоставляли Осиному легкомыслию.

Все требования моего прошлого письма обязательны. Я знаю, как вы говорите о женщинах, и очень этого не люблю. Для себя,

для своей крепкой совести вы сделаете вид, что я обиделась на вашу женитьбу, хотя вы никогда не предлагали мне выйти за вас замуж.

Попробуйте понять, что я обиделась на ваше благородство.

Итак, я требую джентельменства не как молочница, которой не уступают места в трамвае, а как женщина.

Не поддавайтесь свойственной вам sentimentalности и твердо учтите неизбежность и абсолютную силу нашего разрыва.

Никогда ни с кем обо мне не говорите — это и есть джентельменство.

Я требую, чтобы были уничтожены мои письма. Требую этого категорически. Это одно из требований, которое мужчины выполняют, если у них сколько-нибудь ясные представления о чести. Вы этого не любите, я знаю: «моя жизнь».

Не пытайтесь объяснять нашего разрыва, как путаницу любви и дружбы.

Точная формула: возмущение благородной безответственностью, нетерпимой именно в дружбе.

Любящие дамы очень терпимы. Нетерпима именно дружба — и она требовательна.

И главное: никогда не справляйтесь обо мне.

И не окрашивайте других отношений в высокие тона. Моя реакция, при известном вам — моем легкомыслии — пусть будет вам памятью.

Прощайте.

Н. М.

Я действительно хотела приехать. Шортанды был для меня выход: уход от всего, связанного с привычной жизнью. Сейчас на меня пролили много слез. Ваши в их числе. И все безответственные.

Средне-писательские слезы.

А зачем вы мне сообщили о вашей женитьбе? Ведь тоже из sentimentalности.

Вы ведь знали, что я долго с вами не усую. Можно было вообще не держать меня в курсе ваших дел. Это было бы правильно и по-мужски.

26.IV.[1939]. [Москва].

Дорогой Борис Сергеевич!

Моего бешенства хватило ровно на два письма. Потом меня очень затошнило от этого очаровательного поступка. Я очень рада, что вы написали. Я, конечно, никогда не скрывала от вас, что я невыносима. Теперь вы окончательно в этом убедились.

Если говорить по существу — вина, конечно, моя. Поступок безобразный. Вот оправдания. Я думаю, что было бы абсолютно неправильно (для меня) ехать к вам. Я это все время чувствовала, но была в настолько убитом, пассивном состоянии, что не могла отдать себе в этом отчет. Какая-то смесь тоски, угрызений, и больше двух месяцев висевший надо мной отъезд. Это состояние и привело к взрыву по первому же поводу. Иначе этот взрыв случился бы у вас — неизвестно почему — так, просто так...

Почему неправильно, я могу объяснить.

Я дико боюсь жизни. Она для меня непредставима. Я пыталась, думая, что поеду к вам, опять спрятаться на какой-то срок от своей судьбы. В глаза ей смотреть не могу. Я настолько ее боюсь, что все что угодно лучше, чем жизнь.

Нельзя было прятаться. Нельзя спастись — еще день, еще месяц, еще проволочка — а там может попробую... Конечно, надо было осознать сразу все. Мое главное богатство — это то, что я абсолютно одна. Я боялась этого и цеплялась за дружбу. Перечисляла по пальцам свои подпорки: вот, я ведь не совсем одна. И в то же время, конечно, понимала, что одна. Но не смела сказать себе, что это и есть богатство. Вместе с тем инстинктивно хотела разрыва: чтобы все-таки посмотреть — а как же это жизнь, которая моя настоящая... Это то же чувство, из-за которого я все время рвусь вон из Москвы: хочу остаться совсем одна. Отсюда сила моего взрыва и то бешенство, которое я обрушила на вас.

Про вашу ошибку. Вы не знаете еще, а может, вам несвойственно это знать — что такое близость с одним человеком, которая кладет громадные обязательства, невыносимо тяжела и вместе с тем — она-то — единственный смысл. У меня нет весов для определения, где дружба, где любовь. Шут их знает... Но эту абсолютную близость я знаю — это моя жизнь с Осей. Мы оба ее не выдерживали, оба бесились и бунтовали. Но это и есть муж, это жена — а что это — дружба, любовь — не знаю. Механического критерия нет. Для моего

слуха — жена, женился — это и значит то, о чем я говорю. Вы другого склада. Пожалуй, вы можете говорить в какие-то решающие для вас дни, часы, недели с другим человеком, а не с тем, с кем вы должны бы говорить. Но я этого не понимаю и — в чужую психологию трудно войти — никогда не пойму. Вот почему я убеждена, вы не должны были меня звать, пока не выяснили, как сложатся ваши дела, иначе говоря — пока не уедет ваша гостья. Безразлично, чем бы все это кончилось. Но надо было разделить отчетливо и твердо — оба разговора — со мной и с ней — и только окончив основной, говорить со мной. И для меня было бы лучше: я бы не сидела пассивно, ожидая отъезда, который отодвигался и дико меня дергал. Звать меня нужно было бы теперь, а не тогда. Вы недодумали. А кроме того, уверяю вас, нет на свете жены, которая была бы рада, что с ее мужем живет какая-то подруга — какое бы место эта подруга ни занимала в жизни ее мужа. Можно, конечно, с первых же шагов ставить любые испытания перед женщиной. Но зачем? Я думаю, этого не нужно делать. И я бы не стала путаться в вашу судьбу и не захотела бы быть этим совершенно ненужным пробным камнем.

Что касается моего взрыва — то, может, узнав меня во всей невыносимости, которую, конечно, очень трудно перенести — вы еще реальнее меня узнаете — а это всегда хорошо для добрых отношений. Я думаю, они должны строиться на взаимной невыносимости — т. е. реальности, а не на полутонах.

Впрочем, выбор предоставляю вам. Так или иначе, вы хорошо сделали, что написали. За это я вас очень полюбила.

И, наконец, о женских прерогативах (кажется, я не запуталась в правописании). Дамы отличаются от мужчин тем, что не отвечают за свои слова. Я, например, не отвечаю, и вот почему меня огорчает, что вы сохраняете мои письма. Мне трудно из-за этого вам писать. Это портит настроение. Письма в такой же мере моя собственность, как и ваша. Если б они не были сохранены, я была бы очень рада. Мне было бы гораздо легче. Я очень прошу: моих писем не сохранять.

А книги — другое дело. С книгами — свинство. Я отдала вам несколько — Осиных книг. Конечно, они ваши и навсегда. Я вас только предупреждала, что мне может понадобиться альбом с худ.<ожниками> — (если я буду работать и не буду в Москве). Остальные же — ваши. Смешно было бы мне их возвращать, хотя бы мы сто раз поссорились.

Так как я надеюсь, что мы будем еще часто, бешено и навсегда ссориться — то прошу вас и впредь считать книги невозвращаемым фондом, не зависящим от наших ссор.

Н. М.

Я пока в Москве — у Жени. Может вообще останусь. Меняю мамину комнату. На днях был Реквием Моцарта. Я была.

26.IV.[1939]. [Москва].

Дорогой Борис Сергеевич!

Нынче ответила вам на первое письмо. Вслед за этим пришло второе. Я поняла, что вы накопили ярость и излили ее. Мне не захотелось портить своего миролюбивого настроения. Оно лежит запечатанное у меня в кармане.

Если вы хотите, чтобы я его прочла — напишите мне. Пока что пусть лежит.

Н.

На Моцарта не было ни одного билета. Меня устроил дирижер³⁰. Зато мне пришлось вчера у него побывать. У него крошечная двухлетняя девочка — черная и дикая кукла. Почти не говорит. Когда она капризничает, ее, чтобы успокоить — усаживают за рояль — и она берет аккорды, играет... Как пианист, пробующий инструмент или иллюстрирующий разговор. Это невероятное зрелище. Отец плачет, что она не мальчик.

9.V.<39>. [Москва].

Дорогой Борис Сергеевич!

Я обрадовалась вашему письму и в особенности тому, что, изведав, какая я ведьма, все же от меня не отреклись.

Да будет так.

Сейчас я на перепутье. Куда-то уезжаю, а куда — не знаю. Пишите к Жене. Очень обидно, что у меня здесь бы все устроилось — и совершенно незаметно — без усилий с моей стороны.

Меня брали в макетчики. При моих связях — вернее друзьях-художниках, я была бы всегда с работой. Вы подумайте: у себя дома — и много денег. Я уже, кажется, была включена в какую-то большую работу, которая мне обеспечивала лето. И — опять ничего не вышло — и я опять еду-еду... Это окончательно решится дней через пять.

Уезжать я мучительно не хочу. До слез, до полного мрака.

Что вы пишете, что для меня человек не имеет своей собственной абсолютной ценности и я его оцениваю только в зависимости от его роли в моей жизни. Конечно, это не так. Наоборот, меня может раздражить только попытка сыграть роль в моей жизни. Я стала с недавних пор чрезмерно самостоятельной и брыкаюсь, когда пахнет «влиянием», «уговором», «советом» и всем прочим.

Я вас никогда не принимала за Рудермана, даже во сне — не то что наяву. Но я всегда знала, что есть вещи, о которых нам никак не договориться. Но нам бы никогда и не пришлось договариваться, если бы так не скрестилось все и я бы не взбесилась, как волк, в сущности, а не как собака. По первому классу.

Вряд ли меня бы раздражили следы А<риадны> В<алерияновны> в комнате и в вас. Когда я приезжала — я ведь застала следы А<ллы> А<натольевны> — и, не зная отношений, считалась с ними, как с существующими. Право, это меня не раздражало и не отталкивало от вас. Дело не в этом.

Приезжать мне не надо по другой причине — я долго прятала лицо в руки, как дети — и говорила: «меня нет». Все бегала боковыми дорожками и не хотела посмотреть, какая же это жизнь на самом деле мне предстоит и мне принадлежит. Дальше прятаться нельзя. Надо испробовать. А там видно будет. Лишь бы не испугаться и не убежать опять на боковую дорожку. Такой соблазн всегда есть. Напр<имер>, провести лето с одними моими друзьями на даче, чтобы слегка очухаться и т. д. Но я уже отказалась, к счастью. (Это с Витей).

Еще я вспоминаю: у нас когда-то ночевал какой-то Шуринов товарищ — тот самый, который потом украл дедушкин чемодан. Я не хотела давать ему постели — сердилась, что он у нас остался. Он расстелил газету на полу и позвал Осю. «О. Э. — вы знаете, что такое иллюзия? Вот иллюзия» — и показал на газету (после этого я выдала одеяло и тюфяк)³¹.

Вот я не хочу расстилать газет. Не хочу иллюзий. Не хочу прятаться. А там посмотрим.

И еще я не люблю, когда меня жалеют.

А для вас приятное. У меня есть для вас Аввакум. История такая: я достала эту книгу, когда собиралась к вам — месяц назад. Покупая, решила — что это будет подарок с заранее оговоренным правом отобрания в случае ссоры. Рассержусь — отберу; любив — верну — и так без конца. Написав грозные письма, взяла и продала. Другого не достать... чистая случайность.

Недавно (уже в полосе раскаянья) грызлась с Витей. Он заорал: «Уезжайте в Шортанды. Там вас ждут». Я кротко ответила: «Там меня ругают и может простят, если я достану и пришлю Аввакума». Он побежал к себе и вынес книгу с надписью: «Наде для улучшения характера». Вы ее скоро получите. Мне надо только собраться ее послать — а сейчас мне трудно. Как вы думаете, может от Ав<вакума> исправиться характер?

Теперь о письмах. Я не могу вам писать, зная, что вы сохраняете письма. Не оттого, что я горбатая пьяница, а хочу казаться пряменькой сильфидой. Наоборот, я ценю, когда меня любят гадкую. Но потому, что это следы моей жизни. Не вы, а какие-нибудь внуки будут их читать. Я твердо решила, что этого не будет. Не сохранилось ни одного моего письма. Это как будто смешно — но я болезненно не хочу, чтобы жили эти листки. Я уничтожила свои письма к Осе. Я прошу вас: исполните мою просьбу — уничтожьте мои письма хотя бы с декабря — т. е. с тех пор, как я вернулась от вас. И новых не сохраняйте. Тогда я буду спокойно писать. Иначе не смогу.

Ведь я с самого начала знала, что не поеду к вам. Я как бы ждала кризиса. Я как будто его накликавала. Называла... Помните, я вам писала в каждом письме?

У меня было в это время много легких, но очень невыносимых — даже неприятностями это нельзя назвать — а так — чего-то такого. Почти невыносимых. Мелко-отравительных. Мне не хочется писать. Но это был целый клубок вокруг основного несчастья.

Итак —

Н. М.

Женя и Лена были оба очень хороши со мной.

25.V.[1939]. [Калинин].

Дорогой Борис Сергеевич!

Благодарю вас за приглашение и, главное, за долготерпение. К сожалению, приехать я не могу. У меня были крошечные деньги, которые я должна использовать, чтобы устроиться. Не забывайте, что из Шортандов мне некуда было бы вернуться. Скажем, я погостила бы у вас месяц — или 6 недель, а потом очутилась бы в Москве, все вещи уже проданы, нужно куда-то ехать — и не на что. Поэтому не обижайтесь, что я не могла вас навестить. Выхода не было — либо поездка к вам, либо попытка обосноваться, найти работу, как-то осесть, как все люди в моем положении.

Как видите, рассуждения арифметические, а не отвлеченные. Отвлеченные, очевидно, вам осточертели.

Неужели вы так изменились, что не уверены в том, что я способна с вами дружить? Уверяю вас, вам это кажется с непривычки. Только вряд ли мне удастся это проверить лично. Ведь вы не собираетесь к нам?

Я рада, что вы пишете, что хотите меня видеть. Признаться, много раз я думала, что ваши приглашения вызваны просто тем, что вы меня жалеете. И еще простым беспокойством из-за всяких моих нервических разговоров.

Аввакума я вам уже послала. Вы его, очевидно, получили. Видимо, это «последний дар моей Изоры»³² — потому что я разлучена с книгами и даже с книжными магазинами.

Сейчас я в Калининe. Выбор места исключительно неудачный. Я об этом не знала. Но знали братья, но не сочли нужным мне сказать. В сущности, Шура разговорился на вокзале, а Женя со свойственным ему оптимизмом крутил ус.

Поселилась в деревне. Сообщение с городом трамвайное. Пока прописали меня временно. Надеюсь, что удастся получить постоянную прописку.

Работаю в артели детской игрушки. Уже три дня. Роспись игрушек. Очень милая работа. Но каждую штучку приходится брать в руки 14 раз — и раз 50 ударять штампом. Раскраска штучки 19 к<опеек> с моим материалом. Пока у меня нет скорости, но заработать можно рублей двести в месяц. Главное, что пока работаю в мастерской, а потом буду получать работу на дом. Пока делаю по 15 штук в день.

Мой адрес: Калинин 7, дер. Старая Константиновка, № 78.

Боренька, как исполнить ваш совет и не делать ничего такого, чего мне не хочется делать?

У меня, к сожалению, не хватило энергии вернуться с вокзала домой (где дом?) и подумать заново о том, как мне быть. Я до такой степени пассивна, что способна лечь и пролежать до самой смерти.

Комната у меня бревенчатая — вроде ящика, приспособленного для кукольного дома. Я это люблю. Кушаю яйца. Читаю — т. е. ничего не читаю.

Н. М.

Почему-то и пальто и платье (единств<енное>) — оказались после краски — черные. Я этого не хотела.

Хотела еще что-то приписать, но забыла.

Что вы храните письма, несмотря на все мои требования — это очень нехорошо. Я хочу, чтобы вы уничтожили письма с января по май. Мне неприятно, что они существуют.

9.VI.[1939]. [Калинин].

Дорогой Борис Сергеевич!

Рада, что вы не хвалите меня за благоразумие и не ликуете. Вы, конечно, правы. Но дело, пожалуй не в том, что я одна. Это, может, единственное хорошее. А вообще трудно и тяжело. И плохо выбранное место. Но работа — ничего. Главное, дней через десять стану «надомницей». Т. е. буду работать дома — т. е. попаду в блаженное одиночество. Так все-таки легче.

Вашу жизнь я себе плохо представляю. Во-первых — лето. Здесь страшные холода, а по моей комнате (она «летняя» — т. е. дощатая сараюшка) — гуляет ветер. На днях было 4° мороза. Во-вторых — охота. И, наконец, работа, которая, очевидно, именно сейчас и происходит.

Вы ездите по полям, загорели и ходите без ватной куртки. Тепло вам? Мне — холодно.

Мне трудно писать. Я устала, и потом какая-то притупленность. Острый период прошел. Началась жизнь. Это очень тяжело.

Так всегда после утраты. Сначала как в бреду — ничего не понимаешь.

Простите за такое пустое письмо.

Пишите.

Н.

[Между 9 и 23.VI.1939. Калинин].

Дорогой Борис Сергеевич!

Могу вам дать исчерпывающее объяснение на ваши вопросы. Я жила, как вам известно, очень долго в провинции, поэтому прописаться в Москве мне очень трудно. Для этого нужны хлопоты и т. п. Жене не удалось прописать меня у себя. (Я бы жила не у него). Он сделал все от него зависящее, чтобы я осталась. Это не удалось. Не знаю, удастся ли мне удержаться в Калинин. Это режимный город — не знаю, достаточно ли быть членом артели для получения постоянной прописки. Сейчас у меня временная.

Что касается до человеческого общества — то я без него довольно легко обхожусь. Здесь есть несколько женщин по соседству, с которыми можно разговаривать, но у меня этой потребности нет.

Времени вне работы у меня тоже нет. Я работаю с 9 до 11 (уже дома). Ведь мне надо оплачивать дорогую комнату. Приятно сознание, что никто ко мне никогда не придет. Я только боюсь, что мне когда-нибудь придется поехать в Москву и всех увидеть.

Получили ли вы Аввакума³³? Я послала его вам 1¹/₂ месяца назад, и вы ничего мне не сообщили.

Н.

Единственное, что, пожалуй, омрачает мое безмятежное состояние, это ваше странное отношение к полученным вами письмам, как к своей собственности. Если вы не заботитесь о своем будущем, это не значит, что я не должна думать о своем. Женщинам это свойственно. И эта кучка писем (особенно с декабря по май) меня крайне тяготит. Я впервые в жизни сталкиваюсь с таким искривленным отношением к женским письмам, как ваше.

Что касается до Жени, то я не могу сказать, что он заботливый брат. Но именно в том, в чем вы его обвиняете, он не виноват.

Как вы мне могли прислать эти стихи? Я до сих пор не могу опомниться. Я не хотела писать, но не выдержала.

23.VI.[1939]. [Калинин].

Дорогой Борис Сергеевич!

Нынче отправила вам письмо, но опустила его в наш деревенский почтовый ящик.

Тут же получила телеграмму от Жени — не получает моих писем — и узнала, что почтовый ящик открывают раз в год и топят письмами печку. Не знаю, верно ли это. Мне лень повторяться. Напишите, получили ли письмо.

Кстати, сообщите, получили ли вы Аввакума. Я послала его месяца полтора назад, но вы никак не отметили получения. Если он пропал, у меня, кажется, сохранилась квитанция. Впрочем, пользы от этого мало. Жаль было бы.

Пишите.

Н. М.

8.VII.[1939]. [Калинин].

Дорогой Борис Сергеевич!

Мне становится очень тяжела наша перепалка. Я чувствую, что отношения серьезно идут на разрыв. Вы не из тех людей, которые способны принять какое-либо осуждение и согласиться, что и вы иногда бываете неправы. При личном свидании мы, может быть, до чего-нибудь бы договорились. Но так...

О стихах. Мне совершенно безразлично их качество. Дело не в нем. Дело в том, что в них повторяются, иначе, по другому — слова, имеющие для меня чрезвычайно конкретный, я бы сказала, бытовой, смысл. По-новому повернутые — они ранят. Если б эти стихи были обращены непосредственно ко мне — надо было раньше спросить меня — хочу ли я их услышать.

Вы мне однажды сказали, чтобы я не воображала, что у меня монополия на горе. Может, это и так — но нельзя не признать моих особых прав. Нельзя забывать, что именно я вдова. Другой вдовы нет. И за нищенку и за тень я заплатила кровью. Иногда надо ходить на цыпочках при виде женской беды, не шуметь, не скрипеть половицей. И нельзя ей повторять слова мужа, потому что неизвестно, что она о них в эту минуту думает.

Я, может, плохо объяснила. Но это бы поняли очень многие. Мне странно, что вы мне так ответили на мой упрек. Но я знаю, что вас задевать нельзя. В таких случаях вы не владеете ни интонацией, ни речью.

Второе — у вас есть какой-то глубокий душевный изъян. Вы не понимаете каких-то вещей. Я это знала всегда. Ваша прямолинейность и одетость в шоры меня всегда пугала. Но это с тетей Эммой вы можете делиться своими правилами (меня всегда интересовало, как вы это делаете), но всему миру вы их не изложите. Я не хочу, чтобы после моей смерти гадали, были вы моим любовником или нет. Я не хочу, чтобы после моей смерти обо мне вообще могли что-нибудь сказать. Женское право — не правда ли? Вот почему женские письма всегда были священны, пока существовала женская честь.

В этой якобы традиционной любви к письмам — самый настоящий нигилизм. Я с ним сталкиваюсь в первый раз в жизни. Мое имя — с первых дней молодости — всегда охраняли. Даже люди, обиженные мной, — а вас я никогда не обижала — были всегда на высоте. А вам, оказывается, все равно. Я знаю, что вы проводите одну механическую грань, деля отношения между людьми на два сорта. Это грубая ошибка. Это и есть ваш душевный изъян. Эта грань не имеет почти никакого значения. И в особенности для людей, которые хорошо знают ей цену, как знаю я. Отсюда множество ваших ошибок. Ранящих ошибок. Отсюда непонимание, почему, например, надо порвать письма, где не сказано черным по белому, что я жила с вами. А этого, между прочим, никогда не говорят.

Это дикость, мой друг. Арбитра, к сожалению, выбрать нельзя. Но всякий человек, который может быть моим знакомым, был бы на моей стороне, без всяких неприятных объяснений.

Женские письма сохраняются только тогда, когда хотят нанести жестокую обиду женщине, опозорить, отомстить. Неужели

вам это неизвестно? Неужели вы вчера родились? Ваши категорические приписки — просто оскорбительны. Неужели вы этого не понимаете? Впрочем, я знаю, что вы этого не понимаете. У вас плохое чутье прозы. А от ложного самолюбия, когда вас погладят против шерсти, вы можете такое наговорить... может быть, сами не понимая, что говорите. А я не люблю вашей непогрешимости. В вас, мой мужественный друг, есть что-то немужское. Непогрешим только папа и еврейские дамы. Я, например, не дама — и ошибок полна. Но сейчас я знаю, что я права. Кто вам может это объяснить? Если б вы жили здесь, я бы привезла к вам, скажем, Анну. Ее вы, кажется, уважаете. Может быть, вы даже изменили бы своим правилам, если б дело шло о ней. Я так думаю. Здесь есть изъян еще один — в отношении ко мне.

Это, кажется, все.

Н. М.

25.VII.[1939]. [Калинин].

Боренька!

24 я вам отправила первое вполне любовное письмо. Я даже не грызла вас ни по какому поводу. Как это случилось, я не понимаю. Просто чудо. Но письмо это опускала не я, а один человек, кот<орого> я попросила: я в густой работе и не могла ехать в город к почтовому ящику. Теперь я боюсь, что письмо по древнерусскому обычаю спит в его кармане, а вы, не получая ответа, вычеркнете меня из своего сердца. Имейте в виду, что в качестве углового жильца — я там желаю остаться и прямо скажу — люблю вас с прежней силой.

Н. М.

27.[VII.1939. Калинин].

Боренька! Начнем с самого главного: у меня с пальцев коркама слезает лак и позолота. Кожа на руках до того зашершавилась, что до нее нельзя дотронуться (почерк изменился потому, что я по целым дням рисую цветы на коробочках — так всегда бывает).

Пришлось смазать руки какой-то вонючей мазью, которая называется помадой. Если от нее будут пятна на бумаге — простите: это профессиональные ущербы.

Теперь о вашем письме. Оно довольно логичное. Вы совершенно правы, что я хочу с вами поссориться. Я совершенно остервенелая ведьма, и потребность в разрывах и ссорах у меня громадная. Разойдемся мы с вами окончательно в ближайшее время. Но я думаю, что это нужно сделать при личном свидании — так будет эффективнее. Зимой, когда начнутся бураны и самумы, я к вам приеду в гости. Умывальной чашки не привезу и приеду интеллигентно провести у вас свой отпуск. (Вы примите меры, чтобы к этому времени почистили соломенный домик: а то в прошлом году его почистили после моего отъезда). Вот тогда и произойдет окончательный разрыв.

Почему вы думаете, что я вас не люблю? Грубейшая ошибка.

И вторая ошибка, не менее грубая: зачем вы идеализируете наше печальное прошлое? Мы всегда жили, как кошка с собакой. При этом очень злая кошка с большой и совсем неласковой собакой. Если бы собака была поласковее, было бы лучше. Но ведь это факт. Прожили десять лет. И, честное слово, Оля здесь ни при чем. Каждый раз Оля выплывает, чтобы упрекнуть все женское сословие во всех грехах. Боренька, ведь Оля сестра и к тому же кроткая женщина. Разве я когда-нибудь говорила вам, что я кроткая? Разве я когда-нибудь говорила вам, что люблю вас всепрощающей любовью матери или сестры? Милый, при чем здесь Оля?

Что касается до ваших недостатков, то у вас их сколько угодно. В сочетании с моими они образуют совершенно восхитительную дисгармонию. Хорошо, что нет свидетелей. Пусть памятником этой дисгармонии останутся мои письма. Поссоримся зимой. Кстати, в ваши морозы хорошая ссора согревает кровь. Если бы вы знали, как я вас люблю и не люблю сразу! В одну эту минуту.

Про себя: я худа, как щепка. Мне уступают место в суровом калининском трамвае. Хожу купаться на Волгу (живу на берегу). Плаваю. Раньше боялась плавать далеко. Теперь потеряла страх. Ко мне приехала погостить мама. Она очень милая. Я редко видела такую старческую грацию, как у нее. Женя в Крыму. Прислал посылку перед отъездом. В ней были кофе и восточные сладости. Я их уже съела.

Борис Сергеевич! Простите за легкомысленное письмо. Настоящие дамы таких писем не пишут. Что мне сделать сейчас личное? Как закончить письмо, чтобы у вас не осталось ужасного осадка?

Я вас поцелую, мой милый нескладный друг, и лягу спать.

Надя.

Боренька, здесь, кажется, происходит какая-то путаница. Это вы путаете или я? Как вам кажется? Может, мы оба? А может, путаницы нет? Или что-то такое просто так... Я, наверное, утром пойму. А какая у кошки бывает шерсть? Вы любите про собак. Здесь живет собака Нелька. Большая черная. Я таких люблю. Чутьочку похожа на Николая Иван<овича>. Нелька всюду ходила за мной. Даже в город бежала за моим трамваем. Я ее не кормила. Она кого-то укусила, и ее посадили на цепь. Она теперь воет. Мне ее жаль. Я хочу спать.

Ко мне на днях приедет Наташа. Эмма — толстая дура, но я с ней опять в добрых отношениях. Она — лермонтовед.

9.[VIII].<39>. [Калинин].

Боренька миленький, какое славное боренькое письмо вы мне написали и как хорошо, что вы корыстны. А я-то думала, что вы альтруист, и, может, именно поэтому бесилась. Впрочем, это скорее от природы. Я, кажется, страшная ведьма. Особенно ясно я это поняла, когда прочла, что вы боялись вскрыть конверт с моим последним письмом. До чего нужно было вас довести — это раз. И, во-вторых — как вы держите такую кусачую суку?

Ведь я еще буду кусаться. Как отучить? Вы, собачий педагог, знаете, что, если сучка с норовом, так не отучить тьякать и кусаться. Но это до встречи. К сожалению, с глазу на глаз скандалы действительно на вас не действуют, и это лишает их половины прелести.

Заметили вы, что у меня изменился почерк? Это от количества рисунков. Comme une femme destinée pour l'amour, je dessine le<s> fleurs*. Так всегда бывает во французских романах четвертого сорта.

* Как женщина, предназначенная для любви, я рисую цветы (фр.). В рукописи ошибочно: femme.

На следующей странице изображен мой очередной орнамент. <Орнамент, вазочка с пометой:> 17 к. Нынче сделала 121 штуку по 17 к.; <рисунок с пометой:> 61 к. Вчера 65 по 61. Это крышка от пудреницы. Заработаю я все-таки чуть побольше 200. Кроме росписи, с этой дрянью еще масса возни.

Я перешла на высшую квалификацию: рисунок от руки — это вдвое быстрее, чем штампом.

Так как вы мне не платите ни 60, ни 17 — я все схалтурила и пропустила все детали. Скоро я помешаюсь на цветах. Меня все просят в мастерской рисовать «поближе к природе» — чтоб листочки были похожи на следы мокасинов либо на пальцы нерожденных младенцев, как на образцах.

Мне предложили произвести на свет образец расписной пуговицы (как доверяют моим талантам!), но я отказалась: воображения тратить не хочу. Хочу быть надомницей (не путать ни с домовым, ни с домушницей) по 17 к. за штуку... Вот мое кредо.

Ко мне приезжала Наташа, и она гостила у меня неделю — затем я поехала с ней в Москву. (Писала ли я вам, что у меня уже месяц гостит мама?) В Москве мы провели четыре дня. Жени нет — он в Крыму. Толстая Эмма (Н<иколай> И<ванович> называет ее: проклятая лермонтоведка) произвела на свет какую-то «вербицкую»³⁴ о Лермонтове. Но очень ловко. Все четыре дня мы пили белое вино — Семильон. Однажды я даже упиалась и отлеживалась у Жени на балконе. Зато сейчас с бешеной силой работаю, чтобы наверстать потерянные дни. Устаю страшно. Когда мне дадут отпуск, если я поступила на работу 23 мая? Я устала. Я никогда еще так много о себе не писала.

Боренька, я молчу по целым дням — это преимущество моей профессии, и маме не позволяю болтать.

Мне жалко вас, что у вас нет ни огурцов, ни малины, ни прочих летних радостей. Надеюсь, что у вас нет и цветов.

В Волге я не утону. Какая нахалка моя мама: ежедневно купается в Волге. Это в ее возрасте! У меня почти материнское отношение к ней, настолько она живее и веселее меня.

Как вы живете — помимо собак? Что читаете, что работаете? Жаль, что нельзя к вам приехать сейчас. Я очень хотела бы вас повидать (корыстно) — но увьи! — это случится обязательно, но не скоро.

Осенью ко мне придет Аня. У нее все по-прежнему. Ник<олай> Ив<анович> плачет без меня, но наверное не придет никогда: очень толст.

Боренька, я ни за что не хочу с вами ссориться — я вас так люблю.

Надя.

Знаете, я начинаю убеждаться, что мое единственное достоинство — непоследовательность. Правда?

Мы здесь так перемешались с дачниками, что сами себя чувствуем дачниками. Возле меня на веранде целый день: «Володя, скушай котлетку». (Я убедилась, что глагола «кушать» нет ни в одном лице). И: «Боря, Боря, Боря — Аю, сколько тебе лет. Боря... Любишь или нет?..» Я устала.

Собака Нелька воеет на цепи. Мама вылезла и спустила ее с цепи. Сейчас ночь. Ночи уже холодные. А вода в реке теплая. Письма <пишутся> ночью, днем надо рисовать.

Как зовут вашу реку?

<конец VIII.39>. [Калинин].

Уважаемый Борис Сергеевич!

Кроме моего уважения к вам, последняя новость абсолютный идиотизм.

Рисунок* сделан все-таки не мной, а моим хорошим знакомым мальчиком Алешей — двух лет и одного месяца от роду. Но я тоже так умею. Он отказывается идти к маме и бабушке и интересуется только моим листом. У меня какие-то дурацкие деловые планы о том, как разбогатеть и т. п. Сейчас я еду в город. Цветочки осточертели. Но это действительно подходящая работа. Только страшный запах лака, с которым не пускают в «жилицы».

Что значит, что «весной ничего не выйдет»? То ли, что вы неспособны ссориться весной, или вы надеетесь на смягчение моего характера, или, наконец, что весной вы меня к себе не пустите. Тогда я возьму отпуск в другое, более суровое время года.

* На листе — слева от текста письма — каракули.

Повидаться нам нужно. Я, например, не верю ни в какие отношения по переписке.

Алеша отобрал второй лист. Это нахал каких мало.

Пришлите стихи.

Пишите.

Лермонтоведка ушла в небытие, т.к. из-за дальности расстояния мы потеряли всякую связь. Мама на днях уезжает. Я буду к весне сестрой милосердия. Уж я помилосердствую над вами! Еду в город.

Алеша орет.

Целую Бореньку. Надя.

Писала ли я вам, что ездила с Наташей в Москву? Лучшее вино «Семильон» — белое, сухое.

Если вы пришлете птичье перышко — я вышлю свою игрушку — коробок для табаку или что-нибудь поскромнее.

Хочу к вам зимой. Если все провалится, приеду. Впрочем, лето у вас достаточно гнусное. Так что я разделю с вами безогуречье.

8.IX.[1939 г. Москва].

Боренька дорогой!

Эту очень грязную бумагу я нашла у Жени. Другой нет. Я сейчас в Москве. Отвезла маму, которая гостила у меня довольно долго. Еду обратно через 2—3 дня. За эти дни должно было прийти письмо от вас. Мне странно думать, что я буду одна, без мамы.

Сейчас я как-то стала нормальнее. Я не говорю, что я нормальная. Конечно, я и сейчас сумасшедшенькая. Но прошло то исступление, которое мной владело. Очень тихая. И знаете, милый, я очень вас сейчас вспомнила. Ко мне вернулась нежность к вам. Как будто снова вас почувствовала и обрела.

Это серьезно, Боренька, поэтому просто будьте довольны и не крутите ус.

Кот (Женин и Ленин сын) открыл мне тайну Жениной работоспособности. Это черный сибирский кот, необычайно крупный для своих шести месяцев. Он играет с ручкой, когда я пишу. Так как Женя по целым дням пишет, то очевидно он приучил свое дитя к этой игре.

Я всегда пишу глупости. Я, правда, о вас думаю. Ау! это я!

Наступает кризис моей калининской жизни. В основном — жилье. В клетушках, которые сдают по двести рублей, не позволяют пользоваться лаком — воняет. А лак — это основная часть моей работы. Очевидно, придется менять работу. Кроме того, все время перебои с сырьем в артели. И, наконец, как быть без мамы? Пока, ближайшие месяцы я сижу на месте. Потом боюсь, что перееду в еще более мелкое место на другую работу.

Я перечла письмо — и сама умилилась — каким я стала ангелом! Еще одно ласковое слово, а потом начну брыкаться. Сейчас мне больше, чем когда-либо, хочется быть с вами. Но нельзя... А теперь — брык, брык...

Женя спит. Вчера письмо было недописано: Ник<олай> Ив<анович> выкрикнул меня со двора, я сошла вниз и провела весь день с ним. А наутро дописываю. Завтра уезжаю к себе без мамы и без перспектив.

Решила: хлопочу о разрешении держать экзамен за сестринские курсы. Куда меня ни закинет — это пригодится. Кажется, это удастся.

До свиданья, Боренька, и будьте тоже со мной ласковым. Хорошо?

Целую вас.

Надя.

11.IX.<39>. [Калинин].

Дорогой Борис Сергеевич!

Я решительно отвечаю на письма сразу. Но письма мои вряд ли очень содержательны.

Я рада, что вам хорошо. Хотите, проезжая Москву, — это будет в январе — я зайду к Ар<иадне> Вал<ериановне>. Хотя немного боюсь приема типа Евг<ения> Серг<еевича>. Но надеюсь, что этого не будет.

Я буду в Москве проездом: поеду к Наташе на несколько дней.

К вам я постараюсь приехать летом. Я буду свободна — в июне, июле или августе (на 6 недель).

Меня очень нервирует моя новая работа. Она настолько напряженная, что каким-то образом определяет жизнь — и я потеряла свое основное — одиночество. Мне трудно думать о встрече с вами: я очень изменилась. Не внешне. Внешне я, пожалуй, только еще похудела. Но вообще я совершенно другая. Той, которая дружила с вами — больше нет. Перемена коренная, и я ее очень чувствую. Я не знаю, которая — «я» — по всей вероятности прежняя. Все по-другому. Не знаю, нужна ли нам будет встреча. Со стороны сказать трудно. Посмотрим, если вы приедете или я смогу приехать. Я как будто чувствовала эту перемену, когда говорила год назад о последней встрече. Мне странно, что это я. Мне странно, что так бывает. Это последние месяцы. Может, это работа (вряд ли). Может, это сон. Не знаю.

Надя.

17.IX.<39>. [Калинин].

Боренька!

Вы едва успели получить мое прошлое письмо и, почуяв любовные звуки, как старый конь разразились онегинской отповедью — а тут второе послание...

То письмо из Москвы было сверхурочным — по случаю мировой войны.

Это же, очевидно, ответ на ваше.

На самом же деле вы обязаны такой удачей — просто клопам.

Я переехала в зимнюю комнату. Случилось это нынче в 6 часов. Мой адрес — та же — Старая Констант<иновка>, № 90.

Это клетка за перегородкой.

Перегородка — проклятая. Мальчик Алеша, который однажды испачкал мое письмо к вам, орет за перегородкой. Это очень милое дитя — не то Чаплин, не то коробка Нестле. Что-то в типе вашего Сережи. Но детям необходимы детские комнаты во флигеле. Если б вы знали, как он орет. К несчастью, у него есть старший брат, которому бабушка весь вечер читает рассказы про животных. Еще раз благословляю судьбу, что не завела себе пащенка. Но зачем я страдаю без вины? Понимаете вы это или нет?

Что же касается до клопов, то я вкладываю два-три показательных экземпляра к вам в конверт. О сне не может быть и речи. А когда не спишь, невольно вспоминаешь о светлых ангелах. Вот почему я пишу вам.

Кстати, взяла в библиотеке «Many Inventions» Kipling'a*, и этот Rudyard окончательно испортил мне настроение.

Недавно Ник<олай> Ив<анович> говорил, что во всяком круге есть свой великий писатель, а самые гладкие «научные работники» почитают Гейне, Киплинга и Франса. Я невольно покраснела от этой триады.

Все очень плохо. Игрушки трещат. За моей перегородкой нельзя вонять лаком. Ищу профессию.

С сестринством не вышло. Выйдет только, если будет необходимость в краткосрочных курсах. Тогда буду подлежать мобилизации (и пойду). А сейчас двухлетние курсы, и нужно изучить миллион наук, чтобы ставить больным клизмы.

Как вы думаете, увидимся мы когда-нибудь?

Я что-то не верю в встречу.

Отчасти поэтому настроена лирически.

Кстати, Боренька, как я ненавижу вашу сентиментальную брехню. Откуда вы знаете, чему бы радовался Ося, и почему он — «бедный». Я знаю наверное, что Ося хотел бы, чтобы я умерла. Больше ничего не знаю.

А как могу я радоваться, что вы женаты на неизвестной мне даме?

Я вообще рада, что вас не бросили ваши друзья, что вы не одиноки.

Вспомните, как я вас спросила, хотели ли б вы, чтоб я вышла замуж за Ник<олая> Ив<ановича>. Вы нафыркали мне в нос и сказали, что вам на это наплевать. Вполне естественно, хотя в данном случае был бы плюс: вы бы знали, что я кормлена, и обута, и под крышей.

Впрочем, если вы очень хотите, чтобы я радовалась — это можно. Я радуюсь.

Эх, эх, старый вы крокодил!

Впрочем, я вас обожаю.

Единственное, что жаль: в наказание за все ваши грехи вас следовало женить на Эммке. Она — сука.

* «Многие помыслы» Д. Р. Киплинга. Далее — имя Киплинга — Реднард.

Еще три клопа.
Хотите яблочко? У меня много.
Зато больше ничего нет.
Были игрушки.
Есть соседи.
Ненавижу фикции, крокодилов и клопов.
Люблю Бореньку.

Остаюсь
Уважающая вас
Надька.

Я сказала Вите, что он Макобер³⁵. Он возразил: «У меня есть постоянный заработок». Я ответила — «Макобер в Австралии». Это было очень мило. Читайте Давида Копперфильда.

20.IX.<39?>. [Калинин].

Дорогой Бор<ис> Серг<еевич>.
Очень спешу — поэтому пишу только неск<олько> слов.
Жизнь у меня вполне сносная. Вряд ли я бы стала веселее, если бы она была лучше.
Очень рада, что вам хорошо.
У меня нет никаких событий, поэтому писать трудно. Не о чем.
Может быть, я уеду из Кал<инина> (к новому году).
Пока — здесь буду.

Не собираетесь ли вы на север? Пора и вам приехать в Москву.

Я думаю, я хорошо сделала, что не приехала к вам. Я думаю, вы теперь понимаете, что это было бы при шортандинских условиях очень неудобно.

Очень устаю и, кажется, очень сильно изменилась. Мама давно в Москве. С обменом не везет. Это единственное, что меня сейчас связывает.

Н. М.

По-прежнему — если удастся, приеду к вам весной. Только оч<ень> трудно. Хотя матер<иально>, наверное, можно будет. Я все-таки надеюсь, что вы первый приедете сюда.

30.XI.[1939]. [Калинин].

Боренька, я так давно о вас не думала, что даже соскучилась. Давно не имела от вас писем. Не знаю — почему: то ли вы не писали, либо письмо лежит в Старой Константиновке, и его, несмотря на мою просьбу, не пересылают. Оба варианта возможны. Поехать за письмом не могу — нет времени. Конст<антиновка> ведь за городом — часа два езды в один конец (трамвай, кот<орый> ходит раз в час). Я же занята с 2 до 8 ежедневно.

Сейчас я живу с мамой. У нас небольшая квартирка. 2 комнаты с кухней. Удобства приблизительно те же, что у вас. Я подарила маме великолепный горшок, и она была очень рада.

Я стала очень дикая. Во-первых, я до того высохла, что, по-моему, в моем организме нет ни одной капли влаги. Отдаленно это напоминает сушеную воблу, только вобла жирная, а я нет.

Кроме того, поскольку моя новая профессия предполагает шестичасовой разговор, я сорвала голос и теперь окончательно молчу (вобла тоже молчит).

Мне кажется, что все это сон. Только мама реальность. Она бегаёт по комнате, топочет, болтает. У нее масса практических идей, и она пытается внушить их и мне и заразить меня домостроительством. Из этого ничего однако не выходит.

Знаете, Боря, если это и есть непробудный сон, я хотела бы подобрать более подходящие сновидения.

Ваши — степные — более похожи на действительность.

Говорить я разучилась, видимо, окончательно.

Что у вас? Вы теперь один. Худо это, наверное, после вашего летнего пира. Я же одиночества не чувствую, вернее — оно не тяготит. Это для меня хорошее состояние.

В январе буду в Москве. Сама не знаю, почему. Я совсем не хочу. Обещала съездить к Наташе, но не могу — не хватит времени.

Летом, когда я буду свободна, у вас, наверное, будет полно гостей, и я к вам тоже не приеду: дикая...

На днях Анна была в Москве, а ко мне не заехала. Меня это ужасно обидело. Я как-то даже символизировала: прошлое отпало все целиком.

Листочек кончился.
Покойной ночи.

Надя.

Школьный пер., № 23, кв. 10.

18.XII.[1939]. [Калинин].

Меня очень беспокоит, что с вами, здоровы ли вы, почему нет ответа на мое письмо.

Надя.

Мой адрес:
Школьный пер., № 23, кв. 10.

27.XII.[1939]. [Калинин].

Дорогой Боренька!

У вас появилась отвратительная привычка: отвечать мне когда попало. А я в промежутке, хотя и не особенно беспокоюсь, но все же думаю, что с вами что-то приключилось. Может, волк съел. Холодная у вас зима? Ходят волки под домом?

Мой привет Тае и Нельке. Нелька, конечно, препротивная сука. Это факт. Но я тоже начинаю подумывать о собаке. У меня не было ровно 20 лет.

У Жени — кот. Этого я не понимаю. Уж лучше Мотька. Мотька мне напоминает (по воспоминаниям) Эммину собачку той же гнусной породы, что и Мотька (только без полосы на спине, которая меня отчасти примирила с этим неказистым животным). Но Эммина собачка любила только с кошками. Это была ее отличительная черта, и в этом было что-то гюисмансовское³⁶. Сейчас Эмма мне пишет отчаянные бабьи письма. У нее очередная неудача. В мое отсутствие она вздумала соблазнить Н<иколая> И<вановича>, но у нее ничего не выходит. Я приеду — постараюсь ей помочь. Может, он согласится.

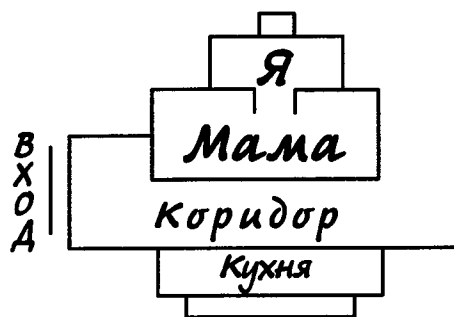
В квартире холодно. Дом деревянный. К утру все выдувает. Масса денег уходит на дрова. На работе устаю. У меня 10 классов (8-ые и 9-ые). Все большие. Всего 350 человек. Это нелегко. Особенно без всякого опыта. Зато у меня завелись чернила и, как видите, — профессионально-красные. Тетрадами я завалена.

Маму я решаюсь оставить дней на пять. Поеду в Москву. Зачем — не знаю. По привычке. Она не умеет топить печь. В сущности оставлять ее нельзя. Если поеду, обязательно позвоню Ар<иадне> Вал<ериановне>.

Итак, я вам сообщила, что у меня за новая работа (уже 3 месяца). Это опять сон. Отпуск 2 месяца (июль, август). Если маму можно будет оставить, приеду недели на 2 к вам.

Целую

Надя.



1940 год

14.1.40. [Калинин].

Боренька, родной, спасибо за хорошее письмо. Знаете, за последнее время я как-то потеряла чувство близости с вами. Очевидно, потому, что жизнь удивительно непохожая на ту, которая нас связала. Но сейчас, после этого письма, как-то сразу все вернулось: вернулся родной, милый длинноногий человек, который где-то там сидит в соломенном доме, засыпанном снегом, с книгами, собаками и жуками. Этого Бориса я крепко, крепко целую. Через все снега и версты я говорю ему: здравствуй.

Я, Борис, живу тихо. Мама возится и много говорит. Я много работаю: все — утром — топка печи, готовка обеда, базар. С 2 до 8 школа (когда нет заседаний). Много возни. Хорошо, что я не сплю по ночам: все-таки бываю сама с собой. Уроков у меня ежедневно 6. Один за другим 6 классов — восьмых, и 4 — девятых. В одной школе. Предмет — немецкий язык. Работаю, кажется, хорошо. Вечером — тетради, уроки. Учителя тоже готовят уроки, и это занимает очень много времени.

Сейчас ко мне должны приехать по очереди Женя, Шура и Эмма. Может, Ник<олай> Ив<анович>. Мама сердится, что придет Эмма. Она прочла письмо о том, как Эмма неудачно соблазнила моего толстого приятеля, и называет ее теперь не иначе, как «блудница», делая почему-то ударение на «у». Бедная королева — Эмма! Если бы она знала, что попала в такой почетный и недостижимый для нее разряд!

Забыла: мне не удалось поехать в Москву, поэтому я не увидалась с Ар<иадной> Вал<ериановной>. Были каникулы, но, оказывается, они не для учителей, а только для школьников. Мы все были на учете. Я, например, экзаменовала экстернатчиков.

Это по большей части очень хорошие ученики, которые знают даже такой любимый предмет, как немецкий.

Кроме того, я была направлена на курсы Г. С. О. (санитарная оборона). Курсы не состоялись. Но каждый день я могла ждать профсоюзного вызова. Так прошли каникулы. Так и не удалось съездить. Если весной мне удастся поехать — обязательно позвоню и зайду и сразу вам напишу.

Письмо ваше шло 11 дней. Я представляю себе ваши морозы. Хотя бывает и наоборот: у нас холодно, у вас полегче. У нас темп <ература> доходила до 40. Мама вообразила, что это свойственно Калинину, и очень плакала, что уехала из теплой Москвы.

О собаках: я дружила с собакой Нелькой и невольно, передавая привет Мотьке, нечаянно подставила заветное имя Нельки. Я думаю о собаке. Главное, мама, тоже нежно дружившая с Нелькой, хочет собаку. С Жениным котом вы правы. Это признак не любви к животным.

О моем же отношении к собакам вы не знаете (я чувствую скепсис, основанный на моем равнодушии к Нельке). Я прекрасная собачья мать. И мне приходилось это доказывать в жизни. Но вы знаете, как я делю людей на «своих», для которых я друг — и которых обожаю, и на «чужих» (либо хамлю, либо очень скучная вежливость). Так и с собаками. Абсолютно точный тип собаки, которую я способна полюбить. Кроме того, она должна быть «моя», т. е. у меня должны быть с ней единственные и неповторимые отношения. Как с людьми. Я не могу сказать, что я вообще люблю людей, так же с собаками.

Вот есть две-три собаки в Москве — и одна здесь, приплод которых мне может стать близок. Так что летом, наверное, и собакою.

У нас с мамой две комнаты и кухня. Дом деревянный. Я люблю деревянные дома. Общий вид хороший. Но довольно беспорядочно. Мама не может уже ничего, а я не успеваю. Тепло. Дров купила порядочно. Хватит до половины марта. Еще подкуплю. Темноватое электричество. Я учусь. Почти не читаю — и то больше английские и немецкие романы. С английским произношением я сильно подтянула. Могла бы преподавать английский (прошла экспертизу), но не взяла. Младшие классы очень тяжело. Предпочла старшие — немецкие.

До свидания, милый.

Ваша Надя.

Ваше письмо шло 11 дней.

Я много раз просила Женю прислать конверты. Не вышло, не хочу ждать, пока добуду конверт.

В последнюю зиму в Воронеже мы часто говорили, что это и есть счастье — последнее, которое бывает перед концом. Ося говорил, что он должен был дожить до этой зимы, несмотря ни на что, чтобы сделать свое жизненное дело. Что он «торопится» (очень много писал) — потому что может не успеть.

Борис, я начинаю забывать стихи. Последние дни я их как раз вспоминала. Очень мучительно. А некоторых я не могу вспомнить. И счет не сходится — нескольких просто не хватает — выпали.

Утро 15/1. За эту ночь все вспомнила, кроме 2 первых строчек маленького Рембрандта³⁷. Не могу...

1.III.<40>. [Калинин].

Милый Борис Сергеевич!

Я очень давно вам не писала. Ваше последнее письмо пришло, когда я болела. Грипп. Вернее, гриппозное воспаление легких. Я довольно долго лежала. И еще дольше не говорила. Последствие гриппа: я потеряла голос на несколько недель. Это было неплохо. Домашний быт приобрел приятность, т.к. вместо крикливых звуков — одни жесты.

Сейчас я здорова. Ем мед. Но привычка молчать сохранилась. Говорить трудно и, может, поэтому трудно писать.

Что у вас? Тяжелая зима, кажется, кончается. Летом все легче.

Зимы было слишком много, и мне иногда кажется, что всего было слишком много. К этому множеству очень тяжело добавлять чайными ложками. Каждая ложечка весит пуд, такая она медленная.

Без людей я обхожусь легко. Здесь бегают мама. И я этому рада. Она такая милая птица. Такую маму мне и надо.

Приезжал Женя, когда я болела.

Без людей хорошо. А вот без спичек очень трудно. Я люблю топить печь (дровами). Когда топлю, все забываю. Вы лишены этого удовольствия. Боюсь ветров. Город прорезан тремя реками: Волгой, Тьмакой* и Твердой. Одно название лучше другого.

* Вероятно, разговорный вариант названия р. Тьмы, левого притока Волги.

Много мостов. Ветер почти сшибает с ног, когда я мостами иду в школу.

Мне часто снился страшный сон; я раздетая попадаю в школу и у доски должна что-то объяснять. Не знаю — что. Давно, верно, не была. И сейчас заметят, что на мне одна сорочка.

Еще я помню, как я ненавидела школу в старших классах. Рвалась на волю.

Этот сон перестал сниться. Теперь снится другое. И сон реальнее жизни.

Что вам снится? Пришлите мне птичье крыло и волчью шкуру. Дедушка умел выделывать из зайца лису. Я вешу 50 кило — т. е. я дошла до нормы последних лет.

Надя.

Мы, наверное, никогда не увидимся. Но мы уже много виделись и говорили друг другу.

7.III.<40>. [Калинин].

Боренька, мой милый! Вчера получила ваше письмо, и мне стало очень стыдно, что я столько не писала. Но 1-го я уже сообщила вам, как это произошло. Мое письмо вы уже, конечно, получили и знаете, что я была безголосая. Единственное преимущество этой болезни, что я довольно долго просидела дома и в общем лучше выгляжу.

Сейчас вернулась домой. Была злая. Вытопила печку, смягчилась. Жизнь кажется лучше, когда топится печка. Приезжали Шура с Лелей на два дня. Может, Леля с Шуриком приедут на лето. Я этого страшно хочу. Шурка очень хорош, а, главное, родные. Привезли громадную посылку. Особенно были трогательны подарки Василисы — жены Виктора Борисовича. В ящичке лежало: чулки первого разряда, тетради, резинки для штанишек, которых нет в природе, чай, хорошее мыло и громадная коробка шоколада. Сейчас съедаю последнюю шоколадину. Эта посылка (забыла: еще непонятный крем для обогащения кожи. Что с ним делать?) (шоколадина с кофейной начинкой) очень похожа на Василису. С одной стороны, детальность и мелочность ее заботы: знает, чего нет и что нужно искать. И с

другой стороны: баловство — шоколад и чулки, которых я себе никогда не куплю. Я была очень тронута.

А Женя на высоте. Тоже очень заботлив и хорош.

Это совпало с моим сравнительным благополучием. А по ночам, Боренька, сны пошли одни: куда-то переезжаю, на новую квартиру наверное, и созываю, собираю к себе умерших — Аню, Осю, папу, брата Шуру. И дикая тоска утром. Где они?

Боря, я никогда острее не чувствовала себя с Осей, чем в этих снах. Что мне делать со снами и с дикой утренней тоской?

Мне жалко вас, милый, что к вам никто, может, не приедет летом. Почему? Как вы живете в этом году? Жизнь, наверное, суровая. Напишите о себе побольше.

Иногда я думаю о том, как сложилась бы жизнь, если б я поселилась в Шортандах. Мне кажется, хорошо, что этого не случилось. Никто никого заменить не может. Ни я вам ваших близких, ни вы мне. При моей малой жизнеспособности и неохоте жить, я, пожалуй, бы скорее могла успокоиться в вашей степи. Самое ведь трудное — общение с людьми. А с вами одним — ничего; легче, чем со всеми другими. Но вам-то это совсем не нужно было. Именно тогда бы вы поняли, что одному — лучше. Что-то меня все время останавливало, когда я собиралась к вам. Думаю, это сознание. Ведь вы живой, а я мертвая. И близость невольная в полной глуши с мертвой — тяжелее полного одиночества. Вы сейчас поняли, что хочется только спать, а как я это хорошо знаю. Может, хорошо, что мы не увидимся. Хотя мне и жаль несостоявшейся встречи. Я все думаю, что летом я к вам приеду. Попробую, если будет малейшая возможность. Отпуск будет длинный. Ведь приехать летом в отпуск из налаженной жизни совсем не то, что из полной пустоты, как я думала ехать год назад.

Но удастся ли? Не знаю. И будут ли силы просто сесть в поезд и поехать — т. е. совершить какой-то поступок — я тоже не знаю.

Боренька, как же будет дальше? Увидимся ли мы когда-нибудь? Когда? Как все странно.

Я вас люблю, милый, и иногда очень чувствую. Только мне кажется, что от долгой жизни — вашей в Шортандах, моей в Калининне — мы стали другими и не узнаем друг друга. Я рада, что с вами живут мои книги. От прежнего только эта горсточка и осталась, и она у вас. Еще я хотела бы, чтобы что-нибудь от меня самой осталось у вас. Только нечего.

Боренька, от меня самой я вас целую, если только дотянусь до вас. От меня самой, когда вечером поплачу, вспомню вас.

Только одно неверно: если со мной что-нибудь случится — вас, я думаю, известит Женя. Я хотела бы тоже быть спокойной, что меня не оставят без известий о вас.

А пока живите. В Шортандах хорошо. Мне жаль, что я не в Шортандах. Я бы ходила на кухню обедать. А по утрам вы бы сердились, что я поздно встаю. Я всегда поздно вставала. И что валяюсь на кровати. Помните, какая я противная? И съедала бы все сладкое, которого вам, наверное, больше не присылают.

А может, вы тоже мне родной и нам было бы лучше, если бы мы жили не за миллион километров друг от друга? А может, хорошо, что я стала учительницей и хожу в школу? А может, в самом деле надо вас поцеловать на ночь и заснуть? Надя.

Как я устала! Ходят ли в Шортандах волки? Где белая сова?

Сегодня в школу пришла бумага из Киевского архива, что девочка Надя Хазина кончила в Киеве школу, т. е. гимназию. У меня есть странная черта: у меня нет связи с теми другими, которыми я была. С этой девочкой, например, хотя я ее помню. Девочка была противная. Мне иногда кажется, что я поверю, что я учительница и оседлая жительница гор<ода> Калинина. Что так же, как с прежними Надями, я потеряю связь с недавней — и сейчас для меня реальной — Осиной женой, вашей подругой. Этого еще не случилось. Но, наверно, так и будет. Новая будет очень грустной, но совсем другой. Новая никогда не приедет в Шортанды.

25.III.[1940]. [Калинин].

Боренька, ваше письмо получила. Сейчас каникулы, и чуточку легче. Я как будто прихожу в себя. Я люблю вас за то, что вы сердитесь. Вы правы, что я люблю мириться. Я знаю, что я гадкая, т. е. вздорная.

Но, милый, на этот раз я не хотела ссориться. Не знаю, почему так вышло. Просто я глупая и плохой стилист. Я только хотела вам объяснить, какая на меня навалилась жизнь — бесконечно непонятная и чужая. Если я к ней привыкну, я стану камнем,

глиной, черт знает чем, только не той добродушной Надькой, которую вы знали. Вот эту непохожесть и нереальность настоящего я и хотела вам передать. Весь день — сон. А реальность — настоящее — ночью. Это не тонкая психология, а самый грубый факт. Что мне с этим делать, я не знаю. И плохо, что никто почти ко мне не приезжает. Когда на день приехали Шура с Лелей, я вдруг вспомнила, кто я. Раз был Женя — в начале моей болезни. Он довольно исправно за мной ухаживал, но все бегал за покупками. Все друзья рвутся ко мне, но по близости расстояния приехать не могут. Из них первая — толстая дура Эммка. Раз дошло до Эмки, то я временно сменю серьезное комическим и расскажу вам про ее очередные неудачи. Ее приключения все-таки всегда меня развлекали. Так вот: она вбила себе в голову, что ей пора замуж. Жертвой был выбран Николай Иванович. План действий: соблазнить, очаровать хозяйственностью и женить. Борьба, и отчаянная, продолжается уже год. В последний раз в Москве я застала такую фазу: они были в ссоре — ей пришлось во всем повиниться мне, и я чуть ли не на коленях умолила его мириться. Этот старый черный жук оказался более смысленным, чем я думала, Эмина игра его занимала не меньше, чем меня. Я думаю, ее шансы — нуль. Последнее, что я знаю. Он болел зимой. Она ухаживала за ним, как ангел, даже переселилась к нему на несколько дней, писала отчаянные письма (мне) — и потом очутилась опять у себя. Вот она и рвется теперь ко мне: она все надеется, что я могу его уговорить. Но он, злодей, смешлив и весел. Боюсь, что ничего не выйдет. А по существу говоря, было бы прекрасно, если бы что-нибудь вышло: были бы пристроены два очень несчастных и одиноких человека. Вот мой дурацкий рассказ. А про проклятую Эмку — она ведь Тартарен³⁸ с набрюшником и никогда, проклятая, не выберется в мою Африку.

А теперь о себе. Дни проходят так. Я встаю, проверяю тетради, готовлю уроки. В полпервого ухожу в школу, где даю подряд 7 уроков. Иногда уроки проходят спокойно — т. е. весь класс работает, никто не списывает, никто не читает посторонних книг. Иногда урок срывается, т. е. мне мешают сообщить нужный материал какими-нибудь дурацкими выходками. Тогда я сообщаю завучу о срыве дисциплины, и в течение по крайней мере шестидневки в классе образцовый порядок, какого я никогда не видела в той школе, где я сама училась. У меня 4 — девярых и 6 — восьмых

классов в одной школе. 9-ые довольно хорошо понимают то, что читают, и делают сложные упражнения. Ко мне полностью вернулся немецкий, на какое-то время почти забытый. Но есть вещи, с которыми я никогда не сталкивалась и от которых у меня кружится голова. Например, самый сложный Passiv, который встречается почти исключительно в технической литературе (ich bin von dir gefragt worden)*. Но мои ученики, которым все равно, что aktiv, что passiv, великолепно манипулируют с ним на доске. Я горжусь и втайне им удивляюсь. Это — девятое. Восьмые не знают ничего — даже папы и мамы. Всего их около 400 человек. Я знаю всех — вместе с именем, особенностями и характером. Во время уроков — все время страшное напряжение (у всех, не только у меня — это не от непривычки). К 9 возвращаюсь домой совершенно разбитая. Обедаю. Читаю какую-нибудь дрянь. Потом очень долго не сплю — и это моя жизнь. Я очень полюбила бессонницу — мои часы. А во сне иногда возвращается школа. Она даже ворвалась в письмо к вам. Я этого не хотела. Еще заседания — и их много. А урок должен идти с точностью хронометра — тогда он активен. Я, кажется, неплохо работаю. Это труднее, чем Яхонтову.

О Фете. Я рада, что вы его полюбили. Я не знаю — что в нем шекспировское. Я этого не чувствую. Очевидно, я знаю другого Шекспира. Но у меня есть детское воспоминание с Фетом — Шекспиром. Я сказала папе, что хочу учиться по-английски. Он удивился: я никогда ничего не хотела. Спросил — как я решила. Я ответила — чтобы прочесть про иву³⁹. Это, кажется, самое человеческое воспоминание из моего детства. Ведь девочки тупицы. Самочки паршивые. Про иву я прочла. И я очень обижалась, когда вы крыли Фета Тютчевым. Они не мешают друг другу жить — и оба чудо. И правда — полярны. А про розы завон⁴⁰ вы читаете? Я только очень не люблю, когда у Фета про музыку. А знаете вы, что Фет по крови — еврей? Это очень странно. Но очень понятно. И неевропейское в нем страшно сильно, точно так, как невысказано в Тютчеве. Я узнала об этом недавно от Тынянова.

Я хочу приехать к Тапу. Это очень трудно. Но не знаю, смогу ли я полюбить чужую собаку. Я хочу, чтобы собака была моя. Это чувство собственности на собак у меня болезненное. Но, Боренька, это только на собак. Я всегда хотела иметь Тапа, но

Ося не позволял. И я ожесточилась. Боренька, любите меня. Я очень хорошая, но совсем дикая.

Надя.

Как я рада, что вы наплевали на Бальзака. Я не переносу. И Ося не любил. Как Аннушка — не выяснено. Плюет, но вежливо.

Вы не любите птиц, а голуби — чудо красоты. Здесь все мальчишки с голубями. Против меня — белые с черным крылом. Самое лучшее, что у меня сейчас в жизни — это чужая голубятня. На голубей у меня нет чувства собственности. Я умею смотреть и на чужих, а гонять — не гоняла.

Знаете, Боренька, я никогда не боялась смерти — ни для себя, ни для Оси. Я почти завидовала, когда слышала, что кто-нибудь умер от тифа или от воспаления легких. Такой ужас: такой молодой! Это дикое чувство, но оно было всегда. С первых дней. Видно, я знала, что это не суждено.

12.IV.[1940]. [Калинин].

Боренька, я начала писать и порвала письмо. Я в очень плохом виде. Я писала о себе. И вышло так гадко, что нельзя было послать.

Я пишу с опозданием на день. Тоже из-за гостей. На день приезжал Женя. Сейчас уехал. Я шла по улице и плакала. Какие-то мальчишки надо мной смеялись.

Меня только держит мама. Милый, я совсем над собой не хозяйин. Я лучше держалась, пока не работала. Утром я совершенно себе не представляю, как проживу день. Он мне кажется вечностью. Это не фразы. А это то, что каждое утро бывает со мной. Я опять о себе. Но этого письма уж не порву.

Мне написала Василиса, что рада: я, мол, хоть боком зацепилась за жизнь. И нарисовала рыбу на крючке. Я пририсовала рыбе усы.

Люблю голубей. Вечером они спят. Хотела показать их Жене. Но их не было. Боренька, плюньте в глаза тому, кто вам скажет, что время исцеляет раны, или какую-нибудь такую пропись. Как раз наоборот. В момент несчастья — полусознание. То, что порождает бабий вой за гробом мужа. Бред, как в тифу. Потом

* Букв.: Я была тобою спрошена (нем.).

сознание возвращается, и с каждым днем тяжелей. Я не хочу о себе. И все о себе. Лучше о городе. Я люблю провинцию. Здесь работает фотограф — настоящий, балаганный. У него все виды костюмов для любителей. Сегодня один смущенный человек снимался при нас в полном матросском облачении. А море на фоне шумело, и лужи настоящие были весенние. Лужи невероятных размеров. Я уговаривала Женю сняться на коне или в автомобиле, который проезжает Дарьял. Но он постеснялся. Потом мы купили пол-литра молока и пошли домой печь торт. Он вышел удачный.

А лужи вот какие. По выходным я хожу в баню. Только нынче не пошла из-за Жени. В прошлый была громадная очередь. Только в мужском отделении пустовали номера, и туда пускали женщин. Я налила ванну, когда со всех сторон раздались крики — мужские и женские: остановилась горячая вода, и женщины и мужчины из душевых комнат требовали примусов, чайников, самоваров. Они не получили ничего, хотя они утверждали, что они живые люди. Так в мыле и ушли домой. Это так и говорят: лошадь в мыле... Я тоже. Но через десять шагов я, переходя дорогу, провалилась почти по колено в воду. Это весной течет город. На днях будет ледоход. А у вас еще, наверное, почти зима.

У мамы в матраце завелись клопы. Она это отрицает и не дает выводить. Я всегда завидовала людям, которые умирают от воспаления легких и тифа. От своей лужи я не получила даже насморка.

Это Надя, а не Надежда.

Боря, я очень долго не умела просто обнять; т. е. обе руки вокруг шеи и поцеловать. Потом научилась, но очень поздно. Если бы я сейчас от вас уезжала или приезжала, я бы обняла и поцеловала. Но я очень далеко. И вообще не обязательно. А просто хочется плакать. Как это делают?

Эмму нужно сосватать. Но вы не беспокойтесь. Н<иколай> И<ванович> тверд, как камень. Она прислала отчаянное письмо: они в ссоре, и она умоляет приехать. Надеется, видно, только на меня. Надежда плохая. Почему меня назвали Надеждой? Какое глупое имя.

Розовые конверты мне прислал Шура.

Вы зачеркнули какое-то слово в письме. Я его долго разбираю (сейчас) и не разобрала. Почему всегда так хочется прочесть зачеркнутое? Ведь это, т<ак> ск<азать>, стилистическая прав-

ка. Какая чепуха. Я очень, очень слабый и глупый бабец. Дура, глаза на мокром месте.

Передайте от меня привет Ар<иадне> В<алериановне>.

Боренька, а волки у вас были? И сова — круглоглазая?

Я почему-то вспомнила, что вы выбросили бутылку вина и не положили мое платье в чемодан. Я настаивала, пот<ому> что чувствовала, что вам неприятно. Я знала, почему вы не кладете платье: потому что в нем лежало раньше платье или что-ниб<удь> вашей Маруси. Мы были еще счастливые, но уже знали, что подходит конец. Ведь ждать смерти тяжелее всего.

14.IV.[1940]. [Калинин].

Пишу только, чтобы вы не беспокоились. Мне трудно писать. Хворает мама. Напишите.

Я напишу, когда будет свободнее.

Надя.

<1940?>. [Калинин].

Боренька!

Мама болела гриппом. В ее возрасте это очень опасно. Я измаялась. Сейчас она здорова. Тёпается по комнате, шуршит, шебуршит, ворчит.

А я в поганом виде. Мрачна, как чёрт. Диковата.

Вы все спрашиваете, что у меня с работой. С этого года учителя старших классов далеко не дефицитны. Во-первых, старших классов меньше, во-вторых, много молодых кадров. В этом году в школу (во всяком случае не на окраине) я бы не попала, а в будущем вряд ли удержусь. Кроме того, масса дополнительных вещей — экзаменов и пр.

Я пишу вам пока не письмо, а весточку. Чтобы просто знали, что со мной. Эти дни я работала до головокружения. (Я ведь в 4-х местах, из которых со вчерашнего дня — 3; 2 школы и игрушки). Кроме того, пачками шли заседания и груды игрушек. Сейчас иду

в школу. Напишу в майские дни. Милый, а вы отвечайте. Очень грустно. А ваши письма я люблю.

Нынче должен был приехать Женя. Но не может: у Лены умирает мать* — рак. Медленная и страшная смерть. Я знаю по Ане.

Боря, пишите.

Надя.

30.IV.[1940]. [Калинин].

Дорогой Борис Сергеевич!

Уж два часа ночи. Очень тихо. Завтра — буду поздно спать. Могу написать.

У Лены умерла мать. Мне очень больно за нее. Рак. Как Аня.

Меня выбрали в стенную газету. Я очень четко объяснила, что я не хочу ничего писать. Меня оставят, наверное, в покое. Очень волнуют газеты. Рисую шкатулку. Выходит очень хороша. Жалею, что не могу ее подарить вам.

Мама оправилась от гриппа. Я очень волновалась, хотя температура была невысокая, но очень долго держалась. От вас давно нет писем, а я по ним скучаю. Я тоже жила с Гете. Это было в Воронеже. И тоже никогда не жила с Толстым. А есть ли у вас Гоголь?

Ник<олай> Ив<анович> меня научил Хлебникову. Ося не мог, хотя хотел. А проза — к Гоголю. У меня здесь нет. Если сохранился в Москве, я вам pošлю.

Как вы думаете — надо спать?

Я последнее время опять не сплю.

Об А<нна> А<ндреевна>. Мне кажется, вы не правы. Если она и выступит (если это все правда), то потому, что ей кажется, что Леве будет легче⁴¹. То же, по-моему, и с книгой. Впрочем, я ее не видела с тех пор. Но я уверена, что это так. Это ее способ ощущать все (не мой).

Надо спать. Покойной ночи. Идите в свою комнату, а я тут одна засну.

Надя.

* Мелита Абрамовна <Фрадкина>.

5.V.[40]. [Калинин].

Боренька милый!

Такое дикое состояние, что и писать не могу. У меня сейчас — вторая годовщина. Пошел третий год⁴². А внешне все в порядке: живу, работаю.

Уговаривать жить не стоит: человек сам знает, что делает. Пока мама жива, во всяком случае у меня исхода нет.

Скоро иду в отпуск. Наверное, к 20 июня, если до этого не погонят к чёрту. Работать очень трудно.

Мне жалко вас, что вы бедный. К психологии нищеты привыкнуть нельзя. С ней надо родиться. Сейчас я не нищенка, а просто женщина с недостаточным доходом. Для меня это тяжелее.

Хорошо, что у вас есть харчи.

В июне—июле, наверное, буду в Москве. Зайти к Ар<иадне> Вал<ериановне>?

Напишите мне много и хорошо.

Боренька — куда меня уж заново называть!!

Меня всю жизнь огорчала глупая значительность моего имени. Говорят, что я приносила удачу. Кто этому теперь поверит? Но я ведь никогда не печатала в «Известиях», что меняю имя Надежда — на Фиалка или Гиацинта. Не правда ли?

Надя.

Об удаче. Последний, кто этому верил, был Аксенов. Он даже заходил к нам перед решительными днями, чтобы посидеть (ради удачи) около меня. А началось с дома. А потом торговки фруктами в Киеве — на Думской площади — зазывали за копейку взять любой апельсин: после этого сразу все продавали. Называется — легкая рука. Может, легкая рука и осталась, и гибель — тоже удача. Я только этого не пойму.

Я тоже спсиховалась.

Была в Москве А<нна> А<ндреевна>. Опять звонила Жене, что едет ко мне. Опять не заехала. Вы знаете, все мои друзья очень гордятся своими психами. Но я боюсь, что они ими злоупотребляют.

Н<иколай> И<ванович>, кажется, заболел психически. (Или просто психует. Не знаю.) Женя пишет. Это с ним было. Очень было бы жаль. А<нна> А<ндреевна> хотела его увезти к

себе. Больна моя Наташа (тbc* кости) — повторное. Все худо. Одна лермонтоведка цветет.

20.V.[1940]. [Калинин].

Боренька! Вы давно не пишете. Я пока не беспокоюсь: надеюсь, что вы здоровы, а молчите просто, потому что меня разлюбили или на что-нибудь рассердились. Верно, на то, что я прошлое письмо начала с извещения о том, что мне не хочется писать. Но это только — дикие мои мраки. Просто судорожные припадки тоски. Я только честно о них говорю, и вы не сердитесь. Во всяком случае известите меня о причине молчания. А если разлюбили — то выясните — навсегда или на какой-то срок.

Словом, целую вас
и жду письма.
Н. М.

27.V.[1940]. [Калинин].

Боренька! Пишу карандашом: лежу, нездорова. Но послезавтра должна встать и экзаменовывать один из своих классов. Пока вылеживаюсь. Очень нервирующее занятие. (Не лежать, а экзаменовывать). На экзаменах обычно хочу спать.

Был Женя. Только что в «Красной Нови» вышла его работа⁴³. Хорошая. И сам он хороший.

Эммка по-прежнему мечтает о встрече со мной, но приехать не может. Скоро я съезжу в Москву.

Мне все очень не хочется писать и думать о том, что мне не удастся приехать к вам. Я делала вид (для себя), что как-нибудь да удастся. Но знаю — наверное, не удастся. Дело в деньгах. Весь заработок буквально уходит на еду. За лето придется еще покупать дрова (на базаре, по частным ценам), так что и без всяких поездок я еле сведу концы с концами. (Свои дрова я бы отдала, но мамино зимнее тепло — отдать не могу).

Особенно меня это огорчает сейчас, после вашего последнего письма. Я чувствую, что вы забродили, Боренька. Если научная ра-

* Туберкулез.

бота на этой вашей шортандинской земле исчерпана, не правильно ли вам переехать ближе к своим? Мне кажется, только работа должна решать, где жить человеку — и если Шортанды вас больше не держат — тогда ведь есть еще много Шортандов — значительно ближе, куда будет той же Ар<иадне> Вал<ериановне> легче к вам ездить. Впрочем, что рассуждать. От этого проку мало. Меня лично эта жизнь бы устроила. Мое калининское уединение абсолютно. И сейчас, когда мне придется ехать в Москву и к заболевшей Наташе — я думаю об этом с самой активной неохотой. И ничего не хочу, совершенно ничего не хочу. Пожалуй только, чтобы время шло скорее. На людей тоже не сержусь. Но детей не люблю. В частности, троих визгливых и очень грубых соседских. Кстати, до того перекормленных, что из них течет сало. Должно быть, до самой смерти я просижу в Калининне. Лишь бы не очень долго.

Вот, Боря, наша жизнь. Когда же мы увидимся? Может, не во время второй европейской войны, выпавшей на нашу жизнь, а после нее? Не знаю, когда. Я очень, очень устала. Мама, конечно, моложе меня. Она, например, не может понять, почему я не интересуюсь домами отдыха и прочими служебными преимуществами. И еще — почему я не завожу знакомых и молчу по целым суткам. Ей это несвойственно. Читать я уже научилась. Много читала Гете. Даже в Лесном Царе можно найти неожиданное удовольствие: как цокнуло последний раз копыто в слове «das ächzende Kind»*.

Целую вас.

Надя.

Сообщите телефон Ар<иадны> Вал<ериановны>.

8.VI.<40>. [Калинин].

Боренька, я два дня не отвечала на ваше письмо. Этой дурной привычкой я заразилась не от вас. Просто у меня шли экзамены, и я была очень занята. Сейчас подошли каникулы.

Я вас очень люблю и очень жалею, что не могу к вам поехать. Так жалею, что, наверное, сто раз бы поцеловала, если б увидела. Даже в плечо, а это уж последнее дело.

Мне ужасно не хочется в Москву, и я ищу предлога, как бы не поехать. По всей вероятности, вывернусь так: возьму билет

* Плачущее дитя (нем.).

прямо на Воронеж и пробуду в Москве 1 день. Воображаю, как будет беситься Эммка и мой толстый черный друг*, которого я люблю меньше вас.

Седых волос у меня шестнадцать (неседеющая порода), но суха я, как щепка. Не знаю, долго ли я останусь в школе: на это непохоже. Боренька, я хочу спать и плакать, но глаза сухие. Придется на лето брать работу. Построили ли ваш новый дом? Зачем вы отдали Тайку? Собак нельзя отдавать, как и женщин. Моя странная манера говорить производит в школе дурное впечатление. Там все говорят гладко. Иногда смеются, но большей частью удивляются, чего я вовсе не хочу. До сих пор я не замечала, что говорю не так, как все. Впрочем, это чаплиниада. Жаль, что вы не видели Чаплина.

Ловлю радио — известия — в 12, 6, в 12 и 8. Читаю газеты и по привычке занимаюсь языками (чуть-чуть). Школа отнимает массу времени. Мама выглядит хорошо, очень игрива и мила. До чего я на нее не похожа. Я больше похожа на вас, чем на нее. Такая же злюка.

Боренька, я вас люблю и целую. Пишите. Ваше письмо еще застанет меня здесь.

Надька.

16.VI.<40>. [Калинин].

Милый друг! Я дня три не отвечала на ваше письмо. Это был конец учебного года — и масса работы. Я приходила домой совершенно разбитая.

Я рада была вашим письмам. Рада, что вы поняли, что, несмотря на мое сравнительное благополучие, именно теперь я не могу двинуться с места. Раньше я была готова выжать из себя последние гроши, ограбить Н<иколая> И<вановича> и поехать. Теперь я во власти весьма скромного бюджета, от которого зависит и мама. Правда, помогает и Женя. Но это почти не чувствуется. Разве то, что мы почти всегда пьем чай с сахаром. У меня же 650 в месяц. А дрова — очень острый вопрос. Из отпусковой тысячи приехать к вам было бы очень плохо по отношению к маме.

* Николай Иванович Харджиев.

И, наконец, очень трудно с билетами. Доступно это только москвичам. Я не могу попасть в Москву по жел<езной> дороге и еду теплоходом. К Наташе, по всей вероятности, не попаду из-за трудности с билетами.

Школа кончилась, и впереди 1 1/2 месяца свободы, а потом еще месяц каникул, т. е. полузанятий. По всей вероятности, 2 недели я буду делать после июля игрушки. До июля на две недели съезжу в Москву и к Наташе. А ехать мне не хочется. Если б не Наташа, я бы не поехала. Трудно двигаться. Неподвижность во мне полная. Но она больна (у нее тbc костн<ый>, с детства. Сейчас ухудшение).

За эту зиму я никого, кроме Жени и Шуры, не видела. Они ко мне приезжали. Анну, наверное, не увижу никогда. Она дважды мимо меня проезжала и не заехала. Бог с ней.

Устаю, ох, как устаю. Мама молодец и во всяком случае моложе меня. Ее обязанность добывать керосин. Три раза в день слушаем радио и очень волнуемся. Читаю газеты. Пожалуй, это все. Книг в сущности не читаю. Устаю.

Целую вас, Боренька.

Пишите мне и чуточку любите меня. Надя.

30.VI.[1940]. [Калинин].

Боренька! Приехав в Калинин, нашла сразу два ваших письма. Спасибо, милый.

Поездка в Москву была мучительная. Я недаром не хотела ехать. Я никогда не удивлялась, что вы не хотите ехать гостить в Москву. Это более чем естественно. Но мне кажется, что ради Ар<иадны> В<алериановны> вам следовало бы подобрать себе более портативные и близкие Шортанды, чтобы ей было легко ездить. Зависит это, конечно, не от вас, а от ваших друзей. Хорошо было бы, если бы они вам устроили приглашение на более близкую работу. Вот к чему сводится моя несложная идея.

Приехать к вам я не смогу. Боюсь, что мы долго не увидимся: я на очень короткий привязи: мама, работа, деньги. Мне это очень больно.

Несмотря на свой ужас перед людьми, я была у Ар<иадны> Вал<ериановны>⁴⁴.

В углу сидел ирландский фокс⁴⁵. Это собака со старой живописи. Я очень их люблю. Давно хочу именно такого.

Но все по порядку. Я знаю, вы боитесь, что я нахамила. Честное слово, нет. Я даже просила Ар<иадну> Вал<алериановну> подтвердить. С кем я когда-то нахамила, что вы мне до сих пор не хотите сказать? В Москве я хамила со всеми, кроме Ар<иадны> Вал<ериановны>.

О ней. Я боялась стандарта типа Лебедевой. Вы не знаете. Очень обрадовалась, увидав Ар<иадну> Вал<ериановну>. Она такая же длинная и с такими же костями, как вы. А самое лучшее, что у нее девчонские глаза, что она смущается, что она робкая и не принадлежит к породе счастливых людей. Голос у нее прекрасный⁴⁶. Мы очень легко разговорились — и не только потому, что обе любим вас. Сама по себе она была мне очень приятна. Не знаю, как я ей. Но я сделала все, чтобы показаться милой. Даже не ругалась.

Сидела я у нее долго. Чай она заварила чудный. Говорили о чепухе — и совсем не о вас. Т.е. о вас тоже, но не только. Бедненькая, она мне жаловалась на ваши вкусы (Чайковский, опера). Я смеялась и уверяла, что не надо верить. Тем более, что в этот самый день я здорово обхамилась с Чайковским у Галины. Они с матерью страшно обижены тем, что их обошли во время юбилея: первый в мире музыкант и вдруг его внучатой племяннице не дали никакого дара! Пушкинским потомкам дали по 500 р. пенсии и всю одежду. Я очень хочу, чтоб у них были деньги. Но эта паразитическая психология меня разозлила. А, наконец, Пушкин делал сам своих потомков, а этот педераст обожал племянников. Тьфу!

Еще нелады с Ник<олаем> Ив<ановичем>. Он спсиховался, т<ак> что почти не заметил моего приезда. Тема его психа: жара, плохой костюм. Всегда бытовщина. Грозится покончить с собой. Это, конечно, не единственный признак его психа. Раскалялся он только под конец, когда до его сознания дошло, что я уезжаю. Я ему долго объясняла, что старушку-то он разлюбил, и что это вполне естественно, а он лез на стену.

Начались наши нелады довольно глупо. Он не любит, когда его друзья знакомятся друг с другом и подруживаются. А я в первый же день встретила у него одного дяденьку (этот человек принадлежит к тяжеловесной породе, в которую немедленно влюб-

ляются все женщины, но на улице его узнать нельзя. Так и было: он явился ко мне, а я его не узнала), с которым чудно проболтала весь вечер. Вот он и разозлился.

До чего было все глупо в Москве, если бы вы знали! Я ни за что бы не поехала, если бы не попытка пробиться к Наташе (не удалось). Пожалуй, единственные хорошие полчаса у Ар<иадны> Вал<ериановны>. Я плохо вам про нее рассказала.

С А<нной> А<ндреевной> не так просто. Она боится ездить и ходить (нервы, кот<орыми> она, конечно, злоупотребляет). Но, главное, когда она была в Москве и рвалась ко мне, пришло письмо от Левы. Она и помчалась домой.

Но вообще приезды ко мне — сплошная вампука⁴⁷. Все рвутся и топчутся на месте, а я никого не зову. Все-таки лучше одной. А литература — губительная вещь. И жизнь для потомства не стоит медного гроша. Этим больны все. Я это знала всегда. В частности, про А<нну> А<ндреевну>, которая становилась сама собой, только когда ревновала Николашу*. Теперь у нее необычайно нежный муж**. Это плохо.

Не читайте Чехова. Читать приятно, а потом тошнит. Очень вредно для желудка, а как будто вегетарианское. Рада, что Ар<иадну> Вал<ериановну> вырвало от Тыняновского Пушкина. Я тоже ехала из Шортандов с этой культурной книгой.

Боренька, до свиданья, родной. Мы еще увидимся. Правда?

Надя.

Ар<иадна> Вал<ериановна> меня проводила в Лаврушинский⁴⁸. У нее легкая походка. Я ненавижу, когда женщины сидят грибом, как Эмма, и перед тем, как двинуться, ноют. Я очень оценила, что она легко и просто собралась и пошла.

<16.VII.40>. [Калинин].

Боренька, обо всем понемножку.

О себе. Чтобы немного подработать, я опять делаю игрушки в стиле древнерусских табачных магазинов. Игрушки — говно, но техника приятная. Эта работа мне больше нравится, чем моя зим-

* Николай Николаевич Пунин.

** Владимир Георгиевич Гаршин.

няя — но, увы, она дает не больше пятерки в день. Из числа профессий, которые я перебираю в уме — очень выгодная — полойка. Я упражняюсь дома, и очень неплохие результаты. В сентябре опять стану учительницей. Думали ли вы когда-нибудь, что я такая интеллигентная?

Мой заработок, очевидно, очень снизится, а это нехорошо. Маму я кормлю очень серьезно, и меня очень беспокоит, как будет дальше.

Женька в Ленинграде. На обратном пути обещал заехать ко мне. Я каждый день его жду. Но он не заедет, потому что будет рваться к своему коту. Вообще он хороший.

Если бы не мама — я бы за целый день не произнесла ни одного слова. Раз в месяц я вижу высокую и красивую женщину — мою единственную здесь знакомую⁴⁹. У нее двое детей, но она меня ими не угощает. Но встретившись с ней — а встречаем мы обе рады — мы тоже молчим, потому что все заранее известно.

Но мама приручила двух соседок — еврейских дам, и они мне очень надоедают. Одна — молодая и многодетная — бегаёт пятьдесят раз в день — с новостями: напр<имер>: у курочки потрошки облеплены жирком. Она сняла весь жир и положила в суп. Я умираю, но ничего сделать не могу. Словарь: супчик, яички, простынки.

Был перерыв в час: я искала ключи. Ищу их каждый вечер. Мама всегда теряла ключи.

Борюшка, я знаю, что Ося умер 27 декабря, т. е. 14 по старому. Не знаю почему — я ведь так давно знаю, я теперь, узнав день, совсем не могу жить.

Еще: очень слабеет мама. Она на глазах меняется, и мне очень страшно.

Может быть, ко мне придет Наташа. У меня к ней очень особое отношение. Ося ее любил. Я никогда не любила его женщин, а Наташу люблю. Она много дала доброты и какой-то женской глубины и нежности, эта совсем простая, тихая Наташа. И Ося говорил, что весь его последний период стихов вынесли на плечах — Наташа и я.

Знаете, Борис, стихи никогда не писались без человека, которому их надо прочесть. Помните эриванскую нашу встречу⁵⁰ и: «когда я спал без облика и склада, я дружбой был, как выстрелом, разбужен»⁵¹? — из вами не любимых ваших стихов⁵¹?

Но Наташа не придет. Это очень трудно.

Милый, ведь я столько болела — и сыпняк и дизентерия — и все; а все суждено жить, и память единственное, что есть. И каждое утро все сначала и все одно и то же. Весь последний цикл каждый день (именно утром) в глазах, в ушах. Это повторение — это как припадок. Потом работа. Потом глушу себя бессмысленными занятиями. И утром опять.

Я больше не буду говорить. Вы хорошо рассказываете об Ар<иадне> В<алериановне>. Это все хорошо.

За стеной проклятый патефон. Я никогда не думала про локончики, а соломенные шляпы — прелесть. Никогда не думала в применении к вам про Марусь — такая ерунда — почему ей не быть?

Рада, что вы разлюбили детское сословие. Ваше детолюбие меня очень огорчало. Вообще, мне кажется, разные Барбеи правы: если люди сильно любят друг друга, то детей не бывает⁵².

Как я рада сейчас (раньше я об этом не думала), что у меня нет детей. Ненавижу суррогаты: то, да не то. У нас был воображаемый ребенок: маленькая Наденька. Всегда было одно и то же. Мы садились на извозчика и долго ездили без цели, чтобы просветлели мозги и стало ясно, что Наденьке не быть. Ну ее. Они все такие, как ваши соседи. Собаку хочу. Жесткошерстные фоксы — я не знала, что их так зовут — давно мной любимы.

Собака — Лолитта, которая произвела на меня большое впечатление, именно такая. Но собаку тоже не надо — привязывает к жизни.

Проклятый патефон!

Боренька, почему вы меня не любите: вы ведь знаете, что я вас тоже всегда (нет, не всегда, а очень скоро после начала нашей дружбы) считала дураком. И вы, надеюсь, никогда не сомневались, что я дура. И грызлись мы с вами, как могут грызться только очень близкие люди. Знаете, все неповторимо, и я рада, что ни с кем никогда не буду грызться, как с вами.

Это дань ревности.

А теперь нежности:

Я вас целую, мой длинный, нескладный друг. Плевать на Чайковского, хотя из-за него испортились мои отношения с Галиной (он ее дед). Музыка по радио больше не передают. Я так отбрыкивалась всегда от музыки, которую мне дарили сначала

отец, потом Ося. А теперь такая без нее тоска. Даже совестно признаться. На днях поймала кусочек пятой симфонии. Уговаривала Ар<иадну> Вал<ериановну> поискать для вас пластинки. Вы бы тогда поняли, как хорошо в глуши патефон. Но она этого не сделает (из робости и из того же чувства, по которому я скандалила прежде, чем пойти на концерт). А здесь не достать ничего. И вы будете без пластинок.

Боренька, еще раз: целую, родной. Будет ли встреча?

Надя.

Вышла книга А<нны> А<ндреевны>⁵³. У меня нет.

Гораздо хуже наша бабья доля: с мужским эквивалентом Маруси ночки не переспишь: стошнит.

Пожалуйста, снимитесь с Топом и пришлите карточку.

Что написала обо мне Ар<иадна> Ва<лериановна>? Честное слово, я сделала все, чтобы ей понравиться. Вы хотели нас «сдружить». Но гораздо легче самим присмотреться друг к другу.

23.VIII.[1940]. [Калинин].

Боря, голубчик, у меня была потребность массу вам сказать. Из-за этого я задерживала письмо. Все не могла вырвать время. Я как белка в колесе: испугавшись, что мне нечем будет кормить маму, я набрала столько работы, что скоро, наверно, лопну. Деньги будут те же, что и в прошлом году. Но учеников у меня будет около 400. Всех их нужно хорошо знать, понимать, разбирать и т. д. Кроме того, рисовальная работа. Как я выкручусь?

Но то, о чем я хотела говорить: это цепкость и мужество. Цепкость — т. е. нежелание умирать — Осино — несмотря на абсолютную необходимость умереть — всегда меня поражала. Это не я, а он. Я бы покорилась судьбе. А он бился — и не хотел. Проблема исчезла, как только его не стало. Не мне надо было умереть, а ему. Не я сопротивлялась, а он. Может быть, это называется цепкостью. А может быть, невероятной жизненной силой, которую может объяснить только одно: еще не закончен жизненный труд, и, несмотря на все, его нужно кончить. А мужества у Оси не было — была совершенно слепая смелость: выполнить жизненную задачу, жить и работать можно только при этой

слепоте и только при этой слепой смелости. Капля анализа — и ничего не останется, потому что исчезнет слепота. Капля мужества, и исчезнет все вихревое движение, обусловленное слепой смелостью. Так мне кажется. А о себе наверняка: Борис, что же у меня есть, кроме мужества? Оттого что оно проявляется не в привычных формах (я человек, и баба, а не теоретическая лошадь), оттого что я валяюсь на кровати и держусь за живот, когда он болит, — от этого мужество не превращается в нечто другое — напр<имер>, в цепкость. Боренька, зачем вы дружили со мной столько лет и не разглядели меня, Женю, Аню — до чего мы анти-цепки; если у нас что в руках — мы и то выпустим — у нас этого движения нет.

Теперь о мужестве. Как-то у всех людей есть заранее созданные концепции о том, как выглядят иные вещи. И у вас больше, чем у многих. И все-таки эти концепции из каких-то добродетельных романов. Наоборот выглядят вещи! Умейте узнавать! И еще: мужество — не качество, как и честность. Отрицательное достоинство. Что такое честный человек? Не вор? Что же за фокус быть не вором? В чем тут достоинство? Особенность? То же и мужество. То же самое. Не достоинство, а отсутствие каких-то поганных свойств.

Я редко говорю о себе серьезно. Но иногда говорю. Это, кажется, называется валаамова ослица. Это случается почти всегда с вами; и с Женей (теперь реже). Меня обладают способностью ранить именно вы двое — милые мне и родные. Вот с Ник<олаем> Ив<ановичем>, пожалуй, полное понимание, конечно, не когда он во власти страшной и отупляющей психической болезни, как было в мой московский приезд.

О мужестве, Борис. Если вы хорошенько разберетесь, не предстанет ли вам мужество в виде какого-нибудь детского образца? Надеюсь, что все-таки не в облике тети Эммы.

А знаете ли, Борис, что если есть мужество у женщины, настоящее бабье мужество — то оно мое — неоспоримое. И я-то и есть — она.

Не я ли шила рубаху — с первого до последнего дня. Не рубаха ли меня свела с тем, кто был моим мужем? И сон-то мой был про рубаху — рубаху на нем рвали — двадцать лет назад во сне. Не я ли нищенкой была? Не я ли по всем дорогам прошла следом за идущим к гибели? А что эта традиционная песнь в

сравнении с совсем не традиционными клочками стихов перед смертью, которую ждала — не для себя — это бы не страшно — каждый час.

Боренька, в чем же мужество? Я совсем его не уважаю. Это свойство пассивных людей. Но ведь это мне одной, из всех женщин, которых я знаю, свойственно. Не какой-нибудь stout woman* — а именно мне — которая поздно встает и целый день валяется, и не любит есть сало.

А про смерть разговор значит: я свое дело (большое и бабье) сделала, и другого у меня быть не может. Потому что своего — личного никогда и не могло быть.

И еще про воспоминанье: я не Аксаков какой-нибудь. Но я помню и до последнего дня буду помнить, и каждое утро придет, как галлюцинация, одно: глаза человека, который прощается с женой. И весь его последний путь — мой и в тысячу раз сильнее пережитый, чем если б я его сама сделала. Это не воспоминание. Не знаю, хорошо ли я объяснила, дошло ли до вас, что меня ранит. А уже сейчас и не ранит. А просто сказала и жаль, что должна писать (это как-то глупо), а не могу просто поговорить с вами.

Целую вас, Боренька. Спать пора. Завтра принимаю испытания. Вы все-таки мой любовничек любименький. Как бы мне на самом деле забраться в вашу дыру и позлить вас утром, когда не захочу вставать и притворюсь больной, или днем, когда не стану есть ваш мужественный харч.

Борька, снимитесь со своими собаками (и со стервой полосатой). Я скучаю по вас. Хочу, чтобы вы пожили со мной. А я вас за то еще раз поцелую и скажу: покойной ночи, братец. Надя.

А<хматова> не написала, а издала книгу. Туда входит несколько новых стих<отворений>. У меня книги нет. Моя — я еще ее не видела — у Жени. Когда придет — привезет. Если она не надписанная — я вам пришлю. Н.

12.IX.<40>. [Калинин].

Боренька! Я тоже люблю писать в полной пустоте и одиночестве, но пишу в довольно шумной учительской. Борис, будь-

* Крепкой женщине (англ.).

те смелым и сильным. Это частность, как мы живем. Это меня меньше всего смущает. Худо ли, хорошо ли, но маму я прокормлю. Женька выбыл временно. Он болел дизентерией и кроме того он вечный Макобер*, который надеется, что все будет хорошо.

Боренька, а я сохраняю легкомыслие, хотя у меня масса осложнений. Первое — выросла бородавка величиной с луну прямо на подбородке. Чуть свободная минута, я на нее люблюсь. Во-вторых, я стала жуткой старой девкой, вроде вас, милый. Вот мы бы с вами были бы парочкой: просто полухахали были бы первого сорта. Жаль, что мы не вместе. Уж моим нежным девическим обожанием я бы вас, наверное, соблазнила.

Еще горе — полное отсутствие не только хахалей, но и категории «полу». В провинции — они отсутствуют. А в столице предложение превышает спрос.

Борька, я работаю, как лошадь, как хорошая грузовая кляча. Это не плохо, но работы мне все же не хватает — и материально, и психологически. Предпочитаю быть занятой круглые сутки.

Боренька, когда мы с вами увидимся? Как же я по вас скучаю. А дальше что? Я вовсе не хочу вас увидеть седой старушкой. Сейчас все-таки я еще похожа (чуть-чуть) на себя.

Боренька, я вам хотела написать хорошее письмо. Я вам хотела сказать, что я вас люблю и хочу быть с вами. Но я, кажется, ничего не способна больше сказать. Чтобы объяснить почему, приведу вам один свой сегодняшний воскресный день.

В 8 была на базаре. Затем лакировала игрушки и мазала их красным, голубым и розовым, чтобы сдать свои полнормы в месяц.

Дальше: с 3 до 8 ходила по домам на «моей» улице и переписывала детей в возрасте от 7 до 11 лет (моя обязанность, как учителя).

Вернувшись, писала план I четверти, который должна завтра сдать.

Завтра 6 уроков в одной школе и 2 в другой. Кружок учителей, изучающих язык (это чтобы не вести учен<ического> кружка) и педсовет. Так каждый день.

Целую вас, милый.

Я хочу спать.

* Правильно: Микобер (см. коммент. 33).

1.X.<1940>. [Калинин].

Дорогой Борис — мой Боренька!

Я получила оба ваши письма несколько дней назад и долго не отвечала. Каюсь. Это нехорошо. Но у меня был кризис, или собачья чумка.

Очень сложно описать, что было. Чистая чаплиниада. Не то меня снимали с работы, не то я уходила, и все это под дождем, самым проливным дождем тетрадей с миллионом немецких и английских ошибок. Началось с того, что в моей основной немецкой школе я основательно провалила урок при представителе горono. А потом, когда меня начали жучить, заявила, что лишена всех качеств, нужных учителю, включая знание языка, и стала требовать, чтобы меня сняли. Тут-то меня усмирили. Это было усмирение строптивой. А я уж обрадовалась, что буду сидеть и делать игрушки — блаженное занятие. Сейчас есть угроза, что ввиду сокращения классов, многих отправят в провинцию, в том числе и меня. Пока я в школе, и мои ученики очень веселы, потому что считают меня довольно мирным животным.

Вот и рассказ. Все это было очень мирно и ничуть меня не волновало. Только отнимало вместе с тетрадями очень много времени.

В английской школе у меня два класса. Один ходит на головах, а другой — чудо. Они занимаются, как университетский семинарий, и активно выжимают из меня все — даже больше, чем я могу дать. Но этот класс тает на глазах. Уже осталось человек 12. А я в нем отдыхаю.

Еще, Боренька, я живу очень грустно и одиноко, несмотря на дикий шум школы. Есть красивая и высокая приятельница*, кот<орую> я знаю много лет. Задолго до вас. Она была прилитературной <бэшкой>. Когда мы с вами познакомились, она уже взвилась вверх, а теперь здесь — с двумя ужасными мальчишками. Это мерзавцы — 3 и 6 лет. Единственное их достоинство, что оба очень красивы. А потом один человек, единственное достоинство кот<орого>, что он монгол. А говорить с ним не о чем. Если бы вы знали, как я хочу к вам. Хоть бы скорей, хоть бы когда-нибудь. Пустите, милый? Ведь я вас люблю.

Надя.

* Елена Михайловна Аренс (см. коммент. 49).

Отвечайте сразу: ведь я знаю ваш обычай: выждать столько дней, на сколько вам опоздали с письмом. А я этого никогда не делаю. Письма, правда, суррогат. Но все-таки ваш голос.

<окт. 1940>. [Калинин].

Боренька! Я знаю: именно на это письмо вы не ответите — оно пришло не вовремя, вы его не ждали и т. д. Все ваше стародевичество вылезет наружу: случился беспорядок. Надо все привести в норму.

Боренька, а ведь я вам пишу от нежности, от прилива самой глубокой нежности и бабьей жалости. Прошу опять не путать — бабья жалость совсем не та жалость, которая обидна и которой вы не хотите. Это просто любовь. А я вас, милый, сегодня люблю.

Жизнь не течет, а прыгает. Перемены в школе, очевидно, отразятся и на мне. Как — еще не выяснилось. Сейчас классы настолько укомплектованы, что нельзя сказать, какая будет утечка. Это — и утечка в моей зарплате. Работаю я невероятно много. Читать не успеваю. Две школы, игрушки. Около 400 учеников и т. д. А зарабатываю (на руки) рублей 400 в месяц. Жить очень трудно. Дров есть (чудом) шесть метров. Уже начала топить. Люблю топить печку. Сейчас мне привезли из Москвы много чаю. Женя прислал и Витя. У меня оргия. И немного кофию. Я до сих пор не могу забыть, как вы наплевали на мой кофий. Хорошо ли это, Боренька?

Жизнь совершенно ровна. На днях передавали Баха. Он был невероятный. В честь тех, кто его любил и любит, я не отходила от микрофона. Чудесный приемник — у соседей. Я слышу все, что хочу. С радостью убедилась, что хорошо понимаю англ<ийский>. А Бах шел из Москвы. Милый, вам нужно иметь радио<приемник>. Нельзя вам без него жить. Путь это поймут все ваши. Это важней книг, важней очень многого. Харч, конечно, хорошая вещь. Но это тоже харч.

Вот, Боренька. Все. Как будто ничего не написала, а все-таки с вами поговорила.

Книгу А<нны> А<ндреевны> получила. Она надписана. Вся масса стихов старая. У меня нет духу ее вам послать. Может, потом. Целую вас.

Надя.

21.X.<40>. [Калинин].

Боренька, бедный, к которому никто не едет. Приедут, милый, а вот ко мне не приедет никто. Т.е. приедет Женя, выполняющая семейную обязанность, и под каким-нибудь предлогом улизнет в тот же день в Москву. Не тоскую, потому что некогда. Зарабатываю 400 р. Устаю, как проклятая.

Куды, Боренька, рыпаться? Могу заранее сказать, что будущим летом тоже не смогу к вам приехать. Денег не будет. Я помню чувство дикого удивления, когда шумели машины: как я сюда попала? Оно бывает и перед сорокачеловечным классом, когда он дергается и прыгает. Пока живу. Life is inough*. Не подумайте по рассеянности, что это не английский оборот, не найдя его в своем запасе.

Я тоже живу без музыки — в широком смысле. Книг не читаю. Нет времени. Зато почитываю всякую дрянь. Чепуху соба-чью. Успокаивает нервы. Я уже забыла своего Шекспира.

Сегодня иду на собрание, завтра во вторую школу; послезавтра опять — туда и обратно. Устала. Мама решила сэкономить и по-дешевле заплатит бабе, которая мыла пол. Вышла и заплатила по цене. Потом мамик меня будет ругать. Он думает, что я шарлатан.

Мои события в жизни: от вас письмо, от Наташи письмо, Женин молниеносный приезд. И появился человек, с которым я иногда болтаю, — его единственное достоинство, что он бурят. Говорю с ним ни о чем. О чем — не о чем. Но он хоть шутки различает. Сегодня завуч был на моем уроке. У меня от этого тоска. Она девка старая, а ростом карлица. По-немецки не знает ни слова и все старается понять, о чем идет речь, и потом научно разобрать со мной урок. В прошлом году я не возражала, а в этом что-то не хочется. Главное, нет денег. И это меня расстраивает. Вот как будто весь мой дурацкий рассказ.

Мопассана этот томик я читала у вас и поразилась, до чего хорош Maison Tellier**. По-моему — это первоклассно. И главное, солнце пятнами. Это в церкви.

Целую, Боренька. А кто вы — муж, старая девка или халь — мне все равно. Просто дружок, которого я целую.

Это я Жене приписала — перепутала листы <приписка сбоку зачеркнута — Н. К., Е. П.>.

* Достаточно того, что живу (англ.). Ошибка: надо enough.

** «La Maison Tellier» — «Заведение Телье» (фр.). Возможно, Н. Я. Мандельштам читала этот рассказ в одноименном сборнике рассказов Мопассана (Paris, 1908).

[13.XI.1940]. [Калинин].

Боренька!
У меня нет чувства в руке, что я опустила письмо вам в ящик.
И хочется написать.
Жить трудно. Я в школе, но число уроков снизилось вдвое.
Уже не полтысячи (все мои 3 службы), а что-то вроде 250 р.
Зато у меня есть валенки. Я их принесла и поцеловала.
Очень дивная обувь.
Дрова тоже есть на ползимы.
Сейчас иду на собрание 9—10 классов своей школы — они меня, наверное, съедят.
Они вообще меня едят.
Я изъеденная, худая и страшно девственная. Святая, как Жанна д'Арк. Завела монгола, но говорить с ним не о чем и вообще делать нечего.
Борька, я бы к вам приехала, да нельзя.
Вы бы меня хоть немножко приласкали?
Хоть чуточку?
Я ведь с валенками.

Надька.

19.XI.[1940]. [Калинин].

Дорогой Борис! Это же*.
Что вы меня обижаете? Вы умеете говорить, как вы всех любите, кроме меня. Ну за что это? Или вы думаете, я вас не ревную? Очень даже. Что ж это в самом деле.
Все, что я знаю, это, как вы сказали Оле, что я лучше интересных дам и поэтому вы со мной водитесь. Тыфу, Боренька. Как же вы еще про меня скажете или молчите? Или гадкое говорите? Хороши вы, и я, дура, хороша: плачу и ревную.
Вот вам, милый, сцена. И всё. А еще ничего нет. Жизнь течет спокойно. Сейчас со школой все утряслось. Уроки свелись к минимуму — их всего 6 в одной школе (в неделю) и 6 в другой. Иначе говоря, я занята 2 раза в неделю — по вторникам и пятни-

* Я (фр.). См. примечание на с. 648 наст. изд.

цам. В остальные дни — игрушки, и стараюсь достать частные уроки. Пока есть предложения только к детям. Этого я не хочу, хотя очень выгодно. Женька обещает присылать по 400 в месяц. Похоже, что, раскачавшись на такую роскошную сумму, даст добрую сотню — и это хорошо, потому что я бедна. Ich bin arm — я беден*. Зато в хозяйстве большое приобретение. Впервые в жизни обладаю недвижимым имуществом в форме 2 огромных белых валенок самого светского пошиба. Эти валенки сами собой фокстро-тируют. Dear me**, как это прекрасно.

А поленья считаю, как Гарпагон⁵⁴. При мысли о дровах у меня припадки в стиле классической литературы. Боренька, сейчас звонок. Я иду учиться, а вас целую. Надя.

Борька, напишите про все. Только будто вы и меня любите. <So>?

27.XI.[1940]. [Калинин].

Дорогой Борис Сергеевич!

Я совершенно не в состоянии писать. Нездорова и все прочее. Пишу, чтобы вы знали, что я жива. Это, наверное, просто усталость. Я, кажется, слишком энергична.

Надя.

6.XII.[1940]. [Калинин].

Боренька! Я застала дома ваше письмо. Вы уже знаете, что одно пропало. А это — полусердитое — ждало меня, когда я вернулась из Москвы.

О поездке. Я пробыла 3 дня. Это была суетная и ненужная поездка. Чепуха. Протрепалась и пробежала три дня по своим следам и убедилась, что они почти стерлись. По порядку.

Витя. Они из кожи вон лезли, чтобы все было хорошо. Т.е. не засыпали, не убегали, не купали собаку. Словом, сидели и говорили. Вертеться — это их обычай. Они принимают гостей именно, прыгая и вертясь. После 5 минут разговора Витя убегает спать. Гости ждут. Потом он опять выбегает и т. д.

* Цитата из «Четвертой прозы» О. Э. Мандельштама.

** Боже мой (англ.).

Они чудные и добрые люди. Лучших я не знаю. Но меня всегда поражает их душевная неуклюжесть. Я знаю: если бы я осталась надолго, началась бы забота (и оба были бы очень рады). Кушай — пей. Постель тебе постелят. Проверят, есть ли носовой платок и белье на смену. Главное — чтобы я была домохозяйкой — живущей. Но я не живущая, не домохозяйка, а проходящая. И они не умеют начать. Пыжятся и стараются. Пример: Витя начал разговор с того, что в Калининском гор<одскую> площадь строил Казаков. И что Казаков — очень хорошо. Я зевала и отшучивалась, но выдержала краткую и блестящую лекцию о Казакове. Зачем? и все так. Нет дара шутки и ничего не значащей болтовни. Дико стыдливы и совершенно не умеют просто поцеловаться без литературных <зачеркнуто — Н. К., Е. П.> (не знаю, как это пишется). Я их люблю, но не умею. Зачем пошла?

Потом Ник<олай> Ив<анович>. Они все считают необходимым при мне ныть и мяукать. Я прекрасно знаю, что отнюют, потом прыгают. Но на этой дорожке ныть, от которого меня рвет (о себе, конечно). Валялся на кровати, уткнувшись в подушку, и уверял, что пора умирать. Не все время, конечно. Это орнамент в мою честь. Больше не приду. Плевать. Эмма очень обрадовалась, но, как всегда, корыстно: я ее опять мирила с этим черным жуком.

Эмма женщина сырая, как говорит мой мамик. Но она ныла до того, что я встала на дыбы и крепко отбрыкнулась. В наказание заставила ее послать маме мандарины. Это хорошо.

(Я пишу на конференции. Перерыв).

Почему они при мне ноют?

Одна встреча. Я не хотела ни к кому заходить. Спускалась по лестнице. Шел Илья Григорьевич. Он очень болел. Думали, что рак. Потерял полтора пуда. Сейчас ничего. Нервное потрясение. Он уже с полгода здесь. Ходит гулять с собачкой. Пишет стихи. Какие, не знаю. Видела его только на улице. Но, пожалуй, это была лучшая из встреч. Он говорил о стихах, и т.к. он сам вернулся (да еще после потрясения) к стихам — я поняла, что это для него самое основное. Я рада, что не зашла к нему. Он понимает, что я не хожу. Рада, что его видела.

Большая рана для меня Анна А<ндреевна>. Она больна, она в ужасном виде; меня все убеждали, что она умрет в 40 году.

Теперь — в 41. Может быть. Но я бы не могла, даже спешно готовясь к смерти и ожидая по крайней мере рака, не заехать к ней проститься. Ясно — что отношения были с Осей, и я здесь была сбоку. На инерции — пошло дальше — на годочек. Встречались бы мы — все вертелось бы по-старому. Но сделать «высадку» — проезжая мимо меня — нельзя — слишком большая активность. Значит — не надо. Конечу наступил. Мне очень больно.

Вот мой московский смор, который невероятно раздергал нервы. Надо сидеть дома. И все-таки иногда тянет на свои места.

Боренька, надо сидеть дома, и у вас есть силы для этого, но надо, чтобы дом был ближе вашего. Вы раз об этом обмолвились, и я запылала надеждой. Хоть бы осуществилось. И напишите о себе — о болезни. Я не получила письма.

Еще, Боря, просите выслать вам Хлебникова — сейчас вышедшего под редакцией Харджиева⁵⁵. У меня нет. И нет денег купить. Книга замечательная. Этот черный черт клянется, что у меня будет, но врет.

Все роздал. Книгу А<хматовой> я бы вам послала, но неловко. Знаете, она неудовлетворительна. После нее хочется пить. Жажда остается. Впрочем, я ее не могла читать.

Что-то много написала.

Целую вас, родной.

Надя.

Все о себе. Это бывает редко. Но вы не сердитесь.

Боренька, люблю вас, милый, и целую. Н.

10.XII.[1940]. [Калинин].

Боренька, милый, сегодня вечером я перечла ваше письмо, и стало очень тревожно. Чем больны, что с вами. Напишите по-человечески, без снобизма. Расскажите, что с вами.

У меня сегодня хороший вечер. 2 дня без школы. (Я занята по вторникам и пятницам). Значит, самые мои лучшие вечера — вторники и пятницы. Денег соответственно с количеством занятых часов, т. е. очень мало. Но так хорошо дома, особенно ночью, когда людям полагается спать.

Может, я не сплю из-за крепкого чая? Он все крепчает. Чай привез Женя.

По ночам дикий кашель: курю дрянь, которая называется сигареты. Здесь такой обычай.

Боренька, я еще посмеялась над вашим письмом. Чего это вы боитесь, что мы затеем? Вернее, что я норовлю? Милый вы мой, чего бояться. Пять тысяч верст — и главное десять (или больше?) лет преданной любви. Чего уж тут затевать? Все уж, наверное, и затеялось, и перетеялось. Уже в какую-то совсем незатейную форму перешло, и очень, очень давно. Может, с первой минуты, когда мы оба знали, что нас связала — и как прочно — судьба — и на какую серьезную жизнь.

Но это не значит, Боренька, что я перестану требовать, чтобы вы два раза в год мне сообщали, что вы меня любите. (И именно, любите, а не обожаете). Во избежание скандалов, советую вам наметить сроки и сообщать добровольно. Если вы твердо усвоите, что никакой опасности нет и ничего после такой большой жизни, как наша с вами, не затевается, то, я думаю, и пальцы ваши разогнутся. Я не знаю, как это называется — то, что у нас с вами — не все ли равно? Но я знаю, что это громадная близость. Не только потому, что мы сколько-то там дней имели о чем говорить, а чёрт его знает почему. Связало нас в клубок и пронесло нас вместе по жизни. И может, самая содержательная часть жизни прожита вместе. Что там еще затевать? Какие там пальцы? И главное, как ни вертись, все равно не разойтись в разные стороны. И еще — именно то, что было, должно быть — и ничего другого не могло и не должно было быть. И будет. При чем здесь затей? Разве мы могли хоть что-нибудь изменить? Разве мы выбирали нашу судьбу? А, конечно, встреча была судьбой для всех троих. Без нее — Ося часто говорил — может, и стихов бы не было.

Затей и страхи — непропорциональны судьбе.

Итак, через пять тысяч верст — мой незаконный поцелуй с более чем двенадцатилетним стажем. Или, просто говоря, целую вас, милый. И любите меня, как я вас люблю. И напишите о себе.

Мне очень страшно за вас. Как я хочу, чтобы вы были ближе.

Ваша Надя.

[17.XII.1940]. [Калинин].

Боренька, по порядку:

1. Чем вы больны? Не Тбс ли? Напишите, милый, и без снобизма. Напишите скорее.

2. Неужели, правда, есть надежда на ваш переезд в более близкие места? Я буду счастлива и за вас и за себя. Скорее пишите! Ведь у меня нет надежды, что я вас увижу, если вы живете в Шорт<андах>. А если бы вы были ближе — это уже легче — и денежный и отпускной бюджет...

А дальше. Я была в страшном мраке. Почти в полном молчании. Неспособная сказать слово. И два события как-то разбудили: ваше хорошее письмо и Женин приезд. Он у меня пробыл два дня. Это мало, но все же возвращает к реальности. А провожая его, получила ваше письмо. Боренька, разве я дура? Ну, разве хорошо дурами ругаться? Боренька, разве вы меня любите, как десять лет назад? А я-то, дура, люблю вас гораздо больше. Ведь первые пять лет привыкаешь еще. Еще прячешь свои пороки и смертные грехи. Помните, как вы не хотели, чтобы мы узнали ваши? Ведь точно так и я притворялась вполне милой дамой. А после уже — можно все. Боренька, как необходимо жить ближе. Как необходимо видеть друг друга. Как необходима чуточка реальности. Я иногда начинаю понимать, как сходят с ума. Раньше я никогда не понимала. Например, когда я захожу в комнату и сорок человек встают при моем приходе, мне это кажется таким же нереальным, как мистеру Дорриту⁵⁶ — миллионеру роскошный банкетный стол, который можно ореалить только приспособив его бредом к Маршалси.

Я не люблю Чеховскую жвачку. Я разлюбила (вернее, никогда и не любила) Яхонтова за Чехова. Я и Диккенса не люблю, а все-таки это что-то не так, потому что сцена сумасшествия Доррита пришла мне сейчас на память. А Витю Шкловского я окончательно поняла, только вспомнив Макобера*. Чехова я бы не вспомнила никогда и ни по какому поводу.

И я забываю, как только нажуюсь.

Боренька, при чем здесь литература?

Ведь мы все трое — и вы, и Ося, и я — тем и хороши, что это не литература, а что-то другое.

Надя.

* Правильно: Микобер (см. коммент. 35).

Я читала письма Достоевского и еще больше его полюбила. У меня здесь есть старик с лютней. Если бы он знал стихи, мне было бы очень с ним славно.

Н.

[20.XII.1940]. [Калинин].

Боренька! От вас очень давно нет писем, и я беспокоюсь. Зима здесь стоит мягкая — неужели заносы? Наверное, вы просто хотите меня обидеть, поэтому не пишете.

Я лучше вас: когда у меня был грипп и высокая температура, я вам все-таки что-то нацарапала. А вы молчите. Очень гадко.

Надя.

29.XII.[1940]. [Калинин].

Боренька! Я поцеловала вашу карточку. Но это не вы. Я знаю, как эти удостоверенческие фотографии снимают душу, а не тело. Ведь верно. Кажется, и я с паспорта живу у вас — хороша!

Я очень беспокоилась: от вас не было долго писем. Одно пропало. То самое, в котором, как я узнала из последнего письма, вы писали без снобизма о своей болезни. Я очень прошу вас написать мне снова, потому что того письма я не получила. Было очень беспокойно. Письма вообще очень хорошо доходят. Но я думала, что на этот раз могло потеряться, потому что какая-то взбесившаяся почтальонша засыпала нас письмами по другим адресам. Теперь ее нет. Но факт, что письма не было. Напишите, милый, мне и сейчас очень тревожно, а в те дни, когда от вас не было писем, так горько и одиноко — что и сказать нельзя.

У меня странная жизнь. Игрушечное ремесло, которое дает 100 р. в месяц, отнимает все время — и воздух, потому что проваживает его эфирными лаками. Школа 3 раза в неделю. Почти незаметно. Сейчас начинаются школьные каникулы, во время которых я буду очень занята — и не общественной заботой, а ежедневными приходами в пустую школу. Но на 3 дня я вырвусь в

Москву с образовательной целью: поступать на курсы или держать экстерном — не знаю, так или иначе я готова держать какие угодно экзамены, лишь бы хоть иногда сидеть в поезде. Но всего 2—3 дня — с командировочными обязанностями. Недавно меня хотели убрать из школы (из 1-й — я в двух): была какая-то каша: я решила остаться и имела большой разговор с директором. У меня были самые странные доводы: я сказала ему, что я Чарли Чаплин и что поэтому меня надо беречь — и он понял. Я осталась. Школа — я привыкла — когда мало уроков, не снится по ночам и отнимает мало времени. Денег мало (всего рублей 300 с игрушками), но ведь я и всюду получу мало.

Мы с мамой живем тихо. По утрам ворчим. Я ей объяснила, что две старушки любят, когда тепло, и мы топим печку. Жарим картошку на сале. Женя держится замечательно. Возит посылки и ездит в двухдневные гости.

Иногда к нам заходят старички. Сегодня два мальчика — 3 и 5 лет. Пришли издалека. Прислала мать. Я вам писала, что у меня здесь есть приятельница. Младший выругался, а потом сказал «Адя, у нас елка». Дети — божье наказание. Что бы мне еще таких. Мне лучше, чем ей. Она учится на учительницу; у нее нет комнаты и есть двое детей. Когда она была в цвету, она была так же мила, как сейчас. Ее всегда сравнивали с Сонькой. Я знаю ее очень давно, но не встречалась в те годы, когда мы жили с вами вместе. Она приехала в Калинин из-за нас, а я уже потом из-за нее.

Еще было письмо от Эммы. Она со слезами рвется ко мне под Новый год. Я ее зову. Но она тяжела и не приедет. Опять же расчетлива — билет — туда и обратно — 20 р. Куда ей!

Есть ли шансы, что вы придвинетесь поближе? Как бы я хотела! Боренька — новый год на носу. Я плюю на него. Водки не пью. Это *vin triste**. Не хочу. Если бы вы жили ближе! Целую вас, милый. Напишите обо всем.

Надя.

* Букв.: «грустное вино» (фр.). *Avoir le vin triste* — быть грустным во хмелю.

1941 год

27.1.[1941]. [Калинин].

Боренька! Я получила оба ваши письма, но не спешила отвечать, потому что знала о вашем отъезде. Во всяком случае хочу, чтобы мое письмо застало вас, т. е. лежало на столе, когда вы приедете к себе.

Как я хочу, чтобы вы переехали. Эти дни я только об этом и думаю. Я даже посмотрела на карте, что такое Башкирия, но это очень широко, и я не знаю точно, где ваша будущая дыра*. Хотела спросить своего башкира, но побоялась, что он вдохновится. Он аспирант. Я его больше не пускаю. Еще я все считала, будут ли у меня деньги, чтобы поехать к вам летом; математика говорит, что нет, но мне все кажется, что да. Напишите мне скорей, как оборачиваются ваши дела.

Я понимаю, как вам тяжело было с вашим Топом. За несколько дней до вашего письма я страшно рассердилась на одну милую женщину. У нее пропала прекрасная овчарка. (Передают Моцарта. Что такое готика, я знаю. Может, поэтому я всегда понимала, что вы, — и задолго до вас — отец и один мой друг — говорили о Бахе). Но об овчарке. Она жила у нее три года. Милая женщина объяснила мне, что она нисколько не огорчена: у Бека был, мол, плохой характер и т. п. Я не понимаю, как можно оправдывать свое бесчувствие чьим-то дурным характером. Собака, как и человек, вовсе не обязана иметь хороший характер. А держать собаку такие безжалостные кошечки не имеют права. Я все это ей объяснила, но она не поняла.

Боренька, я вас ненавижу за то, что вы мне не напишете с дороги о своих делах. Просто ненавижу и потому больше не пишу.

Целую Надя.

* См. примечание на с. 468 наст. изд.

Мои друзья в Москве — хорошие. Это я дурная. Я просто, как тень, брожу среди них. Им и неловко, и они сжимаются. Здесь — дома — в норе. Лучше так.

Надя.

Что у вас в альбоме? Самое драгоценное? Любите ли вы еще свою псевдо-Персию, ставшую из орнамента узором? Поцелуйте от меня Ван-Гога. Я его больше никогда не увижу — ни на картинке, ни в Москве. Я никогда не поеду ни в Крым, ни в Ленинград.

«Her hand on her bosom*, her head on her knee...»** А ведь вы этого не читали!

20.II.<41>. [Калинин].

Боренька! Если б вы знали, как я огорчена за вас, милый мой, замороженный, старый друг. Все ваше письмо — Тая, бездровье, поездка в Алма-Ату, неудача с Башкирией — все это сразу в одном клубке — и все это так знакомо мне. Я так надеялась на ваш переезд. Ведь это почти соединиться с близкими вам людьми. Я так радовалась за вас. И знаю, как нехорошо быть в положении, в которое вы попали в Алма-Ате***. Может, поэтому я так болезненно отношусь к Москве. (Там это еще болезненнее — это ведь дом). Про Таю я знала. Хоть у меня и нет собаки, я хорошо это понимаю. Меня всегда возмущало отношение людей, которые думают, что одного пса или даже кота можно заменить другим, одного пристрелить, другого купить и т. д. Таких людей много. Дальше — по тупости следует только теория и практика, доказывающая, что одного человека можно заменить другим. Я гораздо больше понимаю свою Наташу, которая девочкой заболела от ужаса, когда у нее застрелили взбесившуюся собаку. Несколько раз в жизни Ося приносил мне с улицы поднятых полудохлых щенят и котят. Пятерых за мою жизнь. Эти труппобные зверята были всегда в таком виде, что отходить их уже нельзя было. Все они погибали. Но и они были свои, и гибель их была тяжелым событием. Особенно белой дворняжки Коки, которая погибла от чумки и была замечательно умным и благородным созданием.

* В рукописи: bosom.

** Строка из песни Дездемоны об нве (Шекспир, «Отелло», действие 4, сцена 3).

*** Об этом см. с. 464 наст. изд.

О Наташе. Я получила сразу письмо от вас и от нее. Оба — одинаково нерадостные. Кроме родных, вы с ней самые дорогие мои люди. (Я люблю А<нну> А<ндреевну> — и теперь, но она отошла в прошлое). Обоим вам плохо. Маленькой, нежной Наташе, такой прелестной и такой прозрачной (я вам говорила — она хромая, у нее был в детстве туберкулез бедра), очень трудно и худо. Мне очень больно и за нее и за вас.

А холод, Борис. До чего я его боюсь и знаю. В зиму, когда я была у вас — было тепло. Но ваше жилье — холодное — непредставимо. Может, потому, что я испытала холод, я так люблю топить печи. Я их топлю виртуозно и не могу оторваться от огня. У меня жизнь сейчас лучше вашей, потому что тепло, свой угол и мама, которой я не позволяю болтать. Она увлекается обследованием двух сортов муки — по 240 и по 290 и утверждает, что вторая в миллион раз лучше первой.

У меня довольно ровная жизнь. Мало уроков. Мало классов. Работа идет ровно. Ребята (это подростки 15—16 лет) ко мне привыкли, и я к ним. Мальчики гораздо легче и благороднее девочек. С ними я в ладу. Кроме того, они довольно усердно занимаются, потому что их будущее — Красная Армия, где громадное значение имеет знание языков. Говорить они не говорят, но читают и понимают много. И потом они дети, и до их сознания доходит многое, что не пробьет взрослой коры.

Например, они все поняли, что лесной царь — это ветер, и что ребенок умер, потому что кончилась сказка. Мой фокус с цокающим копытом повторяется («Er hält in den Händen das ächzende Kind»)*. Они стучат карандашиками при первом чтении на том месте, где в последний раз стукнет копыто. А на днях, читая Лорелею⁵⁷ (я ее терпеть не могу — и объяснила, что ее лучшее достоинство, что она шарманка), они хором спросили, что же было потом. «Англичане» — бьются в переменах с «немцами» и читают песню Дездемоны с необычайной чистотой ритма, и твердо знают, что Дездемона — сама ива, которую спилят. Поэтому это и песнь о спиленном дереве.

Но все же меня качает, как на шхуне в бурю. И хорошо мне только дома, когда я предаюсь своим бредовым занятиям, в частности английскому языку. Мне надо иметь какую-нибудь бумагу — о том, что я знаю языки. Я записалась в Ин-яз. в Москве и

* Он держит в руках плачущее дитя (нем.). — Строка из баллады Гете «Лесной царь».

выполняю трехмесячные задания в два дня и получаю удивленные похвалы моим знаниям. Я пишу по-английски совершенно легко и свободно. Это становится почти бредом. Бессмысленное изучение языков. Зачем? — и все же продолжаю. Должно быть, легче зазнуть после хорошей порции *ing-fogm**. Моя здешняя приятельница занимается тем же. У нее полно американизмов, которыми я охотно заражаюсь. Мы с ней видимся редко. У нее очень трудная жизнь. Вообще же не вижу никого и не бываю нигде, что меня вполне устраивает. Мама же жаждет человеческого общества и прячет какую-то скатерть для «гостей!!» Едим мы с ней жаренную в свином сале картошку и <масло>, когда его привозит Женя. Чай и сахар, и хлеб есть. Валенки, купленные в этом году, порвались, и за какую-то учебную услугу (помогла выполнить работу по немецкому инст. ин. яз.) мне их починили. Вот как будто все о себе.

Я написала много. Запачкала бумагу сажей. (Топлю печь и жарю картошку). Обед готов. Милый, может, мы когда-нибудь увидимся. Я хочу слышать ваш голос. Хочу обнять вас. Хочу сказать, что ваши руки созданы для рукопожатия в минуту... ваши длинные нескладные руки. Если и мне придется пройти по своему последнему снежному пути, я буду всегда помнить ваши руки.

Боренька, пришлите мне стихи. Я напишу о них вам. Эти строчки хорошие. Я боюсь морозов. Пусть душу несут, куда хотят — только не в мороз, не в буран. Борис, как холодно, наверное, умирать.

Жду, милый.

Это Надя.

Прошло уже два года — но я думаю о том же — я хотела бы умереть, как Ося.

13.III.[1941]. [Калинин].

Дорогой Борис Сергеевич! Получила ваше письмо и стихи.

Два дня не отвечала — хотела написать обо всем. Но сейчас с ответом больше тянуть не могу, а состояние настолько мерзкое, что хорошего и толкового письма все равно не выйдет. Через несколько дней — (наверное, через неделю, когда начнутся канику-

* Английская глагольная форма.

лы) напишу вам о стихах, а сейчас только так. Только вы отвечайте, не молчите. Легче ли морозы? У нас зима была сравнительно легкая. Она кончается последними вьюгами.

Жизнь состоит из сотни мелочей, и в ней нет основной линии. От мелочей кружится голова. Меня на днях обследовали, и это было очень неприятно. Но это уже прошло. И совершенно независимо от всех частностей — очень тяжелое состояние. Почти не могу говорить. Только бы спать. Спать могу сколько угодно. Круглые сутки. Но нельзя. Каждый день нужно куда-то выйти. А выход заранее портит настроение на весь день.

Я рада, что у вас завелись пластинки. Теперь я буду следить — и если будет что-нибудь хорошее, пришлю вам. Милый, ответьте на письмо сразу. А я скоро напишу.

Надя.

1.IV.[1941]. [Калинин].

Боренька, девка я стала старая, злая. Но вас я что-то так сегодня люблю, что прямо ужас. Боренька, вы бы меня, наверное, теперь полюбили. Мне эта жизнь впрок. Я стала очень умная. У меня даже завелись принципы. Какие, я точно сказать не могу, но факт, что они есть или будут. Видите, какая я хорошая.

Новости такие. Я должна стать еще умнее, а для этого кончить заочный вуз. На экзаменах в вуз пишут диктовку. Кому, как не вам, знать, что я на это не способна. Вчера один старый дурак пришел проверять мою грамотность. Он 40 лет учитель. Он очень обрадовался, узнав, что меня можно поучить. Но он думал, что я путаю буквы «а» и «о». Одним словом, у меня есть надежда, что другие еще неграмотнее, но это единственное. Если у меня провалится вуз, придется идти на службу и сидеть по 8 часов за 200 рублей. Трудно.

Боренька, о пластинках можно думать всегда. Но лишь бы они были. Настоящие пластинки бывают очень редко. И я не упущу. Обследование прошло благополучно, хотя было отмечено (за что я и была ругана), что я совершенно не похожа на учительницу. Ведь это факт. Но это еще хуже, в смысле снятия. Впрочем, ерунда. Достала у соседней десятку и отправила маму на базар. Буду кушать котлеты. Женя был и уехал. Он сейчас в Крыму в командировке.

Боренька, это все. Приласкайте меня, родненький. За 5 тысяч верст от этого никакой беды не будет.

Надька.

Борька, не думайте, что я ради 1 апреля вас люблю. Это всегда.

Эмка представляет на земле за Лермонтова. Говорят, что у А<нны> А<ндреевны> на днях вечер в Москве⁵⁸.

Диккенс — хороший. Только его сейчас никак не прочесть. Разве в морозы.

Но как чудесен Стивенсон. Вот кого я съела с удовольствием.

<IV.1941>. [Калинин].

Боренька,

Рамо — кузничик деревянный.

Память изменяет. Выпадения из памяти очень страшны. Стихи шуточные. Помню, что Бах — индюк. («Чайковского боюсь — он Моцарт на бобах»). И есть еще: «бешеный поляк — ревнивец фортепьянный»⁵⁹. Сейчас каникулы, т. е. я должна ходить в школу каждый день, пока директор не скажет: можете быть свободны. Он очень хороший.

Не помню, перевел ли Ося слова к 4 временам года⁶⁰. Гендель? верно. Но разговор об этом был. Что касается кавалера Глюка, то он тоже есть на пластинках. А шотландская и ирландская у Оси были.

Я в плохом виде. Приезжал Женья, и я ревела. Вообще это бывает со мной редко. Я рада за всякого Дон-Кихота, когда у него есть Санчо. Но еще лучше, когда двое Дон-Кихотов живут и гуляют под небом рядышком. Бывают также Дон-Кихотики. Се не је.

Женья подписывается под письмом C'est je или Се је*. Мама сердится и в каждом письме его поправляет. Я вспомнила вашу маму.

Боренька, у вас есть преимущество и передо мной (я знаю, что у меня есть — перед вами). У вас есть Руся. — И у Руси есть вы.

Это хорошо.

* Здесь неверно употреблена форма французского личного местоимения «je» («я»); правильно — «c'est moi» («это я»).

9.V.[1941]. [Калинин].

Дорогой Боренька!

Ваше чудесное письмо на бумаге с розовой каймой получила. Я чуть не заплакала, читая его. Но Бария⁶¹ все-таки любить не стоит. Это была судьба, а не Бариль. Про маму вы знаете. Я уже вам писала. Она вполне оправилась и сразу начала, к моему отчаянию, бегать с какими-то ужасными целями. Например, сегодня убежала на полдня. Она была одержима идеей купить молоко на 50 <коп.> дешевле, чем на базаре. Долго стояла в очереди и, конечно, ничего не принесла. Но удержать ее нельзя: ее пожирает священный огонь, когда доходит дело до очередей. Старееет она с каждым днем. Дома она еще могучая, полная авторитета дама, а на улице старушонка с кулачок. Мне до того ее жаль, когда она бежит, или устает, или болеет, что я готова реветь. Только ради нее я и делаю все, что мне приходится делать. Сейчас, например, я со страшной силой повышаю свою квалификацию (сколько «л»?), буду скоро писать диктовку и т. д. Мрачна я, как черт. Почти непереносима. Единственное, на что я еще способна — это сидеть, как сыч, в своем углу — благо он есть — и молчать. Молчу, как зверь. Наверное, если бы с вами встретилась, то говорила бы очень много. Так всегда бывает после долгого молчания. Завидую вам, что вы читаете. Я читаю только ненужное. Нужного — не могу. Все кажется, что опять проснусь и буду читать (хотя бы). Но вряд ли. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Это было недавно. Если б у меня было достаточно денег, наверное, так и было бы. Но именно нищета спасает меня от этого.

Да, в порядке этой самой классификац<ии>, то есть квали... мне недавно пришлось впервые в жизни прочесть Тургенева. Т.е. не все, а кое-что. И мне понравилось, как он говорит, что собака улыбается. Это ведь верно. Я вспомнила вас. Других мыслей этот очеркист во мне, разумеется, не пробудил.

Про Гете. Я болела им недавно. И знаете чем: fromme Hand wird Nahrung zeigen*. Почему-то действовало невыразимо и каждый раз. Да, как у вас отношения с По? Он у меня есть. Стихи. Они чудесны. И их очень мало. Горсточка. Хотите, я вам его пришлю в гости. Когда вы им упьетесь, вы мне его пришлете обратно. Я все-таки не могу без него жить. Книжки можно посылать

* Благочестивая рука подаст пищу (нем.). — Строка из стихотворения Гете «Арфист» («Harfenspieler») — см. роман «Годы учения Вильгельма Мейстера». Н. Я. Мандельштам допустила ошибку: в оригинале не «zeigen», а «reichen».

заказной бандеролью. Я мечтала стащить в местной библиотеке чудесного Стивенсона («Клуб самоубийц») — изящнейшую прозу. Но ее уже кто-то спер. А сейчас я богата только Эдгаром и была бы рада, если бы вы тоже насладились горсточкой его стихов. Напишите. Видите, какая я добрая.

Господи, если б вы только знали, как мне бывает страшно. Я хочу, чтобы со мной жила собака, но мама не позволяет. Она хотела взять у соседней котенка, но он, слава богу, подох.

Анна Андреевна была в Москве и рыдала на Жениной груди. На этот раз она откровенно сказала, что боится ко мне заезжать. А я боюсь, что у старушки не мания преследования, а мания величия. Похоже? Потом, она уже третий год переживает любовь, а это в ее возрасте очень вредно. Про Эмку согласна. Она бесспорная дура. Я всегда сержусь на маму, когда она делит людей по категориям — на умных и глупых. Но для Эмочки надо сделать исключение: она просто священная дура. Это ее чин. И притом литературный. Выпьем, Борис, с вами за лермонтоведку. 16-го в девять вечера по московскому времени — по стакану воды. О чем я ее извещу по приезде моем в июле в Москву. Не забудьте и сообщите о выполнении. На всякий случай — если 16-ого забудете, то второй стакан в то же время 20-ого. Только не спутайте и не выпейте водки. Водку уж мы за что-нибудь другое — вместе. Хорошо? За Эмку водой и, чтоб она не простудилась — кипяченой. Есть?

Вот, Борис, жизнь. А игрушки делать нельзя. Их никто не покупает. Так что мне надо беречь свою не игрушечную работу. Она сейчас более уместна. Лишь бы меня не выгнали.

Получили ли вы мое письмо, которое я написала, когда мама поправлялась? Я обычно помню, когда я опускаю письмо в ящик, а теперь забыла.

Целую вас, родной.

Надя.

1.VI.[1941]. [Калинин].

Боренька!

Я пишу вам на ходу. Сейчас период экзаменов, и нет буквально секунды передышки.

Процесс моего изъятия из школы кончен. Еще 2—3 дня, и я уже не учитель. Это и хорошо, и плохо. Надо кормить маму. Главное, она любит дорогие предметы: молоко, булку, творог и т. д.

Вынуждена ломать голову дальше, но не знаю, как ее ломать и, т<ак> ск<азать>, «куда». Устала в общем, как собака, и не придумать выхода.

По я вам пришлю в начале июня: как только освобожусь. Сейчас некогда даже сходить на почту.

Que faire? What have I to do? Was kann ich machen?*

В одном они правы: какая я учительница?

Н. М.

17.VI.[1941]. [Калинин].

У нас холодно, Борис. Нынче первый теплый день. Шура был у меня и выставил раму. Я оттого задержала вам ответ на день. Боренька, я вас сегодня очень люблю. То есть не подумайте, что только нынче. Просто сейчас у меня припадок нежности. Поцеловать бы вас, друг мой, да нельзя. Вы, наверное, уедете в Башкирию. Я очень этого хочу. Если б не мама, я бы поехала учительствовать в какую-нибудь Уфу, поближе к вам. У меня были бы деньги, и мы бы цвели с вами, как в лучшие годы, лет сто тому назад.

Боренька, я по вашему письму чувствую, какой вы стали нервный, мнительный и противный. Руся — ангел, что терпит вас. Передайте ей это. Я тоже вас терплю, но это объясняется только многолетней привычкой и пламенной любовью. Две вещи весьма совместимые.

Эдгара По я вам сейчас не посылаю. Боюсь, что он заблудится. Передам его Русе в Москве. Напишите мне ее телефон. Я буду (но не наверное) в Москве в конце июня. Вопрос не решен. Этот старик должен быть вами любим.

Вы знаете, я, оказывается, мучительно привыкла к музыке. Мне ее не хватает (по-современному «нехватает» пишется вместе. Возможно ли это? Факт!) до слез. На днях услышала странные звуки: похоже на все любимое — и не то. Очень старомодное, нежное и вместе с тем современное. Это были вещи безумного

* Что делать? (фр., англ., нем.)

старика Гедике, который за свою долгую жизнь помешался на Бахе, никуда уйти не может — и — не подражая никому — вошел в чужое время и там живет. Он тронул меня, этот безумец. И я вспомнила, что в Ленинграде живет другой сумасшедший (я его не знаю, но только слышала о нем и полюбила его), который больше всех книг любит «Алису» и собрал на пластинках громадную звукоотеку из всех предшественников Баха⁶².

Когда я говорю про музыку, я вспоминаю про ослицу. Это так и есть.

О себе, Борис. Кормление мамы не механическая вещь. Для того, чтобы мама ела, у меня должно быть столько же, если не больше, чем у нее. Женя отнюдь от мамы не отрекается. Если в период последних лет у меня с ним были трудные отношения, то сейчас их нет. И в смысле всяких помощей он очень мил. Бюджет у него дырявый. Вообще серьезно относиться к его карману трудно. Но он все время помогает. В цифрах это в среднем рублей 200 в месяц. Пока мама жила одна, он давал ей меньше, на что я сердилась. Сейчас это весьма реальная помощь, когда я крепко подрабатываю. (Вряд ли он и способен на большее, хотя все время мечтает и обещает.) Таким образом, забота о кормлении мамы не решена, если я нища. Тем более, что мама умеет себе отказывать во всем, но многого хочет. И я хочу, чтобы у нее было все. Женька живет отдельно, и статистически все хорошо. А без статистики, старушки обожают молоко, сладкое и всякие нерациональные вещи, в которых я не могу ей отказать. И дрова. Они любят, чтобы было тепло. Мне лично совсем не нужно хорошо или лучше жить. Калинин — грандиозный город — для меня. Чересчур велик. Мне-то все равно. Она не хочет двигаться. Я не хочу лучше. Я согласна хуже. Мне совершенно все равно, где жить. Все дело в ней. Историю со школой я перенесла совершенно спокойно. Меня беспокоят — слегка — кой-какие бытовые осложнения, и я ужасно жалею, что нет вас — вы бы мне сказали, как поступить. Может, вы успеете мне написать хотя бы на адрес Жени. (Вы увидите по числам. С 27 — я в Москве.) Я сделаю так, как вы решите. А вот проблема. Я ушла (не вдаваясь в подробности) из школы, потому, что недостаточно квалифицирована. У меня нет бумаги, на которой написано, что я имею право преподавать. (Иначе нельзя было остаться.) Думая, что я останусь в школе, я подала заявление в заочный английский вуз. Он четырехлетний, но его можно кончить в два

года. Это дает право преподавания везде — вплоть до вузов. В смысле языков (всех трех) — я в провинции вне конкуренции. Мои знания, т. е., что я свободно болтаю — именно это — вызывает восторг. (Я лично этого никогда не ценила.)

И вот сейчас, когда разразилась драма, все вокруг меня — не мои — я Женю не видела, а Шура думал только о своей Кармен* — т. е. мой директор, завуч и прочие люди (они хорошо ко мне относятся и отстаивали меня, как могли), учителя, в том числе один монгол, с которым я почти дружу (за красоту — люблю эти невероятные лица) — настаивают, чтобы я держала экзамены и провела всю волюнку.

Их доводы:

1) Рядовая служба мне даст 180—200 р. Получить ее сейчас очень трудно.

2) До 1 августа я педагог в отпуску — т. е. буду принята в вуз в первую очередь. Это единственный шанс, которого потом у меня не будет.

3) Как только у меня будет бумага о 3 курсах на руках — я смогу требовать работу (ожидаются спец<иальные> женские и мальч<иковые> школы, повышение ставок); условия работы 18 часов в неделю, 2 месяца отпуска.

4) Нужда в «иностранцах» в Калинин смягчена только потому, что здесь есть свой иностранный и <нститу>т. А, скажем, Калуга, Кострома и т. д., и т. д. — учителей не хватает, и их будет мало в течение долгих лет. Знание языка меня выделяет. Я могу попасть и попаду к взрослым (техникум, вуз и т. д.). Есть еще абсолютно дефицитный товар — латынь, языковедение, которые дает вуз. Кончая вуз, я имею перспективы на более ни менее спокойную работу, специальность и т. д. Если бы у меня были документы о спец<иальном> образовании, меня и сейчас бы не съели. Я съедена по совокупности. В конце я объяснила. Так все говорят. Это доводы «за». Не мои. А вот мои.

1) Мне все равно, как жить и что делать. Моя приятельница, которая из таких же худших исходных позиций и в том же возрасте кончила вуз и едет сейчас преподавать язык, имеет 2 детей. У меня есть мама. Но мне трудно думать о том, что будет потом (минимум на два года вперед).

2) Мне невероятно тяжело проявлять цепкость и энергию.

* Элеонора Самойловна Гурвич.

3) Кроме языковедения, англ<ийского>, латыни, истории языка — вещей мне приятных, которыми я могу заниматься при любых обст<оательст>вах, называется это вуз или иначе, есть масса предметов, для меня трудных.

4) Что-то мне нужно кончить, чтобы получить самую рядовую работу. Напр<имер>, бухгалтерские курсы (500 р. за курс; 5 месяцев; ставка 300—400 р.; 8 час<ов> раб<оты>). Либо — но это глупо — сестринские курсы (мне это приятнее всего) — но 2 года — 180 р. в мес<яц> — бред.

Мой калининский подработок — игрушки. Артель лопается. Занятие очень подходящее, но на них нет спросу, и я месяцами не имела зимой ничего. Запах эфирного лака — очень вреден. На себе приходится таскать страшные тяжести. (Я их обожаю.)

Итак: 1) Кой-какая службишка, артель, что угодно — года на 2 и вуз;

2) Бухгалтерские курсы.

3) Просто работа от удачи к удаче — сейчас, например, артель. Подумайте обо мне. И помните, что я не могу быть энергичной дамой. Сейчас, например, при вступлении сдавать литературу. (Пушкин, Некрасов, Тургенев и т. д., и т. д.).

Поймите, что я не могу быть цепкой, что мне жалко свою память (которая, вообще говоря, не хуже, чем в 20 лет). Учтите: мой еврейский дух толкает меня к «получше», к «полегче», моя восточная природа запрещает мне выходить из своей комнаты и говорить то, что мне сказать не дано. Еще: я хочу, чтобы моя теперешняя жизнь была концом прежней. Чтобы она была молчанием. Так должно быть. Какое право идти во вторую жизнь, рачищая себе местечко помягче. Наконец, кто знает, может, все усилия будут бесплодны. (Помните про совокупность. Уход из школы был бурный). 2 года такой громадный срок. Я оскорбляю свою восточную природу, не пристроив знакомую вам энергичную еврейку. (Когда я была бешено активна раньше — то никогда ради себя — только спасая Осю и оттягивая на годы его, с первого часа, неизбежную гибель).

Наконец, последнее. У меня абсолютно нет личных интересов (есть пристрастия — несколько вещей Шекспира). Единственное, что у меня от себя (все, чем я жила, было Осино), что может вызвать мой личный, живой интерес — это языковедение. Книга об «ing-fort» может меня отвлечь от всего. Я жадно читала Сепира. Как

роман — (тьфу-тьфу). За эти годы я повозилась с Марром. (Вы были неосторожны, когда мотали головой). Научные грамматика — замечательная вещь. История языка — тоже. Отказываясь от вуза, я отказываюсь от возможности возиться с этими грамматиками, т.к. бухгалтерская, скажем, служба, вещь серьезная. Но я не могу начинать жизнь сначала. «А поутру она вновь улыбалась»⁶³... И чересчур долго жить я не мечтаю. Мне 40 лет. Я старо-молодая, как сказал Шура. Еще раз. Вы удивлялись А<нне> А<ндреевне>, что она собирается выступать. А я-то? Это в тысячу раз труднее и мучительнее. У нее — это как бы высший долг. А у меня никакого высшего долга, а именно — цепкость. И все, кто гонит меня на эту деловитость — знают только меня 40—41 г., либо прямо заинтересованы в моем благополучии (моя прият<ельница> — Ел<ена> Мих<айловна> и др.) (а оно не так уж верно).

Что мне делать?

Я так привыкла слушаться (хотя бы и строптиво), что должно, чтобы кто-нибудь за меня решил. Для Жени дело будет просто: что тебе мешает? Эта нелепая проблема решится в ближайшие дни, и я очень прошу — напишите.

(Весь заочный вуз, к вашему сведению, седой. Молодежь в очках. Это стариковское дело. Я буду самой молодой.)

Боренька, я, кажется, в первый раз спрашиваю у вас, что мне делать. Мне так все это противно, что сил нет. 8 часов в день, 18 в неделю — это, т<ак> ск<азать>, премия за все.

Мне стыдно, что я думаю о себе. Все было случайно. И я хотела бы, чтобы и дальше было так. В каком случае я себе скорей разобью голову, я не знаю. Я никогда не писала и не говорила столько о себе. Эта чепуха превращается в проблему именно потому, что не может и не должно быть второй жизни и бешеной энергии. Игрушки при 12 часах работы никогда не вызывали морального отпора. Но восточная порода научила меня безропотно терять зубы. Их осталось очень мало. Я хочу спать. Напишите. Думаю, что буду делать игрушки и уморю маму.

Целую вас. Простите. Надя.

Будущее при вузе может дать мне фигу, провинцию, либо Калинин, либо центр, спокойную профессию (латынь в вузе, либо язык в техник<уме>), беспокойную профессию (школа — язык). Все, кроме первого случая, сейчас материально обеспечивает. 18 часов — против 8 часов.

Уход из школы был тяжелый и бурный. Полагаю, что играло роль все. Формально: мои ученики плохо знают язык. Я немедленно согласилась и объяснила это своей необразованностью.

Но непосредственное начальство утверждает, что получи я завтра бумагу об образовании и положи ее на стол снимавшему меня инспектору — он тотчас направит меня на работу. При таком положении — все хорошо, т.к. есть оправдание в виде документа. Даже при уменьшении старших классов и росте спецов, профессия пока дефицитна (не в Калинин). В прошлом году — просто хваталась за каждого человека.

Бухгалтерия сейчас очень трудна — в смысле всякой ответственности. Но очень много объявлений в газете — ищут бухгалтера — в отъезд и здесь. Денег меньше. 8 часов.

Еще раз: 1) Меня сняли. Моей подруге дали назначение. Ее положение хуже, но у нее есть вуз. У меня нет. (Это в смысле перспектив в будущем.)

2) Рядовая служба — и бухгалтерия — способствуют расшатыванию зубов.

3) Среди обычных выходов из положения преподавание языков — вещь неплохая, хотя бы потому, что уроков мало; 18 часов в неделю больше дают, чем 48 других.

4) Я не знаю, даст ли мне вуз возможность устроиться здесь (через 2 года). В провинцию (при вузе), наверное, могла бы ехать и сейчас (большая нужда в учителях), но мама и слышать не хочет.

5) Что я буду здесь делать и как биться — не знаю. Без профессии очень трудно, сейчас очень ценят образование.

6) Женя помогает, но я в него не верю.

7) В школе работать очень трудно и нервно. С взрослыми — очень легко.

8) Через 2 года, может, я и в провинцию не попаду со всеми вузами.

9) Заявление о вузе я подала, потому что иначе нельзя было. Все старушки это сделали.

10) Продолжая работать, я бы не сомневалась, что стоит все это проделать (но выла и плакала по ночам). Я даже не могу проверить, отправят ли меня сейчас на работу в р<айо>н, вдруг ухватятся и пошлют, а мама не хочет. Так может быть. Там я, может, хороша.

11) Плоха-то я плоха, но почему именно я плоха?

12) Языковедение очень успокоительно.

Я хотела утром порвать письмо: чего это я еще рассоветовалась. Глупо. Но плюнула и послала. Идиотка. — Я. Се је.

[Между 22.VI и 3.VIII. 1941 г., Калинин].

Боренька, голубчик. Нынче, открыв ваше письмо, увидела обращение: «Дорогая Руся»... Вложила письмо в конверт и задумалась, что с ним делать. Сначала хотела переслать его обратно вам. Потом решила, что, может, мне его будет легче переслать. Но адреса не могу найти. Срочно пришлите мне его.

Признаться, я чуть не заплакала за вас, милый. Вы так, наверное, хотели, чтобы дошло письмо, а оно по нелепой случайности не попало по адресу. Пишите, милый, адрес.

Дни очень тяжелые. Живу от сводки к сводке. Слышала в 6.30 утра речь Сталина. Ловлю каждое слово. Очень жалею, что у вас нет радио. Сейчас без радио жить очень трудно. Единственное удовлетворение — работа в сандружине. Пока теоретическая. На днях начну работать в госпитале. Хотела бы вообще остаться в госпитале. Необходимо быть ближе к войне, чем-то помогать бойцам — т. е. не чем-то, а всем, чем можешь.

Я знаю, что эта война — конец Гитлера и фашизма. Я помню, как всегда ненавидел Ося фашизм. Борис, какие это страшные и прекрасные дни.

Я рада, что мама очень храбрая и хочет того же, что я: разгрома фашистов. Мне очень трудно ее удерживать. Она хочет что-то делать. Тоже рвалась в госпиталь. Потом испугалась, что про нее расскажут по радио — и удалось ее удержать. Хорошая старуха.

Борюшка, бог знает, увидимся ли мы. Целую вас, мой родной, милый Борис.

Ваша Надя.

Срочно напишите адрес Руси.

Милый мой! Увидимся ли мы? Как дальше пойдет жизнь? Сегодня? Завтра?

3.VIII.<41>. [Калинин].

Боренька! Очень обрадовалась вашему письму. Письма от Жени и Лены приходят так неаккуратно, что я изверилась в письмах. Но они никогда вовремя не отвечали и делали вид, что так и нужно. Пишите лучше всего открытки. Ведь, главное, я хочу знать, что вы живы и здоровы. Сегодня отправлю ваше письмо Русе. (Ариадна Валерьяновна — правильно?). У нас благополучно. Я работаю в той артели, где я раньше делала игрушки, кладовщиком. Рабочие хвалят меня за грамотность, и я это ценю. Я так же, как и вы, твердо верю, что эта война — конец фашизму, который я ненавижу всеми силами своей души. Все время слушаю радио. Вчера среди писем на фронт (по радио) — неожиданно получила весть от Сони Вишневецкой. Она передавала мужу на фронт, что получила партийный билет. Какой подъем вызвала война! Вот и все как будто, дружок. Целую вас.

Жду вестей. Надя.

[30.IX.1941, Пахтакорон]*.

Борис! Уже двадцать дней я в дороге. Эшелон везет нас с мамой в Бухару. Там нас высадят и определят, где кто будет работать. Тогда, очевидно, узнаю свой адрес. Вам, верно, напишет Женя узнать про меня. Буду вам писать. Хотела ехать к Наташе, но не удалось. Надя.

Если у вас есть кто-нибудь в Бухаре — напишите ему про меня.

21.XI.[1941]. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

Боренька! Сейчас уходит почта. Пишу только свой адрес: Джамбульская область, село Михайловка. Колхоз Красная Заря, дом Колесниковой. Надя. Что с вами? Где ваши — Оля, Руся? Не писал ли вам мой Женя?

* Пахтакорон — поселок и ж.д. станция в Таджикистане.

15.XII.[1941]. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

Боренька! Получила вашу открытку. Это первая весть от своих. С Муйнако* я удрада, пробыла<ла> месяц, испугавшись песков, замерзающего моря и маминой желудочной болезни, не проходящей из-за воды.

В Джамбульской живут люди сытно и хорошо. Но наше положение не веселое. Распределены по домам колхозников. Мы — гости, которые никому не доставляют удовольствия. Работы до весны нет. Весной — колхозная. Деньги, взятые из дому, прожиты. Меняю барахло на хлеб. Пока держусь. Хочу все-таки сделать попытку как-либо зацепиться за жизнь. Надо попробовать съездить в Алма-Ату. Если вы поедете в командировку, сообщите мне — встретимся. Нет ли у вас там кого-нибудь?

От Жени нет ничего. Что с ним, не знаю. Мобилизован он, или эвакуирован — не знаю.

Если б я могла подумать, что Оля и Руся не у вас, я бы поехала к вам и устраивалась бы где-нибудь в вашем районе. Как случилось, что Оля не эвакуирована? Где же Сережа?

Рада, что вы на месте. Все-таки твердая точка на земле — то место, где вы топчете землю. Помня о вас, положила в вещи две-три книги. Если можно будет, пошлю их бандеролью, но лучше подарю вам, когда встретимся в Алма-Ате. Неужели у вас нет эвакуированных. Их всюду полно.

Целую вас. Ваша Надя.

Пишите: дом Матрены Колесниковой.
Курью самосад. А вы?

29.XII.<1941>. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

Борис! Очень вас прошу: если кто-нибудь из ваших в Москве, пусть позвонит на Женину квартиру — К-4-31-66. Может, что-нибудь узнает. Я от него ничего не имею. Мы договорились через вас искать друг друга. Если на квартире у Жени никого нет, попросите позвонить Вишневецким (телефон в книжке или

* Муйнак — полуостров и поселок в Узбекистане.

на справочной) — Софье Касьяновне; либо Светлову (спросить про Лену — они работают в одном театре), Шкловскому (Виктор Борисович), Эренбургу (Любовь Михайловна). Может, кто-нибудь знает, где они. Очень тяжело. Ничего не знаю об них. Очень беспокоюсь. Что делать? Как узнать? Главное, Женя. Может, он в Армии. Может, он уж не жив.

До маминого сознания это не доходит. Она живет текущей минутой: т. е. сейчас той здорово трудной обстановкой, в которой мы живем. Бродит она, как тень, по хате, безумеет от шума и все-таки физически здорова. В дороге болела. Дает фантастические советы, и очень упрямо дает. Часто их нельзя понять. Мне тяжело все — и Женя, и тяжесть маминой жизни — все больно.

Целую вас, Борис.

Надя.

1942 год

12.I.42. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

Боренька! Здесь нет открыток — только этим объясняется закрытое письмо.

Вы напрасно меня ругаете: адрес правильный и все дошло: Михайловка — районный центр: большое село в 12 км. от Джамбула. Район — Свердловский; а станция ж<елезной> д<ороги> — Уч-Булак. Зимы нынче нет, хотя вообще, говорят, бывает довольно крепкая. Цены высокие, но, как говорят, дешевле, чем всюду. (Мука — 110; картошка — 40; масло — 30 р. фунт). Все есть и в изобилии — были б деньги или барахло. Обменом я занимаюсь очень энергично. Но это кончается.

От Жени я получила открытку накануне вашего письма. А вместе с вашей открыткой пришло письмо от Ирмы — Жениной соседки по квартире. Всех вас хотела расцеловать.

Какую перемену мне принесет то, что нашелся Женя — не знаю. Может быть, он возьмет маму. Тогда я поеду к вам. Но этого, конечно, не будет.

Через месяц начнется колхозная работа. Хороша я буду на свекле, со своими геркулесовыми силами. Ох-охо!

Пишите, Боренька. Скучаю по вас. Помните, если поедете в Алма-Ату, сообщите: я выеду.

Надя.

С новым годом.

Что-то он принесет? Я верю, что только хорошее. Подлежите ли вы переучету?

10.1.[1942]. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

Боренька! Вчера получила ваше письмо. Сколько дней его возил в кармане почтальон — не знаю. Наверное, долго. Пишите мне, пожалуйста, до востребования на тот же знаменитый адрес. Я ознакомилась с местными обычаями и поняла, что иначе писем получать не будешь: почтарь ездит по селу на осле — причем в самое разное время — и всякий, кто его увидит, разбирает почту и выбирает для себя подходящие письма.

Что пишут ваши? Что Оля и Руся не уехали — я понимаю. Из Москвы я бы тоже не уехала. Но Сережа. Детей отправляли с первых дней. Они часто уезжали со школами без родителей. Неужели он все время в Москве? А Русина мать? Она могла уехать с ней, если бы хотела. Права, что не уехала. Я не могла остаться — Калинин ведь был, как вы знаете по газетам, в немецких руках. Но я жалею, что уехала далеко. Надо было отъехать куда-нибудь, поблизости, по области, и там ждать освобождения. Далеко я уехала по инерции и отчасти из-за мамы, и все обернулось очень тяжело. Если Женя сейчас не проявит непривычной для него энергии, то вряд ли выжить. А, впрочем, я двужильная. Вы надеетесь сейчас на скорую встречу. Сначала и я в нее верила. Теперь — нет. Разве что я приеду к вам, т.к. сыпняка я не боюсь. Может, и приеду, когда-нибудь. Целую вас. Надя.

25.1.[1942]. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

Боренька! Вот уж две открытки извещают меня о том, что Женя нашел меня, а я, кроме первой открытки, от него ничего не получила. (От вас письма идут хорошо: адрес правильный). Женя не пишет. Что с ним, я не знаю — болен, мобилизован, вернулся в Москву. Очень тяжело. А может, не пишет просто так, потому что не знает, что написать. Послала две телеграммы, зная, что ответа не получу. Мама очень тоскует и выдумывает каждый день новый вариант Жениного молчания. Все фантастичны беспредельно. Я злюсь.

Вообще очень трудно. Особенно тяжело смотреть на маму. Она ничего не понимает, но плохо ей очень.

В нашей хате — хозяйка-красноармейка и трое детей, поросяенок (очень воняет), кошка; был теленок, но переехал ввиду тепла во двор.

Хуже всего семилетний мальчишка Ленька. Мы находимся в полной его власти. Время от времени, украдкой, я его колочу. Но ему плевать: он поет через три минуты после самой жесткой материнской трепки.

В своем существовании, даже таком суровом, как нынешнее, я нахожу кой-какой смысл. Я все же интересуюсь жизнью, радуюсь новым впечатлениям и величию событий. Но бедная мама запуталась и только хнычет. Что же с Женькой? Если б вы знали, как это тяжело.

В Ташкенте — Анна Андреевна, в Алма-Ате, как я узнала от вас — Шкловский. Я по-прежнему живу на дороге между ними и не вижу их. И не хочу. Хочу видеть только вас и Женю. Борька мой, я не верю, что это будет скоро. Через сто лет увижу ли я вас, мой милый? Я обниму вас тогда и поцелую. Скажу: здравствуйте, Боренька. Вот мы опять вместе. Если б я умерла, мы бы не увиделись. Правда?

Надя.

Меня укусила цепная собака в ногу — вечером. Нога распухла и малиновая. Врач необходим, т.к. нет ни одной чистой тряпки. Но он за 6 километров. Дайте совет, что делать.

У меня есть жених-казак. Он предлагал моей хозяйке достать угля, если она его со мной познакомит.

Это уже второй жених за дорогу.

30.1.[1942]. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

Боренька! Получила вчера ваше письмо. А сон к письму был такой: в старой нашей киевской квартире в громадной передней стоите вы — вас двое; как-то вы раздвоились на себя и на старого моего одного приятеля. Я плачу, целую вас, жалею, что моего брата Шуру, о котором я вам никогда ничего не говорила, увезли в больницу. (Он болел сыпняком). С удивлением замечаю, что говорю вам ты. И говорю вам: Ведь ты ж не Женя. Женя в Ташкенте. Я так и запуталась и не могла во сне выяснить нашего родства. А

вы ушли со вторым собой в гости, а я — хоть меня и звали — не пошла. Вы подмигнули, чтоб я не шла. Вы верно шли к Евг<ению> Серг<еевичу>.

От Жени письмо получила. Он это время просто думал, как быть; и от Наташи получила — она в Воронеже, куда я ехала, но куда уже никого не пускали. Вчера работала в первый раз в колхозе. Еще регулярной работы нет. Первый мой трудовень заребтан на переборке гнилой картошки. Легко, но скучно. Дальше идет чистка арыков. Я рассмеялась Олиной профессией. Этим я уже занималась в Калининe. А Руся — это я понимаю! — окон еще не вставляла: это уже настоящее ремесло. Если у нее есть рама, чтоб носить стекла, и алмаз, то я умираю от зависти.

Мне очень интересно, чем занимается Анна Андр<еевна> (она в Ташкенте) и с кем она. Но Женя ничего не пишет. Руся говорила, что ей нравится ваша Галя. Наверное, вы все с ней не умеете обращаться. Передайте Русе от меня привет. Скажите, что я ей завидую.

Боренька, жизнь идет дальше, и лет через пятьдесят — свеженькие и румяные мы с вами встретимся где-нибудь на Кузнецком и пойдем есть сбитые сливки в кафе на Столешниковом. Я, Боренька, тоже бы к вам приехала. Хоть бы поговорила с вами. Такая ведь тоска. А нельзя никак. Женя не ответил мне ни на одно из моих предложений. Я и не знаю, как он живет. Целую вас, Боря.

Надя.

Как вам нравится форма моего письма⁶⁴?

12.II.[1942]. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

Борис! от вас давно нет писем. Я уж соскучилась. Напишите, как живете и что делаете. Скоро начнется работа в колхозе и мой расцвет. Пока упражняюсь: колю дрова; ношу воду; недавно сплила с хозяйкой яблоню. Зрелище ужасное. Женя все же написал письмо. Даже деньги получила от него, на которые купила пуд муки. В хате живет: хозяйка с тремя детьми, мы и трое поросят. Самый шумный старший мальчишка — 7 лет. Кошку я не считаю: она очень вежливая. Мама обожает детей. Я — нет. Когда они засыпают, все равно ничего нельзя делать, потому что нет света. Я

устала до начала работы и чуть не вышла замуж за казака-стрелочника. Он получает 2 кило хлеба. Но испугалась, что он будет петь песни, и раздумала. Белые женщины здесь в большой моде. Почтенный возраст не служит препятствием к браку. Надеюсь найти жениха маме. Пью денатурат, т.к. он очень дешев; курю — фигу. Стала немного сумасшедшей, но это ничего.

Целую вас. Надя.

Почтальон переменялся; можно писать на адрес: дом Колесниковой.

Моя Михайловка в 12 км. от Джамбула. Адрес мне дал почтарь: а у него усы и опыт. Район Свердловский. Я вам давно писала. Колхоз от Михайловки в 5 километрах. Михайловка — наша столица: там базар.

20.II.<42>. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

Борюшка, получила сразу оба ваших письма и очень радовалась. Открывать письма, конечно, жутковато. Но потом, когда узнаешь, что все в порядке — т.е. как раньше, то всегда очень рад.

Боренька, я не сумасшедшая. Ваши подозрения — напрасны. Моя прекрасная калининская приятельница, Елена Мих<айловна>, которую я никак не могу разыскать, засвидетельствует вам, что я сумасшедшей и не была. Глуповата, но не психовата. Меня с первых дней интересовала лишь одна проблема: когда мы с вами увидимся. Больше ничего. Что же касается моих слов и выражений, то так надо. Надо уметь изящно писать письма. Люблю вас, Боренька, и хочу вас видеть в вашей квартире, среди ваших и т.д. Пора вам остепениться и прекратить холостяцкую жизнь. Вот, мой Боренька, и все. Правда, пора? У вас опять Бах? У меня с Шекспиром не ладится. Шум. Вечный крик и детский рев. Чудовищные условия — общее жилье: 3 детей и 2 поросят. Это почти непереносимо. Хозяйка — женщина хорошая и разумная, но мне воли не дает — воду таскаю; дрова рублю; пилить я не умею. Я так вихляла пилой, что она не выдержала. Это хорошо. Почему вы меня не научили в Старом Крыму пилить? Я бы пошла в пильщики.

Но, милый, как тяжело переносить вечный крик и шум. Только ночью сравнительно спокойно, но тогда темно. Свет — отвратительная лампочка — керосин есть. Трудно и с хлебом. Мы покупаем муку. Почему она у вас? Печем хлеб, который называется перепечками и совсем мне не нравится. Бог мой, какой крик! Пришла хозяйка. Этого, пожалуй, выдержать нельзя. Наступило успокоение. Нынче я зарабатывала третий трудовень в колхозе. Было это нелегко (вела ячмень), а считается, что это самая легкая работа. Одновременно с вашими письмами пришло довольно грустное письмо от Жени. Он, не трепля, честно и грустно признается в своем бессилии. Так лучше. Особенно для мамы. А то она стала чересчур гордой и очень меня заедала. Моя мама совсем не кроткая. Вы знаете, я никогда не понимала, откуда взялась Галинина дурь при вашей маме. Но бунт моей Ани и Шуры — покойного брата — против мамы был вполне оправдан. Это крошечная, куклоподобная старушка очень болела в дороге, и я просто изнывала от жалости. Теперь она поправилась вполне и показала коготки: я не работаю — следовательно, я не человек. Мы по ее безумному настоянию протащили за собой из Кал<инина> швейную машину. Все съедено, кроме этой машины, и она ее охраняет. Но как, бог мой. Чего только при этом не говорится. Бог с ней, но она всегда была такая. Еще трудно в этой дикой обстановке, что она непрерывно заедает мальчишку хозяйки. Мальчишка отвратительный, но если его грызть, то он огрызается, и от шума можно сойти с ума. И смех, и горе.

А я мальчишку усмиряю грубой ложью. Обещаю ему, например, позвать бабу-ягу, если он будет молчать два часа подряд и т. п. Он молчит и от молчанья засыпает. Так было сейчас — поэтому я могу вам дописать письмо. Оно было прервано: хозяйка велела топить печь. Затем, схватив младшего, убежала в гости (они здесь все такие). Ленка бесился. Потом заснул. А я вернулась к вам. Помните, Иаков 7 лет служил за Рахиль. Я батрачу без всякой Рахили. Но если бы не та тетрабочка со стихами, я бы куда-то двинулась и нигде бы не батрачила. Вечером, когда хозяйки нет дома, я — прямо в печку твержу стихи. Боже, прости меня за все. Я хочу спать. Целую моего друга — Бориса Сергеевича. Ваша Надя.

Я только завтра как следует прочту ваши письма. Вчера он<и> пришл<и> в темноте. Нынче — от зари до зари на работе. А при фонаре легче писать, чем читать. Я прочла, но читать буду завтра — вволю — на улице, в тишине.

23.II.<42>. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

Боренька! я писала вам под такой шум, что ничего не успела сказать. Вот главное: 1) если я вас увижу с усами, я умру. Еще у Мопассана есть теория усов, как необыкновенно эротического предмета. Они у вас, наверное, свисают и на концах завиты. Милый, милый, сбейте их скорее.

Дело второе — пришлите Катуллов перевод: но так — подлинник, пушкинский перевод, которого я не помню, и ваш. У меня чересчур много реальности, вроде очень большой физической усталости. Капельки нереального необыкновенно прекрасны: мой По, которого я вам везла и сейчас твержу, чудные формы языка, который я продолжала все время изучать (этим занимаюсь в свободные секунды и сейчас), а особенно абсолютный причастный оборот; в переводе на русский — «зарезавши свинью, ветер становился сильнее». Как видите, мои интересы отражаются на стилистике. Свиной режут соседи, но сала я не вижу, а ветер дует прямо в зад.

О моих семейных делах: у Жени — козырь: злая жена. Маме очень худо со мной: она не то батрачка, не то нянька. Что уж ей делать: она и мечтает о любимом сыне. Очень любит работу и радуется, когда меня вызывают в колхоз. У меня болят плечи, но я получила 1/2 пуда пшеницы.

Женя все писал, что пробует устроить меня в Ташкенте. Оказалось, что он действует через Лиду Чуковскую — дочь Корнея. Более льстивых, лживых, фальшивых людей вообще нет, а наш дурень попал на эту удочку. Тем временем я подала заявление о вступлении в колхоз. Боренька, нельзя жить одними письмами, но, боже, как я рада, когда получаю от вас письма. Милый, ведь это реальность: вы существуете на свете — и это счастье. Как хорошо, что Оля и Руся в Москве. По вчерашнему декрету площадь эвакуированных отбирается, а вещи продаются через комиссионные магазины. Зато здесь нам дадут все возможности для индивидуального строительства. Я выстрою себе дом из самана и возьму какого-нибудь оборвыша себе в примачи.

Боренька, по-моему, я вам писала, что мама обезумела от величия событий. Можете не беспокоиться, я в полной норме. Кроме того, как известно, у меня есть дар снижения, который

очень не одобряет Анна Андр<еевна>. Это очень полезно. Кроме того, хороша и полезна физическая работа на свежем воздухе. У нас весь февраль стоит зима. Боренька, ваша Оля прелестная женщина. Я ее хорошо помню. Самое лучшее в ней — ее немота. Настоящее женское молчание (с вами-то она, наверное, говорлива). Я все смотрю на маму и соображаю, что все, за что меня ругал Ося — все от мамы. В частности — хорошо подвешенный язык. Это очень худо.

Боже, дай мне каплю немоты. Борис, люблю вас, скучаю по вас. Целую вас, родной мой Боренька. Ваша Надька.

Боренька, есть еще кусочек белой бумаги, чтоб сказать вам: нельзя жить одними письмами, но слава богу, что еще есть почта и можно ждать дальней вести от братцев — Бориса и Жени. Целую, милый. Надя.

12.III.[1942]. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

Борюшка! Отчего нет писем от вас? Я уж беспокоюсь. Где ваш перевод? Послали ли вы его или вам не до него... Пишите, милый, скорее.

У нас уже лето. Работаю в колхозе. С непривычки болит все тело. На теперешней работе: чистке арыков — не заработаю ничего — делаю 1/10 нормы.

Трудно себе представить, что будет дальше, поэтому я не унываю и довольно весело задираю нос.

От Жени недавно было письмо. Я заплакала, прочитав его. Так ничего не понимает Женя и так легко объясняет: «ты сама понимаешь, что я не могу взять маму, раз я неустроен». А денег он тоже не мог послать — у него нету.

Сейчас прошло несколько дней, и я уже тоскую и мечтаю опять получить самое эгоистическое письмо — по крайней мере, узнать, что он жив и живет хорошо. Все, что мне нужно.

Пишите мне, Боренька, скорее. Очень трудно писать, когда нет надежды на встречу. Но какое счастье, что есть почта. Верно?

Ваша Надя.

16.III.<42>. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

Боренька, неужели пропало ласковое письмо? Ведь я ими не избалована. Как жаль. И перевод Катутла с подлинником и пушкинским текстом тоже не дошел. Пришлите мне их.

Теперь, Боренька, вы все попрекаете меня фразой из моего письма. Я, к счастью, помню контекст. Я писала: «Мама так потрясена величием событий, что больше уже ничего не понимает». Прошу проверить. Я всегда была против выдергивания цитат из текста, т.к. они теряют смысл. Верно? Жалейте маму, а не меня. У меня голова на месте.

Наконец, у меня не из чего резать конвертов. Я берегу каждый клочок бумаги и совершенно не способна отказывать людям. Это очень глупо. Но бумаги расходуется много. Что будет, когда мне не на чем будет писать писем.

Нынче пришло ваше второе письмо. Напишите мне обязательно, когда получите письмо от Руси. Я хорошо знаю, что значит вовремя не получить письма. Этим меня балует Женя, и я все никак не могу привыкнуть к его молчаниям, и меня вечно трясет лихорадка. К моменту, когда вы получите письмо, у вас уже, конечно, будут вести из Москвы.

Что до Оли, то из Москвы я бы ни за что не уехала. Лена умчалась и утащила за собой Женю. Теперь они сидят под одной ташкентской крышей и грызутся. Что делать с Женькой? Я его люблю, как вы Олю, но вам Оля нравится, а меня Женя приводит в отчаяние. Он сейчас ждет ответа от издательств — купят они у него книги или нет. Фактически он отказался от всякой помощи, я уж не говорю мне, но маме. А как мне прокормить маму своими колхозными трудоднями? Все пришло к концу, все продали, даже самое необходимое. А трудодней, что кот наплакал. Мне дико, что Женя не понимает одной простой вещи: если есть слабая женщина и слабый мужчина, то мужчина все же сильнее и должен по крайней мере делить трудности с женщиной. Он только болезненно сжимается и ждет, пугая Лену тем, что уедет искать счастья в колхоз, ко мне и т. д. Женька в сущности такой же больной человек, как наша Аня. Только не сразу это узнаешь. Если бы вы знали, как мне жаль маму.

Я полна пассивной энергии, т. е. делаю все, что мне велят. Есть работа посильная, но некоторые вещи просто непосильны. Я чувствую, что долго не протяну на чистке арыков, например. Но

хуже всего, что работа только начинается. Уже началась посевная. А нынче выпал снег.

Вы пишете мне во втором письме про свою маму. Я ее очень хорошо помню и прекрасно знаю разницу между нашими матерями. Я очень всегда хотела иметь простую добрую маму. Но этого не закажешь. Кому что бог дал. Мамин характер — ее невероятная настойчивость и самоуверенность, от которой кружится голова, тяжело дались двум старшим. А сейчас я с ужасом вижу, что все, чем я обижала Осю, что все, что я не люблю в себе, — ее прямое наследство. В Калининне это было не так заметно: меня по целым дням не было дома, и у меня были деньги. Трудно с мамой и другое — она все ищет предлогов для маниакальных идей — помогает хозяйка и хозяйские дети. Маленьких она вообще любит и хорошо с ними обращается, но со старшим (ему 7 лет) она ужасно обращается. И я вспоминаю, что точно так она разучилась жить с нами, когда мы подрастали. Но в молодости и в детстве меня было трудно вывести из себя: я была спокойна и равнодушна, как корова. Сейчас же угнетает зеркало — узнаю свои черты и огорчаюсь. Осю жалею, что была такая, как была, а не другая. Но все это чепуха и от безделия. Хороши Шекспировские сонеты? Но лучше всего хроники. Лучше я не знаю ничего. Гамлета я тоже не очень люблю. Но Макбета люблю наравне с хрониками. Читать я не могу: страшный шум и рев в хате. Но заниматься могу. У меня есть несколько книг, взятых, в сущности, для вас. Но живу я больше всего теорией англ<ийского> языка. Эти годы я почти все время занималась — одна и с Ел<еной> Мих<айлов-ной> — моей калининской приятельницей. Я много знаю теперь. Пришлите Катутла.

Целую вас, Борюшка. Не забывайте меня. Ваша Надя.

22.III.[1942]. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

Борис! Письмо пришло в блаженную минуту, когда я, благодаря здоровенному дождю, занималась не чистой арыков, а изучением условных предложений в английском языке в письме... Над последней фразой вашего письма я даже громко рассмеялась: до чего узнала и вас, и себя. Ведь я читала книги Энгельса с настоящим наслаждением: я здорово их теперь знаю.

Сейчас, как всегда, шумят дети. Практическая девочка 7 лет запрещает восьмилетнему дяде качать* пустые зыбки, иначе их хозяин — грудняшка — потеряет сон. Дети и милы, и невыносимы. Я понимаю в вас все, кроме любви к детям. Мне понятнее моя Елена Михайловна — мать двух очень красивых мальчиков, которая говорит, что она не любит никаких детей, кроме своих.

Я жалею вас, что вы без известий от Руси. Я знаю, как это тяжело. Но почему-то мне кажется, что она здорова и что все в порядке. Напишите, когда получите от нее письмо. А то вы заразили меня тревогой.

Мне кажется, что вы сейчас как-то особенно сильно чувствуете Олю. Должно быть, потому, что боитесь за нее. А ведь Женька тоже любит меня и ревнует ко всем. Его незаботливость — это его больной характер, от которого он сильнее всех страдает. А говорить он может только со мной. Оля хорошая, как моя Наташа, по которой я так скучаю. Я получила письмо от нее и теперь боюсь за нее. Она — моя ясная Наташа, младшая сестренка, которой у меня никогда не было. Я сейчас очень болезненно скучаю по людям, которых не вижу. Но одно из самых болезненных чувств — по женщине, вернее семье, которую вы никогда не знали и о которой я вам ничего не рассказывала — по людям, у которых я жила в Струнине. Формально — по квартирной хозяйке, фактически по чудным друзьям, от которых я видела столько ласки и доброты, как мало от кого. Мне больно думать, что если они уехали, мне никогда их не найти. Их фамилию я забыла: помню только ее девичью: Короткая. Она и была коротышка с долговязым мужем. Я помню случай: туда приехал Шура (о котором я сейчас ничего не знаю, кроме того, что он уехал в Ростов) с Шуриком. Они, ввиду моей нищеты, ели отдельно. А меня по неизвестной причине кормили хозяева. Шура, поужинав, предложил мне оставшееся несъеденным яйцом. Он объяснил, что ни он, ни Шурик есть не будут, и оно все равно испортится. Я вежливо ответила, что есть, спасибо, не хочу, а яйцо может сохраниться до завтра и т. п. Но тут я увидела сердитое лицо моей Марьи Алекс<...>. Она сняла крышку самовара и бахнула туда десяток яиц. А нам, т. е. мне, мужу и детям, сказала: погодите пить чай, раньше поужинать надо. И все семейство неожиданно, благодаря Шуриной бестактности, получило вместо обычной баланды роскошный ужин. Это мелочь. Но сколь-

* В оригинале ошибочно: «качаться».

ко было таких мелочей, каждый день и каждую секунду. Я всегда знала, что найду их, но все было так близко, что я не торопилась. А теперь я боюсь, что потеряла их навсегда. Мне некому рассказать о них. Но я так остро о них помню, что вышло так, что написала вам о чужом для вас.

О Катулле (я тоже вспомнила Семенова-Тяньш<анского> с его Горацием). Его любил Ося и все учил меня читать. Он говорил, что своими двумя-тремя неожиданными размерами он обязан Кат<улле>. Но читать меня не научил. Я очень бы хотела почитать его с вами. (Клятва, Сегодня дурной <день>.)⁶⁵

О переводе Пушкина. Мне кажется, античность Пушкина пропущена через призму Шенье. Не случайно Пушкин, невероятно точный в других переводах, здесь отступает от текста, делая своего Катулла, пропущенного через призму XVIII века. Поэтому пропущен вакхический суперлатив и призван на помощь трезвый Вакх. «Председательница оргии» — понятие, я думаю, греческое, восходящее к «чашу мне наполни, мальчик»⁶⁶ (Алкей это? нет...). Латинское юридическое наименование не улеглось в вакхическую лексику. Третья строчка у вас, мне кажется, замедляет все движение; зачем «вакховой»? Перед суперлативом еще одно замедление. Бег на месте. «Отсюда удались». Откуда? Почему нет точного определения? А вам не хотелось бы дать большую латинизацию синтаксиса? Вы никогда не думали о прозаических переводах стихов? Пример: Горбовский Дант⁶⁷. Чертова сила. Если попробуете, пришлите.

О прозаических переводах: с невероятной силой можно передать дух и даже ритм подлинника. И переводчик получает высокую радость. (Это знал Анненский).

25.III.[1942]. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

Борис! Трудно объяснить, какая оздоровляющая вещь стих Катулла. С тех пор, как он у меня, я все к нему возвращаюсь, и уже щекочет музыкально-стиховой анализ. Не знаю, сойдется ли он с вашим. Я, наверное, нагупила в прошлом письме. Но все же Пушкинский Катулл — Анакреон и Шенье — это не Катулл. Обидно, что я здорово забыла латынь. Я знаю, что она легко вспомнится.

Отчего бы нам не почитать Катулла? Вместе, по двум книжечкам. Чей Катулл у вас? Осин? В синей обложке? Я вот узнала, что Постумия не женщина, как я думала <по Пушкину>, а ягода, т. е. винограда. Зачем «вакховой»? Не лучше ли без разъясняющего определения. До чего не хватает в русском переводе — (вашем) — [у Пушкина не перевод, а на тему] — оскомины, созданной переливанием звуков «bg» — «с», «bgiо» — «siog», подготовленных бульканием кислоты во второй строке (пушкинское: «чāшу мне нāполни, мāльчик» — три «а» разного уровня). Слово «jubet» не жестче ли, чем «велят», да еще «нам». А не лучше ли было бы найти такое слово, которое заместит оба «jubet»; а второе ведь появилось в сумасшедшей оркестровке *abvos quojub — abive**. Старик Катулл был пьян. *Ad severos migrave* — конечно, мат. Вообще, у меня чувство, что вы стесняетесь в выражениях, чересчур пристойны. Последние два слова слиты в одно. Правда?

Почему «migrave» не «проваливай», не «убирайся»? Почему не дан повтор: «abive, migrave»? Это то, что я знаю по прозаическому переводу, если попадался настоящий текст. А это бывало. Был очень хорош Джойсов <нрзб.> O'Fowlain⁶⁸ и Мопассан. Я почти находила удовольствие в работе, которое даже Ося не решался портить, потому что выходило явно хорошо.

В стихах, мне кажется, филологическая игра — словесно-звуковой бес еще сильнее, и он-то, проклятый, может притянуть издали, из своей чертовой дали, хамское слово, не освященное литературной традицией, не укладывающееся в рамки академического смысла, от которой пьяный язык будет коснеть, заплетаться, матовать и лететь. *Nic megus est* (так?) *Thyoni anus...* Здесь ни в коем случае нет слияния. Правда?

Господи, Боря, что дальше...

Переводите Катулла прозой или стихами и посылайте мне. Я обожаю грамматики, а у меня нет латинской. Я не решаюсь вам послать приятнейшей, но все же миролюбивой, филологии Сепира; жалко будет, если она пропадет. И По тоже. Я его и не читаю, хотя он чудный.

Почему я не умерла молодой? До чего похабно быть красноносой худющей сорокалетней девкой; и, главное, несмотря на мой старый вид, мне присуща какая-то непочтенная молоджавость.

* Здесь и далее Н. Я. Мандельштам допускает неточности в написании латинских слов. В оригинале: *at vos, abite, migrate.*

Меня не боятся дети, бригадиры посылают меня на самую трудную работу, а собаки кусают.

Я больше не люблю собак. Дважды укушенная собаками, я узнала, как глупы сторожевые псы. Днем, при хозяине, молча, в ногу. Укус не заживает месяц. Говорят, у собаки есть волчий зуб, и плохо, когда она им кусает.

Мою хозяйку зовут Мотя, или, по-местному, Мотька.

Боренька, если бы мы очутились вместе, я не стала бы вас грызть.

У нас началась посевная. Уже с неделю все в поле. А нынче вдруг снег.

Что пишут вам ваши — Руся и Оля? Что было с Русей, что она не писала?

Я тоже боюсь за Олю и мою Наташу. Они одни и такие слабенькие. Мне холодно.

Целую вас.

Надя.

27.IV.[1942]. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

Борис, это будет опять пустое письмо. Я отболела 8 дней. Завтра выхожу на работу (шаровка свеклы). Пишу нынче, потому что после рабочего дня уже ничего не напишешь. Главное событие — исчезло за мою болезнь общее питание на работе. Значит, надо работать целый день без еды. Хорошо, если что-нибудь ждет дома. Но беженцев большей частью не ждет ничего. Что я буду есть — не знаю. До сих пор мы жили одной мукой, и это было хорошо. А теперь мука кончена. Есть немного пшеницы, но ее не намелешь. Вместо всей еды — каша из толченой пшеницы. Меня подвела болезнь и вера, что Женя проснется и хотя бы пришлет денег. В одну тяжелую минуту я ему написала, что уезжаю и бросаю маму одну. Через десять дней пришла телеграмма, что он придет в конце апреля, а «деньги высылаю». Но нет ни его, ни денег. Тем временем, т. е. в ожидании телеграммы, я не выдержала и написала, что я маму не бросила. Думаю, что это его успокоит и он не придет. Если б я была одна, я бы кой-как держалась.

Трудодень дает в виде аванса 500 гр. муки. Но вдвоем на это не продержаться; тем более, что далеко не всякий рабочий день дает трудовень.

Чего там я разнылась? Мне ведь не привыкать к диете. Но мама очень стонет, и все же я болею. Собачьи укусы не заживают, и я хромаю на обе ноги. От желудочной болезни меня вылечила хозяйка — денатуратом, который здесь пьют вместо водки. Курить нечего. Я дошла до такого позора, что меняла пшеницу на табак. Огорода еще не дали. Польские евреи пользуются нашей позорной слабостью и меняют кило на стакан. Вот ростовщики!

От моей Наташи нет писем. Я не знаю, где Шура. Его жена с сыном была в Ростове.

Можно ли выдержать южно-казакст<анскую> жару, которая еще не началась?

Я вас люблю. Ваша Надя.

Сейчас получила ваше письмо о Катулле. Очень хорошо и убедительно. Я не знаю Катулла и не понимаю. Обязательно приходите ко мне почитайте его. Если у вас будут еще переводы, пришлите мне. Образцы Катуллово мата очень хороши, но не очень понятны.

Переведите мне какого-нибудь <удь> очень любимого вами Катулла — прозой и пришлите мне. Переводы стихов прозой — совет Анненского.

Про Катулла очень хорошо. Ваше письмо шло 15 дней. Мне нравится, что это приглашение к пиру. Я бы на пиру только ела, но не пила.

О чьей гибели дошли до вас вести? Кто из ваших товарищей убит? Пишите скорее.

10.VI—12.VI.[1942]. [с. Михайловка, Джамбульской обл.].

О чем, Борис, — об евреях? О Катулле? Наверное, обо всем. На мое счастье пошел дождь. Я прибежала совершенно мокрая домой. Самосад стоит 12 р<ублей> стакан; я держусь твердо — курю и не отказываю богатым хохлам, когда они у меня просят. Один меня учил: если крутишь из своего — делай тонкую; из чужого — крути потолще, чтоб накуриться. Стрелять, по мне-

нию того же авторитета, надо начинать, когда своим табаком обеспечен на 10 дней; путем курения чужого табаку можно из 10 дней сделать 20. На просьбу дать закурить следует отвечать — «нима», но в случае, если просящий человек уважаемый, не мешает завести разговор о дороговизне и еврейской спекуляции. У нас на ролях аптекаря — украинская пара. Та же комбинация, что у вас. Живут хорошо. Остальные беженцы всех национальностей работают вместе со мной в поле.

Если я вас не проняла ссылкой на Гете, то, пожалуй, на вашу средневековую душу подействует Рембрандт. Пугая меня литературными ростовщиками, вы забыли главного — Шейлока. Кстати, помните Сергея Антоныча и его жену — Вор-вару?.. Он говорил: «Наденька, какой же я жидомор — я ведь не только жида — я и мухи не убью». А вот литературная Варвара: «Простите меня, Н. Я., я очень люблю евреев, но не терплю евр<ейскую> культуру. Ведь еще в Риме евреев не любили за ростовщичество». А я читала Момзена⁶⁹, или, как я его звала в детстве, Мопсена. Евреев действительно боялись и недолго любили. Какой-то дядя даже разрушил пятиэтажный еврейский город Карфаген. Евреи были купцами, т. е. разбойниками. А ростовщичеством занимались приличные римские нотабли; а потом (по Данту) флорентийские дворяне. Мы все знаем ростовщиков Достоевского и Лескова. Что ж это — русский национальный характер? Частные примеры: покойная Мелитта была удивительно противной буржуазной жабой. Вы никогда не видели французов, но 9/10 Франции состоят из таких Мелитт. Я никогда не видела русской буржуазки, их верно, не было. Моя ленинградская тетка, напр<имер>, и буржуазка и жаба, а все-таки не то, потому что она просто купчиха. А настоящие буржуа только французы и, в какой-то своей части (всегда чужой своему народу), евреи. Старик Моргулис отличался от прочих прихлебателей литературы длинным носом и глубочайшей любовью к стихам. Насколько он лучше тупорылой всякой сволочи типа Толстых и Катаевых. Старик, по крайней мере, знал, чего он стоит, и мог с горечью и иронией говорить о себе. Кроме того, я боюсь, что А<нна> А<ндреевна> очень перед ним виновата.

Что до Шуры — то что уж тут еврейского? Евреи как раз обожают своих семейных вдов и всегда кормят их яйцами (яичками). А Шурка, просто, по профессии бедный родственник, вне зависимости от того, сколько денег у него, сколько у меня. Шура бы быть приживальщиком, а это дело отнюдь не еврейское.

Гораздо интереснее об юдаизме и рационализме. Это дело посерьезнее. Что до меня, то я активно не люблю двух евреев, один из них Фейхтвангер, а другой и вовсе не еврей. Меня пугает не ростовщичество, а газетные формы мышления, по которым дважды два всегда четыре. Еще логика. Боже, как я ненавижу свою проклятую логическую машинку — мой национальный штамп, подаренный мне матерью (не отцом!), и как ее не переносил Ося. Об этом я понимаю, а ростовщиков — Варваре.

Вот, Борис, как много я написала — и ничего о Катулле. Кажется, я ничего не могу о нем написать, кроме того, что я ему радуюсь. Тот же Мопсен говорил, что латиняне не дали спонтанной поэзии, как, напр<имер>, евреи или немцы. Но я думаю, он был неправ. Ведь были и Катулл и Овидий. Куда ж он их девал? Это чепуха. Я просто рада Катулле. Я не знаю, хорош или плох перевод. Наверное, были любители переводов Семенова-Т<ян>-Ш<анского>. Так что вы, милый, не сердитесь, но я радуюсь и вашим переводам. Если есть еще — пришлите. У меня с собой книга А<нны> А<ндреевны>. Я ее читаю, и все время остается оскомины. Я поняла, почему. Это не — дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь мне. С этим можно жить в самые тяжкие дни. А у нее, наряду с божественными стихами, — все время капельки того, что вызывает оскомину. Это ее самовлюбленность: движущая сила большинства стихов. Самовлюбленность, наигранное православие, нечто «дамское» (чего в жизни нет) и звон шпор. Все это — то там, то здесь — и режет, режет, режет. Первое — основа и движущая сила одной из главных струй, остальное — результат, поза. Если б она поняла, что все эти стихи надо выбросить, было бы очень хорошо. Может, с оставшимися стихами можно было бы жить. А так — нельзя. Боренька, мне нынче хуже, чем всегда. Целый (1^{1/2}) месяц Женя морочит телеграммами о том, что подготавливает мой переезд в Ташкент. (На той стороне*.)

Меня нашел Шура. Он на Урале. Его жена в Самарканде. Это хорошо.

Что с Женей? Как он меня огорчает. На письма он не отвечает.

Надеясь на отъезд, я не посадила, к слову, огорода. За полгода, как он нас нашел, он 1 раз прислал деньги. Уже продана подушка, сорочки, все. Хлеба на себя и на маму я не вырабатываю.

* Указание Н. Я. Мандельштам на текст на оборотной стороне листа.

(500 гр. — трудодень). Я ни на что не надеюсь и не могу больше бороться. Все это только ради Оси. Но сил больше нет. Работаю в поле (свекла). Все надрывается от боли. И вообще, я долго задирала голову, а теперь поняла, что все худо. Это случилось вчера. Нынче даже не вышла на работу. Надя. Се је.

Получена телеграмма: на днях приеду с пропуском обeim. Дай-то Бог. Это получено сейчас.

Дети кричат, как отвратительные маленькие звери. Спаситись некуда.

Я — «худа, как палка, черна, как галка», и, между прочим, весталка.

11.VII.<42>. [Ташкент].

Боренька! Не сердитесь, что я не сразу написала. Очень уж я моталась первые дни в Ташкенте. Приехала я с неделю назад. Сразу телеграфировала вам. Получили? Пока я у Жени. Мой адрес: Жуковская, № 54 — Жене для Нади. Устройство подвигается медленно. Не хочется брать первой попавшейся работы. Ищу. Кой-как скрипим. Так или иначе — вылезла. Можно будет прожить — если не помрем.

Встреча с друзьями. Основное, конечно, Женья. Очень хорошо приняла Лена. Анна Андреевна — неузнаваема — так молода и хороша. Много стихов. Скоро выйдет книга. Стихи горькие и прекрасные. С этими хоть на смерть идти.

У нее был Николай Дм<итриевич>. Он в армии. Ждал отправки на фронт.

В Ташкенте я со дня на день не перестаю считать потери: Борис Лапин, художник Тырса, маленький Багрицкий*, Сергей Рудаков — самый дорогой мне человек — и сколько еще. Там я ничего не знала. Здесь все сразу нахлынуло. Боюсь за мою Наташу. Боже, как боюсь за нее.

Анна А<ндреевна> говорила, что боялась думать о моем приезде, так хотела его. Но я, видно, тяжелая. Помните, какая я была болтуня. А теперь я с таким трудом говорю. Нужно какое-то громадное усилие, чтобы произнести слово. Старость это, что

* Всеволод Эдуардович Багрицкий.

ли. Борис, все-таки мне надо было быть с вами и у вас. Было б легче — и, думаю, нам обоим.

Мне сказали, что Ося до последних дней писал стихи. Господи...

Пишите, милый, скорее. Какие вести от ваших?
Целую вас. Ваша Надя.

29.VII.<42>. [Ташкент].

Дорогой Борис, телеграфируйте скорее, где вы, что с вами. Не забывайте меня, милый. Я много о вас думаю и очень по вас скучаю.

Мне сейчас гораздо легче. Живем вчетвером в комнате. Но я ищу жильё и, когда найду, поселюсь с мамой отдельно. Жить можно.

Со мной Женья, мама и очень хорошая Лена. Мы все теперь успокоились. Анна здесь, и я опять ее горячо люблю. У нее много стихов; они широко печатаются. Стихи чудные. Это она вытянула меня сюда.

Я работаю. Вот о себе. Устаю от жары.

Был у меня Ник<олай> Дмитриевич Леонов. Он мобилизован. Имеет чин капитана. Пока в Ташкенте. Служба нестроевая. Он мне показался очень милым. В его комнате живет отец и две сестры с дочкой. Я спросила его, отчего он вам не писал. Он ничего о вас не знал. Три года не был в Москве. Очень обрадовался, узнав про вас, взял ваш адрес и хотел написать. Но, живя не дома, он вряд ли напишет. Это не легко.

Я потеряла Шурин адрес и ничего не имею от Наташи. Это очень печально.

Борька, мой Боренька, хоть бы знать, что вы у себя в своем логове. Хоть бы увидеть вас, мой милый.

Что с вашими — с Олей, с Русей? Передайте Русе от меня привет.

Целую вас, милый.
Пишите.

Надя.

Жуковская 54.

Женья кланяется и говорит, что и вы могли его вспомнить и передать ему привет.

5.VIII.<42>. [Ташкент].

Борис, милый!

Ради бога, не забывайте и пишите. Что с вами, милый? Не оставляйте без вестей. Очень без них тревожно и печально.

Вижу я здесь Леонова. Он очень хороший. Написал ли он вам? Ленив он.

Он в армии; имеет чин капитана. Трезв, брит (сбрил бороду) и тих.

Горе у меня: больна Анна Андр<еевна>. Один из тифов. Думают — брюшник. Последние два дня температура стала падать. Все свободные минуты я у нее. И сейчас иду к ней дежурить ночью. Как она хороша — трудно и передать.

Пишите, Боренька, скорей. Не могу писать, не зная, где вы. Пишите, милый.

Ваша Надя.

10.VIII.<42>. [Ташкент].

Борюшка! Совестно почти, милый, но мне, правда, стало легче. Но знаете почему... Болела Анна Андреевна. Ночь за ночью я проводила у нее, буквально дрожа от страха... Этот проклятый попета⁷⁰, не отпуславший ее 10 дней, принимали за брюшник. Ее чуть не уволокли в инфекционное отделение и едва не обрили. В конце концов она очутилась в терапевтической клинике. Там температура упала, и нынче она уже дома. Страшно было очень. Она вам передает сердечный привет. Когда я ей сказала вашу формулу — если она меня помнит, она только рассмеялась.

Кстати, я сообщила ей порядок моих любовей: Ося, потом Женя, потом вы и она. Схема была принята. Мне бы очень хотелось, Борис, быть с вами, даже в вашей глуши. Знаете, что бы я сделала? Я бы вас обняла, Борик, и очень, очень поцеловала. Боренька, которую вы меня любите? Пожалуйста, не забудьте написать.

Письмо прервалось на целые сутки. Боже, как я устаю! Сейчас помимо работы я еще хлопочу о разрешении на перепрописку. Это значит, что одна очень славная девушка хочет, чтобы я посе-

лилась у нее. Но только Горсовет дает разрешение покинуть один дом и поселиться в другом. Дело это нелегкое. Помогает Чуковский. Авось, выйдет.

Шуму много, Борис. Я на него не жадна. Но дико это общение с людьми, от которого я отвыкла. Очень много хороших людей. Их много всюду, но где-нибудь в Калинин или в деревне я была учительницей или колхозницей, а здесь я — я, и это очень страшно. Между прочим, здесь Усов, двоюродный брат Юлия Матвеевича. Я очень ему обрадовалась. Он в больнице. Завтра я к нему зайду. Заходит Ник<олай> Дмитриевич. Но все меня не застает. Он вам писал. Получили письмо?

Пишите.

Надя.

Напишите мне ласково. Я что-то по вас скучаю. Ничего нет ни от Шуры, ни от Наташи. Что пишут ваши?

Боренька, что такое белки? Почему их надо есть, и где они живут, кроме яиц?

8.IX.<42>. [Ташкент].

Боря! у меня начинается дикая тоска и тревога: три недели нет от вас писем. Я писала за это время по крайней мере 3 раза. Что с вами, милый? Не больны ли? Или Женя потерял ваше письмо? С него станется.

Милый, пишите скорее.

Я вам писала, что я переехала. Мой адрес: Ташкент 19, Водопадный проезд, 3 кв. 3, кв. Н. Пушкинской. Для меня Николай Дм<итриевич> здесь, как я и предполагала, ни разу не был: ходит он по привычке к Лене и Жене. Это им наказание за грехи. Уехав, впала в полное одиночество — и это, по-моему, хорошо. Хозяйки у меня славные. Живу с ними хорошо. Беда — трамваи, обувь и сейчас очень тяжелая простуда, с которой все же приходится ходить и работать.

Борис, главное, что с вами. Напишите, родной. Очень тревожно.

Ваша Надя.

<10.IX.42>. [Ташкент].

Борюшка!

Вот и выкроила полчаса — вам письмо написать. Я уж забыла, которое я вам отправляю. Как будто четвертое. Если только то, в котором я послала стихи Жуковского, было вторым. Получили ли вы его? Оно-то меня и беспокоит: вторично переписывать не хватит ни силы, ни мужества. Но я все же перепишу: вы знаете, я способна на подвиги. А стихи, конечно, чудные.

Анна Андреевна вернулась из загородной больницы-санатория. Выглядит она хорошо. К сожалению, у меня нет ее стихов, чтобы послать вам. Кроме одного, напечатанного в «Правде»:

«Мы знаем, что ныне лежит на весах»⁷¹.

Боренька! Тем временем я очутилась за тысячу верст от своей работы — в столовой художников, где я обедаю по Лениной карточке. Видите, как все сложно. Стишка я не дописала — забыла вторую строчку*. Третья и четвертая звучат так:

«Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет».

Я пришлю полный стишок в следующем письме. О ней. Она хорошая.

О Ник<олае> Дмитр<иевиче>. Он хороший. Но выверять себя по его утлой ладье я бы никому не посоветовала. Ни по нему, ни по Смирнову. Очень, очень не советую. Хотя Леонов гораздо лучше. Помните бородку? Ее теперь нет. В сущности, почти всегда трезв. Но я убеждена, что ваши дружбы строились и возникали, так же, как Осины влюбленности в прекрасных дам. Он их и выдумывал, как вы выдумывали друзей. Я их никогда не узнавала в вашем описании. Особенно разительно эти двое. Они совсем, совсем другие. Но одного из них я не люблю. Другой мне приятен. И он, конечно, не трус, а просто бесхребетный и бескостный человек. Я это очень остро чувствую. По всей вероятности, вы его формировали; вернее, вы говорили, а он кивал — не головой, а бородой. Вот вам и казалось, что он с вами во всем согласен. Право, совсем, совсем не то. Но все же он абсолютно свой человек. И очень милый. Я его просто люблю и даже никогда не обижаю. А вообще, все прекрасно.

А письмо ваше я читала Анне, и ей понравилось. Она вас, конечно, обожает. Милый, а вдруг действительно мы доживем до

* «И что совершается ныне».

грозного дня, когда мы будем вместе? Правда, не верится? Хочу дожить до этого дня, но удастся ли не погибнуть? Жить очень хочется. Вернее, дожить до конца войны и еще год-другой. А там и помереть можно. Это все логично.

Боренька, меня всегда очень огорчает, что вы гордитесь и хвастаетесь тем, что вы не порвали со мной. По-моему, у вас к этому не было никаких оснований, кроме желания тети Эммы и Евг<ения> Серг<еевича>. Мне лично никогда не приходило в голову, что я могу отказаться от вас. Точнее, это был вопрос, абсолютно не подлежащий обсуждению. А попытки начались еще с нашей поездки в Крым — родные и знакомые всегда любят поговорить. Слышали ли вы когда-нибудь о них от меня или от Оси?

Я очень занята. Мотни много. Но работа ли это? Не думаю. Работа выглядит иначе. Больше всего мне кажутся похожими на работу ремесла, включая живопись, когда из ничего делается что-то. Это моя еврейская душа: ведь евреи были либо купцы, либо ремесленники — и этих большинство. Скоро у меня должен быть новый адрес, но вы пишите к Жене. Так удобнее. Целую вас, милый, мой неразлучный.

Надя.

Вам всегда передают приветы и Аня, и Женья, и Лена, и мама. Все вас очень любят. Особенно Аня и Женья. Я вам попробую послать Женину статью⁷², если принимают бандероли.

Мне ли вас не любить, Борис, милый. Вместе с Олей и Русей — я жду встречи.

Передайте Русе сердечный привет. Помню, что она очень милая.

19.IX.<42>. [Ташкент].

Дорогой Борис! Вчера получила письмо № 1. Но уже забыла, которое я вам пишу, как будто четвертое.

Мотаюсь я страшно. Служба, уроки и все <...>* Зато переезжаю на новую квартиру с мамой. Но вы лучше пишите по старому адресу: здесь вернее, а там окраина, пустая квартира и, главное, мама, которая не очень хорошо обращается с почтой — просто теряет письма. Она совсем старенькая и ничего не понимает. Это очень трудно.

* Стершийся на сгибе листа текст не поддается прочтению.

Жить мне будет еще труднее из-за дали. Но как-нибудь уж помотаюсь. Все мечтают о Москве. Кто может — вернее, у кого есть вызов — едут обратно. А мне здесь зимовать. А <нна> Андр <еевна> тоже хочет в Москву. Может, к зиме и уедет. Я провожу с ней много времени — и все норовлю с ней переспать — наши ночи в бабьей болтовне — прекрасны. Николай Дмитриевич заходит, когда свободен, т. е. по субботам и воскресеньям. Но мне кажется, что не мы — люди — прельщаем его, а географическое расположение дома через квартал от его жилья. Он, конечно, очень сильно укрепился в своем научном мировоззрении за эти годы. Как он мне объяснил, оно формировалось после наших встреч в Москве. Но все же законченным марксистом я его не назову. Есть в нем какое-то отсутствие твердости — ему, как вы знаете, свойственное. На днях он принес книги академика Северцева. Изучает их с восторгом. Мне лично понравился портрет Алексея Никол <аевича>. Здорово был похож на обезьяну старик. Что касается до стихов, то он их любит по-прежнему и цитирует тысячами. Особенно всякие шутки. Он все же милый, только сумбурный. Как странно, что вы так его любили или, вернее, чтили. Пить он теперь не пьет. Поздоровел. Но костюм (военный) на нем выглядит неаккуратно, как всегда и все. Почему это — неизвестно. Но это ему свойственно. Лена со свойственным ей практическим смыслом расспрашивала его, если ли у него гребенка. Оказалось, есть. Но бороды нет. И все же он очень милый.

Анна удивительно молода и хороша. Лучше и моложе, чем когда-либо. Бог знает, что это за чудо, а не женщина. Пишет нам Эмма. Она в Москве. И ей очень трудно и одиноко.

Рядом с нами живет Лида Чуковская. Очень милая. Вообще людей очень много, но они женщины. Боренька, оказывается, я обожаю мужчин и совершенно не могу жить без них. Впрочем, их было маловато и до войны. Но сейчас одно бабье. И, между прочим, масса бабьих интриг, в которых я неспособна разобраться. Знаете, сейчас были бы приятны даже бабы в штанах, типа Вити или Ник <олая> Ивановича. Но и их нет. Впрочем, все хорошо.

Боренька, неужели мы когда-нибудь увидимся и будем жить в одном городе. Боже, как это будет хорошо. У Жени вышла книжка⁷³. Историческая. Я вам ее пришлю. Боря, не нужно ли вам еще чего-нибудь переписать? Я ужасно хочу вам что-нибудь сделать.

Целую вас, родной.

Ваша Надя.

3.[XI.1942]. [Ташкент].
№ 1

Боренька голубчик! Пришла телеграмма — вернее, нас засыпало телеграммами с одним и тем же текстом. Пришло письмо. Отлегло от души: я очень беспокоилась: писем не было полтора месяца. Письма я нумеровала точно. Если пришло первое и четвертое, значит второе и третье потерялись. Милый, т.к. сейчас письма идут достаточно плохо, а не получать их очень страшно, я вас очень прошу: не отвечайте, а пишите через какие-то сроки — хотя бы раз в неделю. Тогда хоть одно письмо в месяц обеспечено. Я была в большом отчаянии, не имея от вас писем. А получив, ношу его в кармане, не расстаюсь с ним.

Дни у меня тяжкие. Больна Анна Андреевна. Очевидно, даже почти наверное, брюшник. Сейчас 6 сутки я ночую у нее. С мучительным трудом ухажу от нее. По правде сказать, не ухажу, а отрываюсь. Боюсь, что ее уволочут в больницу. Господи, господа, что будет. Она очень обрадовалась вашему письму: Женя его принес к ней. Кланяется вам. Сейчас в сознании, но очень возбуждена, когда жар. Сердце очень слабое.

Это то, чем я живу: т. е. отсутствие ваших писем — это мой октябрь. Аннушкина болезнь — мой ноябрь. Больше ни о чем думать не могу. Борис, за что? Боренька, за что?

О Леонове сообщу вам коротко: я переехала от наших. Но он, привыкнув, как кошка к месту, или просто полюбив Лену с Женей, продолжал по субботам и воскресеньям являться к ним. Продолжалось это месяца полтора. Теперь уже две субботы он пропустил. Есть предположение, что он сейчас обсиживает новое место. Не понимаю я его. Самое характерное в нем — отсутствие выбора. Он вас никогда, милый, не выбирал. Вы его выбрали. И в нем есть очень многое от Бария. В общем, он был плющом, а вы деревом, а вы воображали, что все наоборот. То же, наверное, и с наукой. Знаете, я во многом «наслушанна» — и я себе представляю, что можете сказать вы. Уверю вас, что Леонов, когда он предоставлен самому себе, ничего подобного не говорит. Он цитатчик. Эрудиция его громадна. Но это дикая и тухлая смесь из всего, что есть на белом свете. Характерно отношение к стихам: наряду с первоклассными он цитирует чудовищную дрянь — и знает все, все, все... Т.е. — нет выбора. А цитирует он непрерыв-

но. В этом его общение с людьми. То же и в науке. Уверю вас. Не то, что его высказывания — его вкусы — не ваши. Я несколько раз спрашивала его, в чем дело. Он уклонялся от ответа. Я думаю, он плющ, а нашел ли он себе дерево или нет — я не знаю.

Ну его. Чего нам о нем говорить. Читая ваше письмо, я вспомнила Сережу и вашу маму. Они оба были к нам очень хорошие. Я помню, когда вас не было, как Сережа прибежал к нам: он тогда объяснял что-то про Евг<ения> Серг<еевича>, который еще тогда — перед нашей поездкой в Крым — при Сереже что-то нахамил. Очень светлое осталось воспоминание о Сереже⁷⁴. А мама — с ее добротой и нежностью... Я ее, как живую, вижу. И снилась она мне — во сне про вашу беду рассказала. Значит, я ее всегда чувствовала и любила. Оля — в нее. Правда? У вас я боюсь только тетки*. Ну и бог с ней. Ей не за что было ко мне хорошо относиться: она ведь хотела бы, чтобы вы были еще лучше — как ее сын**. А мама и Оля — (и я) — думали, что вы и такой — самый чудный.

Вы от меня передайте привет Русе. Как она живет? Пишите мне, пожалуйста, про Олю и Русю.

Но с Топом хуже. Заочно я ни на что не способна. Я ценю только, что он ваш друг. Пожмите ему лапу. Надеюсь, что вы когда-нибудь его мне покажете. Что замолкли разговоры о Малоярославце? Хоть бы вы уж соединились со своими. Как это невыносимо — у меня уж за вас не хватает терпения. Пора, Боренька. Пора, голубчик, чтоб вам было хорошо.

Начала писать письмо в Нарком просв. Дописываю у Лиды Чуковской — у меня урок с ее дочкой Люшкой. Отсюда на ночь к Анне Андреевне.

Целый день мотаюсь до бреда. И весь день мысль об одном — об Анне. Господи, что-то будет!

Пишите мне, Борис. Пишите, как можно чаще. И я буду писать, чтобы и вы не беспокоились.

До свиданья, мой родной.

Ваша Надя.

Пишите лучше на Женин адрес. Н.

* Эмма Бернардовна Кузина.

** Александр Михайлович Кузин.

8.XI.<42>. [Ташкент].
№ 2

Борис, голубчик!

Жизнь идет дальше. Анна Андреевна в больнице. Температура до 40° (38,5—39,5). Я очень боюсь за нее, хотя форма считается не тяжелой. Сердце у нее очень плохое (грудная жаба, склероз). Перед болезнями она выглядела очень хорошо, но ее полнота в тифу не плюс, а минус. Видимо, врачам легко говорить о легкой форме, потому что им все равно. Больше всего я боюсь ее отношения к жизни: она уверена, что умрет. А это очень страшно.

Первое время, когда она лежала дома, я у нее дежурила по ночам. На пятую ночь я заснула — не выдержала. Сейчас она в больнице — в лучших по Ташкенту условиях. Койка правительственная в инфекционном бараке. Одна в палате. Кормят хорошо. У нее здесь завелась достаточно противная подруга — киноактриса Раневская. Ей носят все, чего ей не хватает. Меня она просила воздержаться от посещений — и я пока выдерживаю характер и не хожу. Это очень тяжело. Господи, что будет. Сейчас во всяком случае началась третья неделя. Но ведь их шесть. До вчерашнего дня с легкими было в порядке. Что нынче — не знаю.

Больных кругом масса. Здесь я встретила своего старого приятеля Черняка. Вы его не знали. Он главный редактор какой-то кинофабрики. Вчера вышел из больницы после воспаления легких. В том же доме, где жила А<нна> А<ндреевна>, заболели брюшником еще двое (жены Лидина и Мадараса). Из восьми сотрудников нашей организации тоже двое больных. Началась гнилая ташкентская зима. Я совершенно без обуви.

Я вам забыла написать о своей работе. Работаю я давно, без дела ходила не больше недели. Дом художественного воспитания детей — 700 руб. Снабжения никакого (обедаю по Лениной карточке в столовой художников). Заведую отделом и пишу методические письма. Здесь работала Лена, и она притащила меня сюда.

Письма стали короче по двум причинам. Я переехала с мамой к черту на кулички. Выхожу — темно; возвращаюсь — темно. Не было свету. Вчера моей хозяйке — журналистке — открыли свет. А на службе писать трудно. Вот и причина.

Ужасно, что вам плохо. В чем конкретно? Есть ли топливо? Хлеб? Горячая пища? Напишите обо всем.

В прошлом письме я опять писала про Николая Дм<итрие-вича>. Но оказалось, что напрасно старалась: вы успели со всем согласиться. Ну его... Это не человек, а тень, призрак. Лена его оседлала и доит: он то дыньку притащит, то сахару. Ко мне не ходит (я и рада) и про меня не спрашивает. Тьфу. В одном из писем я писала вам о переезде и предсказала, что Н<иколай> Д<митриевич> у меня не появится и предпочтет Лену-Женю. И это не потому, что они ему нравятся: просто ближе, а ему все равно, кому излагать свои — не мысли — а сведенья. Его знания мне напоминают какие-то страшные книги, вроде «День мира», или «Наука для всех», или «История мировой культуры» в шести томах для всех любителей толстых томов. Ну его!

Ради бога, пишите подробно о себе и о своих надеждах. Хоть бы вы выскочили из Шортандов. Если не к Оле и Русе, то хоть поближе ко мне. Есть ли шансы? Что пишут из дому?

Боренька, как холодно. Руки застыли. Простуда и непроходящая головная боль. Ходить пешком приходится бесконечно много. Трамваи сейчас ходят, но очень много народу — не всегда попадаешь. Устаю до бреда.

Мама, как перышко. Худая, маленькая. Страшно мерзнет. Плачет. Худющий и Женька. А я, как говорил Шкловский, для себя не плохо выгляжу, т. е. краше в гроб кладут. Все же я убеждена, что я из железа. Меня ничего не берет (вот холод — берет).

Напрасно вы думаете, что я вижу людей. Я работаю и рада, если можно поспать. О «поесть» — мечтаю. Есть славные люди, но времени нет. А главное, кроме Жени и А<нны> А<ндреевны> мне в конце концов никого не нужно. Как я боюсь за нее. Маму мне всегда жаль, но я с ней плохо обращаюсь и сама себя за это не люблю.

Боренька, хоть бы вы были поближе. Как я по вас скучаю. Целую вас, родной.

Ваша Надя.

15.XI.<42>. [Ташкент].

Дорогой Борис Сергеевич! Нынче получила вашу открытку. За последние дни, после перерыва — пришло 2 письма и открытка, не считая телеграммы — а душа все же не успокоилась. Что у

вас делается? Куда вы надеетесь выбраться? Как живете? Очень ли бедствуете? Дрова? Хлеб? Еда? В чем самое тяжелое в вашей жизни и что на станции? Очень хочу получить от вас грубо бытовое письмо, чтобы в нем было все о том, как проходит день, о пище, погоде и топке. Напишите. До войны я себе представляла вашу жизнь; в прошлом году, видимо, больших перемен не было. Но последние ваши письма — другие. Становится ясно, что вас здорово притиснуло. У меня жизнь трудная, но легче, чем в прошлом году. Все же не верится, что удастся вытянуть. На это не похоже.

Мама очень слабеет. Это — тень. Крошечный комочек. Сердце сдает. Ноги опухли. Женя ее очень огорчает: не заходит, не заботится. Но вместе с тем — когда на него помотришь — то не осудишь. Недавно Анна Андр<еевна> мне сказала, что он самый худой человек в Ташкенте. И это так и есть. Живут они плохо, но барахло сохранили — чисто. У меня же нет ничего. Но как живут — вы можете понять по следующему: я и Лена получили на праздники по куску белого (серого) хлеба, весом с 1¹/₂ кило на обеих и 100 грам<мов> повидла. Я у них ночевала — и мы всю ночь пировали. Когда я уходила, Лена крикнула мне вслед, что, мол, спасибо: мы очень сыты. А ведь мы никогда не покупали столько хлеба, как сейчас. Мы получаем с мамой 800 гр<аммов>. Раньше он у нас бы засох.

Анна Андр<еевна> в больнице. Как я вам писала, я туда не хожу. Очевидно, так нужно, но это ужасно. Сведения о ней у меня от Лиды Чуковской. (Лида — хорошая, но очень нескладная. «Девочка-великан».) Она у нее бывает. Пока все ничего. Идет нормально. Форма не очень тяжелая. Больных не перечить. Очень много. Кругом — все. Страшно боюсь за Анну Андр<еевну>. Идет, очевидно, третья неделя. Трудно себе представить, что можно пережить шесть недель жару, горячки, головных болей — страшной тифозной лихорадки. Боюсь и самой болезни, и осложнений.

Здесь Женя Пастернак — разведенная жена Бориса Леонид<овича>. Я обедаю по Лениной карточке в Союзе художников и там ее встречаю. Борис Леонид<ович> сейчас в Москве. Перевел «Ромео и Джульету». Анна Андреевна уверяет, что это не занятие во время войны. По-моему, она права. Т.е. это не занятие для Пастернака. Он просто прячется в Шекспира, в семью, повсюду. И так уже давно.

Леонов заговаривает Лену. Но она ему, видимо, очень нравится. А она его терпит за приношения. Он ей приносит какие-то чересчур скромные дары из своего пайка. Последний дар был роскошный: чашка сахару. Я вдвойне выиграла: с Ник<олаем> Дм<итриевичем> не разговаривала, а кофе с сахаром пила. Недурно? Боренька, простите меня за всю треплю. Я разболталась о всякой чепухе, как будто сижу у вас в шортандинской белой комнате и ссорюсь с вами на древнюю тему: достаточно ли вы меня любите. Помните, Боренька, сколько лет я требовала, чтобы вы меня побольше любили. Видно, недостаточно ценила. А теперь — не требую. Мне именно такого нужно, каким вы были. И очень страшно было, когда целый месяц не было писем.

Целую вас, родной. Надя.

25.XII.<42>. [Ташкент].

Боренька! Наконец, ваше письмо. Я уже начала грустить. Теперь, милый, уже не грущу: прочла и поцеловала (вас, конечно, а не письмо). Впрочем, многое меня огорчило. Что за «барышня» такая появилась на горизонте? Хорошо, конечно, что вы хоть несколько дней могли поговорить: вам ведь это очень нужно. (Колокольчик!) Но очень прошу вас, милый, не изменяйте нам с Русей. Это очень существенно. Просто, очень серьезно. Хорошо? Напишите, пожалуйста, согласны ли вы...

Что до Анны — она оправилась от брюшняка, сейчас в больнице санаторного типа. Плохо с сердцем. Вокруг каша. Какие-то мелодрамы. Завелась новая подруга*. Роль — интриганка. Ссорит со всеми. Шут его знает, откуда такое безобразие. Зато стихи — чудные. Таких еще не было. Зрелые.

Недавно было письмо от Левы. Первое за всю войну. Господи, господа... Муж Анны Андр<еевны> — он врач-профессор, какая-то редкая специальность⁷⁵ — в Ленинграде. Она тоскует. Про стихи — верно. Но я не люблю эту ее книгу — она куцая. Как жаль, что вы не знаете всего. Временами появляется в печати. Вообще ее положение очень хорошее.

* Фаина Григорьевна Раневская.

Я работаю, и у меня всегда болит голова. И сейчас. Если б я решила дождаться, пока голова пройдет, я бы вам никогда не написала. Болит невыносимо. В сущности делает меня нетрудоспособной. Что делать.

Мама стареет. Плохо слышит.

Все равно на какой адрес писать — даже к Жене лучше: меньше шансов, что затеряется. На всякий случай сообщаю мой: Полиграфическая ул., Водопадный пер. № 3, кв. 3 Галкиной (или Пушкарской). Это очень далеко, и мне очень трудно.

Я напишу еще на днях. Простите за куцее письмо: голова болит.

Ваша Надя.

1943 год

4.I.<43>. [Ташкент].

Дорогой Боренька! Вчера получила два ваших письма — одно от 9/XI, другое от 30/XI. Письма почему-то приходят пачками — все сразу. Одно из них — то, в котором вы пишете про А<нну> А<ндреевну>, я ей прочла. Конечно, я не сумела бы ей передать за вас то, что вы сказали. Она была очень тронута, сказала, что вы чудный и что она обязательно вам напишет, когда выйдет из больницы. С тифом кончено. Она его выдержала. После тифа она лежала в чем-то среднем между санаторием и больницей. Сейчас возвращается домой. Задержала ее на несколько дней легкая простуда. Сердце не в плохом виде — вернее, могло быть хуже. Очень боюсь возвращения домой — у <нее> не комната, но отвратительная холодная клетка. Пробуют достать другую, более благоустроенную комнату, но пока ее нет. Так что переезд из тепличной обстановки стационара в мнимый дом будет очень тяжелый.

Я жаловалась вам главным образом на баб, которые ее обесели со всех сторон и чешут ей пятки, что она очень любит. Создается дурацкая и фальшивая атмосфера, а во время болезни — прямой кавардак. И она не всегда бывает на высоте. Я с ней после болезни даже поругивалась. Не хочется писать <об> этой брани. Здесь дело не во мне, и нехорошо было не по отношению ко мне, а к совершенно чужим вам людям. Но это все от баб. Сейчас эти темы сняты с повестки дня начисто — во всяком случае в моем присутствии. Одна из баб — главная — Раневская — киноактриса. Можете ее увидеть в кинофильме «Подкидыш». Свою безумную любовь она вкладывает сейчас в А<нну> А<ндреевну>, и та из благодарности позволяет ей му-

тить. Но все это совершенная ерунда. Главное, что она здорова. И еще — во время ее болезни два счастливейших события: бодрое чудесное письмо от Левы — первое за всю войну (я не могу опомниться от радости) — и груды телеграмм и писем от Гаршина, который был вроде мужа, а в разлуке решил, что женился. Это очень хорошо.

О себе мне писать в сущности нечего. Я с ужасом думаю, что к весне все уедут в Москву (Анна, Женья, Лена и т. д.), а я останусь навеки здесь. Это непредставимо, но факт. Работаю я в центральном доме художественного воспитания детей. Ставка 700 р. Снабжения нет. Получаю только хлеб. Еще обеды — у художников по Лениной карточке и в Наркомпросе по своей. Живу очень далеко, и масса времени уходит на передвижение. Хозяйки мои — очень хорошие, т<ак> что живется хорошо, но трудно. Что я делаю — неважно. Я, по-моему, никогда вам не пишу, что я делаю. Не в этом дело. Живу, работаю, кое-как зарабатываю — и все. Как всегда, мне кажется, что самое существенное в жизни — стихи. Пока Ося был жив — этого чувства не было. Оно от одиночества. Тогда стихи были не жизнью, а результатом жизни. И когда они мешали жить, Ося грозился свернуть им шею.

Вы неправы (а может, и правы), что я недостаточно люблю Бориса Леонидовича. («Он все делает всерьез. И абсолютно всерьез переводит Шекспира — и все, что угодно. Увлекается и все подменяет переводом. Если это и для харчей, то харч вдохновенный».) Я знаю, что он чудо. И вы хорошо говорите о том, что ему свойственно прятаться. Это верно. Конечно, с Шекспиром именно так, как вы говорите. А сейчас особенно обидно, харч же можно было добыть и иначе.

И про собак. Жаль, что ушел Топ. Я так его и не увидела. Я помню, как Мотька при мне щенилась, и ясно помню вашу белую комнатку. Вижу и вас, милый, в ней. Но комната теперь ведь другая. И я ее не видела. А мотькиных щенков видела. Это я вас просила не прогонять Мотьку, когда будет какой-нибудь другой пес.

Боренька, как это грустно, что музыка снится. Сколько снов, Борис, и у меня, и у вас, и у многих о музыке, которую слышишь только внутренним слухом.

Хоть бы она зазвучала явственно и осязательно.

Здесь есть люди, которые знают, что такое музыка, что такое стихи. Но все же знают не по-нашему. По-нашему знает считанный десяток людей — и Лева, и Николай Иванович, с которым мы почему-то разошлись, может, еще кто-нибудь, не знаю. Женя не живет стихами, но что-то понимает другое — это, наверное, литература. Я его люблю и не обижаю. Настолько не обижаю, что он сам перестал обижать меня и не обижается. Это не мало.

Борис, нет ли у вас друзей в Ташкенте? Я бы с ними поговорила, нельзя ли вас сюда перетащить. Боже, как я была бы рада, если б вы были здесь. Я б вас, родной, так расцеловала, как Женьку.

Мне кажется, что сейчас все читают стихи. Во всяком случае, очень многие. И я уже привыкла, что люди встают, когда я вхожу. Раньше этого не было. А некоторые просто подсакивают. Ося, Ося... Он мне снится, и я никогда не могу его догнать.

Пишите мне, милый, пишите почаще. Как я радуюсь вашим письмам. Больше я никому не пишу и ни от кого не получаю писем. Ведь я не знаю, что с моей Наташей. Боюсь думать, что она погибла. И Шуру потеряла и ничего не делаю, чтобы его найти. 42 год вернул мне вас и Женю. Я с вами. С новым годом, Борис. Пришел 43 год. Целую вас, милый, родной, старый Борис. Мы прожили с вами громадный кусок жизни. И верю, проживем вместе и остаток жизни.

Ваша Надя.

10.1.[1943]. [Ташкент].

Дорогой Борис Сергеевич!

Сколько дней уж вам не писала? Наверное, с неделю. Очень трудно на открытке. Но я жива и ничего не происходит со мной — просто живу, работаю, хожу по вечерам домой, плохо сплю и рано встаю. От вас писем давно не было — сразу пришли два — а потом опять молчание. Пишите, милый.

Целую вас.

Надя.

Анна Андреевна вернулась домой. Слово предоставляю ей.

Милый Борис Сергеевич, очень рада случаю написать вам несколько слов и поблагодарить Вас за Ваше доброе ко мне отношение во время моей болезни.

Привет!

Ахматова*.

Боренька, целую вас, друг мой.

Н.

15.1.43. [Ташкент].

Дорогой Борис! Пришли подряд три ваших письма: одно грустнее другого. Особенно печально последнее: ваш образ жизни и Топ**. Я понимаю, что значит расстаться с собакой, да еще живя так, как вы живете. Но хорошо, что есть хлеб. Что вы едите? Что вы себе стряпаете? Милый, как жаль, что я не ваша стряпуха. По-моему, это единственное подходящее для меня дело. С дровами страшно. Мы без топлива. Но зима стояла поразительно легкая. Только нынче да вчера в сущности вместо чудной весны началась несуровая ташкентская зима. И то мы мерзли, а я кашляю и простуживаюсь по всякому поводу.

Хорошо, что Оля осталась в Москве. Как ни трудно ей там, все же ваш холод ни с чем не сравним. То, что у вас нет дров, приводит меня в ужас. На днях отправила вам открытку с припиской Анны Андреевны. Я знаю — вы будете ей рады. Она дома, цветет и вполне обеспечена. Харч по первому классу. Чего не могу сказать про себя: у меня он по последнему. Трудно мне прокормить маму. Но все же на нее кое-как хватает. Женя в плохом виде — он неустроен и замучен. Лена же активна до беспредельности и в сущности спасает его. Но с Леной мне пришлось прервать всякие отношения — и начисто. Это уже, конечно, не в первый раз, но, надеюсь, в последний.

И с А<нной> А<ндреевн> отношения налаживаются не очень хорошо. Она сильно изменилась. Выступило чужое — дамское, я бы сказала. Впрочем, внешне все безоблачно и прелестно.

* Приписка рукой А. А. Ахматовой на той же почтовой открытке, что и письмо Н. Я. Мандельштам.

** Фрагмент письма, упоминаемого Н. Я. Мандельштам, сохранился в архиве О. Э. Мандельштама в Принстонском университете. Далее приводим его текст.

А на деле орех с червоточинкой. Она бы очень удивилась, если б узнала, что я так говорю. Ей-то кажется, что все хорошо.

Телега скрипит. Самое страшное, конечно, одиночество. Почти звериное. Чужие лучше своих. А нужны-то именно свои.

Борис, вот я и разнылась. Дайте мне, милый, по голове. Я знаю, что это запрещено. Правда? Авось стану храбрее и научусь жить одна. Я как будто умела. Но в диких углах, где нет искушенья быть не одной. Больше всего я <бы хотела> быть тенью, проходящей через чужие жизни. Общей же жизни у меня нет ни с кем.

А грязи, Борис, грязи — по колено. Вчера заходили трамваи, и я обошлась без своего обычного пятнадцатикилометрового кросса.

Пишите мне, Борис. Целую вас. Надя.

Пишите по Жениному адресу, на Жуковскую.

Б. С. Кузин.

Фрагмент письма к Н. Я. Мандельштам *

[Конец ноября 1942 г.]

<...> и в явный ущерб себе самому. Время, прожитое в соприкосновении с ним и в зависимости от него, после будет вспоминаться, как дурной и страшный сон.

Топа от меня увезли 22 числа, в воскресенье. Я проводил его до речки. А оттуда он пошел на поводке на станцию с новым хозяином без меня. Охотничьи собаки ласковы ко всем. Кроме того, они очень прожорливы. И я знаю, что Топ без меня не будет отказываться от пищи и даже скулить не будет. Но я в тот день не ел ничего не только потому, что есть было нечего. Я утешался тем, что больше я ничем не связан, не отвечаю ни за чью жизнь и могу спокойно встретить всякое несчастье. Так же в точности я утешался, когда умерла мама. Это было тоже в конце ноября. Теперь обеденный перерыв для меня слишком велик. — Не нужно кормить Топу, прогуливать его и разговаривать с

* Хранится в США [Princeton University Library: Rare Books and special collections: The Osip Mandelstam papers: C 0539: Box 3 Folder 103, item 15 (т. III 298—299)].

ним. — Мотыка времени у меня не отнимает. Тем более сейчас, когда она занята своим щенком. Я ухажу в лабораторию до окончания перерыва.

Из письма Смирнова я узнал вчера, что Гурвич в Москве и работает. Очень был обрадован, что этот удивительный человек цел и невредим. Вот, между прочим, еще один ориентир на будущее, если оно будет. Человек безупречного вкуса, ума и чести. Таких людей в науке я больше не знаю лично. И не читал про таких никогда. Хорошо, что в прошлом году он получил сталинскую премию. Деньги, вероятно, ему были очень нужны.

Я прежде был довольно равнодушен к Бодлеру. Но все больше и больше начинаю любить его. Его стихи казались мне очень уж вылощенными и холодными. Но теперь я раскусил этот дендизм высшей марки. И понимаю, как трудно было запрятать этот огромный темперамент под оболочку, которой позавидовал бы и сам Брэммель.

В очень уютной обстановке я сочиняю глупейшие басни. Если А. А. выздоровеет и нам будет можно пошутить, я Вам их сообщу. Кланяйтесь от меня А. А. и Е. Я.

Целую Вас. Ваш Б. К.

З.П.<43>. [Ташкент].

Дорогой Борис!

Руки так застыли, что почти невозможно писать, несмотря на толстую перчатку. Холодно, а я думаю о том, как холодно вам с вашей соломой. Бедный мой Боренька! Письмо ваше пришло вчера. Я очень огорчилась, что вы беспокоитесь — я ведь много писала. Была и открытка моя и Анны Андреевны. Она здорова, молода и счастлива. Живет хорошо, и харч у нее роскошный. Худо моей маме. Но в жизни есть большое утешение — семья, где я живу — кажется, это моя семья. Во всяком случае я никогда не забуду Нининой доброты к маме.

Женя же маму боится. Знаете, старость всегда безобразна. Вот он к маме и не заходит и сыновней заботы не проявляет. Я сначала огорчалась. Теперь прошло. Сейчас люди все с придурью. Он тоже. Это и все.

С работой трудно, с ходьбой трудно, с обувью трудно. Со всем трудно. Но вам, милый, наверное, труднее, а мне во всяком случае легче, чем в прошлом году. Господи, пустил бы ты меня к Бореньке на кухню пшеничную кашу варить. Поразительно это подходящее для меня занятие — а нельзя. Много этих «нельзя» в жизни. Отчего?

Я-то знаю, что февраль пройдет и здесь будет тепло. А вам-то каково. И еще — нет Топа. Я знаю, как это тяжело. Пусть растут Мотькины щенята. Мотьку-то я хорошо помню.

Скоро выйдет книга А<нны> А<ндреевны> — здесь в Ташкенте⁷⁶. Я вам ее пришлю. На днях к ней зашла ваша знакомая — Люся Тагер. Она на костылях. Очень бледна. Одета хорошо. Спрашивала про вас. Говорила, что вам напишет. Но вообще она производит очень странное впечатление — сумасшедшей, а не так, чудаковатой. Плетет дикую ерунду, путается, все время «интересничает». Очень, очень тяжелое впечатление. Как-то ее и не жаль. Она не производит впечатления человека. Ну, бог с ней. Пишите подробно про Олю и Русю и о себе. Я рада, когда узнаю что-нибудь из «быта». Например — солома. Я боялась, что топки вовсе нет. Было б хуже. А какая возня с соломой, я знаю по прошлому году: топились собранным мною кураем.

Сейчас лежит снег. Он растает. Будет грязь. В грязь еще труднее. Я очень боялась, что люди порубят чудесные ташкентские деревья. Но этого не случилось.

Пришлите шутки — стишки. Я ведь обожаю.

Целую вас, милый.

Надя.

Не знаю, что делает поэт — автопортрет или автобиографию. Пастернак об этом говорил, и Ося. Оба по-разному. И Анна Андр<еевна> — но она вообще проявляет большую заботу к своей биографии.

Совершенно замерзла.

12.II.<43>. [Ташкент].

Борис, дорогой!

Пришла ваша открытка от 31/XII. Я писала и пишу все время. С тех пор был добрый десяток писем. Но помните, у вас

был перерыв — я тогда слала телеграммы и не писала. Вот, очевидно, он теперь и сказывается.

Вы уж должны знать, что Анна Андреевна здорова. Из больницы вышла давно. Живет в маленькой своей комнатке с одной молоденькой журналисткой⁷⁷. Чувствует себя хорошо. Работает. Скоро выйдет ее книга. Я ее вам пришлю.

Я живу довольно трудно, но буду жить еще труднее. Скоро я уйду со своей работы и буду жить только уроками. Здесь очень существенная проблема хлебной карточки. Но там видно будет.

Все же много хорошего на свете: надежда на улучшение сейчас очень живая. Письмо вы получите через бог знает какой срок, и поэтому я вам напоминаю, что именно сейчас радио приносит каждый день счастливые известия. Трудно сказать, как была счастлива Анна Андреевна, когда мы узнали, что блокада Ленинграда прорвана. Живем о<т> радиопередачи — до следующей. Вечером, утром, днем у рупоров.

Мама здорова, но бесконечно стара. Вряд ли она что-нибудь понимает. Много сердится и обижается. Но на меня: на Женю не сердится, потому что не видит его.

Живу я очень далеко — на окраине. У нас во дворе огромное урючье дерево. Мечтаю о весне, хоть я и не Блок. Сейчас рецидив ташкентской слякоти. Моросит, каплет, снег хлопает. Но эта слякоть в тысячу раз лучше морозов в наше бестопливное время.

Милый, когда я подумаю о вас, о ваших страшных морозах, о том куске холода, который вы едите, — я еще больше хочу к вам — разделить его с вами, съесть пополам. Ау, Борис!

<...> *, Борис. Мир будет новым — все люди новые — их много и сейчас. <...> **.

Умерла Татя, Осина племянница — уже взрослая девушка — это последняя весть. Не знаю, где моя Наташа — от нее уже очень давно никаких вестей.

Про Тырсу и Бориса Лапина я вам писала. Но вы их не знали. Беспokoюсь за Эмму. Она давно не пишет. Мы с Анной ей писали — ответа нет. Не знаю, Боренька, как жить дальше, и очень, очень тоскую. Право, я бы у вас моментально устроилась (на педагогическую работу, хотя бы). Отчего нельзя к вам? А

* Два слова зачеркнуты.

** Четыре слова зачеркнуты.

нельзя, конечно, абсолютно: мама. Если б не она, я бы давно была у вас или около вас.

Пишите мне, родной, о себе. Я знаю про Топа. Знаю про солому, которой вы топите. Знаю, как топят соломой, но знаю также, как остывает печка после такой топки. Все, все знаю.

Я подумала, что несправедливо вам топить две печки. Одну — плитку — надо бы мне. Я бы варила вам вашу пшеничную кашу.

Напишите, пожалуйста, что вы едите. Я хочу все знать — очень подробно.

И пришлите стихи — вы писали, что развлекаетесь шутками.

Надя.

18.II.43. [Ташкент].

Борька! я всегда знала, что вы старый дурак. Но неужели до такой степени? Опомнитесь, старик! Куда вы? За что вы меня там отчитываете? Что я вас приревновала к чужой девушке? Милый, так всегда было и будет. Это не мешает мне, конечно, радоваться, когда к вам в пустыню входят какие бы то ни было люди и живые существа, так что моя ревность довольно безвредна. Боренька, когда было иначе? Почему должно меняться? Только обезьяны меняются. А вы, Борис, как бы вы знали, как я вас обожаю, если б я не скандалила и не ревновала вас ко всем и ко всякому? Не пойму вас, родненький... А вообще с удовольствием буду вас ревновать к друзьям и подругам, лишь бы они у вас были.

Что касается до А<нны> А<ндреевны>, то вокруг нее атмосфера неприятная. Актерками и закулисами пахнет здорово. Иногда запах сгущается. Иногда легче. Сейчас хорошо. Но вообще обстановка институтская. Меня это не касается абсолютно. Держусь в стороне. Но от А<нны> А<ндреевны> получаю пачки жалоб и личных разговоров то об одной, то о другой подруге. Занятие это меня не веселит. Тяжко. Этого не опишешь — как всякую бабью кашу. Не хочу. И не нужно. И она все же прекрасна, сладостна, нежна, хороша. Настоящее солнце. И люблю я ее, как всегда. Просто люблю. Стараюсь приходить, когда нет обожательниц. Не всегда удается. Вам не понять: это не

Эмма пишет, а просто иногда невозможно жить в сверх-эммкиной атмосфере.

А вы дружите, милый, с кем хотите, и я поцелую всякого вашего друга. Я знаю, как тяжело одному. Достаточно пожила. Устала и надоело. И скоро опять останусь одна, потому что все уезжают обратно в свои города.

Боже, Борис, как я мечтаю, чтобы вы попали в Джамбул. Я не представляю себе такого счастья. Ведь я смогу приехать к вам, увидеть вас. Хоть бы это осуществилось. Боюсь даже мечтать.

Борис, то, что вы не получали писем, отнюдь не значит, что я не писала: не было письма, на которое бы я не ответила — и часто писала и так. Но несколько недель, когда от вас не было писем, я посылала не письма, а телеграммы. Вот и оказался у меня «период молчания»⁷⁸.

Пишите, Борис, милый. Ваша Надя.

21.II.<43>. [Ташкент].

Несколько свободных минут — и несколько слов вам, милый мой. Очень, милый, тяжело думать, что вы один, больной. Хорошо, что вы поселили к себе людей. Лишь бы оказались хорошие. Мне-то всегда везет на соседей, хозяек и т. д. Но другим — нет.

Как ваш грипп? Не дал ли он каких-нибудь последствий? Если б вы знали, Борис, как я боюсь за вас.

Анна Андреевна всегда передает вам приветы. Однажды мы с ней писали вам. Получили ли вы эту открытку?

Пишите мне, Борис, часто, часто. Очень грустно без писем. Пишите, родной. Ради бога, пишите.

Надя.

10.III.<43>. [Ташкент].
№ 1

Борис! Получила ваше письмо. Я писала довольно много. Шут их знает, может, они ползут еще и доползут когда-нибудь до

вас. Я очень грущу, что вы болеете один. И Достоевского читаете. Я-то его всегда могу читать. А вот Нина — моя хозяйка — сказала мне нынче: «Я уж лучше почитаю Достоевского, когда буду сыта». Это было в день получения вашего письма.

Насчет женской истории, это, Боренька, ничего. Я ведь не мужчина.

А вот, Боря, о себе. Я здорово сейчас издергана. Вот из-за чего. До вашего письма я написала Жене. Из комнаты в комнату, можно сказать. И письмо, на мой взгляд, трагическое.

Мама живет со мной. Наш способ жизни — 1,2 карточки в столовые — и живем «обедами». Так живут почти все служащие. Так живу я. Я из кожи лезла, чтобы прокормить маму. Но мама голодала. У нее голодный понос, распухшие ноги.

Женя получал писательские пайки — у него не столовые, а дома обед. У него десятки килограмм овощей, рису, мяса. Всю зиму — масло и фрукты.

Я с удивлением убедилась, что он ничего не дает маме. Я говорила, напоминала. Он объяснял, что Лену это нервирует. За зиму он выдал от своих щедрот — 3—4 свеклины, 2 пиалки риса (граммов 300—400) и полбутылки кунжутного масла. Это бред, но это так. Особенно меня взбесили какие-то гузинаки. Это семечки в меду. Здешнее лакомство. Я была у него, когда он принес 5 или 6 килограммов. Он их спрятал — и все. Денег он, конечно, не давал.

Чтобы не расстраивать себя неприятным зрелищем, он не ходил к маме. Он был у нас 3—4 раза за полгода, что я живу отдельно (очень далеко — на окраине). В последний раз в начале декабря. Я говорила, что мама голодает, но они с Леной не верили — Лена просто кричит, что мама жадная старуха. Они откупались от меня: после службы я бегаю по урокам. 2 раза в неделю в течение четырех месяцев (с ноября — после болезни А<нны> А<ндреєвны>) — я ночевала у них, и они меня кормили обедом. Если мне случалось заночевать в третий раз (я живу на окраине в старом городе; трамвай зимой почти не ходили), меня не кормили.

Мы жили без мыла. Я уходила в темноте. Приходила в темноте. Мама вшивела, болела. Меня буквально спасала моя хозяйка — Нина — и едой, и заботой.

Сейчас Нине стало очень плохо. Она с мужем и ребенком голодают. Больше от них ждать ничего нельзя.

Я завтра беру маму и перевожу ее к Жене. Он об этом не знает. Он дождал и до такого позора. Договориться с ним нельзя. Вы видите по предыстории.

Я ни в чем не виню Лену. Вся ответственность на Жене. Что это все значит? Как это может быть?

Он очень мил и приятен. Это — Дориан Грей⁷⁹. Хорош у меня брат?

Вчера, когда я говорила о маме, орала Лена. Я ей сказала, что она бы никогда не стала так говорить о своей матери. Она ответила, что ее мать никогда так не сдирала шкуру с нее, как мама с меня и Жени. И этот подлец молчал. Так же молчал, как тогда, когда Лена говорит о том, что она сыта (т. е. мама), что ей ничего не нужно и т. д.

В прошлом году он приехал за мной в деревню тогда, когда я написала, что уезжаю и оставляю маму одну. Потом я ему писала, что вы меня зовете к себе. Вот тогда-то он и испугался, что мама останется с ним навсегда.

Еще, я забыла: Лена уезжает в Москву в апреле; за ней поедет Женя. Так что речь идет о 2—3 неделях. Помощи из Москвы от них, конечно, никакой не будет. Но мне надо подкормить маму и обязательно остаться с мамой в их комнате: в центре города, я смогу 2—3 раза с работы забегать к ней, носить ей те же обеды (свои, т. е. съесть супы, а ей отдавать кашу), и, наконец, больше зарабатывать (уроками).

В письме я ему пишу обо всем этом и сообщаю, что при малейшей попытке обидеть маму — я уезжаю к вам. Это угроза оставить навсегда маму на его руках. Я пишу, что просила вас послать вызов. Телеграфируйте мне, если нетрудно: «вызов послан» — конечно, по Жениному адресу. Вот позор, до которого мы докатились. Меня это так волнует, что я не могу думать и писать ни о чем другом. Семейная история.

Я очень всегда любила Женю.

Что мне делать?

Мама непрерывно требует еды. Она, в сущности, впала в детство. Но не с Жени, а с Нины. Женю она щадит.

Она ходит по соседям и жалуется, что Нина ее плохо кормит. Боря, что мне делать?

Надя.

Анна Андр<еевна> получила (по моему адресу) вашу открытку. Она просит вам кланяться. Часто вспоминаем вас и любим. Скоро должна выйти ее книга, и я ее вам пришлю.

Н.

Пишите скорее, милый.

19.III.<43>. [Ташкент].

Дорогой Борис! Как я рада, что вы раскаялись. Но, милый, с чего вы решили, что я обиделась и решила поссориться — хотя осуществить решения, конечно, не могла. Ничего подобного не было. Я вас обожаю и обидеться на вас не могу. Что же до вашего письма (нового), очень уж мне обидно читать про Топа. Худо вам, милый. И жаль, что вам пришлось его отдать.

Чего еще, Борис? Вы получили мое письмо, где я жалуюсь на Женю. Его отношение к маме действительно ужасно. Сейчас оба уехали (и Лена, и Женя). Они в командировке в нескольких часах от Ташкента. Вчера Женя забегал ко мне перед отъездом и передал, чтоб я сказала маме: «Пусть меня мама выругает...»

Это для него очень много. Он научился от Лены быть всегда правым. Но я его все же люблю. Это непонятно, но факт. Не могу не любить, а ведь не за что. Дома у себя он очень тяжелый. С Леной то сюсюкает, то ругается. А я все-таки его очень люблю. Что делать. Ко мне тоже смесь нежности и придирчивой грубости. Он все боится, чтобы я чем-нибудь не унизила его достоинства. Т.е., придя к нему, не забыла подмести пол, натаскать воды и т. п. Откуда такая чепуха? И все-таки я его люблю. Конечно, виноват он, а не Лена. Лена то, чем она должна быть. Но он ведь все-таки мужчина, брат, сын моего отца. Что с ним?

Анна Андреевна всегда велит мне вам кланяться и целовать вас. Что я и делаю.

Боренька, угрозой перевести маму я вырвала из худых Лениных рук два кило рису. Это все — за 2 года. Оба собираются в Москву, и перед Москвой мне необходимо прописать маму в их комнате. Надо ее держать в центре, поближе к моей работе. Полагаю, что они будут уклоняться. Пришлите, милый, телеграмму, что вы меня вызываете («вызов выслал»). Женя только потому и при-

ехал за мной в деревню, что я ему сообщила, что уезжаю к вам и бросаю маму. Это его очень испугало.

Как обидно все это.

Остальное все в порядке. Жизнь идет. Анна Андр<еевна> очень хороша. Выйдет ее книга, я вам пришлю ее. Это мы с ней решили. Мы часто с ней о вас говорим.

Вы все мне не пишете, Борис, как вы живете, что едите, как с хлебом и что до хлеба. Напишите, родной, и про Русю, Олю и всех ваших. Бедная ваша тетя Эмма. Тяжко — рак, смертельная болезнь. Но еще хуже, когда близкий человек болеет и погибает на пути, под чужой крышей. Они-то — домоседы — и им суждено было сдвинуться с места.

Пишите мне чаще. Скучаю, когда долго нет писем. Получила письмо от временно разлюбившего меня Ник<олая> Ив<ановича>. Я опять возвращена на его ложе, где и пребываю с полным удовольствием. Пишет он что-то про Эмму — глубоко неуважительно. Он ее здорово не любит, а за что — неизвестно.

На днях была на концерте. Фейнберг играет подряд все сонаты Бетховена. Сам он мне очень не понравился, а про музыку в вашем присутствии говорить не смею. Шостакович болел тифом и выздоровел. Здесь живет Козловский — композитор, написавший какую-то оперу. Но он настоящий музыкант, и у него есть орган (!) Я пойду к нему слушать в вашу честь Баха.

Тагер Лена — призрак на костыле. Таинственна, похожа на сумасшедшую. Иногда заходит к Анне Андр<еевне>. Перенести ее трудно. Обидно думать, что я когда-то ревновала вас к ней. Стоило ли?

Целую вас, милый.

Ваша Надя.

Что у вас с Джамбулом? Неужели все усохло? А я так надеялась. Пишите побольше!

В Джамбул я бы к вам обязательно съездила.

28.III.<43>. [Ташкент].

Это письмо моему Борису. От известной ему Надьки. Помнит он еще ее?

Боренька мой! Привет вам от Анны Андр<еевны>. Она всегда велит вам кланяться. Потому вас любит и всегда вспоминает. И я люблю. Вот так просто люблю и скучаю.

Жизнь, родной, суровая. Мама в настоящем бреду. Безумная, несчастная старуха. Сидит либо совершенно одна на кровати — а я на работе. Либо в совершенно чужой семье. Она бредит. Бредит, как хочет. Едой, квартирной хозяйкой, сыном, который к ней не заходит и т. д. Она пишет письма всем покойникам и просит прислать ей денег. Вернее, собирается писать, но писать уже не умеет. Единственное, чего она не делает — она не собирается писать Жене письма на эту тему. И в этом трагедия. Он сейчас в отъезде. На днях приедет, и мне придется перевезти ему маму. И это тоже ужасно. Вообще выхода нет. Хуже всего, что у меня есть заработки и я могу — худо ли, хорошо ли — прокормить маму. Но нет времени. Я ухожу из дому в 9 и возвращаюсь в 10—11 ч<асов>. Женя живет рядом с моей работой. Я могла бы несколько раз на день забежать к ней, покормить ее. У него собственная комната — не от хозяев. Т.е. мама и ее еда не во власти чужих людей, которые не обязаны жалеть чужую старуху. Но ввиду того, что и Женя и Лена занимаются творчеством, <они> не любят помех. Дикая жестокость. Неужели на такой скотской почве выйдет какое-нибудь искусство? Ведь Лена непрерывно говорит об искусстве.

Этим я занята — это моя беда. Споры с Женей даются мне очень тяжело. Я ведь его люблю. Но маму жаль до крика, до звериного визга. Что делать.

Мне хорошо с А<нной> А<ндреевной>. В каждую свободную минутку — я у нее. Она становится светлее, яснее, моложе и красивей с каждым днем. У нее выходит плохая книжка, и решили послать ее вам. Левушка где-то на севере⁸⁰. Не знаю, как он устроился. Недавно пришла от него телеграмма. Он свободен, остается на месте. Трудно сказать, как я счастлива. А об Анне и говорить нечего. Знаю, что и вы будете рады. Недавно получила письмо от Ник<олая> Ив<ановича>. Очень давно не было писем. Я обрадовалась. Он был в Алма-Ате. Теперь в Москве.

Что у вас с Джамбулом? Боюсь спрашивать. Ведь, если вы туда переедете — мы будем рядом. Мы увидимся. Я перееду, наконец, в Джамбул, чтобы быть рядом с вами. Теперь мне это

легко. Боренька, неужели это уже провалилось? Напишите скорей. Целую вас, родной.

Ваша Надя.

14.IV.<43>. [Ташкент].

Дорогой Боренька!

Получила ваше письмо и телеграмму. Сейчас у меня стало как будто более мирно: мама у Жени. С ней обращаются хорошо — ее моют и кормят.

У меня от усталости или от чего — реакция. Чувствую себя возмутительно плохо. Сейчас живу у Анны Андреевны — временно. Просто нет сил уйти от нее. Она закончила большую вещь — поэму⁸¹. Мне кажется, самое значительное из всего, что она сделала.

Боренька! Я на вас не сержусь. Я вас просто люблю.

Вы мне пишете, что отправляете мне еще одну басню. Почему — еще? Я ее первую и получила — про ямб, хорей, кекс и бифштекс.

Как подействовала телеграмма на Женю с Леной — не знаю. Мы не говорили. Но Женька стал гораздо лучше. Я думаю — имея при себе маму — он успокоился. Даже называет меня Надюшей, чего с ним давно не было. Это называется «лиха беда — начало».

Анны нет дома. Я ушла с работы и весь день спала. Было худо с сердцем и с животом. Вечером проснулась здоровая.

Я рада вести о Гурвиче. Не знаю, где он. Но помню, как в первый же день, когда я лежала голая в кровати, вы рассказывали о митогенетических лучах.

А про Любищева я всегда слышала, но никогда его не видела. Что слышно у вас с переездом? Вы однажды обмолвились известным мне Джамбулом и замолчали. Как я вас зову, родной, туда... Подходит лето, и мне страшно. Сердце скандалит и не терпит жары. И голова тоже слабая.

Целую вас, Боря милый.

Надя.

Зачем я вас ревновала к Люсе Тагер. Не стоило. Ее муж с интересом о вас расспрашивал. А она как будто совсем сумасшедшенькая.

Н.

22.IV.<43>. [Ташкент].

Дорогой Борис!

Ничего не получаю от вас после телеграммы. Пишите лучше*... Нет, пишите по старому адресу: Анна должна скоро переменить комнату. Мама у Жени. Женя в командировке. Стерва-Лена хамит, как может. Но мама сыта, и ей больше ничего не нужно. Я чуть-чуть поболела (желудком) и полежала у Анны Андреевны. Мне было хорошо. Я счастлива, когда я с ней. Как жаль, что нельзя быть вместе всегда.

Жизнь идет необыкновенно быстрыми темпами, и я ничего не успеваю. Как белка в колесе. Очень много всякой мелкой хлопоты. Нынче вышла на работу и опять закручусь. Весна у нас поздняя. Дождь льет. Как в Москве. Я рада, что оттягивается жара. Все-таки отсрочка. Дождь льет.

Отправила нынче письмо Пастернаку. Просто так — вздумала и написала. Но адрес фантастический. Если у письма вырастут ножки, оно дойдет. Люди таких адресов не понимают.

Что у вас? Пишите, присылайте басни. Пишите о себе и о своих. Хочется все знать, как живете, что делаете, что едите. С Анной вместе мы богатые: можем сварить кашу. Хлеба на двоих — кило (у меня 400, у нее 600). Очень вкусный. Я оценила хлеб. Мой отец не мог заснуть, если в шкафу не лежала буханка хлеба. Это после 18 года. Я теперь его понимаю. Но все же сплю.

Рада, что вы получили весточку от Гурвича. Помню и знаю ваше отношение к нему. Лето придет с жарой, но с едой, с новым хлебом и луком. Это всегда хорошо.

Целую вас, Боря.

Ваша Надя.

* В оригинале было «на адрес» — зачеркнуто.

6.V.<43>. [Ташкент].

Борис! Я давно не писала и давно не получала писем. Скучаю. Этот месяц я провела у Анны Андреевны. Совпало так, что маму перевезла к Жене, и только теперь до его сознания дошло, что жить с ней в чужом доме нельзя. Перевезла я ее насильно. Она совершенно безумна. Непрерывно говорит — и все бред. Не знает, где она. Ничего из реальной обстановки не понимает. Страшно, и сам бред страшен: основное — вражда к Лене. Единственное, в чем она права, это то, что Лена мегера. Так и есть. Господи, как все мерзко. Лена на днях уезжает месяца на два в Москву. Женя на стройку, о которой он пишет⁸². Я опять остаюсь с мамой с глазу на глаз. Что будет — не понимаю. Оставлять ее одну — нельзя — она в непрерывном возбуждении. Сидеть с ней я не могу — служба и т. п.

Если Лена останется в Москве — на это, впрочем, шансов мало, — Женя вполне способен бросить меня и маму со мной без комнаты и без всего. Если они останутся здесь — еще хуже: они думают только о том, как сплавить ее в сумасшедший дом. Как это ни печально, но надо их держать под угрозой моего отъезда: пишите мне, Борис, прекрасные открытки и зовите меня к себе. Под влиянием телеграммы они были несколько дней вполне пристойны. Жизнь с Леной не прошла для моего брата безнаказанно: это тот самый, конечно, человек, но в нем осталось только самое худшее. Для меня это было все очень страшно, очень тяжело. Сейчас я уж вроде как привыкла — просто не тот брат. Вроде, как Ося относился к Евг<ению> Эм<илиевичу>.

Вот мои семейные дела.

С Анной Андреевной мне было очень хорошо. Ее сожительница уехала, а подруга снималась весь этот месяц в каком-то кинофильме в Сталинабаде. Вернулась она только вчера с гиком и криком. Боюсь гениальных актрис. И моя Аничка тоже.

А теперь — очевидно, два-три дня дома, а затем на Жуковскую в Женину комнату.

Устала, устала, устала. Мозгом устала. Психическое напряжение огромное. Страшно вас не хватает. Каждый день и каждую минуту. Хоть бы не в одном городе — хоть бы просто в досягаемом другом городе. Будет ли так? Что слышно с Русиним приездом? Как я была бы рада за вас.

Целую вас, милый.

Ваша Надя.

Еще уголок, где можно написать, что люблю вас и хочу быть с вами или хоть поблизости. Вдруг можно будет видеться? Неужели это будет?

Надя.

10.VI.<43>. [Ташкент].

Боренька! Давно уж не получала от вас писем. В последний раз в течение 3 дней получила 3 письма — одно февральское, другое майское, третье апрельское. Думаю, что сейчас вы на совещании. Что оно вам даст? Хоть бы вам выбраться из Шортандов и не проводить там еще одну зиму. Жду с нетерпением вестей.

У меня сейчас новый быт. Лена в Москве, Женя в командировке в Узбекистане. Мы с мамой у них в комнате — в центре города, на той самой Жуковской, куда вы мне пишете.

Над нами живет Анна Андреевна. По утрам я швыряю ей камушки в окно, и она, проснувшись, идет ко мне завтракать.

Хозяйство у нас почти общее, и живем мы хорошо. Для меня, конечно, это явление временное. Вернется Лена, и я отсюда выкачусь — и это обидно. Маме же будет очень плохо с Женей и Леной. Я с ужасом жду конца идилии и благополучия.

Последние дни у меня невыносимый кашель. Анна Андреевна беспокоится и говорит, что я перекажываю какую-то болезнь. Думаю, что это просто грипп. Нынче даже ушла с работы и лежала. Мама стонет во сне.

Вышла книга Анны Андреевны. У меня есть для вас экземпляр, на днях вам пришлю.

Целую вас, милый.

Надя.

19.VI.<43>. [Ташкент].

Борис! давно нет писем. Но я считаю, что вы в Актюбинске. Боже, как я замотана!

Лена в командировке в Москве. Женя здесь ездит. Я живу с мамой у них. Она очень слаба. Жить летом легче, несмотря на

жару. Много всякой зелени. Трудно представимое из Шортандов изобилие вишен, капусты, моркови и пр.

На втором этаже прелестнейшего домика в чудеснейшем дворике живет Анна. Я ее люблю. Нам вместе хорошо. Но она, наконец, скоро уедет в Москву.

Я приготовила для вас ее книгу. Но нет времени послать. Что-то даст вам Актюбинск! Хоть бы Джембул. Я бы к вам съездила. Как я мечтаю об этом. Пишите, Борис.

Ваша Надя.

6.VI.<1>.<43>. [Ташкент].

Мой Боренька! Уж как давно нет писем. Я все склонна приписывать это Акмолинску — но уж пора вам вернуться. Что ж там было? Как ваш доклад? Удастся ли вам выскочить из Шортандов — поближе ко мне, или к Русе и Оле? Хочу знать все новости, Борис. Хочу скорее получить письмо.

У меня так: мы с мамой живем у Жени. Лена в Москве, куда она повезла выставку детского рисунка. О ней много было в газетах. Я сейчас оставалась за хозяйку и дома, и в своем учреждении (Дом художественного воспитания детей).

Мама здорова физически, но психически совсем плохо: это старческий маразм — очень тяжелая вещь. Не нашла ничего лучше, как ненавидеть Женю и обвинять его и меня, что мы ее обворовали. Женя очень хороший. Но он очень слаб. Тяжелое истощение. — И это странно, потому что зимой он был вполне благополучен, да и сейчас мы не бедствуем. Город завален фруктами, и нам перепадает немало.

Над нами живет Анна Андреевна. Она получила медаль — за защиту Ленинграда⁸³. Материально она благополучна: получает лауреатское снабжение и квартиру. Но все это она бросает и уезжает в Москву, в надежде, что ее пустят в Ленинград, к мужу. Уезжает она, очевидно, 10-ого. Итого нам осталось прожить вместе четыре дня. Очень грустно. Сейчас я более ни менее свыклась с этой мыслью.

Стоит тропическая жара. Перенести ее нельзя. Очень болит сердце. Время от времени появляется Николой Дитрих-

вич>. Это очень утомительно. Главное, неприятно, что ему безразлично, с кем разговаривать. Это просто разговор с самим собой.

Получила письмо от Пастернака. Очень грустное. Изредка пишет Харджиев.

Надя.

Пишите, Борис. Как только узнаю, что вы в Шортандах, вышлю вам книжку А<нны> А<ндреевны>.

Надя.

18.VII.<43>. [Ташкент].

Борис! Это уж по крайней мере пятое письмо, на которое нет ответа. Что с вами? Где вы? Как я скучаю по вас. Отзовитесь.

У меня ничего нового. Много работы, и на этот раз — вернее, период — приятная. Я отправляю детей массами в санатории и детлагеря, где их хорошо кормят. Я даю им одежду — и это очень хорошо. Здесь сделали в это лето невероятно много для детей. Этим я занята почти весь день. Остальное время уходит на готовку еды и уборку комнаты. Обслуживаю целые толпы и живу на две семьи — Женя с мамой и Анна Андр<еевна>. (Ее книга приготовлена для вас.) Получила письмо от Бор<иса> Леон<идовича>⁸⁴. Очень грустное. Он переезжает сейчас с семьей в Москву. Собираюсь на днях ему писать. Но трудно раскочкаться. Главное — от вас ничего нет, и мне тревожно.

Целую вас.

Надя.

24.VII.<43>. [Ташкент].

Дорогой мой Борис! Три дня подряд приходят ваши письма. Первое посланное пришло, конечно, последним. А я-то верила в Акмолинское совещание. Я ни на что замечательное не надеялась — ну хоть бы Джамбул. Была бы я в Алма-Ате, я все же попробовала бы что-нибудь сделать. Но Ташкент — другая рес-

публика. Все же поищу — нет ли кого здесь из москвичей или ленинградцев.

Вот на Леонова никакой надежды нет. Он взялся ходить к Жене и торчит до ночи. Меня начал ненавидеть и смотрит поросычьим глазом. Я его просто не выношу. Женька кроток.

Нынче приезжает Лена из Москвы, куда возила выставку детского рисунка (о ней писали в «Известиях», «Правде» и др<угих> г<азетах>). Гроза приближается. Хозяйка близко. Тьфу. Я буду жить в том же доме у Анны Андр<еевны>. Удивительно, как случилось: мы очутились все в одном доме. Вот Женя отдохнул от супруги, стал веселый, милый. Я бы думала, что он будет ее ждать, как грозу, как тучу... Ничего подобного: сияет, ждет — не дожидается.

Анна Андр<еевна> не то уезжает, не то нет. Вернее, уезжает пассивно. А Женя и Лена, очевидно, скоро уедут. Во всяком случае к зиме буду совершенно одна.

За последние дни написала вам несколько писем. Пишите, милый. Играю с Женей в шахматы (очень плохо). Книгу вам вышлет А<нна> А<ндреевна>.

Надя.

31.VII.<43>. [Ташкент].

Боренька!

Отчет:

А<нна> А<ндреевна> ушла со своей приятельницей Раневской гулять. Я мыла голову. Сажу на втором этаже в Аниной скворешне. У нее живу. Вернулась Лена. Мама у них. С Женей ссорюсь в кровь. Т.е. кровь мне бросается в голову, и я выкрикиваю какие-то страшные слова. Пока не приехала Лена, мы были в мире. Сейчас пошли скандалы за скандалами. Вполне достойная пара, и пламенно любят друг друга. Последняя ссора за следующую фразу: ...Впрочем, не напишу — так противно.

Меня ненавидят следующие три человека: Леонов, Державин и Некрасова.

Леонов — ваш. Он сейчас внизу сидит у Лениного ложа. Этот слизняк мне противен. Я хамлю с ним, а вы ведь знаете, как

он мстителен. Сейчас он зарисовывает лица людей, которых судит. Я никогда не знала, что у него еще физиономистские и художнические поползновения.

Державин — поэт, который не пишет, а переводит. Нескольких написанных им в Ташкенте стихотворений — превосходны. Ненавидит за то, что я не позволяю оскорблять бухгалтера, который не сию секунду дает деньги.

Некрасова — юродивая поэтесса. Мусор и чудесные хлебниковские стихи вперемежку. Она живет в горах и приехала гостить к А<нне> А<ндреевне>, а кстати устраивать свои дела. Т.е. у нее мания, что ее должны печатать.

Не будут.

Я скоро еду в командировку в Самарканд или в Ленинабад. Я рада. Работа у меня хорошая. Административная часть работы выражается в том, что я кормлю около сотни детей. Это хорошо. Сейчас буду работать по выставке вышивки. Очень этому рада.

Прерывали меня разные люди. Опять вернулась к вам. Поцеловала того, кто стоит в степи в полушубке, — и вспомнила до слез.

Что ж это, Борюшка, без собак, без друзей, без сестры, без Надьки? Разве так можно?

Но все-таки с Надькой. Обязательно выживем оба. Дадим друг другу слово. Хочу по Москве с вами. По любимым улицам. В книжный магазин. Ко мне домой ужин жарить. Будем, Борис? И Николая Ивановича позовем... Хорошо? Я уж совсем дурить не буду. Буду моему Бореньке в глаза глядеть и со страшной силой подлизываться, как умею только я.

Хорошо?

Целую вас, милый.

Ваша Надя.

С вами ли ваши сожители? Как вам с ними?

12.VIII.[1943]. [Ташкент].

Дорогой Борис!

На днях отправили вам книжку. Сообщите, получили ли вы ее. Как всегда, все письма ваши пришли сразу — и теперь опять нет ничего. Скучаю.

Очень огорчилась всем оборотом ваших дел. А из быта — меня разволновал огород. Что там посажено? Сколько его? Как он выглядит? Неужели вы едите огурцы и помидоры? Мы завалены овощами и фруктами. Сравнительно дешево. Покупаем. Мама живет у Жени с Леной, а я в том же доме у Анны Андр<еевны>. Сейчас у меня чудная и любимая работа — по подбору всяких худож<ественных> народных вещей. Разговариваю с мастерами, стариками и очень увлекаюсь. Пишите, родной.

Ваша Надя.

29.VIII.[1943]. [Ташкент].

Борюшка мой, высокий, длинноногий, скрипучий, милый! Что-то я вас нынче очень люблю. Даже скучаю. Хочу к вам. Если б не мама, Борис, я бы, наверное, была у вас. У меня бы тоже был свой огород, и мы бы солили огурцы.

Ваш разговор о том, что лучше сидеть на месте, пожалуй, справедлив. Действительно, всякое приспособление к новому месту отнимает массу времени и сил. И очень возможно, что одиночество в большом городе-деревне, вроде Актюбинска или Ташкента, ощущалось бы еще сильнее.

Сейчас все разъезжаются из Ташкента. Один за другим. Мы останемся здесь с мамой в окружении одесситов и ташкентцев. Это будет очень тяжело.

Женя и Лена сейчас в Самарканде. Вернутся через неделю и вскоре уедут в Москву.

Уедет Анна Андреевна, уехали более ни менее все, с кем мы здесь водились. На днях уезжает Раневская — киноактриса. Приятельница Анны Андр<еевны>, которая сначала меня раздражала. Сейчас нет. Она — забавная. Показывает всякие штучки. Остается слонообразная дочь Корнея Чуковского. Это омерзительное семейство и дочь, с которой я вместе служу, меня сильно раздражает, главным образом за то, что очень высоко держит знамя русской литературы, чести, доблести и пр., а при этом... Ну ее к черту.

Анька моя до того озорная, что ее невозможно вынести. Очень скверная 54-летняя девчонка. Красива. Весела. Молода.

Я — нет. Меня угнетают, главным образом, зубы. Только за эвакуацию вывалилось 14 зубов. Надо вставлять.

Но подумайте. После войны я захочу жить, пойду к массажистке — стану как огурчик, куплю себе мальчика (так делают все именитые старушки) — а зубы надо будет на ночь класть в воду. Какая катастрофа!

Больно еще, есть не могу. Наверное, все-таки было что-то вроде цинги. Уф...

Устала.

Нынче воскресное утро. У меня рабочий день.

Целую вас, Боренька.

Ваша бывшая Надька.

8.IX.[43]. [Ташкент].

Борис! Пишу кратко. Вот положение. Мама лежит. Она медленно умирает. Иногда мне кажется, что она уже умирает. А после этого она сидит, ест, живет. Сейчас уже почти не говорит. Отходить от нее нельзя хотя бы потому, что она не умеет садиться на горшок.

Анна Андреевна уезжает в Москву в конце сентября одновременно с Женей и Леной. Все москвичи уже уехали.

Скоро я останусь в Ташкенте одна. Т.е. сначала с мамой, а потом — и, наверное, скоро — без нее. Сегодня подала заявление, чтобы меня отпустили с работы.

В Москву писать не буду. Так решила. Как будто все.

Надя.

18.IX.<43>. [Ташкент].

Борис! Мама умерла. Вчера хоронили.

Отчего от вас давно нет писем? А<нна> А<ндреевна> от вас письмо получила.

Надя.

[19].IX.[1943]. [Ташкент].

Дорогой Борис! Получила на днях ваше письмо. Еще вы не знали, что мама умерла. Давно я ждала ее смерти, но до последней минуты не верила, что она умирает. Она не болела, а угасала. Звала меня. Была совсем холодная, и мои руки обжигали ее. Она говорила: «У тебя жар» и «пойди поспи»... «Из-за такой старухи ты не спишь». Боже, Борис, как мне скучно без нее. Пусто и скучно. А ведь она ничего не понимала. Была совсем как ребенок. Уже давно. И смерть изба<вила> *

Женя и Лена еще не уехали. Уезжают на днях. <Анна> <Андреевна> — опять больна — ангиной на этот раз. Она думает зимовать в Москве. Задержалась из-за меня. Теперь скоро поедет.

Разметало нас по всему свету. Скучно нам. Мы, правда, нужны друг другу, мой милый, мой старый, мой настоящий Борис. Но так мне кажется, что вы, пожалуй, последний человек на свете, которому я еще нужна. А те, кто не мог без меня жить, — тех уже нет на свете. Как будто это и есть счастье — свою родную своими руками положить в гроб. И все-таки, когда я подхожу к дому, — все кажется, что мама сидит там на кровати. И все время чувство громадной страшной вины перед нею.

Куда еще? Что будет еще?

Знаете, Борис, я пресыщена днями. Я проглотила уже все свое — т.е. на меня отпущенное — время. Я даже подавилась им. И все-таки живу. И жить продолжаю.

Много думаю о вас. Мы о вас часто вспоминаем и говорим. Вы хорошо написали про будущее — оно правда поглощает сейчас настоящее. Им и живем. И это очень плохо.

А хуже всего — ждать. Это самая вредная форма жизни.

Что пишут вам Оля и Руся? Получаете ли вы регулярно письма? О чем? Как они?

Напишите мне про них.

Что поспело на огороде? Даст он вам что-нибудь на зиму? Холодно будет везде.

Жду письма.

Надя.

* Далее три строки зачеркнуты.

21.X.[1943]. [Ташкент].

Дорогой Борис Сергеевич!

Давно не писала. Тяжело болела задержавшаяся в Ташкенте Анна Андреевна. И я болела — ровно месяц — сердце и легкие. Лежала. Рада, что вы повидали Русю. У вас ли она еще? Если моя открытка застанет ее — передайте ей привет.

От вас получила 2 письма. Ответить не могла. Завтра выхожу на работу.

Что у вас слышно?

Пишите.

Ваша Надя.

24.X.<43>. [Ташкент].

Борис, родной, давно не писала. Была мамина смерть — и полное одиночество до конца жизни; была болезнь Анны. Она болела скарлатиной. Третья смертельная болезнь за этот период. Сейчас она уедет — она поправилась, ходит, набирает силы. Я останусь одна.

И было в самый сумбур и бред ваше письмо — какое-то в рассуждениях о матерях, которое совсем обескуражило. Потом пришло второе — хорошее. Но уже был разгар болезни — писать нельзя было.

Уехала ли Руся? есть ли надежда вытащить вас?

Я очень хочу в Москву, но боюсь, что это будет очень трудно, если не невозможно. Где суждена нам встреча? в Москве? где-нибудь в азиатских степях? Да суждена ли она? Сейчас, кажется, существуют две вещи, которые почему-то держат — стихи и живопись. Но я не могу думать о том, что будет после войны — о войне я думаю непрерывно, но как-то по этапам — вот мы взяли Харьков, дошли до Днепра, переправились... Киев, Могилев, Гомель. Заглядывать вперед не хочу. Ежедневная сводка и мысль о том, что уже скоро на нашей земле не будет немцев. Господи, хоть бы скорее!

Боренька, я так одинока, что у меня нет близких на войне, но, боже, сколько людей там, просто таких, к которым привыкла. Все дети моих приятелей, все, все... Китик Шкловский был не-

давно ранен. Он чудесный мальчик. Лучше отца. Ник<олай> Ив<анович> в Москве. Изредка пишет. Должно быть, болен, плох; боюсь, психически. Женя с Леной в Москве. Им, кажется, неплохо. Как Оля? Как вы нашли Русю? Рада была за вас очень.

Целую вас, Борис.

Пишите.

Надя.

9.XII.<43>. [Ташкент].

Борис, милый. На днях получила ваше письмо — первое после перерыва. Трудно писать, не зная, где вы — в Алма-Ате или дома. Трудно, конечно, ездить, но хорошо, что вы будете защищать диссертацию. Пора, и это сдвинет все с мертвой точки. Хотела бы я, чтобы вы переехали в Джамбул. У меня нет впечатления, что там очень жарко: все-таки высокое место. Если вы там будете и я застряну в Ташкенте, обязательно съезжу к вам летом. Пришла ко мне Ира — выяснять, что со мной. Ну и экземплярчик! Ей негде было ночевать, и она очутилась у меня. Но, кажется, надо это ликвидировать. Это создание жутковатое. Что за идиотка, кстати, мать — как можно было ее отпускать одну!

Не они ли жили у вас? Первая семья, на которую вы жаловались? Девчонка бесцеремонная и жесткая. Очень неприятная.

Анна Андр<еевна> встала после очередной болезни — гриппа — очень тяжелого. Страх за нее — это почти основное содержание моей жизни. Нам очень хорошо вместе, но, к сожалению, она скоро уедет, и я останусь одна. Очень тянет на север. Но это не легко. Ведь я эвакуировалась из Калинина, а хочу в Москву. Вряд ли удастся.

Читаю Китса. Это началось, когда я сидела на бюллетене — бронхит. Болела почти два месяца. Китс великолепен. Особенно «Ода соловью». Блаженные стихи.

И еще впервые в жизни влюбилась в Фальстафа⁸⁵. Это целый мир. Я все время читала у Шекспира какие-то другие вещи — скорее трагические. А Фальстаф был в стороне. Теперь

влипла и, наверное, навсегда. Обязательно прочтите: Фальстафа вы будете обожать. Был бы он не шекспировским персонажем, а живым человеком, стал бы он вашим первым другом (и моим)...

Вот, Борис, обо мне.

Пишите, милый.

Ваша Надя.

Композитор Козловский, с которым мы дружим, запрашивал вас про Баха. Напишите ему записочку. Он хороший человек, и ему хочется про Баха.

[14.XII.1943]. [Ташкент].

Дорогой Борис!

Получила вашу открытку. Недавно отправила вам письмо. Вы уже знаете, как болела А<нна> А<ндреевна>.

Сейчас хвораю я. Не так страшно, как она, но все же мало приятно: дикий кашель и вновь вернувшаяся температура.

Здесь нет зимы. Солнце. Тепло. На днях (в декабре!) была гроза. Все времена года как будто спутались в одно. Это очень приятно, но как будто вредно для моих легких.

А<нна> А<ндреевна> пока здесь, и нам хорошо вместе. Но как одиноко будет, когда она уедет! Боюсь даже думать, а случится это очень скоро. Поедет она в Москву. Женя и Лена не пишут — но телеграфируют, беспокоятся и обижаются.

Пишите мне, Борис, обо всем и много. Целую вас, милый.

Ваша Надя.

18.XII.<43>. [Ташкент].

Борис, милый! Не напрасно ли вы на меня рассердились? Ведь у Ани была скарлатина, следовательно во время карантина писать было нельзя — на том стоим, чтобы не нарушать правил. А телеграммы, как я знаю, к вам ходят плохо. Я рассудила, что перерыв будет не так велик, потому что я не ответила только на одно ваше письмо и приблизительно в те же дни послала вам те-

леграмму. Ко мне никто от вас не заходил. Но вы ведь могли запросить Анну Андр<еевну>. Впрочем, и она не могла бы ответить.

Лева все время в экспедициях. Сейчас мы даже не знаем его адреса. Он очень давно не писал. Занимается он геологией.

Мы живем вместе. Нам хорошо. Но в конце января А<нна> А<ндреевна>, наверное, уедет. Она хочет увезти меня с собой. Это очень трудно. Хоть бы удалось. Очень трудно себе представить, как я буду здесь одна.

Как сильно меня держала мама. Я все могла делать, все терпеть — ради нее. Я даже не понимала этого. А теперь знаю, что вся моя сила была оттого, что нельзя было ослабеть, когда на руках старушка. А сейчас слабею легко и охотно. Скоро начну жаловаться, что мне, кажется, несвойственно.

Что у вас, Борис? давно не имела от вас обстоятельных писем. Живете ли вы по-прежнему со стариками? Огорчаетесь ли, что у вас нет собственного медвежьего вашего угла? Что едите, что читаете? Долго ли у вас была Руся? Как она выглядит, как живет в Москве?

До войны я как-то представляла себе вашу жизнь. А теперь нет. Поэтому и хочется все знать.

Мою вам тоже трудно себе представить. Единственное, что представимо — это мои разговоры и отношения с А<нной> А<ндреевной>. Это вам, конечно, понятно. Здесь было очень много людей. Все они разъехались. Мы одни в чужом, но очень приятном, уютном и теплом городе. Даже знакомых мало. Я так люблю. И Анне Андр<еевне> приятно после калейдоскопа тех лет. Материально тоже легко. Но не мне, разумеется. У Анны Андр<еевны> — снабжение, на которое мы обе живем, да еще подкармливаем всех, кто к нам заходит. Одна бы я жила очень плохо. Что и случится, когда я останусь одна. У меня только мое жалованье — и хлеб.

Работу я меняю. А сейчас слегка прихворнула и сижу уже неделю дома на бюллетене. У меня бронхит. На днях выйду на работу и постараюсь ее переменить.

В отъезд я не очень верю (очень трудно), боюсь его и мечтаю о нем. Очень тянет в Москву. Не мелькнули ли у вас какие-нибудь планы о переезде, когда была Руся.

Поезжайте куда-нибудь — куда хотите — где и я могу работать. Я, кажется, не могу больше без вас жить.

К нам зашел приятель — композитор Козловский. Спрашивает, знаете ли вы 29 кантату Баха, начинающуюся с D-dur'ной «симфонии» на том же материале, что E-dur'ная скрипичная соната (Allegro 3/4). А про альт, знаете ли вы симфонию Берлиоза, основанную на концерте альтя с оркестром.

Пишите.

Надя.

26.XII.[1943]. [Ташкент].

Борюшка! Пришла девочка Ира. К ней открытка ваша дошла позже, чем ко мне. Она сидела довольно долго, рассказывала про вас. Вы живой в ее рассказах. И я очень, очень загрустила. Что ж это, милый, я хочу видеть ваши длинные руки. Я хочу сидеть у вас. По-моему, у вас есть мое место — в шортандинской вашей комнате. Как же это так, Борис? Чи я вам не Надька? Борька, зачем же так...

Вы от меня уже должны были получить два письма и две открытки. Значит, знаете про scarlatinu и полную невозможность из-за этого писать. Я знала, что телеграммы к вам не доходят, а это был единственный способ сообщения.

Из болезней Анна не выходит. Сейчас перенесла тяжелый грипп с осложнением на легкие. Еще лежит. Ира как раз приходила к концу гриппа. Все эти болезни задержали отъезд Анны Андр<еевны> в Москву. Она поправится и, очевидно, уедет. Хочет просить, чтобы меня дали ей в Москву в качестве провожатой. Я этого очень хочу. Тяжело оставаться в чужом городе одной. Но вряд ли удастся прописаться в Москве. Наверное, придется опять уезжать. Посмотрим. Да и удастся ли уехать и к<огда> — один бог знает. Сейчас — лишь бы Анна выздоровела.

Я звала Иру заходить. У меня стоит пустая комната. Я могла бы ее пустить пожить, но она нетопленая, очень холодная. Боюсь, что девочка заболит. Зачем ее отпустили одну? Больно уж жизнь трудна. Вы с ней дружили? Хорошая она девочка? Если она поедет в Шортанды, можно с ней передать поэму А<нны> Андреевны? Она хочет ее вам послать.

Я сижу дома. У меня бронхит и бюлетень. Хвораю, но чуть-чуть. Больше грущу. Не знаю, как быть дальше с работой. Как будто

пора менять службу. Зовут меня преподавать в педагогический институт языка. Но я не знаю, как с отъездом. Наверное бы надо взять работу — тем более подходящая, а меня уже тянет вдаль.

Там видно будет.

Как вы живете? Знаю, что ваш огород был прекрасен, хлеб есть и т. д. Сейчас это очень важно. Как будто больше людей — все-таки можно поговорить. Девочка мне сказала, что вы ей рассказывали про Баха. Мне это показалось ужасно грустным. Но картинок ей не показывали, очевидно, потому, что они у вас в ящиках. Верно?

Борюшка, как вашим живется в Москве? Что вы про них молчите?

Напишите мне, пожалуйста, про все. Особенно про все, все, что вас волнует.

Не сердитесь на меня, Борис. Я не могла писать. Целую вас.

Надя.

1944 год

31.I.<44>. [Ташкент].

Дорогой Борис!

Получила вчера ваше письмо. Рада, что вы еще держитесь и не едете в Алма-Ату. Сейчас очень трудны всякие пересадки. Весной поехать, конечно, легче. Как фамилия вашего нового соседа — эрмитажника*, с которым вы занимаетесь языками? Я очень завидую, но сама была бы неспособна: память не та. О чтении: Шиллера и Шелли ненавижу. Гете — охо! А сейчас обожаю Китса. За соловья. Как-нибудь перепишу и пошлю вам. Уж слишком хорошо.

Сейчас очень заморочена: меняю работу; со старой работы ушла, о новой пока договариваюсь. Леонов исчез, чему я очень рада. Наверное, его нет в Ташкенте. Женя и Лена не пишут. Иногда посылаем друг другу обидные телеграммы.

У Эммы умер отец**. Ник<олаю> Ив<ановичу> очень трудно живется. Вот что я знаю о московских друзьях. Пастернак однажды написал. Но мы сдуру поздравили его с успехом книги⁸⁶, и он перестал писать.

Анна Андр<еевна> на отлете. Победу на ленинградском фронте мы чувствуем с особой силой, потому что здесь она, и во дворе остались одни ленинградцы. По ночам, услышав новый приказ, стучим друг другу в окна.

Писала ли я вам, что нашлась Наташа? Это самая большая радость за последнее время. А Леля — Шурина вдова — не пишет. Она была в Самарканде. Сейчас не знаю, что с ней, и очень беспокоюсь. Господи, господа, сколько смертей за эти годы! Умерла Татя — Осина племянница. Я все думаю про ее короткую

* Отто Оскарович Крюгер.

** Григорий Монсеевич Герштейн.

безрадостную жизнь. Все, что вы пишете про музыку, я прочту Козловскому. Он настоящий музыкант. Здесь ленинградская консерватория. Они мечтают о возвращении. С ними Иза Хандин — вдова Маргулиса*. Очень хорошая. Все скоро уедут. Мне будет очень грустно. Целую вас, Борис.

Надя.

14.II.<44>. [Ташкент].

Дорогой Борис Сергеевич!

Получила ваше письмо со строгой характеристикой Иры. Нам она показалась препротивной девчонкой. Говорила она своим деревянным голосом какие-то очень правильные вещи и нудила, как могла.

Да, ну ее... Она собиралась поехать на каникулы в Шортанды, но, видно, не собралась, т.к. не зашла.

Сейчас, когда окончательно освобожден Ленинград, А<нна> Андр<еевна> уедет домой. Уже получена телеграмма, что ей высылают пропуск. Я радуюсь за нее.

Мой отъезд пока откладывается. Шансов на него меньше малого. В Калинин у меня никого и ничего не осталось, а в Москву ехать можно только москвичам. Очень мне это грустно. Боюсь жаркого ташкентского лета: худо с сердцем. Вообще очень стала старой и паршивой.

Радость у меня: получила письмо от моей Наташи: она в Куйбышеве. Я считала ее погибшей.

Пишите мне, Борис.

Целую.

Ваша Надя.

<1944 зима> [18.II.1944]. [Ташкент].

Борис! Ира, может быть, уедет, но это случилось так неожиданно, что я не успела ничего для вас приготовить. Это очень

* Правильно: Маргулис.

жаль. Нынче счастливый день — день громадной победы⁸⁷. Анна Андр<еевна> должна на днях получить пропуск в Ленинград. Я счастлива за нее. Надеюсь тоже уехать — но к концу учебного года.

Целую вас.

Надя.

19.II.<44>. [Ташкент].

Дорогой Борис!

Вчера уезжала Ира. Денег начисто не было: я давно не работаю — чтобы отправить вкусное, а стихи с этой дурой я не захотела послать. Пошлю лучше по почте.

Девчонка нахальная и противная. Я боюсь, что ваша снисходительность к ней — это ложное отцовство. Через два-три года из нее выработается такой административный цветок, что вы сами диву дадитесь. Но надеюсь, что она сгинет в свою карьерку и мы ее не увидим. Прямо скажу — цветочек гнусный. Я на перепутьи — хочу уезжать — а здесь, может, будет приятная мне работа. Но оставаться в таком отдалении от Москвы не хочется.

Есть вариант Воронежа с Наташей — она летом туда возвращается. Но одержима я одной идеей — Москвой. Что-то пробуют сделать.

Анна Андр<еевна> уедет на днях в Москву — вернее, через Москву в Ленинград. Я буду рада за нее.

Получила ваше обстоятельное письмо, где вы пишете о страхе*. Рада, что Оле хорошо и что Жорж с ней. Оно так хорошо... Женья и Лена пишут, что им дается нелегко. Но все же рассказали. Молодцы.

Целую вас, Борис.

Надя.

* Галина Сергеевна и Ольга Сергеевна Кузины.

6.III.<44>. [Ташкент].

Борюшка! Наконец получила от вас телеграмму — первую в ответ на многие мои, очевидно, недошедшие телеграммы и открытки. Я получила сначала вашу открытку и письмо из Караганды. Затем через очень долгий срок из Караганды* и поэтому и писала и телеграфировала и в Алма-Ату, и в Шортанды. Очень огорчилась, что нет ответов. Телеграммка ваша сухая и скупая, несколько не удовлетворила моего интереса. Что вы делаете сейчас? Защищаете диссертацию? о чем? о каком звере? Когда собираетесь домой и где собираетесь жить? Все это необходимо знать.

После долгого перерыва — в 7 месяцев — пришли письма от Левы. Он жив, здоров, работает и мечтает попасть в Ташкент сдать государственные экзамены⁸⁸. Если это удастся — будет великолепно. Хоть бы к осени.

Я решила оставаться в Ташкенте, хотя мне, очевидно, скоро пришлют пропуск в Москву. Но я думаю — от добра добра не ищут. Здесь у меня есть жилье, хорошая работа: я преподаю в САГУ английский язык, возможность собственной филологической работы по русскому языку — я этими обеими вещами занимаюсь уже 6 лет, но, пожалуй, впервые в Ташкенте — попала в условия, в которых я могу по-настоящему работать. Все это приводит меня к странному на первый взгляд поступку — я отказываюсь от возвращения домой. И все же я так делаю, сама себе, впрочем, удивляясь. Ташкент мне нравится, хотя я и боюсь жары.

Анна Андреевна еще здесь. Задержался ленинградский пропуск. Но она выезжает в Москву, где и будет ждать пропуска. Нам вместе было хорошо. Я только раз рассердилась на нее и то на минутку, когда она чего-то поворчала. Люблю я ее все больше и больше.

Много читаю. Сейчас я совершенно не читаю просто книг. Это почти сплошь идет густая филология. Я от нее умнею на глазах — и это страшно, потому что малограмотным дурам умнеть не надо. Правда, Борюшка?

Аня вас любит, хотя, конечно, не так, как я. Я ведь вас обожаю. Солнышко, попробуйте позвонить. Ох!

Пишите, родной.

Ваша Надя.

* Так в рукописи; вероятно — «Алма-Аты» и «Шортандов».

27.III.<44>. [Ташкент].

Борис!

Не получила ответа из Алма-Аты. Телеграфировала вам и в Алма-Ату, и в Шортанды. Скучаю и беспокоюсь. Где вы? Что с вами?

Как ваш Джамбул?

Мне как будто вышлют пропуск в Москву. Но я, может, останусь здесь: комната и хорошая работа (преподаю в САГУ — языки), увлекаюсь русским языком. Читаю всякие грамматики и исследования. Даже решила посещать лекции.

Анна еще здесь. Думаю, что в апреле уедет. Пора. Вот тогда заскучаю.

Целую вас, милый.

Надя.

[28.III.1944]. [Ташкент].

Борис! Меня в мрак вгоняет ваше молчанье. Где вы? Что с вами? Писала и телеграфировала и в Алма-Ату, и в Шортанды. Ответа нет. Нынче увидела в САГУ Иру. Этот бутон ездил к своей маме и сказал мне, что вы защищаете диссертацию в Алма-Ате. Верно? Правда? Когда? О чем? Где вы? Умоляю, отзовитесь. Попробуйте позвонить: мой телефон 35688.

Телеграфируйте.

Надя.

18.IV.<44>. [Ташкент].

Вчера получила, Борис, ваше письмо. Очень загрустила. Как жаль, что вы не защищаете диссертацию в Ташкенте. Жили бы у меня, и харч бы был.

О чем она? готова ли она? Дорабатываете ли вы ее в Алма-Ате или просто заняты техникой? — Когда, где, как защищать; на какой кафедре и т. д. Так я это понимаю? У кого вы живете в

Алма-Ате? Напишите мне подробно. Я все мечтаю об оказии в Алма-Ату или о телефонном разговоре.

Как бы так? Попробуйте позвонить. Я очень замотана. Преподаю в университете. Хозяйство. И очень плохо со светом. Вечером плохой накал. И главное — устаю. После полугода молчания получили письмо от Леры. Он мечтает о Ташкенте и о сдаче здесь экзаменов. Хоть бы удалось. Пишите, Борис.

Надя.

17.V.<44>. [Ташкент].

Дорогой Борис Сергеевич!

Как порадовали вы меня своей открыткой — и защищенной диссертацией — и, главное, — тем, что вы почувствовали человеческую доброту. Мне было горько читать в ваших письмах всякие хвалы одиночеству. За эти годы я видела поразительно много добрых людей — и я знаю этому цену. Я рада, что и вы это испытали, а главное, заметили и оценили. Значит, вы еще открыты. Это очень страшно, если человек закрывается.

Теперь я одна. А<нна> А<ндреевна> уехала 15/V в Москву, оттуда надеется попасть в Ленинград. До чего мне грустно и пусто без нее. Этот год мы были все время вместе — и это было большим счастьем. Меня уверяют, что скоро я получу вызов в Москву, но я в это не очень верю. Да и Москва меня не так уж привлекает.

Вижу иногда Ник<олая> Дм<итриевича> в САГУ, но радости от этого мало. Там же цветет ваш бутон — Ира. Девчонка, что надо. Работа у меня хорошая и для меня нетрудная. Лишь бы сохранилась — все будет ничего.

Целую вас. Пишите.

Надя.

Я занимаюсь русской филологией, как раньше, много лет подряд, занималась английской.

28.V.[1944]. [Ташкент].

Дорогой Борис! Я нынче получила от вас письмо и нынче же вам отвечаю. Хорошо, что вы защитили хоть кандидатскую. Думаю, что теперь не поленитесь защитить докторскую. Я теперь человек университетский и знаю, что все непрерывно защищают диссертации. Нас с Анной Андреевной тоже очень уговаривали: хоть малюсенькую.

Шутки шутками, а я вас очень поздравляю и очень радуюсь: ведь так или иначе — это так называется ваше место в жизни, и совершенно неважно, когда вы это сделали — в 40 или 30 лет. Всюду и всегда звание играет огромную роль — и все хорошо и правильно. А еще лучше, что вы увидели внимание и доброту людей. Они ведь действительно добрые.

Не обращайтесь со своей степенью, как Пушкин с камер-юнкерством. Честное слово — разные вещи. Просто правильное оформление в жизни. А то, что науки сельскохозяйственные, а не систематика, то в этом я не понимаю. Наверное — одно и то же. Когда вы попадете в Алма-Ату? Меня это очень волнует. Как жаль, что не в Ташкент. В этом нам здорово не повезло. Увы, перерисовать нельзя ни мне, ни вам. Но, может, можно будет хоть съездить друг к другу или поговорить по телефону.

Анна Андреевна уехала уже недели две назад. Живу одна. Получила лишь одну телеграмму, что она благополучно долетела. Где остановилась, что делает — не знаю, хочет в Ленинград к мужу.

Женя тоже ничего не пишет. Свинство. Одичали.

Живу одна. Очень много занята. Университет. Уроки. И собственные занятия русским языком. Это уже с полгода. Сменило английский, которому я переучилась, и общую филологию, которая за малым количеством материала (т. е. книг) может быть исчерпана.

Я теперь знаю, что такое Марр. Жаль, что во время Осиного увлечения — не знала. Но это все равно бы не помогло. Знаю и что такое Хлебников. Одно стоит другого.

Сейчас читаю восхитительный дифирамб Некрасова русским глаголам⁸⁹. Это одна из замечательнейших книг русского языкознания, и в каких-то деталях даже правильная. Попытка доказать, что русский глагол явление морально-нравственное, мне даже приятна.

Но Шиллера вы для меня не откроете. Я его всегда пыталась открывать, и это то, чего я всегда боюсь в поэзии (так же и

Шелли). Зато я бы вам открыла, и вы приняли бы с распростертыми объятиями Китса. Его «Соловей» одна из таких же вершин мировой поэзии, как Гете, — но это голос, которого мы никогда не слышали. В русской поэзии ему соответствий нет. Кроме — меня! меня! силки и сети ставит...⁹⁰

Не вылезть мне из стихов никогда. А пора бы. Трудно без А<нны> А<ндреевны>. Грустно, и — стерва — не пишет.

Живу монахиней и работаю, а народу ходит уйма. Живет со мной кот. Я его не звала. Он сам пришел. Выгнать нельзя. Не люблю, но кормлю. Как можно не кормить голодного? Я бы дня ни с кем не жила под таким ограничением. Только и делаю, что кормлю. Мне это даже страшно показалось. И у самой не будет — все равно б кормила. Как же иначе?

Знали ли вы (у Анны в Ленингр<аде>) Олега Заленского — ботаника. Он сейчас защищает диссертацию. Мой ученик. — Я его готовлю по-английски. Мне нравится. Все вспоминаю, о нем вы мне говорили или нет.

Целую вас, Борис.

Ваша Надька.

4.VI.<44>. [Ташкент].

Дорогой Борис!

В этом летнем Ташкенте как-то необыкновенно жарко и одиноко. А<нна> А<ндреевна> уже в Ленинграде. Я, конечно, ни писем, ни вестей не получаю. Такая уж порода. Женя и Лена тоже не пишут. Скоты. Базар завален дешевыми фруктами. Так что живу фруктами и кислым молоком. Персики, урюк, вишни — груды. Урожай необыкновенный. Живот уже болит каждый день. Вижу много народу, и ходят ко мне все время. Но одиночество при этом полное. Обидно, что нет писем от своих. Ник<олая> Дм<итриевича> тоже вижу часто в САГУ. Он меня переносит плохо, как и я его, впрочем. Уезжает Ленинградская консерватория и увозит последних друзей. Теперь будет Ташкент — и ташкентцы. Одно спасает: филология и неистовое чтение. Русские глаголы — это вещь, которую никто одолеть не может, и я в ней погрязла с головой. Иногда у меня соблазн написать вам обо всем, чем я занима-

юсь. Но это уж слишком. А говорить не с кем, несмотря на филологический факультет. Для этого существуют диссертации. Человек может говорить в течение 3 часов — раз в жизни о своих возлюбленных глаголах, точках, запятых, о чем угодно.

Вот я вам и пожаловалась.

Целую вас, Борис.

Пишите. Надя.

Какие книги вы привезли из Алма-Аты?

18.VI.<44>. [Ташкент].

Вчера получила, Борис, ваше письмо. Ужаснулась от того, что вы написали про Сережу⁹¹. Узнали ли вы что-нибудь? Что за катастрофа? Когда? Где? Трамвай, верно, или машина. Только что здесь случилась такая же беда с сыном моей приятельницы Изы Ханцин — если это то самое — но он остался цел. Бедная Оля и бедный мальчик. Напишите, что узнаете.

Я уж одна целый месяц. И мне это далось тяжело из-за отвратительной привычки не писать письма. Этот месяц был ознаменован полным молчанием Жени и, конечно, А<нны> Андреевны. Она-то знала, что уезжает, оставляя меня очень потерянную последним несчастьем. Я вам, кажется, писала, что убит близкий человек — вы его не знали — Сергей Борисович⁹², разделявший со мной многие трудности в жизни. Сейчас я осталась во многом совершенно одна. Женья и Эмма благоразумно скрывали от меня его смерть, и у меня есть основание думать, что они скроют от меня все, что способно меня выбить из колеи. Был он убит на фронте еще в январе. Был храбрый и прямой человек. Мне трудно вам объяснить, почему он мне был так дорог, и я сама гораздо меньше боялась смерти, пока он был жив. Я вам, кажется, про него говорила, когда была у вас.

И именно поэтому я и выбилась из колеи, когда уехала А<нна> А<ндреевна> и ничего мне не написала. Она должна была между прочим сообщить мне о судьбе моих вещей⁹³, что тоже очень важно. Но ни она, ни Женья и никто из моих друзей не удосужились мне ничего написать. Скоты. Оправданий у них, наверное, сколько угодно.

Вчера получила телеграмму от Жени, что, должно быть, мне будет пропуск. Наверное, поеду.

Еще — как-то нехватает времени на занятия — единственное, что держит меня в порядке; я очень густо сижу в филологической работе: занимаюсь русским языком. Особенно последнее время. В сущности я знаю сейчас всю классическую филологию. Стала на старости образованной. Когда-нибудь напишу про все это.

С сердцем тоже плохо, хотя настоящей жары еще не было.

Целую вас, Борис.

Надя.

В припадке эгоцентризма я писала только о себе. Но это в сущности не только о себе. Простите и пишите. Очень хочу вас видеть. Как у вас с переездом из Шортандов? Хоть бы скорей. Целую вас.

Надя.

29.VI.<44>. [Ташкент].

Борис, голубчик! Два подряд ваших письма с горькой вестью. Что вы, милый? Что с вами? Как вы один... Как страшно за вас, милый. Кто за вами ухаживает? Борюшка, Борюшка... отчего я не с вами. Я знаю, вы злой, когда больной. Ну и посердились бы, а я все же была б с вами. Милый мой, прошу вас, пишите, как можно чаще. Мне очень страшно, и в дни вашей болезни я особенно остро чувствую разлуку. Хоть по несколько слов, хоть открытки. Только пишите, Борис. Хорошо? Милый вы мой, старый друг. Боренька мой.

Страшно жалко Олю и Сережу. Дети, пострадавшие от войны, это невыносимо. И ведь — чужие. И тут родной свой мальчик. Какая беда! Бедная Оля. Напишите мне все, что знаете о нем, и как у них там.

Анна Андреевна мне так и не написала. Больше того: она ничего не сообщила Леве о своем отъезде. Он беспокоится и шлет телеграммы. А у меня нет его адреса, чтобы ему ответить. Может, она больна? (И ее адреса нет: она не сообщила). Кто ее знает —

* две строки зачеркнуты.

она и раньше, и всегда такая была. А потом встретишься — как будто никогда не расставались. Мне она обязана была сейчас написать: ведь я поручила всякие свои дела. И никто — скоты — как сговорились, не пишут. Скрывают от меня что-нибудь, как скрывали смерть Сергея Борисовича, или просто уж совершенно охамели — не знаю. Очень с ними трудно.

Я хорошо встретила свое одиночество, а сейчас из-за этих свиней раздергалась. Ну их.

А филология замечательная наука, и я очень рада, что занялась именно русским языком. Здесь страшно много для работы места — очень уж все молодо. Я вам напишу, когда вы будете здоровы.

Пришлось мне заглянуть в Хлебникова. Тьфу. И в Марра. Вы были правы с Марром. А есть замечательные люди. Я уже знаю, что я не с Потемней, которым клялся Шкловский, а с академиком Шахматовым — интересным и умным ученым. Добрым гением русской филологии — как Ключевский — в истории. А в общем, я-то занята другими вещами, о которых я вам когда-нибудь напишу. Пишите мне, Борис, умоляю.

Ваша Надя.

7.VII.<44>.*[Ташкент].

Борис! Я умоляю, пишите. Пишите, как можно чаще. Я страшно боюсь за вас. Дни проходят мучительно, ночи еще страшней. Милый Борюшка, что с вами? Что с вами, родной? Когда сидишь рядом с больным — легче. Издали это невыносимо. А после тех двух писем — невыносимо: ведь я больше ничего не получила. Посылаю третью телеграмму — Ивановой, Ириной матери.

Вот в такие дни очень остро чувствуешь разлуку. Почему я не с вами? Как мы это глупо сделали... Зачем мы так сделали. Сумасшедшие, дураки...

Я думаю только о вас. Ни о чем, ни о ком. Борис, милый, пишите каждый день. Я не могу перенести этой пытки. Борюшка, будьте осторожны. Не убивайте себя небрежностью. Я больше

* Шариковой ручкой, почерк А. В. Апостоловой.

всего боюсь, зная ваше упрямство. Вы можете бог знает что с собой надумать. Боря, любимый, будьте осторожны, слушайтесь врача. Целую вас, родной.

Ваша Надя.

10.VII.[1944].[Ташкент].

Борюшка! Получили мое неистовое письмо? Где я вас ругаю, хую и матерю?

В Ташкенте жарко. Днем держусь, а ночью худо с сердцем. Занятия кончились. Иду в отпуск. Наверное, только до 1 сент<ября>. Но и это хорошо. Не могу даже заниматься. Читаю Байрона. Он холодно, рассудочно и великолепно остроумен. Очевидно, весь вред, который он нанес, именно в механичности его блеска. Сейчас — Дон-Жуан. Прочту еще Чайльд-Гарольда. И хватит. На всяких гяуров⁹⁴ у меня заряда не хватит. В прозе (письма, дневники, примечания) он первоклассен. Возилась опять с Шекспиром. Выбирала все, что он говорит о времени. (То же самое делаю с Байроном.) Может, буду писать. Очень много перечла — и с каждым разом все сильнее.

Я, видимо, остаюсь здесь на зиму. Торгую у соседки железную печку. Некому вызвать меня: Женя на фронте. Лена беспомощна. Но ко мне мила и внимательна.

От Анны Андреевны очень печальная телеграмма. У нее катастрофа. Гаршин, видимо, психически болен. Они разошлись. Она просила меня никому не говорить. Но все равно все узнают. Вообще я ничего, нынче грустна. А последнее ваше письмо очень грустное. И я так думаю. Посмотрим, как и где будем жить после войны. Сейчас во всяком случае ничего не предугадать. Я — ташкентская. И работа меня радует. Это уже очень много. Но вам необходимо выбираться скорее и куда угодно: хотя бы в Джамбул или Алма-Ату. Как? Я очень этого хочу. Говорят, что можно завербоваться в освоб<ожденные> районы — в Крым, напр<имер>.

Целую.

Ваша Надя.

Боренька! Сейчас пришло ваше рассуждение об языке и телеграфе. Ответу через несколько дней для соблюдения ритма. А про филологию и стихию языка вы трогательно, но беспомощно... Вы думаете, что филолог — это школьный учитель. Это не совсем то. Филолог — это вовсе не тот, кто правильно говорит, а тот, который знает, что этого самого «правильно» — нету. Или во всяком случае его нормы и определения не так прямолинейны. Пушкин был в стихии языка — надеюсь — а ошибки как же?

16.VII.[1944]. [Ташкент].

Борис, милый! Что-то уж очень все меня стали обижать — и даже вы. Почему вы не ответили ни на одну телеграмму? Ведь я беспокоилась совершенно отчаянно. Я знаю, что все эти таинственные болезни — две недели сорок — это самый обыкновенный тиф, который врачи почему-то не могут определить до исследования. И знала ваш характер. Ведь в тифу нельзя двигаться, нельзя ничего делать. Я так боялась за вас — и никакого ответа на все мои телеграммы.

А вообще чувство странное: Ташкент — и всякая связь со всем светом потеряна. От Жени вот уже два месяца ни одной строчки. Никуда я не поеду. Единственное мое желание остаться здесь в Унив<ерситете>. Хорошая работа. Лучше не надо. Жизнь умеренно трудная.

Анна Андр<еевна> поступила предельно плохо. Я просто жалею об этом совместно прожитом годе. Но не вернешь. А сейчас я рада, что я одна: в этом есть своя логика. Так и надо.

Мои филологические занятия бессмысленны, как все, что я делаю. Я кое-что понимаю, но не с кем поговорить — и, наверное, не только здесь, но и в Москве. Я прочла всю классику русской и европейской филологии. У нас две крупных линии — Потенбня и Шахматов. Потенбня — импрессионист. Им когда-то клялся Шкловский. Теперь-то я знаю, что он в нем ни хрена не смыслит. А Шахматов — историк. Это как бы Ключевский русского языкознания. Мне интереснее Шахматов. Но сама наука мало, надо сказать, развита. Она еще молодая. Сотни полторы

лет от силы. Еще барышня. Я пишу вам глупости, Борис. Что с вашим огородом? Как вы будете жить?

Целую вас. Надя.

Настоящая загадка — Хлебников и его обожествление. Что это? Я никогда не пойму. Я попробовала написать об его филологических высказываниях. Но опубликовать нельзя — не мне говорить о нем. А просто писать — противно — чересчур легко — умная <но> дураков* чувство, что давишь клопов.

Я говорю о невежественном и диком занятии — словотворчестве — и о филологических высказываниях. Помните идиотскую игру в разложение слов. Это нечто в этом роде.

Я не пишу никому. Когда-нибудь они запросят вас, что со мной.

Не отвечайте.

Н. М.

22.VII.<44>. [Ташкент].

Опять не пишете, Борис. Хорошо ли? Что на телеграммы не ответили, очень плохо.

У меня новость: Женя мобилизован и выехал на фронт. Правда, как журналист. Но это не сразу. Писать он, конечно, не будет. От А<нны> А<ндреевны> получила дурацкую телеграмму: «Не сердитесь, скоро напишу». Бог с ней.

Леве она тоже не писала.

Теперь мне уж не попасть в Москву — раз там нет Жени. Некому будет вызвать. Лишь бы здесь было, как сейчас. И то хорошо.

Пишите, Борис. Целую вас.

Надя.

Я изнываю от отвращения к себе. Дура. Вести себя не умею. Злая. Старая.

Но главное — дура, и ни одной мысли в голове. И от этого не вылечишь.

ТЬфу.

* Так в рукописи.

29.VII.[1944]. [Ташкент].

Боренька! Я бы хотела знать, если еще понимаю по-русски, кто сукин сын, если не вы. Должно быть, кошка. Телеграмма Ивановой ко мне не дошла. Полагаю, что и не была отправлена. Ваша черная скупость привела к тому, что вы-то мне не ответили. Уверю вас, то, чем вы болели, называется тифом. Он какой-то в Азии не характерный, и врачи его систематически не узнают. Его дает только бактериологическое исследование. А я знала, что по своему мерзкому характеру и отсутствию людей, которые бы за вами ухаживали, вы встаете, двигаетесь и лопааете, что попало. А это верный перитонит. Вы же от старости, черствости, скупости, недомыслия, эгоизма, равнодушия, снобизма, природной серости, необразованности, жадности, <благодаря> отсутствию воображения, глупости, боязни техники (телеграф), эстетизму (обожание почерка) и прочим своим серым качествам не соблаговолили истратить на меня телеграммную трешку. Кто вы после этого?

Вообще, по-моему, вы даже на мои письма не отвечаете. Если письмо приходит вне положенного срока и нарушает ваш ритм, вы его сохраняете, регистрируете и оставляете неотвеченным.

Ритм отношений со мной, кажется, два раза в месяц. Как образованный и маломощный супруг, вы два раза в месяц пускаете меня на свое жесткое ложе. В прочее время, соблюдая гигиену, вы отдаетесь другим привязанностям и науке. Кто вы после этого? Вас спасает только Турксиб и километры, иначе я разбила бы на вашей бритой голове все свои три тарелки. А вам, Боренька, добрый совет: храните своих последних хахалиц — прочие заняты деторождением — и не жалеете иногда на телеграмму, чтобы уберечь их покой. Это рассуждение о телеграфе так же этапно в наших сложных отношениях, как та бутылка с вином, которую вы когда-то выбросили за отсутствием достойной пиришественной обстановки. За нее я вас грызла десять лет с перерывами. Имеете иметь еще десять лет за телеграмму. Получили? Поделом. Ненавижу. А еще всех ругаете. Тьфу.

Сейчас работы мало. На днях начинается отпуск. Женя на фронте. Значит, некому вызвать меня в Москву. Я боюсь за него. Мы такие гибельные.

С удовольствием узнала, что вы перестали наслаждаться Шиллером и признали, что и у Гете есть мусор. Про Гетевские вершины, кажется, верно. Я очень много читаю, впервые понимая то, что читаю.

Я стала отмечать у всех все, что относится ко времени. Для поэта отношение ко времени — одна из важнейших характеристик... Кто время целовал в измученное темя...⁹⁵

А у Шекспира — это нечто грандиозное. Я нашла очень забавные вещи, которые, наверное, пушу в оборот. А для Байрона время — вещь пространственная: просто жизненная дорога от рожденья до могилы. У Шекспира — это и функция судьбы — нечто абсолютно неравномерное, в зависимости от напряженности и густоты событий. Будущее — составная часть настоящего. Цель движения определяет характер настоящего. Цель, конечный пункт, совсем не пассивная точка в мировом (временном) пространстве, где мы ляжем спать, а активная субстанция, посылающая вести в настоящее.

И т. д. У меня много всякого. Нечего трепаться.

Надя.

Борюшка!

Верная вам Надька уткнулась в ваши черствые колени и скулит от застарелой ненависти и нежности. Какой вы дурак. Неужели и старость впрок не идет?

Целую. Надька — я.

Наушнички, наушники мои⁹⁶. Сколько они доставляют мне радости. Ночные приказы — это ни с чем несоразмерное счастье. Есть у вас радио? Всегда знала, что будет победа. Никогда не сомневалась. Какой народ!

20.VIII.<44>. [Ташкент].

Получила, Борис, подряд два письма и очень расстроилась. Зачем вам нужно, чтобы меня никто не любил? Родной брат? Любимый друг? Да, у Жени ужасный характер — я это знаю. Но он мой брат. Мы с ним много ссорились. Но много и дружили. А что он для меня сделал? Всю жизнь возился со мной. Как

никто не возится с сестрами. И вряд ли вы бы стали так возиться с Олиным мужем, как Женя с Осей. А сейчас он на фронте. Если б он даже для меня пальцем не пошевелил, я бы все равно за него тревожилась. Меня утешает только то, что он сам хотел на фронт, очень активно этого добивался — и добился. Это Женя.

Теперь об А<вне> А<ндреевне>. За нее порукой двадцатилетняя верность. Глубокая, большая дружба. Доказанная. И забота, и тревога. И постоянный страх за меня. Совсем не то, что она была мила в Ташкенте. Она не знакомая, а абсолютно мне родной человек, как вы и как Женя, и как Наташа. Что она не пишет писем — это ее свойство. Или стерт<а> — не пишет. Такой вариант я принимаю. Но отношений пересматривать я из-за этого не собираюсь. Было бы достаточно глупо после большой, совместно прожитой жизни. И общей жизни. И тысячу раз в действительности доказанной любви. Еще чего? Кстати, письмо есть: у нее случилось большое горе: Гаршин — ее муж — психически заболел и бросил ее. Она больна. Лежит. Сердце. Одна. Ей, видно, очень худо. Письма отчаянные.

А теперь филология. У вас очень неточное о ней представление. И обо мне. Мне — всю жизнь провозившейся со стихами, да еще как, да еще с какими — говорить, что я «не в языке», по меньшей мере наивно. Кто же тогда в языке? Пуристы? Школьные учителя? А ошибки — дело другое: они к филологии имеют не совсем то отношение, какое вы им приписываете. Оберегатели чистоты никогда не были в языке, а активная речь (и тем более письмо) всегда пестрили всякими особенностями — индивидуальными, и социальными, и местными. И хорошо. Не знаю вашего греческого учителя*. Но несколько не удивляюсь, что вы не можете к нему относиться, как ко мне. Вообще, вы дурак, осел и идиот. Ваше счастье, что вас отделяет такое расстояние от меня, иначе я б вам еще не такую бы сцену устроила. Когда, наконец, вы уедете из Шортандов? Что вы для этого делаете? Сделайте что-нибудь, ради бога, и уезжайте. А я занимаюсь временем, а вы об этом ничего не знаете. Расскажу когда-нибудь. Очень интересно. Плюньте на Шиллера и читайте Шекспира. Пора.

Не целую вас. Гадкий. Не люблю. Ваша Надя.

* Отто Оскарович Крюгер.

28.VIII.[1944]. [Ташкент].

Слава богу, Борис, в последнем вашем письме мелькнула какая-то суровая нежность, и я слегка растаяла. Все же мой Боренька, как известно, ангел.

Боже, как я устала. Наверное, от жары. Это почти непереносимо. Я тоже ничего для себя не жду. Хорошо, если буду жить в Ташкенте и работать в Унив<ерситете>. Это мне кажется очень почетной и прекрасной работой. Кроме того, массу времени отнимает моя возня с временем и Шекспиром. Не знаю, выйдет ли то, что называется в общежитии научный труд, но подготовка к нему очень увлекательна — и прогнозы достаточно любопытны. Необходимость расширить круг наблюдений привела меня к узбекскому языку, которым я сейчас час в день занимаюсь. Этот тип языков называется оллоутативным*. Я впервые с ним столкнулась. Думаю, через месяц буду прилично читать; больше мне ничего не надо.

В комнату ко мне иногда заходит двухлетняя девочка Зухра. Это мой узбекский собеседник. Уверю вас, что она меня понимает. И это очень смешно. 1 сентября начинаются занятия. Так что период интенсивной работы прошел. Платон ничего не говорит про время? Впрочем, только современное сознание, которое началось с Шекспира, приводит меня в состояние восторга. Не выпутаться мне, бедняжке. Читаю Гоголя. Для того же. Вот какая ученая. Это от того, что зубы растеряла. Прислать вам цитаты из Гоголя, которые, может, смутят ваше пуристическое благодушие?

В коленки бы, Боренька, и поплакать. Хорошо бы. И поплакала бы. Погладьте, Борис, Надьку. Чуть-чуть. Очень грустно.

2.IX.[1944]. [Ташкент].

Борюшка милый! Вчера получила ваше письмо, и оно меня так обрадовало, что я пишу — чем бы вы думали? — чернилами! На это я способна только ради вас.

* Правильно: агглютинативным.

Борюшка, там, конечно, много интересных мыслей об языке. Все эти ваши письма как-то навели меня на всякие мысли и соображения. В частности, относительно времени Шекспира, Байрона и прочих писателей. Под влиянием вашего письма я уничтожила свою работу. (Ведь я всегда вас слушалась. Правда?) (И другие девки тоже? Меня это еще волнует...) Ну его к чертям... Не буду заниматься временем. Наверное, раз вам показалось это так глупо, значит вы правы. Что же касается до языковедения, то, хотя я никак не могу признать, что стихи и язык — это не есть нечто слитое, — все же серьезная тень легла после ваших слов на мои занятия, и я думаю, надо их тоже прекратить. Думаю, что к тому времени, когда вы получите мое письмо, с этим будет кончено. Я сейчас делаю в сущности последние выводы — надо ли мне преподавать языки. Потому что если я не чувствую русского языка (я всегда считала, что не такое уж пустое место мои отношения со стихами — а жизнь со стихами — это жизнь в языке, поскольку именно стихи — высшее цветенье языка, но согласна — я здесь, наверное, ошиблась) — то где уж преподавать или изучать другие. Все это вообще очень сложно.

Из всех ваших доводов я поняла даже то, что вы считаете «в языке». Для меня это в вашем представлении — довольно точная категория: язык университетских сторожей. Верно? Но вот игру в наборщики не могу считать признаком любви к слову: механическое занятие и действительно игра в набор. Спасибо. Можно бы придумать лучшие игры. Впрочем, чепуха. Что там с Платоном? Он, кажется, тоже поиграл с временем. Не помню как. Неужели он Бах — т. е. мощная многоярусная, вверх уходящая конструкция? Я могу только европейское сознание — то, что пошло после Декарта. Остального не пойму. К греческой литературе никогда не подходила после ранней юности, а философию не нюхала. Впрочем, я вообще дура. Зато обожаю вас, как всегда.

Надька.

Кстати, мы все — Ося, я, Анна Андр<еевна> — мы давно знаем, что поэзия это не то, что мы думали, когда были молоды.

Эх, Борька, недельку бы-другую переспать вместе, и оба бы <поумнели>.

Я пришла в совершенное недоумение решить, что делать. Жду ответа именно на эту фразу. Надя.

28.IX.[1944]. [Ташкент].

Борис! Лежу. Писать трудно. Хвораю и лежу уже три недели. Проболела почти весь отпуск. Сейчас медленно поправляюсь. Писать трудно.

Не сердитесь, что мало пишу.

И задержала ответ — из-за болезни ведь.

Целую вас.

Надя.

1946 год

10.II.[1946]. [Ташкент].

Борюшка! Получила ваше письмо и открытку. Вам писала.

А тоска-то такая, что глаз не поднять. А нынче я вас полюбила. Очень. Опять вы ко мне пришли, как во сне. Ночь уже. Нынче вернулся Эдька. Он ездил в Москву. Женья — мой брат — очень болел. От меня скрывал. Но я знала от других. Только не знаю, чем именно.

Был Эдька у Пастернака, Эренбурга, Шкловского. Пастернак иногда пишет безумные письма⁹⁷. Он сейчас работает. Пишет прозу. Письма совсем не такие, как то, что я вам показывала. Очень хорошие. Левка вернулся⁹⁸. Он у матери. Убили сына Марины⁹⁹. Я не знала. Мне так ее стало жаль. Как хорошо, что ее нет.

Я совсем одна. Дружу, как ни странно, только с Леоновым. Он как-то стал лучше. Как раньше. Очевидно, в нем все-таки была прелесть. А может, просто потому, что он знал Осю и вас. Ведь здесь никто не знал ни вас, ни Оси.

Борюшка, обнимите меня, милый. Я нынче плаксивая. А пожаловаться некому.

Как-то заходила к Козловским. Во второй, кажется, раз с вашего отъезда. Они все же здорово противные. Галя все хочет написать что-то прекрасное, т. е. восточную оперу стихиками. Он валяет дурака. Они самый лучший товар второго сорта. Оперы зря не пишутся.

Эдька ездил в Москву устраиваться в Унив<ерситет>. Уедет осенью. Он не хапун и жизнь хватать за рога не умеет. Леонов говорит, что я его научила ругаться. Возможно ли это? Кроме стихов, ничему не верю.

Я, может быть, поеду в июле (на месяц, в отпуск) в Москву. Вру — не поеду. Только Женю и Лену хочу видеть. Как жаль, что вас не посылают в Ташкент. Я так бы хотела, чтобы вы вдруг вошли ко мне. Я бы вымыла пол. И заварила бы чай. Харч лучше. Но с деньгами труднее: я почти не брала уроков из-за экзаменов. Кроме государственных, все кончено.

Ау, Борис.

Не разлюбляйте меня — Старушку-Надьку.

На марке — Герцен*. Мы его любим. Правда? За что его на марку посадили. А может, это не он? Мне сказал Леонов.

[29.VIII.1946]. [Ташкент].

Я очень беспокоюсь и очень зла. Полтора месяца — полное молчание. Я требую, чтобы вы телеграфировали.

Н. М.

* Часть конверта, где была наклеена марка, вырезана.

1947 год

12.VII.[1947]. [Москва].

Дорогой Борис Сергеевич!

Я вам давно не писала. Но молчали и вы — одно ваше письмо осталось без ответа. Что с вами? Живы ли, здоровы? Я впервые как-то очнулась за это время и забеспокоилась, что вы исчезли.

У меня было большое несчастье: страшно болел, чудом спасен Женя. Несчастный случай: рана в висок, перелом таза. Был ушиб мозга и кровоизлияние в мозг. Сейчас он на костылях. Память вернулась. Ум в порядке — но устает.

Помнит все, кроме болезни. Случилось это в марте. От меня Лена скрыла. Я вдруг почувствовала и стала осыпаться ее телеграммами. Она сильно все смягчала. В конце мая мне удалось вырваться в Москву — с тех пор я при нем. Только несколько дней назад Лена отвезла его в дом отдыха в Переделкино. Я езжу к ним, но чуточку посвободнее. Сама я запуталась в противоречиях жизни, как говорят в деревне.

У меня нет сил уезжать опять в Ташкент и так отрываться от Жени, и нет сил заново устраиваться где-нибудь под Москвой. В Ташкенте нет книг, и я вряд ли смогу закончить диссертацию, между тем у меня уже много сделано и сданы все экзамены, кроме спец<иальности> (спец<иальность> — готский, древне- и среднеангл<ийский>, сакс<онский>, исландский и 3 доклада). Сдано общее и сравнительное языкознание, латынь, греческий, немецкий, философия. Сейчас я отчаянно работаю, чтобы раздобыть материал. Могу быть здесь до 10 августа, но вынуждена буду уехать раньше: кончились деньги. На свои тысячу в месяц — диссертацию не защитишь. Сдавать специальность обязана в Москве, а когда я приезжаю из Ташкента, то уже никого не застаю — все в

отпуску. Все это неразрешимые вопросы и очень угнетают. Пока я в Москве. (Страстной 6 кв. 34).

Сообщите о себе. Надя.

20.VIII.[1947]. [Москва].

Борис! Вы обвиняете меня в том, что я не пишу писем: но вы, — старик, — вы не читаете писем. Это большая ошибка.

Если я не ошибаюсь, я скоро буду в Ташкенте. Уже 10 дней не могу достать билета. Неужели вернуться?

Н. М.

Адрес на письме чужой рукой, п<отому> что у меня нет конверта*.

Авиапочта Алма-Ата 10 КИЗ.

Борису Сергеевичу Кузину.

7.VII.[Б. г.]. [Ташкент].

Борюшка! Совершенно измучилась и замоталась. Может, сегодня выеду в Москву. Оттуда напишу. Были всякие неприятности, но кончились пока. (По САГУ). Меня травили, как зайца, но я храбрая. Леонов был большим молодцом и чудно держался.

Целую вас.

Надя.

* На сохранившемся от этого письма конверте — адрес рукой Н. Я. Мандельштам.

Комментарии

¹ Вероятно, речь идет о посещении Мандельштамами концертов с участием Д. Ойстраха в Воронеже в мае 1936 г.

² Тартаковер С. Г. Ультрасовременная шахматная партия. М.; Л.: Книга, 1924—26.

³ Карточки были отправлены; в следующем письме Н. Я. Мандельштам интересуется, получил ли их Кузин. В архиве эти фото не сохранились.

⁴ Юлий Матвеевич Вермель, друг и соавтор Б. С. Кузина, был арестован в 1935 году и в то время находился в лагере.

⁵ Письмо «О недостатках в работе в Союзе писателей» опубликовано в газете «Правда» (26 янв. 1938 г.), за подписью А. Н. Толстого, А. А. Фадеева, В. П. Катаева и др.

⁶ Возможно, речь идет о подготовленном, но так и не увидевшем света, двухтомнике О. Э. Мандельштама.

⁷ А. Ф. Гедике знаменит тем, что исполнял все известные произведения И. С. Баха.

⁸ Сын А. Ахматовой Лев Гумилев, студент исторического факультета ЛГУ, был арестован 10 марта 1938 года, о чем Н. Я. Мандельштам, видимо, еще не знала.

⁹ Здесь и далее (письма от 14.X.38, 21.I.39 и др.) речь идет о двухкомнатной кооперативной квартире, полученной Мандельштамами в 1933 году (Нащокинский, д. 5, кв. 26). Мать Н. Я. Мандельштам поселилась вместе с дочерью и зятем. Во время ссылки О. Э. Мандельштама в Воронеж в квартиру вселили писателя Н. К. Костарева с семьей. За В. Я. Хазинной осталась одна проходная комната.

¹⁰ Имеется в виду хроника У. Шекспира «Генрих VI» (1590—92).

¹¹ В письмах А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому только однажды упомянуто имя Шекспира. Взгляды Пушкина на творчество Шекспира изложены в двух письмах к Н. Н. Раевскому-сыну (1825 и 1829 гг.).

¹² Это первое письмо Н. Я. Мандельштам после ареста мужа. Под «новостями» подразумеваются сведения об О. Э. Мандельштаме.

¹³ Ахматова много ухаживала за умиравшей от рака сестрой Надежды Яковлевны — Анной Яковлевны Хазинной, которая жила в Ленинграде и была абсолютно одинока. Хоронили А. Я. Хазину брат Е. Я. Хазин, Н. Я. Мандельштам и А. А. Ахматова.

¹⁴ Фотография опубликована в наст. изд.

¹⁵ 4 августа О. Э. Мандельштама перевели с Лубянки в общую камеру Бутырской тюрьмы.

¹⁶ 9 сентября Мандельштам был отправлен из Москвы по этапу во Владивосток.

¹⁷ С конца ноября по конец декабря Н. Я. Мандельштам гостила в Шортандах у Б. С. Кузина.

¹⁸ Новая западная живопись: [Альбом] / Послел. Л. Варшавский. М.; Л.: Гос. изд-во изобр. искусств, 1932; или: Музей нового западного искусства: [Альбом] / Текст Б. Н. Терновца. М.: Гос. изд-во изобр. искусств, 1933.

¹⁹ Вероятно, речь идет о стихотворении О. Мандельштама «Вооруженный зрением узких ос...» (8 февр. 1937 г.).

²⁰ В «Литературной газете» за 15 декабря 1938 года был напечатан «Уезд в тылу. Два отрывка из главы романа» Б. Л. Пастернака.

²¹ Вероятно, речь идет о сыновьях А. Э. Мандельштама и С. А. Клычкова — Шурике и Егорке. Сережа-рифмач — возможно, племянник Э. Г. Герштейн, сын ее старшего брата.

²² Строки из повести О. Мандельштама «Египетская марка» (гл. II).

²³ Возможно, речь идет о возлюбленном Н. Я. Мандельштам, который в мае 1919 года бежал из Киева с белыми при вступлении в город Красной Армии. По другой версии — это мог быть пропавший без вести в 1920 г. (?) брат Надежды Яковлевны Александр Яковлевич Хазин.

²⁴ Цитата из «Египетской марки» О. Мандельштама (гл. VII).

²⁵ Драма Генриха фон Клейста «Кетхен из Гельброна».

²⁶ Имеется в виду проект памятника III Интернационалу, разработанный В. Татлиным в 1919—1920 гг.

²⁷ Лит. газ. 1939 г. 15 янв. С. 4.

²⁸ Под «первым» несчастным братом Б. С. Кузин имеет в виду своего младшего безвременно умершего брата Сергея Сергеевича Кузина, любимца всей семьи.

²⁹ Зимой 1939 года у А. А. Ахматовой со лба была удалена папилома.

³⁰ Вероятно, Л. М. Гинзбург.

³¹ См.: Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М.: Книга, 1989. С. 213—217 (гл. «Иллюзия», где идет речь о человеке по имени Бублик).

³² Цитата из драмы А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери».

³³ См. письмо Б. С. Кузина к А. В. Апостоловой от 18.V.1939 г. (с. 449 наст. изд.).

³⁴ Имеется в виду употребление в нарицательном смысле фамилии писательницы А. Вербицкой после критической статьи К. Чуковского «Интеллигентный Пинкертон» (Речь. 1910. 21 февр.), в следующих изданиях названной «Вербицкая» (Чуковский К. Критические рассказы. СПб., 1911).

³⁵ Правильно — Микобер (Micawber). Персонаж романа Ч. Диккенса «Давид Копперфильд». Микобером Н. Я. Мандельштам называла как В. Б. Шкловского, так и Е. Я. Хазина.

- 36 Имеется в виду откровенный натурализм, с которым Ш. Л. Гюисманс описывает всякого рода извращения.
- 37 Вероятно, речь идет о строках «Как светотени мученик Рембрандт, / Я глубоко ушел в немеющее время...» из незаглавленного стихотворения, написанного 4 февраля 1937 года.
- 38 Герой трилогии А. Додэ. Имеется в виду, вероятно, сочетание в характере Тартарена двух натур: Дон-Кихота с его рыцарской душой и Санчо Панса с его изнеженным, вечно недовольным телом.
- 39 Имеется в виду песня Деземоны про иву из трагедии У. Шекспира «Отелло».
- 40 Речь идет о стихотворении А. А. Фета «Моего тот безумства желал, кто смежал / Этой розы завон, и блески, и росы...»
- 41 Л. Н. Гумилев, осужденный на 5 лет ИТЛ, отбывал срок в Норильске.
- 42 Третий год со дня ареста О. Э. Мандельштама (3 мая 1938 года).
- 43— Хазин Е. Я. Иван Рябов // Красная новь. 1940. № 2. С. 85—115.
- 44 См. письма Б. С. Кузина А. В. Апостоловой от 1 и 7.VII.1940 (с. 457—458 наст. изд.).
- 45 См. фото А. В. Апостоловой с этой собакой в наст. изд.
- 46 У А. В. Апостоловой был грудной, низкий, хрипловатый, но красивый голос.
- 47 «Вампука» — опера-пародия В. Г. Эренберга. Название Вампука стало нарицательным для обозначения всего трафаретного, ходульного, нелепого в оперных спектаклях и в жизни.
- 48 В Лаврушинском переулке жил В. Б. Шкловский с семьей.
- 49 Е. М. Аренс, вдова расстрелянного в 1937 г. дипломата. Н. Я. Мандельштам поехала в Калинин, зная, что туда выслана ее знакомая. См с. 642 наст. изд.
- 50 См. с. 162—163 наст. изд.
- 51 Строки из посвященного Б. С. Кузину стихотворения «К немецкой речи» (1932). Об отношении Кузина к этому стихотворению см.: Мандельштам Н. Я. Комментарий к стихам 1930—1937 гг. // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж, 1990. С. 225—226.
- 52 «Вы не хуже меня знаете, что люди чересчур сильно любящие друг друга... не имеют детей». — См.: Барбе д'Оревильи Ж. Лики дьявола. СПб.: Пантеон, 1908. С. 184.
- 53 Ахматова А. Из шести книг. Л., 1940.
- 54 Герой комедии Ж.-Б. Мольера «Скупой».
- 55 Речь идет о книге: Хлебников В. Неизданные произведения: Поэмы и стихи. Проза / Ред. и коммент. Н. Харджиева, Т. Грица. М.: Худож. лит., 1940.
- 56 Персонаж романа Ч. Диккенса «Крошка Доррит» — узник тюрьмы Маршалъси.
- 57 Вероятно, речь идет о стихотворении Г. Гейне «Лорелея».
- 58 По сообщению Э. Г. Герштейн, вечер вел В. М. Жирмунский, но Ахматова на нем не присутствовала: ее голос звучал с пластинок.

- 59 Строчки из несохранившихся стихов О. Мандельштама.
- 60 По-видимому, Н. Я. Мандельштам ошиблась. Нет никаких сведений о том, что О. Э. переведил текст к чему-либо музыкальному произведению под названием «Времена года».
- 61 Сотрудник газеты «Московский комсомолец», где О. Э. Мандельштам вел литературный отдел с августа 1929 по январь 1930 гг. Выведен под именем Икс в кн.: Герштейн Э. Мемуары. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. С. 42.
- 62 Кто имеется в виду, установить не удалось. По мнению А. А. Гозенпуда, маловероятно, чтобы в то время кто-либо мог собрать подобную звукоотеку.
- 63 Строка из популярного романса (сл. Н. Я. Агнiewiczева).
- 64 Листок из тетради, сложенный треугольником.
- 65 Упоминаются стихотворения О. Мандельштама «Сегодня дурной день: / Кузнечиков хор спит...» и, вероятно, «Клейкой клятвой пахнут почки / Вот звезда скатилась...»
- 66 Вторая строка стихотворения А. С. Пушкина «Мальчику (Из Катуллы)».
- 67 М. А. Горбов перевел ритмической прозой «Чистилище» Данте (М., 1898).
- 68 Шон О'Фаолейн (Sean O'Faolain) — ирландский писатель, автор романа «Гнездо простых людей» (1933), который Н. Я. Мандельштам перевела в 1934 г. по договору с Гослитиздатом. Однако, ее перевод не вышел; роман был опубликован в 1941 г. в переводе Н. Аверьяновой.
- 69 Вероятно, имеется в виду книга Т. Моммзена «История Рима» в сокращенном изложении Н. Д. Чечулина (СПб., 1909 или 1914).
- 70 Очевидно, искаженное название лихорадки папатачи.
- 71 Стихотворение Ахматовой «Мужество» было напечатано в «Правде» 8 марта 1942 г.
- 72 Хазин Е. Я. Иван Грозный // Знамя. 1941. № 5. С. 181—215.
- 73 В 1942 г. у Е. Я. Хазина вышла книга «История одной победы» (Госиздат Узб. ССР). Однако, Н. Я. Мандельштам могла иметь в виду и историческую повесть «Иван Рябов» (М.: Воениздат, 1941).
- 74 Речь идет о любимом младшем брате Б. С. Кузина. По рассказу М. А. Давыдова, знавшего это от Б. С., в конце 1932 года, после ареста Кузина, Н. Я. Мандельштам и А. А. Ахматова приходили домой к Кузиным. Прием был чрезвычайно жесткий: семья считала О. Э. Мандельштама виновником ареста. Сергей Сергеевич, выйдя провожать непрошенных гостей, пытался смягчить сложную ситуацию.
- 75 В. Г. Гаршин был патологоанатомом.
- 76 Здесь и далее речь идет о книге: Ахматова А. Избранное. Ташкент.: Сов. писатель, 1943.
- 77 Вероятно, имеется в виду Е. М. Браганцева, московская журналистка, работавшая по заданию «Известий» на ташкентском радио.
- 78 Параллель с «периодом молчания» у О. Э. Мандельштама (1926—1930), закончившимся после встречи с Б. С. Кузиным.

- 79 Герой романа О. Уайлда «Портрет Дориана Грея».
- 80 После окончания срока ссылки Л. Н. Гумилев работал вольнонаемным на фабрике.
- 81 Речь идет о первой машинописной перепечатке «Поэмы без героя» А. Ахматовой (8 апр. 1943 г.).
- 82 Возможно, подразумевается будущая книга Е. Я. Хазина «Мастер доброй пропорции» (М.: Воениздат, 1946).
- 83 Вероятно, о получении Ахматовой медали «За оборону Ленинграда» были пока только разговоры: удостоверение к медали (№ АР-1047) имеет дату 28 марта 1945 г.
- 84 Известны всего 2 письма Б. Л. Пастернака к Н. Я. Мандельштам: от нояб. 1945 и 26 янв. 1946 гг. (Собр. соч. Т. 5. С. 434—435, 448—449). Данное письмо, по-видимому, не сохранилось.
- 85 Персонаж У. Шекспира («Генрих IV» и «Виндзорские насмешницы»).
- 86 Пастернак Б. На ранних поездках: Новые стихотворения. М.: Сов. писатель, 1943.
- 87 Имеется в виду полное снятие блокады Ленинграда.
- 88 Зимой 1944 г. Л. Н. Гумилев добился мобилизации и в это время находился на фронте.
- 89 Некрасов Н. П. О значении форм русского глагола. СПб., 1865.
- 90 Строка из стихотворения О. Мандельштама «Как соловей сиротствующий...» (Из Петрарки).
- 91 Речь идет о С. Г. Никольском, едва не погибшем в автомобильной катастрофе.
- 92 С. Б. Рудаков, литературовед, друг Мандельштамов по Воронежу, погиб на фронте 15 января 1944 года. Подробнее см.: Герштейн Э. Мемуары. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. С. 91.
- 93 Речь идет о рукописях О. Мандельштама, отданных С. Б. Рудакову на хранение, а также о списках стихов и рукописях, переданных в Москву с Ахматовой для Э. Г. Герштейн.
- 94 Имеется в виду поэма Байрона «Гяур» (1813) из т. н. «восточного» цикла.
- 95 Первая строка стихотворения О. Э. Мандельштама «1 января 1924 г.».
- 96 Первая строка стихотворения О. Э. Мандельштама «Радиоточка».
- 97 Н. Я. Мандельштам имеет в виду письмо от 26 янв. 1946 г., в котором Б. Л. Пастернак пишет о визите к нему Э. Г. Бабаева и о работе над прозой.
- 98 Л. Н. Гумилев вернулся домой в сентябре 1945 г.
- 99 Сын М. И. Цветаевой Георгий Сергеевич Эфрон погиб на фронте в 1944 г.

ЗАМЕТКИ К БИОГРАФИИ Б. С. КУЗИНА

Мы (выпускники кафедры Древней истории МГУ Михаил Николаевич Корнилов и Михаил Алексеевич Давыдов) попали в Борок в 1965 году. Приехали в гости к Борису Сергеевичу Кузину. В разговоре с моей матерью А. А. Буяновской, гидробиологом, Б. С. узнал, что я больше всего люблю в русской литературе Гоголя и Тютчева.

— Да? — Так везите его в Борок.

Затем вскоре я встретил Б. С. в Москве у И. Д. Папанина в экспедиционном управлении.

Он мне понравился с первого взгляда (так сказано было о Магомете: «Он схватил мое сердце за волосы, чтобы уже никогда больше не отпускать его»). Это была даже не приязнь, а узнавание. До самой смерти Бориса Сергеевича мы ездили в Борок по нескольку раз в году для «духовного окормления». А после его смерти до 1984 года с той же целью навещали несравненную Ариадну Валериановну.

М. А. Давыдов

Борис Сергеевич Кузин родился 11 мая 1903 г. в Москве. Отец его, Сергей Григорьевич, был бухгалтером. Человек он был оригинальный и талантливый. Происходил из семьи «богомазов», т. е. иконописцев. Гимназию не сумел закончить по бедности. Но отличался редкими способностями к языкам и музыке. Был энтомологом-любителем, состоя членом фаунистической комиссии при зоологическом отделении Московского университета. В одном из музыкальных кружков он встретил свою будущую жену, Ольгу Бернардовну. Происходила она из интеллигентной немецкой семьи и была прекрасной музыкантшей.

Это была очень счастливая и гармоничная пара благородных и на редкость непрacticalных людей. Борис Сергеевич говорил, считая, что прожил прекрасную и счастливую жизнь: «И счастье этой жизни началось с того, что Бог дал нам (детям) таких родителей». Детей было пятеро: Екатерина, Галина, Борис, Сергей и Ольга. Екатерина умерла в раннем детстве.

Сергей Григорьевич и внешне, и внутренне был очень похож на любимого им Дон Кихота. Доходы его были невелики. Семья жила очень скромно. Так, когда после революции пришли изымать излишки имущества, то взять было нечего. И экспроприаторы записали в протоколе: имущественное состояние — ниже среднего.

Но жили в этой семье дружно. В доме постоянно звучала музыка. Любовь к музыке, литературе, языкам передалась и детям. Отец постоянно овладевал то новым музыкальным инструментом, то новым экзотическим языком.

В 1910 году семья переехала за город, на станцию Удельная. Здесь прошло детство Б. С. В доме обитало множество животных: собаки, кролики, морские свинки. В садах

кормились гусеницы, выводились бабочки. Еще в гимназические годы Борис стал собирать и систематизировать насекомых. Учился он в знаменитой (среди интеллигенции) Малаховской гимназии, в которой преподавала литературу Мария Александровна Рыбникова. О ее уроках Б. С. всегда вспоминал с большой благодарностью. Произведения Достоевского, например, изучали целый год. А во время изучения Толстого, рассказывала Г. С. Кузина (тоже учившаяся в Малаховской гимназии), Мария Александровна обязательно желала показать ученикам Ясную Поляну и познакомить с еще жившей там Т. А. Кузминской. Дело было в самый разгар революции, и добирались туда ученики с большими трудностями, да еще зимой. Драматическое искусство преподавала Елизавета Яковлевна Эфрон.

Уже в гимназии Борис овладел тремя языками. Латинским он был так увлечен, что не захотел прервать занятия им даже после революции, когда латынь в гимназии отменили. Сестра Галина Сергеевна вспоминала: «<...> Ему необходимо было читать Горация в подлиннике. Для этого он ходил на дом к бывшему директору, <...> страстному латинисту, чем тот был очень доволен».

Февральскую революцию семья Кузиных приняла как подобало либеральной интеллигенции. «Отцу принес шампанского», — вспоминала Г. С. Кузина...

В университет в 1920 г. поступать было легко. Требовалась только метрика. А у отца Б. С., как у энтомолога-любителя, были на зоологическом факультете давние связи. Но одновременно с поступлением в университет Б. С. потерял отца.

О годах учебы и работы в университете Борис Сергеевич подробно рассказывает в своих воспоминаниях.

В 1935 г. Кузин был арестован и очутился в казахстанском лагере. После того, как органам стало известно, что он знаком с антисталинским стихотворением О. Э. Мандельштама («Мы живем, под собою не чуя страны...»), арест и лагерь были неизбежны. Он сравнительно легко еще отделался — тремя годами заключения. Друга своего (Осипа Эмильевича) Б. С. никогда не упрекал за излишнюю откровенность. Как можно было его упрекать! Галина Сергеевна Кузина рассказывала, что после первого ареста Бориса Сергеевича (в 1932 г.) Мандельштам, придя к его близким на Якиманку, бегал в смятении по комнате, повторяя: «Я пойду к ним туда. Я скажу им, что без него не могу. Я стихов не могу писать!»

Будучи под следствием, Б. С. узнал о смерти обожаемой матери. Она была очень больна, когда его арестовали. И «заботливые» следователи, предлагая Б. С. сотрудничество, тонко намекали на слабое сердце матери, которое не вынесет заключения сына. Б. С. на это ответил, что в таком случае ему придется ее лишиться.

Первое время в лагере Б. С. использовали на общих работах. После зимы 1935—1936 гг. резкое ухудшение здоровья и новые друзья-зоологи помогли ему перевестись на опытное сельскохозяйственное поле. Лагерная жизнь стала легче. Можно было даже отчасти продолжать научную работу. С помощью опытных специалистов-солагерников Б. С. овладел новой специальностью — паразитологией сельскохозяйственных растений. После освобождения (в сер. 1937 г.) она помогла ему устроиться на научную станцию в Шортандах. Мудрое решение остаться работать в Казахстане сохранило Б. С. жизнь, но обрекло его почти на шестнадцать лет ссылки...

Последние 23 года Борис Сергеевич прожил в Борке, работая в Институте биологии внутренних вод в качестве руководителя научной жизни института, возглавляемого легендарным Папаниным. Институт располагался в бывшем имении шлиссельбуржца Морозова. Это было настоящее небольшое независимое «государство» в Ярославской области. Его глава, Иван Дмитриевич Папанин, герой и адмирал, правил в нем победоносно, милостиво и самовластно, искусно защищая своих подданных от советских законов.

Уже при организации института в начале 50-х гг. сказалась талантливость и широта натуры этого не слишком образованного и вполне советского человека. При подборе научных кадров Папанина не смущали «волчи паспорта». Так, когда акад. Несмеянов, давний знакомый Б. С., рекомендовал его Ивану Дмитриевичу как талантливого ученого и достойного человека, тот сразу захотел получить Кузина. Причем административные рогатки только разжигали это желание. Годы были плоховатые для географических перемещений судимых и ссыльных. А жизнь в Казахстане была для Б. С. невыносима даже в докторском звании. Сам он мало верил в успех этой авантюры, тем более что власти Казахстана не желали лишиться такого первоклассного специалиста по борьбе с вредителями сельского хозяйства, не раз выручавшего их. Все это Б. С. поведал Папанину при встрече. Беседа завершилась вполне суровым диалогом:

— Собирай бумаги и приезжай!

— Да ведь паспорт у меня хреновый.

— Х... с ним, бери хреновый паспорт и приезжай!

После этого он вступил в бой за Кузина с казахским, московским, рыбинским и т. д. начальством. Завоевав Кузина, Иван Дмитриевич безошибочно поручил ему управление научной жизнью института. Вдвоем они набрали немало сотрудников с «волчьими» паспортами, не смущаясь тем, был ли кандидат хоть немец, хоть еврей, хоть ссыльный, хоть лагерник. Был бы специалист хороший, да человек приличный. При таком методе подбора получился первоклассный академический институт.

Ариадна Валериановна создала в Борке прекрасный и неповторимый дом, вложив в него и большой талант архитектора, и тонкий вкус человека, вышедшего из недр дворянской культуры. Л. Н. Гумилев называл борковский быт «постпоместным» и писал, что горюет о нем, как о «потерянном рае».

Небольшой финский типовой особняк действительно превратился в райский уголок. Необычные, талантливые люди, в нем жившие, наложили на него неповторимый отпечаток. В нем было три комнаты: большая гостиная, спальня и одновременно кабинет, а также гостевая комната. Из гостиной вела дверь на застекленную веранду.

Дом был затенен разросшимся садом. Но все же солнечные лучи, проникая в дом, оживляли красоту старинного английского секретера-буфета красного дерева со множеством

отделений и полочек (и даже с потайным ящичком). Его недра таили сказку Андерсена, так как вещи были прекрасные, живые и имели свою историю.

Старинный английский сервиз, расписанный китаизированными цветами (веджвудовский фаянс XVIII в.), придавал праздничность строгой красоте своего вместилища. С ним благородно гармонировали немногочисленные серебряные предметы. Помню сухарницу, сотканную из серебряных нитей, похожую на сказочный цветок. У нее была своя затейливая история. Кажется, бабушка Ариадны Валериановны собирала серебряные аксельбанты своего мужа-генерала. А затем повезла их на Кавказ, где местные чародей-кустари сплели ей эту трепетную сухарницу в форме цветка с раскрытыми лепестками. Современные вещи тоже обитали за этими дверцами, но, выбранные хозяйкой с безупречным вкусом, они не нарушали общей гармонии цветового оркестра, звучащего из-за стеклянных дверок шинуазерийного секретера-буфета.

Сами по себе деревянные стены гостиной были уже музыкальным инструментом. Они были прекрасным фоном для выявления благородной, полезной и нужной красоты живущих в гостиной вещей. Именно нужность и полезность вещей, обитающих в этой гостиной, независимо от ранга их художественного качества и антикварной ценности, делала ее такой живой и неповторимой. Ибо в ней соединились традиция, история, изысканный дворянский вкус хозяйки, выросшей в обстановке высокой бытовой культуры, с яркой и живой настоящей жизнью сегодняшнего дня.

Поэтому кустарные современные изделия из дерева и глины, а также традиционные изделия из современной Африки служили гармоничным продолжением и Чиппенделя, и Веджвуда.

Были в гостиной вещи фамильные — чудом уцелевшие осколки имущества новочеркасских дворянских семейств Апостоловых и Шамшевых.

Но обычно антикварная комната — это чаще всего все же гербарий и музей. Ариадна Валериановна ничего не воссоздавала, а просто обживала свой современный финский типовой дом удобно и элегантно. Конечно же, быт и убранство дворянских поместий были ей хорошо известны. Но, художник по натуре и архитектор по профессии, она создала дом и быт, вместивший в себя и прошлое, и настоящее.

Книг было достаточно, но они, в отличие от многих библиотек, не угнетали своей необходимостью и отсутствием внутренней связи с хозяевами. Издания самые разные — от антикварных до самых скромных современных. На всех языках, древних и новых. Прекрасно была представлена русская поэзия начала XX века в первоизданиях: Ходасевич, Кузмин, Сологуб, Пастернак. Были здесь древнегреческие и латинские поэты — от антикварных книг XVIII в. до добротных изданий ГДР. Вся европейская поэзия и кое-что из прозы. Помню Суинберна на английском языке, подаренного Надеждой Яковлевной Мандельштам. Чудесного любительского Петрарку начала нашего века в свиной коже и раскрашенного. Очень редкую книгу мемуаров камердинера Людовика XVI Ж.-Б. Клеры, изданную в Лондоне. Несколько старинных испанских книг XVIII в. и современное издание Гонгоры.

Из гостиной одна дверь вела в кабинет-спальню.

Возле кушетки Ариадны Валериановны стояло на подставке роскошное старинное зеркало в богато украшенной серебряной оправе. Это была точная копия зеркала, подаренного императрице Елизавете на коронацию.

Письменный стол стоял у окна; открывался широкий вид на поле, рощицу и водохранилище. Возле стола висел потрет Б. М. Житкова — тот самый, который он выбрал для кают-компании экспедиционного судна, названного в его честь («чтобы был похож на морского волка и при этом нравился женщинам»)...*

Борис Сергеевич чем-то неуловимо похож лицом на И. Стравинского. А когда читаешь «Диалоги» композитора, слышишь еще большее сходство в построении фраз и интонации. Конечно, Б. С. мягче, и артистизм не такой симфонический.

Я говорю ему об этом сходстве, особенно в речи. Б. С. задумывается. Потом его лицо большой любопытной ко всему собаки начинает смеяться, а длиннющие руки (их длиной он по-детски гордится: попробуйте-ка с пола — сидя! — поднять предмет не нагибаясь!) свободно повисают до земли...

Б. С. удивительно умеет радоваться. Все его хрупкое, съеденное недугом тело — это душа и набор только самого необходимого: глаза, уши, длинные руки и т. д.

В материальном смысле эта хранина пугающе хрупка. В высшем — непробиваемая броня...

* Сейчас портрет хранится в отделе рукописей РНБ (Ф. 1252, ед. хр. 94). О нем см. Воспоминания (с. 113 наст. изд.).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- *А. А. см. Ахматова А. А.
*А. А. см. Гурвич А. А.
*А. А. см. Иванова А. А.
*А. Г. см. Гурвич А. Г.
*А. Н. см. Северцов А. Н.
*А. П., сокамерник Б. С. Кузина 487, 570
*А. П. см. Александр Петрович
*А. П. см. Семенов-Тянь-Шанский А. П.
Аввакум Петров (1620—1682), протопоп, писатель 449, 588, 589, 591, 592
Аверьянова Наталья Львовна, переводчица 751
Агнiewicz Николай Яковлевич (1888—1932), поэт 751
*Ада Константиновна, врач в Борке 483
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859), писатель 43, 93, 630
Аксенов Иван Александрович (1884—1935), поэт, переводчик 619
*Ал. Ан. см. Иванова А. А.
*Александр Герцевич, музыкант, сосед А. Э. Мандельштама 167
Александр Македонский (356—323 до н. э.), царь, полководец, гос. деятель 297—299
*Александр Осипович см. Моргулис А. О.
*Александр Петрович, псевдоним, под которым Б. С. Кузин посылал Н. Я. Мандельштам свои стихи 552, 559, 572
Александра Федоровна (1872—1918), императрица, жена Николая II 136
Алексеева Елена Владимировна (р. 1960), филолог, мандельштамовед 10
Алексей, цесаревич, сын Николая II (1904—1918) 108, 136
*Алексей см. Захваткин А. А.
*Алеша, мальчик 2-х лет, сын квартирной хозяйки Н. Я. Мандельштам в Калининне 598, 599, 601
Алеша см. Захваткин А. А.
Алкей (кон. 7—1-я пол. 6 в. до н. э.), др.-греч. поэт 672
*Алла Анатольевна см. Иванова А. А.
*Алпатка см. Алпатов В. В.
Алпатов Владимир Владимирович (1898—?), биолог 53, 58, 75, 80, 493
Альберт I (1875—1934), король Бельгии 225
Амир Саргиджан (Бородин Сергей Петрович, 1902—1974), писатель 170, 171
*Амирджанов см. Амир Саргиджан
Амис см. д'Амичис Э. (?)
д'Амичис Эдмондо (1846—1908), итал. писатель 550
Анакреон (ок. 570—487 до н. э.), др.-греч. поэт 672
Андерсен Ханс Кристиан (1805—1875), датск. писатель 758
Андерсон Мариан (1902—1983), амер. певица 154
Андреев Леонид Николаевич (1871—1919), писатель 532
*Аничка см. Ахматова А. А.
*Анна см. Ахматова А. А.
*Анна Ал. см. Гурвич А. А.
*Анна Андр., А. Андр. и т. п. см. Ахматова А. А.
*Анна Константиновна (Нюра), помощница по хозяйству и верный друг семьи Кузиных 497
Анненский Иннокентий Федорович (1856—1909), поэт 131, 169, 553, 562, 563, 672, 675
*Аннушка см. Ахматова А. А.
Анри Виктор, проф. Сорбонны, автор работ по физике, психологии, педагогике 92
*Анька см. Ахматова А. А.
*Аня см. Ахматова А. А.
*Аня см. Хазина А. Я.
Апостолов Валериан Алексеевич, инженер-путеец, отец А. В. Апостоловой 440
Апостолова Ариадна Валериановна (1904—1984), архитектор, жена Б. С. Кузина 7, 10, 156, 192, 193, 206, 260, 273, 394, 423, 439, 440, 442—484,

* В указатель включены имена всех упоминаемых в книге лиц, в том числе названных не по имени, а по родственному или иному отношению к авторам («брат», «мама», «приятельница» и т. д.). Полные имена расположены в алфавите фамилий. Сокращенные и домашние имена, а также инициалы входят в общий ряд со знаком (*). Номера страниц, на которых упомянуты названия произведений без указания имени автора, выделены курсивом.

- 489, 490, 493, 497, 504—509, 511, 570, 578, 582, 587, 600, 602, 606, 607, 617, 619, 621, 623—625, 627, 628, 648, 651, 658, 659, 662, 664, 667, 669, 671, 674, 679, 683, 686, 688, 690, 698, 705, 709, 711, 717—719, 721, 734, 749, 750, 755, 757, 758
- Апостолова Ольга Александровна, мать А. В. Апостоловой 455, 662
- Апостоловы, знатный византийский род 440, 758
- Апухтин Алексей Николаевич (1840—1893), поэт 111
- *Ар. Вал. см. Апостолова А. В.
- Аренс (Пионткевич) Елена Михайловна (1902—1988), приятельница Н. Я. Мандельштам 626, 632, 642, 646, 653, 655, 656, 665, 670, 671, 750
- *Ариадна Валериановна см. Апостолова А. В.
- Архангельские, друзья Б. С. Кузина 476
- Арцимович Лев Андреевич (1909—1973), физик, акад. 432, 440
- Асеев Николай Николаевич (1889—1963), поэт 22
- Асник Адам (1838—1897), польск. поэт 133
- Ахматова (Горенко) Анна Андреевна (1889—1966), поэт 168, 169, 176, 177, 473, 478, 508, 534, 540, 569, 570, 572, 594, 598, 604, 615, 618, 619, 623, 625, 628, 630, 633, 637, 638, 645, 648, 650, 655, 663, 664, 667, 676—680, 682—690, 692—702, 704—722, 724—737, 740, 742, 744, 748—752
- *Б. Б. см. Родендорф Б. Б.
- *Б. М. см. Житков Б. М.
- Бабаев, директор КИЗ'а 476
- Бабаев Эдуард Григорьевич (1927—1996), литературовед, писатель 744, 752
- Багрицкий Всеволод Эдуардович (1922—1942), поэт, сын Э. Г. Багрицкого 678
- Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824), англ. поэт 735, 739, 742, 752
- Бальзак Оноре де (1799—1850), фр. писатель 408, 448, 452, 453, 455, 615
- Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942), поэт 139, 200, 348
- Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844), поэт 106, 378
- Барбе д'Оревиаль Жюль Амеде (1808—1889), фр. писатель 448, 471, 627, 750
- Бариль [Давид Павлович?], журналист 649, 685, 751
- Барнет Борис Васильевич (1902—1965), кинорежиссер, актер, родственник А. В. Апостоловой 225
- Бартенева Ирина Юрьевна, жена Б. М. Житкова 113, 114
- Батушин Герасим, служитель Зоологического музея 115, 119
- Батюшков Константин Николаевич (1787—1855), поэт 163
- Бах Иоганн Себастьян (1685—1750), нем. композитор и органист 13, 31, 153, 154, 156, 203, 209—221, 223—226, 252, 260, 261, 384, 407, 424, 426, 427, 432, 440, 460, 467, 478, 484, 492, 493, 496, 529, 531, 633, 643, 648, 652, 665, 705, 720, 722, 723, 742, 748
- Беккер Эрнст Георгиевич (Егорович, 1874—1962), зоолог, хоз. ассистент Зоологического музея 100, 103, 119—121
- Беклемишев Владимир Николаевич (1890—1962), зоолог 39
- Белоголовый Юрий Аполлонович (1883—?), зоолог 48
- Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич, 1880—1934), поэт, прозаик 169, 200
- Берг Лев Семенович (1876—1950), физико-географ и биолог, акад. 490, 491
- Бергсон Анри (1859—1941), фр. философ 249
- Берлесе Антонио (1863—1927), итал. зоолог 68
- Берлиоз Гектор (1803—1869), фр. композитор 722
- Бетгер Евгений Карлович (1887—1956), директор Ташкентской публичной библиотеки 139
- Бетховен Людвиг ван (1770—1827), нем. композитор 203, 212, 213, 215, 217, 407, 460, 532, 705
- Бизе Жорж (1838—1875), фр. композитор 419
- Билин, сослуживец и друг Б. С. Кузина в Шортандах 489
- Благовещенский Андрей Васильевич (1889—после 1969), ботаник 124, 126
- Блок Александр Александрович (1880—1921), поэт 158, 169, 170, 200, 431, 699
- Богавский Африкан Петрович (1872—1934), пред. Донского правительства, атаман Войска Донского 440
- Богданов (Малиновский) Александр Александрович (1873—1928), экономист, философ, полит. деятель, естествоиспытатель 78
- Богданов Анатолий Петрович (1834—1896), антрополог, зоолог 46—50, 53, 55, 94
- Боголюбовский Николай Иванович (1856—1926), протоиерей, проф. богословия 115
- Боголюбовский Сергей Николаевич (1885—1976), зоолог 115
- Богоявленский Николай Васильевич (1870—1930), зоолог 37, 60, 63
- Бодлер Шарль (1821—1867), фр. поэт 130, 133, 196, 210, 347, 349, 387, 432, 697
- Борзенков Яков Андреевич (1825—1883), анатом, физиолог 53

- Борзов Александр Александрович (1874—1939), физико-географ 56, 117
- Борсуцкий Иоанн, вымышленный поэт 135, 137
- Брагандева Елена Михайловна, журналистка 699, 709, 751
- Брамс Иоганнес (1833—1897), нем. композитор 212
- Брэммель Джордж (1778—1840), британский денди, прозванный "королем моды" 471, 697
- Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924), поэт 134, 135, 139, 147, 149, 200, 203, 220, 347, 365, 432
- Бублик, соученик А. Э. Мандельштама по гимназии 587, 749
- Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), писатель 105, 170
- Бутлеров Александр Михайлович (1828—1886), химик-органик 93
- Бутурлин Сергей Александрович (1872—1938), зоолог 96, 97
- Бухарин Николай Иванович (1888—1938), сов. парт. и гос. деятель 171
- Бучина Людмила Игоревна (р. 1938), историк, зав. отделом рукописей Российской Национальной библиотеки 10
- Буэн, биолог (?) 103
- Буяновская Антонина Александровна (1913—1988), гидробиолог, мать М. А. Давыдова 755
- Быховская А. М., декан физико-мат. факультета Моск. ун-та («деканша») 44, 76, 122
- Бьюкенен Роберт Уильямс (1841—1901), англ. писатель 447
- Бюффон Жорж Луи Леклерк де (1707—1788), фр. естествоиспытатель 13
- *В., знакомый Б. С. Кузина 454
- *В. В., сослуживец Б. С. Кузина в Шортандах 464, 476
- Вавилов Николай Иванович (1887—1943), генетик, растениевед, географ, акад. 39
- Вагнер Рихард (1813—1883), нем. композитор 224
- Ван Гог Винсент (1853—1890), фр. живописец 395, 644
- Варавва Михаил Петрович (1841—1918), издатель журнала "Естествознание и география", автор учебников по естественной истории 95
- *Варвара ("Вор-вара") см. Клычкова В. Н.
- Варшавский Лев Романович (1891—после 1964), искусствовед 749
- *Василиса см. Шкловская В. Г.
- Вдовина Тамара, диктор радио 417
- Вебер Карл Мария фон (1786—1826), нем. композитор 215
- Веджвуд Джозайя (1730—1795), англ. керамист 758
- Вейсман Август (1834—1914), нем. зоолог 63
- Веласкес Родригес де Сильва (1599—1660), исп. живописец 217
- Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920), историк литературы, библиограф 98
- Вербицкая Анастасия Александровна (1861—1928), писательница 597, 749
- Вербловская Ф. О. см. Мандельштам (Вербловская) Ф. О.
- Верлен Поль (1844—1896), фр. поэт 130, 133, 364, 491, 550, 554
- Вермель Юлий Матвеевич (1906—1938), биолог, друг Б. С. Кузина 402, 403, 471, 528, 681, 748
- *Верочка, сотрудница Пловморнина 43
- Вийон Франсуа (1431/32—ок. 1465), фр. поэт 130, 203, 353, 554
- *Виктор Борисович см. Шкловский В. Б.
- Витте Сергей Юльевич (1849—1915), рос. гос. деятель 50
- *Витя см. Шкловский В. Б.
- Вишневская (Вишневецкая) Софья Касьяновна (1899—1962), театр. художница, жена В. В. Вишневецкого 642, 658, 659, 660
- Вишневский Александр Леонидович (1861—1943), актер, один из основателей МХТ (в тексте ошибочно: Вишневецкая) 201
- Вишневский Всеволод Витальевич (1900—1951), драматург 528, 659
- *Владимир см. Никулочкин В. А.
- Волгин Вячеслав Петрович (1879—1962), историк, ректор Моск. ун-та (1921—1925) 37, 72
- Волошин Максимилиан Александрович (1877—1932), поэт 111
- Востоков (Остенок) Александр Христофорович (1781—1864), филолог-славист, поэт 135
- Вышинский Андрей Януарьевич (1883—1954), юрист, сов. гос. деятель, ректор МГУ (1925—1928) 72
- Вяжлинский Дмитрий Михайлович (1902—?), биолог 91, 114
- Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), поэт, критик 106, 536, 748
- *Г. А. см. Кожевников Г. А.
- Гаврилов Николай Иванович (1886—?), химик-органик 62
- Гаврилов Николай Осипович, знакомый Б. С. Кузина по Ташкенту 139—141
- Гагарин Юрий Алексеевич (1934—1968), летчик-космонавт 294

- Гайдн Йозеф (1732—1809), австр. композитор 460, 522, 523
- *Галина см. Мекк фон Г. Н.
- Галкина, квартирная хозяйка Н. Я. Мандельштам в Ташкенте 681, 691, 693
- Галчинский Константы Ильдефонс (1905—1953), польск. поэт 217
- *Галя см. Кузина Г. С.
- Гаршин Владимир Георгиевич (1887—1956), врач-патологоанатом, близкий друг А. А. Ахматовой 625, 690, 693, 711, 730, 735, 740, 751
- Гедике Александр Федорович (1877—1957), композитор, органист 529, 652, 748
- Гейне Генрих (1797—1856), нем. поэт 602, 750
- Геккель Эрнст (1834—1919), нем. биолог 266
- Гендель Георг Фридрих (1685—1759), нем. композитор 347, 460, 648
- Генрих IV (1367—1413), англ. король 752
- Генрих VI (1421—1471), англ. король 748
- Георгий, св. 117
- *Георг<ий> Як<овлевич>, солагерник Б. С. Кузина 487
- Гептнер Владимир Георгиевич (1901—1975), зоолог 44
- *Герасим см. Батушин Г.
- Гернет Михаил Николаевич (1874—1953), юрист 92
- Гернет Надежда Николаевна (1877—1943), математик 92
- Гертвиги, братья Оскар (1849—1922) и Рихард (1850—1937), нем. биологи 63
- Герцен Александр Иванович (1812—1870), писатель, публицист 167, 169, 170, 173, 186, 745
- Герцык Владимир Борисович, диктор радио 417
- Герштейн Григорий Моисеевич (1869/70—1943), врач, отец Э. Г. Герштейн 724
- Герштейн Сергей Борисович (р. 1928), летчик, инж.-конструктор 557, 749
- Герштейн Эмма Григорьевна (р. 1903), литературовед, писательница, мемуаристка, друг О. Э. и Н. Я. Мандельштамов 10, 516, 534, 552, 554, 563, 596, 597, 599, 602, 605, 607, 613, 616, 619, 620, 622, 625, 637, 642, 648, 650, 684, 699, 701, 705, 724, 732, 749—752
- Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832), нем. поэт, мыслитель, естествоиспытатель 19, 20, 132—134, 155, 158, 203, 215, 217, 219, 220, 222—224, 249, 261, 334, 376, 424, 426, 432, 450, 468, 483, 487, 491, 492, 618, 621, 645, 649, 676, 724, 731, 739
- Гиндзе Борис Константинович (1881—1953), анатом 80, 81
- Гинзбург Лео Морицевич (1901—1979), дирижер 586, 749
- Гитлер (Шикльгрубер) Адольф (1889—1945), лидер нац.-соц. партии в Германии 141, 232, 243, 249, 657
- Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787), австр. композитор 648
- Гоголь Николай Васильевич (1809—1852), писатель 26, 106, 142, 203, 215, 217, 223, 219, 261, 298, 450, 482, 618, 741, 755
- Гозенпуд Абрам Акимович (р. 1908), музыковед 751
- Гольдшмидт Рихард (1878—1958), нем. биолог 63
- Гонгора-и-Арготе Луис де (1561—1627), исп. поэт 758
- Гонкур де, братья Эдмон (1822—1896) и Жюль (1830—1870), фр. писатели 532
- Горадий (Квинт Горадий Флакк, 65—8 до н. э.), римск. поэт 110, 133, 134, 148, 158, 203, 441, 461, 468, 471, 485, 499—501, 672, 756
- Горбачева В. Н. см. Клычкова В. Н.
- Горбов Михаил Акимович (ум. 1894), переводчик “Чистилища” Данте 672, 751
- Горбунов-Посадов (Горбунов) Иван Иванович (1864—1940), педагог, издатель 459
- Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967), поэт 168, 200
- Горожанкин Иван Николаевич (1848—1904), ботаник 94
- Горький Максим (Пешков Алексей Максимович, 1868—1936), писатель 171, 174
- Готье Теофиль (1811—1872), фр. писатель 448
- Гранадос Энрике (1867—1916), исп. композитор 209
- Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829), писатель 200, 215
- *Григ. Ал. см. Кожевников Г. А.
- Грин (Миронова) Нина Николаевна (1894—1970), жена А. С. Грина 551, 555
- Гриц Теодор Соломонович (1905—1959), писатель, литературовед 750
- Грум-Гржимайло Григорий Ефимович (1860—1936), путешественник, географ 124
- Гульд Гленн (1932—1982), канадский пианист и органист, выдающийся интерпретатор И. С. Баха 212, 218
- Гумилев Лев Николаевич (1912—1992), историк-востоковед, сын А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилева 9, 439—441, 473, 492, 503—512, 534, 540, 618, 625, 690, 693, 694, 706, 721, 727, 729, 733, 737, 744, 748, 750, 752, 757
- Гумилев Николай Степанович (1886—1921), поэт 170, 278, 316

- Гумилева (Симановская) Наталья Викторовна (р. 1922), художница, жена Л. Н. Гумилева 507, 508
- Гурвич Александр Гаврилович (1874—1954), биолог 39, 214, 434, 496—498, 697, 707, 708
- Гурвич Анна Александровна (1905—1992), биолог, дочь А. Г. Гурвича 8, 495, 496, 498
- Гурвич Элеонора Самойловна (1890—1989), искусствовед, вторая жена А. Э. Мандельштама 551, 559, 610, 613, 653, 675, 677, 724
- *Гурьянич, сослуживец и приятель Б. С. Кузина в Шортандах 446, 489
- Гюго Виктор (1802—1885), фр. писатель 448
- Гюисманс Шарль Мари Жорж (1848—1907), фр. писатель 605, 749
- Давыдов Денис Васильевич (1784—1839), поэт 556
- Давыдов Михаил Алексеевич (р. 1939), историк 9, 10, 441, 478, 496—498, 504, 516, 562, 751, 755
- Даль Владимир Иванович (1801—1872), писатель, лексикограф 242
- *Данила Алексеевич, муж Маруси, няни Б. С. Кузина 198
- Даниэль Юлий Маркович (1925—1988), писатель 295
- Данте Алигьери (1265—1321), итал. поэт 19, 216, 219, 251, 261, 409, 432, 492, 534, 672, 676, 751
- Дарвин Чарлз (1809—1882), англ. естествоиспытатель 35, 48, 49, 64, 200, 266, 273
- Дарий (522—486 до н. э.), древнеперсидский царь 409
- Дворжак Антонин (1841—1904), чешск. композитор 532
- Декарт Рене (1596—1650), фр. философ и математик 249, 742
- Деккер Иеремия де (1610—1666), амстердамский торговец и поэт, друг Рембрандта 261
- Делаж Ив (1854—1920), фр. зоолог 63, 69
- Державин Владимир Васильевич (1908—1975), поэт-переводчик 713, 714
- Державин Гаврила Романович (1743—1816), поэт 453
- Дёшин Александр Александрович (1869—1945), анатом 81
- Джером К. Джером (1859—1927), англ. писатель 447, 546
- Джойс Джеймс (1882—1941), ирландск. писатель 447, 673
- Джуматов, директор с.-х. института в Алма-Ате 476
- Джунковский Владимир Федорович (1865—1938), ген.-майор свиты, товарищ мин. внутр. дел и ком. отд. корпуса жандармов (1913—1915) 108
- Диккенс Чарлз (1812—1870), англ. писатель 546, 548, 603, 640, 648, 749, 750
- Добжанский (Добржанский) Феодосий Григорьевич (1900—1975), зоолог 48
- Доде Альфонс (1840—1897), фр. писатель, автор трилогии о Тартарене 613, 750
- Долуханова Зара (р. 1918), певица 154
- Дорофеев Петр Иванович, ивановский рабочий, солагерник Б. С. Кузина 204
- Дос Пассос Джон (1896—1970), амер. писатель 447
- Достоевский Федор Михайлович (1821—1881), писатель 215, 219, 223, 230, 232, 249, 277, 428, 481, 641, 676, 702, 756
- Дубровин Александр Иванович (1855—1918), один из основателей черносотенной организации “Союз русского народа” 107
- Дуров Владимир Григорьевич (1909—1972), цирковой артист, дрессировщик 54, 55
- *Е. С. см. Смирнов Е. С.
- *Е. Я. см. Хазин Е. Я.
- *Евгений см. Смирнов Е. С.
- *Евг. Серг. см. Смирнов Е. С.
- *Евг. Як. см. Хазин Е. Я.
- *Егорка см. Клычков Г. С.
- *Елена Ефимовна, знакомая Н. Я. Мандельштам 561
- *Елена Михайловна см. Арнс Е. М.
- *Елена Фоминишна см. Рачинская Е. Ф.
- Елизавета (1709—1762), рос. императрица 758
- Елизавета (1876—1965), королева Бельгии 225
- Емельянова Нина Александровна, биолог 157
- Ермолов Н. П., помещик Симбирской губ. 93
- *Ерофей (“дядя Ероша”), сапожник 488
- Есенин Сергей Александрович (1895—1925), поэт 200
- *Ефим, университетский служащий 98
- Жанна д'Арк (ок. 1412—1431), народная героиня Франции 635
- Желоховцев Анатолий Николаевич (1903—?), зоолог 67, 157, 158
- *Женька см. Смирнов Е. С.
- *Женя, Женька см. Хазин Е. Я.
- Жирмунский Виктор Максимович (1891—1975), филолог, акад. 750
- Житков Борис Михайлович (1872—1943), зоолог 48, 49, 60, 61, 80, 91—102, 104—114, 247, 759
- Житков Борис Степанович (1882—1938), писатель 98, 99
- Житков Иван Никитич, дед Б. М. Житкова 92
- Житков Михаил Иванович, отец Б. М. Житкова 92
- Житков Никита Иванович, прадед Б. М. Житкова 91

- Житкова (урожд. Тюбукина, 1833—1921), мать Б. М. Житкова 92
- Жолтовский Иван Владиславович (1867—1959), архитектор 117
- *Жорж см. Никольский Г. Е.
- Жуковский Василий Андреевич (1783—1852), поэт 106, 682
- Завадовские, братья Борис Михайлович (1895—1951) и Михаил Михайлович (1891—1957), биологи 55
- Закгейм, руководитель семинара по марксистско-ленинской философии 78, 79
- Заленский Олег Вячеславович (1915—1982), ботаник 731
- Захваткин Алексей Алексеевич (1906—1950), зоолог, друг Б. С. Кузина 481, 488, 489, 493
- Зелинский Николай Дмитриевич (1861—1953), химик-органик, акад. 62
- Зенкевич Лев Александрович (1889—1970), биолог, океанолог, акад. 73
- Зенкевич Михаил Александрович (1891—1973), поэт, переводчик 168
- Зимин Сергей Иванович (1875—1942), театральный деятель, владелец частного оперного театра в Москве (1904—1924) 196
- Зограф Николай Юрьевич (1851—1919), зоолог 47
- Зощенко Михаил Михайлович (1895—1958), писатель 484
- *Зухра, двухлетняя узбекская девочка 741
- Иаков, библ. 666
- *Иван, старик-цыган 466
- Иванов Вячеслав Всеволодович (р. 1929), филолог 515
- *Иванова, мать Иры 719, 728, 734, 738
- Иванова Алла Анатольевна, дочь Анастасия Васильевна Иванова, депутата IV Гос. Думы, солагерника Б. С. Кузина 450, 552, 579, 587
- Иван IV Грозный (1530—1584), царь 751
- Иванцов Николай Александрович (1863—1927), зоолог 54
- Игумнов Константин Николаевич (1873—1948), пианист 138
- Изаи Эжен (1858—1931), бельг. скрипач 225
- *Ильинична см. Любовь Ильинична
- Ильф Илья (Файнзилбергер Илья Арнольдович, 1897—1937), писатель 277
- *Илья Григорьевич см. Эренбург И. Г.
- Иов, библ. 352
- *Ира, квартирантка Б. С. Кузина, биолог 719, 722, 723, 725, 726, 728, 729

- *Ирина, прислуга Г. А. Кожевникова 56, 57, 70, 74—76, 116, 117, 119
- *Ирма, знакомая Н. Я. Мандельштам, соседка по квартире Е. Я. Хазина 555, 661
- Исайя, пророк (библ.) 216
- Казаков Матвей Федорович (1738—1812), архитектор 637
- Казальс Пабло (1876—1973), исп. виолончелист 210, 211, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 224, 225
- Казанский Александр Николаевич, биолог, солагерник Б. С. Кузина 487, 500, 501
- Казанский Борис Александрович (1891—1973), химик-органик 62
- Камю Альбер (1913—1960), фр. писатель 224, 235
- Кан Иосиф Львович (1892—1942), зоолог 55
- Кант Иммануил (1724—1804), нем. философ 402, 403
- Кассо Лев Аристидович (1865—1914), рос. гос. деятель 55
- Катаев Валентин Петрович (1897—1986), писатель 528, 676, 748
- Катулл Гай Валерий (ок. 87—ок. 54 до н. э.), римск. поэт 132, 133, 220, 223, 262, 337, 424, 440, 462, 467, 470, 471, 491, 550, 554, 667, 669, 670, 672, 673, 675, 677, 751
- Кахидзе Нина Титовна (1901—?), ботаник 157
- Качалов (Шверубович) Василий Иванович (1875—1948), актер 201
- Кеведо и Вильегас (1580—1645), исп. поэт 135, 151
- Керенский Александр Федорович (1881—1970), рос. полит. и гос. деятель 93
- Киплинг Джозеф Редьярд (1865—1936), англ. писатель 130, 447, 487, 546, 602
- Кир II Великий (г. рожд. неизв. — ум. 530 до н. э.), др.-персидский царь 409
- Китс Джон (1795—1821), англ. поэт 719, 724, 731
- Клейст Генрих фон (1777—1811), нем. писатель 272, 561, 749
- Клери Жан-Батист (1759—1806), камердинер фр. короля Людовика XVI 758
- Клычков Георгий Сергеевич (1932—1987), лингвист, сын С. А. и В. Н. Клычковых 557, 558, 749
- Клычков (Лешенков) Сергей Антонович (1889—1937), поэт 169, 173, 174, 176, 177, 676
- Клычкова (урожд. Казакова, по первому мужу Горбачева) Варвара Николаевна (1901—1975), литературовед, лнг. работник, жена С. А. Клычкова 174, 676, 677
- Клюев Николай Алексеевич (1887—1937), поэт 200

- Ключевский Василий Осипович (1841—1911), историк 115, 734, 736
- Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868—1959), актриса 201
- Ковалецкие, братья Александр Онуфриевич (1840—1901), биолог и Владимир Онуфриевич (1842—1883), палеонтолог 65, 93
- Кожевников Александр Григорьевич, юрист, сын Г. А. Кожевникова 74, 80, 82
- Кожевников Григорий Александрович (1866—1933), зоолог 37, 45—59, 61—82, 99, 104, 115, 116, 119, 121
- Кожевникова (Российская) Мария Александровна, зоолог, жена Г. А. Кожевникова 68—70, 73—76
- Козловская (Герус) Галина Лонгиновна (1906—1991), литератор, переводчик, жена А. Ф. Козловского 478, 744
- Козловский Алексей Федорович (1905—1977), композитор, автор опер «Улугбек», «Подвиг Бекташа» и «Афдаль» (все — 1942) 478, 705, 720, 722, 725, 744
- Козьма Прутков (коллективный псевд. А. К. Толстого и братьев А. М. и В. М. Жемчужниковых, 50-е—60-е гг. XIX в.), поэт 19, 26, 135
- Колесникова Матрена, домохозяйка Н. Я. Мандельштам в с. Михайловка Джамбульской обл. 658, 659, 663—666, 674
- Колумб Христофор (1451—1506), мореплаватель 89
- Кольцов Николай Константинович (1872—1940), биолог 37, 45, 55, 57, 63
- *Коменский Ян Амос (1592—1670), чешск. педагог-гуманист 75
- Констан де Ребек Бенжамен Анри (1767—1830), фр. писатель 448
- Конт Огюст (1798—1857), фр. философ 79
- Корженевский Николай Леопольдович (1879—1958), физико-географ и гляциолог 127
- Корнилов Михаил Николаевич (р. 1941), историк-египтолог 496, 497, 755
- Короткая Мария Алекс., квартирная хозяйка Н. Я. Мандельштам в Струнино 671
- Кортес Эрнан (1485—1547), фр. конкистадор, завоеватель Мексики 316
- Коршельт Евгений (1858—?), зоолог 63
- Костарев Николай Константинович (1893—1941), писатель 547, 748
- Костер Шарль де (1827—1879), бельг. писатель, автор «Легенды об Уленшпигеле» 164
- Костыревы (правильно: Костаревы) 534, 563
- Кочешков Ксенофонт Александрович (1894—1978), химик-органик, акад. 62
- Крашенинников Федор Николаевич (1869—1938), ботаник 123
- Кречетович Лев Мельхиседекович (1878—?), биолог 117
- Крыжановский Сергей Григорьевич (1891—1961), зоолог 61
- Крылов Алексей Николаевич (1863—1945), кораблестроитель, механик и математик, акад. 92
- Крюгер Отто Оскарович (1893—1967), историк 474, 475, 477, 724, 740
- Крямичев (правильно: Крямечев) М. А., юрист, знакомый Б. С. Кузина по Ташкенту 139
- Кузин, иконописец, прадед Б. С. Кузина 227
- Кузин Александр Михайлович (р. 1906), биохимик, акад., сын Э. Б. Кузиной 489, 686
- Кузин Сергей Григорьевич (ум. 1920), отец Б. С. Кузина 40, 41, 53, 139, 195, 196, 198, 199, 227, 228, 240—242, 459, 755, 756
- Кузин Сергей Сергеевич (1909—1934?), брат Б. С. Кузина 156, 166, 198, 565, 686, 749, 751, 755
- Кузина Галина Сергеевна (1905—1993), филолог, музейный работник, сестра Б. С. Кузина 9, 156, 496, 664, 666, 726, 755, 756
- Кузина Екатерина Сергеевна (1901—1909), сестра Б. С. Кузина 195, 241, 755
- Кузина Мария Григорьевна, тетка Б. С. Кузина ("тетя Маня") 138, 139
- Кузина Ольга Бернардовна (1885?—1935), мать Б. С. Кузина 142, 156, 179, 195, 196, 198, 199, 211, 241, 449, 464, 485, 648, 666, 670, 686, 696, 755, 756
- Кузина Ольга Сергеевна (1908—1981), биолог, сестра Б. С. Кузина 44, 156, 439, 440, 442, 449, 459, 463, 465, 485—498, 567, 595, 635, 658, 659, 662, 664, 667—669, 671, 674, 679, 683, 686, 688, 695, 698, 705, 711, 717, 719, 726, 732, 733, 740, 755
- Кузина Эмилия Бернардовна, стоматолог, тетка Б. С. Кузина, сестра его матери и жена родного брата его отца, Михаила Григорьевича Кузина 211, 489, 548, 558, 572, 581, 593, 629, 683, 686, 705
- Кузмин Михаил Алексеевич (1875—1936), поэт 169, 758
- Кузминская Татьяна Андреевна (1846—1925), писательница, свояченица Л. Н. Толстого 235, 756
- *Кузьмич, знакомый Б. С. Кузина 489
- Кукин Николай Николаевич (ум. 1919?), инженер-механик, специалист по обработке шелка 96
- Кулагин Николай Михайлович (1860—1940), зоолог 47, 48

- Куперен Франсуа (1668—1733), фр. композитор 209
 Курбатов Михаил Иванович (1890—?), ботаник 143
 Курбатова Ирина Николаевна (р. 1929), историк, зав. отделом рукописей ГПБ 10
 Кушнарев, казачий офицер 440
 Кэррол Льюис (Доджсон Чарлз Латуидж, 1832—1898), англ. писатель, автор книги «Алиса в стране чудес» 652
 Кюкенталь Вилли (1861—1922), нем. зоолог 67
- *Л. С. см. Берг Л. С.
 Ладынина Марина Алексеевна (р. 1908), киноактриса 302
 Ламарк Жан Батист (1744—1829), фр. естествоиспытатель 13
 Ланг Арнольд (1855—1914), швейц. зоолог 68
 Лапидус Алла Яковлевна (р. 1953), библиограф РНБ 10
 Лапин Борис Матвеевич (1905—1941), писатель 678, 699
 Лафорг Жюль (1860—1887), фр. поэт 448
 Лебедева (урожд. Дармолатова) Сарра Дмитриевна (1892—1967), скульптор, свояченица Е. Э. Мандельштама (сестра его первой жены Натальи Дмитриевны Дармолатовой) 541, 624
 *Лева, Левка, Левушка см. Гумилев Л. Н.
 *Лева, спутник Мандельштама в Ереване 161—163
 Леверье Урбен Жан Жозеф (1811—1877), фр. астроном 409
 Левик Вильгельм Вениаминович (1906—1982), поэт, переводчик 387
 Леконт де Лиль Шарль (1818—1894), фр. поэт 135, 151, 448
 *Леля см. Гурвич Э. С.
 *Лена см. Фрадкина Е. М.
 Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924), полит. деятель, основатель Советского гос-ва 78, 296, 418
 *Ленка, семилетний мальчик, сын Матрены Колесниковой 663, 664, 666, 670
 *Леоп см. Гумилев Л. Н.
 Леонардо да Винчи (1452—1519), итал. живописец, скульптор, архитектор, ученый и инженер 216, 252, 424, 450, 563
 Леонов Николай Дмитриевич (1897—1958), ботаник, друг Б. С. Кузина 110, 123—128, 130—132, 134, 135, 138—152, 178, 678—682, 684—686, 688, 690, 711—714, 724, 729, 731, 744, 745, 747
 Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841), поэт 132, 134, 215, 534, 597, 648
 Лесков Николай Семенович (1831—1895), писатель 43, 440, 676
 Лессинг Готтольд Эфраим (1729—1781), нем. драматург и теоретик искусства 39
 Лившиц Бенедикт Константинович (1886/87—1938), поэт, переводчик 131
 Линдн Владимир Германович (1894—1979), писатель 687
 Лидина Мария Александровна (1899—1970), лит. работник, жена В. Г. Лидина 687
 Линней Карл (1707—1778), шведский естествоиспытатель 13
 Ллойд Джордж Дэвид (1863—1945), полит. и гос. деятель Великобритании 147, 148
 Лозинский Михаил Леонидович (1886—1955), поэт, переводчик 19
 Лореиц Конрад (1903—1989), австр. зоолог 230, 232
 Лысенко Трофим Денисович (1898—1976), биолог, агроном 22, 427
 Любавин Николай Николаевич (1845—1918), химик 94
 Любимов Николай Михайлович (1912—1992), переводчик 11, 238
 Любищев Александр Александрович (1890—1972), биолог 8, 440, 481, 489, 492, 707
 Любищева (Ораицкая) Ольга Петровна (ум. 1972), жена А. А. Любичева 481
 *Любовь Ильинична, соседка и кухарка Б. С. Кузина в Шортандах 550, 555, 563, 571
 Людовик XVI (1754—1793), король Франции 155, 758
 *Люся см. Смирнова Л. И.
 Люттер Мартин (1483—1546), глава Реформации в Германии 217
 *Люшка см. Чуковская Е. Ц.
 Ляпуновы, братья Александр Михайлович (1857—1918), математик и механик, акад. и Борис Михайлович (1862—1943), славист, акад. 92
 *М. А. см. Кожевникова М. А.
 Магомет (570—632), основатель мусульманской религии 138, 755
 Мадарас Ирина, жена Э. Мадараса 687
 Мадарас Эмиль (1884—1962), венг. поэт; в 1922—1946 гг. жил в эмиграции в СССР 687
 Майоровы, братья Борис Александрович (р. 1938) и Евгений Александрович (1938—1997), спортсмены (хоккей с шайбой) 226, 294
 Малларме Стефан (1842—1898), фр. поэт 448
 Мальковский, сослуживец Б. С. Кузина в Шортандах и Алама-Ате 476, 479

- Мальпиги Марчелло (1628—1694), итал. биолог и врач 138
 Мандельштам Александр Александрович (р. 1932?), сын А. Э. Мандельштама 557, 559, 671, 675, 749
 Мандельштам Александр Эмильевич (1893—1942), лит. работник, брат. О. Э. Мандельштама 167, 537, 538, 540, 541, 548, 551, 552, 559, 587, 589, 607, 610, 613, 616, 623, 651, 653, 655, 671, 675—677, 679, 681, 694, 724, 749
 Мандельштам Евгений Эмильевич (1898—1979), сценарист документального кино, брат О. Э. Мандельштама 538, 541, 548, 709
 Мандельштам (Хазина) Надежда Яковлевна (1899—1980), жена О. Э. Мандельштама 7—10, 146, 153—156, 163—168, 171—173, 175—179, 395, 440, 444, 447, 449, 455, 457, 458, 461, 470—473, 478, 479, 510, 515—522, 758
 Мандельштам Осип Эмильевич (1891—1938), поэт, друг Б. С. Кузина 7—10, 131, 135, 146, 153—156, 158, 161—179, 214, 216, 217, 225, 383, 395, 400, 431, 440, 444, 445, 447, 458, 461, 472, 489, 495, 515, 516, 518—527, 529—536, 538—543, 545—548, 552, 553, 555, 556, 559—561, 563—566, 579, 581, 582, 584, 585, 587, 588, 602, 609, 611, 612, 615, 618, 626—628, 636, 638—640, 644, 646, 648, 654, 657, 668, 670, 672, 673, 677—680, 682, 683, 693—695, 698, 699, 709, 724, 730, 740, 742, 744, 748—752, 756
 Мандельштам Татьяна Евгеньевна (1920—1943), племянница О. Э. Мандельштама, дочь Е. Э. Мандельштама от первого брака 539, 699, 724
 Мандельштам (Вербловская) Флора Осиповна (1866—1916), мать О. Э. Мандельштама 542
 Мандельштам Эмилий Вениаминович (Эмиль Хацкель, 1856—1938), отец О. Э. Мандельштама 536, 538, 540, 541, 587, 610
 Мандзони (Манцони) Алессандро (1785—1873), итал. писатель 20
 Мане Эдуар (1832—1883), фр. живописец 559
 *«тетя Маня» см. Кузина М. Г.
 Мао Цзэдун (1893—1976), полит. деятель Китая 417
 *«Маргрет» (Маргарита Анжуйская, 1430—1482), англ. королева, жена Генриха VI 535
 Марня, Дева (библ.) 227, 228, 236
 Мария Федоровна (1847—1928), рос. императрица, жена Александра III 136, 140
 Марке Альбер (1875—1947), фр. живописец 559
 Марконет А. Г., знакомый Б. С. Кузина 107, 108
 Маркс Карл (1818—1883), экономист, философ, теоретик коммунизма 78, 273—375
 Марр Николай Яковлевич (1864/65—1934), лингвист, востоковед, акад. 655, 730, 734
 Мартынов Андрей Васильевич (1879—1938), биолог 39
 *Маруся, няня Б. С. Кузина 198
 *Марфа см. Печкина М.
 Матвеев Борис Степанович (1889—1973), зоолог 61, 110
 Матисс Анри (1869—1954), фр. живописец 559
 Мачеварианов Петр Михайлович (ум. 1880), помещик, автор «Записок псового охотника Симбирской губернии» (М., 1876) 93
 Машковцев Александр Александрович (1891—?), зоолог 61
 Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930), поэт 189, 200, 202, 482, 556
 Мейерхольт Всеволод Эмильевич (1874—1940), режиссер, актер 202
 Мекк фон Галина Николаевна, дочь выдающегося инженера-путейца Николая Карловича фон Мекк, приятельница Н. Я. Мандельштама 565, 624, 627
 *Мелитта см. Фрадкина М. А.
 Мендельсон Феликс (1809—1847), нем. композитор 217, 220
 Мензбир Михаил Александрович (1855—1935), зоолог 37, 39, 49, 53, 55, 57, 63
 Мерещковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941), писатель, автор пьесы «Павел I» (1908) 200
 Мериме Проспер (1803—1870), фр. писатель 408, 419
 Месяцев Иван Илларионович (1885—1940), зоолог 103
 Метерлинк Морис (1862—1949), бельг. драматург, поэт, автор пьесы «Синяя птица» (1908) 197, 201
 Метревели Александр Ираклиевич (р. 1944), спортсмен-теннисист 227
 Мец Александр Григорьевич (р. 1944), врач, исследователь творчества О. Э. Мандельштама 10, 515
 Мечников Илья Ильич (1845—1916), биолог 63
 Микеланджело Буонарроти (1475—1564), итал. скульптор, живописец, архитектор, инженер и поэт 454
 Мильтон Джон (1608—1674), англ. поэт 409, 504
 Минковский Герман (1864—1909), нем. математик и физик 148
 Мирчинк А. Ф. — вероятно, Георгий Федорович (1889—1942), геолог 73
 Михозас (Вовси) Соломон Михайлович (1890—1948), актер, режиссер 535
 Мицкевич Адам (1798—1855), польск. поэт, автор поэмы «Пан Тадеуш» (1834) 132, 133, 134, 252
 *Мишки см. Давыдов М. А., Корнилов М. Н.
 Мозер Г. — владелица часовой фабрики в Швейцарии 403

- Молоденков Николай Сергеевич (1893—?), врач-психиатр 57
- Мольер (Жан Батист Поклен, 1622—1673), фр. драматург 750
- Моммзен Теодор (1817—1903), нем. историк 676, 677, 751
- Монаков Андрей Васильевич (р. 1929), зам. директора Института биологии внутренних вод в Борке 10
- Моне Клод (1840—1926), фр. живописец 559
- Мопассан Ги (1850—1893), фр. писатель 448, 453, 634, 667, 673
- Мопсен см. Моммзен Т.
- Моргулис Александр Осипович (1898—1938), литератор, переводчик 562, 676, 725
- Морозов Александр Анатольевич (р. 1932), литературовед, исследователь творчества О. Э. Мандельштама 179
- Морозов Николай Александрович (1854—1946), рев. и обществ. деятель, ученый, писатель 757
- Морской (Мальшев) Дмитрий Иванович (1897—1956), поэт 129
- Москвин Иван Михайлович (1874—1946), актер 201
- Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791), австр. композитор 203, 209, 212, 215, 217, 460, 484, 586, 643, 648, 749
- Муромцева Вера Михайловна, биолог (?), знакомая А. П. Семенова-Тян-Шанского и Б. С. Кузина 501
- Муссолини Бенито (1883—1945), глава фашистского правительства в Италии (1922—1943) 243
- *Н. Д. см. Леонов Н. Д.
- *Н. И. см. Харджиев Н. И.
- *Н. Н., знакомый Б. С. Кузина 489
- *Н. О. см. Гаврилов Н. О.
- *Н. С., знакомая Б. С. Кузина 454
- *Н. Я. см. Мандельштам Н. Я.
- Навашин Сергей Гаврилович (1857—1930), ботаник, акад. 39
- *Над. Як. см. Мандельштам Н. Я.
- Надсон Семен Яковлевич (1862—1887), поэт 74
- Назон см. Овидий
- Наполеон Бонапарт (1769—1821), фр. гос. деятель и полководец 230, 232, 249, 277
- Нарбут Владимир Иванович (1888—после 7 апр. 1938), поэт 168
- Нарбут (урожд. Суок, по второму мужу Шкловская) Серафима Густавовна (1902—1982), жена В. И. Нарбута 540
- Насонов Николай Викторович (1855—1939), зоолог, акад. 47, 48
- *Наташа см. Штемпель Н. Е.
- Нейгауз Генрих Густавович (1888—1964), пианист 216
- Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877), поэт 654
- Некрасов Николай Петрович (1828—1914), лингвист 730, 752
- Некрасова Ксения Александровна (1912—1958), поэтесса 713, 714
- Несмеянов Александр Николаевич (1899—1980), химик-органик, акад. 62, 757
- *Ник. Ал., солагерник Б. С. Кузина 487
- *Ник. Ив. см. Харджиев Н. И.
- Николаева-Терешкова Валентина Владимировна (р. 1937), летчик-космонавт 294
- *Николай, начальник ж.-д. станции Шортанды 473
- Николай II (1868—1918), рос. император 106, 136
- *Николай Дмитриевич см. Леонов Н. Д.
- *Николай Ив. см. Харджиев Н. И.
- *Николаша см. Пунин Н. Н.
- Никольский Георгий Евлампиевич (1906—1973), художник, муж О. С. Кузиной 491, 726, 740
- Никольский Сергей Георгиевич (р. 1934?), сын О. С. Кузиной и Г. Е. Никольского 491, 601, 659, 662, 732, 733, 752
- Никулочкин Владимир Александрович, сотрудник Зоологического музея 75, 76, 116—120
- *Нина, Нина Николаевна см. Грин Н. Н.
- *Нина см. Пушкарская Н. И.
- Ницше Фридрих (1844—1900), нем. философ и писатель 133, 365, 491
- Новиков Михаил Михайлович (1876—1965), зоолог, ректор МГУ (до 1922 г.) 37, 63
- Новиков-Прибой (Новиков) Алексей Сильвич (1877—1944), писатель 129
- Носик Борис Михайлович (р. 1931), литератор 432
- *Нюра см. Анна Константиновна
- *О. А. см. Апостолова О. А.
- *О. Э. см. Мандельштам О. Э.
- Овидий (Публий Овидий Назон, 43 до н. э.—17 н. э.), римск. поэт 196, 223, 453, 454, 461, 462, 554, 677
- Огнев Иван Флорович (1855—1928), гистолог 117
- Огнев Сергей Иванович (1886—1951), зоолог 44, 58—61, 80, 104, 113
- Одоевский Владимир Федорович (1803 или 1804—1869), писатель 215
- Ойстрах Давид Федорович (1908—1974), скрипач 520, 748
- *Ольга Александровна, знакомая Б. С. Кузина и Е. С. Смирнова 558

- *Оля см. Кузина О. С.
- *«баба Оля», няня (?) Г. С. Клычкова 558
- Опарин Александр Иванович (1894—1980), биохимик, акад. 39
- Орлова Любовь Петровна (1902—1975), актриса 302
- *Осип см. Мандельштам О. Э.
- Островский Александр Николаевич (1823—1886), драматург 202
- *Ося, Оська см. Мандельштам О. Э.
- О'Фаолейн Шон (1900—1991), ирландск. писатель 673, 751
- Павел I (1754—1801), рос. император 92, 200
- Павлов Алексей Петрович (1854—1929), геолог, акад. 94, 117
- Павлов Иван Петрович (1849—1936), физиолог, акад. 225
- Павловский Евгений Никанорович (1884—1965), зоолог, акад. 39
- Пантелеймон, св., целитель 450
- Папанин Иван Дмитриевич (1894—1986), исследователь Арктики, директор Института биологии внутренних вод в Борке 9, 273, 430, 483, 755, 757
- Паре Амбруаз (1517?—1590), фр. хирург 435
- Пастернак Борис Леонидович (1890—1960), поэт 20, 134, 158, 162, 163, 169, 176, 214—216, 261, 352, 431, 555, 556, 689, 693, 698, 708, 712, 724, 744, 749, 752, 758
- Пастернак (Лурье) Евгения Владимировна (1898/99—1965), художница, первая жена Б. Л. Пастернака 689
- *«дядя Паша» (Павел Бернардович), дядя Б. С. Кузина, брат его матери 194, 195
- Перегудин, сослуживец и приятель Б. С. Кузина в Шортандах 460, 464, 469
- Петр I Великий (1672—1725), рос. император 92
- Петрарка Франческо (1304—1374), итал. поэт 752, 758
- Петри Эгон (1881—1962), нем. пианист 486
- Петров Евгений (Катаев Евгений Петрович, 1903—1942), писатель 277
- Печкина Марфа, служительница Зоологического музея 70, 71, 80, 119—123
- Пигарева (Тютчева) Екатерина Ивановна (1879—1957), внучка Ф. И. Тютчева 106
- Пикассо Пабло (1881—1973), фр. художник 217, 219, 224, 559
- Плавильщиков Николай Николаевич (1892—1962), зоолог 56, 57, 74, 81
- Платон (428 или 427 до н. э.—348 или 347 до н. э.), до-греч. философ 1 2. 220. 477. 491. 742
- Плеске Федор Дмитриевич (1858—1932), зоолог, акад. 77
- Плеханов Георгий Владимирович (1856—1918), теоретик и пропагандист марксизма в России 78
- Плиний Старший (ок. 24—79), римск. писатель, ученый и гос. деятель 238
- Плотников Василий Ильич (1877—?), директор Туркестанской энтомологической станции 125, 126
- По Эдгар Аллан (1809—1849), амер. писатель 447, 649—651, 667, 673
- Поливанов Иван Львович, сын основателя гимназии в Москве Льва Ивановича Поливанова (1838—1899), родственник и друг Б. М. Житкова 95
- *Полина Яковлевна, вторая жена Г. А. Кожевникова 75, 76, 80
- Поляков Сергей Александрович (1874—1948), переводчик, владелец изд-ва «Скорпион» 139
- Потебня Александр Афанасьевич (1835—1891), филолог-славист 734, 736
- Пресс Тамара Натановна (р. 1937), спортсменка 294
- Пржевальский Николай Михайлович (1839—1888), географ, исследователь Центральной Азии 96, 124
- Прокуменщикова Галина Николаевна (р. 1948), спортсменка 294
- Протопопов Александр Дмитриевич (1866—1918), гос. деятель 136
- Пруст Марсель (1871—1922), фр. писатель 448
- Пузанов Иван Иванович (1885—1971), зоолог 501
- Пунин Николай Николаевич (1888—1953), искусствовед, муж А. А. Ахматовой 625
- Пуньяни Гаэтано (1731—1798), итал. скрипач, композитор 368
- Пушкарская (псевд. Татаринова) Нина Ивановна (1916—1992), поэтесса, квартирная хозяйка Н. Я. Мандельштам в Ташкенте 680, 681, 687, 691, 693, 697, 702, 703
- Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837), поэт 31, 93, 105, 132—134, 153, 154, 156, 158, 163, 196, 197, 200, 203, 215, 217, 219, 222, 223, 241, 251, 297, 304, 358, 372, 384, 386, 403, 424, 426, 431, 432, 450, 454, 462, 468, 471, 487, 493, 496, 499—501, 530, 536, 589, 624, 625, 654, 667, 669, 672, 673, 730, 736, 748, 749, 751
- Радищев Александр Николаевич (1749—1802), писатель 131
- Радл Эмануэль (1873—1942), чешск. философ, автор «Истории развития теорий в биологии XIX в.» (Прага, 1909), 266
- Раевский Николай Николаевич, младший (1801—1843) ген.-лейт., довг А. С. Пушкина 748

- Разумов Анатолий Яковлевич (р. 1954), науч. сотр. РНБ, отв. ред. и сост. кн. «Ленинградский мартиролог» 10
- Рамин Гюнтер (1898—1956), нем. органист 212, 218
- Рамо Жан Филипп (1683—1764), фр. композитор 460, 648
- Раневская Фаина Григорьевна (1896—1984), актриса 687, 690, 692, 709, 713, 715
- Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1864 или 1685—1916), фаворит имп. Николая II и его жены Александры Федоровны, авантюрист 106, 108, 136
- Рассел Бертран (1872—1970), англ. философ 225
- Рахиль, библ. 666
- Рачинская Елена Фоминична, гл. врач больницы в Борке 505, 507—509
- Рем, по др.-римск. преданию, брат первого римск. царя Ромула, вместе с ним основавший Рим 230
- Рембо Артюр (1854—1891), фр. поэт 130, 448
- Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669), голл. живописец 222, 224, 252, 261, 424, 426, 609, 676, 750
- Репин Илья Ефимович (1844—1930), живописец 408
- Рильке Райнер Мария (1875—1926), австр. поэт 133, 344
- Римский-Корсаков Михаил Николаевич (1873—1951), зоолог 440, 485, 490, 501
- Рихтер Святослав Теофилович (1915—1997), пианист 427
- Ричард II (1367—1400), англ. король 535
- Ричард III (1452—1485), англ. король 535
- Робеспьер Максимилиен Мари Изидор де (1758—1794), деятель Великой Фр. революции 138
- Родендорф Борис Борисович (1904—1977), зоолог, друг Б. С. Кузина 59, 60, 125
- Родзянко Михаил Владимирович (1859—1924), полит. и гос. деятель 108
- Розанов Василий Васильевич (1856—1819), писатель, философ 498
- Розанов Михаил Павлович (1891—?), зоолог 61
- Роллан Ромен (1866—1944), фр. писатель 215
- Романовы, царская династия в России 136
- Ромул, по др.-римск. преданию, основатель Рима и первый царь (754/753—717/716 до н. э.) 230
- Роскин Григорий Иосифович (1892—1964), зоолог 55
- Россини Джоаккино (1792—1868), итал. композитор 215
- Ростропович Мстислав Леопольдович (р. 1927), виолончелист 432
- Рублев Андрей (ок. 1360-1370—1427 или ок. 1430), иконописец 52, 224, 252
- Рудаков Сергей Борисович (1909—1944), литературовед, поэт, друг О. Э. и Н. Я. Мандельштамов 678, 732, 734, 752
- Рудерман Михаил Исаакович (1905—1984), поэт 167, 587
- Рулье Карл Францевич (1814—1858), естествоиспытатель 46, 51
- Румянцев Алексей Всеволодович (1889—1947), биолог 57
- *Руся, Руха, Руша см. Апостолова А. В.
- Рыбникова Мария Александровна (1885—1942), педагог, литературовед 76
- Рыков Алексей Иванович (1881—1938), парт. и гос. деятель 141, 147, 148
- Рябов Иван, архангельский лощман, герой русско-шведской войны 750, 751
- *С. И. см. Огнев С. И.
- Сальери Антонио (1750—1825), итал. композитор 217, 749
- Сапфо (I-ая пол. 6 в. до н. э.), др.-греч. поэтесса 131
- *Саша, возлюбленный Н. Я. Мандельштам в Киеве (?) 559, 749
- *Саша см. Хазин А. Я. (?)
- Светлов Михаил Аркадьевич (1903—1964), поэт 660
- Северцов Алексей Николаевич (1866—1936), биолог 37, 48, 53, 55, 57, 61, 63, 107, 108, 684
- Северянин Игорь (Лотарев Игорь Васильевич, 1887—1941), поэт 200
- Сезанн Поль (1839—1906), фр. живописец 347, 559
- Семенов-Тянь-Шанский Андрей Петрович (1866—1942), биолог 9, 110—112, 133, 134, 441, 485, 499—502, 672, 677
- Семенов-Тянь-Шанский Петр Петрович (1827—1914), отц. А. П. Семенова-Тянь-Шанского, географ, обществ. деятель 111, 124
- Сенкевич Генрик (1846—1916), польск. писатель 133, 134
- Сепир Эдуард (1884—1939), амер. лингвист, этнолог 654, 673
- Сервантес Сааведра Мигель де (1547—1616), исп. писатель 11, 19, 219, 222—224, 238, 239, 240, 241, 440
- Сергеев Илья Сергеевич (ум. 1933), столяр в Зоологическом музее 39—45, 71, 82, 488
- *Сергей Антонович см. Клячков С. А.
- *Сергей Борисович см. Рудаков С. Б.
- Серебровский Александр Сергеевич (1892—1948), биолог 55
- *Сережа, знакомый Б. С. Кузина 528
- *Сережа-рифмач см. Герштейн С. Б.
- *Сережа см. Кузин С. С.
- *Сережа, Сережка см. Никольский С. Г.
- Сеченов Иван Михайлович (1829—1905), естествоиспытатель, физиолог 93, 94
- *Сима см. Нарбут С. Г.
- Синяевский Андрей Донатович (псевд. Абрам Терц, 1925—1997), писатель 295
- Скарлатти Доменико (1685—1757), итал. композитор 209
- Скемер Дон С., хранитель рукописей библиотеки Принстонского университета (США) 10
- Скрябин Александр Николаевич (1871/72—1915), композитор 209, 216
- Словацкий Юлиуш (1809—1849), польск. поэт 22
- Смирнов Евгений Сергеевич (1898—1977), зоолог, друг Б. С. Кузина 45, 57—60, 65, 66, 102—104, 124—126, 440, 442, 449, 450, 458, 459, 463, 488—491, 493, 501, 558, 581, 582, 600, 664, 682, 683, 686, 697
- Смирнова Людмила Ивановна (Люся), помощница по хозяйству и верный друг семьи Кузиных 205, 206, 427
- Собинов Леонид Витальевич (1872—1934), певец 188, 189
- Сократ (470/469—399 до н. э.), др.-греч. философ 199, 491
- Солженицын Александр Исаевич (р. 1918), писатель 268, 269, 427, 428, 432
- Сологуб (Тетериков) Федор Кузьмич (1863—1927), писатель 758
- Соломон, царь (библ.) 466
- *Сонька см. Вишневецкая С. К.
- *Софья Моисеевна, соседка Б. С. Кузина по коммунальной квартире 191—193
- Спартак (ум. 71 до н. э.), вождь восстания рабов в Др. Риме 298
- Спивак, врач 494
- Ставский (Кирпичников) Владимир Петрович (1900—1943), парт.-лит. деятель, секр. СП СССР 528, 532
- Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879—1953), сов. парт. и гос. деятель 34, 53, 176, 191, 243, 296, 429, 439, 657
- Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863—1938), режиссер, актер 201
- Старостин Андрей Дмитриевич (1901—?), зоолог 68
- Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), худ. и муз. критик 408
- Стафф Леопольд (1878—1957), польск. поэт 133
- Стендаль (Бейль Анри Мари, 1783—1842), фр. писатель 448
- Стивенсон Роберт Льюис (1850—1894), англ. писатель 648, 650
- Столетов Александр Григорьевич (1839—1896), физик 94
- Стравинский Игорь Федорович (1882—1971), композитор 759
- Струве Глеб Петрович (1898—1985) литературовед 179
- Суинбери Алджернон Чарлз (1837—1909), англ. поэт 447, 758
- Сырокомля Владислав (Кондратович Людвик, 1823—1862), польск. поэт 133
- Сюлли-Прюдом (Прюдом Рене Франсуа Арман, 1839—1907), фр. поэт 131, 169
- Тагер (“Люся”, “Лена”), знакомая Б. С. Кузина 698, 705, 708
- Тартаковер Савелий Григорьевич (1887—1954), шахматист, поэт, переводчик 522, 748
- *Тата см. Мандельштам Т. Е.
- Татлин Владимир Евграфович (1885—1953), художник 560, 562, 749
- Татьяна, св. 117
- *Татья см. Мандельштам Т. Е.
- Теккерей Уильям Мейкпис (1811—1863), англ. писатель 546
- Тер-Оганяны, друзья Б. С. Кузина в Ереване 159, 161, 164
- Терентьев Александр Петрович (1891—1970), химик-органик 62
- Терновец Борис Николаевич (1884—1941), искусствовед 749
- Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920), ботаник 39, 48, 94
- Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович (1900—1981), биолог 505, 506
- Тихомиров Александр Андреевич (1850—1931), зоолог 39, 47—49, 53, 55, 94, 100, 102, 109, 115, 116
- Толстой Алексей Николаевич (1882—1945), писатель 173, 528, 563, 676, 748
- Толстой Лев Николаевич (1828—1910), писатель 105, 215, 217, 224, 235, 304, 408, 432, 462, 487, 498, 618, 756
- Томский Михаил Павлович (1880—1936), сов. полит. и гос. деятель 140, 141
- Топоров Виктор Леонидович (р. 1946), критик, переводчик 365
- Тувим Юлиан (1894—1953), польск. поэт 133, 174

- Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883), писатель 93, 649, 654
- Тынянов Юрий Николаевич (1894—1943), писатель, литературовед 548, 614, 625
- Тырса Николай Андреевич (1887—1942), художник 678, 699
- Тюбукины, дворянский род татарского происхождения 92
- Тютчев Николай Иванович (1876—1949), внук Ф. И. Тютчева, хранитель имения-музея Мураново 106—108
- Тютчев Федор Иванович (1803—1873), поэт 106, 107, 158, 170, 197, 203, 215, 217, 223, 297, 376, 379, 431, 556, 562, 563, 567, 614, 755
- Тютчева Софья Ивановна (1870—1957), внучка Ф. И. Тютчева, фрейлина 106, 108
- Тютчева Екатерина Ивановна см. Пигарева Е. И.
- Тютчевы, дворянский род 106, 107
- Тябин, председатель колхоза 205
- Уайльд Оскар (1854—1900), англ. писатель 447, 703, 752
- Уголини Амедео (1896—1954), итал. писатель 217
- Удальцов Александр Дмитриевич (1883—1958), историк 72
- Унамуно Мигель (1864—1934), исп. писатель 131
- Урукагина (правильнее Урунимгина), царь Лагаша (2-я пол. 24 в. до н. э.) 147, 148
- Усов Дмитрий Сергеевич (1896—1944), поэт-переводчик 681
- Уткин Иосиф Павлович (1903—1944), поэт 167
- Ушаков М. И., химик-органик 62
- Фадеев Александр Александрович (1901—1956), писатель 528, 748
- Фатов Николай Николаевич (1887—1961), литературовед 128, 129
- Федченко Алексей Павлович (1844—1873), натуралист, путешественник, исследователь Средней Азии 124
- Фейнберг Самуил Евгеньевич (1890—1962), пианист 705
- Фейхтвангер Лион (1884—1958), нем. писатель 677
- *Феликс, служитель кафедры сравнительной анатомии Моск. ун-та 53
- Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892), поэт 170, 197, 556, 562, 563, 614, 750
- Филатов Владимир Петрович (1875—1956), офтальмолог, хирург 92
- Филатов Дмитрий Петрович (1876—1943), эмбриолог 92
- Филатов Михаил Федорович, прадед Б. М. Житкова 92
- Филатов Нил Федорович (1847—1902), врач-педиатр 92
- Филатова (урожд. Ермолова) Е. Н., прабабка Б. М. Житкова 93
- Филатовы, дворянский род 92
- Филиппов Борис Андреевич (1901—1991), литературовед, поэт, писатель 179
- Филипченко Юрий Александрович (1882—1930), биолог 48
- Фишер фон Вальдгейм Григорий Иванович (1771—1853), естествоиспытатель 46
- Флобер Гюстав (1821—1880), фр. писатель 408, 448, 467
- Фонвизин Денис Иванович (1744 или 1745—1792), драматург, автор комедии «Недоросль» (1781) 197
- Фореггер Николай Михайлович (1892—1939), театральный деятель 202
- Формозов Александр Николаевич (1899—1973), биолог 44
- Фортунатов Михаил Алексеевич (1899—после 1972, биолог, сотрудник Института биологии внутренних вод в Борке 504
- Фрадкина Елена Михайловна (1902—1981), театр. художница, жена Е. Я. Хазина 167, 472, 538, 546, 551, 559, 565, 588, 599, 618, 658, 660, 667, 669, 678, 679, 681—685, 687—690, 693, 695, 702—704, 706—711, 713, 715—717, 719, 720, 724, 726, 731, 735, 745, 746
- Фрадкина Мелита Абрамовна (ум. 1940), учительница пения, мать Е. М. Фрадкиной, теща Е. Я. Хазина 167, 618, 676, 703
- Франс Анатоль (Тибо Анатоль Франсуа, 1844—1924), фр. писатель 189, 408, 448, 453, 570, 602
- Франциск Ассизский (1182—1226), св., учредитель нищенствующего монашеского ордена 456
- Фрейдин Юрий Львович (р. 1942), врач-психиатр, друг Н. Я. Мандельштам 10
- *Фрол, служитель Зоологического музея 53, 70, 71, 115, 116, 120
- Хагани Ширвани (1120—1199), азерб. поэт-мыслитель 135, 152
- Хазин Александр Яковлевич (1891—1920), брат Н. Я. Мандельштам 559, 611, 663, 666, 749
- Хазин Евгений Яковлевич (1893—1974), литератор, брат Н. Я. Мандельштам 166, 167, 171, 172, 176—178, 472, 518, 522, 534, 537, 538, 546, 549, 559, 561, 564, 565, 567, 568, 570—574, 576, 579, 586, 588, 589, 591, 592, 595, 597, 599, 600, 605,

607—609, 611—613, 613, 616, 618—620, 622, 623, 626, 629—631, 633, 634, 636, 639, 640, 642, 646—648, 650, 652, 653, 655, 656, 658—664, 666—669, 671, 674, 677—681, 683—686, 688, 689, 691, 693—697, 699, 702—713, 715—717, 719, 720, 724, 726, 730—733, 735—740, 744—746, 748—752

Хазин Яков Абрамович (ум. 1930), отец Н. Я. Мандельштам 611, 628, 643, 677, 704, 708

Хазина Анна Яковлевна (ум. 1939), сестра Н. Я. Мандельштам 167, 534, 537, 539, 540, 547, 611, 618, 629, 666, 669, 748

Хазина Вера Яковлевна (ум. 1943), мать Н. Я. Мандельштам 470—472, 518, 538, 546, 547, 550, 555, 556, 558—560, 565, 570, 572, 574, 579, 586, 595, 597, 599, 600, 603, 604, 606—609, 615—619, 621—623, 626, 628, 631, 634, 637, 642, 645—653, 655—662, 665—670, 677, 679, 683, 687—689, 691, 695, 697, 699, 700, 702—713, 715—718, 721, 748

Хакани см. Хагани Ширвани

Ханцин Иза Давыдовна (1899—1985), пианистка, жена А. О. Моргулуса 725, 732

Харджиев Николай Иванович (1903—1996), литературовед, искусствовед, писатель, друг О. Э. Мандельштама и А. А. Ахматовой 7, 552, 558, 559, 561—563, 596—598, 600, 602, 605, 607, 613, 616, 618, 619, 622, 624, 629, 637, 638, 684, 694, 705, 706, 712, 714, 719, 724, 750

Хемингуэй Эрнест (1899—1961), амер. писатель 224, 447

Хлебников Велимир (Виктор Владимирович, 1885—1922), поэт 431, 532, 558, 618, 638, 730, 734, 737

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939), поэт 169, 498, 758

Холодковский Николай Александрович (1858—1921), зоолог, поэт-переводчик 20, 67, 68

Цвейг Стефан (1881—1942), австр. писатель 215

Цветаева Марина Ивановна (1892—1941), поэт 169, 744, 752

Чайковский Петр Ильич (1840—1893), композитор 196, 197, 203, 212, 624, 627, 648

Чаплин Чарлз Спенсер (1889—1977), амер. режиссер, актер 601, 622, 634, 642

Челпанов Георгий Иванович (1862—1936), проф. философии 78

Черный Саша (Гликберг Александр Михайлович, 1880—1932), поэт 435

Черняк Яков Захарович (1898—1955), историк литературы 687

Четвериков Сергей Сергеевич (1880—1959), биолог 58

Чехов Антон Павлович (1860—1904), писатель 179, 200, 455, 625, 640

Чехов Михаил Александрович (1891—1955), актер 201

Чечулин Николай Дмитриевич (1863—1927), историк 751

Чиппендейл Томас (1718—1779), англ. мастер мебельного искусства 758

Чуев, владелец хлеботорговой фирмы в Москве 54, 55

Чуковская Елена Цезаревна (р. 1931), химик-органик, публикатор сочинений К. И. и Л. К. Чуковских, дочь Л. К. Чуковской 10, 686

Чуковская Лидия Корнеевна (1907—1996), писательница, литературовед 667, 684, 686, 689, 715

Чуковский Корней Иванович (Корнейчуков Николай Васильевич, 1882—1969), критик, литературовед, писатель 667, 681, 715, 749

Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888—1982), писательница 7

Шамфор Себастьян-Рок-Николай (1741—1794), фр. писатель 494

Шамшевы, донские дворяне 440, 758

Шаньянский Альфонс Леонович (1837—1905), ген., деятель народного образования 55

Шахматов Алексей Александрович (1864—1920), языковед, историк литературы 734, 736

Швейцер Альберт (1875—1965), нем.-фр. мыслитель, богослов, врач, музыковед и органист 212—215, 217, 218, 220, 221, 224, 432, 498

Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861), укр. поэт, художник 369, 482

Шекспир Уильям (1564—1616), англ. драматург и поэт 134, 409, 447, 520, 534—536, 546, 614, 634, 644, 645, 654, 665, 670, 689, 693, 719, 720, 735, 739—742, 748, 750, 752

Шелли Перси Биши (1792—1822), англ. поэт 724, 731

Шенье Андре Мари (1762—1794), фр. поэт 130, 156, 672

Шибанов Николай Владимирович (1903—?), биолог 44

Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759—1805), нем. поэт, драматург 475, 724, 730, 739, 740

Шимкевич Владимир Михайлович (1858—1923), зоолог, акад. 47, 48

Шкловская (Корди) Василиса Георгиевна (1890—1977), жена В. Б. Шкловского, друг Н. Я. Мандельштам 534, 536, 610, 615

- Шкловский Виктор Борисович (1893—1984), писатель, литературовед, критик, друг Н. Я. Мандельштам 431, 534, 536, 552, 555, 556, 587, 588, 603, 610, 633, 636, 637, 640, 660, 663, 684, 688, 719, 734, 736, 744, 749, 750
- Шкловский Никита Викторович ("Китик", 1924—1944), сын В. Б. и В. Г. Шкловских 718, 719
- Шометт Пьер Гаспар (1763—1794), деятель Великой Фр. революции 138
- Шопен Фридерик (1810—1849), польск. композитор 203, 209, 211, 212, 460, 522, 648
- Шопенгауэр Артур (1788—1860), нем. философ 39, 156
- Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906—1975), композитор 532, 705
- Штейны, знакомые Б. С. Кузина в Шортандах 473, 474
- Штемпель Наталья Евгеньевна (1910—1988), учительница литературы в Воронеже, друг Н. Я. и О. Э. Мандельштамов 559, 596, 597, 599, 600, 604, 620, 621, 623, 625—627, 634, 644, 645, 658, 664, 671, 674, 675, 678, 679, 681, 694, 699, 724—726, 740
- Шторм Теодор (1817—1888), нем. поэт 133
- Шуберт Франц (1797—1828), австр. композитор 167, 184, 203, 209, 212, 215, 217, 318, 365, 460
- Шуман Роберт (1810—1856), нем. композитор 217
- *Шура см. Кузин А. М.
- *Шура см. Мандельштам А. Э.
- *Шура см. Хазин А. Я.
- *Шурик см. Мандельштам А. А.
- *Шурик, Шурика см. Мандельштам А. Э.
- Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918), гос. деятель России 136
- Щукин Сергей Иванович (1854—1936), коллекционер 131, 203
- *Э. Е. см. Беккер Э. Г.
- Эаннатум, правитель (ок. 2450—2425 до н. э.) государства Лагаш 147, 148

- Эдуард, один из королей Англии 535
- *Эдка см. Бабаев Э. Г.
- Эйнштейн Альберт (1879—1955), физик, создатель теории относительности 105, 148, 214, 220, 224, 225
- Экклезиаст, библ. 90, 99, 147
- *Эмма, Эмма см. Герштейн Э. Г.
- *тетя Эмма, тетя Эммочка см. Кузина Э. Б.
- Энгельс Фридрих (1820—1895), философ, теоретик коммунизма 78, 670
- Эразм Роттердамский (1469—1536), гуманист эпохи Возрождения 418
- Эредиа Жозе Мария де (1842—1905), фр. поэт 130, 134, 149, 316, 448
- Эренберг Владимир Георгиевич (1875—1923), композитор 750
- Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967), писатель 170—173, 353, 637, 660, 744
- Эренбург (Козинцева) Любовь Михайловна (1900—1970), художница, жена И. Г. Эренбурга 171, 172, 660
- Эфрон Георгий Сергеевич (1925—1944), сын М. И. Цветаевой 744, 752
- Эфрон Елизавета Яковлевна (1885—1976), актриса, преподавательница драматического искусства 756

- Ювенал Децим Юний (ок. 60—ок. 127), римск. поэт-сатирик 196
- Южин (Сумбатов) Александр Иванович (1857—1927), актер, драматург 201
- *Юлий, Юля, Юлий М., Юлий Матвеевич см. Вермель Ю. М.
- Юргенсон Петр Иванович (1836—1903), основатель нотного издательства 211
- *Юрий, двоюродный брат Б. С. Кузина 196, 197

- Яхонтов Владимир Николаевич (1899—1945), актер, друг О. Э. Мандельштама 614, 640
- Яшин Лев Иванович (1929—1990), спортсмен, врач 226, 294

СОДЕРЖАНИЕ

Б. С. Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка

От составителей.....	7
Из научной монографии «Принципы систематики».....	11

МЕМУАРНАЯ И АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Предисловие ко всем моим неопубликованным сочинениям.....	25
Воспоминания.....	33
Об О. Э. Мандельштаме.....	153
Случай на трамвайной остановке.....	180
Ave Maria.....	184
Записки зеваки.....	185
Средство от хама.....	190
О театре и об актерах.....	194
О начальстве.....	205

ФИЛОСОФСКАЯ ПРОЗА

Орбита Баха.....	209
О самом страшном.....	226
De moribus sapum.....	238
Язык.....	240
Похвала глупости.....	247
Зачем земля круглая.....	253
Экран.....	256
Престиж.....	263
О профессиональном утешении.....	264
О научном мышлении, о науке и в частности о биологии.....	265
Dura lex, sed lex.....	268
Борковский клуб.....	273
Больной человек.....	276
Все люди, все человеки.....	280

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Пуговица.....	283
Сон.....	285
О фильтрации информации.....	289
Способы усложнения.....	291

Как нужно писать научные сочинения	292
Имущество и изящество	292
Разговор с командировочным товарищем	293
Раковый корпус	295
О функции языка	296
Министру торговли СССР. В Президиум съезда	296
Древнерусская литература	297
Закат славы Александра Македонского	297
Космонавты	301
Дедушка, так Расскажи	304
СТИХОТВОРЕНИЯ	307
СМЕШНЫЕ И НЕПРИЛИЧНЫЕ СТИХИ	399
СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА	421
ПЕРЕПИСКА	
Предисловие	439
Из писем Б. С. Кузина к жене, А. В. Апостоловой	442
Из писем Б. С. Кузина к сестре, О. С. Кузиной	485
Из писем А. П. Семенова-Тян-Шанского к Б. С. Кузину	499
Из писем Л. Н. Гумилева к Б. С. Кузину	503
Н. Я. Мандельштам. 192 письма к Б. С. Кузину	
Предисловие	515
Тексты писем	518
Комментарии	748
ЗАМЕТКИ К БИОГРАФИИ Б. С. КУЗИНА	755
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	761

Кузин Б. С.
К89 Воспоминания. Произведения. Переписка
Мандельштам Н. Я.

192 письма к Б. С. Кузину

// Составление, предисловие, подготовка текстов, примечания и комментарии Н. И. Крайневой и Е. А. Пережогинной — СПб.: ООО «ИНАПРЕСС», 1999. — 800 с. (С.Ц.З.)
ISBN 5-871-35079-8

Борис Сергеевич Кузин (1903—1975) известный ученый, биолог-теоретик, ламаркист, вошел в историю русской литературы XX века как ближайший друг Осипа Мандельштама. Значение этой дружбы переоценить невозможно. К Кузину были обращены слова поэта:

Когда я спал без облака и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык — он мне не нужен.

В этой книге Б. С. Кузин предстает не только глубоким мемуаристом и оригинальным мыслителем, но также ярким прозаиком и талантливым поэтом. Со всей определенностью можно сказать, что без учета его литературных достижений, картина русской литературы будет неполной.

Его свободный голос, известный лишь ближайшим друзьям, теперь достигает и нас сквозь толщу минувшего кромешного времени. Удивительная цельность, подлинность и несуетность, свойственные этому человеку, будто озаряют и нас, читающих его произведения сегодня.

Чудом уцелели сто девяносто два письма Надежды Мандельштам, обращенные к Борису Кузину. Пожалуй, эта десятилетняя (с 1937 г.) переписка, гордиев «узел жизни» (О. М.), — один из самых «горячих и горячечных» эпистолярных памятников человеческим коллизиям уходящего века.

Издание снабжено статьями, подробными комментариями и аннотированным указателем имен. Большинство текстов печатается впервые.

ББК 84. Р7

Б. С. КУЗИН
Воспоминания. Произведения. Переписка

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ
192 письма к Б. С. Кузину

Редактор Н. Кононов
Художник М. Покшищевская

ЛР 062759 от 04.07.98
Сдано в набор 06.05.97. Подписано к печати 02.03.99.
Формат 70x90/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Академия».
Усл. печ. л. 50. Уч.-изд. л. 54,7. Тираж 1500 экз. Заказ 70
Издательство

ООО «ИНАПРЕСС»

191025 СПб., Невский пр. 74,
e-mail: inapress@vicom.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
ГИПП «ИСКУССТВО РОССИИ»
198099, СПб., Промышленная ул., д. 38, корп. 2